Алексей Толстой

Хождение по мукам

Алексей Толстой Хождение по мукам

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Лето 1918 года

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Алексей Толстой

Хождение по мукам

Издание подготовила

Г. Н. ВОРОНЦОВА

МОСКВА НАУКА 2012

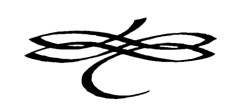
УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
Т52

Ответственный редактор
Н.В. КОРНИЕНКО

Серия основана академиком
С.И. Вавиловым

ISBN 978-5-02-037541-3

Хождение по мукам



ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот роман есть первая книга трилогии «Хождение по мукам», охватывающей трагическое десятилетие русской истории. Тремя февральскими днями, когда, как во сне, зашатался и рухнул византийский столп Империи[1], и Россия увидала себя голой, нищей и свободной, – заканчивается повествование первой книги.

Вторая часть трилогии, еще не оконченная, происходит между 17 и 22 годами, в то время, когда Россия переживала не радостную радость свободы, гнилостный яд войны, бродивший в крови народа, анархию и бред, быть может гениальный, о завоевании мира, о новой жизни на земле, междоусобную войну, разорение, нищету, голод, почти уже не человеческие деяния и новый государственный строй, сдавивший, так что кровь брызжет между пальцами, тело России, бьющейся в анархии. Грядущее стоит черной мглой перед глазами. В смятении я оглядывался: действительно ли Россия – пустыня, кладбище, былое место? Нет, среди могил я вижу миллионы людей, изживших самую горькую горечь страдания и не отдавших земли на расточение, души – мраку. Да будет благословенно имя твое – Русская Земля. Великое страдание родит великое добро. Перешедшие через муки узнают, что бытие живо не злом, но добром: волей к жизни, свободой и милосердием. Не для смерти, не для гибели зеленая славянская равнина, а для жизни, для радости вольного сердца.

Третья часть трилогии – о прекраснейшем на земле, о милосердной любви, о русской женщине, неслышными стопами прошедшей по всем мукам, заслонив ладонью от ледяных, от смрадных ветров живой огонь светильника Невесты[2].

Книги этой трилогии я посвящаю Наталии Крандиевской-Толстой.

гр. Алексей Н. ТОЛСТОЙ

О, Русская земля!..[1]

Слово о полку Игореве

I

Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.

Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики, домов, с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора[2], с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, и бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих – озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, – видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель – благонамеренный – прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный – начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее, унылое очарование.

Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору – худую бабу и простоволосую, – сильно испугался и затем говаривал в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту»[3], – за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно[4].

Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом – нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт[5]. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням Медный Император[6]. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу, приставал мертвец[7] – мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу.

И, совсем еще недавно, поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и горбатый мостик, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург – лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.

Точно в бреду, наспех, построен был Петербург. Как сон, прошли два столетия: чужой всему живому город, стоящий на краю земли, в болотах и пусто-

рослях, грезил всемирной силой и властью; бредовыми виденьями мелькали дворцовые перевороты, убийства Императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.

С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею и духом петербургские призраки.

Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыганы, дуэли, и на рассвете – в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт – парад войскам перед наводящим ужас взглядом выпуклых глаз Императора. – Так жил город.

В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, синематографы, лунные парки с американскими удовольствиями. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши, столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно – роскошь и женщины. Разврат проникал повсюду, им был, как заразой, поражен дворец.

И во дворец, до самого трона несчастнейшего из Императоров, дошел и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик, с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой[8].

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением. Но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные

бубенцы», – и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали всё, чтобы усилить его и обострить.

То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые, считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги – верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения – признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает, разгоряченное дьявольским любопытством, тело женщины, – вот в чем был пафос поэзии этих последних лет: смерть и сладострастие.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго, – предсмертного гимна, – он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники, – новое и непонятное лезло изо всех щелей.

II

«…Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим – довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская?[1] А что – ее можно кушать? Или она способствует рощению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша. Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится щекотать себе пятки этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки? Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто двадцать верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдаюших половым бессилием…»

В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры.

Сбоку ее, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний

докладчик – историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин.

Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.

Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым, стриженым черепом, с молодым, скуластым и желтым лицом, – Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и, когда спрашивали – откуда и кто такой? – знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия была ему не Акундин, приехал он из заграницы и выступал неспроста.

Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихшее зало, усмехнулся тонкой полосой губ и начал говорить.

В это время, в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные, тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.

Когда Акундин, стукнув сухоньким кулачком по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», – девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.

Акундин говорил:

«...А вы все еще грезите туманными снами о царствии Божием на земле. Здесь еще похрапывают и глядят сны, бормочут сквозь сон о мессианстве. А он, несмотря на все усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица?[2] Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадильниц, – народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, но не о мессианстве, а о справедливости, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верно. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит, как тень по земле. Здесь в Петербурге, в этом великолепном зале выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Игра в тени на стене. Боюсь только, как бы эта забава не окончилась большою кровью...»

Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой грязный платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса:

– Пускай говорит!

– Безобразие закрывать человеку рот!

– Это издевательство!

– Тише вы, там сзади!

– Сами вы тише!

Акундин продолжал:

«...Русский мужик – точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его инстинктами, с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом[3], покуда не лишат его, наконец, когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса, – ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов; и жадная, полузвериная жизнь. Мы критикуем вас не по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды – человеческой фантазии. Нет. Мы говорим – идите и претворяйте идеи в жизнь. Не ждите и не философствуйте. Делайте опыт. Пусть он будет отчаянным. И тогда вы увидите, с какими идеями и как вам нужно идти...»

Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное, в конце концов, у этих людей в том, что, например, Акундин, – она в этом уверена, – никого на свете, кроме себя, не любит, и если ему нужно для доказательства своей идеи, то и пристрелит человека.

Когда она так думала, за зеленым столом появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, пальцы вытер о платок и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком, черном сюртуке: худое, матовое лицо, брови дугами, под ними, в тенях, огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.

Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе-красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей в ветреные петербургские ночи.

Вот он, наклонившись ухом к соседу, усмехнулся, и улыбка простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то

особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее.

В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:

«...Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы не подопрем плечами вашу лавину. Мы знаем – когда она докатится до дна, до земли, – сила ее иссякнет, и высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. "Жажду" – вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли влаги. И вы не дадите ему пить. Берегитесь, – Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, – в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить живого человека в силлогизм, одетый в шляпу, пиджак и с винтовкой за плечами, в этом страшном раю грозит новая революция, – быть может, самая страшная изо всех революций – революция Духа...»

Акундин холодно проговорил с места:

– Это предусмотрено...

Вельяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, в который отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали.

Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми, пьяными глазами на проходящих. Две средних лет литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами – Чирва – критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав, который он во время разговора осторожно, но тщетно старался выпрастать. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, тоже отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы.

Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама, впала в фальшивое состояние. Бессонов гово-

рил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза.

Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый, истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные, длинные, черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал:

– Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?

– То же, что и вы, – ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок.

Он захихикал и, глядя еще нежнее, сказал:

– Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли, – разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот его последний стишок:

> Каждый молод, молод, молод[4].
> В животе чертовский голод.
> Будем лопать пустоту...

– Необыкновенно, ново и смело. Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, – новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот, тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три таких зимы, и все затрещит, полезет по швам, – очень хорошо!

Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь, Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке.

Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых, с махающими дверями, сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, мужики-извозчики и весело и нагло предлагались выходящим:

– Вот на резвой, ваше сясь!

– Вот, по пути, на Пески!

Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно:

– Швейцар, шубу, шапку и трость.

Даша почувствовала, как легонькие иголочки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце.

– Если не ошибаюсь, – проговорил он, наклоняясь к ней, – мы встречались у вашей сестры?

Даша сейчас же ответила дерзко:

– Да. Встречались.

Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студеный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил над ухом:

– Ай да глазки!

Даша быстро шла по мокрому асфальту, по лиловым, зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок, – вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты:

– Ну, не так-то легко, не легко, не легко!

III

Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной:

– Дома никого нет, конечно?

Великий Могол, – так называли горничную Лушу[1] за широкоскулое, как у идола, всегда сильно напудренное лицо, – глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни, действительно, дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса.

Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено.

Зять, Николай Иванович, дома, – значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас – одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать, – себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно!

Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, – а их было не мало, – кто выражал охоту развеивать девичью скуку.

В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко.

Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж – Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало видались, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны – нежно-любовные.

Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Знакомых сестры она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.

Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры, с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, – вся эта фабричная, чугунная, циничная поэзия восставшей против Господа Бога прогорклой улицы слишком высока для ее тупого воображения.

Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза[2], собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литературную катастрофу. Иногда, спозаранку, приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресле. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши, и бархатный голос произносил:

«Приветствую тебя, Великий Могол!» – и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера[3]:

«Катюша, – говорил он каждый раз, – с нынешнего дня дал зарок, не пью, честное слово».

Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, – глядела на виновного злыми глазами.

Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола – Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислый глаз на Дашу и приговаривать: «Пью за цветущий миндаль!»

Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости.

Щеки у ней, действительно, были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки.

На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами.

Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью, платье, большую шляпу из розового газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу, неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя – Куличек.

Но он был из «презираемых». Даша возмутилась, позвала его в лес, и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то «самку», что она оскорблена и возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю.

Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать; вынул платок, вытирал глаза, приговаривал:

– Уйди, Дарья, уйди, умру!

Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой.

Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар, и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки.

Но, пригревшись на солнышке, или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синей Бороды[4].

Все знакомые, а первая сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала:

– Что же это с нами дальше-то будет?

– А что, Катя?

Даша в рубашке сидела на постели, закручивая большим узлом волосы.

– Уж очень хорошеешь, – что дальше-то будем делать? Даша строгими, «мохнатыми», глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем:

– Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно, понимаешь?

Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками:

– Какие мы рогатые уродились, ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку.

Однажды на теннисной площадке появился англичанин, – худой, бритый, с выдававшимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул, – глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, – засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самою сеткою мяч, думала: «Вот – ловкая русская девушка, с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу».

Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше, надел канотье[5], – был он совсем сухой, – закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду.

Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз косилась в сторону англичанина, – он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинул соломенную шляпу на затылок и, не оборачиваясь, глядел на море.

Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила, ясно увидела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от стыда, от самолюбия и еще от чего-то, бывшего сильнее ее самой.

С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала:

– Даша, мистер Беильс о тебе справляется каждый день, – почему ты не играешь?

Даша раскрыла рот – до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать «глупых сплетен», что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он, вообще, ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в «этот дурацкий теннис». Даша отказалась от обеда,

взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина, несчастна, и нет охоты жить.

Так, понемногу, поднимал голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды затягиваться зимою в корсет и суконное платье.

Две недели продолжалась ее самолюбивая, «рогатая» влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете.

А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, – англичанка, его невеста, – и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни.

На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все: Даша чувствовала теперь, как тот – второй человек – точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая – и легкая и свежая, как прежде, но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них – голова закружится.

В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Знаменской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы в суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам[6]. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена.

Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром лекции, в четыре – прогулка с сестрой и магазины, вечером – театры, концерты, ужины, люди, – ни минуты побыть в тишине.

В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофием.

К нему подсели знатоки литературы – два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том,

что искусства, вообще, никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке.

«Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло – и люди, и искусство. А Россия – падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду»[7].

Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер.

Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов не слушал их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал:

– Я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти.

Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина.

После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказались: «Все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество». Критик Чирва подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян, в лоск». Дамы же решили: «Пьян ли был Бессонов, или просто в своеобразном настроении, – все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно».

На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех «подлинных» людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, как от такого человека можно голову потерять».

Николай Иванович возмутился: «Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость». Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, – одни кружевные юбки.

Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул, – неожиданно устали ноги и было, непонятно почему, грустно.

После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол. Его стихи – три белых томика – вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но, читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно

этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали – забыться, обессилеть, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает.

Из-за Бессонова она начала бывать на «Философских вечерах». Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой переволнованная и была рада, когда дома – гости. Самолюбие ее молчало.

Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, в глубь темного озера, без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце, точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение должно произойти что-то невозможное.

Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен на нее багровые, вспухшие, оскаленные, с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения сад Господа Бога.

– Да, милостивая государыня, плохо наше дело, – сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки, стоявшей на преддиванном столе, вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице.

– Николай Иванович, который час? – крикнула Даша так, чтобы было слышно через четыре комнаты. В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась Великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан.

В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ощипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился, наконец, Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротника. Волосы его были растрепаны, на бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки.

Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть.

Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным:

– Вчера ночью твоя сестра мне изменила.

IV

Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И, ко всему, Кати не было дома, точно ее на свете больше и не существует.

В первую минуту Даша обмерла, и в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставочку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смела.

Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. «Застрелится», – подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него была волосатая, большая и теперь «беспомощная» рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла: «Что же делать? Что делать?» В голове звенело, все, все, все было изуродовано и разбито.

Из-за суконной занавеси появилась Великий Могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше Великого Могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную.

Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешено Катиными руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине, в простенке над роялем. И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено.

Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот – сбоку, носа не было совсем, вместо него – треугольная дырка, голова – квадратная и к ней приклеена тряпка – настоящая материя. Ноги, как поленья, на шарнирах. В руке – цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой, – глухой и коричневый, такие углы, должно быть, – в аду. Картина называлась «Любовь», а Катя называла ее современной Венерой[1].

«Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же – с цветком, в углу». Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, пустил облако дыма, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел – «чижик». Даша похолодела. Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал:

– Этого надо было ожидать.

Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стараясь понять, что она означает. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Николай Иванович поднял руки, взялся за бороду, но, произнеся сдавленным голосом: «О-о-о!» – ничего не сделал и быстро ушел в кабинет. По коридору простукала, как копытами, Великий Могол. Даша соскочила с дивана, – в глазах было темно, так билось сердце, – и выбежала в прихожую.

Там неловкими от холода пальцами Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты капора и морщила носик. Сестре она подставила щеку для

поцелуя, но, когда никто ее не поцеловал, тряхнула головой, сбрасывая капор, и пристально серыми глазами взглянула на сестру.

– У вас что-нибудь произошло? Вы поссорились? – спросила она низким, грудным, всегда таким очаровательно-милым голосом.

Даша стала глядеть на кожаные галоши Николая Ивановича, они назывались в доме «самоходами» и сейчас стояли сиротски. У нее дрожал подбородок:

– Нет, ничего не произошло, просто я так.

Екатерина Дмитриевна медленно расстегнула большие пуговицы беличьей шубы, движением голых плеч освободилась от нее и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Расстегивая гамаши, она низко наклонилась, говоря:

– Понимаешь, покуда нашла автомобиль, промочила ноги.

Тогда Даша, продолжая глядеть на галоши Николая Ивановича, спросила сурово:

– Катя, где ты была?

– На литературном ужине, моя милая, в честь, ей-богу даже не знаю, кого. Все то же самое. Устала до смерти и хочу спать.

И она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожаную сумку и вытирая платком носик, спросила:

– Кто это нащипал цветов? А где Николай Иванович, спит?

Даша была сбита с толку: сестра ни с какой стороны не походила на окаянную бабу и не только была не чужая, а чем-то особенно сегодня близкая, так бы ее всю и погладила. Но все же, с огромным присутствием духа, царапая ногтем скатерть, в том именно месте, где полчаса тому назад Николай Иванович ел яичницу, Даша сказала:

– Катя!

– Что, миленький?

– Я все знаю.

– Что ты знаешь? Что случилось, ради бога?

Екатерина Дмитриевна села к столу, коснувшись коленями Дашиных ног, и с любопытством глядела на нее, снизу вверх.

Даша сказала:

– Николай Иванович мне все открыл.

И не видела, какое было лицо у сестры, что с ней происходило.

После молчания, такого долгого, что можно было умереть, Екатерина Дмитриевна проговорила злым голосом:

– Что же такое потрясающее сообщил про меня Николай Иванович?

– Катя, ты знаешь.

– Нет, не знаю.

Она сказала это «не знаю» так, словно получился ледяной шарик.

Даша сейчас же опустилась у ее ног:

– Так, может быть, это неправда? Катя, родная, милая, красивая моя сестра, скажи, – ведь это все неправда? – И Даша быстрыми поцелуями касалась Катиной нежной, пахнущей ее духами руки, с синеватыми, как ручейки, жилками.

– Ну, конечно, неправда, – ответила Екатерина Дмитриевна, устало закрывая глаза, – а ты и плакать сейчас же. Завтра глаза будут красные и носик распухнет.

Она приподняла Дашу и надолго прижалась губами к ее волосам.

– Слушай, я дура! – прошептала Даша в ее грудь. В это время громкий и отчетливый голос Николая Ивановича проговорил за дверью кабинета:

– Она лжет!

Сестры быстро обернулись, но дверь была затворена. Екатерина Дмитриевна сказала:

– Иди-ка ты спать, ребенок. А я пойду выяснять отношения. Вот удовольствие, в самом деле, – едва на ногах стою.

Она проводила Дашу до ее комнаты, перекрестила, потом вернулась в столовую, где захватила сумочку, поправила гребень и тихо, пальцем, постучала в дверь кабинета:

– Николай, отвори, пожалуйста.

На это ничего не ответили. Было зловещее молчание, затем фыркнул нос, повернули ключ, и Екатерина Дмитриевна, войдя, увидела широкую спину мужа, который, не оборачиваясь, шел к столу, сел в кожаное кресло, положил локти на подлокотники, взял слоновой кости нож и резко провел им вдоль разгиба книги (роман Вассермана «Сорокалетний мужчина»)[2].

Все это делалось так, будто Екатерины Дмитриевны в комнате нет.

Она же села на диван, одернула юбку на ногах и, спрятав носовой платочек в сумку, щелкнула замком. При этом у Николая Ивановича вздрогнул клок волос на макушке.

– Я не понимаю только одного, – сказала она, – ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать.

Тогда он живо повернулся в кресле, вытянул шею и бороду и проговорил, не разжимая зубов:

– У тебя хватает развязности называть это моим настроением?

– Не понимаю.

– Превосходно! Ты не понимаешь? Ну а вести себя, как уличная женщина, кажется, очень понимаешь?

Екатерина Дмитриевна немного только раскрыла рот на эти слова. Глядя в побагровевшее до пота, обезображенное злостью лицо мужа, она проговорила тихо:

– С каких пор, скажи, ты начал говорить со мной неуважительно?

– Покорнейше прошу извинить! Но другим тоном я разговаривать не умею. Одним словом, я желаю знать подробности.

– Какие подробности?

– Не лги мне в глаза.

– Ах, вот ты о чем. – Екатерина Дмитриевна закатила, как от последней усталости, большие глаза свои. – Давеча я тебе сказала что-то такое... Я и забыла совсем.

– Я хочу знать – с кем это произошло?

– А я не знаю.

– Еще раз прошу не лгать...

– А я не лгу. Охота тебе лгать. Ну, сказала. Мало ли что я говорю со зла. Сказала и забыла.

Во время этих слов лицо Николая Ивановича было как каменное, но сердце его нырнуло и задрожало от радости: «Слава богу, наврала на себя». Зато теперь можно было безопасно и шумно ничему не верить, – отвести душу.

Он поднялся с кресла и, шагая по ковру, останавливаясь и разрезая воздух взмахами костяного ножа, заговорил о падении семьи, о растлении нравственности, о священных, ныне забытых, обязанностях женщины, жены, матери своих детей, помощницы мужа. Он упрекал Екатерину Дмитриевну в душевной пустоте, в легкомысленной трате денег, заработанных кровью («не кровью, а трепанием языка» – поправила Екатерина Дмитриевна). Нет, больше, чем кровью, – тратой нервов. Он попрекал ее беспорядочным подбором знакомых, беспорядком в доме, пристрастием к «этой идиотке» Великому Моголу и даже «омерзительными картинами, от которых меня тошнит в вашей мещанской гостиной».

Словом, Николай Иванович отвел душу.

Был четвертый час утра. Когда муж охрип и замолчал, Екатерина Дмитриевна сказала:

– Ничего не может быть противнее толстого и истерического мужчины. – Поднялась и ушла в спальню.

Но Николай Иванович теперь даже не обиделся на эти слова. Медленно раздевшись, он повесил платье на спинку стула, завел часы и с легким вздохом влез в свежую постель, с вечера еще постланную на кожаном диване.

«Да, живем плохо. Надо перестроить всю жизнь. Нехорошо, нехорошо», – подумал он, раскрывая книгу, чтобы для успокоения почитать на сон грядущий. Но сейчас же опустил ее и прислушался. В доме было тихо. Кто-то высморкался, и от этого звука забилось сердце. «Плачет, – подумал он, – ай, ай, ай, кажется, я наговорил лишнего».

И, когда он стал вспоминать весь разговор и то, как Катя сидела и слушала, ему стало ее жалко. Он приподнялся на локте, уже готовый вылезти из-под одеяла, но по всему телу поползла истома, точно от многодневной усталости, он уронил голову и уснул.

Даша, оставшись одна в своей чистенько прибранной комнате, вынула из волос гребень, помотала головой так, что сразу вылетели все шпильки, разбросала по стульям платье и белье, влезла в белую постель и, закрывшись до подбородка, зажмурилась. «Господи, все хорошо! Теперь ни о чем не думать, спать». Из угла глаза выплыла какая-то смешная рожица. Даша улыбнулась, подогнула колени и обхватила подушку. Темный, сладкий сон покрыл ее, и вдруг, явственно, в памяти раздался Катин голос: «Ну, конечно, неправда». Даша открыла глаза. «Я ни одного звука, ничего не сказала Кате, только спросила – правда или неправда. Она же ответила так, точно отлично понимала, о чем идет речь». Сознание, как иглою сквозь все тело, прокололо Дашу: «Катя меня обманула!» Затем, припоминая все мелочи разговора, Катины слова и движения, Даша ясно увидела, – да, действительно, обман. Она была потрясена. Катя изменила мужу, но, изменив, согрешив, налгав, стала точно еще очаровательнее. Только слепой не заметил бы в ней чего-то нового, какой-то особой, усталой нежности. И лжет она так, что можно с ума сойти – влюбиться. Но ведь она преступница. Господи, ничего не понимаю!

Даша была разволнована и сбита с толку. Пила воду, зажигала и опять тушила лампочку и до утра ворочалась в постели, чувствуя, что не может ни осудить Катю, ни понять того, что она сделала.

Екатерина Дмитриевна тоже не могла заснуть в эту ночь. Она лежала на спине, без сил, протянув руки поверх шелкового одеяла, и, не вытирая слез, плакала о том, что ей смутно, нехорошо и нечисто, и она ничего не может сделать, чтобы было не так, и никогда не будет такой, как Даша – пылкой и строгой, и еще плакала о том, что Николай Иванович назвал ее уличной женщиной и сказал про гостиную, что это – мещанская гостиная. И уже горько заплакала о том, что Алексей Алексеевич Бессонов вчера в полночь завез ее на лихом извозчике в загородную гостиницу и там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша овладел ею так, будто она была куклой, розовой куклой, выставленной на Морской, в магазине парижских мод мадам Дюклэ.

V

На Васильевском острове в только что отстроенном доме, по 19-й линии, на пятом этаже, помещалась так называемая «Центральная станция для борьбы с бытом», в квартире инженера Ивана Ильича Телегина.

Телегин снял эту квартиру под «обжитье» на год по дешевой цене. Себе он оставил одну комнату, остальные же, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал, с тем расчетом, чтобы поселились жильцы – тоже холостые и непременно веселые. Таких ему сейчас же и подыскал его бывший одноклассник и приятель Петр Петрович Сапожков.

Это были – студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе в жизни занятия по вкусу.

Жильцы вставали поздно, когда Телегин приезжал с завода завтракать, и не спеша принимались каждый за свои занятия. Антошка Арнольдов уезжал на трамвае на Невский, в кофейню, где узнавал новости и сочинял статейки. Валет обычно садился писать свой автопортрет. Сапожков запирался на ключ работать, – готовил речи и статьи о новом искусстве. Жиров пробирался к Елизавете Киевне и мягким, мяукающим голосом обсуждал с ней вопросы жизни. Он писал стихи, но из самолюбия никому их не показывал. Елизавета Киевна считала его гениальным.

Елизавета Киевна, кроме разговоров с Жировым и другими жильцами, занималась вязанием из разноцветной шерсти квадратов, не имеющих определенного назначения, причем пела грудным, сильным и фальшивым голосом малороссийские песни, или устраивала себе необыкновенные прически, или, бросив петь и распустив волосы, ложилась на кровать с книгой, – засасывалась в чтение до головных болей. Елизавета Киевна была красивая, рослая и румяная девушка, с близорукими, точно нарисованными, глазами, и одевавшаяся с таким безвкусием, что ее ругали за это даже телегинские жильцы.

Когда в доме появлялся новый человек, она зазывала его к себе, и начинался головокружительный разговор, весь построенный на остриях и безднах, причем она выпытывала – нет ли у ее собеседника жажды к преступлению? способен ли он, например, из-за одного любопытства убить? не ощущает ли в себе «самопровокации»? – это свойство она считала признаком всякого замечательного человека.

Телегинские жильцы даже прибили на дверях у нее таблицу этих вопросов; она была очень довольна и много хохотала. В общем, это была неудовлетворенная девушка, и все ждала каких-то «переворотов», «кошмарных событий», которые сделают жизнь увлекательной, такой, чтобы жить во весь дух, а не томиться с распущенными волосами.

Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участия в их развлечениях.

Однажды, на Рождестве, Петр Петрович Сапожков собрал жильцов и сказал им следующее:

– Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию, вот она: «Мы новые Колумбы! Мы гениальные возбудители![1] Мы семена нового че-

ловечества! Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Отныне нет добродетели! Семья, общественные приличия, браки – отменяются. Мы этого требуем. Человек, – мужчина и женщина, – должен быть голым и свободным. Половые отношения есть достояние общества. Юноши и девушки, мужчины и женщины, вылезайте из насиженных логовищ, идите, нагие и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя!..»

Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием «Блюдо Богов»[2], деньги на который отчасти даст Телегин, остальные нужно вырвать из пасти буржуев, – всего три тысячи.

Так была создана «Центральная станция по борьбе с бытом», название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюда Богов». Несколько богатых меценатов, адвокаты и даже сам Сашка Сакельман, с охотой, словно боясь, что их заподозрят в отсталости, дали требуемую сумму – три тысячи. Были заказаны бланки, на оберточной бумаге, с непонятной надписью – «Центрифуга», и приступлено к приглашению ближайших сотрудников и сбору материала. Художник Валет подал идею, чтобы комната Сапожкова, превращенная в редакцию, была обезображена циничными рисунками. Он нарисовал на стенах двенадцать автопортретов. Долго думали о меблировке. Наконец было решено убрать из комнаты все, кроме большого стола, оклеенного золотой бумагой: посетители пускай потрудятся стоять.

После выхода первого номера в городе заговорили о «Блюде Богов». Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто и не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив[3]. Литературный критик Чирва растерялся, – в «Блюде Богов» его назвали сволочью[4]. Екатерина Дмитриевна Смоковникова немедленно подписалась на журнал, на весь год, и решила устроить вторник с футуристами.

Ужинать к Смоковниковым был послан от «Центральной станции» Петр Петрович. Он появился в грязном сюртуке из зеленой бумазеи, взятом напрокат в театральной парикмахерской из пьесы «Манон Леско»[5]. Сапожков подчеркнуто много ел за ужином, смеялся пронзительно, так что самому было неприятно, намеревался оскорбить Чирву, но под действием «магнетических» глаз критика поколебался и лишь ограничился неприятностью хозяйке, сказав ей: «А рыбка-то у вас с душком». Затем развалился и курил, поправляя пенсне на мокром носу. В общем, все ожидали большего.

После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства»[6]. На одно из таких кощунств пришла Даша.

Парадную дверь ей отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с Даши ботики, шубу, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Дашу удиви-

ло, что в прихожей пахнет капустой и во всех углах лежит что-то неприбранное. Жиров, скользя бочком за ней по коридору, к месту кощунства, спросил:

– Скажите, вы какими духами душитесь? Замечательно приятные духи какие.

Затем удивила Дашу очевидность всего этого, так нашумевшего, дерзновения. Правда, на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, срамные фигуры, падающие небоскребы[7], словом, все, что составляло портрет Василия Веньяминовича Валета, молча стоявшего здесь же, с нарисованными зигзагами и запятыми на щеках. Правда, хозяева и гости, – а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смоковниковых, – сидели на неструганых досках, положенных на обрубки дерева, – дар Телегина. Правда, читались преувеличенно страстными голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про «плевки в старого небесного сифилитика», про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола, про какого-то до головной боли непонятного кузнечика, в коверкоте, с бедекером[8] и биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даше почему-то все эти ужасы казались убогими и слишком очевидными. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время перерыва он подошел к Даше и спросил с застенчивой улыбкой, – не хочет ли она чаю и бутербродов:

– И чай и колбаса у нас обыкновенные, хорошие.

У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза чуть-чуть косили от застенчивости.

Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится, поднялась и пошла в столовую. Там, на столе, среди грязной посуды, стояли блюдо с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты, оглянулся, ища тряпку, вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд «наиболее деликатный». Все это он делал не спеша, большими своими, очень сильными руками, и приговаривал, словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора:

– Хозяйство у нас в беспорядке, это верно, но чай и колбаса первоклассные, от Елисеева[9]. Были конфекты, но съедены, хотя, – он поджал губы и поглядел на Дашу, в синих глазах его появился испуг, затем решимость, – если позволите? – и вытащил из жилетного кармана две карамельки.

«С таким не пропадешь», – подумала Даша, и тоже, чтобы ему было приятно, сказала:

– Как раз мои любимые карамельки.

Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчичницу. На его большом и широком лбу от напряжения собрались морщины. Он осторожно вытащил из кармана платок и осторожно вытер лоб.

У Даши губы сами растягивались в улыбку: этот большой, красивый человек до того в себе не уверен и застенчив, что готов спрятаться за горчичницу. У него где-нибудь в Арзамасе, – так ей показалось, – живет чистенькая старушка-мать и пишет оттуда строгие письма насчет белья, чтобы не пропадало у столичных прачек, насчет его «постоянной манеры давать взаймы денежки разным дуракам», насчет того, что только «скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей». И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку.

– Вы где служите? – спросила она.

Телегин сейчас же поднял глаза, увидел ее улыбку, улыбнулся сам, – понял, – подумала Даша, и ответил:

– На Обуховском заводе[10].

– Интересная работа у вас?

– Не знаю. По-моему – всякая работа интересна.

– Мне кажется, – рабочие должны вас очень любить.

– Вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что им меня любить? Я с ними строг. Хотя, отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения.

– Скажите, – вам, действительно, нравится все, что сегодня делалось в той комнате?

Губы Ивана Ильича раздвинулись в широкую улыбку, морщины сошли со лба и он громко рассмеялся:

– Мальчишки! Хулиганы отчаянные! Замечательные мальчишки! Я своими жильцами очень доволен, Дарья Дмитриевна. Иногда в нашем деле бывают неприятности, вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь... На следующий день вспомнишь, – и смешно.

– А мне эти кощунства очень не понравились, – сказала Даша строго, – это просто гадко и нечистоплотно.

Он с удивлением посмотрел ей в глаза, она подтвердила, – «очень не понравилось».

– Разумеется, виноват прежде всего я сам, – проговорил Иван Ильич раздумчиво, – я их к этому поощрял. Действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить непристойности... Ужасно, что вам все это было так неприятно.

Даша с улыбкою глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку.

– Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется – вы очень хороший человек. Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда.

Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись, а ему казались они страшными, – до того были потрясающе

прекрасны: серые, большие, холодноватые. Иван Ильич, в величайшем смущении сгибая и разгибая ложку, пытался отрицать, вообще, самого себя.

На его счастье в столовую вошла Елизавета Киевна; на ней была накинута турецкая шаль и на ушах бараньими рогами закручены две косы. Даше она подала длинную, мягкую руку, представилась: «Расторгуева», – села и сказала:

– О вас много, много рассказывал Жиров. Сегодня я изучала ваше лицо. Вас коробило. Это хорошо.

– Лиза, хотите холодного чаю? – поспешно спросил Иван Ильич.

– Нет, Телегин, вы знаете, что я никогда не пью чаю... Так вот, вы думаете, конечно, что за странное существо говорит с вами? Я – никто. Ничтожество. Бездарна и неприятна в общежитии.

Иван Ильич, стоявший у стола, в отчаянии отвернулся. Даша опустила глаза. Елизавета Киевна, с улыбкой разглядывая ее, продолжала:

– Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорьте, вы это знаете сами. В вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что все это кончится очень просто, – придет самец, возьмет вас, народите ему детей, потом умрете. Скука!

У Даши от обиды задрожали губы.

– Я и не собираюсь быть необыкновенной, – ответила она, – и не знаю, почему вас так волнует моя будущая жизнь.

Елизавета Киевна еще веселее улыбнулась, глаза же ее продолжали оставаться грустными и кроткими.

– Я же вас предупредила, что я ничтожная, как человек, и омерзительная, как женщина. Переносить меня могут очень немногие, и то из жалости, как, например, Телегин.

– Черт знает, что вы говорите, Лиза, – пробормотал он, не поднимая головы.

– Я ничего от вас не требую, Телегин, успокойтесь. – И она опять обратилась к Даше:

– Вы переживали когда-нибудь бурю? Я пережила одну бурю. Был человек, я его любила, он меня ненавидел, конечно. Я жила тогда на Черном море. Была буря. Я говорю этому человеку: «едем»... От злости он поехал со мной... Нас понесло в открытое море... Вот было весело! Чертовски весело! Он сидел весь зеленый. Я сбрасываю с себя платье и говорю ему...

– Слушайте, Лиза, – сказал Телегин, морща губы и нос, – вы врете. Ничего этого не было, я знаю.

Тогда Елизавета Киевна с непонятной улыбкой поглядела на него и вдруг начала смеяться. Положила локти на стол, спрятала в них лицо и, смеясь, вздрагивала полными плечами. Даша поднялась и сказала Телегину, что хочет домой и уедет, если можно, ни с кем не прощаясь.

Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа, сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довел Дашу до угла и посадил на извозчика – старичка на старой лошадке, занесенной снегом. И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки с сидящей в них фигурой девушки. Потом, не спеша, вернулся домой, в столовую. Там, у стола, все так же – лицом в руки – сидела Елизавета Киевна. Телегин почесал подбородок и проговорил, морщась:

– Лиза.

Тогда она быстро, слишком быстро, подняла голову, взглянула прямо в глаза.

– Лиза, для чего, простите меня, вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно?

– Влюбился, – негромко проговорила Елизавета Киевна, продолжая глядеть на него близорукими, грустными, точно нарисованными, глазами, – сразу вижу. Вот скука!

– Это совершенная неправда! Мне очень неприятен этот разговор.

– Ну, виновата, – она лениво встала и ушла, волоча за собой по полу пыльную турецкую шаль.

Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, громко рассмеялся:

– Чепуха! Вот ерунда-то!

Для Даши эта встреча была, как одна из многих, – встретила очень славного человека, и только. Даша была в том еще возрасте, когда видят и слышат плохо: слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, – будь даже это человеческое лицо, – видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродства поражают фантазию, а красивые люди, и обольстительные пейзажи, и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в девятнадцать лет.

Не так было с Иваном Ильичом. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно (он с ней не сразу даже и поздоровался) и просто (вошла, села, положила муфту на колени) появиться в их оголтелой квартире эта девушка с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и гордым детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева. А теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть? Мерзавец!

Иван Ильич за свою жизнь (ему недавно исполнилось двадцать девять лет) влюблялся раз шесть: еще реалистом, в Казани, – в зрелую девицу Марусю Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бесплодно гуляющую, все в одной и той же плюшевой шубке, по главной улице, в 4 часа; но Марусе Хвоевой было не до шуток, Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в опереттах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась, по возможности, в костюме для морского купания, что и подчеркивалось дирекцией в афишах: «Знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за красоту ног».

Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в дом и поднес букет, нарванный в городском саду. Но Ада Тилле, сунув эти цветы понюхать какой-то лохматой собачонке, сказала Ивану Ильичу, что от местной пищи у нее совершенно испорчен желудок, и попросила его сбегать в аптеку.

Затем, уже студентом, в Петербурге, он увлекся было медичкой Вильбушевич и даже ходил к ней на свиданье в анатомический театр, но, как-то само собой, из этого ничего не вышло, и Вильбушевич уехала служить в земство.

Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния, модисточка из большого магазина, Зиночка, и он от смущения и душевной мягкости делал все, что ей хотелось, но, в общем, облегченно вздохнул, когда она вместе с отделением фирмы уехала в Москву, – прошло постоянное ощущение каких-то неисполненных обязательств.

Последнее нежное чувство было у него в позапрошлом году, летом, в июне. На дворе, куда выходила его комната, напротив, в окне, каждый день перед закатом, появлялась худенькая и бледная девушка и, отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щеткой свое, всегда одно и то же, рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк.

Там, в парке на Петербургской стороне, Иван Ильич и разговорился с ней, – и с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали.

Девушка эта, Оля Комарова, была одинокая, служила в нотариальной конторе и все хворала – кашляла. Они беседовали об этом кашле, о болезни, о том, что по вечерам тоскливо бывает одинокому человеку, и о том, что какая-то ее знакомая, Кира, полюбила хорошего человека и уехала за ним в Крым. Разговоры были скучные. Оля Комарова до того уже не верила в свое счастье, что, не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях, и даже о том, что иногда рассчитывает, – вдруг он полюбит ее, сойдется, увезет в Крым.

Иван Ильич очень жалел ее и уважал, но полюбить так и не мог, хотя иногда, после их беседы, лежа на диване в сумерках, думал, – какой он эгоист, сластолюбец, грубый и плохой человек.

Осенью Оля Комарова простудилась и слегла. Иван Ильич отвез ее в больницу, а оттуда на кладбище. Перед смертью она сказала: «Если я выздоровлю, вы женитесь на мне?» «Честное слово, женюсь», – ответил Иван Ильич.

Чувство к Даше не было похоже на те, прежние. Елизавета Киевна сказала: «Влюбился». Но влюбиться можно было во что-то предполагаемое доступным, и невозможно, например, влюбиться в статую, в облако.

К Даше было какое-то особое, незнакомое ему чувство, притом мало понятное, потому что и причин-то к нему было мало – несколько минут разговора, да стул в углу комнаты.

Чувство это было даже и не особенно острое, но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать другим, тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал: «Мне скоро тридцать лет, а жил я до сих пор, как трава рос. Запустение страшное. Эгоизм и безразличие к людям. В общем – нечистоплотность. Надо подтянуться, пока не поздно».

В конце марта, в один из тех передовых, весенних дней, неожиданно врывающихся в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые кадки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь – а уж какой-то мужчина, с острой бородкой, идет в одном пиджачке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову – небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами, – в такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы «Сименс и Гальске», что на Невском[11], расстегнул хорьковую шубу и прищурился от солнца, подумав: «На свете жить все-таки недурно».

И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла, в синем весеннем пальто, с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком; на синей ее шапочке покачивались белые ромашки[12]; лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спины прохожим, под ноги им, на спицы и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью.

Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно, точно кулак, било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову.

Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. «Новые и интересные приключения Джека потрошителя животов. 2400 метров»[13], – прочел он раз шесть и сообразил, что ничего не понимает и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало.

А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась, все так же – с ромашками и сверточком, по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу и сказал:

– Дарья Дмитриевна, я не помешаю, если поздороваюсь?

Она чуть-чуть вздрогнула. Затем подняла на него холодноватые глаза, в них от света блестели зеленые точки, улыбнулась ласково и подала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески.

– Вот, как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас... Правда, правда, думала. – Даша кивнула головкой, и на шапочке закивали ромашки.

– У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском, и теперь весь день свободный... И день какой-то такой... – Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку.

Даша спросила:

– Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома?

– Конечно... да...

Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени.

– Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Говорите, не раздумывая, а прямо, – как спрошу, так и ответьте.

Лицо ее было озабочено, и брови сдвинуты.

– Раньше мне казалось так, – она провела рукой по воздуху, – есть воры, лгунишки, убийцы и уличные женщины. Но они существуют так же, как змеи, пауки и мыши, – я боюсь мышей, – а люди, все люди – немного смешные, со слабостями и чудачествами, но все – добрые и ясные... Вон, видите – идет барышня – ну, вот, какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня?

– Но это прекрасно, Дарья Дмитриевна...

– Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту... Я вижу, – человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь, и грешит, грешит ужасно при этом. Вы не подумайте, – не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий: ложь, – Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул, – человек этот прелюбодей. Женщина – замужняя. Значит, грешить можно? Я спрашиваю, Иван Ильич.

– Нет, нет, нельзя.

– Почему нельзя?

– Этого сейчас сказать не могу. Но чувствую, что нельзя.

– А вы думаете – я сама этого не чувствую? С двух часов брожу по городу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне все представляется, что в этих домах, за занавесками, попрятались черные, черные люди. И я должна быть с ними, вы понимаете?

– Нет, не понимаю, – быстро ответил он.

– Нет, должна. И пойду. Потому что вся жизнь там, за занавесками, а не здесь. Ах, какая тоска у меня! Значит, просто-напросто я – девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых.

Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту кем-то брошенную коробку от папирос, с картинкой – зеленая дама, изо рта дым. Иван Ильич, глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство, как тень на стене, потому что и он сам не более, как добрый, славный Иван Ильич.

– Ну, прощайте, спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало от наших разговоров, но все же я вам очень, очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете. Надо быть взрослой, ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. – Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд, пропала там в темноте.

VI

Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении: пахло сырыми цветами, и сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом, подбежала и опустила в нее лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные.

Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределимого, а сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок. Но кто их прислал? Кто думал о ней сегодня так внимательно, что угадал даже то, чего она сама не понимала. Вот только бант – совсем уж здесь не к месту. Развязывая его, Даша подумала: «Хоть и беспокойная, но не плохая девушка. Какими бы вы там грешками ни занимались – она пойдет своей дорогой. Быть может, думаете, что слишком задирает нос? – Найдутся люди, которые поймут задранный нос и даже оценят».

В банте оказалась засунутой записка на толстой бумаге, два слова незнакомым, крупным почерком: «Любите любовь»[1]. С обратной стороны напечатано: «Цветоводство Ницца»[2]. Значит, там, в магазине, кто-то и написал: «Любите любовь». Даша с корзиной в руках вышла в коридор и крикнула:

– Могол, кто мне принес эти цветы?

Великий Могол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула, точно ее эти вещи ни с какой стороны не касаются:

– Екатерине Дмитриевне мальчишка из магазина принес. А барыня вам велела поставить.

– От кого, он сказал?

– Ничего не говорил, только сказал, чтобы передали барыне.

Даша вернулась к себе и стала у окна, заложив руки за спину. Сквозь стекла был виден закат, – слева, из-за кирпичной стены соседнего дома он разливался по небу, зеленел и линял. Появилась звезда в этой зеленеющей пустоте, переливаясь, сверкала, как вымытая. Внизу, в узкой и затуманившейся теперь улице, сразу, во всю ее длину, вспыхнули электрические шары, еще не яркие и не светящие. Близко прокрякал автомобиль, и было видно, как покатил вдоль улицы в вечернюю мглу.

В комнате стало совсем темно, и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех. Это ясно. Даша стояла и думала, что вот она, как муха, попала в паутину тончайшего и соблазнительного греха. Он в этом влажном запахе цветов, в двух словах: «Любите любовь», – жеманных и волнующих, и в кротком очаровании этого вечера.

И вдруг ее сердце сильно и часто забилось. Даша почувствовала, точно прикасается пальцами, видит, слышит, ощущает что-то запретное, скрытое, обжигающее сладостью. Она, внезапно, всем духом словно разрешила себе, дала волю. И нельзя было понять, как случилось, что в то же мгновение она была уже по эту сторону. Строгость, ледяная стеночка растаяла дымкой, такой же, как та, в конце улицы, куда беззвучно унесся автомобиль с двумя дамами в белых шляпах.

Только билось сердце, легко кружилась голова, и во всем теле веселым холодком сама собою пела какая-то музыка: «Я живу, люблю. Жизнь, весь свет – мой, мой, мой».

«Послушайте, моя милая, – вслух проговорила Даша, открывая глаза, – вы девственница, друг мой, у вас просто дурной характер».

Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и, не спеша обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать все, что произошло за эти две недели, после Катиного греха.

В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежной с Николаем Ивановичем. Он ходил веселый и собирался строить дачу в Финляндии. Одна Даша переживала молча эту «трагедию» двух ослепших людей. Заговорить первая с сестрой она не решалась, а Катя, всегда такая внимательная к Дашиным настроениям, на этот раз точно ничего не замечала. Екатерина Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние костюмы к Пасхе, пропадала у портних и модисток, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала, по просьбе Николая Ивановича, литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левой фракции социал-демократической партии, так называемых большевиков, прозябавших в Париже, собирала гос-

тей, кроме вторников, еще и по четвергам, – словом, у нее не было ни минуты свободной.

«А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали, и не поймете, покуда сами не обожжете крылышки», – подумала Даша и тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бессонова. Она разрешила себе, и он овладел ее мыслями. Даша притихла. В темной комнате тикали часики.

Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил:

– Давно вернулась?

Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую. Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала:

– Почему ты красная?

Николай Иванович, шибко потерев руки, отпустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, она стала слушать болтовню о знакомых, встреченных во время прогулки.

Рассказывая, Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, вуальки, шелковые башмачки, – множество маленьких пустяков, пахнущих ее духами. Оказывается, что Роза Абрамовна одевается «ни у какой ни у мадам Дюклэ», а дома, и притом прескверно, что Ведренский опять проворонил процесс и сидит без денег, встретила его жену, плачется, – очень трудно стало жить. У Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой, передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот, – весна-то, весна! А день какой сегодня?! Все бродят, как пьяные мухи, по улицам. Да, еще новость, – встретили Акундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция. Понимаешь, на заводах, в деревнях – повсюду брожение. Ах, поскорее бы! Николай Иванович до того обрадовался, что повел меня к Пивато[3], и мы выпили бутылку шампанского, ни с того ни с сего, за будущую революцию.

Даша, молча слушая сестру, открывала и закрывала крышечки на хрустальных флаконах.

– Катя, – сказала она внезапно, – понимаешь, я такая, какая есть, никому не нужна. – Екатерина Дмитриевна с шелковым чулком, натянутым на руку, обернулась и внимательно взглянула на сестру. – Главное, я не нужна самой себе, такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо выше остальных людей.

– Не понимаю тебя, – сказала Екатерина Дмитриевна.

Даша поглядела на ее спину и вздохнула:

– Все не хороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хороша. Я здесь чужая, мне очень тяжело от этого. Я и тебя осуждаю, Катя.

– За что? – не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна.

– Нет, ты пойми. Хожу с задранным носом, – вот и все достоинства. Просто – это глупо, и мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, – понимаешь, мне очень нравится один человек.

Даша проговорила это, опустив голову; засунула палец в хрустальный флакончик и не могла его оттуда вытащить.

– Ну, что же, девочка, слава богу, если нравится. Будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе. – Екатерина Дмитриевна легонько вздохнула.

– Видишь ли, Катя, это все не так просто. По-моему, я не люблю его.

– Если нравится – полюбишь.

– В том-то и дело, что он мне не нравится.

Тогда Екатерина Дмитриевна закрыла дверцу шкафа и остановилась около Даши.

– Ты же только что сказала, что нравится... Вот, действительно.

– Катюша, не придирайся. Помнишь англичанина в Сестрорецке, вот тот и нравился, была даже влюблена. Но тогда я была сама собой... Злилась, пряталась, по ночам ревела, и все сошло с меня, как водица. А этот... Я даже не знаю – он ли это... Нет, он, он, он... Смутил меня... И вся я другая теперь. Точно дыму какого-то нанюхалась... Войди он сейчас ко мне в комнату – не пошевелюсь...

– Господи. Даша, что ты говоришь?

– Катя, ведь это называется грех?.. Вот я так понимаю.

Екатерина Дмитриевна присела на стул к сестре, привлекла ее, взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь, но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на синеющее окно, на звезды.

– Даша, как его зовут?

– Алексей Алексеевич Бессонов.

Тогда Катя пересела на стул, рядом, положила руку на горло и сидела, не двигаясь. Даша не видела ее лица, – оно все было в тени, – но чувствовала, что сказала ей что-то ужасное.

«Ну, и тем лучше», – отворачиваясь, подумала она. И от этого «тем лучше» стало легко и пусто:

– Почему, скажи пожалуйста, другие все могут, а я не могу? Два года слышу про шестьсот шестьдесят шесть соблазнов, а всего-то за всю жизнь один раз и целовалась с гимназистом на катке, в теплушке.

Она вздохнула громко и замолчала. Екатерина Дмитриевна сидела теперь согнувшись, опустив руки на колени.

– Бессонов очень дурной человек, – проговорила она, – он страшный человек, Дашенька. Ты слушаешь меня?

– Да.

– Он всю тебя сломает.

– Ну, что же теперь поделаешь!

– Я не хочу этого! Пусть лучше другие... Пусть лучше я погибну! Но не ты, не ты, милочка!

– Нет, вороненок не хорош, он черен телом и душой, – нарочно засмеявшись, сказала Даша, – чем же Бессонов плох, скажи?

– Не могу сказать... Не знаю... Но я содрогаюсь, когда думаю о нем.

– А ведь он тебе тоже, кажется, нравился немножко?

– Никогда... Ненавижу!.. Храни тебя Господь от него!

– Вот видишь, Катюша... Теперь уж я наверно попаду к нему в сети.

– О чем ты говоришь?.. Мы с ума сошли обе!

Но Даше именно этот разговор и нравился, точно шла на цыпочках по дощечке. Нравилось, что волнуется Катя. О Бессонове она почти уже и не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо. Все это преувеличивала, и выходило так, будто она ночи напролет томится грешными мыслями и чуть ли не сейчас готова бежать к Бессонову. Под конец ей самой стало смешно, захотелось схватить Катю за плечи, расцеловать: «Вот уж кто дурочка, так это ты, Катюша». Но Екатерина Дмитриевна вдруг соскользнула со стула на коврик, обхватила Дашу, легла лицом в ее колени и, вздрагивая всем телом, крикнула как-то страшно даже:

– Прости, прости меня!.. Даша, прости меня!

Даша перепугалась. Нагнулась к сестре и от страха и жалости сама заплакала, всхлипывая, стала спрашивать – о чем она говорит, за что ее простить? Но Екатерина Дмитриевна стиснула зубы и только ласкала сестру, целовала ей руки.

За обедом Николай Иванович, взглянув на обеих сестер, сказал:

– Так-с. А нельзя ли и мне быть посвященным в причину сих слез?

– Причина слез – мое гнусное настроение, – сейчас же ответила Даша, – успокойся, пожалуйста, я и без тебя понимаю, что вся, вместе с этой вилкой, не стою мизинчика твоей супруги.

В конце обеда, к кофе, пришли гости. Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличек стал звонить в гаражи. Катю и Дашу послали переодеваться. Пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился:

– В конце концов от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература-с. – Но и его взяли в автомобиль вместе с другими.

В «Северной Пальмире» было полно народом[4] и шумно; огромная, низкая зала под землею ярко залита белым светом шести хрустальных люстр.

Люстры, табачный дым, поднимающийся к ним из партера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики, – зеленые, лиловые и седые, – пучки снежных эспри[5], драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах снопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользящие в тесноте лакеи, испитой человек, с мокрой прядью волос на лбу, с поднятыми руками, и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового бархата, блестящая медь труб – все это повторялось и множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир.

Даша, потягивая через соломинку шампанское, наблюдала за столиками. Вот перед запотевшим ведром и кожурой от лангуста сидит бритый человек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат. Очевидно, сидит и думает о том, что, в конце концов, электричество потухнет, а все люди умрут, – стоит ли вообще радоваться чему-нибудь?

Вот заколыхался и пошел в обе стороны занавес. На эстраду выскочил маленький, как ребенок, японец, с трагическими морщинами, и замелькали вокруг него в воздухе пестрые шары, тарелки, факелы. Глядя на них, Даша подумала: «Почему Катя сказала – прости, прости?»

И вдруг точно обручем стиснуло голову, остановилось сердце. «Неужели?» Но она тряхнула головой, вздохнула глубоко, не дала даже подумать себе, что – «неужели», и поглядела на сестру.

Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стола такая утомленная, печальная и красивая, что у Даши глаза налились слезами. Она поднесла палец к губам и незаметно дунула на него. Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно, медленно улыбнулась.

Часов около двух начался спор – куда ехать? Екатерина Дмитриевна попросилась домой. Николай Иванович говорил, что, как все, так и он, а «все» решили ехать «дальше».

И тогда Даша сквозь поредевшую толпу увидела Бессонова. Он сидел, положив локоть далеко на стол и внимательно слушал Акундина, который с полуизжеванной папиросой во рту говорил ему что-то, резко чертя ногтем по скатерти. На этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Его лицо было сосредоточено и бледно. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала: «Конец, конец всему». Но сейчас же их обоих заслонил широкобрюхий татарин-лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович, Дашу окликнули, и она так и осталась, уколотая любопытством, взволнованная и растерянная.

Когда вышли на улицу – неожиданно бодро и сладко пахнуло морозцем. В черно-лиловом небе пылали созвездия. Кто-то за Дашиной спиной проговорил со смешком: «Чертовски шикарная ночь!» К тротуару подкатил автомобиль, сзади, из бензиновой гари, вынырнул оборванный человек, сорвал картуз и, приплясывая, распахнул перед Дашей дверцу мотора. Даша, входя,

взглянула, – человек был худой, с небритой щетиной, с перекошенным ртом, и весь трясся, прижимая локти.

– С благополучно проведенным вечером в храме роскоши и чувственных удовольствий! – бодро крикнул он хриплым голосом и, живо подхватив брошенный кем-то двугривенный, салютовал рваной фуражкой. Даша почувствовала, как по ней точно царапнули его черные свирепые глазки.

Домой вернулись поздно. Даша, лежа на спине в постели, даже не заснула, а забылась, будто все тело у нее отнялось, – такая была усталость.

Вдруг, со стоном сдергивая с груди одеяло, она села, раскрыла глаза. В окно на паркет светило солнце... «Боже мой, что за ужас был только что?!» Было так страшно, что она едва не заплакала; когда же собралась с духом – оказалось, что забыла все. Только в сердце осталась боль от какого-то отвратительно страшного сна.

После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда, действительно, вела суровую, трудовую жизнь – зубрила постылый курс римского права. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки (утром решено было носить только нитяные), пудрить руки и плечи, перечесываться. «Устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо, а то все кричат: делай модную прическу, а как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются». Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского.

Даше вдруг стало до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. В дверь сунулся было Николай Иванович, но, увидев, что Даша в одной рубашке и плачет, позвал жену. Прибежала Катя, схватила платье, воскликнула: «Ну, это сейчас отойдет!» – и кликнула Великого Могола, которая появилась с бензином и горячей водой.

Платье отчистили, Дашу одели. Николай Иванович чертыхался из прихожей: «Ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать». И, конечно, в театр опоздали.

Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина, с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами, стоя под плоским деревом, говорил девушке в ярко-розовом: «Софья Ивановна, я люблю вас, люблю вас», – и держал ее за руку. И, хотя пьеса была не жалобная, Даше все время хотелось плакать, жалеть девушку в ярко-розовом, и было досадно, что действие не так поворачивает. Девушка, как выяснялось, и любит и не любит, на объятие ответила русалочным хохотом и убежала к мерзавцу, белые брюки которого мелькали на втором плане, между стволов. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то рукопись – дело его жизни, и первое действие окончилось.

В ложе появились знакомые, и начался обычный, торопливо-приподнятый, разговор.

Маленький Шейнберг, с голым черепом и бритым, измятым лицом, словно все время выпрыгивающим из жесткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает:

– Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно, наконец, покончить с этим проклятым вопросом.

На это ответил угрюмый, большой Буров, следователь по особо важным делам – либерал, у которого на Рождестве сбежала жена с содержателем скаковой конюшни:

– Как для кого – для меня вопрос решенный. Женщина лжет самым фактом своего существования, мужчина лжет при помощи искусства. Половой вопрос – просто мерзость, а искусство – один из видов уголовного преступления.

Николай Иванович захохотал, глядя на жену. Буров продолжал мрачно:

– Птице пришло время нести яйца, – самец одевается в пестрый хвост. Это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пестрый. На дереве распускается цветок – тоже ложь, приманка, а суть в безобразных корнях под землей. А больше всего лжет человек. На нем цветов не растет, хвоста у него нет, приходится пускать в дело язык, – ложь сугубая и отвратительная, так называемая любовь и все, что вокруг нее накручено. Вещи загадочные для барышень в нежном возрасте, только, – он покосился на Дашу, – в наше время – полнейшего отупения – этой чепухой занимаются серьезные люди. Да-с, Российское государство страдает засорением желудка.

Он с катаральной гримасой нагнулся над коробкой конфект, покопал в ней пальцем, выбрал шоколадную с ромом, вздохнул, положил в рот и поднял к глазам большой бинокль, висевший у него на ремешке через шею.

Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличек, шевеля бровями, взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал.

– Кошмар, кошмар! – быстро проговорил Шейнберг.

Николай Иванович ударил себя по коленке:

– Революция, господа, революция нужна нам немедленно! Иначе мы просто задохнемся. У меня есть сведения, – он понизил голос, – на заводах очень не спокойно.

Все десять пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения на воздух:

– Но когда же, когда? Невозможно без конца ждать!

– Доживем, Яков Александрович, доживем, – проговорил Николай Иванович весело, – и вам портфельчик вручим министра юстиции-с, ваше превосходительство.

Даше надоело слушать об этих проблемах, революциях и портфельчиках. Облокотясь о бархат ложи и другою рукою обняв Катю за талию, она глядела

в партер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти уловленные в толпе взгляды – нежные мужские и злые женские – и обрывки фраз, и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос.

– Катюша, я тебя люблю, – шепотом проговорила Даша.

– И я.

– Ты рада, что я у тебя живу?

– Очень.

Даша раздумывала, что бы ей еще сказать Кате доброе. И вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держа в руках шапку и афишу и давно уже, исподлобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое, твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, – как рожь.

Встретясь глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покосился опять на ложу и, видя, что Даша смеется, покраснел, попятился, наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хор муз» и, махнув рукой, пошел к выходу. Даша сказала сестре:

– Катя, это и есть Телегин.

– Вижу, очень милый.

– Поцеловала бы, до чего мил. И, если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша.

– Вот, Даша!..

– Что?

Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце, – у себя, в улиточьем дому было неблагополучно: на минуту забылась, а заглянула опять туда, – тревожно, темно, душно.

Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даше показалось, что она точно выгнана из дому, – некуда от самой себя укрыться. Она вздохнула и внимательно стала слушать.

Человек с наклеенной бородой продолжал грозиться сжечь рукопись, девушка издевалась над ним, сидя у рояля. И было очевидно, что эту девицу поскорее нужно выдать замуж, чем тянуть еще канитель на три акта. Все это – душевный вывих, не что иное, как глупость.

Даша подняла глаза к плафону зала, – там, среди облаков, летела прекрасная, полуобнаженная женщина, с радостной и ясной улыбкой. «Боже, до чего похожа на меня», – подумала Даша. И сейчас же увидела себя со стороны: сидит существо в ложе, ест шоколад, врет, путает и ждет, чтобы само собою случилось что-то необыкновенное. Но ничего не случится. «И жизни мне

нет, покуда не пойду к нему, не услышу его голоса, не почувствую его всего. А остальное – ложь. Просто – нужно быть честной».

С этого вечера Даша не раздумывала более – любит ли Бессонова, или тянется к нему от греховной какой-то размягченности, больного любопытства. Она знала теперь, что пойдет к нему, и боялась этого часа. Одно время она решила было уехать к отцу, в Самару, но подумала, что полторы тысячи верст не спасут от искушения, и махнула рукой.

Ее здоровая девственность негодовала, но что можно было поделать со «вторым человеком», когда ему помогало все на свете. И, наконец, было невыносимо оскорбительно так долго страдать и думать об этом Бессонове, который и знать-то ее не хочет, живет в свое удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками[6]. А Даша, вся до последней капельки, наполнена им, вся в нем.

Даша теперь брезговала собой. Нарочно гладко причесывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое – гимназическое – платье, привезенное еще из Самары, с тоской, упрямо, зубрила римское право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной оказалось нелегко. Даша просто трусила.

В начале апреля, в прохладный вечер, когда закат уже потух и зеленовато-линялое небо светилось фосфорическим светом, не бросая теней, Даша возвращалась с островов пешком.

Дома она сказала, что идет на курсы, а вместо этого проехала в трамвайчике до Елагина моста и бродила весь вечер по голым аллеям, переходила мостики, глядела на воду, на лиловые сучья, распластанные в оранжевом зареве заката, на лица прохожих, на плывущие за мшистыми стволами огоньки экипажей. Она не думала ни о чем и не торопилась.

Было спокойно на душе, и всю ее, словно до костей, пропитал весенний, солоноватый воздух взморья. Ноги устали, но не хотелось возвращаться домой, в комнату, где столько было передумано душных мыслей.

По широкому проспекту Каменноостровского крупной рысью катили коляски, проносились длинные автомобили, с шутками и смехом двигались кучки гуляющих. Даша свернула в боковую улочку.

Здесь было совсем тихо и пустынно. Зеленело небо над крышами. Из каждого почти дома, из-за опущенных занавесей, раздавалась музыка. Вот разучивают сонату, вот – знакомый, знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина переливаются четыре хрустальных голоса фуги. Словно в тишине этого синеватого вечера пел самый воздух.

И у Даши, насквозь пронизанной звуками, тоже все пело и все тосковало. Казалось, тело стало легким и чистым, без пятнышка.

Даша свернула за угол, прочла на стене дома номер, усмехнулась и, подойдя к парадной двери, где над медной львиной головой была прибита визитная карточка «А. Бессонов», сильно позвонила.

VII

В железные ворота постучали. На каменной тумбе, в тени воротной арки, зашевелился тулуп, поднялась рука со звенящими ключами, шмыгнула по носу. Тулуп двинулся, взвизгнул замок, и тяжелые ворота приоткрылись.

На улицу вышли двое, пряча подбородки в поднятые воротники, – Бессонов и Акундин. Из черной овчины тулупа высунулось подслеповатое личико ночного сторожа, попросило у них на чаек. Бессонов опустил ему в конец рукава двугривенный и повернул направо по пустынной улице. Акундин шел немного сзади, затем догнал его и взял под руку:

– Ну что, Алексей Алексеевич, как вам понравился наш пророк Елисей?

Бессонов сразу остановился:

– Послушайте, но ведь это бред! За воротами, на втором дворе, на черной лестнице, в душной комнате, среди книг, табаку, сидеть и думать... Вы вглядывались в его лицо?.. Без кровинки... Какой-то особенный, красный рот, точно он слова обсасывает губами. Но, подумайте, если осуществить все, о чем он говорил?

– Большая будет потеха на свете, Алексей Алексеевич.

– Нет, это бред!.. На старом диване, в табачном дыму зажигать мировой пожар!.. Что вы мне говорите, – вот льет дождик, так и будет лить до скончания века... Камня вы с места не сдвинете.

Они стояли под фонарем. Бессонов глядел на пропадающие во мгле мелкого дождя зеленоватые точки огней. Редкие прохожие, отражаясь в черном асфальте, спешили по домам, – руки в карманы, носы в воротники. Акундин, в большой серой шляпе, глядел снизу вверх на Бессонова и, усмехаясь, пощипывал бородку:

– В такие иерихонские трубы затрубим[1], Алексей Алексеевич, не то что стены – все сверху донизу рухнет. У нас ухватка уж больно хороша. Словечко есть. Важно было словечко найти, – Сезам, отворись[2]. И в нашем словечке особенный фокус: к чему его ни приставишь, все в ту же минуту гниет и рассыпается. А вы говорите – камня не сдвинем. Например, во имя, скажем, процветания алаунского суглинка[3] необходимо пойти бить немцев и городишки их жечь. Ура, ребята, за веру, царя и отечество! А вы попробуйте-ка приставить к этому наше словечко. Товарищи, русские, немцы и прочие, – голь, нищета, последние людишки, – довольно вашей кровушки попито, на горбе поезжено, давайте устраивать *мировую справедливость*. На меньшее вас не зовем. Отныне вы одни люди, остальные паразиты. В чем дело? Какие паразиты? Какая такая мировая справедливость? Алексей Алексеевич, понимаете – какой тут нужен жест, – вроде того, каким было с горы Иисусу Христу земное царство показано[4]. Повторить необходимо. Объяснить на примере, что такое мировая справедливость в понимании Каширского уезда, села

Брюхина, крестьянина Ликсея Иванова Седьмого, работающего с двенадцати лет на кирпичном заводе, за поденную плату пятьдесят пять копеек в сутки, на своих харчах. Пример: дом каменный видите? Видим. В доме сидит кирпичный фабрикант, цепочка поперек живота, видите? Видим. Шкаф у него полный денег, а под окнами городовой ходит, смотрит строго, видите? Видим. Ну, все это по мировой справедливости ваше, товарищи. Поняли? А вы, Алексей Алексеевич, говорите, что мы теоретики. Мы, как первые христиане. Они нищему поклонились, и мы униженному и оскорбленному, лахудре, что и на человека-то не похож, – низкий поклон от пяти материков. У них было словечко, и у нас словечко. У них крестовые походы, и у нас крестовые походы.

Акундин засмеялся, стараясь разглядеть лицо Бессонова, затененное шляпой. Затем, взглянув на часы, заторопился:

– Побрыкаетесь, а придете, придете к нам, Алексей Алексеевич. Такие, как вы, нам вот как нужны... Время близко, последние денечки доживаем... – Он хихикнул, подавив в себе возбуждение, крепко, отрывисто стиснул Бессонову руку и свернул за угол. И долго еще было слышно, как уверенно постукивали его каблуки по тротуару. Бессонов крикнул извозчика. Где-то в дождевой мгле зачмокали губами, затарахтел экипаж. У фонаря остановилась женщина и тоже стала глядеть на пропадающие огоньки. Потом проговорила, едва ворочая языком:

– Никогда не прощу.

Бессонов, вздрогнув, взглянул. Лицо ее все смеялось, морщинистое и пьяное. Подъехал извозчик – высокий мужик на маленькой лошадке, сказал тонким голосом: «Тпру». Садясь в сырую пролетку, Бессонов вспомнил, что предстоит еще одно свидание с женщиной. Очевидно, будет глупо и пошло, – тем лучше. Он сказал адрес, поднял воротник, и поплыли навстречу смутные очертания домов, расплывающиеся светы из окон, облачка желтоватого тумана над каждым фонарем.

Остановившись у ресторана, извозчик сказал особым, только для господ, разбитным голосом:

– Вас четвертого сюда ныне привожу. Пища здесь, что ли, хороша? Один все погонял, целковый, говорит, подарю, поезжай скорей, сукин сын. А лошадешка у меня совсем не способная.

Бессонов, не глядя сколько, сунул ему мелочь и взбежал по широкой лестнице ресторана. Швейцар сказал, снимая с него шубу:

– Алексей Алексеевич, вас дожидают.

– Кто?

– Особа женского пола, нам не известная.

Бессонов, высоко подняв голову и глядя перед собой холодными глазами, прошел в дальний угол низкого и сейчас наполненного народом ресторанного зала, к своему обычному столику. Метрдотель, Лоскуткин, благородный

старик, сообщил, наклонившись над скатертью, что сегодня – необыкновенное баранье седло. Бессонов сказал:

– Есть не хочу. Дадите белого вина. Моего.

Он сидел строго и прямо, положив руки на скатерть. В этот час, в этом месте, как обычно, нашло на него привычное состояние мрачного вдохновения. Все впечатления дня словно сцепились в стройную и осмысленную форму, и в нем, в глубине, волнуемой завыванием румынских скрипок, запахами женских духов, духотой людного зала, возникла тень этой, вошедшей извне, формы, и эта тень была – вдохновение. Он чувствовал, что будто слепым, каким-то внутренним осязанием постигает таинственный смысл вещей и слов, – смеющегося лица в слезах у фонаря, и музыки, упоенной похотью в эту черную ночь, и бредовой фантазии публициста-социолога, к которому его привел сегодня Акундин, и всех этих странных сравнений, примерчиков и подхихикиваний, на углу, у фонаря.

Бессонов поднимал стакан и пил вино, не разжимая зубов. Сердце медленно билось. Было невыразимо приятно чувствовать всего себя, пронизанного звуками и голосами.

Напротив, у столика под зеркалом, ужинали Сапожков, Антошка Арнольдов, вертлявый человек с трагическими глазами и Елизавета Киевна. Она вчера написала Бессонову длинное письмо, назначив здесь свидание, и сейчас сидела красная и взволнованная. На ней было платье из полосатой материи, черной с желтым, и такой же бант в волосах[5]. Когда вошел Бессонов, ей стало душно.

– Будьте осторожны, – прошептал ей Арнольдов и, усмехаясь, показал сразу все свои гнилые и золотые зубы, – он бросил актрису, сейчас без женщины и опасен, как тигр.

Елизавета Киевна засмеялась, тряхнула полосатым бантом и пошла между столиками к Бессонову. На нее оглядывались, усмехаясь, давали дорогу.

За последнее время жизнь Елизаветы Киевны складывалась совсем уныло, – день за днем, без дела, без надежды на лучшее, – словом – тоска. Телегин явно невзлюбил ее, обращался вежливо, но разговоров и встреч наедине избегал. Она же с отчаянием чувствовала, что он-то именно ей и нужен. Когда в прихожей раздавался его голос, Елизавета Киевна поднимала голову от книги и глядела на дверь. Он шел по коридору, как всегда, на цыпочках. Она ждала, сердце останавливалось, дверь расплывалась в глазах, но он опять проходил мимо. Хоть бы постучал, попросил спичек. В конце концов, все это было безумно оскорбительно.

На днях, назло Жирову, с кошачьей осторожностью ругавшему все на свете, она купила книгу Бессонова, разрезала ее щипцами для волос, прочла несколько раз подряд, залила кофеем, смяла в постели и, наконец, за обедом

объявила, что он гений... Телегинские жильцы возмутились. Сапожков назвал Бессонова грибком на разлагающемся теле буржуазии. У Жирова вздулась на лбу жила. Художник Валет швырнул вилку. Один Телегин остался безучастным. Тогда у нее произошел так называемый «момент самопровокации», она захохотала, ушла к себе, написала Бессонову восторженное, нелепое письмо, с требованием свидания, вернулась в столовую и молча бросила письмо на стол. Жильцы прочли его вслух и долго совещались. Телегин сказал:

– Очень смело написано.

Тогда Елизавета Киевна отдала письмо кухарке, чтобы немедленно бросить в ящик, и почувствовала, что летит в пропасть.

Сейчас, подойдя к Бессонову, Елизавета Киевна проговорила бойко:

– Я вам писала. Вы пришли. Спасибо.

И сейчас же села напротив него, боком к столу, – нога на ногу, локоть на скатерть, – подперла подбородок и стала глядеть на Алексея Алексеевича нарисованными глазами. Он молчал. Лоскуткин подал второй стакан и сам налил вина Елизавете Киевне. Она сказала:

– Вы спросите, конечно, зачем я вас хотела видеть?

– Нет, этого я спрашивать не стану. Пейте вино.

– Вы правы, мне нечего рассказывать. Вы живете, Бессонов, а я нет. Мне просто скучно.

– Чем вы занимаетесь?

– Мне предлагали войти в партию для совершения террористических актов, но я ненавижу дисциплину. Стать кокоткой – не хочу, – брезглива. Что можно сейчас делать, когда все гнилое, все гниет. Ничего я не делаю. Вам странно? Противно? Так вот, я спрашиваю – куда мне деться?

– Я думаю, что таким людям, как вы, нужно подождать немного, – ответил Бессонов, поднимая стакан на свет, – скоро, скоро будет время, когда тысячи таких же окаменевших химер оживут и слетятся делить добычу[6]. У вас глаза химеры. – И он медленно вытянул вино сквозь зубы.

Елизавета Киевна не совсем поняла, о чем он говорит, но от удовольствия покраснела. Бессонов же почувствовал в ней хорошего слушателя, к тому же сам собою подвернулся «стиль», и он разрешил себе наслаждение поколдовать – напустить на эту замеревшую от внимания женщину черного дыма фантазии. Он заговорил о том, что на Россию опускается ночь для совершения страшного возмездия[7]. Он чувствует это по тайным и зловещим знакам. На заборах и стенах домов, в виде торговых реклам, появились изображения дьявола. Вчера, например, был расклеен от фирмы «Космос» огромный плакат: по бесконечной лестнице, вниз, на автомобильной шине летит хохочущий дьявол, огненно-красный, как кровь. В Денежном переулке на заборе он видел афишу – из облака рука указывает пальцем вниз на странную надпись: «В самом ближайшем времени».

– Вы понимаете, что это обозначает?.. Скоро будет большой простор для вас, Елизавета Киевна.

Разговаривая, он подливал вино в стаканы. Елизавета Киевна глядела в ледяные его глаза, на женственный рот, на поднятые тонкие брови и на то, как слегка дрожали его пальцы, державшие стакан, и как он пил, – жаждая, медленно. Голова ее упоительно кружилась. Издали Сапожков начал делать ей знаки. Внезапно Бессонов оборвал, обернулся и спросил, нахмурясь:

– Кто эти люди?

– Это – мои друзья.

– Мне не нравятся их знаки.

Тогда Елизавета Киевна проговорила, не думая:

– Пойдемте в другое место, хотите?

Бессонов взглянул на нее пристально. Глаза ее слегка косили, рот слабо усмехался, на висках выступили маленькие капельки пота. И вдруг он почувствовал жадность к этой здоровой, близорукой девушке, взял ее большую и горячую руку, лежащую на столе, и сказал:

– Или уходите сейчас же... Или молчите... Едем. Так нужно...

Елизавета Киевна только вздохнула коротко, щеки ее побледнели. Она не чувствовала, как поднялась, как взяла Бессонова под руку, как в швейцарской надели на нее пальто. И когда они садились на извозчика, даже ветер не охладил ее пылающей кожи. Пролетка тарахтела по камням. Бессонов, опираясь о трость обеими руками и положив на них подбородок, говорил:

– Вы сказали, что я живу. Я жил. Мне 38 лет, но жизнь окончена. Меня не обманывает больше любовь. Что может быть грустнее, когда увидишь вдруг, что рыцарский конь – деревянная лошадка. И вот еще много, много времени нужно тащиться по этой жизни, как труп...

Он обернулся, верхняя губа его приподнялась с усмешкой.

– Видно, и мне, вместе с вами, нужно подождать, когда затрубят иерихонские трубы. Хорошо, если бы на этом кладбище вдруг раздалось тра-та-та! И – зарево по всему небу...

Они подъехали к загородной гостинице. Заспанный половой повел их по длинному коридору в единственный, оставшийся незанятым, номер. Это была низкая комната, с красными обоями, в трещинах и пятнах. У стены, под выцветшим балдахином, стояла большая кровать, в ногах ее – жестяной рукомойник. Пахло непроветренной сыростью и табачным перегаром. Пыльная лампочка тускло горела под потолком. Елизавета Киевна, стоя в дверях, спросила чуть слышно:

– Зачем вы привезли меня сюда?

– Нет, нет, здесь нам будет хорошо, – поспешно ответил Бессонов.

Он снял с нее пальто и шляпу и положил на сломанное креслице. Половой принес бутылку шампанского, мелких яблочек и кисть винограда с пробковыми опилками, заглянул в рукомойник и скрылся все так же хмуро.

Елизавета Киевна отогнула штору на окне, – там, среди мокрого пустыря, горел газовый фонарь и ехали огромные бочки, с согнувшимися под рогожами людьми на козлах. Она усмехнулась, подошла к зеркалу и стала поправлять себе волосы какими-то новыми, незнакомыми самой себе движениями. «Завтра опомнюсь, – сойду с ума», – подумала она спокойно и расправила полосатый бант. Бессонов спросил:

– Вина хотите?

– Да, хочу.

Она села на диван, он опустился у ее ног на коврик и проговорил, словно в раздумье:

– У вас странные глаза: дикие и кроткие. Русские глаза. Вы любите меня?

Тогда она опять растерялась, но сейчас же подумала: «Нет. Это и есть безумие». Взяла из его рук стакан, полный вина, и выпила; и сейчас же голова медленно закружилась, словно опрокидываясь.

– Я вас боюсь и, должно быть, возненавижу, – сказала Елизавета Киевна, с усмешкой прислушиваясь, как словно издалека звучат ее и не ее слова, – не смейте так смотреть на меня, слышите?

– Вы странная девушка.

– Бессонов, слушайте, вы очень опасный человек. Я ведь из раскольничьей семьи, я в дьявола верю... Ах, боже мой, не смотрите же так на меня. Я знаю, зачем я вам понадобилась... Я вас боюсь, честное слово...

Она громко засмеялась, все тело ее задрожало от смеха, и в руках расплескалось вино из стакана. Бессонов опустил ей в колени лицо.

– Любите меня... Умоляю, любите меня, – проговорил он отчаянным голосом, словно в ней было сейчас все его спасение. – Мне тяжело... Мне страшно... Мне страшно одному... Любите, любите меня...

Елизавета Киевна положила руку ему на голову, закрыла глаза.

Он говорил, что каждую ночь находит на него ужас смерти. Он должен чувствовать около себя близко, рядом, живого человека, который бы жалел его, согревал, отдавал бы ему себя. Это наказание, муки... «Да, да, знаю. Но я весь окоченел. Сердце остановилось. Согрейте меня. Мне так мало нужно. Сжальтесь, я погибаю. Не оставляйте меня одного. Милая, милая девушка...»

Елизавета Киевна молчала, испуганная и взволнованная. Бессонов целовал ее ладони все более долгими поцелуями. Стал целовать большие и сильные ее ноги. Она крепче зажмурилась, показалось, что остановилось сердце, – так было стыдно.

И вдруг ее всю словно обвеял огонек, побежал по телу тревогой и радостью. Бессонов стал казаться милым, как ребенок, несчастный и невинный. Она приподняла его голову и крепко, жадно поцеловала в губы. После этого, уже без стыда, поспешно разделась и легла в постель.

Когда Бессонов заснул, положив голову на ее голое плечо, Елизавета Киевна еще долго вглядывалась близорукими глазами в его желтовато-бледное лицо, все в усталых морщинках, – на висках, под веками, у сжатого рта: чужое, не любимое, но теперь навек родное лицо.

Глядеть на спящего было так тяжело, что Елизавета Киевна заплакала.

Ей казалось, что Бессонов проснется, увидит ее в постели, толстую, некрасивую, с распухшими глазами, и постарается поскорее отвязаться; что никогда никто не сможет ее полюбить и все будут уверены, будто она развратная, глупая и пошлая женщина, и она нарочно станет делать все, чтобы так думали; что она любит одного человека, а сошлась с другим, и так всегда ее жизнь будет полна мути, мусора, отчаянных оскорблений. Елизавета Киевна осторожно всхлипывала и вытирала глаза углом простыни. И так, незаметно, в слезах, забылась сном.

Бессонов глубоко втянул носом воздух, повернулся на спину и открыл глаза. Ни с чем не сравнимой кабацкой тоской гудело все тело. Было противно подумать, что нужно начинать заново день. Он долго рассматривал металлический шарик кровати, затем решился и поглядел налево. Рядом, тоже на спине, лежала женщина, лицо ее было прикрыто голым локтем.

«Кто такая?» Он напряг мутную память, но ничего не вспомнил, осторожно вытащил из-под подушки портсигар и закурил. «Вот так черт! Забыл, забыл. Фу, как неудобно!»

– Вы, кажется, проснулись, – проговорил он вкрадчивым голосом, – доброе утро. – Она промолчала, не отнимая локтя. – Вчера мы были чужими, а сегодня связаны таинственными узами этой ночи. – Он поморщился; все это выходило пошловато. И, главное, неизвестно, что она сейчас начнет делать – каяться, плакать, или охватит ее прилив родственных чувств? Он осторожно коснулся ее локтя. Она отодвинулась. Кажется, ее звали Валентина. Он сказал грустно:

– Валентина, вы сердитесь на меня?

Тогда она села в подушках и, придерживая на груди падающую рубашку, стала глядеть на него выпуклыми, близорукими глазами. Веки ее припухли, полный рот кривился в усмешку. Он сейчас же все вспомнил и почувствовал братскую нежность.

– Меня зовут не Валентина, а Елизавета Киевна, – сказала она. – Я вас ненавижу. Слезьте с постели.

Бессонов сейчас же вылез из-под одеяла и за пологом кровати, около вонючего рукомойника, оделся кое-как, затем поднял штору и загасил электричество.

– Есть минуты, которых не забывают, – пробормотал он. Елизавета Киевна продолжала следить за ним темными глазами. Когда он присел было с папироской на диван, она проговорила медленно:

– Приеду домой – отравлюсь.

– Я не понимаю вашего настроения, Елизавета Киевна.

– Ну и не понимайте. Убирайтесь из комнаты, я хочу одеваться.

Бессонов вышел в коридор, где пахло угаром и сильно сквозило. Ждать пришлось долго. Он сидел на подоконнике и курил; потом пошел в самый конец коридора, где из маленькой кухоньки слышались негромкие голоса полового и двух горничных, – они пили чай, и половой говорил:

– Заладила про свою деревню. Тоже Рассея! Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам – вот тебе и Рассея. Все сволочи! Сволочи и охальники.

– Выражайтесь поаккуратнее, Кузьма Иваныч.

– Если я при этих номерах восемнадцать лет состою – значит, могу выражаться.

Бессонов вернулся обратно. Дверь в его номер была отворена, комната пуста. На полу валялась его шляпа.

«Ну что же, тем лучше», – подумал он и, зевнув, потянулся, расправляя кости.

Так начался новый день. Он отличался от вчерашнего тем, что часам к десяти утра сильный ветер разорвал дождевые облака, погнал их на север и там свалил в огромные, побелевшие груды. Мокрый город был залит свежими потоками солнечного света. В нем корчились, жарились, валились без чувств студенистые чудовища, неуловимые глазу, – насморки, кашли, дурные хвори, меланхолические палочки чахотки и даже полумистические микробы черной неврастении забивались за занавеси, в полумрак комнат и сырых подвалов. По улицам продувал теплый ветерок. В домах протирали стекла, открывали окна. Дворники в пестрых рубахах чистили и поливали мостовые. На Невском порочные девочки, с зелеными личиками, предлагали прохожим букетики подснежников, пахнущих дешевым одеколоном. В магазинах спешно убирали все зимнее, и, как первые цветы, появлялись за витринами весенние шляпки, легкие материи, книги игривого содержания, веселенькие галстучки.

Трехчасовые газеты вышли все с заголовками: «Да здравствует Русская Весна». И несколько опубликованных стишков были весьма двусмысленны. Словом, цензуре натянули нос.

И, наконец, по городу, под свист и улюлюканье толпы мальчишек, прошлись футуристы от группы «Центральной станции»[8]. Их было трое: Жиров, художник Валет и никому тогда еще не известный Аркадий Семисветов, огромного роста парень, с лошадиным лицом и жилистыми руками[9].

Футуристы были одеты в короткие, без поясов, кофты из оранжевого бархата с черными зигзагами и в цилиндры. У каждого был монокль, и на щеке

нарисованы – рыба, стрела и буква «Р». Часам к пяти пристав Литейной части задержал их и на извозчике повез в участок для выяснения личности.

Весь город был на улицах. По Морской, по набережным и Каменноостровскому двигались сверкающие экипажи и потоки людей. Многим, очень многим казалось, что сегодня должно случиться что-то радостное и необыкновенное: – либо в Зимнем дворце подпишут какой-нибудь манифест, либо взорвут Совет министров бомбой, либо, вообще, где-нибудь «начнется».

Но опустились синие сумерки на город, зажглись огни вдоль каналов и улиц, отразились зыбкими иглами в черной воде, и с мостов Невы был виден за трубами судостроительных заводов огромный закат, дымный и облачный. И ничего не случилось. Блеснула в последний раз игла на Петропавловской крепости, и день кончился.

Бессонов много и хорошо работал в этот день. Освеженный после завтрака сном, он долго читал Гете[10], и, как всегда, чтение возбудило его и взволновало.

Он ходил по комнате, вдоль книжных шкафов, курил и думал вслух; время от времени подсаживался к письменному столу и записывал слова и строки; чтобы сильнее возбудить себя, приказал подать черного кофе, и старушка нянька, жившая всегда при его небольшой, холостой квартире, принесла на подносе фарфоровый, дымящийся моккой кофейник.

Бессонов писал о том, что опускается ночь на Россию, раздвигается занавес трагедии, и народ-богоносец чудесно, как в «Страшной мести» казак, превращается в богоборца, надевает страшную личину. Готовится всенародное совершение черной обедни. Бездна раскрыта. Спасения нет. Примем грех.

Закрывая глаза, он представлял пустынные поля, кресты на курганах, разметанные ветром кровли и вдалеке, за холмами, зарева пожарищ. Обхватив обеими руками голову, он думал, что любит именно такою эту страну, которую знал только по книгам и картинам. Лоб его покрывался глубокими морщинами, сердце было полно ужаса предчувствий. Потом, держа в пальцах дымящуюся папиросу, он исписывал крупным почерком хрустящие четвертушки тонкой бумаги.

В сумерки, не зажигая огня, Бессонов прилег на диван, весь еще взволнованный, с горячей головой и влажными руками. На этом кончался его рабочий день.

Понемногу сердце билось ровнее и спокойнее. Теперь надо было подумать, как провести этот вечер и ночь. Брр! Никто не звонил по телефону и не приходил в гости. Придется одному справляться с бесом уныния. Наверху, где жила английская семья, играли на рояле, и от этой музыки поднимались смутные и невозможные желания.

Вдруг в тишине дома раздался звонок с парадного. Нянька прошлепала туфлями. Сильный женский голос проговорил:

– Я хочу его видеть.

Затем легкие, стремительные шаги замерли у двери. Бессонов, не шевелясь, усмехнулся! Без стука распахнулась дверь, и в комнату вошла, освещенная сзади, из прихожей, стройная, высокая девушка, в большой шляпе, с дыбом стоящими ромашками.

Ничего не различая со света, она остановилась посреди комнаты; когда же Бессонов молча поднялся с дивана, – попятилась было, но упрямо тряхнула головой и проговорила тем же высоким, заносчивым голосом:

– Я пришла к вам по очень важному делу.

Бессонов подошел к столу и повернул выключатель. Между книг и рукописей засветился синий абажур, наполнивший всю комнату спокойным полусветом.

– Чем могу быть полезен? – спросил Алексей Алексеевич; показал вошедшей на стул, сам спокойно опустился в рабочее кресло и положил слабые руки на подлокотники. Лицо его было прозрачно-бледное с синевой под веками. Он не спеша поднял глаза на гостью и вздрогнул, пальцы его затрепетали.

– Дарья Дмитриевна! – проговорил он тихо. – Я вас не узнал в первую минуту.

Даша села на стул решительно, так же, как и вошла, сложила на коленях руки в лайковых перчатках и сердито насупилась.

– Дарья Дмитриевна, я счастлив, что вы посетили меня. Это большой, большой подарок.

Не слушая его, Даша сказала:

– Вы, пожалуйста, не подумайте, что я ваша поклонница. Некоторые ваши стихи мне нравятся, другие не нравятся, – не понимаю их, просто не люблю. Я пришла вовсе не затем, чтобы разговаривать о стихах... Я пришла потому, что вы меня измучили...

Она низко нагнула голову, и Бессонов увидел, что у нее покраснела шея и руки, между перчатками и рукавами черного платья. Он молчал, не шевелился.

– Вам до меня, конечно, нет никакого дела. И я бы тоже очень хотела, чтобы мне было все равно. Но, вот видите, приходится испытывать очень неприятные минуты...

Она быстро подняла голову и строгими, ясными глазами взглянула ему в глаза. Бессонов медленно опустил ресницы.

– Я не могу себя побороть, понимаете? Вы вошли в меня, как болезнь. Я постоянно ловлю себя на том, что думаю о вас. Это, наконец, выше моих сил. Лучше было прийти и прямо сказать, чем эта духота. Сегодня – решилась. Вот, видите, я вам объяснилась в любви...

Губы ее дрогнули. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на стену, где, освещенная снизу, усмехалась стиснутым ртом и закрытыми веками лю-

бимая в то время всеми поэтами маска Петра Первого[11]. Наверху, в семействе английского пастора, четыре голоса фуги пели: «Умрем». «Нет, мы улетим». «В хрустальное небо». «В вечную, вечную, вечную радость».

– Если вы станете уверять, что испытываете тоже ко мне какие-то чувства – я уйду сию минуту, – торопливо и горячо проговорила Даша. – Вы меня даже не можете уважать – это ясно. Так не поступают женщины. Но я ничего не хочу и не прошу от вас. Мне нужно было только сказать, что я вас любила мучительно и очень сильно... Я разрушилась вся от этого чувства... У меня даже гордости нет...

И она подумала: «Теперь встать, гордо кивнуть головой и выйти». Но продолжала сидеть, глядя на усмехающуюся маску. Ею овладела такая слабость, что – не поднять руки, и она чувствовала теперь все свое тело, его тяжесть и теплоту. «Отвечай же, отвечай», – думала она, как сквозь сон. Бессонов прикрыл ладонью лицо и стал говорить тихо, как беседуют в церкви, – немного придушенно:

– Всем моим духом я могу только благодарить вас за это чувство. Таких минут, такого благоухания, каким вы меня овеяли, не забывают никогда...

– Не требуется, чтобы вы их помнили, – сказала Даша сквозь зубы.

Бессонов помолчал, поднялся и, отойдя, прислонился спиной к книжному шкафу.

– Дарья Дмитриевна, я вам могу только поклониться низко. Я не достоин был слушать вас. Я никогда, быть может, так не проклинал себя, как в эту минуту. Растратил, размотал, изжил всего себя. Чем я вам отвечу? Приглашением за город, в гостиницу? Дарья Дмитриевна, я честен с вами. Мне нечем любить. Несколько лет назад я бы поверил, что могу еще испить вечной молодости. Я бы вас не отпустил от себя. Я бы прильнул к этой чаше...

Даша чувствовала, как он впускает в нее иголочки. В его словах была затягивающая мука...

– Теперь я только расплескаю драгоценное вино. Вы должны понять, чего мне это стоит. Протянуть руку и взять...

– Нет, нет, – быстро прошептала Даша.

– Нет, да... И вы это чувствуете. Нет слаще греха, чем расточение. Расплескать. За этим вы и пришли ко мне. Иначе во веки веков хранили бы за белыми занавесочками Богом данную вам чашу с медом. Вы принесли ее мне...

Он медленно зажмурился. Даша, не дыша, с ужасом глядела в его лицо.

– Дарья Дмитриевна, позвольте мне быть откровенным. Вы так похожи на вашу сестру, что в первую минуту...

– Что? – крикнула Даша. – Что вы сказали?

Она сорвалась с кресла и остановилась перед ним. Бессонов не понял и не так истолковал ее волнение. Он чувствовал, что теряет голову. Его ноздри

вдыхали благоухание духов и тот, почти неуловимый, но оглушающий и различный для каждого запах женской кожи.

– Это сумасшествие... Я знаю... Я не могу... – прошептал он, ощупью отыскивая ее руку. Но Даша рванулась и побежала. На пороге оглянулась дикими глазами и скрылась. Сильно хлопнула парадная дверь. Бессонов медленно подошел к столу и застучал ногтями по хрустальной коробочке, беря папиросу. Потом сжал ладонью глаза и со всей ужасающей силой воображения почувствовал, что Белый Орден, готовящийся к решительной борьбе, послал к нему эту пылкую, нежную и соблазнительную девушку, чтобы привлечь его, обратить и спасти. Но он уже безнадежно в руках черных, и теперь спасения нет. Медленно, как яд, текущий в крови, разжигали его неутоленная жадность и сожаление.

VIII

– Даша, это ты? Можно. Войди.

Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет. Даше она улыбнулась рассеянно и продолжала деловито повертываться, переступая на ковре тугими туфельками. На ней было легкое белье, в ленточках и кружевцах, красивые руки и плечи – напудрены, волосы причесаны пышной короной. Около, на низеньком столике стояла чашка с горячей водой; повсюду – ножницы для ногтей, пилочки, карандаши, пуховки. Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна «чистила перышки», как это называлось дома.

– Понимаешь, – говорила она, пристегивая чулок, – теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, – этот – новый, от мадам Дюклэ. Живот гораздо свободнее, и даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится?

– Нет, не нравится, – ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки. Екатерина Дмитриевна удивленно подняла брови:

– Правда, не нравится? Какая досада. А в нем так удобно.

– Что удобно, Катя?

– Может быть, тебе кружева не нравятся? Можно положить другие. Как, все-таки, странно, – почему не нравится?

И она опять повернулась и правым и левым боком у зеркала. Даша сказала:

– Ты, пожалуйста, не у меня спрашивай, как нравятся твои корсеты.

– Ну, Николай Иванович совсем в этом деле ничего не понимает.

– Николай Иванович тоже тут ни при чем.

– Даша, ты что?

Екатерина Дмитриевна даже приоткрыла рот от изумления. Только теперь она заметила, что Даша едва сдерживается, говорит сквозь зубы и на щеках у нее горячие пятна.

– Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертеться у зеркала.

– Но должна же я привести себя в порядок.

– Для кого?

– Что ты в самом деле?.. Для самой себя.

– Врешь!

Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Даша внимательно следила за ее движениями, затем проговорила:

– Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно.

Екатерина Дмитриевна продолжала стоять, перебирая пояс. Было видно, как у нее по горлу несколько раз прокатился клубочек, точно она проглотила что-то.

– Даша, ты что-нибудь узнала? – спросила она тихо.

– Я сейчас была у Бессонова. – Екатерина Дмитриевна взглянула невидящими глазами и вдруг страшно побелела, подняла плечи. – Можешь не беспокоиться, – со мной там ничего не случилось. Он вовремя сообщил мне...

Даша переступила с ноги на ногу:

– Я давно догадывалась, что ты именно с ним... Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить... Ты трусила и лгала, и, кажется, совсем успокоилась... Так вот, я в этой мерзости жить больше не желаю... Потрудись пойти к мужу, и все расскажи, и уж распутывайся сама, как знаешь...

Даша не могла больше говорить, – сестра стояла перед ней, низко наклонив голову. Даша ждала всего, но только не этой повинно и покорно склоненной головы.

– Сейчас пойти? – спросила Катя.

– Да. Сию минуту... Я требую... Ты сама должна понять...

Екатерина Дмитриевна коротко вздохнула и пошла к двери. Там, замедлив, она сказала еще:

– Я не могу, Даша. – Но Даша молчала. – Хорошо, я скажу.

Николай Иванович сидел в гостиной и, поскребывая в бороде костяным ножом, читал статью Акундина в только что полученной книжке журнала «Русские записки».

Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина[1]. Николай Иванович наслаждался. Когда вошла жена, он воскликнул:

– Катюша, сядь. Послушай, что он пишет, – вот это место... «Даже не в образе мыслей и не в преданности до конца своему делу обаяние этого человека, – то есть Бакунина, – а в том пафосе претворенных в реальную жизнь идей, которым было проникнуто каждое его движение, – и бессонные беседы с Прудоном[2], и мужество, с каким он бросался в самое пламя борьбы, и даже тот романтический жест, когда, мимоездом, он наводит пушки австрийских

повстанцев, еще не зная хорошо, с кем и за что они дерутся[3]. Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какою выступят на борьбу новые классы. Материализация идей – вот задача наступающего века[4]. Не извлечение их из-под груды фактов, подчиненных слепой инерции жизни, не увод их в идеальный мир, а процесс обратный: завоевание физического мира миром идей. Реальность – груда горючего, идеи – искры. Эти два мира, разъединенные и враждебные, должны слиться в пламени мирового переворота...» Нет, подумай, Катюша... Ведь это черным по белому – да здравствует революция! Молодец, Акундин! Действительно живем: – ни больших идей, ни больших чувств. Правительством руководит только одно – безумный страх за будущее. Интеллигенция, – обжирается и опивается: – пора открыть форточки. Ведь мы только болтаем, болтаем, Катюша, и по уши в болоте. Народ – заживо разлагается. Вся Россия погрязла в сифилисе и водке. Россия сгнила, дунь на нее – рассыпется в прах. Так жить нельзя... Нам нужно какое-то самосожжение, очищение в огне...

Николай Иванович говорил возбужденным и бархатным голосом, глаза его стали круглыми, нож полосовал воздух. Екатерина Дмитриевна стояла около, держась за спинку кресла. Когда он выговорился и опять принялся разрезывать журнал, она подошла и положила ему руку на волосы:

– Коленька, тебе будет очень больно то, что я скажу. Я хотела скрыть, но вышло так, что нужно сказать...

Николай Иванович освободил голову от ее руки и внимательно вгляделся:

– Да, я слушаю, Катя.

– Помнишь, мы как-то с тобой повздорили, и я тебе сказала со зла, чтобы ты не очень был спокоен на мой счет... А потом отрицала это...

– Да, помню. – Он отложил книгу и совсем повернулся в кресле. Глаза его, встретясь с простым и спокойным взором Кати, забегали от испуга.

– Так вот... Я тебе тогда солгала... Я тебе была неверна...

Он жалобно сморщился, стараясь улыбнуться. У него пересохло во рту. Когда молчать уже дольше было нельзя, он проговорил глухим голосом:

– Ты хорошо сделала, что сказала... Спасибо, Катя...

Тогда она взяла его руку, прикоснулась к ней губами и прижала к груди. Но рука выскользнула, и она ее не удерживала. Потом Екатерина Дмитриевна тихо опустилась на ковер и положила голову на кожаный выступ кресла:

– Больше тебе не нужно ничего говорить?

– Нет. Уйди, Катя.

Она поднялась и вышла. В дверях столовой на нее неожиданно налетела Даша, схватила, стиснула и зашептала, целуя в волосы, в шею, в уши:

– Прости, прости!.. Ты дивная, ты изумительная!.. Я все слышала... Простишь ты меня, простишь ты меня. Катя?.. Катя!..

Екатерина Дмитриевна осторожно высвободилась, подошла к столу, поправила морщину на скатерти и сказала:

– Я исполнила твое приказание, Даша.

– Катя, простишь ты меня когда-нибудь?

– Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло.

– Ничего я не была права! Я от злости... Я от злости... А теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты – права, я это чувствую, ты права во всем. Прости меня, Катя.

У Даши катились крупные, как горох, слезы. Она стояла позади, на шаг от сестры и говорила громким шепотом:

– Если ты не простишь, – я больше не хочу жить. Я вообще не знаю, как мне теперь жить... А если ты еще будешь со мной такая...

Екатерина Дмитриевна быстро повернулась к ней:

– Какая, Даша? Что ты еще хочешь от меня? Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно?.. Так я тебе скажу... Я потому лгала и молчала, что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем... А вот теперь – конец. Поняла? Я Николая Ивановича давно не люблю и давно ему неверна. А Николай Иванович любит меня или не любит – не знаю, но он мне не близок. Поняла? Может быть, у него семья другая, или ему, вообще, не нужно никакой женщины, или у него острая неврастения, – не знаю. Поняла? А ты, как зяблик, все голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что – слабая женщина. Я видела, как тебя эта жизнь тоже затягивает. Я старалась оберечь тебя, запретила Бессонову приезжать к нам... Это было еще до того, как он... Ну, все равно... Теперь всему этому пришел конец...

Екатерина Дмитриевна вдруг подняла голову, прислушиваясь. У Даши со страха похолодела спина. В дверях, боком, из-за портьеры, появлялся Николай Иванович. Руки его были спрятаны за спиной.

– Бессонов? – спросил он, с улыбкой покачивая головой. И продвинулся в столовую.

Екатерина Дмитриевна не ответила. На щеках ее выступили пятна, глаза высохли. Она стиснула рот.

– Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен? Напрасно.

Он продолжал улыбаться:

– Даша, оставь нас одних, пожалуйста.

– Нет, я не уйду. – И Даша стала рядом с сестрой.

– Нет, ты уйдешь, если я тебя попрошу.

– Нет, не уйду.

– В таком случае, мне придется удалиться из этого дома.

– Удаляйся, – глядя на него с ненавистью, ответила Даша.

Николай Иванович побагровел, но сейчас же в глазах его мелькнуло прежнее выражение – веселенького сумасшествия.

– Тем лучше, оставайся. Вот в чем дело, Катя... Я сейчас сидел там, где ты меня оставила, и, в сущности говоря, за несколько минут пережил то, что трудно, вообще, переживаемо... Я пришел к выводу, что мне нужно тебя убить... Да, да.

При этих словах Даша быстро прижалась к сестре, обхватив ее обеими руками. У Екатерины Дмитриевны презрительно задрожали губы...

– У тебя истерика... Тебе нужно принять валерьяну, Николай Иванович...

– Нет, Катя, на этот раз – не истерика...

– Тогда делай то, за чем пришел! – крикнула она, оттолкнув Дашу, и подошла к Николаю Ивановичу вплоть. – Ну, делай! В лицо тебе говорю – я тебя не люблю!

Он попятился, положил на скатерть вытащенный из-за спины револьвер, запустил концы пальцев в рот, укусил их, повернулся и пошел к двери. Катя пронзительно глядела ему вслед. Не оборачиваясь, он проговорил:

– Мне больно!.. Мне больно!..

Тогда она кинулась к нему, схватила за плечи, повернула к себе его лицо:

– Врешь!.. Ведь врешь!.. Ведь ты и сейчас врешь!..

Но он замотал головой и ушел. Екатерина Дмитриевна присела у стола:

– Вот, Дашенька, – сцена из третьего акта, с выстрелом. Подумай сама – во что должна превратиться женщина от этой слякоти... Я уеду от него.

– Катюша!.. Господь с тобой!

– Уеду, не хочу так жить. Через пять лет – стану старая, будет уже поздно. Не могу больше так жить... Гадость, гадость!

Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол. Даша, присев рядом, быстро и осторожно целовала ее в плечо. Екатерина Дмитриевна подняла голову:

– Ты думаешь – мне его не жалко? Мне всегда его жалко. Но ты, вот, подумай, – пойду сейчас к нему, и будет у нас длиннейший разговор, весь насквозь фальшивый... Точно бес какой-то всегда между нами кривит, фальшивит, слова отводит... Все равно, как играть на расстроенном рояле, так и с Николаем Ивановичем разговаривать... Нет, я уеду!.. Ах, Дашенька, если бы ты знала, какая у меня тоска! Всей жизнью, до последнего волоска, хочу любить. Любви хочу такой, чтобы каждым помыслом, всем телом моим, – любить, любить... А такую я себя ненавижу, – брезгую.

К концу вечера Екатерина Дмитриевна все же пошла в кабинет.

Разговор с мужем был долгий, говорили оба тихо и горестно, старались быть честными, не щадили друг друга, и все же у обоих осталось такое чувство, что ничего этим разговором не достигнуто, и не понято, и не спаяно.

Николай Иванович, оставшись один, до рассвета сидел у стола и вздыхал. За эти часы, как впоследствии узнала Катя, он продумал и пересмотрел всю свою жизнь. Результатом было огромное письмо жене, которое кончалось так: «Да, Катя, мы все в нравственном тупике. За последние пять лет у меня не было ни одного сильного чувства, ни одного крупного движения. Даже любовь к тебе и женитьба прошли точно впопыхах. Существование – мелкое и полуистерическое, под непрерывным наркозом. Выходов два – или покончить с собой, или разорвать эту, лежащую на моих мыслях, на чувствах, на моем сознании, душную пелену. Ни того, ни другого сделать я не в состоянии...».

Семейное несчастье произошло так внезапно и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена, и думать о себе – ей и в голову не приходило; какие уж там девичьи настроения, – чепуха, страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька Лукерья показывала им с Катей, – зажигала свечку, складывала руки, и на стене коза ела капусту, шевелила рогами.

Несколько раз на дню Даша подходила к Катиной двери и скреблась пальцем. Катя отвечала:

– Дашенька, если можешь, – оставь меня одну, пожалуйста.

Николай Иванович в эти дни должен был выступать в суде. Он уезжал рано, завтракал и обедал в ресторане, возвращался ночью. Его речь в защиту жены акцизного чиновника Ладникова, Зои Ивановны, зарезавшей в сонном состоянии на Гороховой улице своего любовника, сына петербургского домовладельца, студента Шлиппэ, потрясла судей и весь зал. Дамы рыдали. Обвиняемая, Зоя Ивановна, билась головой о загородку и была оправдана.

Николай Иванович, бледный, с провалившимися глазами, был окружен при выходе из суда толпою женщин, которые бросали цветы, взвизгивали и целовали ему руки. Из суда он проехал домой и объяснялся с Катей с полной душевной размягченностью.

У Екатерины Дмитриевны оказались сложенными чемоданы. Он по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы двенадцать тысяч. Сам же он, тоже во время этого разговора, решил передать дела помощнику и поехать в Крым – отдохнуть и собраться с мыслями.

В сущности, было неясно и неопределенно, – разъезжаются ли они на время или навсегда, и кто кого покидает? Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда.

О Даше оба они забыли. Екатерина Дмитриевна спохватилась только в последнюю минуту, когда, одетая в серый дорожный костюм, в изящной шапочке, под вуалькой, похудевшая, грустная и милая, увидела Дашу в прихо-

жей на сундуке. Даша болтала ногой и ела хлеб с мармеладом, потому что сегодня обед заказать забыли.

– Родной мой, Данюша, – говорила Екатерина Дмитриевна, целуя ее через вуальку, – а ты-то как же? Хочешь, поедем со мной?

Но Даша сказала, что останется одна в квартире с Великим Моголом, будет держать экзамены и в конце мая поедет на все лето к отцу.

IX

Даша осталась одна в доме. Большие комнаты казались ей теперь неуютными и вещи в них – лишними. Даже квадратные портреты в гостиной, с отъездом хозяев, перестали пугать и поблекли. Мертвыми складками висели портьеры. На обивке кресел и диванов, на еще не убранных коврах, на обоях выступали с тоскливым однообразием неживые арабески. И хотя Великий Могол каждое утро, молча, как привидение, бродила по комнатам, отряхивая пыль метелкой из петушиных перьев, все же, словно иная, невидимая пыль все гуще покрывала дом.

Теперь, в первый раз среди этого нагромождения лишних и непонятно для чего приобретенных вещей и вещиц, Даше стало казаться, что сестра и зять словно привязывали себя к жизни этими предметами, заполняли ими пустые места, а у самих не было ни силы, ни цепкости, чтобы держаться.

В комнате сестры можно было, как по книге, прочесть все, чем жила Екатерина Дмитриевна. Вот, в углу, – маленький, точеного дерева, мольбертик с начатой картиночкой, – девушка в белом венке и с глазами в пол-лица. За этот мольбертик Екатерина Дмитриевна уцепилась было, чтобы как-нибудь вынырнуть из бешеной суеты, но, конечно, не удержалась. Вот старинный рабочий столик, в беспорядке набитый начатыми рукоделиями, распоротыми шляпками, пестрыми лоскутками, все не окончено и заброшено, – тоже попытка. Такой же беспорядок в книжном шкафу, – видно, что начали прибирать и бросили. И повсюду брошены, засунуты, наполовину разрезанные книги йоги, популярные лекции по антропософии, стишки, романы. Сколько попыток и бесплодных усилий начать добрую жизнь! На туалетном столе Даша нашла серебряный блокнотик, где было записано: «Рубашек 24, лифчиков 8, лифчиков кружевных 6... Для Ведринских билеты на Дядю Ваню...» И затем, крупным, детским почерком: «Даше купить яблочный торт».

Даша вспомнила – яблочный торт так никогда и не был куплен. Ей до слез стало жалко сестру. Ласковая, добрая, слишком деликатная для этой жизни, она цеплялась за вещи и вещицы, старалась укрепиться, уберечь себя от дробления и разрушения, но нечем и некому было помочь.

Даша вставала рано, садилась за книги и сдавала экзамены, почти все – «отлично». К телефону, без устали звонившему в кабинете, она посылала Великого Могола, которая отвечала неизменно: «Господа уехали, барышня подойти не могут».

Целые вечера Даша играла на рояле. Музыка не возбуждала ее, как прежде, не хотелось чего-то неопределенного, и не замирало мечтательно сердце. Теперь, сидя строго и смирно перед тетрадью нот, озаренная с боков двумя свечами, Даша словно очищала себя торжественными звуками, наполнявшими до последних закоулков весь этот грешный дом.

Иногда среди музыки являлись маленькие враги – непрошеные воспоминания. Даша опускала руки и хмурилась. Тогда в доме становилось так тихо, что было слышно, как потрескивала свеча. Затем Даша шумно вздыхала, и вновь ее руки с силой касались холодных клавиш, а маленькие враги, точно пыль и листья, гонимые ветром, летели из большой комнаты куда-нибудь в темный коридор за шкафы и картонки... Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила беззащитной Кате злые слова. Ополоумевшая девчонка чуть было не натворила бед. Удивительное дело! Будто один свет в окошке – любовные настроения, и любви-то никакой не было, а просто раздраженное всей этой суетой любопытство.

Часов в одиннадцать Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать, – все это делалось без колебаний, деловито. За это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь, – самой зарабатывать, взять Катю к себе, окружить такими заботами, такой любовью, чтобы сестра никогда больше, во всю жизнь, не заплакала от горя.

В конце мая, сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге. Вечером, прямо с железной дороги, она села на белый, ярко освещенный среди ночи и темной воды пароход, разобрала в чистенькой каюте вещи, заплела косу, подумала, что самостоятельная жизнь начинается не плохо, и, положив под голову локоть и улыбаясь от счастья, заснула под мерное дрожание машины.

Разбудили ее тяжелые шаги и беготня по палубе. Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомойника жидкими переливами. Ветерок, отдувавший чесучовую штору, пахнул медовыми цветами и полынью. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного берега, где под свежеобвалившейся, в корнях и комьях, невысокой кручей стояли возы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые, с толстыми коленками, ноги, пил коричневый жеребенок. На круче большим красным крестом торчала маячная веха.

Даша соскочила с койки, развернула на полу тэб и, набрав полную губку воды, выжала ее на себя. Стало до того свежо и боязно, что она, смеясь,

начала поджимать к животу колени. Потом надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку, – все это сидело на ней ловко и строго, – и, чувствуя себя независимой, сдержанная, но страшно счастливая, вышла на палубу.

По всему белому пароходу играли жидкие отсветы солнца, на воду больно было смотреть, – река сияла и переливалась. На дальнем берегу, гористом и кудрявом, белела, по пояс в березах, старенькая колокольня.

Когда пароход отчалил и, описав полукруг, побежал вниз, навстречу ему медленно двинулись берега – луговой – пустынный и нагорный – в лесках и пестро-зеленых или каменистых пролысинах. Из-за бугров, точно завалившись, выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши изб. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами, и от них в небесно-желтоватую бездну реки падали белые тени.

Даша сидела в плетеном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено, и чувствовала, как сияющие изгибы реки, облака и белые их отражения, березовые холмы, луга и струи ветра, то пахнущие болотной травой, то сухостью вспаханной земли, медовой кашкой и полынью, – текут сквозь нее и тихим восторгом ширится сердце.

Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перил и, кажется, поглядывал. Даша несколько раз забывала про него, а он все стоял. Тогда она твердо решила не оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такое разглядыванье. Она покраснела и быстро, гневно обернулась. Перед ней стоял Телегин, держась рукой за столбик, и не решался ни подойти, ни заговорить, ни скрыться. Даша неожиданно засмеялась, – он ей напомнил что-то неопределенно веселое и доброе. Да и весь Иван Ильич, широкий в белом кителе, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился изо всего этого речного покоя. Она протянула ему руки. Здороваясь, Телегин сказал:

– Я видел, как вы садились на пароход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга. Но я не решался подойти – вы были очень озабочены... Я вам не мешаю?

– Садитесь, – она пододвинула ему плетеное кресло, – еду к отцу, а вы куда?

– Я-то, в сущности говоря, еще не знаю. Пока – в Кинешму, к родным.

Телегин сел рядом и снял шляпу. Брови его сдвинулись, по лбу пошли морщины. Суженными глазами он глядел на воду, вогнутой, пенящейся дорогой выбегающую из-под парохода. Над ней, как комары, за кормой летели острокрылые мартыны[1], падали на воду, взлетали с хриплыми, жалобными криками и, далеко отстав, кружились и дрались над плывущей хлебной коркой.

– Приятный день, Дарья Дмитриевна, – сказал Телегин.

– Такой день, Иван Ильич, такой день! Я сижу и думаю: как из ада на волю вырвалась, честное слово. Помните наш разговор на улице?

– Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна.

– После этого такое началось, не дай бог! Я вам как-нибудь расскажу. – Она задумчиво покачала головой. – Вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге, так мне представляется. Поэтому мне с вами приятно. – Она нежно улыбнулась и положила ему руку на рукав. У Ивана Ильича испуганно дрогнули веки, поджались губы. – Я вам очень доверяю, Иван Ильич. Вы очень сильный? Правда?

– Ну какой же я сильный?

– И верный человек. – Даша чувствовала, что все мысли ее – добрые, ясные и любовные, и такие же добрые, верные и сильные мысли были у Ивана Ильича. И особая радость была в том, чтобы говорить – выражать прямо эти светлые волны чувств, подходящие к сердцу. – Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, кротко, уверенно. А если чего-нибудь захотите, то не отступитесь.

Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожными криками кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич подошли к борту.

– Вот этому киньте, – сказала Даша, – смотрите, какой голодный.

Телегин далеко в воздух швырнул остаток хлеба. Жирный, головастый мартын скользнул на недвигающихся, распластанных, как ножи, крыльях, налетел и промахнулся, и сейчас же штук десять их понеслось вслед за падающим хлебом до самой воды, теплой пеной бьющей из-под борта. Даша сказала:

– Мне хочется быть, знаете, какой женщиной? Перестать волноваться на свой счет. Жить так, как утром по росе босиком бегать. На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю, буду совершенно новым человеком. Увидите, Иван Ильич, какая стану. Тогда перестанете меня презирать.

Во время этих слов Телегин морщился, удерживался и наконец раскрыл рот с крепким, чистым рядом крупных зубов и захохотал так весело, что взмокли ресницы. Даша вспыхнула, оскорбилась, но и у нее запрыгал подбородок, и не хотела, а рассмеялась, так же как и Телегин, в сущности говоря, сама не зная чему.

– Дарья Дмитриевна, – проговорил он наконец, – вы замечательная... я вначале вас боялся до смерти... Но вы прямо замечательная!

– Ну, вот что – идемте завтракать, – сказала Даша сердито.

– С удовольствием.

Иван Ильич велел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрести чисто выбритый подбородок.

– Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, относительно бутылки легкого белого вина?

– Немного выпью, с удовольствием.

– Шабли или Барзак?[2]

Даша так же деловито ответила:

– Или то или другое.

– В таком случае – выпьем шипучего.

Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми – ржи и розоватыми – зацветающей гречихи. За поворотом, над глинистым обрывом, на навозе, под шапками соломы, стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше – десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая, как игрушечная, мельница с проломанным боком. Стайка мальчишек бежала вдоль кручи за пароходом, кидая камнями, не долетавшими даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу – низкий кустарник, и коршуны над ним.

Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Золотистое вино в граненых больших рюмках казалось Божьим даром. Даша сказала, что завидует Ивану Ильичу, – у него есть свое дело, уверенность в жизни, а вот ей еще полтора года корпеть над книгами, и при том такое несчастье, что она – женщина. Телегин, смеясь, ответил:

– А меня ведь с Обуховского-то завода выгнали.

– Что вы говорите!

– В двадцать четыре часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался. Вы разве не слышали, какие у нас дела творились?

– Нет, нет.

– Я-то вот дешево отделался. Да... – Он помолчал, положив локти на скатерть. – Вот, подите же, до чего у нас все делается глупо и бездарно, – на редкость. И, черт знает, какая слава о нас идет, о русских. Обидно и совестно. Подумайте, – талантливый народ, богатейшая страна, а какая видимость? – Видимость: наглая, раскосая, писарская рожа. Вместо жизни – бумага и чернила. Вы не можете себе представить, сколько у нас изводится бумаги и чернил. Как начали отписываться при Петре Великом, так до сих пор не можем остановиться. И ведь оказывается, – кровавая вещь – чернила, представьте себе.

Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил. Ему, видимо, было неприятно рассказывать все дальнейшее.

– Ну, да что вспоминать. Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет, не хуже, чем у людей.

Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю показалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило

оттого, что они разговаривали шифром. Слова, самые обычные, таинственно и непонятно получали двойной смысл, и когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню, с удивленно-круглыми глазами и с отдувающимся за ее спиной розово-лиловым шарфом, и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила: «Смотрите, Иван Ильич, у них, кажется, дело идет на лад», – нужно было понимать: «Если бы у нас с вами что-нибудь случилось, – было бы совсем не так». Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил, но Ивану Ильичу казалось, что Даша гораздо умнее, тоньше и наблюдательнее его, Даше казалось, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее раз в тысячу.

Даша собиралась несколько раз с духом, чтобы рассказать ему о Бессонове, но раздумывала; солнце грело колени, ветер касался щеки, плечей, шеи, словно круглыми и ласковыми пальцами, хлопающий флаг на носу, веревочная решетка борта, серый, блестящий пол – все это вместе с нею и Иваном Ильичом медленно плыло между облаками, мимо невысоких и кротких берегов. Даша думала: «Нет, расскажу ему завтра. Пойдет дождик – тогда расскажу».

Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня, приблизительно, всю подноготную про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это почти чудом.

Про ректора Петербургского университета, угрюмого человека, в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это очень крупный пароходный шулер. И хотя Иван Ильич знал, что это ректор, теперь ему тоже запало подозрение – не шулер ли. Вообще, его представление о действительности пошатнулось за этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сон в яви, и, почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит, присматривался – хорошо бы сейчас, например, броситься в воду вон за той стриженой девочкой, если она упадет за борт. Вот бы упала!

В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты и, прощаясь в дверях, сказала, зевая:

– Прощайте. Смотрите, присматривайте за шулером-то.

Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где ректор, страдающий бессонницей, читал сочинения Дюма-отца, поглядел на него некоторое время, подумал, что – это прекрасный человек, несмотря на то, что шулер, затем вернулся в ярко освещенный коридор, где пахло машиной, лакированным деревом и духами Даши, на цыпочках прошел мимо ее двери и у себя в каюте, повалившись на спину на койку и закрыв глаза, почувствовал, что весь потрясен, весь полон звуками, запахами, жаром солнца и острой, заглушающей все это, непонятной грустью.

В седьмом часу утра его разбудил рев парохода. Подходили к Кинешме. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты,

все еще спали. Спала и Даша. «Мне слезть необходимо, иначе получается черт знает что», – подумал Иван Ильич и вышел на палубу, глядя на эту самую, некстати подоспевшую, Кинешму на крутом и высоком берегу, с деревянными лестницами, с деревянными, точно кое-как нагороженными, наваленными домишками, заборами, с яркими, по-утреннему желтовато-зелеными липами городского парка, с неподвижно висящим облаком пыли над возами, тянущимися по городскому спуску. Широкомордый матрос, твердо ступая по палубе пятками босых ног, появился с рыжим чемоданом Телегина...

– Нет, нет, я передумал, назад несите, – взволнованно проговорил ему Иван Ильич, – я, видите ли, до Нижнего решил ехать. В Кинешму мне и не особенно было нужно. Вот сюда ставьте, под койку. Благодарю вас, голубчик.

В каюте Иван Ильич просидел часа три, придумывая, как объяснить Даше свой, по его пониманию, пошлый и навязчивый поступок, и было ясно, что объяснить невозможно: – ни соврать, ни сказать правду.

В одиннадцатом часу, раскаиваясь, ненавидя и презирая себя, он появился на палубе, – руки за спиной, походочка какая-то ныряющая, лицо фальшивое, – словом, тип пошляка. Но, обойдя кругом палубу и не найдя Даши, Иван Ильич взволновался, стал заглядывать повсюду. Даши не было нигде. У него пересохло во рту. Очевидно, что-то случилось. И вдруг он прямо наткнулся на нее. Даша сидела на вчерашнем месте, в плетеном кресле, грустная и тихая. На коленях у нее лежали книжка и груша. Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу, глаза ее расширились, точно от испуга, залились радостью, на щеки взошел румянец, груша покатилась с колен.

– Вы здесь? Не слезли? – проговорила она тихо. Иван Ильич проглотил волнение, сел рядом и сказал глухим голосом:

– Не знаю, как вы взглянете на мой поступок, но я намеренно не вылез в Кинешме.

– Как я посмотрю на ваш поступок? Ну, этого я не скажу. – Даша засмеялась, и неожиданно, так что у Ивана Ильича снова на весь день, сильнее вчерашнего, пошла кружиться голова, положила ему в ладонь свою руку, просто и нежно.

X

На самом деле на Обуховском заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветреными облаками фосфорическое небо, в у́зком переулке, вонючем и грязном той особенной, угольно-железной грязью, какою бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек, в резиновом плаще с поднятым капюшоном.

Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря сиповатым голосом:

«От Центрального Комитета. Прочтите, товарищ».

Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманы и под шапки. За последнее время в мрачную и озлобленную массу рабочих, ревниво охраняемую властями, сквозь все щели проникали подобные молодые люди, посылаемые невидимыми друзьями. Они появлялись под видом служащих, чернорабочих, продавцов или вот так – в плаще с капюшоном. Они подкидывали листки, раздавали книги; пускали слухи, разъясняли злоупотребления администрации и все повторяли одно: «Если хотите быть людьми, а не скотами, – учитесь ненавидеть тех, на кого работаете». Рабочие чувствовали и понимали, что на царскую власть, заставлявшую их работать двенадцать часов в сутки, отгородившую их от богатой и веселой жизни города грязными переулками и постами ночных сторожей, вынуждавшую рабочих дурно есть, грязно одеваться, жить с неряшливыми и рано стареющими женщинами, посылать дочерей в проститутки, а мальчиков в постылую каторгу фабрик, – на эту власть нашлась управа – Центральный Комитет Рабочей Партии. Он был неуловим и невидим. Рабочие ненавидели власть с чугунной скукой, Центральный Комитет ненавидел ее деятельно и едко. Он не уставая повторял: требуйте, кричите, возмущайтесь. Вас учили – будьте добрыми, – провокация! Добродетель пролетария – ненависть. Вам говорили – терпите и прощайте, – издевательство! Вы не рабы. Ненавидьте и организуйтесь. Вам внушали – любите ближнего. Но ближний пользуется этой любовью, чтобы запрячь ее в ярмо. Вы одурачены. Есть одна достойная человека любовь – любовь к свободе. Помните, – Россия построена вашими руками. Вы одни законные хозяева Российского государства.

Когда человек в резиновом плаще роздал почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился ночной сторож и, проговорив поспешно: «Погоди-ка», – схватил сзади за плащ. Но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и, пригибаясь к земле, побежал. Раздался резкий свисток, в ответ, издалека, заверещал другой. По редеющей толпе пошел глухой говор. Но дело было сделано, и человек в плаще исчез.

Дня через два на Обуховском заводе, неожиданно для администрации, с утра не встал на работу токарный цех и предъявил требования, не особенно серьезные, но решительные.

По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели, как искорки, неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие, стоя у станков, странно взглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали каких-то указаний.

Старшему мастеру Павлову, доносчику и нашептывателю, вертевшемуся около гидравлического пресса, нечаянно раздавили всю ступню раскаленной

болванкой. Он дико закричал, и тогда по заводу пошел слух, что кого-то уже убили. В девять часов на заводской двор, как буря, влетел огромный черный лимузин главного инженера.

Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в литейную, огромную постройку в виде цирка, с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями передвижных кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку, весело, поздоровался с подошедшим мастером – Пунько.

В литейной был получен спешный заказ на моторные станины, и Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе, деловито и вдумчиво советуясь с ним о тех вещах, которые были для них обоих несомненны. Эта маленькая хитрость вела к тому, что Пунько, поступивший в эту литейную пятнадцать лет тому назад простым чернорабочим, а теперь – старший мастер, очень высоко ставивший свои знания и опыт, остался вполне довольным беседой, самолюбие его было удовлетворено, а Телегин был уверен, что если Пунько доволен, то работа пойдет споро.

Обойдя литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения: мы оба стоим на одной работе, значит – товарищи, но я инженер, вы рабочий, и по существу мы – враги, но так как мы друг друга любим и уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом.

К одному из горнов, стуча спускающейся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые и рослые рабочие, один похожий на Пугачева, черный, с проседью и в круглых очках, другой – с кудрявой бородой, со светлыми, повязанными ремешком волосами, голубоглазый и атлетически сильный – любимец Ивана Ильича, принялись: один – ломом отдирать доску с лицевой стороны горна, другой – наводить на белый от жара, высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской.

– Стоп, – сказал Орешников, – снижай.

Опять загромыхала лебедка, тигель опустился, и ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся, зеленые звезды, озаряя оранжевым заревом шатровый потолок мастерской, полилась под землю. Запахло гарью приторно сладкой меди.

В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись, и в литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом.

– Кончай работу... Снимайся! – крикнул он отрывистым, жестоким голосом и покосился на Телегина. – Слышали? Али нет?

– Слышали, слышали, не кричи, – ответил Орешников спокойно и поднял голову к лебедке. – Димитрий, не спи, вытравливай.

– Ну, слышали – понимайте сами, второй раз просить не станем, – сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел.

Иван Ильич, присев над свежей отливкой, осторожно расковыривал землю куском проволоки. Пунько, сидя на высоком стуле у дверей перед конторкой, быстро начал гладить серую, козлиную бородку и сказал, бегая глазами:

– Хочешь не хочешь, значит, а дело бросай. А ребятишек чем кормить, если тебе по шапке дадут с завода – об этом молодцы эти думают али нет?

– Этих делов ты лучше бы не касался, Василий Степанович, – ответил Орешников густым голосом.

– То есть это как же не касаться?

– Так, это наша каша. С голоду не твои дети пузыри станут пускать... Ты-то уж забежишь к начальству, в глаза взглянешь. По этому случаю – молчи.

– Из-за чего забастовка? – спросил, наконец, Телегин. – Какие требования?.. – Орешников, на которого он взглянул, отвел глаза. Пунько ответил:

– Слесаря забастовали. На прошлой неделе у них шестьдесят станков перевели на сдельную работу, для пробы. Ну вот и получается, что не дорабатывают, сверхсрочные часы приходится выстаивать. Да у них целый список в шестом корпусе на двери прибит, требования разные, не большие.

Он сердито обмакнул перо в пузырек и принялся сводить ведомость. Телегин заложил руки за спину, прошелся вдоль горнов, потом сказал, глядя в круглое отверстие, за которым в белом, нестерпимом огне танцевала, ходила змеями кипящая бронза.

– Орешников, как бы штука-то эта у нас не перестоялась, а?

Орешников, не отвечая, снял кожаный фартук, повесил его на гвоздь, надел барашковую шапку и длинный, добротный пиджак и проговорил густым, наполнившим всю мастерскую басом:

– Снимайтесь, товарищи. Есть желающие, – приходите в шестой корпус, к средним дверям.

И пошел к выходу. Рабочие молча побросали инструменты, кто спустился с лебедки, кто вылез из ямы в полу, и толпою двинулись за Орешниковым. И вдруг в дверях что-то произошло, – раздался срывающийся на визг, исступленный голос:

– Пишешь?.. Пишешь, сукин сын! На, записывай меня!.. Доноси начальству!.. – Это кричал на Пунько формовщик, Алексей Носов; изможденное, давно не бритое лицо его, с провалившимися, мутными глазами, прыгало и перекашивалось, на тонкой шее надулась жила; крича, он бил черным кулаком в край конторки. – Кровопийцы!.. Мучители!.. Найдем и на вас ножик!..

Тогда Орешников схватил Носова за туловище, легко отодрал от конторки и повел к дверям. Тот сразу затих. Мастерская опустела.

К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Балтийском и на Невском судостроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали – к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом, как выяснилось, уже давно существовавшим. Забастовка была делом его рук.

Заседали в конторе. Администрация шла на уступки. Задержка теперь была только за дверцей в дощатом заборе, которую рабочие требовали открыть, иначе им приходится обходом месить четверть версты по грязи. Дверца никому, в сущности, была не нужна, но дело пошло на самолюбие, администрация вдруг уперлась, и начались длинные прения. Стачечный комитет поставил вопрос о дверце на социальную плоскость. И в это время по телефону из министерства внутренних дел получился приказ: отказать стачечному комитету во всех требованиях и, впредь до особого распоряжения, ни в какие разговоры с ним не вступать.

Приказ этот настолько портил все дело, что старший инженер немедленно умчался в город для объяснений. Рабочие недоумевали, настроение было, скорее, мирное. Несколько инженеров, выйдя к толпе, объяснялись, разводили руками. Кое-где раздавался даже смех. Никто не верил, что из-за пустой какой-нибудь дверцы остановится целый завод. Наконец на крыльце конторы появился огромный, тучный, седой инженер Бульбин и прокричал на весь двор, что переговоры отложены на завтра.

Иван Ильич, пробыв в мастерской до вечера и видя, что горны все равно погаснут, плюнул и поехал домой. В столовой сидели футуристы и, оказывается, живо интересовались тем, что делается на заводе. Но Иван Ильич ничего рассказывать не стал, задумчиво сжевал подложенные ему Елизаветой Киевной бутерброды и ушел к себе, заперся на ключ и лег спать.

На следующий день, подъезжая к заводу, он еще издали увидел, что дело не ладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей.

Иван Ильич был в мягкой шляпе и штатском пальто, на него не обращали внимания, и он, прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжаются аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, заседающий тайно, где-то в пивной, что требования, предъявленные ими теперь, – уже политические, что весь заводской двор полон казаками и, говорят, был дан приказ – разгонять толпу, но казаки будто бы отказались и что, наконец, Балтийский, Невский судостроительный, Французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке.

Все это было настолько невероятно, что Иван Ильич решил пробраться в контору – узнать новости, но с величайшим трудом протискался только до

ворот. Там, около знакомого сторожа Бабкина, угрюмого человека в огромном тулупе, стояли два рослых казака в надвинутых на ухо бескозырках и с русыми бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих, были оба румяны, опрятны и, должно быть, ловки драться и зубоскалить.

«Да, эти мужики стесняться не станут», – подумал Иван Ильич и хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак загородил дорогу и, в упор глядя веселыми, ясными глазами, сказал:

– Куда? Осади!

– Мне нужно пройти в контору, я инженер.

– Осади, говорят!

Тогда из толпы послышались голоса:

– Нехристи! Опричники!

– Мало вам нашей крови пролито!

– Черти сытые! Помещики!

В это время в первые ряды протискался низенький прыщавый юноша, с большим и кривым носом, в огромном, не по росту, пальто и неловко надетой рыжеватой высокой шапке на курчавых волосах. Помахивая недоразвитой, очень белой ручкой, он заговорил, картавя:

– Товарищи казаки! Разве мы не все русские? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев. Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим? Мы хотим счастья всем русским. Мы хотим, чтобы каждый человек был свободен. Мы хотим уничтожить произвол...

Казак, поджав губы, презрительно оглядел молодого человека с головы до ног, повернулся и зашагал в воротах. Другой ответил внушительно, книжным голосом:

– Никаких бунтов допустить мы не можем, потому что мы присягу принимали.

Тогда первый, очевидно, придумав ответ, крикнул курчавому юноше:

– Братья, братья... Ты штаны-то подтяни, а то потеряешь.

И оба казака засмеялись.

Иван Ильич отодвинулся от ворот, движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялись заржавленные чугунные шестерни. Он попытался было забраться на них и увидел Орешникова, который, сдвинув на затылок барашковую шапку, спокойно жевал хлеб. Телегину он кивнул бровями и сказал басом:

– Вот, дела-то хороши, Иван Ильич.

– Здравствуйте, Орешников. Чем же это все кончится?

– А вот мы покричим малое время да и шапку снимем. Только и всех бунтов. Пригнали казаков. А чем мы с ними воевать будем? Вот этой разве луковицей бросить – убить двоих. Чудаки.

В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос:

– Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись.

Толпа заволновалась, двинулась назад, в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал:

– Третий раз честью просит.

– Кто это говорил?

– Есаул.

– Товарищи, товарищи, не расходитесь, – послышался взволнованный голос, и сзади Ивана Ильича на шестерни вскочил бледный, возбужденный человек в большой шляпе, с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле.

– Товарищи, ни в каком случае не расходиться, – зычно заговорил он, протянув руки со сжатыми кулаками, – нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку. В правительстве паника.

– Браво! – завопил чей-то исступленный голос. Толпа загудела, оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди.

Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко у ворот. Несколько раз до слуха долетело: «Революция, революция».

Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно-радостным возбуждением. Взобравшись на шестерни, он оглядывал огромную теперь толпу и вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина, – он был в очках, в картузе с большим козырьком и черной накидке. Нагнув голову, он упрямо грыз ноготь на большом пальце. К нему протиснулся господин с дрожащими губами, в котелке. Телегин слышал, как он крикнул Акундину:

– Идите, Иван Аввакумович, вас ждут!

– Я не приду. – Акундин откусил ноготь и невидящими глазами глядел на подошедшего.

– Собрался весь комитет. Без вас, Иван Аввакумович, не хотят принимать решения.

– Я остаюсь при особом мнении, это известно.

– Вы с ума сошли. Вы видите, что делается. Я вам говорю, что с минуты на минуту начнется расстрел... – У господина в котелке запрыгали губы.

– Во-первых, не кричите, – проговорил Акундин, – ступайте и выносите компромиссное решение. Я своего голоса назад не возьму...

– Черт знает, черт знает, сумасшествие какое-то! – проговорил господин в котелке и протискался в толпу. К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской Телегина. Акундин что-то сказал

ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое – короткая фраза и кивок головы – произошло с другим, неизвестным Телегину рабочим. Было похоже, что Акундин отдает какие-то приказания. В толпе, по ту сторону ворот, опять закричали, заволновались. И вдруг раздалось три подряд коротких, сухих выстрела. Сразу настала тишина. И придушенный голос, точно понарочному, затянул: «а-а-а». Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком, с подогнутыми к животу коленями, казак. И сейчас же пошел крик по всему народу: «Не надо, не надо!» Это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом, одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные, раздирающие воздух, винтовочные выстрелы, – один, два и залп, – и мягко осел на колени, повалился навзничь Орешников.

Через неделю было окончено расследование происшествия на Обуховском заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он, неожиданно для всех, наговорил резкостей администрации и подписал отставку.

XI

Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого помятого и валившего паром самовара и читал местную газету – «Самарский листок»[1]. Когда папироса догорала до ваты, доктор брал из толстого набитого портсигара новую, закуривал ее об окурок, кашлял, весь багровея, и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал с блюдца жидкий чай и сыпал пеплом на газету, на рубаху, на скатерть.

Когда за дверью послышался скрип кровати, затопали ноги и в столовую вошла Даша, в накинутом на рубашку белом халатике, вся еще розовая и сонная, Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне серыми, холодными, как у Даши, насмешливыми глазами и подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, пододвинув хлеб и масло.

– Опять ветер, вот скука, – сказала она. Действительно, второй день дул сильный, горячий ветер. Известковая пыль тучей висела над городом, заслоняя солнце. Густые, колючие облака этой пыли порывами проносились вдоль улиц, и было видно, как спиною к ним поворачивались редкие прохожие и морщились нестерпимо. Пыль проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на подоконниках тонким слоем и хрустела на зубах. От ветра дрожали

стекла и громыхала железная крыша. При этом было жарко, душно и даже в комнатах пахло улицей.

– Эпидемия глазных заболеваний. Недурно, – сказал Дмитрий Степанович. Даша не ответила, только вздохнула.

Две недели тому назад на сходнях парохода она простилась с Телегиным, проводившим ее, в конце концов, до Самары, и с тех пор без дела жила у отца в новой, ей незнакомой, пустой квартире, где в зале стояли нераспечатанные ящики с книгами, до сих пор не были повешены занавеси, ничего нельзя найти, некуда приткнуться, как на постоялом дворе.

Помешивая чай в стакане, Даша с тоской глядела, как за окном летят снизу вверх клубы серой пыли. Ей казалось, что вот – прошли два года, как сон, и она опять дома, а от всех надежд, волнений, людской пестроты, – от шумного Петербурга, – остались только вот эти пыльные облака.

– Эрцгерцога убили[2], – сказал Дмитрий Степанович, переворачивая газету.

– Какого?

– То есть как какого? Австрийского эрцгерцога убили в Сараеве.

– Он был молодой?

– Не знаю. Налей-ка еще стакан.

Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахару, – он пил всегда вприкуску, – и насмешливо оглядел Дашу.

– Скажи на милость, – спросил он, поднимая блюдечко, – Екатерина окончательно разошлась с мужем?

– Я же тебе рассказывала, папа.

– Ну, ну...

И он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. Какое уныние! И она вспомнила белый пароход и, главное, солнце повсюду, – синее небо, река, чистая палуба, и все, все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь – широкая, медленно извивающаяся река – ведет к счастью: этот простор воды и пароход «Федор Достоевский», вместе с Дашей и Телегиным, вольются, войдут в синее, без берегов, море света и радости – счастье.

И Даша тогда не торопилась, хотя понимала, что переживал Телегин, и ничего не имела против этого переживания. Но к чему было спешить, когда каждая минута этого пути и без того хороша, и все равно же приплывут к счастью.

Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся в лице, перестал шутить и все что-то путал. Даша думала, – плывем к счастью, и чувствовала на себе его взгляд, такой, точно сильного, веселого человека переехали колесами. Ей было жалко его, но что она могла поделать, как допустить его до себя, хотя бы немножко, если тогда, – она это понимала, – сразу начнется то, что должно

быть в конце пути. Они не доплывут до счастья, а на полдороге нетерпеливо и неумно разворуют его. Поэтому она была нежна с Иваном Ильичом, и только. Ему же казалось, что он оскорбит Дашу, если хоть словом намекнет на то, из-за чего не спал уже четвертую ночь и чувствовал себя в том особом, наполовину призрачном, мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозно и тревожно горели серые глаза Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и неперестающая боль в сердце.

В Самаре Иван Ильич пересел на другой пароход и уехал обратно. А Дашино сияющее море, куда она так спокойно плыла, исчезло, рассыпалось, поднялось клубами пыли за дребезжащими стеклами.

– А зададут австрияки трепку этим самым сербам, – сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсне и бросил его на газету. – Ну а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка?

– Обедать, папа, ты приедешь? – проговорила Даша, возвращаясь к столу.

– Ни под каким видом. У меня скарлатина-с на Постниковой даче.

– В эту пыль ехать на дачу – с ума надо сойти.

Дмитрий Степанович не спеша взял со стола, надел манишку, застегнул чесучовый пиджак, осмотрел по карманам – все ли на местах, и сломанным гребешком начал начесывать на лоб седые, кудрявые волосы.

– Ну, так как же, все-таки, насчет славянского вопроса, а?

– Ей-богу, не знаю, папа. Что ты, в самом деле, пристаешь ко мне.

– А я кое-какое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна. – Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу, да и вообще Дмитрий Степанович любил поговорить утром, за самоваром, о политике. – Славянский вопрос, – ты слушаешь меня? – это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян, Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. В чем же дело? – ты хочешь меня спросить. Изволь. – И он стал загибать толстые пальцы. – Первое, славян – более двухсот миллионов, и они плодятся, как кролики. Второе, – славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье, – мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельные единицы и тяготеют к так называемому всеславянскому союзу. Четвертое, – самое главное, – славяне представляют из себя морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип – богоискателя. И богоискательство, – ты слушаешь меня, кошка? – есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу Бога, то есть правды, в самом себе. Для этого я должен быть свободен, и я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен, разрушаю государство, которое держит меня на цепи, и я спрашиваю – почему нельзя

лгать? нельзя красть? нельзя убивать? Отвечай, почему? Ты думаешь, что правда лежит только в добре?

– Папочка, поезжай на дачу, – сказала Даша уныло.

– Нет, ищи правду там, – Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. В прихожей трещал звонок. – Даша, поди, отвори.

– Не могу, я раздета.

– Матрена! – закричал Дмитрий Степанович. – Ах, баба проклятая; оторву ей голову как-нибудь. – И сам пошел отворять парадное и сейчас же вернулся, держа в руке письмо.

– От Катюшки, – сказал он, – подожди, не хватай из рук, я сначала доскажу... Так вот, – богоискательство прежде всего начинает с разрушения, и этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает... Попробуй, выйди вечером на главную улицу – только и слышно орут: «Кара-у-у-у-ул». По улице шатаются горчишники[3] (слободские ребята и фабричные), озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята – безо всяких признаков морали – хулиганы, мерзавцы, горчишники – богоискатели. Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать во всем государстве Российском: безобразничать во имя разрушения, и только. Никакой другой сознательной цели у них нет. А в целом народ переживает первый фазис богоискательства – разрушение основ.

Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу. Даша вытащила у него из кармана Катино письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал, ходил, хлопая дверьми, по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашеными полами, затем уехал на дачу.

«Данюша, милая, – писала Катя, – до сих пор ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае. Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носят очень узкие внизу платья, в моде – шифон. Куда поеду в конце июня – еще не знаю. Париж очень красив. И все решительно, – вот бы тебе посмотреть, – весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд – встают и танцуют, и в пять часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки, она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров, до того изящных, что, право, страшно иногда и грустно. В общем у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русскими, все наши знакомые: каждый день собираемся где-нибудь, – точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был близок, будто бы, с одной женщиной. Она – вдова, у нее двое детей и третий маленький. Понимаешь? Мне было очень больно

вначале. А потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького... Он-то в чем виноват?.. Ах, Данюша, иногда мне хочется иметь ребенка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж – рожай, слышишь, девочка...»

Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась, в особенности над этим, ни в чем не повинным, ребеночком и села писать ответ; прописала его до обеда; обедала одна, так, только пощипала что-то, – затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах, отыскала длиннейший роман под заглавием «Она простила», легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запыленный и усталый; сели ужинать, отец на все вопросы отвечал: «Угу»; Даша выведала, – оказывается, скарлатинный больной, мальчик трех лет у секретаря управы – умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и всласть наплакалась о разных грустных вещах.

Прошло два дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья настало тихое и влажное – вымытое.

Утром, как Даше встать, зашел к ней старый знакомый, Семен Семенович Говядин, земский статистик – худой и сутулый, всегда бледный мужчина, с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахло сметаной; он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здороваясь с Дашей, он сказал, безо всякой причины, насмешливым голосом:

– Я за вами, женщина. Едем за Волгу.

Даша подумала: «Итак, все кончилось статистиком Говядиным», – взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семеновичем вниз, к Волге, к пристаням, где стояли лодки.

Между длинных, дощатых бараков с хлебом, бунтов леса[4] и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках; вдалеке человек тридцать с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно.

– Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха, – наставительно заметил Семен Семенович, – а вот мы с вами, умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой. Причина несправедливости лежит в самом социальном строе.

И он, проговорив: «Простите, пожалуйста», – перешагнул через огромные, босые ноги грудастого и губастого парня, лежащего навзничь; другой

сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед:

– Филипп, вот бы нам такую.

И другой ответил лениво набитым ртом:

– Чиста очень. Возни много.

По гладкой, более версты шириной, желтоватой реке, в зыбких и длинных солнечных отсветах двигались темные силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин; попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот.

– Спорт – великая вещь, – сказал Семен Семенович и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помочи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки, как червяки, и гуттаперчевые манжеты. Даша раскрыла зонт и, прищурясь, глядела на воду.

– Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна, – в городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это?

– Нет, не правда.

Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного, озабоченного лица, и жиденьким голоском попробовал было запеть: «Эх, да вниз по матушке, по Волге», – но застыдился и со всей силы ударил в весла.

Навстречу проплыла лодка, полная народом. Три мещанки в зеленых и пунцовых шерстяных платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый, с черными усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой шибко греб, раскачивая лодку, третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семену Семеновичу:

– Сворачивай с дороги, шляпа, тудыт твою в душу. – И они с криком и руганью проплыли совсем близко, едва не столкнулись.

Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помочи и пиджак.

– Хотя я городской житель, но искренно люблю природу, – сказал он, пришурясь, – особенно когда ее дополняет фигура девушки, в этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу.

И они побрели по горячему песку, увязая в нем по щиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирал платком лицо и говорил:

– Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок!

Наконец песок кончился, пришлось взобраться на небольшой обрыв, откуда начинались луга с кое-где уже скошенной травой, вянущей в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага, полного воды, рос кудрявый орешник. В низинке, в сочной траве, журчал ручей, переливаясь в

другое озерцо – круглое. На берегу его росли две старые липы и корявая сосна с одной, отставленной, как рука, веткой. Дальше, по узкой гривке, цвел белый шиповник. Это было место, излюбленное вальдшнепами во время перелетов. Даша и Семен Семенович сели на траву. Под их ногами синела небом, зеленела отражением листвы вода по извилистым овражкам. Неподалеку от Даши в кусту прыгали, однообразно посвистывая, две серых птички. И со всей грустью покинутого любовника, где-то в чаще дерева, ворковал, ворковал, не уставая, дикий голубь. Даша сидела, вытянув ноги, сложив руки на коленях, и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, ах, что происходит с вами, – не понимаю, почему вам так грустно, хочется плакать. Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уж кончена, прошла, пролетела. Вы просто от природы плакса».

– Мне хочется быть с вами откровенным, Дарья Дмитриевна, – проговорил Говядин, – позволите мне, так сказать, отбросить в сторону условности?..

– Говорите, мне все равно, – ответила Даша и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающие глазки Семена Семеновича, который исподтишка поглядывал на ее белые чулки.

– Вы гордая, смелая девушка. Вы молоды, красивы, полны кипучей жизни...

– Предположим, – сказала Даша.

– Неужто вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль, привитую воспитанием и средой? Неужто во имя этой, всеми авторитетами уже отвергнутой, морали вы должны сдерживать свои красивые инстинкты?

– Предложим, что я не хочу сдерживать своих инстинктов – тогда что? – спросила Даша и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Ее разогрело солнце, и было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться.

Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марье Давыдовне Позерн. Раза два в год Марья Давыдовна забирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы чувственным и беспокойным характером Марьи Давыдовны. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно, только об этом и думает и не изменяет по трусости и вялости, что уже совсем обидно, и она больше не в состоянии видеть его длинную, вегетарианскую физиономию. Во время этих размолвок Семен Семенович по нескольку раз в день, без шапки, переходил улицу. Затем супруги мирились, и Марья Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом.

– Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у нее возникает единственное желание принадлежать, у него – овладеть ее телом, – покашляв, проговорил, наконец, Семен Семенович, – я вас зову быть честной, открытой. Загляните в глубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи в вас горит естественное желание здоровой чувственности.

– А у меня сейчас никакого желания не горит, что это значит? – спросила Даша. Ей было смешно и лениво. Над головой в бледном цветке шиповника, в желтой пыльце, ворочалась пчела. А покинутый любовник продолжал бормотать в осиннике: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы, в самом деле. Влюблены, влюблены, честное слово, – оттого и горюете». Слушая, Даша тихонько начала смеяться.

– Кажется, у вас забрался песок в туфельки. Позвольте, я вытряхну, – проговорил Семен Семенович каким-то особенным, глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю и шлепнула ею Семена Семеновича по щеке.

– Вы негодяй, – сказала она, – я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек.

Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на Говядина, пошла к реке.

«Вот дура, вот дура, не спросила даже адреса – куда писать, – думала она, спускаясь с обрыва, – не то в Кинешму, не то в Нижний. Вот теперь и сиди с Говядиным. Ах, боже мой!..» – Она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. – «Напишу Кате: “Представь себе, кажется, я полюбила, так мне кажется”». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила вполголоса: «Милый, милый, милый Иван Ильич...»

В это время неподалеку раздался голос: «Не полезу и не полезу, пусти, юбку оборвешь». По колено в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно, молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла: «Пусти, юбку оборвешь».

Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, – стиснуло горло от омерзения и стыда; казалось – пережить этого невозможно. Покуда она сталкивала лодку в воду, – подбежал запыхавшийся Говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу.

После этой прогулки у Даши, каким-то особым, непонятным ей самой, путем, началась обида на Телегина, точно он был виноват во всем этом унынии пыльного, раскаленного солнцем, провинциального города, с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками,

с телефонными и телеграфными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней, улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысле и кричит, глядя на пыльные окошки: «Рыбы воблой, рыбы»; но остановится около нее и понюхает рыбу какой-нибудь тоже одуревший и наполовину сбесившийся пес; когда со двора издалека дунайской, сосущей скукой заиграет шарманка.

Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот, окружавший ее, ленивый, утробный покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места, хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом: «Жить хочу, жить!»

Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромен и застенчив: не ей же, Даше, в самом деле, говорить: «Понимаете, что люблю». Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю провалился, а может быть, даже и думать забыл о поездочке на пароходе.

И в прибавление ко всему этому унынию, в одну из знойных, как в печке, черных ночей Даша увидела сон, тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка из запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше вспрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала: «Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем, и в чем-то еще более важном. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затхлости. И потом – я не помню, писала ли я тебе, – меня вот уж сколько времени преследует один человек. Выхожу из дома, – он идет навстречу. Поднимаюсь в лифте, в большом магазине, – он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку, и вдруг чувствую, – точно мне провели рукой по спине, – оборачиваюсь – неподалеку сидит он. Худой, черный, с сильной проседью, борода точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Я дверь насилу нашла. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит...»

Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал, между прочим:

– Кошка, поезжай в Крым.

– Зачем?

– Разыщи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж, к жене. А впрочем, как хочет... Это их частное дело...

Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша поняла, что ехать надо, и вдруг обрадовалась: Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным просто-

ром. Длинная тень от пирамидного тополя, каменная скамья, развевающийся на голове шарф и чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей.

Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович.

XII

В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы, с катарами и бронхитами, и шумные, растрепанные москвичи, с ленивой и поющей речью, и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных «о» и «а», и презирающие эту российскую суету богатые сибиряки; жарились и обгорали дочерна молодые женщины и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные и семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей.

В середине лета от соленой воды, жары и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда, городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображение на этрусских вазах.

В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось легким и возможным. А какова будет расплата потом, на севере, в скучной квартире, когда за окнами дождь, а в прихожей трещит телефон и все кому-то что-то обязаны, – стоит ли думать о расплате. Морская вода с мягким шорохом подходит к берегу, касается ног, и вытянутому телу на песке, закинутым рукам и закрытым векам – легко, горячо и сладко. Все, все, даже самое опасное, – легко и сладко.

Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие.

По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И, казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы.

Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города, с дороги, пыльной белой лентой бегущей по ровной степи, мимо солончаков, ометов соломы и кое-где, вдали, длинных строений, она увидела против солнца

большой деревянный корабль. Он медленно двигался в полуверсте, по степи, среди полыни, сверху донизу покрытый черными, поставленными боком, парусами. Это было до того удивительно, что Даша ахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле старый армянин сказал, засмеявшись: «Сейчас море увидишь».

Автомобиль повернул мимо квадратных запруд солеварен на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало выше земли, темно-синее, покрытое белыми длинными жгутами пены. Веселый ветер засвистел в ушах. Даша стиснула на коленях кожаный чемоданчик и подумала: «Вот оно. Начинается».

В это же время Николай Иванович Смоковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником-резонером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались, говорили о пользе йодистого лечения, о морском купанье и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатертей и женские шарфы. Мимо прошла однопарусная яхта, и оттуда крикнули: «Передайте Леле, что мы ждем!» Толпою появились и заняли большой стол москвичи, все мировые знаменитости. Любовник-резонер поморщился при виде них и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать.

– Если бы не этот проклятый коньячище, я бы давно кончил первый акт, – говорил он, вдумчиво и благородно глядя в лицо Николаю Ивановичу, – у тебя светлая голова, Коля, ты поймешь мою идею: красивая, молодая женщина тоскует, томится, кругом нее пошлость. Хорошие люди, но жизнь засосала, – гнилые чувства и пьянство... Словом, ты понимаешь... И вдруг она говорит: «Я должна уйти, порвать с этой жизнью, уйти туда, куда-то, к светлому»... А тут – муж и друг... Оба страдают... Коля, ты пойми, – жизнь засосала... Она уходит, я не говорю к кому, – любовника нет, все на настроении... И вот двое мужчин сидят в кабаке, молча, и пьют... Глотают слезы вместе с коньяком... А ветер в каминной трубе завывает, хоронит их... Грустно... Пусто... Темно...

– Ты хочешь знать мое мнение? – спросил Николай Иванович.

– Да. Ты только скажи: «Миша, брось писать, брось», и я брошу.

– Пьеса твоя замечательная. Это – сама жизнь. – Николай Иванович, закрыв глаза, помотал головой. – Да, Миша, мы не умели ценить своего счастья, и оно ушло, и вот мы – без надежды, без воли – сидим и пьем. И воет ветер над нашим кладбищем... Твоя пьеса меня чрезвычайно волнует...

У любовника-резонера задрожали большие мешки под глазами, он потянулся и крепко поцеловал Николая Ивановича, стиснул ему руку, затем налил по рюмочке. Они чокнулись, положили локти на стол и продолжали душевную беседу.

– Коля, – говорил любовник-резонер, тяжело глядя на собеседника, – а знаешь ли ты, что я любил твою жену, как Бога?

– Да. Мне это казалось.

– Я мучился, Коля, но ты был мне другом... Сколько раз я бежал из твоего дома, клянясь не переступать больше порога... Но я приходил опять и разыгрывал шута... И ты, Николай, не смеешь ее винить, – он вытянул губы и сложил их свирепо...

– Миша, она жестоко поступила со мною.

– Может быть... Но мы все перед ней виноваты... Ах, Коля, одного я в тебе не могу понять, – как ты, живя с такой женщиной, – ведь с ней нужно на коленях разговаривать, – а ты, прости меня, путался, вместо этого, с какой-то вдовой Чимирязевой. Зачем?

– Это сложный вопрос.

– Лжешь. Я ее видел, обыкновенная курица.

– Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно... Софья Ивановна Чимирязева была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома все было слишком сложно, трудно, углубленно... На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил...

– Коля, но неужели – вот мы вернемся в Петербург, вот настанет вторник, и я не приду к вам после спектакля... Как мне жить?.. Слушай... Где жена сейчас?

– В Париже.

– Переписываешься?

– Нет.

– Поезжай в Париж. Поедем вместе.

– Бесполезно...

– Коля, выпьем за ее здоровье.

– Выпьем.

В павильоне, между столиками, появилась актриса Чародеева, в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая, как змея, с синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, – так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала «Хор муз», взял за руку и не спеша поцеловал в сгиб локтя.

– Изумительная женщина, – проговорил Николай Иванович сквозь зубы.

– Нет, Коля, нет. Чародеева – просто падаль. В чем дело?.. Жила три месяца с Бессоновым, на концертах мяукает декадентские стихи... Смотри, смотри – рот до ушей, на шее жилы. Помелом ее со сцены, я давно об этом кричу...

Все же, когда Чародеева, кивая шляпой направо и налево, улыбаясь большим ртом с розовыми зубами, приблизилась к столику, любовник-резонер, словно пораженный, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком и проговорил:

– Милая... Ниночка... Какой туалет!.. Не хочу, не хочу... Мне прописан глубокий покой, родная моя...

Чародеева взяла его костлявой рукой за подбородок, поджала губы, сморщила нос:

– А что болтал вчера про меня в ресторане?

– Я тебя ругал вчера в ресторане? Ниночка!

– Да еще как.

– Честное слово, меня оклеветали.

Чародеева со смехом положила ладонь ему на губы:

– Ведь знаешь, что не могу на тебя долго сердиться. – И уже другим голосом, из какой-то воображаемой, светской пьесы, обратилась к Николаю Ивановичу: – Сейчас проходила мимо вашей комнаты; к вам приехала, кажется, родственница, – прелестная девушка.

Николай Иванович быстро взглянул на друга, затем взял с блюдечка окурок сигары и так принялся его раскуривать, что задымилась вся борода.

– Это неожиданно, – сказал он. – Что бы это могло означать?.. Бегу. – Он бросил сигару в море и стал спускаться по лестнице на берег, вертя серебряной тростью, сдвинув шляпу на затылок. В гостиницу Николай Иванович вошел уже запыхавшись...

– Даша, ты зачем? Что случилось? – спросил он, притворяя за собой дверь.

Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашивала чулок. Когда вошел зять, она не спеша поднялась, подставила ему щеку для поцелуя и сказала рассеянно:

– Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла два письма от Кати... Вот. Прочти, пожалуйста.

Николай Иванович схватил у нее письма и сел к окну. Даша ушла в умывальную комнату и оттуда, одеваясь, слушала, как зять шуршит листочками, вздыхает. Затем он затих. Даша насторожилась.

– Ты завтракала? – вдруг спросил он. – Если голодна – пойдем в павильон. Тогда она подумала: «Разлюбил ее совсем», – обеими руками надвинула на голову шапочку и решила разговор о Париже отложить на завтра.

По дороге к павильону Николай Иванович молчал и глядел под ноги, но когда Даша спросила: «Ты купаешься?» – он весело поднял голову и заговорил о том, что здесь у них образовалось общество борьбы с купальными костюмами, главным образом преследующее гигиенические цели.

– Представь, за месяц купанья на этом пляже организм поглощает йода больше, нежели за это время можно искусственно ввести его вовнутрь. Кроме того, ты поглощаешь солнечные лучи и теплоту от нагретого песка. У нас, мужчин, еще терпимо, только небольшой пояс, но женщины закрывают почти две трети тела. Мы с этим решительно начали бороться... В воскресенье я читаю лекцию по этому вопросу, затем мы устраиваем концерт.

Они шли вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку из плоских, обтертых прибоями, раковинок. Неподалеку, там, где на отмель набегали и разбивались кипящей пеной небольшие волны, покачивались, как поплавки, две девушки в красных чепчиках.

– Наши адептки, – сказал Николай Иванович деловито. У Даши все сильнее росло чувство не то возбуждения, не то беспокойства. Это началось с той минуты, когда она увидела в степи черный корабль.

Даша остановилась, глядя, как вода тонкой пеленой взлизывает на песок и отходит, оставляя ручейки, и это прикосновение воды к земле было такое радостное и вечное, что Даша присела и опустила туда руки. Маленький, плоский краб шарахнулся боком, пустив облачко песка, и исчез в глубине. Волной Даше замочило руки выше локтя.

– Какая-то с тобой перемена, – проговорил Николай Иванович, прищурясь, – не то ты еще похорошела, не то похудела, не то замуж тебе пора.

Даша обернулась, взглянула на него странно, точно раскосо; поднялась и, не обтирая рук, пошла к павильону, откуда любовник-резонер махал соломенной шляпой.

Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским; любовник-резонер суетился, время от времени впадал в столбняк, шепча словно про себя: «Боже мой, как хороша!» – и подводил знакомить каких-то юношей – учеников драматической студии, говоривших придушенными голосами, точно на исповеди. Николай Иванович был польщен и взволнован таким успехом «своей Дашурки».

Даша пила вино, смеялась, ела, что ей подставляли, протягивала кому-то для поцелуев руку и, не отрываясь, глядела на сияющее голубым светом, взволнованное море. «Это счастье», – думала она, и ей хотелось плакать.

После купанья и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно. Любовник-резонер много и горячо говорил о любви. Николай Иванович, глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша все время сквозь щель в занавеси окна видела, как невдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась и вышла на берег. Ясная и круглая луна, совсем близкая, как в сказках Шехерезады, висела в голубовато-серебряной бездне над чешуйчатой дорогой через все море. Даша крепко засунула пальцы между пальцев и хрустнула ими.

Когда послышался голос Николая Ивановича, она поспешно пошла дальше вдоль воды, сонно лижущей берег. На песке сидела женская фигура и другая, мужская, лежала головой у нее на коленях. Между зыбкими бликами в черно-лиловой воде плавала человеческая голова, и на Дашу взглянули и долго следили за ней два глаза с лунными отблесками. Потом стояли двое, прижавшись; миновав их, Даша услышала вздох и поцелуй.

Издалека звали: «Даша, Даша!» Тогда она села на песок, положила локти на колени и подперла подбородок. Если бы сейчас подошел Телегин, опустился бы рядом, обнял рукой за спину и голосом суровым и тихим спросил: «Моя?» Ответила бы: «Твоя».

За бугорком песка пошевелилась серая, лежащая ничком, фигура, села, уронив голову, долго глядела на играющую, точно на забаву детям, лунную дорогу, поднялась и побрела мимо Даши, уныло, как мертвая. И с отчаянно бьющимся сердцем Даша увидела, что это – Бессонов.

Так начались для Даши эти последние дни старого мира. Их осталось немного, насыщенных зноем догорающего лета, радостных и беспечных. Но люди, привыкшие думать, что будущий день так же ясен, как вдалеке синеватые очертания гор, даже умные и прозорливые люди не могли ни видеть, ни знать ничего, лежащего вне мгновения их жизни. За мгновением, многоцветным, насыщенным запахами, наполненным биением всех соков жизни, лежал мертвый и непостижимый мрак... Туда ни на волосок не проникали ни взгляд, ни ощущение, ни мысль, и только, быть может, неясным чувством, какое бывает у зверей перед грозой, воспринимали иные то, что надвигалось. Это чувство было как необъяснимое беспокойство. Люди торопились жить. А в это время на землю опускалось невидимое облако, бешено крутящееся какими-то торжествующими и яростными и какими-то падающими и изнемогающими очертаниями. И это было отмечено лишь полосою солнечной тени[1], зачеркнувшей с юго-востока на северо-запад всю старую, милую и грешную жизнь на земле.

XIII

Бессонов переживал сводящую скулы оскомину, когда целыми днями валялся у моря. Разглядывая лица: женские – смеющиеся, покрытые солнечной пылью загара, и мужские – медно-красные и взволнованные, он с унынием чувствовал, что сердце его, как лед, лежит в груди. Глядя на море – думал, что вот оно тысячи лет шумит волнами о берег. И берег был когда-то пуст и вот он населен людьми, и они умрут, и берег опять опустеет, а море будет все так же набегать на песок. Думая, он морщился, сгребал пальцем раковинки в кучечку и засовывал в нее потухшую папиросу. Затем шел купаться. Затем лениво обедал. Затем уходил спать.

Вчера, неподалеку от него, быстро села в песок какая-то девушка и долго глядела на лунный свет; от нее слабо пахло фиалками. В оцепеневшем мозгу прошло воспоминание. Бессонов заворочался, подумал: «Ну, нет, на этот крючок не зацепишь, не заманишь, к черту, спать», – поднялся и побрел в гостиницу.

Даша после этой встречи струсила. Ей казалось, что петербургская жизнь – все эти воробьиные ночи отошли навсегда, и Бессонов, непонятно чем занозивший ее воображение, – забыт.

Но от одного взгляда, от этой минутки, когда он черным силуэтом прошел перед светом месяца, в ней все поднялось с новой силой, и не в виде смутных и неясных переживаний, а теперь было точное желание, горячее, как полуденный жар: она жаждала почувствовать этого человека. Ни любить, ни мучиться, ни раздумывать – а только ощутить.

Сидя в залитой лунным светом белой комнате, у окна, она повторяла слабым голосом:

– Ах, боже мой, ах, боже мой, что же это такое?..

В седьмом часу утра Даша пошла на берег, разделась, вошла по колено в воду и загляделась. Море было выцветшее, бледно-голубое и только кое-где вдалеке тронутое матовой рябью. Вода не спеша всходила то выше колен, то опускалась ниже. Даша протянула руки, упала в эту небесную прохладу и поплыла. Потом, освеженная и вся соленая, закуталась в мохнатый халат и легла на песок, уже тепловатый.

«Люблю одного Ивана Ильича, – думала она, лежа щекой на локте, розовом и пахнущем свежестью, – люблю, люблю Ивана Ильича. С ним чисто, свежо, радостно. Слава богу, что люблю Ивана Ильича. Выйду за него замуж...»

Она закрыла глаза и заснула, чувствуя, как рядом, набегая, будто дышит вода в лад с ее дыханием.

Этот сон был сладок. Она, не переставая, чувствовала, как ее телу тепло и легко лежать на песке. И во сне она ужасно любила себя какой-то особой, взволнованной влюбленностью.

На закате, когда солнце сплющенным шаром опускалось в оранжевое, безоблачное зарево, Даша встретила Бессонова, сидевшего на камне у тропинки, вьющейся через плоское полынное поле. Даша забрела сюда, гуляя, и сейчас, увидев Бессонова, остановилась, хотела повернуть, побежать, но давешняя легкость опять исчезла, и ноги, отяжелев, точно приросли, и она исподлобья глядела, как он подходил, почти не удивленный встречей, как снял соломенную шляпу и поклонился по-монашески – смиренным наклонением:

– Вчера я не ошибся, Дарья Дмитриевна, – это вы были на берегу?

– Да, я...

Он помолчал, опустив глаза, потом взглянул мимо Даши в глубину уже потемневшей степи:

– На этом поле, во время заката, чувствуешь себя, как в пустыне. Сюда редко кто забредет. Кругом – полынь, камни, и в сумерки представляется, что на земле никого уже не осталось, – я один.

Бессонов засмеялся, медленно открыв белые зубы. Даша глядела на него, как дикая птица. Потом она пошла рядом с ним по тропинке. С боков и по всему полю росли невысокие, горько пахнущие кустики полыни; от каждого ложилась на сухую землю еще не яркая лунная тень. Над головами, вверх и вниз, неровно и трепеща, летали две мыши, ясно видимые в полосе заката.

– Соблазны, соблазны, никуда от них не скроешься, – проговорил Бессонов, – прельщают, заманивают, и снова попадаешься в обман. Смотрите – до чего лукаво подстроено, – он показал палкой на невысоко висящий шар луны, – всю ночь будет ткать сети, тропинка прикинется ручьем, каждый кустик – населенным, даже труп покажется красив, и женское лицо – таинственно. А, может быть, действительно, так и нужно: вся мудрость в этом обмане... Какая вы счастливая, Дарья Дмитриевна, какая вы счастливая...

– Почему же это обман? По-моему, совсем не обман. Просто – светит луна, – сказала Даша упрямо.

– Ну, конечно, Дарья Дмитриевна, конечно... «Будьте, как дети»[1]. Обман в том, что я не верю ничему этому. Но – «будьте так же, как змеи»[2]. А как это соединить? Что нужно для этого... Говорят, соединяет любовь? А вы как думаете?

– Не знаю. Ничего не думаю.

– Из каких она приходит пространств? Как ее заманить? Каким словом заклясть? Лечь в пыль и взывать: о, Господи, пошли на меня любовь!.. – Он негромко засмеялся, показал зубы.

– Я дальше не пойду, – сказала Даша, – я хочу к морю.

Они повернули и шли теперь по полыни к песчаной возвышенности. Неожиданно Бессонов сказал мягким и осторожным голосом:

– Я до последнего слова помню все, что вы говорили тогда у меня, в Петербурге. Я вас спугнул.

Даша молчала, глядя пред собой, и шла очень быстро.

– Но почему-то мне всегда казалось, Дарья Дмитриевна, что мы продолжим нашу беседу. Я помню – тогда меня потрясло одно ощущение... Не ваша особенная красота, нет... Меня поразила, пронизала всего непередаваемая музыка вашего голоса. Когда-то – очень давно – я слушал в оркестре симфонию – забыл какую. И вот, из всех звуков родился один звук, – пела труба, печальная и чистая; казалось, – ее было слышно во всех концах земли, – таков будет голос архангела в последний час.

– Бог знает, что вы говорите! – воскликнула Даша, остановившись; взглянула на него и опять пошла.

– Более страшного искушения не было в моей жизни. Я глядел тогда на вас и думал – «это место свято». Здесь мое спасение: отдать сердце вам, стать нищим, смиренным, растаять в вашем свету... А может быть, взять

ваше сердце? Стать бесконечно богатым?.. Подумайте, Дарья Дмитриевна, вот вы пришли, и я должен отгадать загадку.

Даша, опередив его, взбежала на песчаную дюну. Широкая лунная дорога, переливаясь, как чешуя, в тяжелой громаде воды, обрывалась на краю моря длинной и ясной полосой, и там над этим светом стояло темное сияние. У Даши так билось сердце, что пришлось закрыть глаза. «Господи, спаси меня от него», – подумала она. Бессонов несколько раз вонзил палку в песок:

– Только уже нужно решаться, Дарья Дмитриевна... Кто-то должен сгореть на этом огне... Вы ли... Я ли... Подумайте, ответьте...

– Не понимаю, – отрывисто сказала Даша.

– Когда вы станете нищей, опустошенной, сожженной, – тогда только настанет для вас настоящая жизнь, Дарья Дмитриевна... без этого лунного света, – соблазна на три копейки. Будет страшная жизнь – мудрость. И чувство непомерного величия – гордость. И всего только и нужно для этого – сбросить платьице девочки...

Бессонов ледяной рукой взял Дашину руку и заглянул ей в глаза. Даша только и могла, что – медленно зажмурилась. Спустя долгое молчание он сказал:

– Впрочем, пойдемте лучше по домам – спать. Поговорили, обсудили вопрос со всех сторон, – да и час поздний...

Он довел Дашу до гостиницы, простился учтиво, сдвинул шляпу на затылок и пошел вдоль воды, вглядываясь в неясные фигуры гуляющих. Внезапно остановился, повернул и подошел к высокой женщине, стоящей неподвижно, закутавшись в белую шелковую шаль. Бессонов перекинул трость через плечи, взялся за ее концы и сказал:

– Нина, здравствуй.

– Здравствуй.

– Ты что делаешь одна на берегу?

– Стою.

– Почему ты одна?

– Одна, потому что – одна, – ответила Чародеева тихо и сердито.

– Неужели все еще сердишься?

– Нет, голубчик, давно успокоилась. Ты-то вот не волнуйся на мой счет.

– Нина, пойдем ко мне.

Тогда она, откинув голову, молчала долго, потом дрогнувшим, неясным голосом ответила:

– С ума ты сошел?

– А ты разве этого не знала?

Он взял ее под руку, но она резко выдернула ее и пошла медленно, рядом с ним, вдоль лунных отсветов, скользящих по масляно-черной воде вслед их шагам.

Наутро Дашу разбудил Николай Иванович, осторожно постучав в дверь:

– Данюша, вставай, голубчик, идем кофе пить.

Даша спустила с кровати ноги и посмотрела на сброшенные вчера чулки и туфельки, – все в серой пыли. Что-то случилось. Или опять приснился тот омерзительный сон? Нет, нет, было гораздо хуже, не сон. Даша кое-как оделась и побежала купаться.

Но вода утомила ее, и солнце разожгло. Сидя под мохнатым халатом, обхватив голые коленки, она думала, что здесь ничего хорошего случиться не может.

«И не умна, и трусиха, и бездельница. Воображение преувеличенное. Сама не знаю, чего хочу. Утром одно, вечером другое. Как раз тот тип, какой ненавижу».

Склонив голову. Даша глядела на море, и даже слезы навернулись у нее, – так было смутно и грустно.

«Подумаешь – великое сокровище берегу. Кому оно нужно – ни одному человеку на свете. Никого по-настоящему не люблю, себя ненавижу. И выходит – он прав: лучше уж сжечь все, сгореть и стать трезвым человеком. Он позвал, и пойти к нему нынче же вечером, и... Ох, нет!..»

Даша опустила лицо в колени, – так стало жарко. И было ясно, что дальше жить этой двойной жизнью нельзя. Должно прийти, наконец, освобождение от невыносимого дольше девичества. Или уж – пусть будет беда.

Так, сидя в унынии, она раздумывала: «Предположим – уеду отсюда. К отцу. В пыль. К мухам. Дождусь осени. Начнутся занятия. Стану работать по двенадцати часов в сутки. Высохну, стану уродом. Наизусть выучу международное право. Буду носить бумазейные юбки: уважаемая юрист-девица Булавина. Конечно, выход очень почтенный... Ах, боже мой. Боже мой!..»

Даша стряхнула прилипший к коже песок и пошла в дом. Николай Иванович лежал на террасе, в шелковой пижаме, и читал запрещенный роман Анатоля Франса[3]. Даша села к нему на ручку качалки и, покачивая туфелькой, сказала раздумчиво:

– Вот, мы с тобой хотели поговорить насчет Кати.

– Да, да.

– Видишь ли, Николай, женская жизнь, вообще, очень трудная. Тут в девятнадцать-то лет не знаешь, что с собой делать.

– В твои годы, Данюша, надо жить вовсю, не раздумывая. Много будешь думать – останешься на бобах. Смотрю на тебя – ужасно ты хороша.

– Так и знала, Николай, – с тобой бесполезно разговаривать. Всегда скажешь не то, что нужно, и бестактно. От этого-то и Катя от тебя ушла.

Николай Иванович засмеялся, положил роман Анатоля Франса на живот и закинул за голову толстые руки:

– Начнутся дожди, и птичка сама прилетит в дом. А помнишь, как она перышки чистила?.. Я Катюшу, несмотря ни на что, очень люблю. Ну, что же – оба нагрешили, и квиты.

– Ах, ты вот как теперь разговариваешь! А вот я на месте Кати точно так же бы поступила с тобой...

– Ого! Это что-то новое у тебя?..

– Да, новое... Действительно, – уже с ненавистью глядя на него, проговорила Даша, – любишь, мучаешься, места себе не находишь, а он очень доволен и уверен...

И она отошла к перилам балкона, рассерженная не то на Николая Ивановича, не то еще на кого-то.

– Станешь постарше и увидишь, что слишком серьезно относиться к житейским невзгодам – вредно и не умно, – проговорил Николай Иванович, – это ваша закваска, булавинская – все усложнять... Проще, проще надо, – ближе к природе...

Он вздохнул и замолчал, рассматривая ногти. Мимо террасы проехал потный гимназист на велосипеде, – привез из города почту.

– Пойду в сельские учительницы, – проговорила Даша мрачно.

Николай Иванович переспросил сейчас же:

– Куда?

Но она не ответила и ушла к себе. С почты принесли письма для Даши: одно было от Кати, другое от отца. Дмитрий Степанович писал: «...Посылаю тебе письмо от Катюшки. Я его читал и мне оно не понравилось. Хотя – делайте, как хотите... У нас все по-старому. Очень жарко. Кроме того, Семена Семеновича Говядина вчера в городском саду избили горчишники, но за что – он скрывает. Вот и все новости. Да, была тебе еще открытка от какого-то Телегина, но я ее потерял. Кажется, он тоже в Крыму, не то еще где-то...»

Даша внимательно перечла эти последние строчки, и неожиданно шибко забилось сердце. Потом, с досады, она даже топнула ногой; – извольте радоваться: «Не то в Крыму, не то еще где-то»... Отец, действительно, кошмарный человек, неряха и эгоист. Она скомкала его письмо и долго сидела у письменного столика, подперев подбородок. Потом стала читать то, что было от Кати: «Помнишь, Данюша, я писала тебе о человеке, который за мной ходит. Вчера вечером в Люксембургском саду он подсел ко мне. Я вначале струсила, но осталась сидеть. Тогда он мне сказал: "Я вас преследовал, я знаю ваше имя, и кто вы такая. Но затем со мной случилось большое несчастье, – я вас полюбил". Я посмотрела на него, – сидит, как в церкви, важно, лицо строгое, темное какое-то, обтянутое. "Вы не должны бояться меня, – я старик, одинокий. У меня грудная жаба, каждую минуту я могу умереть. И вот – такое несчастье". У него по щеке потекла слеза. Потом он проговорил, покачивая головой: "О, какое милое, какое милое ваше лицо". Я сказала: "Не пресле-

дуйте меня больше". И хотела уйти, но мне стало его жалко, я осталась и говорила с ним. Он слушал и, закрыв глаза, покачивал головой. И, представь себе, Данюша, – сегодня получаю от какой-то женщины, кажется, от консьержки, где он жил, письмо... Она, "по его поручению", сообщает, что он умер ночью... Ох, как это было страшно... Вот и сейчас – подошла к окну, на улице тысячи, тысячи огней, катятся экипажи, люди идут между деревьями. После дождя – туманно. И мне кажется, что все это уже бывшее, все умерло, эти люди – мертвые, будто я вижу то, что кончилось, а того, что происходит сейчас, когда стою и гляжу, – не вижу, но знаю, что все кончилось. Вот – прошел человек, обернулся, посмотрел на мое окно, и мне ясно, что он обернулся и посмотрел не сейчас, а давно, когда-то... Должно быть, мне совсем плохо. Иногда – лягу и плачу, – жалко жизни, зачем прошла. Было какое ни на есть, но все-таки счастье, любимые люди, – и следа не осталось... И сердце во мне стало сухонькое – высохло. Я знаю, Даша, предстоит еще какое-то большое горе, и все это в расплату за то, что мы все жили дурно. Данюша, Данюша, дай Бог тебе счастья...»

Даша показала это письмо Николаю Ивановичу. Читая, он принялся вздыхать, потом заговорил о том, что он всегда чувствовал вину свою перед Катей:

– Я видел, – мы живем дурно, эти непрерывные удовольствия кончатся, когда-нибудь, взрывом отчаяния. Но что я мог поделать, если занятие моей жизни, и Катиной, и всех, кто нас окружал, – веселиться... Иногда, здесь, гляжу на море и думаю: существует какая-то Россия, пашет землю, пасет скот, долбит уголь, ткет, кует, строит, существуют люди, которые заставляют ее все это делать, а мы какие-то третьи, умственная аристократия страны, интеллигенты – мы ни с какой стороны этой России не касаемся. Она нас содержит. Мы – папильоны. Это трагедия. Попробуй я, например, разводить овощи, или построй завод, – ничего не выйдет. Я обречен до конца дней летать папильоном. Конечно, мы пишем книги, произносим речи, делаем политику, но это все тоже входит в круг времяпрепровождения, даже тогда, когда гложет совесть. У Катюши эти непрерывные удовольствия кончились душевным опустошением. Иначе и не могло быть... Ах, если бы ты знала, – какая это была прелестная, нежная и кроткая женщина!.. Я развратил ее, опустошил... Да, ты права, нужно к ней ехать...

Ехать в Париж решено было обоим, и немедленно, как только получатся заграничные паспорта. После обеда Николай Иванович ушел в город, а Даша принялась переделывать в дорогу большую соломенную шляпу, но только разорила ее, пришла в отчаяние и подарила горничной. Потом написала письмо отцу и в сумерки прилегла на постель, – такая, внезапно, напала усталость, – положила ладони под щеку и слушала, как шумит море, все отдаленнее, все приятнее.

Потом показалось, что кто-то наклонился над ней, отвел с лица прядь волос и поцеловал в глаза, в щеки, в уголки губ, легко – одним дыханием. По всему телу разлилась сладость этого поцелуя. Даша медленно пробудилась. В открытое окно виднелись редкие звезды, и ветерок, залетев, шелестел листками письма. Затем из-за стены появилась человеческая фигура, облокотилась снаружи на подоконник и глядела на Дашу.

Тогда Даша проснулась совсем, села и поднесла руку к груди, где было расстегнуто платье.

– Что вам нужно? – спросила она едва слышно. Человек в окне голосом Бессонова проговорил.

– Я вас ждал на берегу. Почему вы не пришли? Боитесь?

Даша ответила, помолчав:

– Да.

Тогда он перелез через подоконник, отодвинул стол и подошел к кровати:

– Я провел омерзительную ночь, – еще бы немного и удавился. У вас есть хоть какое-нибудь чувство ко мне?

Даша покачала головой, но губ не раскрыла.

– Слушайте, Дарья Дмитриевна, не сегодня, завтра, через год, – это должно случиться. Я не могу без вас существовать. Не заставляйте меня терять образ человеческий. – Он говорил тихо и хрипло, и подошел к Даше совсем близко. Она вдруг глубоко, коротко вздохнула и продолжала глядеть ему в лицо. – Все, что я вчера говорил, – вранье... Я жестоко страдаю... У меня нет силы вытравить память о вас... Будьте моей женой...

Он наклонился к Даше, вдыхая ее запах, положил руку сзади ей на шею и прильнул к губам. Даша уперлась в грудь ему, но руки ее согнулись. Тогда в оцепеневшем сознании прошла спокойная мысль: «Это то, чего я боялась и хотела, но это похоже на убийство...» Отвернув лицо, она слушала, как Бессонов, дыша вином, бормотал ей что-то в ухо. И Даша подумала: «Точно так же было у него с Катей». И тогда уже ясный, рассудительный холодок поджал все тело, и резче стал запах вина и омерзительнее бормотанье.

– Пустите-ка, – проговорила она, с силой отстранила Бессонова и, отойдя к двери, застегнула, наконец, ворот на платье.

Тогда Бессоновым овладело бешенство: схватив Дашу за руки, он притянул ее к себе и стал целовать в горло. Она, сжав губы, молча боролась. Когда же он поднял ее и понес, – Даша проговорила быстрым шепотом:

– Никогда в жизни, хоть умрите...

Она с силой оттолкнула его, освободилась и стала у стены. Все еще трудно дыша, он опустился на стул и сидел неподвижно. Даша поглаживала руки в тех местах, где были следы пальцев.

– Не нужно было спешить, – сказал Бессонов.

Она ответила:

– Вы мне омерзительны.

Он сейчас же положил голову боком на спинку стула. Даша сказала:

– Вы с ума сошли... Уходите же...

И повторила это несколько раз. Он, наконец, понял, поднялся и тяжело, неловко вылез через окно. Даша затворила ставни и принялась ходить по темной комнате. Эта ночь была проведена плохо.

Под утро Николай Иванович, шлепая, босиком, подошел к двери и спросил заспанным голосом:

– У тебя зубы, что ли, болят, Даша?

– Нет.

– А что это за шум был ночью?

– Не знаю.

Он, пробормотав: «Удивительное дело», ушел. Даша не могла ни присесть, ни лечь, – только ходила, ходила от окна до двери, чтобы утомить в себе это острое, как зубная боль, омерзение к себе. Случилось самое отвратительное, чего никогда нельзя было даже предугадать, – словно ночью на погосте собаки рвали падаль... И это делала она, Даша. Если бы Бессонов совладал с ней, – кажется, было бы лучше. И с отчаянной болью она вспоминала белый, залитый солнцем пароход, и еще то, как в осиннике ворковал, бормотал, все лгал, все лгал покинутый любовник, уверял, что Даша влюблена.

Так вот это все чем кончилось? Оглядываясь на белевшую в сумраке постель, страшное место, где только что лицо человеческое превращалось в песью морду, Даша чувствовала, что жить с этим знанием нельзя. Какую бы угодно взяла муку на себя, – только бы не чувствовать этой брезгливости ко всему живому, к людям, к земле, к себе... Закрывая лицо ладонями, Даша повторяла: «Отче Наш, иже еси на небесах, спаси меня...» Но слова не могли дойти до Него... Горела голова и хотелось точно содрать с лица, с шеи, со всего тела паутину.

Наконец свет сквозь ставни стал совсем яркий. В доме начали хлопать дверьми, чей-то звонкий голос позвал: «Матреша, принеси воды…» Проснулся Николай Иванович и за стеной чистил зубы. Даша ополоснула лицо и, надвинув на глаза шапочку, вышла на берег. Море было, как молоко, песок – сыроватый. Пахло водорослями. Даша повернула в поле и побрела вдоль дороги. Навстречу, поднимая пыльцу колесами, двигалась плетушка об одну лошадь. На козлах сидел татарин, позади него – какой-то широкий человек, весь в белом. Взглянув, Даша подумала, как сквозь сон (от солнца, от усталости слипались глаза): «Вот едет хороший, счастливый человек, ну и пускай его – и хороший и счастливый», – и она отошла с дороги. Вдруг из плетушки послышался испуганный голос:

– Дарья Дмитриевна!

Кто-то спрыгнул на землю и побежал. От этого голоса у Даши закатилось сердце, упало куда-то вглубь, ослабли ноги. Она обернулась. К ней подбегал Телегин, загорелый, взволнованный, синеглазый, до того неожиданно-родной, что Даша стремительно положила руки ему на грудь, прижалась лицом и громко, по-детски, заплакала.

Телегин твердо держал ее за плечи. Когда Даша срывающимся голосом попыталась что-то объяснить, он сказал:

– Пожалуйста, Дарья Дмитриевна, пожалуйста, потом. Это не важно...

Парусиновый пиджак на груди у него промок от Дашиных слез. И ей стало легче.

– Вы к нам ехали? – спросила она.

– Да, я проститься приехал, Дарья Дмитриевна... Вчера только узнал, что вы здесь, и вот... хотел бы проститься...

– Проститься?

– Призывают, ничего не поделаешь.

– Призывают?

– Разве вы ничего не слыхали?

– Нет.

– Война, оказывается, вот в чем дело-то. – И, улыбаясь, он влюбленно и как-то по-новому, уверенно глядел Даше в лицо.

XIV

В кабинете редактора большой либеральной газеты – «Слово народа» – шло чрезвычайное редакционное заседание, и так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю, сверх обычая, были поданы коньяк и ром.

Матерые, бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на подоконниках и на знаменитом кожаном диване, оплоте оппозиции, про который один известный писатель выразился неосторожно, что там – клопы.

Редактор, седой и румяный, английской повадки мужчина, говорил чеканным голосом, – слово к слову, – одну из своих замечательных речей, которая должна была и на самом деле дала линию поведения всей либеральной печати.

«...Сложность нашей задачи в том, что, не уступая ни шагу в оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности Российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, – есть в эту минуту вопрос второстепенный. Мы должны

победить, а затем судить виновных. Господа, в то время как мы здесь разговариваем, под Красноставом происходит кровопролитное сражение[1], куда в прорыв нашего фронта брошена наша гвардия. Исход сражения еще не известен, но помнить надлежит, что опасность грозит Киеву. Нет сомнения, что война не может продолжиться долее трех-четырех месяцев, и каков бы ни был ее исход – мы с гордо поднятой головой скажем царскому правительству: в тяжелый час мы были с вами, теперь мы требуем вас к ответу...»

Один из старейших членов редакции – Белосветов – пишущий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя:

– Воюет царское правительство, при чем здесь мы и протянутая рука? – убейте, не понимаю. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами и вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шеи, – мы только выиграем.

– Да уж знаете, протягивать руку Николаю Второму, как хотите, – противно, господа, – пробормотал Альфа, передовик, выбирая в сухарнице пирожное, – во сне холодный пот прошибет...

Сейчас же заговорило несколько голосов:

– Нет и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение...

– Что же это такое – капитуляция? – я спрашиваю.

– Позорный конец всему прогрессивному движению.

– А я, господа, все-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне цель этой войны.

– Вот когда немцы намнут шею – тогда узнаете.

– Эге, батенька, да вы, кажется, националист!

– Просто я не желаю быть битым.

– Да, ведь бить-то будут не вас, а Николая Второго.

– Позвольте... А Польша? а Волынь? а Киев?..

– Чем больше будем биты – тем скорее настанет революция.

– А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киева...

– Петр Петрович, стыдитесь, батенька...

С трудом восстановив порядок, редактор разъяснил, что на основании циркуляра о военном положении военная цензура закроет газету за малейший выпад против правительства, и будут уничтожены зачатки свободного слова, в борьбе за которое положено столько сил.

«...Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком, со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй Отечественной, – он тонко улыбнулся и опустил глаза, – Государь был встречен в Москве почти горячо[2]. Мобилизация

среди простого населения проходит так, как этого ожидать не могли и не смели...»

– Василий Васильевич, да вы шутите или нет? – уже совсем жалобным голосом воскликнул Белосветов, – да ведь вы, как карточный домик, целое мировоззрение рушите... Идти помогать правительству? А десять тысяч лучших русских людей, гниющих в Сибири?.. А расстрелы рабочих?.. Ведь еще кровь не обсохла.

Все это были разговоры, прекраснейшие и благороднейшие, но каждому становилось ясно, что соглашения с правительством не миновать, и поэтому, когда из типографии принесли корректуру передовой статьи, начинавшейся словами: «Перед лицом германского нашествия мы должны сомкнуть единый фронт», – собрание молча просмотрело гранки, кое-кто сдержанно вздохнул, кое-кто сказал многозначительно: «Дожили-с». Белосветов порывисто застегнул на все пуговицы черный сюртук, обсыпанный пеплом, но не ушел и опять сел в кресло, и очередной номер был сверстан с заголовком: «Отечество в опасности. К оружию».

Все же в сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в двадцать четыре часа взлетел на воздух и почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой «Слово народа» ежедневно кололо глаза правительству и совестило обывателей, оказалась обманом, просто – отводом глаз (уж, кажется, выдумали и книгопечатание, и электричество, и даже радий, а настал час, – и под крахмальной грудью фрака объявился все тот же звероподобный, волосатый человечище с дубиной) – нет, это редакции усвоить было трудно и признать – слишком горько.

Молча и невесело окончилось совещание. Маститые писатели пошли завтракать к Кюба[3], молодежь собралась в кабинете заведующего хроникой. Было решено произвести подробнейшее обследование настроения самых разнообразных сфер и кругов. Антошке Арнольдову поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял аванс и на лихаче «запустил» по Невскому в Главный штаб.

Заведующий отделом печати, полковник Генерального штаба Солнцев, принял в своем кабинете Антошку Арнольдова[4] и учтиво выслушивал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, – багрового, с львиным лицом генерала, – бича свободной прессы, но перед ним сидел изящный, румяный, воспитанный человек и не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать, – все это плохо вязалось с обычным представлением о царских наемниках.

– Так вот, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением означенные у меня вопросы,– сказал Арнольдов, покосившись на темный, во весь рост, портрет императора Николая I, глядевшего неумо-

лимыми глазами на представителя прессы, точно желая ему сказать: пиджачишко короткий, башмаки желтые, нос в поту, вид гнусный, – боишься, сукин сын... Я не сомневаюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине, но редакцию интересуют, главным образом, некоторые частные вопросы...

Полковник Солнцев учтиво перебил:

– Мне кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе размеры настоящей войны и те последствия, какими она будет сопровождаться. Конечно, я не могу не приветствовать ваше прекрасное пожелание нашей доблестной армии войти в Берлин, но опасаюсь, что сделать это труднее, чем вы думаете. Я со своей стороны полагаю, что важнейшая задача прессы в настоящий момент должна заключаться в том, чтобы подготовить общество к мысли об очень серьезной опасности, грозящей нашему государству, а также о чрезвычайных жертвах, которые мы все должны принести во избежание нежелательных последствий вторжения врага в пределы России.

Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Как раз за спиной его возвышалась темная фигура Николая Первого. У обоих были те же глаза, но у того – грозные, у этого – веселые. В огромном кабинете было чисто, сурово, монументально и пахло столетием. Солнцев продолжал:

– Мы не искали этой войны, и сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами в количестве артиллерии, густоте пограничной сети железных дорог и, стало быть, в быстроте передвижения войск. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполнят возложенный на них тяжелый долг. Общество должно довериться высшей власти и армии. Но было бы весьма желательно, чтобы общество со своей стороны тоже прониклось чувством долга к отечеству. – Солнцев поднял брови и на лежащем перед ним чистом листе бумаги нарисовал квадрат. – Я понимаю, что чувство патриотизма среди некоторых кругов несколько осложнено. Но опасность настолько серьезна, что – я уверен – все споры и счеты будут отложены до лучшего времени. Российская империя даже в двенадцатом году не переживала столь острого момента. Вот все, что я бы хотел, чтобы вы отметили. Затем нужно привести в известность, что имеющиеся в распоряжении правительства военные лазареты не смогут вместить всего количества раненых. Поэтому и с этой стороны обществу нужно быть готовым к широкой помощи...

– Простите, полковник, я не понимаю – какое же может быть количество раненых?

Солнцев опять поднял брови и нарисовал в квадрате круг:

– Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать тысяч двести пятьдесят – триста.

Антошка Арнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уже почтительно:

– Сколько же нужно считать убитых в таком случае?

– Обычно мы считаем десять процентов от количества раненых.

– Ага, благодарю вас.

Солнцев поднялся. Антошка быстро пожал ему руку и, растворяя дубовую дверь, столкнулся с входившим Атлантом, чахоточным, взлохмаченным журналистом в помятом пиджаке и уже со вчерашнего дня не пившим водки.

– Полковник, я к вам насчет войны, – проговорил Атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубашки.

– Милости просим.

Из Главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время, прищурясь.

– Война до победного конца, – пробормотал он сквозь зубы, – держитесь теперь, старые калоши, мы вам покажем «пораженчество».

На огромной, чисто выметенной площади, с гранитным, грузным столпом Александра[5], повсюду двигались небольшие кучки бородатых, нескладных мужиков. Слышались резкие выкрики команды. Мужики строились, перебегали, ложились. В одном месте человек пятьдесят их, поднявшись с мостовой, закричали нестройно: «Уряяя», – и побежали споткливой рысью... «Стой. Смирно... Сволочи, сукины дети!..» – перекричал их чей-то осипший голос. В другом месте было слышно: «Добегишь – и коли его в туловище, а штык сломал – бей прикладом».

Это были те самые корявые мужики с бородами веником, в лаптях и рубахах с проступавшей на лопатках солью, которые двести лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызвали – поддержать плечами дрогнувший столб Империи.

Антошка повернул на Невский, все время думая о своей статье. Посреди улицы, под завывавший, как осенний ветер, свист флейт, шли две роты в полном походном снаряжении, с мешками, котелками и лопатами. Широкоскулые лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зеленой рубашке, с новенькими ремнями – крест-накрест, – поминутно поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывал глаза: «Правой. Правой!» Как сквозь сон, шумел нарядный, сверкающий экипажами и стеклами, Невский. «Правой. Правой. Правой». Мерно покачиваясь, вслед за маленьким офицером шли покорные, тяжелоногие мужики. Их догнал вороной рысак, брызгая пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Вдруг рука ее в белой перчатке стала крестить их, и слезы текли у нее по лицу.

Солдаты прошли, их заслонил поток экипажей. На тротуарах было жарко и тесно, и все словно чего-то ожидали. Прохожие останавливались, слушали

какие-то разговоры и выкрики, протискивались, спрашивали, в возбуждении отходили к другим кучкам. Повсюду свертывались водовороты людей, начиналась давка.

Беспорядочное движение понемногу определялось, – толпы уходили с Невского на Морскую. Там уже двигались прямо по улице. Пробежали, молча и озабоченно, какие-то мелкорослые парни. На перекрестке полетели шапки, замахали зонтики. «Урра! Урра!» – загудело по Морской. Пронзительно свистели мальчишки. Повсюду в остановленных экипажах стояли нарядные женщины. Толпа валила валом к Исаакиевской площади, разливалась по ней, лезла через решетку сквера. Все окна и крыши были полны народом. Как муравейник, шевелились головы между колоннами Исаакия[6]. И все эти десятки тысяч людей глядели туда, где из верхних окон матово-красного, тяжелого здания германского посольства вылетали клубы дыма[7]. За разбитыми стеклами перебегали какие-то люди, швыряли в толпу пачки бумаг, и они, разлетаясь в воздухе, медленно падали. С каждым клубом дыма, с каждой новой вещью, выброшенной из окон, по толпе проходил рев. Но вот на фронтоне дома, где два бронзовых великана держали под уздцы коней, появились те же хлопотливые человечки. Толпа затихла, и послышались металлические удары молотков. Правый из великанов качнулся и рухнул на тротуар. Толпа завыла, кинулась к нему, началась давка, бежали отовсюду. «В Мойку их! В Мойку окаянных!» Повалилась и вторая статуя. Антошку Арнольдова схватила за плечо какая-то полная дама в пенсне и кричала ему: «Всех их перетопим, молодой человек!» Толпа двинулась к Мойке. Послышались пожарные рожки, и вдалеке засверкали медные шлемы. Из-за углов выдвинулась конная полиция. И вдруг, среди бегущих и кричащих, Арнольдов увидел страшно бледного человека, без шляпы, с неподвижно-раскрытыми стеклянными глазами. Он узнал Бессонова и подошел к нему.

– Вы были там? – сказал Бессонов. – Я слышал, как убивали.

– Разве было убийство? Кого убили?

– Не знаю.

Бессонов отвернулся и неровной походкой, как невидящий, пошел по площади. Остатки толпы отдельными кучками бежали теперь на Невский, где начинался погром кофейни Рейтера[8].

В тот же вечер Антошка Арнольдов, стоя у конторки в одной из прокуренных комнат редакции, быстро писал на узких полосах бумаги: «...Сегодня мы видели весь размах и красоту народного гнева. Необходимо отметить, что в погребах германского посольства не было выпито ни одной бутылки вина, – все разбито и вылито в Мойку. Примирение невозможно. Мы будем воевать до победного конца, каких бы жертв это нам ни стоило. Немцы рассчитывали застать Россию спящей, но при громовых словах: “Отечество в опасности”, – народ поднялся, как один человек. Гнев его будет ужасен. Отечество, –

могучее, но забытое нами слово. С первым выстрелом германской пушки оно ожило во всей своей девственной красоте и огненными буквами засияло в сердце каждого из нас...»

Антошка зажмурился, мурашки пошли у него по спине. Какие слова приходится писать! Не то что две недели тому назад, когда ему было поручено составить обзор летних развлечений. И он вспомнил, как в Буффе выходил на эстраду человек, одетый свиньей, и пел: «Я поросенок, и не стыжусь. Я поросенок, и тем горжусь. Моя маман была свинья, похож на маму очень я...»

«...Мы вступаем в героическую эпоху. Довольно мы гнили заживо. Война наше очищение», – писал Антошка, брызгая пером.

Несмотря на сопротивление пораженцев во главе с Белосветовым, статья Арнольдова была напечатана. Уступку прежнему сделали только в том, что поместили ее на третьей странице и под академическим заглавием: «В дни войны». Сейчас же в редакцию стали приходить письма от читателей, – одни выражали восторженное удовлетворение по поводу статьи, другие – горькую иронию. Но первых было гораздо больше. Антошке прибавили построчную плату и, спустя неделю, вызвали в кабинет главного редактора, где, седой и румяный, пахнущий английским одеколоном, Василий Васильевич, предложив Антошке кресло, сказал:

– Вам нужно ехать в деревню.

– Слушаюсь.

– Мы должны знать, что думают и говорят мужики. От нас этого требуют. – Он ударил ладонью по большой пачке писем. – В интеллигенции проснулся огромный интерес к деревне. Мы должны им дать живое, непосредственное впечатление об этом сфинксе.

– Результаты мобилизации указывают на огромный патриотический подъем, Василий Васильевич.

– Знаю. Но откуда он, черт возьми, у них взялся? Поезжайте, куда хотите, послушайте и поспрошайте. К субботе я жду от вас 500 строк деревенских впечатлений.

Из редакции Антошка пошел на Невский, где купил дорожный, военного фасона, костюм, желтые краги и фляжку, позавтракал у Альберта и пришел к решению, что проще всего поехать ему в деревню Хлыбы, где этим летом у своего брата Кия гостила Елизавета Киевна. Вечером он занял место в купе международного вагона, закурил сигару и, вытянув ноги, подумал: «Жизнь!»

Деревня Хлыбы, в шестьдесят с лишком дворов, с заросшими крыжовником огородами и старыми липами посреди улицы, с большим, на бугорке, зданием школы, переделанным из помещичьего дома, лежала в низинке,

между болотом и речонкой Свинюхой, и вся вокруг густо заросла крапивой и лопухом. Деревенский надел был небольшой, земля тощая, мужики почти все ходили в Москву на промыслы.

Когда Арнольдов, под вечер, въехал на плетушке в деревню – его удивила тишина. Только кудахтнула глупая курица, выбежав из-под лошадиных ног, зарычала под амбаром старая собака, да где-то на речке колотил валек, да бодались два барана посреди улицы, стучали рогами.

Арнольдов вылез около каменных ворот с облупленными львами, стоящими посреди лужайки, расплатился с глухим старичком, привезшим его со станции, и пошел по тропинке туда, где за прозрачной зеленью берез виднелись белые колонки школы. Там, на крыльце на полусгнивших ступенях, сидели Кий Киевич – учитель – и Елизавета Киевна и не спеша беседовали. Внизу по лугу протянулись от огромных ветел длинные тени. Переливаясь, летали темным облачком скворцы. Играл вдалеке рожок, собирая стадо. Несколько красных коров вышли из тростника, и одна, подняв морду, заревела. Кий Киевич, очень похожий на сестру, с такими же нарисованными глазами, но не добрыми и в очках, говорил, кусая соломинку:

– Ты, Лиза, ко всему тому чрезвычайно не организована в области половой сферы. Типы, подобные тебе, – суть отвратительные отбросы буржуазной культуры. Для революционной работы ты совершенно не годна.

Елизавета Киевна с ленивой улыбкой глядела туда, где на лугу в свете опускающегося солнца желтели и теплели трава и тени.

– Уеду в Африку, – сказала она, – вот увидишь, Кий, уеду в Африку. Меня давно туда зовут подымать восстание у негров.

– Не верю и считаю негритянскую революцию несвоевременной и глупой затеей.

– Ну, это мы там увидим...

– Происходящая сейчас европейская война должна окончиться тем, что международный пролетариат возьмет в свои руки инициативу социальной революции. Мы должны к этому готовиться и не тратить сил на чисто политические выступления. Тем более негры – это вздор.

– Удивительно тебя скучно слушать, Кий, все ты наизусть выучил, все тебе ясно, как по книжке.

– Каждый человек, Лиза, должен заботиться о том, чтобы привести все свои идеи в порядок и систему, а не о том, чтобы скучно или нескучно разговаривать.

– Ну и заботься на здоровье.

Подобные беседы брат и сестра вели обычно по целым дням, – делать обоим было нечего. Когда Елизавете Киевне хотелось острых ощущений, она начинала говорить несправедливые вещи. Кий Киевич сдерживался, хму-

рился, затем кричал на сестру глухим голосом. Она, выслушав все упреки, молча плакала, потом уходила на речку купаться.

Сегодня вечер был тих. Неподвижно перед крыльцом висели зелено-прозрачные ветви плакучих берез. Тыркал дергач в траве под горою. Кий Киевич говорил о том, что Лизе пора остепениться и начать полезную деятельность. Она же, глядя близорукими глазами на расплывавшиеся очертания деревьев в оранжевом закате, думала, как она будет жить среди освобожденных негров, боготворимая ими, и как об этом услышит Иван Ильич Телегин, приедет к ней и скажет: «Лиза, я вас никогда не понимал. Вы удивительная и обаятельная женщина».

В это время Антошка Арнольдов, подойдя к крыльцу, поставил чемодан и сказал:

– Лиза, вот и я. Не ждали? Здравствуйте, моя пышная женщина, – он поцеловал ее в щеку, – во-первых, я хочу есть, затем мне нужен огромный материал, – к субботе я должен сдать фельетон. Это – ваш брат? Его-то мне и нужно.

Антошка обеими руками потряс руку Кию Киевичу, уселся на лестнице, вытянул ноги в желтых крагах и закурил трубку:

– Скажите, Кий Киевич, что в ваших Хлыбах думают и говорят о войне?

Кий Киевич, принявший на всякий случай обиженный и скучающий вид, чтобы как-нибудь не заподозрили, будто на него могут произвести впечатление разные авторитеты – столичные писатели, поковырял в зубах соломинкой, сморщил кожу на лбу.

– Я думаю, – ответил он, – что война цинично инсценирована международным капиталом. Германию отдельно винить не в чем. Пролетариат был вынужден, – временно конечно, – встать на патриотическую платформу.

– Я бы хотел услышать, Кий Киевич, что говорят сами мужики.

– А черт их знает. Я им старался растолковывать социально-экономическую подкладку войны, – куда там. Темнота такая, что даже надежды нет никакой на этот класс.

– Ну а все-таки что-нибудь да они там говорят?

– Подите сами на деревню, послушайте. Для стишков или для новеллы может пригодиться.

Кий Киевич, обидевшись, замолчал. Солнце садилось в сизо-лиловую длинную тучу. Померкли тени от ветел на лугу. И во всей нежно задымившейся речной низине, все шире и дружней, застонали, заухали печальные голоса лягушек.

– У нас замечательные лягушки, – сказала Елизавета Киевна. Кий Киевич покосился на нее и пожал плечами. Из-за угла вышла стряпуха и позвала ужинать.

В сумерки Антошка и Елизавета Киевна пошли на деревню. Августовские созвездия высыпали по всему холодеющему небу. Внизу, в Хлыбах, было сыровато, пахло еще неосевшей пылью от стада и парным молоком. Кое-где у ворот стояли распряженные телеги. Под липами, где было совсем темно, скрипел журавель колодца, фыркнула лошадь, и было слышно, как пила, отдуваясь. На открытом месте, у деревянной амбарушки, накрытой, как колпаком, соломенной крышей, на бревнах сидели три девки и напевали негромко. Елизавета Киевна и Антошка подошли и тоже сели, в стороне, на бревна.

Хлыбы-то деревня.
Всем она украшена –
Стульями, букетами.
Девчоночки патретами...

Пели девки. Одна из них, крайняя, обернувшись к подошедшим, сказала тихо:

– Что же, девки, спать, что ли, пора.

И они сидели не двигаясь. В амбарушке кто-то возился, потом скрипнула дверца, и наружу вышел небольшого роста лысый мужик в расстегнутом полушубке; кряхтя, долго запирал висячий замок, потом подошел к девкам, положил руки на поясницу и вытянул козлиную бороду:

– Соловьи-птицы, все поете?

– Поем, да не про тебя, дядя Федор.

– А вот я вас сейчас кнутом отсюда... Каки-таки порядки – по ночам песни петь...

– А тебе завидно?

И другая сказала со вздохом:

– Только нам и осталось, дядя Федор, про Хлыбы-то наши петь.

– Да, плохо ваше дело. Осиротели.

Федор присел около девок. Ближняя к нему сказала:

– Народу, нонче Козьмодемьянские бабы сказывали, народу на войну забрали – полсвета.

– Скоро, девки, и до вас доберутся.

– Это нас-то на войну?

– Велено всех баб в солдаты забрить. Только от вас дух в походе очень чижолый.

Девки засмеялись, и крайняя опять спросила:

– Дядя Федор, с кем у нашего царя война?

– С европейцем.

Девки переглянулись, одна вздохнула, другая поправила полушалку, крайняя проговорила:

– Так нам и Козьмодемьянские бабы сказывали, что, мол, с европейцем.

– Дядя Федор, а где же он обитает?

– Около моря большею частью находится.

Тогда из-за бревен, из травы, поднялась лохматая голова и прохрипела, натягивая на себя полушубок:

– А ты – будет тебе молоть. Какой европеец, с немцем у нас война.

– Все может быть, – ответил Федор.

Голова опять скрылась. Антошка Арнольдов, вынув папиросницу, предложил Федору папироску и затем спросил осторожно:

– А что, скажите, из вашей деревни охотно пошли на войну?

– Охотой многие пошли, господин.

– Был, значит, подъем?

– Да, поднялись. Пища, говорят, в полку сытная. Отчего не пойти. Все-таки посмотрит – как там и что. А убьют – все равно и здесь помирать. Землишка у нас совсем скудная, приработки плохие, перебиваемся с хлеба на квас. А там, все говорят, – пища очень хорошая, два раза в день мясо едят и сахар казенный, и чай, и табак, – сколько хочешь кури.

– А разве не страшно воевать?

– Как не страшно, конечно – страшно.

XV

Телеги, покрытые брезентами, воза с соломой и сеном, санитарные повозки, огромные корыта понтонов, покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, залитому жидкой грязью, шоссе. Не переставая лил дождь, косой и мелкий. Борозды пашен и канавы, с боков дороги, были полны водой. Вдали неясными очертаниями стояли деревья и перелески. Дул резкий ветер, и над разбухшими, бурыми полями летели, клубясь, рваные тучи.

Под крики и ругань, щелканье кнутов и треск осей об оси, в грязи и дожде, двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии. С боков пути валялись дохлые и издыхающие лошади, торчали кверху колесами опрокинутые телеги. Иногда в двигающийся этот поток врывался военный автомобиль. Начинались крики, кряканье, лошади становились на дыбы, валилась под откос груженая телега, горохом скатывались вслед за ней обозные.

Далее, где прерывался поток экипажей, шли, растянувшись на далеко, скользили по грязи солдаты в накинутых на спины мешках и палатках. В нестройной их толпе двигались воза с поклажей, с ружьями, торчащими во все стороны, со скорченными наверху денщиками. Время от времени с шоссе на поле сбегал человек и, положив винтовочку на траву, присаживался на корточки.

Далее опять колыхались воза, понтоны, повозки, городские экипажи с промокшими в них фигурами в офицерских плащах. Этот грохочущий поток

то сваливался в лощину, теснился, орал и дрался на мостах, то медленно вытягивался в гору и пропадал за перекатом. С боков в него вливались новые обозы с хлебом, сеном и снарядами. По полю, перегоняя, проходили небольшие кавалерийские части.

Иногда в обозы с треском и железным грохотом врезалась артиллерия. Огромные, грудастые лошади и ездовые на них, с бородатыми, свирепыми лицами, хлеща по лошадям и по людям, как плугом расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие, тупорылые пушки. Отовсюду бежали люди, вставали на возах, махали руками. И опять смыкалась река, вливалась в лес, остро пахнущий грибами, прелыми листьями и весь мягко шумящий от дождя.

Далее, с обеих сторон дороги, торчали из мусора и головешек печные трубы, качался разбитый фонарь, на кирпичной стене развороченного снарядами дома хлопала пестрая афиша синематографа. И здесь же, в телеге без передних колес, лежал раненый, в голубом капоте, – желтое личико с кулачок, мутные тоскливые глаза.

Верстах в двадцати пяти от этих мест глухо перекатывался по дымному горизонту гром орудий. Туда вливались эти войска и обозы день и ночь. Туда со всей России тянулись поезда, груженные хлебом, людьми и снарядами. Вся страна всколыхнулась от грохота пушек. Наконец настала воля всему, что, в запрете и духоте, копилось в ней жадного, неутоленного, грешного, злого.

Население городов, пресыщенное и расхлябанное обезображенной нечистой жизнью, словно очнулось от душного сна. В грохоте пушек был освежающий голос мировой грозы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносима далее. Население со злорадной яростью приветствовало войну.

В деревнях много не спрашивали – с кем война и за что, – не все ли было равно. Уже давно злоба и ненависть кровавым туманом застилали глаза. Время страшным делам приспело. Парни и молодые мужики, побросав баб и девок, расторопные и жадные, набивались в товарные вагоны, со свистом и похабными песнями проносились мимо городов. Кончилось старое житье, – Россию, как большой ложкой, начало мешать и мутить, все тронулось, сдвинулось и опьянело густым хмелем войны.

Доходя до громыхающей на десятки верст полосы боя, обозы и воинские части разливались и таяли. Здесь кончалось все живое и человеческое. Каждому отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури «хлестал» из винтовки в полосу дождевой мглы.

По ночам по всему горизонту багровыми, высокими заревами медленно мигали пожарища, искряные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звездами, с настигающим воем налетали снаряды, били в землю и взрывались столбами огня, дыма и пыли.

Здесь сосало в животе от тошного страха, съеживалась кожа и поджимались пальцы. Близ полночи раздавались сигналы. Пробегали офицеры с трясущимися губами. Руганью, криком, побоями поднимали опухших от сна и сырости солдат. И, спотыкаясь, с матерной бранью и воем, бежали нестройные кучки людей по полю, ложились, вскакивали и, оглушенные, обезумевшие, потерявшие память от ужаса и злобы, врывались в окопы врагов.

И потом никогда никто не помнил, что делалось там, в этих окопах. Когда хотели похвастаться геройскими подвигами, – как всажен был штык, как под ударом приклада хряснула голова, вылетел мозг, – приходилось врать. От ночного дела оставались трупы, да отобранные у них табак, одеяла и кофей.

Наступал новый день, подъезжали кухни. Вялые и прозябшие солдаты ели и курили. Потом разговаривали о дерьме, о бабах, и тоже много врали. Искали вшей и спали. Спали целыми днями в этой оголенной, загаженной испражнениями и кровью полосе грохота и смерти.

Точно так же, в грязи и сырости, не раздеваясь и по неделям не снимая сапог, жил и Телегин. Армейский полк, куда он зачислился прапорщиком, наступал с боями. Больше половины офицерского и солдатского состава было выбито, пополнений они не получали, и все ждали только одного: когда их – полуживых от усталости и обносившихся – отведут в тыл.

Но высшее командование стремилось до наступления зимы во что бы то ни стало вторгнуться через Карпаты в Венгрию и опустошить ее. Людей не щадили, – человеческих запасов было много. Казалось, что этим длительным напряжением третий месяц непрекращающегося боя будет сломлено сопротивление отступающих в беспорядке австрийских армий, падут Краков и Вена, и левым крылом русские смогут ударить в незащищенный тыл Германии.

Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли на запад, захватывая десятки тысяч пленных, огромные запасы продовольствия, снарядов, оружия и одежды. В прежних войнах лишь часть подобной добычи, лишь одно из этих непрерывных, кровавых сражений, где ложились целые корпуса, решило бы участь кампании. И, несмотря даже на то, что в первых же битвах погибли регулярные армии, ожесточение только росло. Ненависть становилась высшим проявлением добродетели. На войну, по воле и по неволе, шли все, от детей до стариков, весь народ. Было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен, изошел кровью, еще усилие – и будет решительная победа. Усилие совершалось, но на месте растаявших армий врага вырастали новые, с унылым упрямством шли на смерть и гибли. Ни татарские орды, ни полчища персов не дрались так жестоко и не умирали так легко, как слабые телом, изнеженные европейцы или хитрые русские мужики, видевшие, что они только бессловесный скот, – мясо в этой

бойне, затеянной господами. Это упорство народов, разбивавшее все планы высших командований, заставляло думать, что в войне была какая-то иная цель, чем победа той или иной стороны. Но цель эта была до времени скрыта от понимания.

Остатки полка, где служил Телегин, окопались по берегу узкой и глубокой речки. Позиция была дурная, вся на виду и окопы мелкие. В полку с часу на час ожидали приказа к наступлению, и пока все были рады выспаться, переобуться, отдохнуть, хотя с той стороны речки, где в траншеях сидели австрийские части, шел сильный ружейный обстрел.

Под вечер, когда часа на три, как обычно, огонь затих, Иван Ильич пошел в штаб полка, помещавшийся в покинутом замке[1], верстах в двух от позиции.

Белый, лохматый туман лежал по всей извивающейся в зарослях речке и вился в прибрежных кустах. Было тихо, сыро и пахло мокрыми листьями. Изредка по воде глухим шаром катился одинокий выстрел.

Иван Ильич перепрыгнул через канаву на шоссе, остановился и закурил. С боков, в тумане, стояли облетевшие, огромные деревья, казавшиеся чудовищно высокими. По сторонам их на топкой низине было словно разлито молоко. В тишине жалобно свистнула пулька. Иван Ильич глубоко вздохнул и зашагал по хрустящему гравию, посматривая вверх на призрачные вершины и ветви. От этого покоя и от того, что он один идет и думает, – в нем все отдыхало, отходил трескучий шум дня, и в сердце понемногу пробиралась тонкая, пронзительная грусть. Он еще раз вздохнул, бросил папиросу, заложил руки за шею и так шел, словно в чудесном мире, где были только призраки деревьев, его живое, изнывающее любовью, сердце и незримая, все это пронизывающая прелесть Даши.

Даша была с ним в этот час отдыха и тишины. Он чувствовал ее прикосновение каждый раз, когда затихали железный вой снарядов, трескотня ружей, крики, ругань, все эти лишние в божественном мироздании звуки, когда можно было уткнуться где-нибудь в углу землянки, закутав голову шинелью, и тогда словно непередаваемая прелесть входила в него, касалась сердца. Даша была с ним всегда, верная и строгая.

Ивану Ильичу казалось, что, если придется умирать, – до последней минуты он будет испытывать это счастье соединения и, освободившись от себя, – утонет, воскреснет в нем. Он не думал о смерти и не боялся ее. Ничто теперь не могло оторвать его от изумительного состояния жизни, даже смерть.

Этим летом, подъезжая к Евпатории, чтобы в последний раз, как ему казалось, взглянуть на Дашу, Иван Ильич трусил, волновался и придумывал всевозможные извинения. Но встреча на дороге, неожиданные слезы Даши,

ее светловолосая голова, прижавшаяся к нему, ее волосы, руки, плечи, пахнущие морем, ее заплаканный рот, сказавший, когда она подняла к нему лицо с зажмуренными, мокрыми ресницами: «Иван Ильич, милый, как я ждала вас», – все эти свалившиеся как с неба, несказанные вещи, там же, на дороге у моря, перевернули в несколько минут всю жизнь Ивана Ильича. Вместо всяких объяснений он сказал, спокойно и твердо глядя в любимое лицо, взволнованно дрогнувшее испугом:

– На всю жизнь люблю вас.

Впоследствии ему даже казалось, что он, быть может, и не выговорил этих слов, только подумал, и она поняла. Даша опустила голову и, сняв с его плеч руки, проговорила:

– Мне нужно очень многое вам сообщить. Пойдемте.

Они пошли и сели у воды, на песке. Даша взяла горсть камешков и не спеша кидала их в воду.

– Дело в том, что еще вопрос – сможете ли вы-то ко мне хорошо относиться, когда узнаете про все, – сказала она и краешком глаза увидела, что Иван Ильич медленно побледнел и сжал рот. – Хотя все равно, относитесь, как хотите. – Она вздохнула и обоими кулачками подперла подбородок. Глаза ее опять налились слезами; с досадой она вытерла их прямо рукой.

– Без вас я очень нехорошо жила, Иван Ильич. Если можете – простите меня.

И она начала рассказывать все, честно и подробно, – о Самаре и о том, как приехала сюда и встретила Бессонова и у нее прошла охота жить – так стало омерзительно от всего этого петербургского чада, который снова поднялся, отравил кровь, разжег любопытством...

– До каких еще пор было топорщиться? Слава богу, – двадцать лет, такая же баба, как все. Захотелось сесть в грязь – туда и дорога. А вот все-таки струсила в последнюю минуту... Ненавижу себя... Иван Ильич, милый... – Даша всплеснула руками. – Помогите мне. Не хочу, не могу больше ненавидеть себя... Я дурная, нечистая, грешная, да, да, да... Но ведь не все же во мне погибло... Я любить хочу, милый мой...

После этого разговора Даша легла на песке и молчала очень долго. Иван Ильич глядел, не отрываясь, на сияющую солнцем зеркальную, голубоватую воду, – душа его, наперекор всему, запивалась счастьем. Когда он решился взглянуть на Дашу – она спала, чуть-чуть приоткрыв рот, как ребенок.

О том, что началась война и Телегин должен ехать завтра догонять полк, Даша сообразила только потом, когда от поднявшегося ветра волною ей замочило ноги, – она вздохнула, проснулась, села и, взглянув на Ивана Ильича, нежно, изумленно улыбнулась.

– Иван Ильич?

– Да.

– Вы хорошо ко мне относитесь?

– Да.

– Очень?

– Да.

Тогда она подползла к нему по песку на коленях, села рядом, поворочалась и положила руку ему в руку, так же как тогда на пароходе.

– Иван Ильич, я тоже – да.

Крепко сжав его задрожавшие пальцы, она спросила, после молчания:

– Что вы мне сказали тогда, на дороге?.. – Она сморщила лоб. – Какая война? С кем?

– С немцами.

– Ну, а вы?

– Уезжаю завтра.

Даша ахнула и замолчала. Издали, по берегу, к ним бежал в смятой полосатой пижаме, очевидно только что выскочивший из кровати, Николай Иванович, останавливался, весь красный, взмахивал газетным листом и кричал что-то.

На Ивана Ильича он не обратил внимания. Когда же Даша сказала: «Николай, это мой самый большой друг», – Николай Иванович схватил Телегина за пиджак и, потрясая, заорал в лицо:

– Не забывайте, милостивый государь, что я, прежде всего, – патриот. Я не уступлю вашим немцам ни вершка земли...

Весь день Даша не отходила от Ивана Ильича, была смирная и задумчивая. Ему же казалось, что этот день, наполненный голубоватым светом солнца и шумом моря, неимоверно велик. Каждая минута будто раздвигалась в целую жизнь.

Телегин и Даша бродили по берегу, лежали на песке, сидели на террасе и были, как отуманенные. И, не отвязываясь, всюду за ними ходил Николай Иванович, произнося огромные речи по поводу войны и немецкого засилья. Телегин, слушая его, кивал головой и думал: «Даша, Даша милая».

– Эх, батенька, – кричал Николай Иванович, – вы просто размазня. – И обращался к Даше: – Собственными руками задушил бы Вильгельма[2].

И Даша, глядя ему в налитые кровью глаза, думала: «Господи, сохрани мне Ивана Ильича».

Под вечер удалось, наконец, отвязаться от Николая Ивановича. Даша и Телегин ушли одни далеко по берегу пологого залива. Шли молча, ступая в ногу, касаясь локтями друг друга. И здесь Иван Ильич начал думать, что нужно все-таки сказать Даше какие-то слова. Конечно, она ждет от него горячего и, кроме того, определенного объяснения. А что он может пробормотать? Разве словами выразить то, чем он полон весь, будто солнце этого дня легло ему в грудь. Нет, этого не выразишь.

Ивану Ильичу стало грустно. «Нет, нет, – думал он, глядя под ноги, – если я и скажу ей эти слова – будет бессовестно: она не может меня любить, но, как честная и добрая девушка, согласится, если я предложу ей руку. Но это будет насилие. И тем более не имею права говорить, что мы расстаемся на неопределенное время и, по всей вероятности, с войны не вернусь... Заставлю напрасно ожидать, держать слово... Нет и нет».

Это был один из приступов самоедства, свойственного Ивану Ильичу. Даша вдруг остановилась и, оперевшись о его плечо, сняла с ноги туфельку.

– Ах, боже мой, боже мой, – проговорила она, стала высыпать песок из туфли, потом надела ее, выпрямилась и вздохнула глубоко:

– Я знаю – я очень буду вас любить, когда вы уедете, Иван Ильич.

Она положила руки ему на шею и, глядя в глаза ясными, почти суровыми, без улыбки, серыми глазами, вздохнула еще раз, легко:

– Мы и там будем вместе, да?

Иван Ильич осторожно привлек ее и поцеловал в нежные, дрогнувшие губы. Даша закрыла глаза. Потом, когда им обоим не хватило больше воздуху, Даша отстранилась, взяла Ивана Ильича под руку, и они пошли вдоль тяжелой и темной воды, лижущей багровыми бликами берег у их ног.

Все это Иван Ильич вспоминал с неуставаемым волнением, всякий раз в минуты тишины. Бредя сейчас с закинутыми за шею руками, в тумане, по шоссе, между деревьями, он снова видел внимательный взгляд Даши, испытывал долгий ее поцелуй, – дыхание жизни.

В тот час (и теперь навсегда) он перестал быть одним. Девушка в белом платье поцеловала его вечером на берегу моря. И вот распался свинцовый обруч одиночества. Прежний Иван Ильич Телегин перестал быть. В ту удивительную минуту появился новый, весь до последнего волоска – иной Иван Ильич. Тот подлежал уничтожению, этот исчезнуть не мог. Тот был один, как черт на пустыре, этот жаждал шириться, множиться, принимать во взволнованное сердце все – людей, зверей, всю землю.

– Стой, кто идет? – прозябшим, грубым голосом проговорили из тумана.

– Свой, свой, – ответил Иван Ильич, опуская руки в карманы шинели, и повернул под дубы к неясной громаде замка, где в нескольких окнах желтел свет. На крыльце кто-то, увидев Телегина, бросил папироску и вытянулся. «Что, почты не было?» «Никак нет, ваше благородие, ожидаем». Иван Ильич вошел в прихожую. В глубине ее, над широкой, уходящей изгибом вверх, дубовой лестницей висел гобелен, должно быть очень старинный: среди тонких деревцов стояли Адам и Ева, она держала в руке яблоко – символ вечной радости жизни, он – срезанную ветвь с цветами – символ падения и искупления. Их выцветшие лица и удлиненные тела неясно освещала свеча, стоящая в бутылке на лестничной колонне.

Иван Ильич отворил дверь направо и вошел в пустую комнату с лепным потолком, рухнувшим в углу, там, где вчера в стену ударил снаряд. У горящего очага, на койке, сидели поручик князь Бельский и подпоручик Мартынов. Иван Ильич поздоровался, спросил, когда ожидают из штаба автомобиль, и присел неподалеку на патронные жестянки, щурясь от света.

– Ну что, у вас все постреливают? – спросил Мартынов, почему-то насмешливо.

Иван Ильич не ответил, пожал плечами. Князь Бельский продолжал говорить вполголоса:

– Главное – это вонь. Я написал домой, – мне не страшна смерть. За отечество я готов пожертвовать жизнью, для этого я, строго говоря, перевелся в пехоту и сижу в окопах, но вонь меня убивает.

– Вонь – это ерунда, не нравится, не нюхай, – отвечал Мартынов, поправляя аксельбант, – а вот что здесь нет женщин – это существенно. Это – просто глупо, к добру не приведет. Суди сам – командующий армией старая песочница, и нам здесь устроили монастырь, черт возьми, – ни водки, ни женщин. Разве это забота об армии, разве это война? Дай мне женщину, – плевал я на тыл. Воевать нужно весело.

Мартынов поднялся с койки и сапогом стал пихать в поленья. Князь задумчиво курил, глядя на огонь.

– Пять миллионов солдат, которые гадят, – сказал он, – кроме того, гниют трупы и лошади. На всю жизнь у меня останется воспоминание об этой войне, как о том, что дурно пахнет. Брр...

На дворе, в это время, послышалось пыхтенье подкатившего автомобиля.

– Господа, почту привезли! – крикнул в дверь чей-то взволнованный голос. Офицеры сейчас же вышли на крыльцо. Около автомобиля двигались темные фигуры, несколько человек бежало по двору. И чей-то хриплый голос повторял: «Господа, прошу не хватать из рук».

Наконец, мешки с почтой и посылками были внесены в прихожую, и на лестнице, под Адамом и Евой, их стали распаковывать. Здесь была почта за целый месяц. Казалось, в этих грязных парусиновых мешках было скрыто целое море любви и тоски, – вся покинутая, милая, чистая жизнь.

– Господа, не хватайте из рук, – хрипел штабс-капитан Бабкин, тучный, багровый человек, – прапорщик Телегин, шесть писем и посылка... Прапорщик Нежный, – два письма...

– Нежный убит, господа...

– Когда?

– Сегодня утром...

Иван Ильич пошел к камину. Все шесть писем были от Даши. Адрес на конвертах написан крупным полудетским почерком. Ивана Ильича заливало нежностью к этой милой руке, написавшей такие большие буквы, – чтобы

все разобрали, не было бы ошибки. Нагнувшись к огню, он осторожно разорвал первый конверт. Оттуда пахнуло на него таким воспоминанием, что пришлось на минуту закрыть глаза. Потом он прочел: «Мы проводили вас и уехали с Николаем Ивановичем в тот же день в Симферополь и вечером сели в петербургский поезд. Сейчас мы на нашей старой квартире. Николай Иванович очень встревожен: от Катюши нет никаких вестей, где она – не знаем. То, что у нас с вами случилось, – так велико и так внезапно, что я еще не могу опомниться. Не вините меня, что я вам пишу на "вы". Я вас люблю. Я буду вас верно и очень сильно любить. А сейчас очень смутно, – по улицам проходят войска с музыкой, до того печально, – точно счастье уходит, вместе с трубами, с этими солдатами. Я знаю, что не должна этого писать, но вы всетаки будьте осторожны на войне...»

– Ваше благородие. Ваше благородие. – Телегин с трудом обернулся, в дверях стоял вестовой. – Телефонограмма, ваше благородие... Требуют в роту.

– Кто?

– Подполковник Розанов. Как можно, говорит, скорей просили быть.

Телегин сложил недочитанное письмо, вместе с остальными конвертами засунул под рубашку, надвинул картуз на глаза и вышел.

Туман теперь стал еще гуще, деревьев не было видно, и идти пришлось, как в молоке, только по хрусту гравия определяя дорогу. Хрустя гравием, Иван Ильич повторял: «Я буду вас верно и очень сильно любить». Вдруг он остановился, прислушиваясь. В тумане не было ни звука, только падала иногда тяжелая капля с дерева. И вот, неподалеку, он стал различать какое-то бульканье и мягкий шорох. Он двинулся дальше, бульканье стало явственнее. И вдруг его занесенная нога опустилась в пустоту. Он сильно откинулся назад, – глыба земли, оторвавшись из-под ног его, рухнула с тяжелым плеском в воду.

Очевидно, это было то место, где шоссе обрывалось над рекой у сожженного моста. На той стороне, шагах в ста отсюда, он это знал, к самой реке подходили австрийские окопы. И, действительно, вслед за плеском воды, как кнутом, с той стороны хлестнул выстрел и покатился по реке, хлестнул второй, третий, затем словно рвануло железо – раздался длинный залп, и в ответ ему захлопали отовсюду заглушенные туманом, торопливые выстрелы. Все громче, громче загрохотало, заухало, заревело по всей реке, и в этом окаянном шуме хлопотливо затарахтел пулемет, точно колол орехи. Бух! – ухнул где-то в лесу разрыв. Весь дырявый, грохочущий туман плотно висел над землей, прикрывая это обычное и омерзительное дело. Несколько раз около Ивана Ильича с чавканьем в дерево хлопала пуля, валилась ветка. Он свернул с шоссе на поле и пробирался наугад кустами. Стрельба так же внезапно

начала затихать и окончилась. Иван Ильич снял картуз и вытер мокрый лоб. Снова было тихо, как под водой, лишь падали капли с кустов. Слава богу, Дашины письма он сегодня прочтет. Иван Ильич засмеялся и перепрыгнул через канаву. Наконец, совсем рядом, он услышал, как кто-то, зевая, проговорил:

– Вот тебе и поспали, Василий, я говорю – вот тебе и поспали.

– Погоди, – ответили отрывисто. – Идет кто-то.

– Кто идет?

– Свой, свой, – поспешно сказал Телегин и сейчас же увидел земляной бруствер окопа и запрокинувшиеся из-под земли два бородатых лица. Он спросил:

– Какой роты?

– Третьей, ваше благородие, свои. Что же вы, ваше благородие, по верху-то ходите? Задеть могут.

Телегин прыгнул в окоп и пошел по нему до хода сообщения, ведущего к офицерской землянке. Солдаты, разбуженные стрельбой, говорили:

– В такой туман, очень просто, он речку где-нибудь перейдет.

– Не допустим.

– Вдруг – стрельба, гул – здорово живешь... Напугать, что ли, нас хочет, или он сам боится?

– А ты не боишься?

– Так ведь я-то что же. Я ужас какой пужливый.

– Ребята, Гавриле палец долой оторвало.

– Перевязываться пошел?

– Заверещал, палец вот так кверху держит. Смех.

– Вот ведь кому счастье... В Россию отправят.

– Что ты. Кабы ему всю руку оторвало – тогда бы увезли. А с пальцем – погниет поблизости, и опять пожалуйста в роту.

– Когда же эта война кончится?

– Ладно тебе.

– Кончится, да не мы этого увидим.

– Хоть бы Вену что ли бы взяли.

– А тебе она на что?

– Так, все-таки. Поглядели бы.

– К весне воевать не кончим, – все равно – так все разбегутся. Землю кому пахать, – бабам? Народу накрошили – полную меру. А к чему? Будет. Напились, сами отвалимся...

– Ну, енералы скоро воевать не перестанут.

– Ты это откуда знаешь? Тебе кто говорил? В зубы вот тебе дам, сукин сын.

– Енералы воевать не перестанут.

– Верно, ребята. Первое дело – выгодно, – двойное жалованье идет им, кресты, ордена. Мне один человек сказывал: за каждого, говорит, рекрута

англичане платят нашим генералам по тридцать восемь целковых с полтиной за душу.

– Ах, сволочи! Как скот продают.

– Будет вам, ребята, молоть-то, – нехорошо.

– Ладно. Потерпим, увидим.

Когда Телегин вошел в землянку, батальонный командир, подполковник Розанов, тучный, в очках, с редкими вихрами на большом черепе, ленивый и умный человек, проговорил, сидя в углу под еловыми ветками, на попонах:

– Явился, наконец.

– Виноват, Федор Кузьмич, ей-богу, сбился с дороги – туман страшный.

– Ну, ну. Вот что, голубчик, придется нынче ночью потрудиться.

Он положил в рот корочку хлеба, которую все время держал в грязном кулаке. Телегин медленно стиснул челюсти, подобрался...

– Штука в том, что нам приказано, милейший Иван Ильич, батенька мой, перебраться на ту сторону. Хорошо бы это дело соорудить как-нибудь полегче. Садитесь рядышком. Коньячку желаете? Вот я придумал, значит, такую штуку... Навести мостик, как раз против большой ракиты. Перекинем на ту сторону человек семьдесят... Вы уж постарайтесь, Господь с вами... А на заре и мы тронемся.

XVI

– Сусов!

– Здесь, ваше благородие[1].

– Подкапывай... Тише, не кидай в воду. Так, так, так... Ребята, подавайте, подавайте вперед... Зубцов!

– Здесь, ваше благородие.

– Помоги-ка... Наставляй, вот сюда... Подкопни еще... Опускай... Легче...

– Легче, ребята, плечо оторвешь... Насовывай...

– Ну-ка, посунь...

– Не ори, тише ты, сволочь!

– Упирай другой конец... Ваше благородие, поднимать?

– Концы привязали?

– Готово.

– Поднимай...

В облаках тумана, насыщенного лунным светом, заскрипев, поднялись две высокие жерди, соединенные перекладинами, – перекидной мост. На берегу, едва различимые, двигались фигуры охотников[2]. Говорили и ругались торопливым шепотом.

– Ну, что – сел?

– Сидит хорошо.

– Спускай... Осторожнее...

– Полегоньку, полегоньку, ребята...

Жерди, упертые концами в берег речки, в самом узком ее месте, медленно начали клониться и повисли в тумане над водой.

– Достанет до берега?

– Достанет, ваше благородие...

– Тише опускай...

– Чижол очень.

– Стой, стой, стой!

Но все же дальний конец моста с громким всплеском лег в воду. Телегин махнул рукой:

– Ложись.

И неслышно в траве на берегу прилегли, притаились фигуры охотников. Туман редел, но стало темнее, и воздух жестче перед рассветом. На той стороне все было тихо. Телегин позвал:

– Зубцов!

– Здесь.

– Лезь, настилай.

Пахнущая едким потом и шинелью, рослая фигура охотника Василия Зубцова соскользнула мимо Телегина с берега в воду. Иван Ильич увидел, как большая рука, дрожа, ухватилась за траву, отпустила ее и скрылась.

– Глыбко, – зябким шепотом проговорил Зубцов откуда-то снизу. – Ребята, подавай доски...

– Доски, доски давай.

Неслышно и быстро, с рук на руки, стали подавать доски. Прибивать их было нельзя – боялись шума. Наложив первые ряды, Зубцов вылез из воды на мостик и вполголоса приговаривал, стуча зубами:

– Живей, живей подавай... Не спи...

Под мостом журчала быстрая, студеная вода, жерди колебались. Телегин различал темные очертания кустов на той стороне, и, хотя это были точно такие же кусты, как и на нашем берегу, вид их казался жутким. Иван Ильич вернулся на берег, где лежали охотники, и крикнул резко:

– Вставай!

Сейчас же в беловатых облаках поднялись преувеличенно большие, расплывающиеся фигуры.

– По одному, бегом!..

Телегин повернул к мосту. В ту же минуту, словно луч солнца уперся в переливающееся пылью туманное облако, осветились желтые доски, вскинутая в испуге чернобородая голова Зубцова. Луч прожектора метнулся вбок, в кусты, вызвал оттуда, из небытия корявую ветвь с голыми сучьями, и снова

лег на доски. Телегин мелко перекрестил душу, как бывало, перед купаньем, и побежал через мост. И сейчас же словно обрушилась вся эта черная тишина, громом отдалась в голове. По мосту с австрийской стороны стали бить ружейным и пулеметным огнем. Телегин прыгнул на берег и, присев, обернулся. Через мост бежал высокий солдат, – он не разобрал кто, – винтовку прижал к груди... выронил ее, поднял руки, точно смеясь, и опрокинулся вбок, в воду. Пулемет хлестал по мосту, по воде, по берегу... Пробежал второй, Сусов, и лег около Телегина...

– Зубами заем, туды их в душу!

Побежали второй, и третий, и четвертый, и еще один сорвался и завопил, барахтаясь в воде...

Перебежали все и залегли, навалив лопатами земли немного перед собою. Выстрелы исступленно теперь грохотали по всей реке. Нельзя было поднять головы, – по месту, где залегли охотники, так и поливало, так и поливало пулеметом. Вдруг ширкнуло невысоко – раз, два, – шесть раз, и глухо впереди громыхнули шесть разрывов. Это с нашей стороны ударили по пулеметному гнезду.

Телегин и впереди него Василий Зубцов вскочили, пробежали шагов сорок и легли. Пулемет опять заработал, слева, из темноты. Но было ясно, что с нашей стороны огонь сильнее, австрийца загоняли под землю. Пользуясь перерывами стрельбы, охотники подбегали к тому месту, где еще вчера перед австрийскими траншеями нашей артиллерией было раскидано проволочное заграждение.

Его опять начали было заплетать за ночь, – на проволоках висел труп. Зубцов перерезал проволоку, и труп упал мешком перед Телегиным. Тогда на четверинках, без ружья, перегоняя остальных, заскочил вперед охотник Лаптев и лег под самый бруствер. Зубцов крикнул ему:

– Вставай, бросай бомбу!..

Но Лаптев молчал, не двигаясь, не оборачиваясь, – должно быть закатилось сердце от страха. Огонь усилился, и охотники не могли двинуться, – прильнули к земле, зарылись.

– Вставай, бросай, сукин сын, бомбу! – кричал Зубцов, – бросай бомбу! – и, вытянувшись, держа винтовку за приклад, штыком совал Лаптеву в торчащую коробом шинель, в зад. Лаптев обернул ощеренное лицо, отстегнул от пояса гранату и, вдруг, кинувшись грудью на бруствер, бросил бомбу и вслед за разрывом прыгнул в окоп.

– Бей, бей! – закричал Зубцов не своим голосом...

Поднялось человек десять охотников, побежало и исчезло под землей, – были слышны только рваные, резкие звуки разрывов.

Телегин метался по брустверу, как слепой от крови, ударившей в голову, и все не мог отстегнуть гранату, и прыгнул, наконец, в траншею, и побежал,

задевая плечами за липкую глину, споткнулся о мягкое, стиснул со всей силой зубы, чтобы перестать кричать неистово... Увидел белое, как маска, лицо человека, прижавшегося во впадине окопа, и схватил его за плечи, и человек, будто во сне, забормотал, забормотал, забормотал...

– Замолчи, ты, черт, не трону, – чуть не плача, закричал ему в белую маску Телегин и побежал, перепрыгивая через трупы. Но бой уже кончался. Толпа серых людей, побросавших оружие, лезла из траншеи на поле. Их пихали прикладами, швыряли около в землю гранаты, для страха. А шагах в сорока, в крытом гнезде, все еще грохотал пулемет, обстреливая переправу. Иван Ильич, протискиваясь среди охотников и пленных, кричал:

– Что же вы смотрите, что вы смотрите!.. Зубцов, где Зубцов?..

– Здесь я...

– Что же ты, черт окаянный, смотришь!

– Да разве к нему подступишься.

– А в морду вот дам!.. Идем.

Они побежали. Зубцов рванул Телегина за рукав:

– Стой!.. Вот он!

Из траншеи узкий ход вел в пулеметное гнездо. Нагнувшись, Телегин побежал по нему, вскочил в блиндаж, где в темноте все тряслось от нестерпимого грохота, схватил кого-то за локти и потащил. Сразу стало тихо, только, борясь, хрипел тот, кого он отдирал от пулемета.

– Сволочь, живучая, не хочет, пусти-ка, – пробормотал сзади Зубцов и раза три тяжело прикладом ударил тому в череп, и тот, вздрагивая, заговорил, – бу, бу, бу, – и затих... Телегин выпустил его и пошел из блиндажа. Зубцов крикнул вдогонку:

– Ваше благородие, он прикованный[3].

Скоро стало совсем светло. На желтой глине были видны пятна и потеки крови. Валялось несколько ободранных телячьих кож, жестянки, сковородки, да трупы, уткнувшись, лежали мешками. Охотники, разморенные и вялые, – кто прилег и похрапывал, кто ел консервы, кто обшаривал брошенные австрийские сумки.

Пленных давно уже угнали за реку. Полк переправлялся, занимал позиции, и артиллерия била по вторым австрийским линиям, откуда отвечали вяло. Моросил дождик, туман развеяло. Иван Ильич, облокотившись о край окопа, глядел на поле, по которому они бежали ночью. Поле, как поле, – бурое, мокрое, кое-где – обрывки проволок, кое-где – черные следы подкопанной земли, да несколько трупов охотников. И речка – совсем близко. И ни вчерашних огромных деревьев, ни жутких кустов. А сколько было затрачено силы, чтобы пройти эти триста шагов.

Австрийцы продолжали отходить, и русские части, не отдыхая, преследовали их до ночи. Телегину было приказано занять со своими охотниками

лесок, синевший на горке, и он после короткой перестрелки занял его к вечеру. Наспех окопались, выставили сторожевое охранение, связались со своей частью телефоном, поели, что было в мешках, и под мелким дождем, в темноте и лесной прели, заснули, хотя был приказ поддерживать огонь всю ночь.

Телегин сидел на пне, прислонившись к мягкому от мха стволу дерева. За ворот иногда падала капля, и это было хорошо, – не давало заснуть. Утреннее возбуждение давно прошло, и прошла даже страшная усталость, когда пришлось идти верст десять по разбухшим жнивьям, перелезать через плетни и канавы, когда одеревеневшие ноги ступали куда попало и распухала голова от боли.

Кто-то подошел по листьям и голосом Зубцова сказал тихо:

– Сухарик желаете?

– Спасибо.

Иван Ильич взял у него сухарь и стал жевать, и он был сладок, так и таял во рту. Зубцов присел около на корточки:

– Покурить дозволите?

– Осторожнее только, смотри.

– У меня трубочка.

– Зубцов, ты зря все-таки убил его, а?

– Пулеметчика-то?

– Да.

– Конечно, зря.

– Спать хочешь?

– Ничего, не посплю.

– Если я задремлю, ты меня толкни.

Медленно, мягко падали капли на прелые листья, на руку, на козырек картуза. После шума, криков, омерзительной возни, после убийства пулеметчика, – падают капли, как стеклянные шарики... Падают в темноту, в глубину, где пахнет прелыми листьями. Шуршат, не дают спать... Нельзя, нельзя... Иван Ильич разлеплял глаза и видел неясные, как намеченные углем, очертания ветвей... – Но стрелять всю ночь – тоже глупость, – пускай охотники отдохнут... Восемь убитых, одиннадцать раненных... Конечно, надо бы поосторожнее на войне... Ах, Даша, Даша... Стеклянные капельки все примирят, все успокоят... О, Господи, Господи…

– Иван Ильич!..

– Да, да, Зубцов, не сплю...

– Разве не зря – убить человека-то... У него, чай, домишко свой, семейство какое ни на есть, а ты ткнул в него штыком, как в чучело, – сделал дело. И тебе за это медаль. Я в первый-то раз запорол одного, – потом есть не мог – тошнило... А теперь – десятого или девятого кончаю... Дожили... Ведь страх-

то какой, а? Раньше и в мыслях этого не было... А здесь – ничего – по головке за это гладят. Значит, грех-то на себя кто-то уже взял за это за самое?..

– Какой грех?

– Да хотя бы мой... Я говорю – грех-то мой на себя кто-нибудь взял, – генерал какой или в Петербурге какой-нибудь человек, который всеми этими делами распоряжается...

– Какой же твой грех, когда ты отечество обороняешь.

– Так ведь, Иван Ильич, немец тоже свое отечество обороняет. Он тоже, чай, думает, что – правый. А кто же виноват оказывается в этой музыке?

– Опасные слова говоришь, братец мой.

– Зачем... Я говорю, слушай, Иван Ильич, – кто-нибудь да окажется виновный, – мы разыщем. А ну как я зря девятерых заколол?.. Что я с этим человеком сделаю!.. Горло бы ему перегрыз!

– Кому?

– Кто виноват...

– Немец виноват.

– А я думаю, – кто эту войну допустил, тот и виноват... Кто мой грех на себя берет – тот и отвечать будет... Жестоко ответит...

В лесу в это время гулко хлопнул выстрел. Телегин вздрогнул. Раздалось еще несколько выстрелов с другой стороны.

Это было тем более удивительно, что с вечера враг не находился в соприкосновении. Телегин побежал к телефону. Телефонист высунулся из ямы:

– Аппарат не работает, ваше благородие.

По всему лесу теперь, кругом, слышались частые выстрелы, и пули чиркали по сучьям. Передовые посты подтягивались, отстреливаясь. Около Телегина появился охотник Климов, степным каким-то, дурным голосом проговорил:

– Обходят, ваше благородье! – быстро схватился за лицо и сел на землю, – лег ничком. И еще кто-то закричал в темноте:

– Братцы, помираю!

Телегин различал между стволами рослые, неподвижные фигуры охотников. Они все глядели в его сторону, – он это чувствовал. Он приказал, чтобы все, рассыпавшись поодиночке, пробивались к северной стороне леса, должно быть еще не окруженной. Сам же он с теми, кто захочет остаться, задержится, насколько можно, здесь в окопах.

– Нужно пять человек. Живые не вернемся. Кто желающий?

От деревьев отделились и подошли к нему Зубцов, Сусов и Колов – молодой парень. Зубцов крикнул, обернувшись:

– Еще двоих требуется. Рябкин, иди.

– Что ж, я могу...

– Пятого, пятого.

С земли поднялся низкорослый солдат в полушубке, в мохнатой шапке, весь заросший бородой:

– Ну, вот я, что ли, остаюся.

Шесть человек залегли шагах в двадцати друг от друга и открыли огонь. Фигуры за деревьями исчезли. Иван Ильич выпустил несколько пачек, и вдруг с отчетливой ясностью увидел, как завтра поутру люди в серых капотах перевернут на спину его оскаленный труп, начнут обшаривать, и грязная рука залезет под рубаху.

Он положил винтовку, разгреб рыхлую, сырую землю и, вынув Дашины письма, поцеловав их, положил в ямку и засыпал, запорошил сверху прелыми листьями.

– Ой, ой, братцы, – услышал он голос Сусова, лежавшего слева. Оставалось две пачки патронов. Иван Ильич подполз к Сусову, уткнувшемуся головой, лег рядом и брал пачки из его сумки. Теперь стреляли только Телегин да еще кто-то направо. Наконец, патроны кончились. Иван Ильич бросил винтовку, подождал, оглядываясь, поднялся и начал звать по именам охотников. Ответил один голос: – «Здесь», – и подошел Колов, опираясь о винтовку. Иван Ильич спросил:

– Патронов нет?

– Нету.

– Остальные не отвечают?

– Нет, нет.

– Ладно. Идем. Беги.

Колов перекинул винтовку через спину и побежал, хоронясь за стволами. Телегин же не прошел и десяти шагов, как сзади в плечо ему ткнул тупой железный палец.

XVII

Все представления о войне, как о лихих кавалерийских набегах, необыкновенных маршах и геройских подвигах солдат и офицеров, – оказались устарелыми.

Знаменитая атака кавалергардов, когда три эскадрона, в пешем строю, прошли без одного выстрела проволочные заграждения, имея во главе командира полка, князя Долгорукого[1], шагающего под пулеметным огнем с сигарой во рту и, по обычаю, ругающегося по-французски, была сведена к тому, что кавалергарды, потеряв половину состава убитыми и ранеными, взяли две тяжелых пушки, которые оказались заклепанными и охранялись одними пулеметами.

С первых же месяцев выяснилось, что доблесть прежнего солдата, огромного, усатого и геройского вида человека, умеющего скакать, рубить и

не кланяться пулям, – бесполезна. На главное место в этой войне были выдвинуты механика и организация тыла. От солдат требовалось упрямо и послушно умирать в тех местах, где указано на карте. Доблесть и лихость были излишни. Понадобился солдат без традиций, штатский, умеющий прятаться, зарываться в землю, сливаться с цветом пыли. Романтические постановления Гаагской конференции, – как нравственно и как безнравственно убивать, – были просто разорваны[2]. И вместе с этим клочком бумаги разлетелись последние пережитки никому уже более не нужных моральных законов. Отныне был один закон, равный для людей и машин, – полезность.

Так в несколько месяцев война завершила работу целого века. До этого времени еще очень многим казалось, что в жизни каждый может найти важнейшую цель, либо ту, которая увеличит счастье, либо ту, которая наиболее возвышенна; вероятно, это были пережитки Средневековья; они расслабляли волю и тормозили ход цивилизации. Теперь, с войною, стало очевидно, что человечество, – лишь муравьиная куча. В ней все равноценны. Нет ни добра, ни зла, и нет даже счастья для того, кто понял тяжкий и унылый закон жизни – построение вечного кладбища.

Это было время, когда человеческое счастье законом и принуждением было отведено в разряд понятий, не имеющих никакого смысла и значения, когда цивилизация стала служить не добру и счастью, а злу и истреблению, когда наука делала изумительные открытия, равные чудесам, когда становилось ясным – сколько злой воли в чистом человеческом разуме, освобожденном от моральных стеснений.

Механическая цивилизация торжествовала, – война была завершением ее века. Во всем мире теперь был один закон – полезность, и одно чувство – ненависть.

В каждом доме по вечерам, у карты, утыканной флажками, собирались хозяева и гости, строили стратегические планы и читали газеты, в которых военные корреспонденты описывали виденные собственными глазами горы вражеских трупов. Даже кроткие люди и молодые девушки наслаждались этими описаниями.

Дети вырастали за эти годы в сознании, что жизнь, – это ожидание каких-то решительных сражений, когда Господь Бог позволит, наконец, истребить сразу несколько миллионов врагов и выморить целые страны голодом. Убивать было доблестно и свято. Об этом твердили, вопили, взвывали ежедневно миллионы газетных листков, удесятерившие тираж. Особые знатоки каждое утро предсказывали исходы сражений и гибель врагов. Ходили слухом предсказания знаменитой провидицы мадам Тэб. Появлялись во множестве гадальщики, составители гороскопов и предсказатели будущего. Товаров не хватало. Цены росли. Вывоз сырья из России остановился. В три гавани на севере и востоке, – единственные оставшиеся продухи в замурованной на-

смерть стране, – ввозились только снаряды и орудия войны. Поля обрабатывались дурно. Миллиарды бумажных денег уходили в деревню, и мужики уже с неохотой продавали хлеб.

В Стокгольме на тайном съезде членов оккультной ложи антропософов[3] основатель ордена говорил, что страшная борьба, происходящая в высших сферах, перенесена сейчас на землю, наступает мировая катастрофа, и Россия будет принесена в жертву во искупление грехов. Действительно, все разумные рассуждения тонули в океане крови, льющейся на огромной полосе в три тысячи верст, опоясавшей Европу. Никакой разум не мог объяснить, почему железом, динамитом и голодом человечество упрямо уничтожает само себя. Изливались какие-то вековые гнойники. Переживалось наследие прошлого. Но и это ничего не объясняло.

Страны пустели. Жизнь повсюду останавливалась, словно людьми правили хаотические, темные силы. Силы более могущественные, чем инстинкт, толкали арийскую, владеющую миром, безумную расу к переходу через бездну, которую люди должны были заполнить своими трупами. Война начинала казаться лишь первым действием трагедии.

Перед этим зрелищем каждый человек, бывший владыка мира, умалялся, сморщивался, как робкий, беспомощный червячок. У людей пропадал вкус к самим себе.

Тяжелее всего было женщинам. Каждая, соразмерно своей красоте, очарованию и умению, раскидывала паутинку, – нити тонкие и для обычной жизни довольно прочные. Во всяком случае, тот, кому назначено, попадался в них и жужжал любовно.

Но война разорвала и эти сети. Плести заново, – нечего было и думать в такое жестокое время. Приходилось ждать лучших времен. И женщины ждали терпеливо, а время уходило, и считанные женские года шли бесплодно и печально.

Мужья, любовники, братья, сыновья, – теперь нумерованные и совершенно отвлеченные единицы, ложились под земляные холмики на полях, на опушках лесов, у дорог. И никакими усилиями нельзя было согнать новых и новых морщинок с женских стареющих лиц.

XVIII

– Я говорю брату, – ты начетчик, ненавижу социал-демократов, у вас людей пытать будут, если кто в слове одном ошибется. Я ему говорю, – ты астральный человек. Тогда он все-таки выгнал меня из дома. Теперь – в Москве, без денег. Страшно забавно. Пожалуйста, Дарья Дмитриевна, попросите Николая Ивановича. Мне бы все равно какое место, – лучше всего, конечно, в санитарном поезде.

– Да, да, я с ним поговорю.

– Здесь у меня – никого знакомых. А помните нашу «Центральную станцию»? Василий Веньяминович Валет – убит. Очень жалко, – был замечательный талант. Сапожков тоже где-то на войне. Жиров на Кавказе, читает лекции о футуризме. А где Иван Ильич Телегин, – не знаю. Вы, кажется, были с ним знакомы?

Елизавета Киевна и Даша медленно шли между высокими сугробами по переулку. Падал снежок. Похрустывали ботики. Извозчик на низеньких санках, высунув из козел заскорузлый валенок и закинувшись, протрусил мимо и прикрикнул ласково:

– Барышни, зашибу!

Снега было очень много в эту зиму. Над переулком низко висели ветви лип, покрытые снегом. И все белесое, снежное небо было полно птиц. С криком, растрепанными стаями, церковные галки взлетали над городом, садились на башни, на купола, уносились в студеную высоту.

Даша остановилась на углу и поправила белую косынку. Котиковая шубка ее и муфта были покрыты снежинками. Лицо ее похудело, глаза стали больше и строже:

– Иван Ильич пропал без вести, – сказана она, – я о нем ничего не знаю.

Даша подняла глаза и глядела на птиц. Должно быть, голодно было галкам в городе, занесенном снегом. Елизавета Киевна с застывшей улыбкой очень красных губ стояла, опустив голову в ушастой шапке. Мужское пальто на ней было тесно в груди, меховой воротник слишком широк и короткие рукава не прикрывали покрасневших рук. Ей на желтоватую шею села снежинка и растаяла, и длинные ресницы ее залились, наконец, слезами. Даша взяла ее за руку:

– Я сегодня же поговорю с Николаем Ивановичем, хорошо?

– Вы скажите, что я на всякую работу пойду. – Елизавета Киевна посмотрела под ноги и покачала головой. – Страшно любила Ивана Ильича, страшно, страшно любила. – Она засмеялась и опять ее глаза налились слезами. – Лучшее, что во мне было, так вот это. Значит, завтра приду. До свиданья.

Она простилась и пошла, широко шагая в валеных калошах и по-мужски засунув озябшие руки в карманы.

Даша упрямо глядела ей вслед, потом сдвинула брови и, свернув за угол, вошла в подъезд особняка, где помещался городской лазарет. Здесь, в высоких комнатах, отделанных дубом и кожей, пахло йодоформом, на койках лежали и сидели стриженые и в халатах, как арестанты, подбитые на войне мужики. У окна двое играли в шашки. Один ходил из угла в угол, мягко, в туфлях. Когда появилась Даша, он живо оглянулся на нее, сморщил низенький лоб и лег на койку, закинув за голову руки.

– Сестрица, – позвал слабый голос. Даша подошла к одутловатому, большому парню с толстыми губами. – Поверни, Христа ради, на левый бочок, – проговорил он, охая через каждое слово. Даша обхватила его, изо всей силы приподняла и повернула, как мешок. – Температуру мне ставить время, сестрица. – Даша стряхнула градусник и засунула ему под мышку. – Рвет меня, сестрица, крошку съем – все долой. Мочи нет.

Даша покрыла его одеялом и отошла. На соседних койках улыбались, один сказал:

– Он, сестрица, только ради для господского дома рассолодел, а сам здоровый, как боров.

– Пускай его, пускай помается, – сказал другой голос, – он никому не вредит, – сестрице забота и ему томно.

– Сестрица, а вот Семен вас что-то спросить хочет, робеет.

Даша подошла к сидящему на койке мужику с круглыми, как у галки, веселыми глазами и медвежьим, маленьким ртом; огромная – веником – борода его была расчесана. Он выставил бороду, вытянул губы навстречу Даше:

– Смеются они, сестрица, я всем доволен, благодарю вас покорно.

Даша улыбнулась. От сердца отлегла давешняя тяжесть. Она присела на койку к Семену и, отогнув рукав, стала осматривать перевязку. И он, стараясь доставить ей удовольствие, стал подробно описывать, как и где у него мозжит.

В Москву Даша приехала в октябре, когда Николай Иванович, увлекаемый патриотическими побуждениями, поступил в московский отдел Городского союза, работающего на оборону[1]. Петербургскую квартиру он передал англичанам из военной миссии, и в Москве жил с Дашей налегке – ходил в замшевом френче, ругал мягкотелую интеллигенцию и работал, по его же выражению, как лошадь. Даша читала уголовное право, вела маленькое хозяйство и каждый день писала Ивану Ильичу. Душа ее была тиха и прикрыта. Прошлое казалось далеким, точно из чужой жизни, в него не было охоты заглядывать, – там все было спутано и неясно. И она жила словно в половину дыхания, наполненная тревогой, ожиданием вестей и заботой о том, чтобы сохранить себя Ивану Ильичу в чистоплотности и строгости.

Но это душевное состояние продолжалось не долго. В начале ноября, утром, за кофе. Даша развернула «Русское слово»[2], и в списках пропавших без вести прочла имя Телегина. Список занимал два столбца петитом. Раненые – такие-то, убитые – такие-то, пропавшие без вести – такие-то, и в конце – Телегин, Иван Ильич, прапорщик.

Так было отмечено это сразу затмившее всю ее жизнь событие – строчкой петита.

Даша почувствовала, как эти мелкие буквы, сухие строчечки, столбцы, заголовки – наливаются кровью. Это была минута неописуемого ужаса, – газетный лист превращался в то, о чем там было написано, – в зловонное и кровавое месиво. Оттуда дышало смрадом, ревело беззвучными голосами.

Даша ушла к себе, легла на диван и прикрылась шубкой. Ее трясло мелким ознобом. Даже то, что случилось с Иваном Ильичом, – ее отчаяние, – тонуло в животном ужасе и омерзении. Стиснув зубы, она лежала долго, до сумерек.

К обеду пришел Николай Иванович, сел в ногах Даши и молча гладил ее ноги. Тогда она потихоньку начала плакать.

– Ты подожди, главное – подожди, Данюша, – говорил Николай Иванович, – он пропал без вести – очевидно, в плену. Я знаю тысячи подобных примеров.

Потом Николай Иванович обедал рядом в комнате, как всегда, громко ел, булькал из графина и время от времени глубоко вздыхал. Наконец, он появился в дверях, вытирая губы салфеткой:

– Хочешь, – компоту тебе принесу? – отличный компот.

Даша затрясла головой, стиснула платок зубами и уже громко заплакала, закрылась с головою шубкой.

Ночью ей приснилось: в пустой, узкой комнате, с окном, затянутым паутиной и пылью, на железной койке сидит человек в солдатской рубашке. Серое лицо его обезображено болью. Обеими руками он ковыряет свой лысый череп, лупит его, как яйцо, и то, что под кожурой, берет и ест, запихивает в рот пальцами.

Даша так закричала среди ночи, что Николай Иванович в накинутом на плечи одеяле очутился около ее постели, и долго не мог добиться, что случилось. Потом накапал в рюмочку валерьяну и дал выпить Даше и выпил сам.

Даша, сидя в постели, ударяла себя в грудь тремя, сложенными щепоткой, пальцами и говорила тихо и отчаянно:

– Понимаешь, я не могу жить больше. Ты понимаешь, Николай, не могу, не хочу.

Жить, после того, что случилось, было очень трудно, а жить так, как Даша жила до этого, – нельзя.

Война только коснулась пальцем Даши, и в ней все стало обнажено и растерзано. От этого нельзя было ни убежать, ни скрыться. Теперь все смерти и все слезы были также и ее делом. И, когда прошли первые дни острого отчаяния, Даша стала делать то единственное, что могла и умела, – прошла ускоренный курс сестер милосердия и работала в лазарете. Так наступили для нее долгие будни.

Вначале было очень трудно. С фронта прибывали раненые, по многу дней не менявшие перевязок; от марлевых бинтов шел такой запах, что сестрам

становилось дурно. Во время операций Даше приходилось держать почерневшие ноги и руки, с которых кусками отваливалось налипшее на ранах, и она узнала, как взрослые и сильные люди скрипят зубами и тело у них трепещет беспомощно и жалко.

Этих страданий было столько, что не хватило бы во всем свете милосердия пожалеть о них. Даше стало казаться, что она теперь навсегда связана с этой обезображенной и окровавленной жизнью, и другой жизни нет, – она вся такова. А то, чем она жила до сих пор – ее самолюбивые переживания, разлад с собой и даже верное чувство к Ивану Ильичу, – все лишь воображение, выдумка. Ночью в дежурной комнате горит зеленый абажур лампочки над раскрытой книгой, за стеной бормочет в бреду солдат, от проехавшего автомобиля зазвенели склянки на некрашеной полочке, по коридору кто-то прошел, шлепая туфлями, и на полураскрытой двери заколебалась четвертушка бумаги, приколотая кнопкой. Это уныние и есть частица истинной жизни, – будни.

Сидя в ночные часы у стола в кресле, Даша припоминала прошлое, и оно все яснее казалось ей, как сон. Жила на огромных высотах, откуда не было видно земли; жила, как и все там жили, влюбленная в себя, высокомерная и брезгливая. И вот пришлось упасть с этих призрачных облаков на землю, в кровь, в грязь, в этот лазарет, где пахнет больным человеческим телом, – словно это возмездие за какой-то грех.

Но разве отношение ее к Ивану Ильичу не было тоже грехом? Разве за любовь она отдала ему любовь? Поцеловала у моря, да писала письма, да с упоением любила свою верность к нему. А теперь, когда не знаешь – жив ли он даже, нет больше сил притворствовать. Здесь, в лазарете, где храпят больные, и умирает татарин-солдат, и через десять минут нужно идти вспрыскивать ему морфий, где позабыты все уже высоты, – она чувствует, что, быть может, ни одной еще минуты истинно не любила Ивана Ильича. А вот себя совсем разлюбила.

Сегодняшняя встреча с Елизаветой Киевной разволновала Дашу. День был трудный, из Галиции привезли раненых[3] в таком виде, что одному пришлось отнимать кисть руки, другому – руку по плечо, двое были в бреду, несли чепуху и метались на койках. Даша очень устала за день, и все же из памяти не выходила Елизавета Киевна с красными руками, в мужском пальто, с жалкой улыбкой и кроткими глазами, полными слез.

Вечером, присев отдохнуть в дежурной комнате, Даша глядела на зеленый абажур и думала, что вот бы уметь так плакать на перекрестке, говорить постороннему человеку, – «страшно, страшно люблю Ивана Ильича»... – Вот бы научиться забыть себя...

Думая о Елизавете Киевне, Даша превозносила ее в мыслях; наконец, у нее началась тоска; Даша усаживалась в большом кресле то боком, то под-

жав ноги, раскрыла было книгу, – отчет за три месяца «деятельности Городского союза», – столбцы цифр и совершенно непонятных слов – транзит, баланс, – но в книжке не нашла утешения, вздохнув, положила ее на место и вышла в палату.

Раненые спали, воздух был душный. Высоко, под дубовым потолком, в железном круге большой люстры горела несветлая лампочка. Молодой солдат-татарин, с отрезанной рукой, бредил, мотаясь бритой головой по подушке. Даша подняла с пола пузырь со льдом, положила ему на багровый лоб и подоткнула одеяло. Потом обошла все койки и присела на табурете, сложив руки на коленях.

«Сердце не наученное, вот что, – подумала она, – любило бы только изящное и красивое. А жалеть, любить нелюбимое – не учено».

– Что, ко сну морит, сестрица? – услышала она ласковый голос и обернулась. С койки глядел на нее Семен – бородатый. Даша спросила:

– Ты что не спишь?

– Днем наспался.

– Рука болит?

– Затихла... Сестрица?

– Что?

– Личико у тебя махонькое, – ко сну морит? Пошла бы вздремнула. Я присмотрю, – если нужно – позову.

– Нет, я спать не хочу.

– Свои-то у тебя есть на войне?

– Жених.

– Ну, Бог сохранит.

– Пропал без вести.

– Ай, ай! – Семен замотал бородой, вздыхая. – У меня брательник без вести пропал, а потом письмо от него пришло, – в плену. И человек хороший твой-то?

– Очень, очень хороший человек.

– Ах, досада. Может я слыхал про него. Как зовут-то?

– Иван Ильич Телегин.

– Слыхал. Постой, постой. Слыхал. Он в плену, не сойти мне с этого места. Какого полка?

– Казанского.

– Ну, самый он. В плену. Жив, слава богу. Ах, хороший человек! Ничего, сестрица, потерпи. Скоро мы немца победим. Снега тронутся – войне конец, – замиримся. Потерпи, потерпи. Сынов еще ему народишь, ты уж мне поверь.

Даша слушала, и слезы сами подступали к горлу, – знала, что Семен все выдумывает, Ивана Ильича не знает, и была благодарна. Вдруг она нагнулась низко и заплакала. Семен заворочался, сказал тихо, с досадой:

– Вот ведь какой случай.

Тогда Даша стремительно поднялась, вытащила платочек из-за фартука, сильно, проведя по одному разу, вытерла глаза и сказала:

– Ложись, Семен, спать, спи. Придет доктор, заругается.

Снова сидя в дежурной комнате, лицом к спинке кресла, Даша чувствовала, словно ее, чужую, приняли с любовью, – живи с нами. И ей казалось, что она жалеет сейчас всех больных и спящих. И, жалея и думая, она вдруг представила с потрясающей ясностью, как Иван Ильич тоже, где-то на узкой койке, так же, как и эти, – спит, дышит... Родной, родной человек.

Даша застонала, поднялась и начала ходить по комнате. Вдруг затрещал телефон. Даша, вздрогнув, схватила трубку, – так резок в этой сонной тишине и груб был звонок. Должно быть, опять привезли раненых с ночным поездом.

– Я слушаю, – сказала она. И в трубку поспешно проговорил нежный, женский, взволнованный голос:

– Пожалуйста, попросите к телефону Дарью Дмитриевну Булавину.

– Это я, – ответила Даша, и сердце ее страшно забилось. – Господи, кто это?.. Катя?.. Катюша!.. Ты?.. Милая!..

XIX

– Ну, вот, девочки, мы и опять вместе, – говорил Николай Иванович, одергивая на животе замшевый френч, взял Екатерину Дмитриевну за подбородок и сочно поцеловал в щеку, – с добрым утром, душенька, как спала? – Проходя за стулом Даши, поцеловал ее в волосы. – Нас с ней, Катюша, теперь водой не разольешь, молодец девушка – работница.

Он сел за стол, покрытый свежей скатертью, пододвинул фарфоровую рюмочку с яйцом и ножом стал срезать ему верхушку.

– Представь, Катюша, я полюбил яйца по-английски – с горчицей и маслом, необыкновенно вкусно, советую тебе попробовать. А вот у немцев-то выдают по одному яйцу на человека два раза в месяц. Как это тебе понравится?

Он открыл большой рот и засмеялся:

– Вот этим самым яйцом ухлопаем Германию всмятку. У них, говорят, уже дети без кожи начинают рождаться. Бисмарк им, дуракам, говорил, что с Россией нужно жить в мире[1]. Не послушали, пренебрегли нами, – теперь пожалуйте-с – два яйца в месяц.

– Это ужасно, – сказала Екатерина Дмитриевна, подняв брови, – когда дети рождаются без кожи – это все равно ужасно, у кого рождаются – у нас или у немцев.

– Прости, Катюша, ты несешь чепуху.

– Я только знаю, когда ежедневно убивают, убивают, убивают, – это так ужасно, что не хочется жить.

– Что ж поделаешь, моя милая, приходится на собственной шкуре начать понимать, что такое государство. Мы только читали у разных Иловайских, как какие-то там мужики воевали землю на разных Куликовых и Бородинских полях[2]. Мы думали, – государство – очень милая и приятная вещь. Ах, какая Россия большая! – взглянешь на карту. А вот теперь потрудитесь дать определенный процент жизней для сохранения целостности того самого, что на карте выкрашено зеленым через всю Европу и Азию. Не весело. Вот, если ты говоришь, что государственный механизм у нас плох, – тут я могу согласиться. Теперь, когда я иду умирать за государство, я прежде всего спрашиваю, – а вы, кто посылаете меня на смерть, вы – во всеоружии государственной мудрости? Могу я спокойно пролить свою кровь за отечество? Да, Катюша, правительство еще продолжает по старой привычке коситься на общественные организации, но уже ясно, – без нас ему теперь не обойтись. А мы сначала за пальчик, потом и за всю руку схватимся. Я очень оптимистически настроен. – Николай Иванович поднялся, взял с камина спички, стоя закурил и бросил догоревшую спичку в кожуру от яйца. – Кровь не будет пролита даром. Война кончится тем, что у государственного руля вместо царского держиморды встанет наш брат, общественный деятель. То, чего не могли сделать «Земля и воля», революционеры и марксисты[3] – сделает война. Прощайте, девочки. – Он одернул френч и вышел, со спины похожий на переодетую женщину.

Екатерина Дмитриевна вздохнула и села у окна с вязаньем. Даша присела к ней на подлокотник кресла и обняла сестру за плечи. Обе они были в черных, закрытых платьях, и теперь, сидя молча и тихо, очень походили друг на друга. За окном медленно падал снежок, и снежный, ясный свет лежал на стенах комнаты. Даша прижалась щекой к Катиным волосам, чуть-чуть пахнущим незнакомыми духами, и сказала:

– Катюша, как ты жила это время? Ты ничего не рассказываешь.

– О чем же, котик, рассказывать? Я тебе писала.

– Я все-таки Катюша, не понимаю, – ты красивая, прелестная, добрая. Таких, как ты, – я больше не знаю. Но почему ты несчастлива? Всегда у тебя грустные глаза.

– Сердце, должно быть, несчастливое.

– Нет, я серьезно спрашиваю.

– Я об этом, девочка, сама думаю все время. Должно быть, когда у человека есть все – тогда он по-настоящему и несчастлив. У меня – хороший муж, любимая сестра, свобода... А живу, как в мираже, и сама, как призрак... Помню, в Париже думала, – вот бы жить мне где-нибудь сейчас в захолустном

городишке, ходить за птицей, за огородом, по вечерам бегать к какому-нибудь приятелю за речку... Нет, Даша, моя жизнь кончена.

– Не говори глупостей...

– Знаешь, – Катя потемневшими, пустыми глазами взглянула на сестру, – этот день я чувствую... Иногда ясно вижу полосатый тюфяк, сползшую простыню, таз с желчью... Я лежу мертвая, желтая, седая...

Опустив шерстяное вязанье, Екатерина Дмитриевна глядела на падающие в безветренной тишине снежинки. Вдалеке над островерхой кремлевской башней, над раскоряченным золотым орлом, кружились, как облачко черных листьев, галки.

– Я помню, Дуничка, я встала рано, рано утром. С балкона был виден Париж весь в голубоватой дымке и повсюду поднимались белые, серые, синие дымки. Ночью был дождик, пахло свежестью, зеленью, ванилью. По улице шли дети с книжками, женщины с корзинками, открывались съестные лавочки. Казалось – это прочно и вечно. Мне захотелось сойти туда, вниз, смешаться с толпой, встретить какого-то человека с добрыми глазами, положить ему руки на грудь, – возьми, люби! А когда я спустилась на большие бульвары, – весь город был уже сумасшедший. Бегали газетчики, повсюду – взволнованные кучки людей. Во всех глазах – страх смерти и ненависть. Началась война. С этого дня только и слышу – смерть, смерть, смерть... На что же еще надеяться?..

Помолчав, Даша спросила:

– Катюша?

– Что, родненькая?

– А как ты с Николаем?

– Не знаю, кажется – мы простили друг друга. Смотри, уж вот три дня прошло, – он со мной очень нежен. Какие там женские счеты, Дуничка!.. Страдай, сойди с ума. – Кому сейчас это нужно? Так, пищишь, как комар, и себя-то едва слышно. Завидую старухам, – у них все просто – скоро смерть, к ней и готовься.

Даша поворочалась на подлокотнике кресла, вздохнула несколько раз глубоко, и сняла руку с Катиных плеч. Екатерина Дмитриевна сказала нежно:

– Дуничка, Николай Иванович мне сказал, что ты невеста. Правда это? Бедненькая. – Она взяла Дашину руку, поцеловала и, положив на грудь, стала гладить. – Я верю, что Иван Ильич жив. Если ты его очень любишь – тебе больше ничего, ничего на свете не нужно.

Сестры опять замолчали, глядя на падающий за окном снег. По улице, среди сугробов, скользя сапогами, прошел взвод юнкеров с вениками и чистым бельем под мышками. Юнкеров гнали в баню. Проходя, они запели одной глоткой, с присвистом: «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать...»[4].

Пропустив несколько дней, Даша снова начала ходить в лазарет. Екатерина Дмитриевна оставалась одна в квартире, где все было чужое: два скучных пейзажа на стене – стог сена и талая вода между голыми березами; над диваном в гостиной – незнакомая фотография какой-то некрасивой женщины, двух мальчиков-кадетов и генерала в пенсне; в углу на подставочке – сноп пыльного ковыля, привезенного из степей, с кумыса.

Екатерина Дмитриевна пробовала ходить в театр, где старые актеры играли Островского[5], на выставки картин, в музеи, – все это показалось ей бледным, выцветшим, полуживым, и сама она себе – тенью, бродящей по давно всеми оставленной жизни.

Целыми часами Екатерина Дмитриевна просиживала у окна, у теплой батареи отопления, глядела на снежную, тихую Москву, где в мягком воздухе, сквозь опускающийся снег, раздавался печальный колокольный звон, – служили панихиду либо хоронили привезенного с фронта. Книга валилась из рук, – о чем читать? о чем мечтать? Мечты и прежние думы, – как все это теперь ничтожно.

Время шло от утренней газеты до вечерней. Екатерина Дмитриевна видела, как все окружающие ее люди жили только будущим, какими-то воображаемыми днями победы и мира, – все, что укрепляло эти ожидания, переживалось с повышенной, сумасшедшей радостью, от неудач все стискивали зубы. Люди были рассеянны, как маньяки, жадно ловили слухи, отрывки фраз, невероятные сообщения и воспламенялись от газетной строчки, – и при этом можно было расколотить себе голову о камни на Театральной площади – никто бы не заметил.

Екатерина Дмитриевна решилась, наконец, и поговорила с мужем, прося пристроить ее на какое-нибудь дело. В начале марта она начала работать в том же лазарете, где служила и Даша.

В первое время у нее, так же, как и у Даши, было отвращение к грязи и страданию. Но она преодолела себя и понемногу втянулась в работу. Это преодоление было радостно. Впервые она почувствовала близость жизни вокруг себя, точно в сухую пустыню побежал живой ручеек. Она полюбила грязную и трудную работу и жалела тех, для кого работала. Однажды она сказала Даше:

– Почему это выдумано было, что мы должны жить какой-то необыкновенной, утонченной жизнью? В сущности, мы с тобой такие же бабы, – нам бы мужа попроще, да детей побольше, да к травке поближе...

На Страстной сестры говели у Николы на Курьих Ножках, что на Ржевском[6]. Екатерина Дмитриевна возила святить лазаретские пасхи и разговлялась вместе с Дашей в лазарете. У Николая Ивановича было в эту ночь экстренное заседание, и он заехал за сестрами в третьем часу ночи на автомобиле. Екатерина Дмитриевна сказала, что они с Дашей спать не хотят,

а просят везти их кататься. Это было нелепо, но шоферу дали стакан коньяку и поехали на Ходынское поле[7]. Было чуть-чуть морозно, – холодило щеки. Небо – безоблачно, в редких, ясных звездах. Под колесами хрустел ледок. Катя и Даша, обе в белых платочках и серых шубках, тесно прижались друг к другу в глубоком сиденье автомобиля. Николай Иванович, сидевший с шофером, оглядывался на них, – обе были темнобровые, темноглазые, беленькие.

– Ей-богу, не знаю – какая из вас моя жена, – говорил он тихо. И кто-то из них ответил:

– Не угадаешь, – и обе засмеялись.

Над огромным, смутным полем начинало чуть у краев зеленеть небо, и вдалеке проступали темные очертания Серебряного Бора.

Даша сказала тихо:

– Катюша, любить очень хочется. – Екатерина Дмитриевна сжала ей руку, глаза ее были полны слез. Над лесом, в зеленоватой влаге рассвета, сияла большая звезда, переливаясь, точно дыша.

– Я и забыл сказать, Катюша, – проговорил Николай Иванович, поворачиваясь на сиденье всем телом, – только что приехал наш уполномоченный – Чумаков, рассказывает, что в Галиции, оказывается, положение очень серьезное[8]. Немцы лупят нас таким ураганным огнем, что натло уничтожают целые полки. А у нас снарядов, изволите ли видеть, не хватает... Черт знает что такое!..

Катя не ответила, только подняла глаза к звездам, Даша прижалась лицом к ее плечу. Николай Иванович чертыхнулся еще раз и велел шоферу поворачивать домой.

На третий день праздников Екатерина Дмитриевна почувствовала себя плохо, не пошла на дежурство и слегла. У нее оказалось воспаление легких, – должно быть, простудилась на сквозняках.

XX

– Такие у нас дела – сказать страшно.

– Будет тебе на огонь-то пучиться, иди спать.

– Такие дела... Эх, братцы мои, пропадает Россия!

У глиняной стены сарая, крытого высокой, как омет, соломенной крышей, у тлеющего костра сидели трое солдат. Один развесил на колышках сушить портянки, поглядывал, чтобы не задымились, другой подшивал заплату на портки, осторожно тянул нить; третий, сидя на земле, подобрав ноги и засунув глубоко руки в карманы шинели, рябой и носатый, с черной, редкой бородкой, глядел на огонь запавшими, сумасшедшими глазами.

– Все продано, вот какие дела, – говорил он негромко. – Чуть наши перевесь начинают брать – сейчас приказ – отойти. Только и знаем, что жидов на сучках вешать, а измена, гляди, на самом верху гнездится.

– Так надоела мне эта война, ни в одной газете не опишут, – сказал солдат, сушивший портянки, и осторожно положил хворостинку на угли. – Пошли наступать, отступили, опять наступление, ах, пропасти на них нет! – и тем же порядком опять возвращаемся на свое место. Безрезультатно, – выговорил он с удовольствием. – Одно, – всю окрестность дерьмом завалили. В окружности все бабы брюхатые ходят. С души воротит.

– Давеча ко мне подходит поручик Жадов, – с усмешкой, не поднимая головы, проговорил солдат, штопавший штаны, – ну, хорошо. Со скуки, что ли, черти ему покоя не дают. Начинает придираться. Отчего дыра на портках? Да как стоишь? Я молчу. И кончился наш разговор очень просто, – раз меня в зубы.

Солдат, сушивший портянки, ответил:

– Ружьев нет, стрелять нечем. На нашей батарее снарядов – семь штук на орудие. Таким образом, у них одно остается – по зубам щелкать нашего брата...

Штопавший штаны с удивлением взглянул на него, покачал головой, – ну, ну! Черный, страшноглазый солдат сказал:

– Весь народ подняли, берут теперь до сорока трех лет. С такой бы силой свет можно пройти. Разве мы отказываемся? Только уж и ты свое исполняй, – мы свое исполним.

Штопавший штаны кивнул, – верно.

– Видел я поле под Варшавой, – говорил черный, – лежат на нем тысяч пять али шесть сибирских стрелков[1]. Все побитые, лежат, как снопы. Я рожь кошу – я ее потом соберу. А на военном совете в Варшаве стали решать, что, мол, так и так, и сейчас один генерал тайком выходит оттудова и телеграмму в Берлин. Понял? Два сибирских корпуса прямым маршем с вокзала – прямо на это поле, и попадают под пулеметы. Что ты мне говоришь – в зубы дали. Отец мой, бывало, не так хомут засупонишь, – подойдет и бьет меня по лицу, и правильно – учись, страх знай. А за что сибирских стрелков, как баранов, положили? Я вам говорю, ребята, пропала Россия, продали нас. И продал нас наш же мужик, односельчанин мой, села Покровского, шорник. Имени-то его и говорить не хочу... Неграмотный он, как и я, озорник, сладкомордый, отбился от работы, стал лошадей красть, по скитам шататься, привык к бабам, к водке сладкой... А теперь в Петербурге за царя сидит, министры, генералы да черти кругом его так и крутятся. И все у них там бесовское. Мне сказывали, – задрали одному попу рясу, а там хвост. И в причастие они семя бросают. Нас бьют, тысячами в сырую землю ложимся, а у них в Петербурге во всем городе электричество так и пышит. Пьют, едят, в каждом дому бал. Бабы по сих

пор – голые... Из Германии туда на трех лодках подводных деньги привезены, доподлинно знаю. У меня вот рука для крестного знамения не поднимается, как каменная...

Он вдруг замолчал. Было тихо и сыро, в сарае похрустывали лошади, одна глухо ударила в стену. Из-за крыши на огонь скользнула ночная птица и пропала, жалобно крикнув. И в это время вдалеке, в небе, возник рев, надрывающий, приближающийся, точно с неимоверной быстротой летел зверь, разрывая рылом темноту, и ткнулся где-то, и вдалеке за сараем рванул разрыв, затрепетала земля. Забились лошади, звеня недоуздками. Солдат, зашивавший портки, проговорил опасливо:

– Вот это так двинуло!

– Ну и пушка!

– Подожди.

Все трое подняли головы. В беззвездном небе вырастал второй звук, длился, казалось, минуты две, и где-то совсем близко, за сараем, по эту сторону сарая, громыхнул второй разрыв, выступили черные конусы елей, и опять затрепетала земля. И сейчас же стал слышен полет третьего снаряда. Звук его был захлебывающийся, притягивающий... Слушать было так нестерпимо, что останавливалось сердце. Черный солдат поднялся с земли и начал пятиться. И сверху дунуло, – скользнула точно невидимая молния, и с рваным грохотом взвился черно-огненный столб.

Когда столб опустился, – от места, где был костер и люди, осталась глубокая воронка. Над развороченной стеной сарая загорелась и повалила желтым дымом соломенная крыша. Из пламени, храпя, вылетела черная гривастая лошадь и шарахнулась к выступившим из темноты соснам.

А уж за зубчатым краем равнины мигали зарницы, рычали орудия, поднимались длинными червями ракеты, и огни их, медленно падая, озаряли темную, сырую землю. Небо буравили, рыча и ревя, снаряды. Готовилось наступление врага.

XXI

Этим же вечером, неподалеку от сарая, в офицерском убежище, по случаю получения капитаном Тетькиным сообщения о рождении сына, офицерами одной из рот Усольского полка был устроен «бомбаус». Глубоко под землей, под тройным накатом, в низком погребе, освещенном пучками вставленных в стаканы стеариновых свечей, сидели у стола восемь офицеров, доктор и три сестры милосердия из летучего лазарета.

Выпито было сильно. Счастливый отец, капитан Тетькин, спал, уткнувшись лицом в локоть, грязная рука его висела над лысым черепом. От духоты,

от спирту, от обильного и мягкого света свечей сестры казались очень хорошенькими; были они в серых платьях и серых косынках. Одну звали Мушка, на висках ее были закручены два черных локона; не переставая, она смеялась, закидывая голову, показывая беленькое горло, в которое впивались тяжелыми взглядами два ее соседа и двое, сидящие напротив. Другая, Марья Ивановна, полная, с румянцем до бровей, необыкновенно пела цыганские романсы. Слушатели, вне себя, стучали по столу, повторяя: – Эх, черт! Вот была жизнь! – Третьей у стола сидела Елизавета Киевна. В глазах у нее дробились-лучились огоньки свечей, лица белели, как пятна сквозь дым, а одно лицо соседа, прапорщика Жадова, казалось страшным и прекрасным. Он был широкоплечий, русый, бритый, со светлыми, прозрачными глазами. Сидел он прямо, туго перетянутый ремнем, пил много и только бледнел. Когда рассыпалась смешком черноволосая Мушка, когда Марья Ивановна брала привезенную с собой гитару, скомканным платочком вытирала лицо и, вытянув двойной подбородок, запевала грудным басом: «Я в степях Молдавии родилась»[1], – Жадов медленно усмехался углом прямого и тонкого рта и подливал себе спирту.

Елизавета Киевна глядела близко ему в чистое, без морщин, как фарфоровое лицо. Ей пронзительно было грустно.

Он занимал ее приличным и незначительным разговором, рассказал, между прочим, что у них в полку есть штабс-капитан Мартынов, про которого ходит слава, будто он фаталист; действительно, когда он выпьет коньяку, то выходит ночью за проволоку, приближается к неприятельским окопам и ругает немцев на четырех языках; на днях он поплатился за свое честолюбие раной в живот. Елизавета Киевна, вздохнув, сказала, что, значит, штабс-капитан Мартынов – герой. Жадов усмехнулся:

– Извиняюсь, есть честолюбцы и есть дураки, но героев нет.

– Но когда вы идете в атаку – разве не геройство?

– Во-первых – в атаку не ходят, а заставляют идти, и те, кто идут, трусы. Конечно, есть люди, рискующие своей жизнью без принуждения, но это те, у кого – органическая жажда убивать. – Жадов постучал пальцами по столу. – Если хотите, – то это люди, стоящие на высшей ступени человеческого сознания.

Он, легко приподнявшись, взял с дальнего края стола большую коробку с мармеладом и предложил Елизавете Киевне.

– Нет, нет, не хочу, – сказала она и чувствовала, как стучит сердце, слабеет тело. – Ну, скажите, а вы?

Жадов наморщил кожу на лбу, лицо его покрылось мелкими, неожиданными морщинами, стало старое.

– Что – а вы? – повторил он резко. – Вчера я застрелил жида за сараем. Хотите знать – приятно это или нет? Какая чепуха!

Он сунул в рот папиросу и чиркнул спичку, и плоские пальцы, державшие ее, были тверды, но папироса так и не попала в огонек, не закуривалась.

– Да, я пьян, извиняюсь, – сказал он и бросил спичку, догоревшую до ногтей. – Пойдемте на воздух.

Елизавета Киевна поднялась, как во сне, и пошла за ним к узкому лазу из убежища. Вдогонку закричали пьяные, веселые голоса, и Марья Ивановна, рванув гитару, затянула басом: «Дышала ночь восторгом сладострастья…»[2].

На воле остро пахло весенней прелью, было темно и тихо. Жадов быстро шел по мокрой траве, засунув руки в карманы. Елизавета Киевна шла немного позади него и, чувствуя, что это отчаянно обидно, не переставала улыбаться. Вдруг он остановился и отрывисто спросил:

– Ну, так что же?

У нее запылали уши. Сдержав спазму в горле, она ответила едва слышно:

– Не знаю.

– Пойдемте. – Он кивнул в сторону темнеющей крыши сарая. Через несколько шагов он опять остановился и крепко взял Елизавету Киевну за руку ледяной рукой.

– Я сложен, как бог, – проговорил он с неожиданной горячностью. – Я рву двугривенные. Каждого человека я вижу насквозь, как стеклянного... Ненавижу. – Он запнулся, точно вспомнив о чем-то, и топнул ногой. – Эти все хи-хи, ха-ха, пенье, трусливые разговоры – мерзость! Они все, как червяки в теплом навозе... Они видят только мои ноги. Я их давлю... Слушайте... Я вас не люблю, не могу! Не буду вас любить... Не обольщайтесь... Но вы мне нужны... Мне отвратительно это чувство зависимости... Вы должны понять... – Он сунул руки свои под локти Елизаветы Киевны, сильно привлек ее и прижался к виску губами сухими и горячими, как уголь.

Она рванулась, чтобы освободиться, но он так стиснул ее, что хрустнули кости, и она уронила голову, тяжело повисла на его руках.

– Вы не такая, как те, как все, – проговорил он, – я вас научу... – Он вдруг замолчал, подняв голову. В темноте вырастал резкий, сверлящий звук.

– А, черт! – сказал Жадов сквозь зубы.

Сейчас же вдалеке грохнул разрыв. Елизавета Киевна опять рванулась, но Жадов еще сильнее сжал ее. Она проговорила отчаянно:

– Пустите же меня.

Разорвался второй снаряд. Жадов продолжал что-то бормотать, и вдруг совсем рядом, за сараем, взлетел черно-огненный столб, грохотом взрыва швырнуло высоко горящие пучки соломы.

Елизавета Киевна вырвалась, упала и, с трудом поднявшись, оглушенная, побежала к убежищу.

Оттуда, из лаза, поспешно выходили младшие офицеры, оглядываясь на пылающий сарай, рысцою бежали по черноизрытой от косого света земле – одни налево к леску, где были окопы, другие – направо – в ход сообщения, ведущий к предмостному укреплению.

За рекой, далеко за холмами, грохотали немецкие батареи. Обстрел начался с двух мест, – били направо по мосту и налево по переправе, которая вела к фольверку[3], недавно занятому на той стороне реки шестой ротой Усольского полка. Часть огня была сосредоточена на русских батареях, отвечавших слабо.

Елизавета Киевна видела, как Жадов, без шапки, засунув руки в карманы, шагал прямо через поле к пулеметному гнезду. И вдруг на месте его высокой фигуры вырос косматый, огненно-черный куст. Елизавета Киевна закрыла глаза. Когда она опять взглянула, – Жадов шел левее, все так же раздвинув локти. Капитан Тетькин, стоявший с биноклем около Елизаветы Киевны, крикнул сердито:

– Говорил я – на какой нам черт этот фольверк! Теперь пожалуйте, глядите – всю переправу разворочали. Ах, сволочи! – И опять уставился в бинокль. – Ах, сволочи, лупят прямо по фольверку! Пропала шестая рота. Эх! – Он отвернулся и шибко поскреб голый затылок. – Шляпкин!

– Здесь, – быстро ответил маленький, носатый человек в папахе.

– Говорили с фольверком?

– Сообщение прервано.

– Передайте в восьмую роту, – чтобы послали подкрепление на фольверк.

– Слушаюсь, – ответил Шляпкин, отчетливо отнимая руку от виска, отошел два шага и остановился.

– Поручик Шляпкин! – свирепым голосом опять позвал капитан.

– Здесь.

– Потрудитесь исполнить приказание.

– Слушаюсь. – Шляпкин отошел подальше и, нагнув голову, стал тросточкой ковырять землю.

– Поручик Шляпкин! – заорал капитан.

– Здесь.

– Вы человеческий язык понимаете или не понимаете?

– Так точно, понимаю.

– Передайте в восьмую роту приказание. От себя скажете, чтобы его не исполняли. Они и сами не идиоты, чтобы посылать туда людей. Пускай пошлют человек пятнадцать к переправе отстреливаться. Сейчас же сообщите в дивизию, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу. А потери мы покажем из шестой роты. Идите. Да убирайтесь вы, барышня, – обер-

нулся он к Елизавете Киевне, – убирайтесь к чертовой матери отсюда, сейчас начнется обстрел.

В это время с шипом пронесся снаряд и ударил шагах в двадцати позади в дерево.

XXII

Жадов лежал у самой щели пулеметного блиндажа и с жадностью, не отрываясь от бинокля, следил за боем. Блиндаж был вырыт на скате лесистого холма. У подножья его пологой дугою загибалась река; направо валил клубами только что загоревшийся мост; за ним на той стороне в травяном болоте виднелась изломанная линия окопов, где сидела первая рота усольцев; левее их вился в камышах ручей, впадающий в речку; еще левее, за ручьем, пылали три здания фольверка; за ними в вынесенных углом окопах сидела шестая рота. Шагах в трехстах от нее начинались немецкие линии, идущие затем направо в даль к лесистым холмам.

От пламени двух пожаров река казалась грязно-багровой, и вода в ней словно кипела от множества падающих снарядов, взлетала фонтанами, окутывалась бурыми и желтыми облаками.

Наиболее сильный артиллерийский огонь был сосредоточен на фольверке. Над пылающими зданиями поминутно блистали разрывы шрапнелей, и по сторонам углом сломанной черты окопов взлетали космато-черные столбы. Из-за ручья, в тростниках и траве кое-где, вспыхивали иголочки ружейной стрельбы.

Ррррах, ррррах, – сотрясали воздух разрывы тяжелых снарядов. Ппах, ппах, ппах, – слабо лопалась шрапнель над рекой, над лугами и на этой стороне над окопами 2, 3 и 4 рот. Ррррyy, ррррyy, – катился громовой грохот из-за холмов, где белыми зарницами вспыхивали двенадцать немецких батарей. Ссссык, ссссык, – свистали в воздухе, уносясь за эти холмы, ответные наши снаряды.

От шума ломило уши, давило грудь, и злоба клубком подкатывала под сердце.

Так продолжалось долго, очень долго. Жадов взглянул на светящиеся часы: показывало половину третьего, значит – уже светает и надо ждать атаки.

Действительно, грохот артиллерийской стрельбы усилился, еще сильнее закипела вода в реке, снаряды били по переправам и холмам по этой стороне. Иногда глухо начинала дрожать земля, и сыпались глина и камушки со стен и потолка блиндажа. Но на площади догоравшего фольверка стало тихо. И вдруг издалека, наискось к реке, взвились огненными лентами десятки ра-

кет, и земля озарилась, как солнцем. Когда огни потухли, на несколько минут стало совсем темно. Немцы поднялись из убежищ и пошли в атаку.

В неясном сумраке рассвета Жадов разглядел, наконец, далеко на лугу двигающиеся фигурки, они то припадали, то перегоняли друг друга. Навстречу им с фольверка не вспыхнул ни один огонек. Жадов, обернувшись, крикнул:

– Ленту!

Пулемет задрожал, как от дьявольской ярости, торопливо стал выплевывать свинец, удушать едкой гарью. Сейчас же быстрее задвигались фигурки на лугу, иные припали. Но уже все поле было полно точками наступающих. Передние из них подбегали к разрушенным окопам шестой роты. Оттуда поднялось десятка два человек. И около этого места быстро, быстро сбилась толпа.

Этот бой за фольверк был лишь ничтожной частью огромного сражения, разыгравшегося на фронте протяжением в несколько сот верст и стоившего обеим сторонам около миллиарда рублей и несколько сот тысяч жизней.

Сражение не имело никакого смысла, потому что убыль в войсках была пополнена, произведена новая мобилизация, наготовлены новые снаряды, выпущены новые партии бумажных денег. Только оказались разрушенными несколько городов и сгорела дотла сотня деревень. И снова обе стороны стали готовиться к тому, чтобы, как в то время говорилось, – вырвать инициативу наступления из рук противника.

Не имел никакого смысла и бой за фольверк. Русскими фольверк был занят две недели тому назад для того, чтобы обеспечить себе плацдарм в случае наступления через реку. Немцы решили занять фольверк для того, чтобы вынести ближе к реке наблюдательный пункт. Та и другая цель была важна только для начальников дивизий – немецкой и русской, входила в мудрый и обдуманный ими во всех мелочах стратегический план весенней кампании.

Командующий русской дивизией, генерал Добров, полгода тому назад с Высочайшего соизволения переменивший на таковую свою прежнюю нерусскую фамилию[1], сидел за преферансом в то время, когда было получено сообщение о наступлении немцев в секторе Усольского полка.

Генерал оставил преферанс и вместе с обер-офицерами и двумя адъютантами перешел в залу, где на столе лежали топографические карты. С фронта доносили об обстреле переправы и моста. Генерал понял, что немцы намереваются отобрать фольверк, то есть то именно место, на котором он построил свой знаменитый план наступления, одобренный уже штабом корпуса и представленный командующему армией на одобрение. Немцы атакой фольверка разбивали весь план.

Поминутно телефонограммы подтверждали это опасение. Генерал снял с большого носа пенсне и, играя им, сказал спокойно, но твердо.

– Хорошо. Я не отступлю ни на пядь от занятых вверенными мне войсками позиций.

Тотчас была дана телефонограмма о принятии соответствующих мер к обороне фольверка. 238 Кундравинскому третьеочередному полку, стоящему в резерве[2], приказано двинуться в составе двух батальонов к переправе на подкрепление Тетькина. В это время от командира тяжелой батареи пришло донесение, что снарядов мало, одно орудие уже подбито и отвечать в должной мере на ураганный огонь противника нет возможности.

На это генерал Добров сказал, строго взглянув на присутствующих:

– Хорошо. Когда выйдут снаряды – мы будем драться холодным оружием. – Вынул из кармана серой, с красными отворотами, тужурки белоснежный платок, встряхнул его, протер пенсне и наклонился над картой.

Затем в дверях появился младший адъютант, граф Бобруйский, корнет, облитый, как перчаткою, темно-коричневым хаки, высоко перетянутый ремнем, в снаряжении и широких галифе.

– Ваше превосходительство, – сказал он, чуть заметно улыбаясь уголком красивого, юношеского рта, – капитан Тетькин доносит, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу, невзирая на губительный огонь врага.

Генерал поверх пенсне взглянул на корнета, пожевал бритым ртом и сказал:

– Очень хорошо.

Но, несмотря на бодрый тон, донесения с фронта приходили все более неутешительные. 238 Кундравинский полк дошел до переправы, лег и окопался. Восьмая рота продолжала молодецкие удары, но не переправлялась. Командир мортирного дивизиона, капитан Исламбеков, донес, что у него подбито два орудия и мало снарядов. Командир первого батальона Усольского полка, полковник Бороздин, доносил, что вследствие открытых позиций вторая, третья и четвертая роты терпят большие потери в людях, и потому он просит либо разрешить ему броситься и опрокинуть дерзкого врага, либо отойти к опушке. Донесений от шестой роты, занимающей фольверк, не поступало.

В половине третьего по полуночи был созван военный совет. Генерал Добров сказал, что он сам пойдет впереди вверенных ему войск, но не уступит ни вершка занятого плацдарма. В это время пришло донесение, что фольверк занят и шестая рота до последнего человека уничтожена. Генерал стиснул в кулаке батистовый платок и закрыл глаза. Начальник штаба, полковник Свечин, подняв полные плечи и наливаясь кровью в мясистом, чернобородом лице, проговорил отчетливым хрипом:

– Ваше превосходительство, я всегда изволил вам докладывать, что вынесение позиций на правый берег – рискованно. Мы уложим на этой переправе

два, и три, и четыре батальона, и если даже отобьем фольверк, удержание его будет крайне затруднительно. Я решительно против дальнейшей борьбы за плацдарм.

– Нам нужен плацдарм, мы его должны иметь, мы его будем иметь, господин полковник, – проговорил генерал Добров и на носу его выступил пот, – дело идет не о пустом честолюбии, а дело идет о том, что с потерей плацдарма мой план наступления сводится к нулю.

Полковник Свечин возражал, еще более багровея:

– Ваше превосходительство, войска физически не могут переходить речку под ураганным огнем, не будучи в должной мере поддержаны артиллерией, а, как вам известно, артиллерии поддержать их нечем.

На это генерал ответил:

– Хорошо. В таком случае передайте войскам, что на той стороне реки на проволоках висят Георгиевские кресты. Я знаю моих солдат.

После этих, долженствующих войти в историю, слов генерал поднялся и, вертя за спиной в коротких пальцах золотое пенсне, стал глядеть в окно, за которым на лугу в нежно-голубом утреннем тумане стояла мокрая береза. Стайка воробьев обсела ее тонкие, светло-зеленые сучья, зачиликала, торопливо и озабоченно, и вдруг снялась и улетела. И весь туманный луг с неясными очертаниями деревьев уже пронизывали косые, золотистые лучи солнца.

На восходе солнца бой кончился. Немцы занимали фольверк и левый берег ручья. Изо всего плацдарма в руках русских осталась только низина по правую сторону ручья, где сидела первая рота. Весь день через ручей шла ленивая перестрелка, но было ясно, что первая рота находилась под опасностью окружения, – непосредственной связи у нее с этим берегом не было из-за сгоревшего моста, и самым разумным казалось – очистить болото в ту же ночь.

Но после полудня командующий первым батальоном полковник Бороздин получил приказание готовиться этой ночью к переходу бродом на болото для усиления позиций первой роты. Капитану Теткину приказано накапливаться, в составе пятой и седьмой рот, ниже фольверка и переправляться на понтонах. Третьему батальону усольцев, стоящему в резерве, – занять позиции атакующих. 238 Кундравинскому полку переправляться по мелкому месту сожженной переправы и ударить в лоб.

Приказ был серьезный, диспозиция ясная: фольверк обхватывался клещами справа первым и слева вторым батальоном, запасной Кундравинский полк должен привлечь на себя все внимание и огонь врага. Атака была назначена в полночь.

В сумерки Жадов пошел ставить пулеметы на переправе и один аппарат с величайшими предосторожностями перевез на лодке на небольшой, в не-

сколько десятков квадратных саженей, островок, поросший лозняком. Здесь Жадов и остался. Позиция была опасная, но удобная.

Весь день русские батареи поддерживали ленивый огонь, лениво отвечали и немцы. С закатом солнца артиллерийская стрельба смолкла, и только кое-где по реке хлопали одиночные ружейные выстрелы. В полночь, в молчании началась переправа войск сразу в трех местах. Чтобы отвлечь внимание врага – части Белоцерковского полка, стоящие верстах в пяти выше по течению, начали оживленную перестрелку. Немцы, насторожась, молчали.

Раздвинув опутанные паутиной ветви лозняка, Жадов следил за переправой. Направо желтая, немигающая звезда стояла невысоко над зубчатыми холмами, и тусклый отсвет ее дрожал в глянцевито выпуклой воде реки. Эту полосу отсвета стали пересекать темные предметы. На песчаных островках и мелях появились перебегающие фигуры. Недалеко от Жадова человек десять их двигалось с негромким плеском, по грудь в воде, держа в поднятых руках винтовки и патронные сумки. Это переправлялись кундравинцы.

Вдруг, далеко на той стороне, вспыхнули быстрые огни, запели, налетая, снаряды, и, – пах, пах, пах, – с металлическим треском залопались шрапнели высоко над рекой. Каждая вспышка освещала поднятые из воды белые, бородатые лица. Вся отмель кишела бегущими людьми. Пах, пах, пах, – разорвалась новая очередь. Раздались крики. Взвились и рассыпались ослепительными огнями ракеты по всему небу. Загрохотали русские батареи. К ногам Жадова течением нанесло барахтающегося человека. «Голову, голову пробили!» – сдавленным голосом повторял он и цеплялся за лозы. Жадов перебежал на другую сторону острова. Вдалеке через реку двигались понтоны, полные людей, и было видно, как переправившиеся части перебегали по полю. Сейчас, как и вчера над рекой, на переправах и по холмам оглушающе, ослепляюще грохотала буря ураганного огня. Кипящая вода была точно червивая: сквозь черные и желтые клубы дыма, меж водяных столбов, лезли, орали, барахтались солдаты. Достигшие той стороны ползли на берег, хватали за ноги вылезающих. С тыла хлестали жадовские пулеметы. Рвались впереди русские снаряды. Обе роты капитана Тетькина били перекрестным огнем по фольверку. Передние части кундравинцев, как оказалось впоследствии, потерявших при переправе половину состава, пошли было в штыки, но не выдержали и легли под проволоку. Из-за ручья, из камышей высыпали густые цепи первого батальона. Немцы отхлынули из окопов.

Жадов лежал у пулемета и, вцепившись в бешено дрожащий замок, поливал настильным огнем позади немецкой траншеи травянистый изволок, по которому пробегали то два, то три, то кучка людей, и, неизменно, все они спотыкались и тыкались ничком, на бок.

«Пятьдесят восемь. Шестьдесят», – считал Жадов. Вот поднялась щуплая фигура и, держась за голову, поплелась на изволок. Жадов осторожно повел

мушкой пулемета, фигурка села на колени и легла. «Шестьдесят один». Вдруг нестерпимый, обжигающий свет возник перед глазами. Жадов почувствовал, как его подняло на воздух и острой болью рвануло руку.

Фольверк и все прилегающие к нему линии окопов были заняты; захвачено около двухсот человек немцев; на рассвете затих с обеих сторон артиллерийский огонь. Началась уборка раненых и убитых. Обыскивая островки, санитары нашли в поломанном лозняке опрокинутый пулемет, около – уткнувшегося в песок нижнего чина с оторванным затылком, и саженях в пяти, на другой стороне островка, лежал ногами в воде Жадов. Его подняли, он застонал, из запекшегося кровью рукава торчал кусок розовой кости.

Когда Жадова привезли в летучку, доктор крикнул Елизавете Киевне: «Молодчика вашего привезли. На стол, немедленно резать». Жадов был без сознания, с обострившимся носом, с черным ртом. Когда с него сняли рубашку – Елизавета Киевна увидела на белой, широкой груди его татуировку – обезьяны, сцепившиеся хвостами. Во время операции он стиснул зубы и лицо его стало сводить судорогой.

После мучения, перевязанный, он открыл глаза. Елизавета Киевна нагнулась к нему.

– Шестьдесят один, – сказал он.

Жадов бредил до утра и потом крепко заснул. Елизавета Киевна просила, чтобы ей самой разрешили отвезти его в большой лазарет при штабе дивизии.

XXIII

Даша вошла в столовую и остановилась у стола. Николай Иванович и приехавший третьего дня по срочной телеграмме из Самары Дмитрий Степанович замолчали. Придерживая у подбородка белую шаль, Даша взглянула на красное с растрепанными волосами лицо отца, сидевшего поджав ногу, на перекосившееся, с воспаленными веками Николая Ивановича, опустилась на стул и сквозь полившиеся слезы глядела, как за окном в синеватых сумерках стоял ясный и узкий серп месяца.

Дмитрий Степанович курил, сыпля пеплом на мохнатый жилет. Николай Иванович старательно сгребал пальцем кучечку крошек на скатерти. Сидели долго, молча. Наконец, Николай Иванович проговорил сдавленным голосом:

– Почему все оставили ее? Нельзя же так.

– Сиди, я пойду, – ответила Даша, поднимаясь. Она уже не чувствовала ни боли во всем теле, ни усталости. – Папочка, поди, вспрысни еще, – сказала она, закрывая рот шалью. Дмитрий Степанович сильно сопнул носом и че-

рез плечо бросил догоревшую папиросу. Весь пол вокруг него был забросан окурками.

– Папочка, вспрысни еще, я тебя умоляю. – Тогда Николай Иванович раздраженно и тем же, точно театральным, голосом воскликнул:

– Не может она жить одной камфорой. Она умирает, Даша.

Даша стремительно обернулась к нему, слезы сразу высохли.

– Ты не смеешь так говорить! – крикнула она. – Не смеешь! Она не умрет.

Желтое лицо Николая Ивановича передернулось. Он обернулся к окну и тоже увидел пронзительный, тонкий серп месяца в синеватой пустыне.

– Какая тоска, – сказал он, – если она уйдет – я не могу...

Даша на цыпочках прошла по гостиной, еще раз взглянула на синеватые окна, – за ними был ледяной, вечный холод, и проскользнула в Катину спальню, едва освещенную ночником.

В глубине комнаты, на деревянной, желтой постели все так же неподвижно на подушках лежало маленькое личико с закинутыми наверх сухими и потемневшими волосами, и пониже – узенькая ладонь. Даша опустилась на колени перед кроватью. Катя едва слышно дышала. Спустя долгое время она проговорила тихим, жалобным голосом:

– Который час?

– Восемь, Катюша.

Подышав, Катя опять спросила так же, точно жалуясь:

– Который час?

Она повторяла это весь день сегодня. Ее полупрозрачное лицо было спокойно, глаза закрыты... Вот уже долгое, долгое время она идет по мягкому ковру длинного, низкого коридора. Он весь желтый – стены и потолок. Справа, высоко из пыльных окон, льется жестковатый, мучительный свет. Налево – множество плоских дверей. За ними, – если распахнуть их, – край земли, бездна. Там, во тьме, глубоко внизу, красноватым серпом висит месяц. Катя медленно, так медленно, как во сне, идет мимо этих дверей и пыльных окон. Впереди – длинный, плоский коридор весь в желтоватом свету. Душно, и веет смертной тоской от каждой дверцы. Когда же, Господи, конец? Там, в конце, она знает, – влажный, зеленоватый лужок с повисшими до земли мокрыми ветвями. И, кажется, слышно даже, как поет птица... Остановиться бы, прислушаться... Нет, не слышно... А за дверями во тьме начинает гудеть, как пружина в стенных часах, медленный, низкий звук... О, какая тоска!.. Очнуться бы... Сказать что-нибудь простое, человеческое... И Катя с усилием, точно жалуясь, повторяла:

– Который час?

– Катюша, ты о чем все спрашиваешь?

«Хорошо. Даша здесь...» И снова мягкой тошнотою простирался под ногами коридорный ковер, лился жесткий, душный свет из пыльных окон, издалека начинала гудеть часовая пружина...

«Не слышать бы... Не видеть, не чувствовать... Лечь, уткнуться... Скорее бы конец... Но мешает Даша, не дает забыться... Держит за руку, целует, бормочет, бормочет... И словно от нее в пустое, легкое тело льется что-то живое... Как это неприятно... Как бы ей объяснить, что умирать легко, легче, чем чувствовать в себе это живое... Отпустила бы...»

– Катюша, люблю, люблю тебя, ты слышишь?..

«Не отпускает, жалеет... Значит – нельзя... Девочка останется одна, осиротеет...»

– Даша!

– Что, что?..

– Я поправлюсь, не умру.

Вот, должно быть, подходит отец, пахнет табаком. Наклоняется, отгибает одеяло, и в грудь острой, сладкой болью входит игла. По крови разливается блаженная влага успокоения. Колеблются, раздвигаются стены желтого коридора, веет прохладой. Даша гладит руку лежащую поверх одеяла, прижимается к ней губами, дышит теплом. Еще минуточка, и тело растворится в сладкой темноте сна. Но снова жесткие, желтенькие черточки выплывают сбоку из-за глаз, и – чирк, чирк – самодовольно, сами по себе, существуют, множатся, строят окаянный, душный коридор...

– Даша, Даша, я не хочу туда.

Даша обхватывает голову, ложится рядом на подушку, прижимается, живая и сильная, и точно льется из нее грубая, горячая сила, – живи.

А коридор уж протянулся, нужно подняться и брести со стопудовой тяжестью на каждой ноге. Лечь нельзя. Даша обхватит, поднимет, скажет, – иди.

Так трое суток боролась Катя со смертью. Непрестанно чувствовала она в себе Дашину страстную волю, и если бы не Даша, – давно бы обессилела, успокоилась.

Весь вечер и ночь третьих суток Даша не отходила от постели. Сестры стали точно одним существом, с одной болью и с одной волей. И вот, под утро Катя покрылась, наконец, испариной и легла на бок. Дыхание ее почти не было слышно. Встревоженная Даша позвала отца. Они решили ждать. В седьмом часу утра Катя вздохнула и повернулась на другой бок. Кризис миновал, началось возвращение к жизни.

Здесь же у кровати в большом кресле заснула и Даша, в первый раз за эти дни. Николай Иванович, узнав, что Катя спасена, обхватил мохнатый жилет Дмитрия Степановича и зарыдал.

Новый день настал радостный, – было тепло и солнечно, все казались друг другу добрыми. Из цветочного магазина принесли дерево белой сирени и поставили в гостиной. Даша чувствовала, как своими руками вырвала Катю

у смерти, и сама была так близко к этому желтому, колючему ходу в темноту, что, казалось, слышала, как в конце его, в черной бездне, гудит ледяной, бессмертный звук. На земле ничего не было дороже жизни, – *она это знала* теперь твердо.

В конце мая Николай Иванович перевез Екатерину Дмитриевну под Москву, на дачу, в бревенчатый домик с двумя террасами, – одна выходила в белый, с вечно двигающейся зеленой тенью, березовый лес, где бродили пегие телята, другая – на покатое к западу, волнистое поле.

Каждый вечер Даша и Николай Иванович вылезали из дачного поезда на полустанке и шли по болотистому лугу. Над головой толклись комарики двумя клубочками живой пыли. Потом приходилось идти в гору. Здесь обычно Николай Иванович останавливался, будто бы для того, чтобы взглянуть на закат, и говорил, отдуваясь:

– Ах, как хорошо, черт его возьми!

За потемневшей, волнистой равниной, покрытой то полосами хлебов, то кудрями ореховых и березовых перелесков, лежали тучи, те, что бывают на закате, – лиловые, неподвижные и бесплодные. В их длинных щелях тусклым светом догорало небесное зарево, и неподалеку внизу, в заводи ручья, отсвечивала оранжевая щель. Ухали, охали лягушки. На плоском поле темнели ометы и крыши деревни. Зажелтел и разгорелся язычком костер на берегу плоского пруда. Там когда-то за валом и высоким частоколом сидел Тушинский вор[1]. Протяжно свистя, из-за леса появлялся поезд, увозил солдат на запад, в тусклый закат.

Подходя по опушке леса к даче, Даша и Николай Иванович видели сквозь стекла террасы накрытый стол, лампу с матовым шаром и Катину двигающуюся тень. Навстречу, с вежливым лаем, прибегала дачная собачка – Шарик и, добежав и вертя хвостом, на всякий случай отходила в полынь и лаяла в сторону.

Екатерина Дмитриевна барабанила пальцами в стекла террасы, – в сумерки ей было еще запрещено выходить. Николай Иванович, затворяя за собой калитку, говорил: «Премилая дачка, я тебе скажу». Садились ужинать. Екатерина Дмитриевна рассказывала дачные новости: из Тушина прибегала бешеная собака и покусала у Кишкиных двух цыплят[2]; сегодня переехали на Симовскую дачу Жилкины[3], и у них сейчас же украли самовар; Матрена, кухарка, опять выпорола сына, – мальчишка отбился от рук, лазает по чужим садам, рвет цветы.

Даша молча ела, – после города она уставала страшно. Николай Иванович вытаскивал из портфеля пачку газет и принимался за чтение, поковыривая зубочисткой зуб; когда он доходил до неприятных сообщений, то начинал цыкать зубом, покуда Катя не говорила, – «Николай, пожалуйста, не цыкай». Даша выходила на крыльцо, садилась, подперев подбородок, и глядела на потемневшую равнину с огоньками костров кое-где, на высыпающие мелкие, летние звезды. Из садика пахло политыми клумбами.

На террасе Николай Иванович, шурша газетами, говорил:

– Война уже по одному тому не может долго длиться, что страны Согласия и мы – союзники[4] – разоримся.

Катя спрашивала:

– Хочешь простокваши?

– Если только холодная. Ужасно, ужасно! Мы потеряли Львов и Люблин[5]. Черт знает что! Как можно воевать, когда предатели вонзают нож в спину. Невероятно!

– Николай, не цыкай.

– Оставь меня в покое! Если мы потеряем Варшаву – будет такой позор, что нельзя жить. Право, иногда приходит в голову, – не лучше ли заключить хоть перемирие какое-нибудь да и повернуть штыки на Петербург.

Издалека доносился свист поезда, было слышно, как он стучал по мосту через тот ручей, где давеча отражался закат, – это везли, должно быть, раненых в Москву. Николай Иванович опять шуршал газетой:

– Эшелоны отправляются на фронт без ружей. В окопах сидят с палками. Винтовка – одна на каждого пятого человека... – Он останавливался, задохнувшись. – Идут в атаку с теми же палками, в расчете, когда убьют соседа, – взять винтовку. Ах, Господи!..

Даша сходила с крыльца и облокачивалась у калитки. Свет с террасы падал на рваные лопухи у забора, на дорогу с подсохшей травкой. Мимо, опустив голову, загребая босыми ногами пыль, нехотя – с горя, шел Матренин сын, Петька. Ему ничего более не оставалось, как вернуться на кухню, дать себя выпороть и лечь спать.

Даша выходила за калитку и медленно шла до речки Химки. Там в темноте, стоя на обрыве, она прислушивалась, – где-то, слышный только ночью, журчал ключ; зашуршала, покатилась и плеснула водою земля с сухого обрыва. По сторонам неподвижно стояли черные очертания деревьев, вдруг сонно начинали шуметь листья, и опять было тихо, Даша поджимала губы и шла обратно. Под ногами, задевая за юбку, горько, сухою землей, несбывающейся прелестью пахла полынь.

В первых числах июня, в праздник[6], Даша встала рано и, чтобы не будить Катю, пошла мыться на кухню. На столе лежала куча моркови, помидоров, цветной капусты и поверх какая-то зеленоватая открытка, должно быть, зеленщик захватил ее на почте вместе с газетами. Петька, Матренин сын, сидел на пороге открытой в сад двери и, сопя, привязывал к палочке куриную ногу. Сама Матрена вешала на акации кухонные полотенца.

Даша налила в глиняный таз воды, пахнущей рекою, спустила с плеч рубашку, и опять поглядела, – что за странная открытка? Взяла ее за кончик

мокрыми пальцами, там было написано: «Милая Даша, я беспокоюсь, почему ни на одно из моих писем не было ответа, неужели они пропали...».

Даша быстро села на стул, – так потемнело в глазах, ослабли ноги... «Рана моя совсем зажила. Теперь я каждый день занимаюсь гимнастикой, вообще держу себя в руках. А также изучаю английский и французский языки. Недавно к нам привезли новую партию пленных, и, представь, кого я встретил, – Акундина, он – прапорщик, попал в плен, и весел, очень доволен. Просидел в лагере неделю и его куда-то увезли. Очень странно. Обнимаю тебя, Даша, если ты меня еще помнишь. И. Телегин».

Даша торопливо подняла рубашку на плечи и, низко нагнувшись, прочла письмо во второй раз: «Если ты меня еще помнишь!..» Она вскочила и побежала к Кате в спальню, распахнула ситцевую занавеску на окне:

– Катя, читай вслух.

Села на постель к испуганной Кате и, не дожидаясь, прочла сама, и заплакала, нагнувшись до коленок, но сейчас же вскочила, всплеснула руками:

– Катя, Катя, как это ужасно!..

– Но ведь, слава богу, он жив, Данюша.

– Я люблю его!.. Господи, что мне делать?.. Я спрашиваю тебя, – когда кончится война?

Даша схватила открытку и побежала к Николаю Ивановичу. Прочтя письмо, в отчаянии она требовала от него самого точного ответа, – когда кончится война?

– Матушка ты моя, да ведь этого никто теперь не знает.

– Что же ты тогда делаешь в этом дурацком Городском союзе. Только болтаете чепуху с утра до ночи. Сейчас еду в Москву, к командующему войсками... Я потребую от него...

– Что ты от него потребуешь?.. Ах, Даша, Даша, ждать надо, вот что.

Несколько дней у Даши было неистовое настроение, и вдруг она затихла, точно потускнела; по вечерам рано уходила в свою комнату, писала письма Ивану Ильичу, упаковывала, зашивала в холст посылки. Когда Екатерина Дмитриевна заговаривала с ней о Телегине, Даша обычно молчала; вечерние прогулки она бросила, сидела больше с Катей, шила, читала, – казалось – как можно глубже нужно было загнать в себя все чувства, покрыться будничной, неуязвимой кожей.

Екатерина Дмитриевна, хотя и совсем оправилась за лето, но так же, как и Даша, точно погасла. Часто сестры говорили о том, что на них, да и на каждого теперь человека, легла, как жернов, тяжесть. Тяжело просыпаться, тяжело ходить, тяжело думать, встречаться с людьми, – не дождешься – когда можно лечь в постель, и ложишься замученная, одна радость – заснуть, забыться. Вот, Жилкины вчера позвали гостей на новое варенье, а за чаем приносят

газету, – в списках убитых – брат Жилкина. Погиб на поле славы. Хозяева ушли в дом, гости посидели на балконе в сумерках и разошлись молча, как с похорон. И так – повсюду. Жить стало дорого. Впереди – неясно, уныло. А русские армии все отступают, тают, как воск. Варшаву отдали. Брест-Литовск взорван и пал[7]. Всюду шпионов ловят. На реке Химке, в овраге, завелись разбойники. Целую неделю никто не ходил в лес – боялись. Потом стражники выбили их из оврага, двоих взяли, третий ушел, перекинулся, говорят, в Звенигородский уезд – очищать усадьбы.

Утром однажды на площадку близ смоковниковской дачи примчался, стоя на пролетке, извозчик. Было видно, как со всех сторон побежали к нему бабы, кухарки, ребятишки. Что-то случилось. Кое-кто из дачников вышел за калитку. Вытирая руки, протрусила через сад Матрена. Извозчик, красный, горячий, с жесткой бородкой, говорил, стоя в пролетке:

– ...Вытащили его из конторы, раскачали – да об мостовую, да в Москва-реку, а на заводе еще пять душ скрывается – немцев... Троих нашли, – городовые отбили, а то быть им тем же порядком в речке... А по всей по Лубянской площади шелка, бархата так и летают. Грабеж по всему городу... Народу – тучи...

Он со всей силой хлестнул вожжами лихацкого вороного жеребца, присевшего в дугой выгнутых оглоблях, – шалишь! – хлестнул еще, и захрапевший, в мыле, жеребец скачками понес по улице валкую пролетку, завернул к шинку.

Екатерина Дмитриевна страшно обеспокоилась, – Даша и Николай Иванович были в Москве. Оттуда в сероватую, раскаленную солнцем мглу неба поднимался черный столб дыма и стлался тучей. Пожар был хорошо виден с деревенской площади, где стояло кучками простонародье. Когда к ним подходили дачники, – разговоры замолкали: на господ поглядывали не то с насмешкой, не то со странным каким-то выжиданием. Было жарко, словно перед грозой. Появился какой-то плотный мужик, без шапки, в рваной, розовой рубахе и, подойдя к кирпичной часовенке, закричал:

– В Москве немцев режут![8]

И – только крикнул – заголосила баба: говорили, что беременная, – испугалась. Народ сдвинулся к часовне, побежала туда и Екатерина Дмитриевна. Толпа волновалась, гудела, ходили слухи:

– Варшавский вокзал горит, немцы подожгли.

– Немцев две тысячи зарезали.

– Не две, а шесть с половиной, всех в реку покидали.

– Начали-то с немцев, потом пошли подряд. Кузнецкий Мост, говорят, разнесли начисто.

– Так им и надо. Нажрались на нашем на поте, разъели брюхо, сволочи!

– Разве народ остановишь, народ остановить нельзя.

– А я тебе говорю, – на Неглинном войска стоят. Три раза в народ стреляли.

– Конечно, безобразия, – грабеж, – допускать нельзя.

– Городоначальнику голову разломали.

– Что ты?

– В Петровском парке, ей-богу не вру, – сестра сейчас оттуда прибежала, – в парке, говорят, на одной даче нашли беспроволочный телеграф, и при нем двое шпионов с привязанными бородами, – убили, конечно, голубчиков.

– По всем бы дачам пойти, вот это дело.

Затем было видно, как под гору, к плотине, где проходила московская дорога, побежали девки с пустыми мешками. Им стали кричать вдогонку. Они, оборачиваясь, махали мешками, смеялись. Екатерина Дмитриевна спросила у благообразного, древнего мужика, стоявшего около нее с высоким посохом.

– Куда это девки побежали?

– Грабить, милая барыня.

Наконец, в шестом часу на извозчике из города приехали Даша и Николай Иванович. Оба были возбуждены и, перебивая друг друга, рассказывали, что по всей Москве простонародье собирается в толпы и громят квартиры немцев и немецкие магазины. Несколько домов подожжено. Разграблен магазин готового платья Манделя. Мужики и бабы, напяливая на себя грабленное, пели: «Боже, царя храни». Разбит весь склад беккеровских роялей на Кузнецком, их выкидывали из окон второго этажа и валили в костер. Лубянская площадь засыпана медикаментами и битым стеклом. Говорят – были убийства. После полудня пошли патрули и начали разгонять народ. Теперь – все спокойно.

– Конечно, это варварство, – говорил Николай Иванович, от возбуждения мигая глазами, – но мне нравится этот темперамент, силища в народе. Сегодня разнесли немецкие лавки, а завтра баррикады, черт возьми, начнут строить. Правительство нарочно допустило этот погром. Да, да, я тебя уверяю, – чтобы выпустить излишек озлобления. Но народ через такие штуки получит вкус кое к чему посерьезнее... Хи, хи.

Этой же ночью у Жилкиных был очищен весь погреб, у Свечниковых сорвали с чердака белье. Несколько дачников видели своими глазами, как в темноте между деревьями пробирались какие-то бабы с узлами. В шинке до утра горел свет. И спустя еще неделю на деревне перешептывались, поглядывали непонятно на гуляющих дачников.

В начале августа Смоковниковы переехали в город, и Екатерина Дмитриевна опять стала работать в лазарете. Москва в эту осень была полна беженцами из Польши. На Кузнецком, Петровке, Тверской нельзя было про-

толкаться. Магазины, кофейни, театры – полны, и повсюду слышно новорожденное словечко – «извиняюсь».

Вся эта суета, роскошь, переполненные театры и гостиницы, шумные улицы, залитые электрическим светом, были прикрыты от всех опасностей живой стеной четырнадцатимиллионной армии, сочащейся кровью.

А военные дела продолжали быть очень неутешительными. Повсюду, на фронте и в тылу, говорили о злой воле Распутина, об измене, о невозможности долее бороться, если Никола Угодник не выручит чудом.

И вот, во время уныния и развала, генерал Рузский остановил в чистом поле наступление германских армий[9]. Россия на этот раз была спасена.

XXIV

За городом на скате холма, посреди заброшенного виноградника, стоял дом из желтого камня с безобразной квадратной башней; место это называлось – «Шато Каберне». Дом был построен лет тридцать тому назад Жадовым-отцом, орловским, разорившимся помещиком. Собрав остатки когда-то большого состояния, он переехал в Анапу, купил виноградник и обстроился. От красавицы казачки, работавшей на винограднике, у него родился сын – Аркадий. Года через полтора мать убежала с турками на фелуке, говорили, что – в Трапезунд[1]. Мальчик рос на дворе, потом, когда отец заметил в нем большое физическое сходство с собой, – был взят в дом. Сначала Аркадий боялся отца, потом просто его не уважал. Аркадий любил бывать с рыбаками, с охотниками, с разным бродячим, побережным людом, бесстрашно дрался, хорошо стрелял, плавал, управлял парусом. В пятнадцать лет, после гимназических экзаменов, летом, на морском берегу он увидел купающуюся девушку с виноградника, – она все время ныряла, перевертывалась под водой, показывала сильную, белую спину. Когда она вышла из моря и села, выжимая темные волосы, краснощекая и полная, – Аркадий почувствовал невыносимую боль в груди, отполз от прибрежного кустарника в горячую выемку песчаной дюны и заплакал от отчаяния и словно предсмертной тоски. Он проследил, где живет девушка, – ее звали Алена. Он украл у отца серебряный кавказский пояс, подарил ей, и она весело и просто сошлась с Аркадием. Для него настало мрачное время постоянных мыслей об овладевшей им женщине, об ее женской привлекательности, – в воображении она принимала чудовищные размеры. Иногда ему хотелось избить Алену до потери сознания, и самому уйти – свободным и сухим. Но каждый вечер он встречался с ней в песчаной выемке между дюн и мучил ее ревнивыми вопросами и исступленной жадностью. Осенью Алена, так же как и мать Аркадия когда-то, – убежала на фелуке. Он почувствовал страшное облегчение, точно сняли с него душную, сырую тяжесть, но все же часто во сне плакал от тоски, ненавидел себя за это и решил вырвать с корнем в себе всякую нежность.

На следующую весну Аркадий ушел из гимназии с двумя товарищами абхазцами и целый год шлялся в горах. Когда он вернулся домой, отец не обрадовался и не рассердился, а только сказал между прочим: «Э, братец, крапивное семя всегда себя скажет».

Дела отца шли плохо, капиталец он прожил, большая часть виноградного поля была продана. Аркадий вновь поступил в гимназию и, когда кончал ее, отец умер в припадке белой горячки. В это время настала японская война. Аркадий Жадов пошел добровольцем, был ранен, произведен в прапорщики и после окончания войны года три шлялся по Сибири и Китаю. В делах ему не везло. Он испробовал комиссионерство, – служил в чайных и меховых фирмах, был страховым агентом, золотоискателем, конторщиком, возил одно время контрабанду, но всегда ловко обдуманное и решительно начатое дело разваливалось, главным образом потому, что люди, с которыми он имел дело, испытывали к нему чувство недоверия, страха и отвращения. Только женщинам он нравился чрезвычайно, быстро овладевал их воображением, и много раз они старались выведать, неизвестную ему самому, какую-то тайну его жизни. Это дало ему мысль татуироваться, – японец в Мукдене трудился над его кожей недели две и с изумительным искусством изобразил на груди в виде ожерелья семь обезьянок красной и черной тушью.

Жадов считал себя человеком необыкновенным; женщины, с которыми он сходился, были уверены, что он преступник, хотя он никого не ограбил и не убил. Но все же он чувствовал в себе постоянное беспокойство, точно ему нужно было что-то сделать и он никак не мог найти, – что именно. Только в вине мерещился ему какой-то дикий разгул, где вот-вот развернется бьющее густым хмелем в голову жадное его беспокойство. Он любил пить один, затворившись, – бродил по комнате, разговаривал сам с собой или, бросившись на диван, грезил. Его любимым видением было: осень, по бурным полям, без дорог, скачут на телегах мужики, хлещут лошадей, впереди – очертания города, огромной тучей над ним висит дым пожарища, и ветер, мотая бурьяном, несет навстречу гул набата. – Бунт.

Но все это были грезы, чепуха, – молодая кровь. Жадов скопил кое-какие деньжонки и года за два до европейской войны вернулся домой, в Анапу, где и зажил пока без определенных занятий.

У него появились приятели – интеллигентный рабочий из ремонтных мастерских – Филька[2] и проживающий частными уроками московский студент – Гвоздев. В городе говорили. что они состоят членами какой-то тайной организации. Приятели собирались в «Шато Каберне», где в подвале еще стояло несколько отцовских бочек с красным вином. Иногда в осенние ночи наверху башни они зажигали костер. На рассвете обычно шли купаться, – даже зимою. Полиция заинтересовалась, наконец, сборищами в «Шато Каберне», и Жадов был вызван к уездному начальнику, но в это время началась война.

Ранней весною шестнадцатого года анапские жители снова увидели свет в окошках заброшенного Жадовского дома. Рассказывали, что Аркадий Жадов вернулся с войны без руки, никуда, кроме морского берега, не ходит, и живет с ним какая-то красавица. Часто по вечерам видели, как к «Шато Каберне» пробирались дорогой через холмы старые приятели Жадова, – Гвоздев, тоже недавно вернувшийся калекой с войны, Филька и третий, новоприезжий, Александр Жиров, – белобилетчик. Анапские жители были уверены, что в «Шато Каберне» происходят оргии.

Однажды в сумерки северо-восточный ветер гнул дугою голые тополя, потрясал рамы в жадовском дому, грохотал крышей так, что казалось – будто ходят по железу, дул во все щели, под двери и в трубы; сквозь пыльное окно были видны бурые плантажи, на которых мотались голые лозы; вдалеке над изрытым, косматым морем торопливо летели рваные тучи; было очень скучно и холодно.

Аркадий Жадов сидел в простенке на коротком и грязном диванчике и пил красное вино. Пустой рукав его когда-то щегольского, теперь измятого от лежания и прожженного френча был засунут за кушак. Лицо – припухшее, но розовато-чистое и выбритое гладко, с приглаженным и только на маковке взъерошенным пробором.

Завалившись на спинку дивана, прищурив глаз от дыма папиросы, он глядел молча на Елизавету Киевну. Она сидела напротив него и тоже курила, смирно опустив лицо. Он приучил ее никогда самой не вылезать с разговором, молчать же он мог целыми днями. На Елизавете Киевне был шерстяной коричневый халат, сильно открытый на груди, на плечах – старая турецкая шаль; огромные волосы ее были обкручены вокруг головы двумя косами и на висках растрепаны.

– Черт знает на кого ты похожа, – проговорил, наконец, Жадов, жуя папиросу, – чучело гороховое.

Елизавета Киевна, повернув к нему голову, усмехнулась, потом взяла новую папироску и, закурив, осветила спичкой лицо. Жадов увидел, что по щеке у нее ползет слеза. Он выплюнул окурок:

– Поди, принеси еще каберне.

Елизавета Киевна медленно поднялась, взяла с подоконника свечу и пошла по пустым и холодным комнатам к винтовой лестнице. Сходя по гнущимся ступеням, она зажгла свечу и спустилась в подвал, где тяжело запахло плесенью и вином. По кирпичным сводам бегали большие пауки, которых Елизавета Киевна боялась до холода в спине. Присев над бочкой, она глядела на красную, как кровь, струю вина, бегущую в глиняный кувшин, и думала, что Аркадий когда-нибудь убьет ее и закопает здесь в подвале, за бочками. При Жадове она не смела думать об этом, но когда оставалась одна, – с жутким наслаждением представляла себе, как он выстрелит, она упадет и умрет

молча, улыбаясь; он закопает тело, и вот так же, сидя перед бочкой, будет глядеть на густую струйку вина и вдруг зарыдает от смертельной тоски, первый раз в жизни. Этими мыслями она искупала все обиды, – в конце-то концов, не он, а она возьмет верх.

Шесть месяцев тому назад, в тыловом городке, в лазарете, в одну из дождливых ночей, когда у Жадова ныла несуществующая, отрезанная рука, он рассказал Елизавете Киевне о тех удивительных мыслях, которые сложились у него за время войны: он понял, что как нет греха, взяв палку, разворотить муравьиную кучу, так же можно и нужно уничтожать человеческие муравейники[3]. Человек рождается на короткий миг жизни, чтоб свободно раскрыть в ней всю силу своих страстей. Но инстинкт толпы, – человечества, стремится к противоположному – обезопасить себя от личности, оковать ее цепями обязанностей, покрыть всю жизнь ровной поверхностью болота, где все лягушки равны. Цель человечества – равенство. В жизни два закона – закон человека и закон человечества, свобода и равенство. Соединять эти понятия – нелепость, они противоположны и враждебны. В происходящей сейчас войне люди легко и безропотно превращаются в стадо и, возбужденные слепой, глухой, неразумной ненавистью, уничтожают друг друга только за то, что другой – иной, не равный. В этой кровавой бойне они дойдут до того, что возненавидят всякое неравенство, саму идею свободы.

Вот к какому чудовищному выводу пришла современная культура, – государства пожирают сами себя во имя какого-то идеального, всеобщего рабства – равенства. Вывод только один – взорвать до основания мировую культуру и на освобожденной, опустевшей земле жить во имя свободы, во имя самого себя.

Такие мысли казались Елизавете Киевне откровением. Наконец-то она встретила человека, оглушившего ее воображение. По целым часам с пылающими щеками, не сводя глаз с злого, осунувшегося лица Жадова, она слушала его бред.

Когда кончился срок отпуска Елизаветы Киевны и ей нужно было возвращаться в летучку, Жадов сказал:

– Будет глупо, если вы меня бросите. Нам нужно повенчаться.

Елизавета Киевна кивнула головой, – хорошо. В лазарете их и обвенчали. В декабре Жадов эвакуировался в Москву, где ему сделали вторую операцию, а ранней весной они с Елизаветой Киевной приехали в Анапу и поселились в «Шато Каберне». Денег у них было мало, прислугу они не держали, при доме жил только старичок-дворник, ходивший в город за провизией.

Здесь, в пустом, полуразрушенном и холодном доме, настало долгое и безнадежное безделье, разговоры все были переговорены, впереди – скука и нищета. За Жадовыми словно захлопнулась глухая дверь.

Елизавета Киевна пыталась заполнить собой пустоту этих мучительно-долгих дней, но ей удавалось это плохо, – в желании нравиться она была смешна, неряшлива и неумела. Жадов дразнил ее этим, и она с отчаянием думала, что, несмотря на широту мыслей, ужасно чувствительна как женщина.

В последнее время он стал жесток и молчал целыми днями. Тогда она нашла себе утешение – мечтать, как он убьет ее и от безнадежного одиночества полюбит. И все же она понимала, что ни на какую другую не отдаст эту мучительную жизнь, полную волнений, боли, преклонения перед мужем и редких минут сумасшедшего восторга.

Нацедив вино, Елизавета Киевна подняла тяжелый кувшин и медленно пошла наверх. В комнате, все еще не освещенной, сидели на подоконниках гости – Александр Иванович Жиров и Филька. Гвоздев, высокий человек со слабой спиной, ходил от двери до окна и сердито говорил Жадову:

– Французская революция освободила личность. В отвратительном чаду романтического бреда началась буржуазная культура. В конце века небольшое количество личностей, десятка два миллиардеров, действительно, достигли полного освобождения, для этого им пришлось обратить в рабство весь мир. Идея личности, вашего царя царей, – лопнула к черту, как мыльный пузырь. Гений никуда не вел, его факел освещал подземелья каторжной тюрьмы, где мы ковали себе цепи. Мы уже вышибли этот проклятый факел... Мы должны разрушить самый инстинкт выделения личности, вот этого – «я». Пусть человечество обратится в стадо, хорошо. Мы станем его вожаками. Мы уничтожим всякого, кто на вершок выше стада. Да, да, да, – он тыкал костлявой рукой в сторону Жадова, – тут вся идея в вершке, – мы его срежем. На страшном закате века мы уже тронулись в путь, нас охватила ночь. Нам устроили бойню. Нас натравили друг на друга, еще раз, в последний раз попытались дьявольски обмануть... Но я говорю, – нас много, нас миллионы, мы вынесем эту бойню...

Перегнувшись, он вдруг закашлялся сухим, нутряным лаем, опустился на стул и замотал волосатой головой, его легкие были сожжены ядовитыми газами. Филька, сидевший на подоконнике, проговорил тонким, деликатным голосом:

– У нас на заводе только что голые дураки не понимают, за что народ кровь проливает, да и мы со сверхурочными часами животы надорвали. Авантюра мирового капитализма! Народ согнали на бойню, а главные-то коноводы – германский император, король английский, президент французский, Франц Иосиф, да и наш дурак давно друг с дружкой сговорились.

– Чепуха, – тяжело дыша, сказал Гвоздев, – не мели чепуху. А что цель у них у всех одна, это верно.

– Что же я и говорю, – сговор есть.

Гвоздев поднялся, налил вина в стакан, выпил его, двигая кадыком, и опять принялся вышагивать косолапыми ступнями:

– Вы вернулись чужим человеком, Жадов, – сказал он, – мы перестали друг друга понимать. Выслушайте меня спокойно. Ваш анализ верен: первое, – капитализму нужно очистить рынок от залежей товаров, второе, – капитализму нужно раздавить одним ударом рабочую демократию, которая слишком стала страшна. Первой цели они добились, и успех даже превысил ожидания: потребимость войны в сто раз превысила мирную норму. В эту печку можно валить товар вагонами. Но во втором пункте они срежутся, червонный туз будет бит, победит не капитал, а народ, масса, муравьи, социализм. Миллиард людей находится в состоянии военного действия и военной социализации промышленности. Пятьдесят миллионов мужчин, в возрасте от 17 до 45 лет, получили оружие. Разъединение рабочих масс Европы искусственное, – рабочие все научились делать оружие, и по данному знаку протянут друг другу руки через линию траншей. Война кончится революцией, мировым пожаром, штыки обратятся внутрь стран... И вот здесь вы делаете вывод как раз обратный, неверный, нелепый... Причем тут свобода личности? – анархизм, бред! Пафос равенства – вот вывод из войны... Вы понимаете, что это значит: – перестройка всего мира, государства, морали. Земной шар придется вывернуть наизнанку, чтобы хоть немного приблизиться к той истине, которая кровавым пламенем загорится в массах народа. – Справедливость! На трон императора взойдет нищий в гноище и крикнет: «Мир всем!» И ему поклонятся, поцелуют язвы. Из подвала, из какой-нибудь водосточной трубы, вытащат существо, униженное последним унижением, едва похожее-то на человека, и по нему будет сделано всеобщее равнение. Куда же вы сунетесь тогда с вашей личностью? – вам просто срежут голову, чтобы она не торчала слишком высоко.

Завалившись на диванчике, вытянув длинные ноги, Жадов перекатывал из угла в угол рта папироску; огонек ее освещал его насмешливые губы и кончик сухого носа. Елизавета Киевна, глядя на него из темного угла, думала: «Пьяного, усталого раздену, уложу я, всю душу твою пойму только я одна, и хоть ненавидишь, а предана тебе до смерти». У нее даже сердце забилось.

– Предположим, – проговорил Жадов холодным как лед, негромким голосом, – предположим, что Михрютка-кривоногий с разбитой на войне рожей завопит, наконец, о всеобщем равенстве, переколет офицеров, разгонит парламенты и советы министров, оторвет головы всем носителям носовых платков, и так далее, до конца, покуда на земле не станет ровно. Согласен, что будет так. Ну, а вот вы-то, вожаки, что вы будете делать в это время? – равняться по Михрютке-сифилитику из водосточной трубы? Нуте-с?

Гвоздев ответил поспешно:

– Чтобы перейти от войны к военному бунту, от бунта к политической революции и далее – к революции социальной, – для этого должен быть выдвинут четвертый класс – вооруженный пролетариат; он должен взять на себя всю ответственность за революцию, взять в свои руки диктатуру.

– Значит, уж – не равнение по Михрютке?

– Во время революции – не равенство, но диктатура. Революционные идеи насаждаются огнем и кровью, – пора бы вам знать.

– А когда революция кончится, как же вы с революционным-то пролетариатом поступите? – поведете равнять его по Михрютке или уж так, как-нибудь, навсегда и оставите заслуженную, революционную аристократию?

Гвоздев остановился, поскреб бороду:

– Пролетариат вернется к станкам... Разумеется, придется и здесь столкнуться с человеческой природой, но – что же поделаешь... Вершки должны быть срезаны.

– В один прекрасный день, признав революцию законченной, революционный пролетариат во главе с товарищами диктаторами постановит пожрать сам себя без остатка, – сказал Жадов, – так бы вы меня и предупредили. Ну-с, а я думаю вот что... Существует прелюбопытнейший закон природы, – чем отвлеченнее и выше какая-нибудь идея, тем кровавее ее воплощение в жизнь, и воплощается она математически кверху ногами – по еврейской каббалистике наш мир есть опрокинутая тень Бога[4] – закон-то очень старинный. Так вот, идеи – любовь, свобода – кажется, ясно, к чему привели: едва коснись такой идеей человечества, – навстречу – фонтанище крови. Теперь время пришло для третьей идейки – равенства. Здесь уж вы прямо, без обиняков, утверждаете, что нужна кровь. Согласен, – в этом пункте подаю руку – товарищи. И в то, что идея приспела – верую, и в кровь верую, и в диктатуру вашу верую, но в том, чем все это кончится, – лучше сейчас помолчать. Михрютку кривоногого, сукиного сына, сифилитика, ненавижу и презираю откровеннейшим образом; вместе с вами согласен ровнять его под гребенку и бить его по башке, когда он зарычит. Согласен устраивать революцию хоть завтра, с утра. Но уж только, дорогой мой, не во имя моего равенства с Михрюткой, а во имя Михрюткиного равенства... Хозяином буду хорошим, да, да, заранее обещаю.

Жадов, подобрав ноги, поднялся, залпом выпил стакан вина и начал ходить по комнате легкой, чуть-чуть подпрыгивающей походкой. Елизавета Киевна с бьющимся сердцем следила за ним из темного угла: «Вот он – царь царей, великий человек, мой муж».

Ветер, усилившись к ночи, потрясал ставней, дул во все щели, выл дикими голосами на чердаке. Приятели молчали. Филька слез с подоконника, налил вина и, вернувшись со стаканом на место, сказал вкрадчиво:

– Таких бы нам, как вы, товарищ Жадов, побольше надо. Бог ее знает, когда революция начнется, когда кончится, а бойцов у нас нет. Народ очень серый. Одно только – злоба, а как до дела, – за спину друг дружки хоронятся. Конечно, лихая беда начать, да вот начинать-то некому.

– А, черт, начинать!.. С тремя копейками начинать, – проговорил Жадов, снова бросаясь на диван, и вдруг другим совсем голосом спросил:

– Александр Иванович, так как же?..

Все повернули головы к темневшему узкоплечей тенью в окне Александру Жирову. Он завозился. Гвоздев сказал взволнованно:

– Товарищи, у меня нет разрешения партии, я участвовать в деле не могу.

– Дело беру на личную ответственность, – сказал Жадов, – это уже решено, партия здесь ни при чем. Вас это устраивает?

Гвоздев молчал. Филька проговорил еще вкрадчивее:

– Дело общественное, – мы всей душой, только насчет партии сомневаемся.

Гвоздев забарабанил пальцами по столу.

– В обсуждении буду участвовать как частное лицо, в самом же деле, еще раз повторяю, – не могу взять на себя ответственности. Делайте без меня. А Филька – как хочет.

– Деньги-то примете? – крикнул Жадов.

– Приму.

– Ну, тогда – ладно. Лиза, принеси еще вина.

Елизавета Киевна, захватив кувшин, быстро вышла. Она знала, что там сейчас у них произойдет главное, из-за чего они совещаются вот уже пятую ночь.

Началось это с рассказа Александра Ивановича Жирова об его новом знакомце, коменданте анапского гарнизона, полковнике Брысове, родом из Владивостока, неожиданном любителе самоновейшей поэзии. Через несколько дней в номере греческой гостиницы, в Анапе, состоялось свидание с полковником, – были: Жадов, Жиров и Елизавета Киевна. Брысов угощал их настоящей казенной водкой, читал футуристические стихи и громоподобно хохотал, разглаживая полуседую бороду на две стороны. У него, казалось, конца не было добродушию и полнейшей неорганизованности.

«Я, братец мой, последний ланцепуп[5], – кричал Брысов, расстегивая пропотевшее хаки, – храню заветы. После японской войны пошел стиль модерн, ланцепупы вырождаются. А в свое время в городе Владивостоке был клуб. Привели меня туда мальчишкой, подпоручиком. На лестнице, на каждой ступеньке – рюмка водки, – пааатрудитесь взойти. Ха, ха. А ступенек-то тридцать восемь».

По всему было видно, что у полковника нет никаких тайн. Он рассказывал про «феноменальное, изволите ли видеть, воровство во вновь завое-

ванных турецких областях» и про какую-то фелуку с ворованным золотом, которая на днях должна прийти из Трапезунда. «Говорят, что везут рис. Ха, ха. Рис! Под видом частного груза везут, черт его возьми, рис. Ха, ха! Почему же, позвольте спросить, я получаю строжайшее распоряжение поставить военный караул к имеющей прибыть частной посудине с рисом. А?»

Елизавета Киевна догадывалась, что по поводу именно этой фелуки и ведутся в «Шато Каберне» ночные беседы.

Когда она вернулась с кувшином вина, гости уже ушли. Жадов стоял у окна.

– Болтать-то все мастера, – сказал он глухим голосом, не оборачиваясь, – а вот ты перескочи от слов к делу... Перескочи!.. – Он обернулся к жене, лицо его было искажено. – Не в идеях дело, а в прыжке. Я, может быть, шею сломаю, а прыгну... Считаю – высший подвиг в прыжке... Идеи, идеи... Гвоздев говорит, что я анархист... Чепуха, он болван... Жить хочу – вот моя философия... И считаю это совершенно достаточным основанием, чтобы сознательно плюнуть на все ваши божеские и человеческие законы... Что вылупила глаза?.. Да, прыгну, потому что...

Он протянул руку, чтобы толкнуть Елизавету Киевну, подошедшую совсем близко... Она схватила его за ледяные пальцы. Он вдруг опустил голову:

– Ну, да, сама видишь – трушу... Да, да, трушу, трушу, как это ни странно.

– Что вы придумали? – спросила Елизавета Киевна, задыхаясь.

– Завтра ночью отправляемся грабить фелуку с рисом.

Он повторил эту фразу спокойнее и с насмешкой и после этого долго глядел в темное окно. Елизавета Киевна обняла его за плечи, щекой прижалась к плечу. Он сказал совсем уж тихо:

– Никакого оправдания этому грабежу нет, вот в том-то вся и сила. Если бы было оправдание, – я бы отказался от дела. Вся суть в том, что оправдания нет. Поняла?

– Можно мне с тобой завтра?

– Можно. Это дело будет началом, Лиза. Если головы завтра не сломаю, – развернусь... Клич кликну. Мы найдем товарищей... Раскроем подвалы, выпустим всю ненависть человеческую. Ну, ладно... Идем спать.

Весь день дул густой, студеный ветер. Жадов бегал в город и вернулся к вечеру, возбужденный и веселый. В сумерки он и Елизавета Киевна спустились с холмов к мутному, шумному, обезображенному морю. У Елизаветы Киевны постукивали зубы. Берег был пуст. Сумерки сгущались. В том месте, где песчаные дюны подходили к самой воде, из кустарника поднялись две фигуры: Филька и Александр Иванович Жиров. Филька сказал вполголоса:

– Шлюпку мы около купальни оставили, здесь не подъехать, мелко.

Жадов, не отвечая, пошел по вязкому песку, на который взлизывали волны. Идти было трудно, вода захлестывала иногда выше колен. Елизавета Киевна, оступившись о выброшенную корягу, схватилась за Александра Ивановича, он испуганно отшатнулся, – лицо его, с большим ртом, было как мел.

– Сумасшедшая ночь, изумительно, – сказала Елизавета Киевна. Он спросил шепотом:

– Вам не страшно?

– Чепуха какая, – напротив.

– А вы знаете, что Филька пригрозился меня зарезать.

– За что?

– Если я не пойду с вами.

– Ну, что ж, – он и прав.

– Ну, знаете...

Около покосившейся, пахнущей водорослями и гнилью, скрипящей купальни билась о доски крутобокая шлюпка. Жадов вскочил в нее первым и сел у руля.

– Жиров, на нос! Лиза, Филька, на весла!

Было очень трудно отделиться от берега, – огромным прибоем шлюпку швыряло на песок. Все сразу вымокли. Александр Иванович негромко вскрикивал, придерживая шляпу, и вдруг полез было из лодки. Жадов, привстав, сказал:

– Филька, ударь его веслом. – И Александр Иванович опять скорчился, дрожа, на носу лодки.

Елизавета Киевна гребла, с силой упираясь в ребро шлюпки, откидывая при каждом взмахе спину. Если бы не муж, она бы закричала от восторга. Лодку взносило на катящиеся с шумом гребни, бросало вниз между мутных стен воды.

Жадов опять поднялся на корме, взглядываясь. Саженях в двадцати от них качался двухмачтовый, черный остов фелуки. Жадов повернул с подветренной стороны и скомандовал Жирову:

– Хватайся за канат.

Шлюпка подошла вплотную к пахнущему деревом и варом остову, со скрипом поднимающемуся из воды и уходящему в волны. В снастях свистел ветер. Александр Иванович вцепился обеими руками в канат. Филька багром поймал веревочную лестницу. Жадов, легкий, как кошка, кинулся к лесенке и одним прыжком перемахнул на палубу. Полез за ним и Филька. Елизавета Киевна, бросив весла, глядела наверх. Прошла минута, не более, и сухо, резко ударили три выстрела. Александр Иванович сейчас же прильнул к канату, опустив голову. Наверху послышался протяжный, чужой голос:

– Ой, убили...

И сейчас же там началась возня. У борта появились три сцепившиеся фигуры. Одна из них повисла на борте. Над ней поднялась рука и ударила.

И через борт перевалилось и у самой лодки тяжело шлепнулось в воду тело. Елизавета Киевна слушала, глядела, словно во сне. У борта опять появился Жадов и громко проговорил:

– Александр Иванович, лезь наверх.

Жиров повис без сил на веревочной лестнице. Жадов протянул ему руку и втащил на палубу.

– Лиза, смотри за лодкой, – сказал он, – мы сейчас кончим.

Через час шлюпка отчалила от фелуки, греб один Филька. В ногах у Елизаветы Киевны стоял небольшой сундучок, – его нашли в мешке с рисом. И здесь же на дне лодки, спрятав лицо в поднятые колени, сидел Александр Иванович.

Шлюпку бросили у купальни, и все четверо пошли в «Шато Каберне» вдоль самой воды, смывающей следы ног. На полпути от идущих появились на песке красноватые тени и пена набежавшей волны стала, как кровь. Елизавета Киевна обернулась – вдали, среди клубящихся, летящих облаков, пылала фелука дымным, круглым заревом. Жадов, пригибаясь, крикнул:

– Бегом, бегом!..

XXV

Среди всеобщего уныния и безнадежных ожиданий, в начале зимы 16-го года, русские войска неожиданно взяли штурмом крепость Эрзерум[1]. Это было в то время, когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии и под Константинополем, когда на западном фронте шла упорная борьба за домик паромщика на Изере[2], когда отвоевание нескольких метров земли, густо политой кровью, уже считалось победой, о которой по всему свету торопливо бормотали электрические волны с Эйфелевой башни.

Русские войска в жестоких условиях, среди горных метелей и стужи, прорывая глубокие туннели в снегах, карабкаясь по обледеневшим скалам, ворвались в Эрзерум и начали разливаться по оставляемой турками огромной области с древнейшими городами.

Произошел международный переполох. В Англии спешно выпустили книгу о загадочной русской душе[3]. Действительно, противно логическому смыслу, после полутора лет войны, разгрома, потери восемнадцати губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала, Россия снова устремилась в наступление по всему своему трехтысячеверстному фронту. Поднялась обратная волна свежей и точно неистощенной силы. Сотнями тысяч потянулись пленные в глубь России. Австрии был нанесен смертельный удар, после которого она впоследствии легко распалась на части. Германия тайно предлагала мир. Рубль поднялся. Снова воскресли надежды военным ударом окончить мировую войну. «Русская душа» стала

чрезвычайно популярна. Русскими дивизиями грузились океанские пароходы. Орловские, тульские, рязанские мужики распевали «соловья пташечку» на улицах Салоник, Марселя, Парижа[4] и с матерной руганью, как полагается, ходили в атаки, спасая европейскую цивилизацию.

И тогда уже многим запало в голову, что вот, мол, и хамы, и мужепесы, и начальство по морде лупит, а без нас не обойтись.

Все лето шло наступление на юг – в Месопотамию, Армению и Азиатскую Турцию и на запад, в глубь Галиции. Призывались все новые года запасных. Сорокатрехлетних мужиков брали с поля, с работ. По всем городам формировались пополнения. Число мобилизованных подходило к двадцати четырем миллионам. Над Германией, над всей Европой нависала древним ужасом туча азиатских полчищ.

Москва сильно опустела за это лето, – война, как насосом, выкачала мужское население. Николай Иванович еще с весны уехал на фронт, в Минск. Даша и Катя жили в городе тихо и уединенно, – работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные письма от Телегина, – он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведен в крепость.

Одно время к сестрам ходил очень милый молодой человек, Рощин, только что выпущенный в прапорщики. Он был из хорошей, профессорской семьи и Смоковниковых знал еще по Петербургу.

Каждый вечер, в сумерки, раздавался на парадном звонок. Екатерина Дмитриевна сейчас же осторожно вздыхала и шла к буфету – положить варенье в вазочку или нарезать к чаю лимон. Даша заметила, что, когда, вслед за звонком, в столовой появлялся Рощин, – Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку медлила, потом на губах у нее появлялась обычная, нежная и немного грустная улыбка. Рощин молча кланялся. Был он высок ростом, с большими руками и медленными движениями. Не спеша, присев к столу, он спокойным и тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, и по глазам ее, мрачным, с большими зрачками, было видно, что она не слушает слов. Встречаясь с ее взглядом, Рощин сейчас же опускал к стакану большое, бритое лицо, и на скуле у него начинал кататься желвак. Иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя вздыхала:

– О Господи! – и, покраснев, виновато улыбалась. Часам к одиннадцати Рощин поднимался, целовал руку Кате – почтительно, Даше – рассеянно и уходил, задевая плечом за дверь. По пустой улице долго слышались его шаги. Катя перетирала чашки, запирала буфет, и все так же, не сказав ни слова, уходила к себе и поворачивала в двери ключ.

Однажды, на закате, Даша сидела у раскрытого окна. Над улицей высоко летали стрижи. Даша слушала их тонкие, стеклянные голоса и думала, что

завтра будет жаркий и ясный день, если стрижи – высоко, и что стрижи ничего не знают о войне, – счастливые птицы.

Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль, в ней все яснее проступал узенький серп месяца. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди. Было пронзительно грустно, и Даша ждала, и вот, невдалеке, вековечной, мещанской, вечерней скукой заиграла шарманка. Даша облокотилась о подоконник. Высокий, до самых чердаков, женский голос пел: «Сухою корочкой питалась, студеную водицу я пила...»

Сзади к Дашиному креслу подошла Катя и тоже, должно быть, слушала, не двигаясь.

– Катюша, как поет хорошо.

– За что? – проговорила вдруг Катя низким и диким каким-то голосом. – За что нам это послано? Чем я виновата? Когда кончится это, – ведь буду старухой, ты поняла? Я не могу больше, не могу, не могу!.. – Она, задыхаясь, стояла у стены, у портьеры, бледная, с выступившими у рта морщинами, глядела на Дашу сухими, потемневшими глазами.

– Не могу больше, не могу! – повторяла она тихо и хрипло, – это никогда не кончится!.. Мы умираем... мы никогда больше не увидим радости... Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит...

Даша обхватила сестру, гладила ее, хотела успокоить. Но Катя подставляла локти, отстранялась, была, как каменная.

– Катюша, Катюша, да скажи ты, что с тобой?.. Миленькая, успокойся. – И Даша чувствовала, как у Кати крепко стиснуты челюсти, и руки как лед. – Что случилось? Почему ты такая?

В прихожей в это время позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин, – голова его была обрита. Криво усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате и вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. Ставя чайную посуду на стол, она услышала, как Катя сдержанно, но тем же низким и хриповатым голосом спросила у Рощина:

– Вы уезжаете?

Покашляв, он ответил сухо:

– Да.

– Завтра?

– Да, завтра утром.

– Куда?

– В действующую армию. – И затем, после некоторого молчания, он заговорил:

– Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна, мы видимся, очевидно, в последний раз, так вот я решился сказать...

Катя перебила поспешно:

– Нет, нет... Я все знаю... И вы тоже знаете обо мне...

– Екатерина Дмитриевна, вы...

Отчаянным голосом Катя крикнула:

– Да, видите сами!.. Умоляю вас – уходите...

У Даши в руках задрожала вазочка с вареньем. Там в гостиной молчали. Наконец, Катя проговорила совсем тихо:

– Господь вас сохранит... Уходите, Вадим Петрович...

– Прощайте.

Он вздохнул коротко. Послышались его шаги, и хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола, закрыла лицо, и между пальцами ее проступили и потекли капли слез.

С тех пор об уехавшем она не говорила ни слова, да и говорить-то было не о чем, – хватило бы только силы вырвать из сердца, забыть эту ненужную муку, возникшую в сумерки от не вовремя затосковавшего по любви глупого сердца.

Катя мужественно переносила боль, хотя по утрам вставала с покрасневшими глазами, с припухшим ртом. Рощин прислал с дороги открытку – поклон сестрам, – письмецо это положили на камин, где его засидели мухи.

Каждый вечер сестры ходили на Тверской бульвар – слушать музыку, садились на скамью и глядели, как под деревьями гуляют девушки и подростки, в белых и розовых платьях, – очень много женщин и детей; реже проходил военный с подвязанной рукой или инвалид на костыле. Духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии». Ту, ту, ту, – печально пел трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую, худую руку и тихонько целовала.

– Катюша, Катюша, – говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями, – ты помнишь:

О, любовь моя, незавершенная,
В сердце холодеющая нежность...[5]

Я верю – если мы будем мужественны, мы доживем до такого времени, когда можно будет любить, не думая, не мучаясь... Ведь мы знаем теперь, – ничего на свете нет выше любви. Мне иногда кажется, приедет из плена Иван Ильич совсем иной, новый. Сейчас я люблю его одиноко, как-то бесплотно, но очень, очень верно. Но мы встретимся так, точно мы любили друг друга в какой-то другой жизни, и вот теперь – и родные и дикие, – понимаешь – страшновато... Что-то будет, что-то будет?.. Я чувствую иногда, как у меня все сердце стало прозрачное.

Прижавшись щекой к ее плечу, Екатерина Дмитриевна говорила:

– А у меня, Данюша, такая горечь, такая темнота на сердце, совсем оно стало старое. Ты увидишь хорошие времена, а уж я не увижу, отцвела пустоцветом.

– Катюша, стыдно так говорить.

– Да, девочка, нужно быть мужественной.

В один из таких вечеров на скамейку, на другой ее конец, сел какой-то военный. Оркестр играл старый вальс. За деревьями зажигались неяркие огни фонарей. Сосед по скамейке глядел так пристально, что Даше стало неловко шее. Она обернулась и вдруг испуганно, негромко воскликнула:

– Нет!

Рядом с ней сидел Бессонов, тощий, облезлый, в мешком висящем френче, в фуражке с красным крестом. Поднявшись, он молча поздоровался. Даша сказала: «Здравствуйте», и поджала губы, Екатерина Дмитриевна отклонилась на спинку скамьи, в тень Дашиной шляпы, и закрыла глаза. Бессонов был, точно, не то весь пыльный, не то немытый – серый.

– Я видел вас на бульваре вчера и третьего дня, – сказал он Даше, поднимая брови, – но подойти не решался... Уезжаю воевать. Вот видите – и до меня добрались.

– Как же вы едете воевать, вы же в Красном Кресте, – сказала Даша с внезапным раздражением.

– Положим, опасность, сравнительно, конечно, меньшая. А, впрочем, мне глубоко все безразлично, – убьют, не убьют... Скучно, скучно, Дарья Дмитриевна, – он поднял голову и поглядел ей на губы мутным, тусклым взглядом. – Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов...

Катя спросила, не открывая глаз:

– Вам скучно от этого?

– Да, весьма скучно, Екатерина Дмитриевна. У меня раньше оставалась еще кое-какая надежда... Ну, а после этих трупов и трупов все полетело к черту... Создавалась какая-то культура, – чепуха, бред... Действительность – трупы и кровь, – хаос. Так вот... Дарья Дмитриевна, я, строго говоря, подсел к вам для того, чтобы попросить пожертвовать мне полчаса времени.

– Зачем? – Даша глядела ему в лицо, чужое, нездоровое, с злым, скверным ртом, и вдруг ей показалось с такой ясностью, что закружилась голова, – этого человека она видит в первый раз.

– Я много думал над тем, что было в Крыму, – проговорил Бессонов, морщась, – я бы хотел с вами побеседовать, – он медленно полез в боковой карман френча за портсигаром, – я бы хотел рассеять некоторое невыгодное впечатление...

Даша прищурилась, – ни следа на этом противном лице волшебства. Просто – человек с бульвара. И она сказала твердо:

– Мне кажется – нам не о чем говорить с вами. – И отвернулась. Катина рука задрожала за ее спиной. Даша покраснела и нахмурилась: – Прощайте, Алексей Алексеевич.

Бессонов скривил усмешкой желтые от табака, обветренные губы, приподнял картуз и отошел прочь. Даша глядела на его слабую спину, на слиш-

ком широкие панталоны, точно готовые свалиться, на тяжелые, пыльные сапоги, – неужели это был тот Бессонов – демон ее девичьих ночей?

– Катюша, посиди, я сейчас, – проговорила она поспешно и побежала за Бессоновым. Он свернул в боковую аллею. Даша, запыхавшись, догнала его и взяла за рукав. Он остановился, обернулся, сжал рот.

– Алексей Алексеевич, не сердитесь на меня.

– Я-то не сержусь, вы сами не пожелали со мной разговаривать.

– Нет же, нет... Вы не так меня поняли... Я к вам ужасно, ужасно хорошо отношусь, я вам хочу всякого добра... Но о том, что было между нами, не стоит вспоминать, прежнего ничего не осталось... Только я чувствую себя виноватой, мне вас жалко...

Он поднял плечи, с усмешкой поглядел мимо Даши на гуляющих:

– Благодарю вас за жалость.

Даша вздохнула, – если бы Бессонов был маленьким мальчиком – она бы повела его к себе, вымыла теплой водицей, накормила бы конфетами, возилась бы до тех пор, покуда в глазах его не заблестела бы радость. А что она поделает с этим, – сам себе выдумал муку и мучается, сердится, обижается.

– Алексей Алексеевич, если хотите – пишите мне каждый день, я буду аккуратно отвечать, – сказала Даша, глядя ему в лицо как можно добрее. Он откинул голову, захохотал деревянным, злым смехом:

– Благодарю... Но у меня вот уже больше года отвращение к бумаге и чернилам...

Он стиснул зубы, сморщился, точно хлебнул кислого:

– Либо вы святая, Дарья Дмитриевна, либо вы дура... Не обижайтесь... Вы адская мука, посланная мне заживо, поняли?.. Два года я живу, как монах... Вот вам!..

Он сделал усилие отойти, но точно не мог оторвать ног. Даша стояла, опустив голову, – она все поняла, ей было печально, и на сердце чисто. Бессонов глядел на ее склоненную шею, на нетронутую, нежную грудь, видную в прорезе белого платья, и думал, что, конечно, это смерть.

– Будьте милосердны, – сказал он простым, тихим, человеческим голосом. Она, не поднимая головы, прошептала сейчас же:

– Да, да. – И прошла между деревьями. В последний раз Бессонов отыскал пронзительным взглядом в толпе ее светловолосую голову, –ы она не обернулась. Он положил руку на дерево, вцепился пальцами в зеленую кору: земля, последнее прибежище, уходила из-под ног.

XXVI

Тусклым шаром над торфяными, пустынными болотами висела луна. Курился туман по овражкам, по канавам брошенных траншей. Повсюду торчали пни, кое-где чернели низкорослые сосны. Было влажно и тихо. По

узкой гати медленно, лошадь за лошадью, двигался санитарный обоз. Полоса фронта была всего верстах в трех за зубчатым очертанием леса, откуда не доносилось ни звука.

В одной из телег в сене, навзничь, лежал Бессонов, прикрышись попоной, пахнущей лошадиным потом. Каждую ночь с закатом солнца у него начиналась лихорадка, постукивали зубы от легонького озноба, все тело точно высыхало и в мозгу с холодным кипением проходили ясные, легкие, пестрые мысли. Это было дивное ощущение потери телесной тяжести.

Натянув попону до подбородка, Алексей Алексеевич глядел в мглистое, лихорадочное небо, – вот он – конец земного пути: мгла, лунный свет и, точно колыбель, качающаяся телега; так, обогнув круг столетий, снова скрипят скифские колеса. А все что было – сны: огни Петербурга, музыка в сияющих, теплых залах, раскинутые на подушке волосы женщины, темные зрачки глаз, смертельная тоска взгляда... Скука, одиночество... Полусвет рабочей комнаты, дымок табаку, бьющееся от больного волнения сердце и упоение рождающихся слов... Девушка с белыми ромашками, стремительно вошедшая из света прихожей в его темную комнату, в его жизнь... И тоска, тоска, холодной пылью покрывающая сердце... Все это сны... Качается телега... Сбоку идет мужик с мочальной бородкой, в картузе, надвинутом на глаза; две тысячи лет он шагает сбоку телеги... Вот оно, раскрытое в лунной мгле, бесконечное пространство времени... Из темноты веков надвигаются тени, слышно, – скрипят телеги, черными колеями бороздят мир. Это гунны снова проходят землю. А там, в тусклом тумане, – обгоревшие столбы, дымы до самого неба, и скрип, и грохот колес. И скрип, и грохот громче, шире, все небо полно душу потрясающим гулом...

Вдруг телега остановилась. Сквозь гул, наполняющий белесую ночь, слышались испуганные голоса обозных. Бессонов приподнялся на локте. Невысоко над лесом, пониже луны, плыла длинная, поблескивающая гранями, колонна, – повернулась, блеснула в лунном свету, ревя моторами, приблизилась, увеличилась, и из брюха ее появился узкий меч света, побежал по болоту, по пням, по сваленным деревьям, по ельнику и уперся в шоссе, в телеги.

Сквозь гул послышались слабые и нежные звуки, – та, та, та, – точно быстро застучал метроном... С телег посыпались люди. Санитарная двуколка повернула на болото и опрокинулась... И вот, шагах в ста от Бессонова на шоссе вспыхнул ослепительный куст света, черной кучей поднялась на воздух лошадь, телега, взвился огромный столб дыма, и грохотом и вихрем раскидало весь обоз. Лошади с передками поскакали по болоту, побежали люди. Телегу, где лежал Бессонов, дернуло, повалило, и Алексей Алексеевич покатился под шоссе, в канаву, – в спину ему ударило тяжелым мешком, завалило соломой.

Воздушный корабль бросил вторую бомбу, затем гул моторов его стал отдаляться и затих. Тогда Бессонов, охая, начал разгребать солому, с трудом

выполз из навалившейся на него поклажи, отряхнулся и взобрался на шоссе. Здесь стояло несколько телег, боком, без передков; на болоте, закинув морду, лежала лошадь в оглоблях и, как заведенная, дергала задней ногой.

Бессонов потрогал лицо и голову, – около уха было липко, он приложил к царапине платок и пошел по шоссе к лесу. От испуга и падения так дрожали ноги, что через несколько шагов пришлось присесть на кучу заскорузлого щебня. Хотелось выпить коньяку, но фляжка осталась с поклажей в канаве. Бессонов с трудом вытянул из кармана трубочку, спички и закурил, – табачный дым был горек и противен. Тогда он вспомнил о лихорадке, – дело плохо, во чтобы то ни стало нужно дойти до леса, там, ему говорили, стоит батарея. Бессонов поднялся, но ноги совсем отнялись, как деревянные едва двигались внизу живота. Он опять опустился на землю и стал их растирать, вытягивать, щипать, и когда почувствовал боль, – поднялся и побрел.

Месяц теперь стоял высоко, дорога вилась во мгле через пустые болота, казалось – не было ей конца. Положив руки на поясницу, пошатываясь, с трудом поднимая и волоча пудовые сапоги, Бессонов говорил сам с собой:

– Взяли и вышвырнули... Тащись, сукин сын, тащись, покуда не переедут колесами... Писал стишки, соблазнял глупеньких женщин... Жить было скучно... Но ведь это мое личное дело... Взяли и вышвырнули, – тащись, вот тебе на болоте точка, там околеешь... Можешь протестовать, пожалуйста... Протестуй, вой... Попробуй, попробуй, закричи пострашнее, завой...

Бессонов вдруг обернулся. С шоссе вниз скользнула серая тень... Холодок прошел у него по спине. Он усмехнулся и, громко произнося отрывочные, бессмысленные фразы, опять двинулся посредине дороги... Потом осторожно оглянулся, – так и есть, шагах в пятидесяти за ним тащилась большеголовая, голенастая собака.

– Черт знает что такое! – пробормотал Бессонов. И пошел быстрее, и опять поглядел через плечо. Собак было пять штук, они шли гуськом, опустив морды, – серые, вислозадые. Бессонов бросил в них камушком:

– Вот я вас!.. Пошли прочь, пакость...

Звери молча шарахнулись вниз, на болото. Бессонов набрал камней в полу одежды и время от времени останавливался и кидал их... Потом шел дальше, свистал, кричал, – эй, эй!.. Звери вылезали из-под шоссе и опять тащились гуськом, не приближаясь.

С боков дороги начался низкорослый ельник. И вот на повороте Бессонов увидал впереди себя человеческую фигуру. Она остановилась, вглядываясь, и медленно ушла в тень ельника.

– Черт! – прошептал Бессонов и тоже попятился в тень, и стоял долго, стараясь преодолеть удары сердца. Остановились и звери неподалеку. Передний лег, положил морду на лапы. Человек впереди не двигался. Бессонов с отчетливой ясностью видел белое, как плева, длинное облако, находящее на

луну. Затем раздался звук, иглою вошедший в мозг, – хруст сучка под ногой, должно быть, того человека. Бессонов быстро вышел на середину дороги и зашагал, с бешенством сжимая кулаки. Наконец, направо, он увидел его, – это был высокий солдат, сутулый, в накинутой шинели, длинное, безбровое лицо его было как неживое – серое, с полуоткрытым большим ртом. Бессонов крикнул:

– Эй ты, – какого полка?

– Со второй батареи.

– Поди проводи меня на батарею.

Солдат молчал, не двигаясь, – глядел на Бессонова мутным взором, потом повернул лицо налево:

– Это кто же энти-то?

– Собаки, – ответил Бессонов нетерпеливо.

– Ну, нет, это не собаки.

– Идем, поворачивайся, проводи меня.

– Нет, я не пойду, – сказал солдат тихо.

– Послушай, у меня лихорадка, пожалуйста, доведи меня, я тебе денег дам.

– Нет, я туда не пойду, – солдат повысил голос, – я дезертир.

– Дурак, тебя же поймают.

– Все может быть.

Бессонов покосился через плечо, – звери исчезли, должно быть зашли за ельник.

– А далеко до батареи?

Солдат не ответил. Бессонов повернулся, чтобы идти, но солдат сейчас же схватил его за руку у локтя, крепко, точно клещами:

– Нет, вы туда не пойдете...

– Пусти руку.

– Не пущу! – Не отпуская руки, солдат смотрел в сторону, повыше ельника. – Я третий день не евши... Давеча задремал в канаве, слышу – идут... Думаю, значит, часть идет. Лежу. Они идут, множество, – идут, идут и все в ногу, гул по шоссе... Что за история? Выполз я из канавы, гляжу, – они идут в саванах, по всему шоссе, конца-краю нет... Как туман, колыхаются, и земля под ними дрожит...

– Что ты мне говоришь? – закричал Бессонов диким голосом и рванулся.

– Говорю верно, а ты верь, сволочь!..

Бессонов вырвал руку и побежал точно на ватных, не на своих ногах. Вслед затопал солдат сапожищами, тяжело дыша, схватил за плечо. Бессонов упал, закрыл шею и голову руками. Солдат, сопя, навалился, просовывал жесткие пальцы к горлу, – стиснул его и замер, застыл.

– Вот ты кто, вот ты кто оказался! – шептал солдат сквозь зубы. Когда по телу лежащего прошла длинная дрожь, оно вытянулось, опустилось, точно расплющилось в пыли, солдат отпустил его, встал, поднял картуз и, не оборачиваясь на то, что было сделано, пошел по дороге. Пошатнулся, мотнул головой и сел, опустив ноги в канаву.

– Ох, смерть моя! – громко, протяжно проговорил солдат. – Господи, отпусти...

XXVII

После неудавшегося побега из концентрационного лагеря Иван Ильич Телегин был переведен в крепость, в одиночное заключение. Здесь он замыслил второй побег и в продолжение шести недель подпиливал оконную решетку. Но в середине лета, неожиданно, всю крепость эвакуировали, и Телегин, как штрафной, попал в так называемую «Гнилую Яму». Это было страшное и удручающее место: в широкой котловине на торфяном поле стояли квадратом четыре длинных барака, обнесенные колючей проволокой. Вдалеке, у холмов, где торчали кирпичные трубы, начиналась узкоколейка, ржавые ее рельсы тянулись через все болото и кончались неподалеку от бараков у глубокой выемки – месте прошлогодних работ, на которых от тифа и дизентерии погибло более пяти тысяч русских солдат. На другой стороне буро-желтой равнины поднимались неровными зубцами лиловые Карпаты. На север от бараков, сейчас же за проволокой, далеко по болоту, виднелось множество сосновых крестов. В жаркие дни над равниной поднимались испарения, жужжали овода, в лицо липли мошки, солнце стояло красновато-мутное, распаривая, разлагая это безнадежное место.

Содержание здесь было суровое и голодное. Половина офицеров болела желудками, лихорадкой, нарывами, сыпью. Несколько человек умерло. Но все же в лагере было приподнятое настроение – Брусилов с сильными боями шел вперед, французы били немцев в Шампани и под Верденом, турки очищали Малую Азию[1]. Конец войны, казалось, теперь уже по-настоящему не далек. И заключенные в «Гнилой Яме», стиснув зубы, переносили все лишения, – к Новому году все будем дома.

Но миновало лето, начались дожди, Брусилов остановился, не взяв ни Кракова, ни Львова, затихли кровавые бои на французском фронте, – Союз и Согласие зализывали раны[2]. Ясно, что конец войны снова откладывался на будущую осень.

Вот тогда-то в «Гнилой Яме» началось отчаяние. Сосед Телегина по нарам, Вискобойников, бросил вдруг бриться и умываться, целыми днями лежал на неприбранных нарах, полузакрыв глаза, не отвечая на вопросы. Иногда привставал и, ощерясь, с ненавистью, скреб себя ногтями. На теле его

то появлялись, то пропадали розоватые лишаи. Ночью однажды он разбудил Ивана Ильича и глухим голосом проговорил:

– Телегин, ты женат?

– Нет.

– У меня жена и дочь в Твери. Ты их навести, слышишь.

– Перестань, Яков Иванович, спи.

– Я, братец мой, крепко засну.

Под утро, на перекличке, Вискобойников не отозвался. Его нашли в отхожем месте, висящим на тонком ременном поясе. Весь барак проснулся. Офицеры теснились около тела, лежащего навзничь на полу. Фонарь, стоявший в головах, освещал изуродованное гадливой мукой, костлявое лицо и на груди под разорванной рубашкой следы расчесов. Свет фонаря был грязный, лица живых, нагнувшиеся над трупом, – опухшие, желтые, искаженные. Один из них, поручик Мельшин, обернулся в темноту барака и громко сказал:

– Что же, товарищи, молчать будем?

По толпе, по нарам прошел глухой ропот. Входная дверь бухнула, появился заспанный австрийский офицер, комендант лагеря, толпа раздвинулась, пропустила его к мертвому телу, и сейчас раздались резкие голоса:

– Молчать не будем.

– Замучили человека.

– У них система.

– Я сам заживо гнию.

– Не желаем. Требуем перевода.

– Мы не каторжники.

– Мало вас били, окаянных...

Поднявшись на цыпочки, комендант крикнул:

– Молчать! Все по местам. Русские свиньи!

– Что?.. Что он сказал?..

– Мы русские свиньи?!

Сейчас же к коменданту протиснулся коренастый человек, заросший спутанной бородой, штабс-капитан Жуков. Поднеся короткий палец к самому лицу австрийского офицера, он закричал рыдающим голосом:

– А вот палец мой видел, сукин ты сын, это ты видел? – И, замотав косматой головой, схватил коменданта за плечи, бешено затряс его, повалил и навалился.

Офицеры, тесно сгрудясь над борющимися, молчали... Но вот послышались хлопающие по доскам шаги бегущих солдат, и комендант закричал: «На помощь!» Тогда Телегин, бывший в это время сзади, растолкал товарищей и, говоря: «С ума сошли, он же его задушит», – обхватил Жукова за плечи, рванул и оттащил от австрийца. «Вы негодяй!» – крикнул он коменданту по-немецки. Жуков тяжело дышал, разинув рот. «Пусти, я ему покажу – свиньи», –

проговорил он тихо. Но комендант уже поднялся, надвинул на глаза смятую кепи, быстро и пристально, точно запоминая, взглянул в лицо Жукову, Телегину, Мельшину и еще двум, трем стоявшим около них офицерам и, твердо звякая шпорами, пошел прочь из барака. Дверь сейчас же заперли, у входа поставили двух часовых.

В это утро не было ни переклички, ни барабана, ни желудевого кофе. Около полудня в барак вошли солдаты с носилками и вынесли тело Вискобойникова. Дверь опять была заперта. Офицеры разбрелись по нарам, многие легли. В бараке стало совсем тихо, – дело было ясное: бунт, покушение и – военный суд.

Иван Ильич начал этот день как обычно, не отступая ни от одного из им самим предписанных правил, которые строго соблюдал вот уже больше года: в шесть утра накачал в ведро коричневатую воду, облился, растерся, проделал сто одно гимнастическое движение, следя за тем, чтобы хрустели мускулы, оделся, побрился и, так как кофе сегодня не было, натощак сел за немецкую грамматику.

Самым трудным и разрушающим в плену было физическое воздержание. На этом многие пошатнулись: один вдруг начинал пудриться, подмазывать глаза и брови, шушукался целыми днями с таким же напудренным молодцом, другой – сторонился товарищей, валялся, завернувшись с головой в тряпье, немытый, неприбранный, иной принимался сквернословить, приставать ко всем с чудовищными рассказами и, наконец, выкидывал что-нибудь столь непотребное, что его увозили в лазарет.

Ото всего этого было одно спасение – суровость. За время плена Телегин стал молчалив, тело его, покрытое броней мускулов, подсохло, стало резким в движениях, глаза точно выцвели, – побелели, в них появился холодный, упрямый блеск, – в минуту гнева или решимости они были страшны.

Сегодня Телегин тщательнее, чем обычно, повторил выписанные с вечера немецкие слова и раскрыл истрепанный томик Шпильгагена[3]. На нары к нему присел Жуков. Иван Ильич, не оборачиваясь, продолжал читать вполголоса. Вздохнув, Жуков проговорил:

– Я на суде, Иван Ильич, хочу сказать, что я сумасшедший.

Телегин быстро взглянул на него. Розовое, добродушное лицо Жукова с широким носом, кудрявой бородой, с мягкими, теплыми губами, видными сквозь заросли спутанных усов, было опущено, виновато; светлые ресницы часто мигали:

– Дернуло с этим пальцем проклятым соваться, – сам теперь не пойму, что я и доказать-то хотел. Иван Ильич, я понимаю – виноват, конечно... Выскочил с пальцем, подвел товарищей... Я так решил – скажусь сумасшедшим... Вы одобряете?

– Слушайте, Жуков, – ответил Иван Ильич, закладывая пальцем книгу, – несколько человек из нас во всяком случае расстреляют... Вы это знаете?

– Да, понимаю.

– Не проще ли будет не валять дурака на суде... Как вы думаете?..

– Так-то оно так, конечно.

– Никто из товарищей вас не винит. Только цена за удовольствие набить австрияку морду слишком высока.

– Иван Ильич, а мне-то самому каково – подвести товарищей под военный суд! – Жуков махнул стиснутым кулачком, замотал волосатой головой. – Хоть бы они, сволочи, меня одного закатали – все бы легче.

Он долго еще говорил в том же роде, но Телегин, уже не слушая его, продолжал читать Шпильгагена. Затем встал и, потянувшись, хрустнул мускулами. В это время с треском распахнулась наружная дверь и вошли четыре солдата с примкнутыми штыками, встали по сторонам двери, брякнули затворами винтовок; минуту спустя вошел фельдфебель, мрачный человек с повязкой на глазу, оглянул барак и глухим, свирепым голосом крикнул:

– Штабс-капитан Жуков, поручик Мельшин, подпоручик Иванов, подпоручик Убейко, прапорщик Телегин...

Названные подошли. Фельдфебель внимательно оглянул каждого, солдаты окружили их и повели из барака через двор к дощатому домику – комендантской. Здесь стоял недавно прибывший военный автомобиль. Колючие рогатки, закрывающие проезд через проволоку на дорогу, были раздвинуты. Около полосатой будки неподвижно стоял часовой. В автомобиле, завалившись на сиденье у руля, сидел шофер, мальчишка, с обезьяньим смуглым личиком, с надвинутым на глаза огромным козырьком фуражки. Телегин тронул локтем идущего рядом с ним Мельшина.

– Умеете управлять машиной?

– Умею, а что?

– Молчите.

Их ввели в комендантскую. За сосновым столом, прикрытым розовой промокательной бумагой, сидели трое приехавших австрийских обер-офицеров. Один, иссиня выбритый, с багровыми пятнами на толстых щеках, курил сигару. Телегин заметил, что он не взглянул даже на вошедших, – руки его лежали на столе, пальцы сунуты в пальцы, толстые и волосатые, глаз прищурен от сигарного дыма, воротник врезался в шею. «Этот уже решил», – подумал Телегин.

Другой судья, председательствующий, был худой старик с длинным, грустным лицом в редких и чисто промытых морщинах, с пушисто-белыми усами. Бровь его была приподнята моноклем. Он внимательно оглядел обвиняемых, перевел большой, сквозь стекло, серый глаз на Телегина, – глаз был ясный, умный и ласковый, – усы у него задрожали, он опустил лицо.

«Совсем плохо», – подумал Иван Ильич и взглянул на третьего судью, перед которым лежали черепаховые очки и четвертушка мелко исписанной

бумаги. Это был приземистый, землисто-желтый человек, с жесткими волосами ежиком, с большими, как пельмени, ушами. Он морщился, точно от несварения желудка. По всему было видно, что это служака из неудачников.

Когда подсудимые выстроились перед столом, он не спеша надел круглые очки, разгладил исписанный листок сухонькой ладонью и, неожиданно широко открыв желтые, вставные зубы, начал читать обвинительный акт.

Сбоку стола, сдвинув брови, сжав рот, сидел пострадавший комендант. Телегин напрягал внимание, чтобы вслушаться в слова обвинения, но помимо воли мысль его остро и торопливо работала в ином направлении.

«...Когда тело самоубийцы было внесено в барак, несколько русских воспользовались этим, чтобы возбудить своих товарищей к открытому неповиновению власти, и начали выкрикивать бранные и возмутительные выражения, угрожающе потрясая кулаками. Так, в руках у поручика Мельшина оказался раскрытый перочинный нож...»

Через окно Иван Ильич видел, как мальчик-шофер ковырял пальцем в носу, потом повернулся бочком на сиденье и совсем надвинул на лицо козырек. К автомобилю подошли два низкорослых солдата в накинутых на плечи голубых капотах, постояли, поглядели, один, присев, потрогал пальцем шину. Затем оба они повернулись, – во двор въезжала кухня, из трубы ее мирно шел дымок. Кухня повернула к казармам, куда лениво побрели и солдаты. Шофер не поднял головы, не обернулся, – значит, заснул. Телегин, кусая от нетерпения губы, опять стал вслушиваться в скрипучий голос обвинителя.

«...Вышеназванный штабс-капитан Жуков, с явным намерением угрожая жизни господина коменданта, предварительно пытался схватить его пальцами за нос, что, вполне очевидно, имело целью опорочить честь Императорского Королевского мундира...»

При этих словах комендант поднялся и, покрывшись багровыми пятнами, подробно начал объяснять судьям малопонятную историю с пальцем штабс-капитана. Сам Жуков, плохо понимая по-немецки, изо всей мочи вслушивался, порывался вставить словечко, с доброй, виноватой улыбкой оглядывался на товарищей и, не выдержав, проговорил по-русски, обращаясь к обвинителю:

– Господин полковник, позвольте доложить, – я ему говорю: – за что вы нас, за что?.. По-немецки не знаю как выразиться, значит, пальцем ему показываю.

– Молчите, Жуков, – сказал Иван Ильич сквозь зубы. Председатель постучал карандашом. Обвинитель продолжал чтение.

Описав, каким образом и за какое именно место Жуков схватил коменданта и, «опрокинув его навзничь, надавливал ему большими пальцами на горло с целью причинить смерть», полковник перешел к наиболее щекотливому месту обвинения: «...Русские толчками и криками подстрекали убийцу; один

из них, именно – прапорщик Иоган Телегин, услышав шаги бегущих солдат, бросился к месту происшествия, отстранил Жукова, и только одна секунда отделяла господина коменданта от смертельной развязки». – В этом месте обвинитель, приостановившись, самодовольно улыбнулся. – «Но в эту секунду появились дежурные нижние чины, – следуют имена, – и прапорщик Телегин успел только крикнуть своей жертве: – негодяй».

За этим следовал остроумный психологический разбор поступка Телегина, «как известно, дважды пытавшегося бежать из плена»... Полковник, безусловно, обвинял Телегина, Жукова и Мельшина, который подстрекал к убийству размахиванием перочинным ножом. Чтобы обострить силу обвинения, полковник даже выгородил Иванова и Убейко, «действовавших в состоянии умоисступления».

По окончании чтения комендант подтвердил, что именно так все и было. Допросили солдат; они показали, что первые трое обвиняемых, действительно, виновны, про вторых двух – ничего не могут знать. Председательствующий, потерев худые руки, предложил Иванова и Убейко от обвинения освободить за недоказанностью улик. Багровый офицер, докуривший до губ сигару, кивнул головой, обвинитель после некоторого колебания тоже согласился. Тогда двое из конвойных вскинули ружья. Телегин сказал: «Прощайте, товарищи». Иванов опустил голову, Убейко, молча, с ужасом, взглянул на Ивана Ильича. Их вывели, и председательствующий предоставил слово обвиняемым.

– Считаете вы себя виновным в подстрекательстве к бунту и покушении на жизнь коменданта лагеря? – спросил он Телегина.

– Нет.

– Что же именно вы желаете сказать по этому делу?

– Обвинение от первого до последнего слова чистая ложь.

Комендант с бешенством вскочил, требуя объяснения, председательствующий знаком остановил его.

– Больше вы ничего не имеете прибавить к вашему заявлению?

– Никак нет.

Телегин отошел от стола и пристально посмотрел на Жукова. Тот покраснел, засопел и на вопросы повторил слово в слово все, сказанное уже Телегиным. Так же отвечал и Мельшин. Председательствующий выслушивал ответы, устало закрыв глаза. Наконец, судьи поднялись и удалились в соседнюю комнату, где в дверях багровый офицер, шедший последним, выплюнул сигару и, подняв руки, сладко потянулся.

– Расстрел, – я это понял, как мы вошли, – сказал Телегин вполголоса и обратился к конвойному: – Дайте мне стакан воды.

Солдат торопливо подошел к столу и, придерживая винтовку, стал наливать из графина мутную воду. Иван Ильич быстро, в самое ухо, прошептал Мельшину:

– Когда нас выведут, постарайтесь завести мотор.

Мельшин, шепотом же, закрыв глаза, ответил:

– Понял.

Через минуту появились судьи и заняли прежние места. Председательствующий, не спеша, снял монокль и, близко держа перед глазами слегка дрожащий клочок бумаги, прочел краткий приговор, по которому Телегин, Жуков и Мельшин приговаривались к смертной казни через расстреляние.

Когда были произнесены эти слова, Иван Ильич, хотя и был уверен в приговоре, все же почувствовал, как кровь отлила от сердца и стало тошно. Жуков уронил голову, Мельшин, рослый, широкой кости, светлоглазый юноша, медленно облизнул губы.

Председательствующий потер уставшие глаза, затем, прикрыв их ладонью, проговорил отчетливо, но тихо:

– Господину коменданту поручается привести приговор в исполнение немедленно.

Судьи встали. Комендант одну еще секунду сидел вытянувшись, бледный до зелени в лице, но встал и он, одернул чистенький мундир и преувеличенно резким голосом скомандовал двоим оставшимся конвойным вывести приговоренных. В узких дверях Телегин замешкался и дал возможность Мельшину выйти первым. Мельшин, будто теряя силы, схватился конвойному за руку и забормотал по-русски заплетающимся языком:

– Пойдем, пойдем, пожалуйста, недалеко, сюда, вот еще немножечко... Живот болит, мочи нет...

Солдат в недоумении глядел на него, упирался, испуганно оборачивался, не понимая, как ему в этом непредвиденном случае поступать. Но Мельшин уже дотащил его до передней части автомобиля и присел на корточки, гримасничая, причитывая, хватаясь дрожащими пальцами то за пуговицы своей одежды, то за ручку автомобиля. По лицу конвойного было видно, что ему жалко и противно.

– Живот болит, ну садись, – проворчал он сердито, – живее.

Но Мельшин, словно от боли и колик, ощерился и вдруг с бешеной силой закрутил ручку моторного завода. Солдат испуганно нагнулся к нему, оттаскивая. Мальчик-шофер проснулся, крикнул что-то злым голосом, выскочил из автомобиля. Все дальнейшее произошло в несколько секунд. Телегин, стараясь держаться ближе ко второму конвойному, наблюдал исподлобья за движениями Мельшина. Раздалось пыхтенье мотора и в такт этим резким, изумительным ударам страшно забилось сердце.

– Жуков, держи винтовку, – крикнул Телегин, обхватил своего конвойного поперек туловища, поднял на воздух, с силой швырнул его о землю и в несколько прыжков достиг автомобиля, где Мельшин боролся с солдатом, вырывая винтовку. Иван Ильич с налета ударил солдата кулаком в шею, – тот

ахнул и сел. Мельшин кинулся к рулю машины, нажал рычаги. Иван Ильич отчетливо увидел Жукова, лезущего с винтовкой в автомобиль, мальчишку шофера, крадущегося вдоль стены и вдруг шмыгнувшего в дверь комендантской, в окне длинное, искаженное лицо с моноклем, выскочившую на крыльцо фигурку коменданта, револьвер, пляшущий у него в руке... Затем, – свет и удар, свет и удар... «Мимо. Мимо. Мимо». Сердце остановилось, – показалось, что автомобиль врос колесами в торф. Но взвыли шестерни, машина рванулась. Телегин перевалился на кожаное сиденье. В лицо все сильнее подул ветер, быстро стала приближаться полосатая будка и часовой, взявший винтовку на прицел. Пах! Как буря, промчался мимо него автомобиль. Сзади по всему двору бежали солдаты, припадали на колено. Пах! Пах! Пах! – раздались слабые выстрелы. Жуков, обернувшись, грозил кулаком. Но мрачный квадрат бараков становился все меньше, ниже, и лагерь скрылся за поворотом. Навстречу летели, яростно мелькая мимо, – столбы, кусты, номера на камнях.

Мельшин обернулся, лоб его, глаз и щека были залиты кровью. Он крикнул Телегину:

– Прямо?

– Прямо и через мостик – направо, в горы.

XXVIII

Пустынны и печальны Карпаты в осенний, ветреный вечер. Тревожно и смутно было на душе у беглецов, когда по извилистой, вымытой дождями до камня, беловатой дороге они взобрались на перевал. Три, четыре оголенные до вершины, высокие сосны покачивались над обрывом. Внизу, в закурившемся тумане, почти невидимый, глухо шумел лес. Еще глубже, на дне пропасти, ворчал и плескался многоводный поток, грохотал каменьями.

За стволами сосен, далеко за лесистыми, пустынными вершинами гор, среди свинцовых туч светилась длинная, тускло-багровая щель заката. Ветер дул вольно и сильно на этой высоте, насвистывал в ушах забытым воспоминанием, хлопал кожей автомобильного фартука.

Беглецы сидели молча. Телегин рассматривал карту, Мельшин, облокотясь о руль, глядел в сторону заката. Голова его была забинтована тряпкой.

– Что же нам с автомобилем делать? – спросил он негромко, – бензина нет.

– Машину так оставлять нельзя, сохрани бог, – ответил Телегин.

– Спихнуть ее под кручу, только и всего. – Мельшин, крякнув, спрыгнул на дорогу, потопал ногами, разминаясь, и стал трясти Жукова за плечо. – Эй, капитан, будет тебе спать, приехали.

Жуков, не раскрывая глаз, вылез на дорогу, споткнулся и сел на камушек, – опять уронил голову. В него пришлось влить коньяку. Иван Ильич вытащил из автомобиля кожаные плащи и погребец с провизией, приготовленной судьям для обеда в «Гнилой Яме». Провизию разложили по карманам, надели плащи и, взявшись за крылья машины, покатили ее к обрыву.

– Сослужила, матушка, службу, – сказал Мельшин, – ну-ка – навались. Разом. Еще раз!

Передние колеса повисли над пропастью. Пыльно-серая, длинная машина, обитая кожей, окованная бронзой, послушная, как живое существо, осела, накренилась и вместе с камнями и щебнем рухнула вниз; на выступе скалы зацепилась, затрещала, перевернулась и со все увеличивающимся грохотом летящих камений и осколков железа загудела вниз, в поток. Отозвалось эхо и далеко покатилось по туманным ущельям.

Беглецы свернули в лес и пошли вдоль дороги. Говорили мало, шепотом. Было теперь совсем темно. Над головами важно шумели сосны, и шум их был подобен падающим в отдалении водам – суровый и вековечный.

Время от времени Телегин спускался на шоссе смотреть верстовые столбы. В одном месте, где предполагался военный пост, сделали большой обход, перелезли через несколько оврагов, в темноте натыкались на поваленные деревья, на горные ручьи, – промокли и ободрались. Шли всю ночь. Один раз под утро послышался шум автомобиля, – тогда они легли в канаву, автомобиль проехал неподалеку, были даже слышны голоса.

Утром беглецы выбрали место для отдыха в глухой лесной балке, у ручья. Поели, опорожнили до половины фляжку с коньяком, и Жуков попросил обрить его найденной в автомобиле бритвой. Когда были сняты борода и усы, у него неожиданно оказался детский подбородок и припухшие, большие губы, – кувшинное рыло. Телегин и Мельшин долго хохотали, указывая на него пальцами. Жуков был в восторге, мычал и мотал губами, – он просто оказался пьян. Его завалили листьями и велели спать.

После этого Телегин и Мельшин, разложив на траве карту, срисовали каждый для себя маленький топографический снимок. Назавтра решено было разделиться: Мельшин с Жуковым пойдут на Румынию, Телегин свернет на Галицию. Большую карту зарыли в землю. Нагребли листьев, зарылись в них и сейчас же уснули.

Это было в третий час пополудни. Над балкой, высоко на скале, стоял человек, опершись на ружье, – часовой, охраняющий мост. Вокруг, у ног его, в лесной пустыне было тихо, лишь тяжелый тетерев пролетел через поляну, задевая крыльями об ельник, да где-то однообразно, не спеша, падала вода. Часовой постоял и отошел, вскинув ружье.

Когда Иван Ильич открыл глаза – была ночь; между черных, неподвижных ветвей светились звезды, – они были большие и ясные, переливающиеся небесной влагой.

Он привстал, оглянулся и вновь лег на спину. Ночь была тихая, булькал в темноте ручеек. Иван Ильич начал припоминать вчерашний день, но ощущение душевного напряжения на суде и во время побега было столь болезненно, что он отогнал от себя эти мысли и опять стал смотреть в небо.

Над головой его в небольшом созвездии сияла голубым светом звезда. Тысячу лет тому назад побежал от нее этот голубой лучик и вот упал в глаза, коснулся сердца Ивана Ильича. И эта звезда, и Млечный Путь, и бесчисленные созвездия – лишь песчинка в небесном океане; а там, где-то, еще есть черные, угольные мешки, провалы в вечность. И все эти звезды и черные бездны – в нем, в горячем сердце Ивана Ильича, бьющемся – так-так, так-так – среди сухих листьев.

Должно быть, нужна была звездная пыль с миллиона миров, чтобы создать этот живой комочек сердца, и живет оно оттого, что хочет любить. И так же как таинственный, неощутимый свет звезд льется на землю, так сердце шлет навстречу им свой незримый свет – тоску по любви, и не хочет верить, что оно – мало, смертно. Это была минута божественной важности.

– Вы не спите, Иван Ильич? – спросил тихий голос Мельшина.

– Нет, давно не сплю. Вставайте, будите капитана. Надо собираться.

Через час Иван Ильич шагал один вдоль белеющей в темноте дороги.

XXIX

На десятые сутки Телегин достиг прифронтовой полосы. Все это время он шел только по ночам, с началом дня забирался в лес, а когда пришлось спуститься на равнину, выбирал для ночлега местечко подальше от жилья. Питался овощами, таскал их с огородов.

Ночь была дождливая и студеная. Иван Ильич пробирался по шоссе между идущими на запад санитарными фурами, полными раненых, телегами с домашним добром, толпами женщин и стариков, тащившими на руках детей, узлы и утварь.

Навстречу, на восток, двигались военные обозы и воинские части. Было странно подумать, что прошел четырнадцатый и пятнадцатый и кончается шестнадцатый год, а все так же по разбитым дорогам скрипят обозы, бредут в покорном отчаянии жители из сожженных деревень. Лишь теперь огромные воинские лошади – едва волочат ноги, солдаты – ободрались и помельчали, толпы бездомных людей – молчаливы и равнодушны. А там, на востоке, откуда резкий ветер гонит низкие облака, все еще бьют и бьют люди людей, переставших уже быть врагами, и не могут истребить друг друга.

На топкой низине, на мосту, через вздувшуюся речку шевелилось в темноте огромное скопище людей и телег. Громыхали колеса, щелкали бичи, раз-

давались крики команды, двигалось множество фонарей, и свет их падал на крутящуюся между сваями, мутную воду.

Скользя по скату шоссе, Иван Ильич добрался до моста. По нему проходил военный обоз. Раньше дня нечего было и думать пробраться на ту сторону.

При взъезде на мост лошади приседали в оглоблях, цеплялись копытами о размокшие доски, едва выворачивали груженые воза. С краю, у взъезда, стоял всадник в развеваемом ветром плаще, держал в руке фонарь и кричал хрипло. К нему подошел старик, сдернул картузик, – что-то, видимо, просил. Всадник, вместо ответа, ударил его в лицо рукоятью сабли, и старик повалился под колеса.

Дальний конец моста тонул в темноте, но по пятнам фонарей казалось, что там – тысячи беглецов. Обоз продолжал медленно двигаться. Иван Ильич стоял прижатый к телеге, – в ней в накинутом одеяле сидела худая женщина с висящими на глазах волосами. Одною рукой она обхватила птичью клетку, в другой держала вожжи. Вдруг обоз стал. Женщина с ужасом обернула голову. С той стороны моста вырастал гул голосов, быстрее двигались фонари. Что-то случилось. Дико, по-звериному, завизжала лошадь. Чей-то протяжный голос крикнул по-польски: «Спасайся»! И сейчас же ружейный залп рванул воздух. Шарахнулись лошади, затрещали телеги, завыли, завизжали женские, детские голоса.

Направо, издалека, мелькнули редкие искорки, донеслись ответные выстрелы. Иван Ильич влез на колесо, всматриваясь. Сердце колотилось, как молоток. Стреляли, казалось, отовсюду, по всей реке. Женщина с клеткой полезла с воза, задралась юбкой и упала: «Ой, ратуйте!» – басом закричала она. Клетка с птицей покатилась под откос.

С криками и треском обоз снова двинулся через мост на рысях. «Стой, стой!» – донеслись сейчас же надрывающиеся голоса. Иван Ильич увидел, как большая повозка накренилась к краю моста, перевалилась через перила и рухнула в реку. Тогда он соскочил с колеса, перепрыгивая через брошенные узлы, догнал обоз и бросился ничком на идущую телегу. Сейчас же в голову ему ударил сладкий запах печеного хлеба. Иван Ильич просунул руку под брезент, отломил от каравая горбушку и, задыхаясь от жадности, стал есть.

В суматохе, среди выстрелов, обоз перешел, наконец, на ту сторону моста. Иван Ильич спрыгнул с телеги, пробрался между экипажами беглецов на поле и пошел вдоль дороги. Из отрывочных фраз, уловленных из темноты, он понял, что стрельба была по неприятельскому, то есть русскому, разъезду. Стало быть, линия фронта верстах в десяти, не дальше, от этих мест.

Несколько раз Иван Ильич останавливался – перевести дух. Идти было трудно против ветра и дождя. Ноги ломило в коленях, лицо горело, глаза воспалились и припухли. Наконец, он сел на бугор канавы и опустил голову в

руки. За шею текли ледяные капли дождя, все тело болело, как перееханное колесами.

В это время до слуха его дошел круглый, глухой звук, точно где-то далеко провалилась земля. Через минуту возник второй такой же вздох ночи. Иван Ильич поднял голову, вслушиваясь. Он различил между этими глубокими вздохами глухое ворчание, то затихающее, то вырастающее в сердитые перекаты. Звуки доносились не с той стороны, куда Иван Ильич шел, а слева, почти со стороны противоположной.

Он пересел на другую сторону канавы; теперь ясно были видны низкие, рваные облака, летящие в небе, грязном и железном. Это был рассвет. Это был восток. Там была Россия.

Иван Ильич поднялся, затянул пояс и, разъезжаясь ногами по грязи, пошел в ту сторону через мокрые жнивья, канавы и полузавалившиеся остатки прошлогодних окопов.

Когда совсем разъяснело, Иван Ильич опять увидел в конце поля шоссейную дорогу, полную людей и экипажей. Он остановился, оглядываясь. В стороне, под огромным, наполовину облетевшим деревом, стояла белая часовенка. Дверь была сорвана, на круглой крыше и на земле валялись вялые листья.

Иван Ильич решил здесь подождать сумерек, зашел в часовенку и лег на зеленый от мха пол, лицом к стене. Нежный и томительный запах листьев туманил голову. Издалека доносились громыхание колес и удары бичей. Эти шумы казались удивительно приятными, и вдруг провалились. На глаза точно надавили пальцами. В свинцовой тяжести сна понемногу появилось живое пятнышко. Оно словно силилось стать сновидением, но не могло. Усталость была так велика, что Иван Ильич мычал, крутя головой, и поглубже зарывался в мягкую бездну сна. Но пятнышко появлялось снова, тревожило, будто что-то случилось, – душа заливалась слезами. Сон становился все тоньше, и опять загромыхали вдалеке колеса. Иван Ильич сел, оглядываясь. В дверь были видны плотные, плоские тучи: солнце, склонившись к закату, протянуло широкие лучи под их свинцово-мокрыми днищами. Жидкое пятно света легло на ветхую стену часовенки, осветило склоненное лицо деревянной, полинявшей от времени Божьей Матери в золотом венчике; Младенец, одетый в ветхие ризки, лежал у Нее на коленях, благословляющая рука Его была отломана.

Иван Ильич перекрестился мелким крестиком и вышел из часовни. На пороге ее, на каменной ступени, сидела молодая, светловолосая женщина с ребенком на коленях. Она была одета в белую, забрызганную грязью, свитку. Одна рука ее подпирала щеку, другая лежала на пестром одеяльце младенца. Она медленно подняла голову, взглянула на Ивана Ильича, – взгляд был свет-

лый и странный, исплаканное лицо ее дрогнуло, точно улыбнулось, и тихим голосом, просто, она сказала по-русински:

– Умер мальчик-то.

И опять склонила лицо на ладонь. Телегин нагнулся к ней, погладил по голове, – она порывисто вздохнула, и слезы полились по ее лицу.

– Пойдемте. Я его понесу, – сказал он ласково. Женщина качнула головой:

– Куда я пойду. Идите с богом одни, пан добрый.

Иван Ильич постоял еще с минуту, дернул картуз на глаза и отошел. В это время из-за часовни рысью выехали два австрийских полевых жандарма, в мокрых и грязных капотах, усатые и сизые. Проезжая, они оглянулись на Ивана Ильича, сдержали лошадей, и тот из них, кто был впереди, крикнул хрипло: – Подойди!

Иван Ильич приблизился. Жандарм, нагнувшись с седла, внимательно ощупал его карими глазами, воспаленными от ветра и бессонницы, – вдруг они блеснули радостно.

– Русский! – крикнул он, хватая Телегина за воротник. Иван Ильич не вырывался, только усмехнулся криво.

Телегина отвели версты за три и заперли в сарае. Была уже ночь. Явственно доносился гул орудийной стрельбы. Сквозь щели был виден тускло-красный свет зарева на востоке. Иван Ильич доел остаток хлеба, взятого давеча с воза, походил вдоль дощатых стен, осматривая – нет ли где лаза, споткнулся на тюк прессованного сена, зевнул и лег. Но заснуть ему не пришлось, – после полуночи где-то неподалеку начали бухать четыре орудия. Красноватые вспышки проникали сквозь щели сарая. Иван Ильич привстал, прислушиваясь. Промежутки между очередями уменьшались, дрожали стены сарая, и вдруг совсем близко затрещали частые ружейные выстрелы.

Ясно, что бой приближался. За стеной послышались встревоженные голоса, запыхтел автомобиль. Протопало множество ног. Чье-то тяжелое тело ударилось снаружи о доски сарая. И тогда только Иван Ильич различил, как в стену точно бьют горохом. Он сейчас же лег на землю, за тюк сена.

Даже здесь, в сарае, пахло пороховым дымом. Стреляли без перерыва, очевидно – русские наступали со страшной быстротой. Но эта буря раздирающих душу звуков продолжалась недолго. Послышались лопающиеся удары – разрывы ручных гранат, точно давили орехи. Иван Ильич вскочил, заметался вдоль стены. Неужели отобьют? И, наконец, раздался хрипло-пронзительный рев, визг, топот. Сразу стихли выстрелы. Рванулось несколько гранат. В долгую секунду тишины были слышны только удары в мягкое, железный лязг. Затем испуганно закричали голоса: «Сдаемся, рус, рус!..»

Отодрав в двери щепу, Иван Ильич увидел бегущие фигуры, – они закрывали головы руками. Справа на них налетели огромные тени всадников, врезались в толпу, закрутились. – Стой, стой, сдаемся! – кричали бегущие... Трое пеших повернули к сараю. Вслед им рванулся всадник, без шапки, со взвившимся за спиною башлыком. Лошадь – огромный зверь – храпя, тяжело поднялась на дыбы. Всадник, как пьяный, размахивал шашкой, рот его был широко разинут. И когда лошадь опустила перед, он со свистом ударил шашкой, и лезвие, врезавшись, сломалось.

– Выпустите меня! – не своим голосом закричал Телегин, стуча в дверь. Всадник осадил лошадь:

– Кто кричит?

– Пленный. Русский офицер.

– Сейчас. – Всадник швырнул рукоять шашки, нагнулся и отодвинул засов. Иван Ильич вышел, и тот, кто выпустил его, офицер дикой дивизии[1], сказал насмешливо:

– Вот так встреча!

Иван Ильич всмотрелся:

– Не узнаю.

– Да – Сапожков, Сергей Сергеевич. – И он захохотал резким, хриплым смехом. – А хорошее было дело, черт возьми! Жаль – шашку сломал.

XXX

Последний час до Москвы поезд с протяжным свистом катил мимо опустевших дач; белый дым его путался в осенней листве, в прозрачно-желтом березняке, в пурпуровом осиннике, откуда пахло грибами. Иногда к самому полотну свисала багровая, лапчатая ветвь клена. Сквозь поредевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клумбах, в дачных домиках – забитые ставни, на дорожках, на ступенях – покров из листьев.

Вот пролетел мимо полустанок, где два солдата с котомками, разинув рты, глядели на окна поезда, и на скамье в клетчатом пальтишке сидела грустная, забытая Богом барышня, чертя концом зонтика узор на мокрых досках платформы. Вот за поворотом, из-за деревьев, появился деревянный щит с нарисованной бутылкой – «Несравненная Рябиновая Шустова»[1]. Вот кончился лес, и направо и налево потянулись длинные гряды бело-зеленой капусты, у шлагбаума – воз с соломой и баба в мужицком полушубке держит под уздцы упирающуюся сивую лошаденку. А вдали под длинной тучей уже видны были острые верхи башен и высоко над городом – пять сияющих луковиц Христа Спасителя[2].

Телегин лежал в вагонном окошке, вдыхая густой запах октября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то соломы и земли, на рассвете хваченной морозцем.

Он чувствовал, как позади осталась трудная дорога двух мучительных лет, и конец ее – в этом чудесном, долгом часе ожидания. Иван Ильич рассчитал: ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка в той единственной двери, – она ему представлялась светло-дубовой, с двумя окошечками наверху, – куда он притащился бы и мертвый.

Огороды кончились, и с боков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместий, грубо мощеные улицы с грохочущими ломовыми, заборы и за ними сады с древними липами, протянувшими ветви до середины переулков, пестрые вывески, прохожие, идущие по своим пустяковым делам, не замечая ни гремящего поезда, ни его – Ивана Ильича – в вагонном окошке; внизу, в глубину улицы побежал, как игрушечный, трамвай, из-за дома выдвинулся купол церковки, – Иван Ильич быстро перекрестился, – колеса застучали по стрелкам. Наконец, наконец, после двух долгих лет, – поплыл вдоль окон асфальтовый перрон московского вокзала. В вагоны полезли чистенькие и равнодушные старички в белых фартуках. Иван Ильич далеко высунул голову, вглядываясь. Глупости, он же не извещал о приезде.

Держа в руке плохонький, купленный наспех в Киеве чемоданчик, Иван Ильич вышел с вокзала и не мог – рассмеялся: шагах в пятидесяти на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая с козел рукавицами, они кричали:

– Я подаю! Я подаю! Я подаю!

– Ваше здоровье, куда же вы на пегую лезете, вот на вороной!

– Пожалуйте, пожалуйте, я вас катаю!

– Куда прешь, черт паршивый, осади!

– Вот, на резвой, на дудках!

Лошади, осаженные вожжами, топотали, храпели, взвизгивали. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного – и весь ряд извозчиков налетит на вокзал.

Иван Ильич взобрался на очень высокую пролетку с узким сиденьем; наглый, красивый мужик – лихач – с ласковой снисходительностью спросил у него адрес и для шику, сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожжи, запустил рысака, – дутые шины запрыгали по булыжнику.

– С войны, ваше здоровье? – спросил лихач Ивана Ильича.

– Из плена, бежал.

– Да неужто? Ну, что, как у них? Говорят – совсем есть нечего. Эй, поберегись, бабушка... Национальный герой... Много бегут оттуда нашего брата, все от голода. Ломовой, берегись... Ах, невежа, нажрался ханжи... Ивана Трифоныча не знаете?

– Какого?

– С Разгуляя, карболовкой он, не то серой торгует. Вчера ездил на мне, плачет. Ах, история!.. Нажился на поставках, денег девать некуда, а жена его возьми – с полячишком третьего дня и убежала. И убежала-то недалеко –

в Петровский парк, к Жану. На другой день наши извозчики всю Москву оповестили о происшествии, Ивану-то Трифонычу хоть на улицу не выходи, все смеются... Вот тебе и нажился, наворовал...

– Голубчик, скорее, пожалуйста, – проговорил Иван Ильич, хотя лихацкий высокий жеребец и без того, как ветер, летел по переулку, задирая от дурной привычки злую морду.

– Приехали, ваше здоровье, второй подъезд. Тпру, Вася...

Иван Ильич быстро, с трепетом, взглянул на шесть окон белого особнячка, где покойно и чисто висели кружевные шторы, и спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львиной головой на ручке, и звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд Иван Ильич простоял, не в силах поднять руки к звонку, сердце билось редко и больно. «В сущности говоря, ничего еще не известно, – может – дома никого нет, может, и не примут», – подумал он и потянул медную пуговку. В глубине звякнул колокольчик. «Конечно, никого нету дома». И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Иван Ильич растерянно оглянулся, – чернобородая, веселая рожа лихача подмигнула. Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась, и высунулось рябенькое лицо горничной.

– Здесь проживает Дарья Дмитриевна Булавина? – кашлянув, проговорил Телегин.

– Дома, дома, пожалуйте, – ласково, нараспев, ответила рябенькая девушка, – и барыня, и барышня дома.

Иван Ильич, как во сне, прошел через сени-галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубами. Горничная отворила направо вторую дверь, обитую черной клеенкой, – в полутемной, маленькой прихожей висели женские пальто, перед зеркалом лежали перчатки, косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый, едва заметный, запах изумительных духов исходил ото всех этих невинных вещей.

Горничная, не спросив имени гостя, пошла докладывать. Иван Ильич коснулся пальцами пухового платка и вдруг почувствовал, что связи нет между этой чистой, прелестной жизнью и им, вылезшим из кровавой каши. «Барышня, вас спрашивают», – услышал он в глубине дома голос горничной. Иван Ильич закрыл глаза, – сейчас раздастся гром небесный, и затрепетав с головы до ног, услышал голос быстрый и ясный:

– Спрашивают меня? Кто?

По комнате зазвучали шаги. Они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях прихожей из света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились. Она казалась выше ростом и тоньше. На ней была вязаная кофточка и синяя юбка.

– Вы ко мне?

Даша запнулась, ее лицо задрожало, брови взлетели, рот приоткрылся, но сейчас же тень мгновенного испуга сошла с лица, и глаза засветились изумлением и радостью.

– Это вы? – чуть слышно проговорила она, закинув локоть, стремительно обхватила шею Ивана Ильича и нежно-дрожащими губами поцеловала его. Потом отстранилась и пальцем тронула глаза.

– Иван Ильич, идите сюда, – и Даша побежала в гостиную, села в кресло, закрыла лицо руками и, пригнувшись к коленям, заплакала.

– Ну, глупо, глупо, конечно... Сейчас пройдет, – прошептала она, изо всей силы вытирая глаза. Иван Ильич стоял перед ней, прижимая к груди картуз. Вдруг Даша, схватившись за ручки кресел, подняла голову:

– Иван Ильич, вы бежали?

– Убежал.

– Господи, ну?

– Ну, вот и... прямо сюда.

Он сел напротив в кресло, картуз положил на стол и глядел под ноги.

– Как же это произошло? – с запинкой спросила Даша.

– В общем, – обыкновенно.

– Было опасно?

– Да... То есть – не особенно.

Понемногу обоих начала опутывать застенчивость, как паутина; Даша тоже теперь опустила глаза:

– А сюда, в Москву, давно приехали?

– Только что с вокзала.

– Я сейчас скажу кофе...

– Нет, не беспокойтесь... Я – сейчас в гостиницу.

Тогда Даша чуть слышно спросила:

– Вечером придете?

Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся.

– Значит, я поеду. Вечером приеду.

Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную и сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо, кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся. Даша стояла спиной к свету и глядела исподлобья, странно, не ласково.

– Часов в семь можно прийти, Дарья Дмитриевна? – Она кивнула. Иван Ильич выскочил на крыльцо и сказал лихачу:

– В гостиницу, в хорошую, в самую лучшую!

Сидя, откинувшись, в пролетке, засунув руки в рукава пальто, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени – людей, деревьев, экипажей – летели перед глазами. Студеный, пахнущий русским городом, ветерок холодил лицо.

Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся: «Колдовство!»

В это же время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело, никакими силами нельзя было собраться с духом, сообразить, – что же случилось? Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре.

Екатерина Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Дашины шаги, она спросила, не поднимая головы:

– Даша, кто был у тебя?

– Он.

Катя вгляделась, лицо ее дрогнуло.

– Кто?

– Он... Не понимаешь, что ли... Он... Иван Ильич.

Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками.

– Катя, ты пойми, я даже не рада, мне только страшно, – проговорила Даша глухим голосом.

XXXI

Когда наступили сумерки, Даша начала вздрагивать от каждого шороха, бежала в гостиную и прислушивалась. Несколько раз раскрывала какую-то книжку, – приложение к «Ниве», – все на одной и той же странице... «Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от Крафта...»[1]. Кинув книжку, Даша подходила к окну. В морозных сумерках вспыхнули два окна напротив в доме, где жила актриса Чародеева, – там горничная в чепчике беззвучно накрывала на стол; появилась худая как скелет Чародеева в накинутой на плечи бархатной шубке, села к столу и зевнула, – должно быть, спала на диване; налила себе супу и вдруг задумалась, уставилась стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. «Маруся любила шоколад», – сквозь зубы повторила Даша. Вдруг – позвонили. У Даши кровь отлила от сердца. Но это принесли вечернюю газету. «Не придет», – подумала Даша и пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью и тикали часы. Даша села у стола: «Вот так с каждой секундой уходит жизнь...»

В парадном опять позвонили. Задохнувшись, Даша опять вскочила и выбежала в прихожую... Пришел сторож из лазарета, принес пакет с бумагами. Тогда Даша ушла к себе и легла на диванчик.

Иван Ильич не придет, конечно, и прав: – ждала два года, а дождалась – слова не нашла сказать. Вместо любви – пустое место.

Даша вытащила из-под шелковой подушечки носовой платок и стала надрывать его с уголка. «Чувствовала, ведь знала, что именно так это все и случится. За два года забыла Ивана Ильича, – любила своего какого-то, выдуманного, а пришел новый, чужой, живой».

«Ужасно, ужасно», – думала Даша. Бросила платок и спустила ноги с дивана. «Он ничего не должен знать, и сама не смеешь ни о чем думать. Люби. Не можешь – все равно – люби. Воли моей больше нет. Теперь – вся его...»

И вдруг ей стало спокойно: «Буду покорна, пусть любит какая есть». Даша вздохнула, поднялась с дивана и, присев у зеркала, поправила волосы, припудрилась, чтобы не было заметно слез. Потом облокотилась и стала глядеть на себя в зеркало. Из овальной рамы смотрела на нее очень хорошенькая девушка с легкими волосами, с грустным личиком, с детским, чуть-чуть припухшим ртом. Носик – тоненький, ветреный. Глаза – большие, ясные. Слишком уж что-то ясные.

Вглядываясь, Даша придвинулась ближе... «Так-таки ничего и не случилось, все ясно, благополучно. Ангел, чистый ангел... Ни в чем не виновата... – Даша усмехнулась, зеркало подернулось дымкой. – Последнюю минутку доживаете, прощайте, выведут вас на свежую воду... Глазки-то потемнеют...»

Даша прислушалась, как словно медленный, горячий поток пошел по ее телу. Ей было горячо и покойно. Она не заметила, как приотворилась дверь и появилась рябенькая Лиза:

– Барышня, к вам пришли.

Даша глубоко вздохнула, поднялась, – легко, точно не касаясь ногами пола, – и вошла в столовую. Катя увидела Дашу первая и улыбнулась ей. Иван Ильич вскочил, мигнул точно от яркого света и выпрямился.

Одет он был в новую, суконную рубаху, с новеньким, через одно плечо, снаряжением, чисто выбрит и подстрижен. Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. Конечно, это был совсем новый человек. Взгляд светлых глаз его – тверд, по сторонам прямого, чистого рта – две морщинки, две черточки, – у Даши забилось сердце, она поняла, что это – след смерти, ужаса и страдания. Его рука была сильна и холодна как лед. Даша коротко вздохнула.

– Садитесь, Иван Ильич, – сказала она, подходя к столу, – рассказывайте...

Она взяла стул и села рядом с Телегиным. Он положил руки на скатерть, стиснул их и, поглядывая на Дашу, быстро, мельком, начал рассказывать о плене и о побеге из плена. Даша, сидя совсем близко, глядела ему в лицо, рот ее приоткрылся.

Рассказывая, Иван Ильич слушал, как голос его звучит точно издалека – чужой, и сами складываются слова, а он весь потрясен и взволнован тем, что рядом, касаясь его колена платьем, сидит невыразимое никакими словами существо – девушка, родная, жуткая, непонятная совершенно, и пахнет от нее не то лесной полянкой, не то цветами – чем-то теплым, кружащим голову.

Иван Ильич рассказывал весь вечер. Даша переспрашивала, перебивала его, всплескивала руками, оглядывалась на сестру:

– Катюша, понимаешь, – приговорили его к расстрелу, ты только вдумайся!..

Когда Телегин описывал борьбу за автомобиль, секундочку, отделявшую от смерти, рванувшуюся, наконец, машину и ветер, кинувшийся в лицо, – свобода, жизнь! – Даша страшно побледнела, схватила его за руку:

– Мы вас никуда больше не отпустим.

Телегин засмеялся:

– Призовут опять, ничего не поделаешь. Я только надеюсь, что меня отчислят куда-нибудь на военный завод.

Он осторожно сжал ее руку. Даша стала смотреть ему в глаза, вгляделась внимательно, на щеки ее взошел легкий румянец, она освободила руку:

– Почему вы не курите? Я вам принесу спичек.

Она быстро вышла и сейчас же вернулась с коробкой спичек, остановилась перед Иваном Ильичом и начала чиркать спички, держа их за самый кончик, они ломались, – ну уж и спички наша Лиза покупает! – наконец, спичка зажглась. Даша осторожно поднесла к папиросе Ивана Ильича огонек, осветивший снизу ее нежный подбородок. Телегин закурил, жмурясь. Он не знал, что можно испытать такое счастье, закуривая папиросу.

Катя за все это время молча следила за Дашей и Телегиным. Ей было невыносимо грустно, и она сдерживалась, чтобы не заплакать. Из памяти ее не выходил не забытый, как она надеялась, совсем не забытый милый Вадим Петрович Рощин: он так же сидел с ними за столом и так же однажды она принесла ему спичек и сама зажгла, не сломав ни одной.

В полночь Телегин ушел. Даша, крепко обняв, поцеловала сестру и заперлась у себя. Лежа в постели, закинув руки за голову, она думала, что вот, вынырнула, наконец, из душного тумана, – кругом еще дико и пусто, и жутковато, но все – синее, но это – счастье.

XXXII

На пятый день приезда Иван Ильич получил из Петрограда казенный пакет с назначением немедленно явиться на Обуховский завод в распоряжение главного инженера.

Радость по поводу этого, остаток дня, проведенный с Дашей в суете по городу, торопливое прощанье на Николаевском вокзале, затем – купе второго класса, с сухим теплом и пощелкивающим отоплением, и неожиданно найденный в кармане пакетик, перевязанный ленточкой, и в нем – два яблока, шоколад и пирожки, – все это было как во сне. Иван Ильич расстегнул пуговки на воротнике суконной рубахи, вытянул ноги и, не в силах согнать с лица глупейшей улыбки, глядел на соседа напротив, – неизвестного, строгого старичка в очках.

– Из Москвы изволите ехать? – спросил старичок.

– Да, из Москвы. – Боже, какое это было чудесное, любовное слово – Москва!.. переулки, залитые осенним солнцем, сухие листья под ногами, легкая, тонкая Даша, идущая по этим листьям, ее умный, ясный голос, – слов он не помнил никаких, – и постоянный запах яблока, когда он наклонялся к ней или целовал ее руку.

– Содом, содомский город, – сказал старичок, – три дня прожил у вас на Кокоревском подворье...[1] Насмотрелся... – Он раздвинул ноги, обутые в сапоги и высокие калоши, и плюнул. – На улицу выйдешь: люди – туда-сюда, – что такое?.. По лавкам бегают, на извозчиках гоняют, торопятся... Какая причина? А ночью: свет, шум, вывески, все это вертится, крутится... Народ валит валом... Чепуха, бессмыслица!.. Господи, да это Москва!.. Отсюда земля пошла... А вижу я что: бесовская, бессмысленная беготня. Вы, молодой человек, в сражениях бывали, ранены?.. Это я сразу вижу... Скажите мне, старику, – неужели за эту суету окаянную у нас там кровь льется? Где отечество? Где вера? Где царь? Укажите мне. Я вот за нитками сейчас в Петроград еду... Да провались они, эти нитки!.. Тьфу!.. Глаза бы не глядели... С чем я в Тюмень вернусь, что привезу – нитки?.. Нет, я не нитки привезу, а приеду, скажу: люди, пропали мы все, вот что я привезу... Попомните мое слово, молодой человек, – поплатимся, за то именно, что там, где человеку нужно тихо пройти, он раз тридцать пробежит... За эту бессмыслицу отвечать придется... – Старичок, опираясь о колени, поднялся и опустил шторку на окне, за которым в темноте летели паровозные искры огненными линиями. – Бога забыли, и Бог нас забыл... Вот что я вам скажу... Будет расплата, ох, будет расплата жестокая...

– Что же вы думаете: немцы нас, что ли, завоюют? – спросил Иван Ильич.

– Кто их знает. Кого Господь пошлет карателем – от того и примем муку... Послушайте, – у меня, скажем, в лавке молодцы начали безобразничать... Потерплю, потерплю, да ведь, одному – по затылку, другого – взашей, третьего мордой ткну... А Россия разве лавочка? Господь милосерд, но когда люди к Нему дорогу загадили, – надо дорогу чистить или нет, а? Вот про что я говорю... Не в том дело, молодой человек, чтобы по средам, пятницам мясного не жрать, а – посерьезнее... Я говорю: Бог от мира отошел... Страшнее этого быть ничего не может...

Старичок сложил руки на животе, закрыл глаза и, строго поблескивая очками, потряхивался в углу серой койки. Иван Ильич вышел из купе и стал в проходе у окна, почти касаясь стекла лицом. Сквозь щелку проникал свежий, острый воздух. За окном, в темноте, летели, перекрещивались, припадали к земле огненные линии. Проносилось иногда серое облако дыма. Постукивали послушно колеса вагонов. Вот завыл протяжно паровоз, заворачивая, осветил

огнем из топки черные конуса елей, – они выступили из темноты и пропали. Простучала стрелка, мягко колыхнулся вагон, мелькнул зеленый щиток фонаря, и снова огненным дождем понеслись вдоль окна длинные линии.

Глядя на них, Иван Ильич с внезапной, потрясающей радостью почувствовал во всю силу все, что случилось с ним за эти пять дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это свое чувство, – его бы сочли сумасшедшим. Но для него не было в этом ничего ни странного, ни безумного: все необыкновенно ясно.

Он чувствовал: в ночной темноте движутся, мучаются, умирают миллионы миллионов людей. Всем этим миллионам миллионов кажется, будто они живые люди. Но они живы лишь условно, и все, что происходит сейчас на земле, – условно, почти кажущееся. Настолько почти кажущееся, что, если бы он, Иван Ильич, сделал бы еще одно усилие, все бы изменилось, стало иным. И вот, среди этого кажущегося существует живая сердцевина: это его, Ивана Ильича, пригнувшаяся к окну фигура. Это – возлюбленное существо. Оно вышло из мира теней и в огненном дожде мчится над темным миром. В нем сильно, в божественной радости, бьется сердце, бежит сок любви, – живая кровь.

Это необыкновенное чувство любви к себе продолжалось несколько секунд. Он вошел в купе, влез на верхнюю койку, поглядел, раздеваясь, на свои большие руки и в первый раз в жизни подумал, что они красивы. Он закинул их за голову, закрыл глаза и сейчас же увидел Дашу. Она взволнованно, влюбленно глядела ему в глаза. (Это было сегодня, в столовой; Даша заворачивала пирожки, Иван Ильич, обогнув стол, подошел к ней и поцеловал ее в теплое плечо, она быстро обернулась, он спросил: «Даша, вы будете моей женой?» Она не ответила и только взглянула.)

Сейчас, на койке, видя Дашино лицо и не насыщаясь этим видением, Иван Ильич, также в первый раз в жизни, почувствовал ликование, восторг от того, что Даша любит его, – того, у кого большие и красивые руки. Сердце его отчаянно билось.

По приезде в Петроград Иван Ильич в тот же день явился на Обуховский завод и был зачислен в мастерские, в ночную смену.

На заводе многое изменилось за эти три года: рабочих увеличилось втрое, часть была молодежь, часть переведена с Урала, часть взята из действующей армии. Прежнего рабочего – полуголодного, полупьяненького, озлобленного и робкого – не осталось и в помине. Рабочие зарабатывали хорошие деньги, читали газеты, ругали войну, царя, царицу, Распутина и генералов, были злы и все уверены, что после войны «грянет революция».

В особенности злы были все на то, что в городских пекарнях в хлеб начали примешивать труху, и на то, что на рынках по нескольку дней иногда не

бывало мяса, а бывало, так – вонючее, картошку привозили мерзлую, сахар – с грязью, и к тому же – продукты все вздорожали, а лавочники, скоробогачи и спекулянты, нажившие на поставках, платили в это время по пятьдесят рублей за коробку конфет, по сотне за бутылку шампанского и слышать не хотели замиряться с немцем.

Зачислясь на завод, Иван Ильич получил для устройства личных дел трехдневный отпуск и все это время бегал по городу в поисках квартиры. Отчетливо он не представлял себе – для чего ему нужна квартира, но тогда, лежа в купе, он сообразил, что необходимо снять изящную квартиру с белыми комнатами, с синими занавесками, с чисто вымытыми окнами.

Он пересмотрел десятки домов, – ему ничто не нравилось: то была стена напротив, то обстановка слишком аляповата, то чересчур мрачно. Но в последний день, неожиданно, он нашел именно то, что представилось ему тогда в вагоне: пять небольших белых комнат с чисто вымытыми окнами, обращенными на закат. Квартира эта, в конце Каменноостровского, была дороговата для Ивана Ильича, но он ее сейчас же снял и написал об этом Даше.

На четвертую ночь он поехал на завод. На черном от угольной грязи дворе горели на высоких столбах фонари. Дым из кирпичных труб сыростью и ветром сбивало к земле, желтоватой и душной гарью был насыщен воздух. Сквозь полукруглые, огромные и пыльные окна заводских корпусов было видно, как крутились бесчисленные шкивы и ремни трансмиссий, двигались чугунные станины станков, сверля, стругая, обтачивая сталь и бронзу. Вертелись вертикальные диски штамповальных машин. В вышине бегали, улетали в темноту каретки подъемных кранов. Розовым и белым светом пылали горны. Потрясая землю короткими ударами, ходила гигантская крестовина парового молота. Из низких труб вырывались в темноту сырого неба столбы пламени. Человеческие фигуры не спеша двигались среди этого скрежета, грохота станков...

Иван Ильич вошел в мастерскую, где работали прессы, формуя шрапнельные стаканы. Инженер Струков, старый знакомый, повел его по мастерской, объясняя некоторые, неизвестные Телегину, особенности работы. Затем вошел с ним в дощатую конторку, в углу мастерской, где показал книги, ведомости, передал ключи и, надевая пальто, сказал: «Мастерская дает двадцать три процента браку, этой цифры вы и держитесь».

В его словах и в том, как он сдавал мастерскую, Иван Ильич почувствовал равнодушие к делу, а Струков, каким он его знал раньше, был отличный инженер и горячий человек. Это его огорчило, он спросил:

– Понизить процент брака, вы думаете, – невозможно?

Струков, зевая, помотал головой, надвинул глубоко на нечесаную голову фуражку и вернулся с Иваном Ильичом к станкам:

– Плюньте, батюшка. Не все ли вам равно, – ну, на двадцать три процента убьем меньше людей на фронте. К тому же ничего сделать нельзя, – станки износились, ну их к черту!

Он остановился около пресса. Старый, коротконогий рабочий, в кожаном фартуке, наставил под штамп раскаленную болванку, рама опустилась, стержень штампа вошел, как в масло, в розовую сталь, выпыхнуло горючее пламя, рама поднялась и на земляной пол упал трехдюймовый шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку. Другой, молодой, высокий рабочий, с закрученными, черными усиками, возился у горна. Струков, обращаясь к старичку, сказал:

– Что, Рублев, стаканчики-то все бракованные? – Старичок усмехнулся, – мотнул в сторону редкой бородкой и хитро, щелками глаз, покосился на Телегина.

– Это верно, что бракованные. Видите, как она работает. – Он положил руку на зеленый от жира столбик, по которому скользила рама пресса. – В ней дрожь обозначается. Эту бы чертовину выкинуть давно пора.

Молодой рабочий у горна, сын Ивана Рублева, Васька, засмеялся:

– Много бы надо отсюда повыкидать. Заржавела машина.

– Ну, ты, Васька, полегче, – сказал Струков весело.

– Вот то-то, что легче. – Васька тряхнул кудрявой головой, и красивое, слегка скуластое лицо его, с черными усиками и злыми, пристальными глазами, осклабилось недобро и самоуверенно.

– Лучшие рабочие в мастерской, – отходя, негромко сказал Струков Ивану Ильичу. – Прощайте. Сегодня еду в «Красные бубенцы». Никогда там не бывали? Замечательный кабачок, и вино дают.

Телегин с любопытством начал приглядываться к отцу и сыну Рублевым. Его поразил тогда в разговоре почти условный язык слов, усмешек и взглядов, какими обменялся с ними Струков, и то, как они втроем словно испытывали Телегина: наш он или враг? По особенной легкости, с какою в последующие дни Рублевы вступали с ним в беседу, он понял, что он – «наш».

Это «наш» относилось не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него чрезвычайно неопределенными, и не к его прошлому на заводе, а скорее к тому сильному ощущению счастья, какое испытывал всякий в его присутствии: источник какого-то огромного, всем доступного счастья был заключен в Иване Ильиче, и поэтому для всякого он был «наш».

В ночные дежурства Иван Ильич часто, подходя к Рублевым, слушал, как отец и сын заводили споры.

Васька Рублев был социалист, начитан и зол, и только и мог говорить, что о классовой борьбе и о диктатуре пролетариата, причем выражался книжно и

лихо. Иван Рублев был старообрядец, хитрый, верующий, но совсем не богобоязненный старичок. Он говаривал:

– У нас, в Пермских лесах, по скитам, в книгах, – все прописано: и эта самая война, и как от войны будет нам разорение, – вся земля наша разорится, и сколько останется народу, а народу останется самая малость... И как выйдет из лесов, из одного скита, человек и станет землей править, и править будет страшным Божьим словом.

– Мистика, – говорил Васька, подмигивая.

– Ах ты, подлец, невежа, слов нахватался... Социалистом себя кличет!.. Какой ты социалист, – станичник, сукин сын. Я сам такой был. Ему бы ведь только дорваться: шапку на ухо, рубашку на себе изодрать, в глазах все дыбом лезет, песни орет, – «Вставай на борьбу...» С кем, за что?.. Баклушка осиновая!

– Видите, как старичок выражается, – указывая на отца большим пальцем, говорил Васька, – анархист самый вредный, в социализме ни уха ни рыла не смыслит, а мне в порядке возражения кажный раз лезет в зубы.

– Нет, – перебивал Иван Рублев, выхватывая из горна брызжущую искрами болванку, – нет, господа, – и, описав ею полукруг, ловко подставлял под опускающийся стержень пресса, – книги вы читаете, а не те читаете, какие нужно... Вот, Васька заладил одно – свобода!.. Свобода ему нужна... А ты возьми ее: схвати дым рукой, – вот то-то. А смиренства нет ни у кого, об этом они не думают... Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени.

– Фу, ты – путаница у тебя в голове, батя, – с досадой сказал Васька, – а давеча кричал: я, говорит, революционер.

– Да, кричал. А тебе что? Я, брат, если что, – первый эти вилы-то схвачу. Мне зачем за царя держаться? – я мужик. Я сохой за тридцать лет знаешь сколько земли исковырял? С кашей я стану есть твою свободу? Мне земля нужна, а не эти твои чертовы орешки – он пихнул сапогом в кучу шрапнелей на полу, – революционер!.. Конечно, я революционер: мне, чай, спасение души дорого али нет?..

Васька только плюнул на это. Иван Ильич, засмеявшись, поднялся и потянулся. Ночь подходила к концу.

Телегин писал Даше каждый день, она отвечала ему реже. Ее письма были странные, точно подернутые ледком, и Иван Ильич испытывал чувство легонького озноба, читая их. Обычно он садился к окну и несколько раз прочитывал листок Дашиного письма, исписанный крупными, загибающимися вниз строчками. Потом глядел на лилово-серый лес на островах, на облачное небо, такое же мутное, как вода в канале, – опирался подбородком о подоконник, глядел и думал, что так именно и нужно, чтобы Дашины письма не были

нежными, как ему по неразумию хочется, что Даша пишет их честно и внимательно, на душе ее – честно, тихо и строго, точно Великим Постом перед отпущением грехов.

«Милый друг мой, – писала она, – вы сняли квартиру в целых пять комнат. Подумайте – в какие вы вгоняете себя расходы. Ведь, если даже придется вам жить не одному, – то и это много: пять комнат! А прислуга, – нужно держать двух женщин, это по нашему-то времени! Кажется, – залезть бы в щелку и сидеть там – не дышать... У нас, в Москве, – осень, холодно, дожди – просвета нет... Подождем весны...»

Как тогда, в день отъезда Ивана Ильича, Даша ответила только взглядом на вопрос его – будет ли она его женой, так и в письмах она никогда прямо не упоминала ни о свадьбе, ни о будущей жизни вдвоем. Нужно было ждать весны.

Это ожидание весны и смутной, отчаянной надежды на какое-то чудо было теперь у всех. Жизнь останавливалась, заваливалась на зиму – сосать лапу. Наяву, казалось, не было больше сил пережить это новое ожидание кровавой весны.

Однажды Даша написала: «...Я не хотела ни говорить вам, ни писать о смерти Бессонова. Но вчера мне опять рассказывали подробности его ужасной гибели. Иван Ильич, незадолго до его отъезда на фронт, я встретила его на Тверском бульваре. Он был очень жалок, и, мне кажется, – если бы я его тогда не оттолкнула, он бы не погиб. Но я оттолкнула его. Я не могла сделать иначе, и я бы так же сделала, если бы пришлось повторить прошлое. Его смерть лежит на мне, я принимаю это. Нужно, чтобы и вы это поняли».

Телегин просидел полдня над ответом на это письмо... «Как можно думать, что я не приму всего, что с вами, – писал он очень медленно, вдумываясь, чтобы не покривить ни в одном слове. – Я иногда проверяю себя, – если бы вы даже полюбили другого человека, то есть случилось бы самое страшное, – то что со мной?.. Я принял бы и это... Я бы не примирился, нет: мое бы солнце потемнело... Но разве любовь моя к вам в одной радости? Я знаю чувство, когда хочется умереть, потому что слишком глубоко любишь... Так, очевидно, чувствовал Бессонов, когда уезжал на фронт... Пусть его имя будет свято... И вы, Даша, должны чувствовать, что вы бесконечно свободны... Я ничего не прошу у вас, даже любви... Я это понял за последнее время... Мне бы хотелось, действительно, стать нищим духом... Боже мой, боже мой, в какое тяжелое время мы любим!...»

Через два дня Иван Ильич вернулся на рассвете с завода, принял ванну и лег в постель, но его сейчас же разбудили, – подали телеграмму: «Все хорошо. Люблю страшно. Твоя Даша»...

Вечером, в одно из воскресений, инженер Струков заехал за Иваном Ильичом и повез его в «Красные бубенцы».

Кабачок помещался в подвале, пропахшем табаком, винными и человеческими испарениями. Сводчатый потолок и стены были расписаны пестрыми птицами, голыми, ненатурального цвета и сложения, женщинами, младенцами с развращенными личиками и многозначительными завитушками. Было шумно и дымно. На эстраде сидел маленький лысый человек с дряблыми и нарумяненными щеками и перебирал клавиши рояля. Столики были заполнены. Несколько офицеров пили крепкий крюшон и оборачивались на проходивших женщин. Кричали, спорили присяжные поверенные, причастные к искусству. Громко хохотала царица подвала, черноволосая красавица с припухшими глазами. На краю одного из столиков Антошка Арнольдов, крутя прядь волос, писал корреспонденцию с фронта. У стены, на возвышении, уронив пьяную голову, дремал родоначальник футуризма – ветеринарный врач, с перекошенным, чахоточным лицом[2]. В углу три молодых поэта кричали через весь подвал: «Спой, Костя, спой!»... Накрашенный старичок у рояля, не оборачиваясь, пробовал что-то запеть дребезжащим голосом, но его не было слышно. Хозяин подвала, бывший актер, длинноволосый и растерзанный, появлялся иногда в боковой дверце, глядел сумасшедшими глазами на гостей и скрывался. Третьего дня, под утро, его жена уехала из подвала с молодым гением-композитором прямо на Финляндский вокзал, – он пил и не спал третьи сутки.

Струков, захмелевший от крюшона, говорил Ивану Ильичу:

– Я почему люблю этот кабак? Такой гнили нигде не найдешь, – наслаждение... Посмотри – вон в углу сидит, одна, – худа, страшна, пошевелиться даже не может: истерия в последнем градусе, – пользуется страшным успехом... А вон тот, с лошадиной челюстью, – знаменитый Семисветов, выдернул себе передние зубы, чтобы не ходить воевать, и пишет стихи... «Не раньше кончить нам войну, как вытрем русский штык о шелковые венских проститутоk панталоны...» Эти стишки у него печатанные, а есть и непечатанные... «Чавкай железной челюстью, лопай человечье мясо, буржуй. Жирное брюхо лихо распорет наш пролетарский штык»[3].

Струков хохотнул, опрокинул в горло стакан с крюшоном и, не вытирая нежных, оттененных татарскими усиками губ, продолжал называть Ивану Ильичу имена гостей, указывать пальцем на непроспанные, болезненные, полусумасшедшие лица:

– Здесь самая сердцевинка, зараза, рак, – он с удовольствием выговаривал слова, – отсюда гниль по всей нашей матушке ползет. Вы ведь, Иван Ильич, патриот, я знаю... Народник, интеллигент... А вот брызнуть бы на эту гниль кровушкой, окропить, ха, ха... Разбегутся по всей земле, кусаться станут, как бешеные... Погодите, дайте срок, лизнет кровушки, оживет эта сволочь,

мертвецы, силу почуют, в право свое поверят... Как бешеные кинутся разворачивать все, начисто... Вот тогда матушка наша, проклятая, лопнет, весь мир гнилью окатит... Будь ты проклята!

Струков сильно пьянел. Глаза его сухо, весело, странно поблескивали, и ругательства он произносил с той же, почти нежной, улыбкой. Телегин сидел, насупившись. У него кружилась голова от шума и пестроты подвала, от непонятного богохульства Струкова.

Он видел, как сначала несколько человек, а затем и все в подвале повернулись к входной двери; разлепил желтые глаза ветеринарный врач; высунулось из-за стены сумасшедшее лицо хозяина; полумертвая женщина, сидевшая сбоку Ивана Ильича, подняла сонные веки, и вдруг глаза ее ожили, с непонятной живостью она выпрямилась, глядя туда же, куда и все... Зазвенел упавший стаканчик...

Во входной двери стоял среднего роста пожилой человек, слегка выставив вперед плечо, засунув руки в карманы. Узкое лицо его с висящей бородой было веселое и улыбалось двумя глубокими, привычными морщинами, и впереди всего лица горели серым светом внимательные, умные, пронзительные глаза. Так продолжалось минуту. Из темноты двери к нему приблизилось другое лицо, чиновника, с тревожной усмешкой и прошептало что-то на ухо. Человек нехотя сморщил большой нос и сказал:

– Опять ты со своей глупостью... Ах, надоел. – Он еще веселее оглянул гостей в подвале, мотнул снизу вверх черной бородой и сказал громко, развалистым голосом: – Ну, прощайте, дружки веселые.

И сейчас же скрылся. Хлопнула дверь. Весь подвал загудел, как улей. Струков впился ногтями в руку Ивана Ильича:

– Видел? Видел? – проговорил он, задыхаясь. – Это Распутин.

XXXIII

В четвертом часу утра Иван Ильич шел пешком с завода. Была морозная декабрьская ночь. Извозчика не попадалось, – теперь их трудно было доставать даже в центре города в такой час. Телегин быстро шел посреди пустынной улицы, дыша паром в поднятый воротник. В свете редких фонарей было видно, как воздух весь пронизан падающими морозными иглами. Громко похрустывал под ногами, поскрипывал снег. Впереди, на желтом и плоском фасаде дома, мерцали красноватые отблески. Свернув за угол, Телегин увидел пламя костра в решетчатой жаровне и кругом закутанные, в облаках пара, обмерзшие фигуры. Подальше на тротуаре стояли, вытянувшись в линию, неподвижно, человек сто – женщины, старики и подростки: очередь у продовольственной лавки. Сбоку потоптывал валенками, похлопывал рукавицами ночной сторож.

Иван Ильич шел вдоль очереди, глядя на приникшие к стене, закутанные в платки, в одеяла, скорченные фигуры.

– Вчерась на Выборгской три лавки разнесли, начисто, – сказал один голос.

– Только и остается.

Третий голос проговорил:

– Я вчерась спрашиваю керосину полфунта, – нет, говорит, керосину, больше совсем не будет, а Дементьевых кухарка тут же приходит и при мне пять фунтов взяла по вольной цене.

– Почем?

– По два с полтиной за фунт, девушка.

– Это за керосин-то?

– Так это не пройдет этому лавошнику, припомним, будет время.

– Сестра моя сказывала: на Охте так же вот лавочника за такие дела взяли и в бочку с рассолом головой его засунули, – утоп он, милые, а уж как просился отпустить.

– Мало мучили, – их хуже надо мучить.

– А пока что – мы мерзни.

– А он в это время чаем надувается.

– Кто это чаем надувается? – спросил хриплый голос.

– Да все они чаем надуваются. Моя генеральша встанет в двенадцать часов и до самой до ночи – трескает, – как ее, идола, не разорвет.

– А ты мерзни, чахотку получай.

– Это вы совершенно верно говорите, я уж кашляю.

– А моя барыня, милые мои, – кокотка. Я вот вернусь с рынка, а у нее – полна столовая мущин, и все они в подштанниках, пьяные. Сейчас потребуют яичницу, хлеба черного, водки, – словом, что погрубее...

– Английские деньги пропивают, – проговорил чей-то голос уверенно.

– Что вы, в самом деле, говорите?

– Все продано, – уж я вам говорю – верьте: вы тут стоите, ничего не знаете, а вас всех продали, на пятьдесят лет вперед, в кабалу. И армия вся продана.

– Господи! Дожили до чего!

– Не Господи, а надо сознательно относиться: почему вы тут мерзнете, а они на перинах валяются? Кого больше: вас или их? Идите, вытащите их из перин, да сами на их место лягте, а они пускай в очереди стоят...

После этих слов, сказанных тем же мужским, уверенным голосом, наступило молчание. Затем кто-то спросил, стукая зубами:

– Господин сторож, а, господин сторож?

– Что случилось?

– Соль выдавать будут нынче?

– По всей вероятности, соли выдавать не будут.

– Для чего же я тут жду, легкие простудила?

– Ах, проклятые!

– Пятый день соли нет.

– Кровь народную пьют, сволочи.

– Ладно вам, бабы, орать – горло застудите, – сказал сторож густым басом.

Телегин миновал очередь. Затих злой гул голосов, и опять прямые улицы были пустынны, тонули в тяжелой, морозной мгле.

Иван Ильич дошел до набережной, свернул на мост и, когда ветер рванул полы его пальто, – вспомнил, что надо бы найти все-таки извозчика, но сейчас же забыл об этом. Далеко, на том берегу, едва заметные, мерцали точки фонарей. Линия тусклых огоньков пешего перехода тянулась наискось через лед. По всей темной, широкой пустыне Невы летел студеный ветер, звенел снегом, жалобно посвистывал в трамвайных проводах, в прорези чугунных перил моста.

Иван Ильич останавливался, глядел в эту мрачную темноту и снова шел, думая, как часто он думал теперь, все об одном и том же: о той минуте в вагоне, когда весь он, словно огнем изнутри, был охвачен счастьем, ощущением самого себя.

Это чувство счастья было словно огонек в темноте: кругом все – неясно, смутно, противоречиво, враждебно этому счастью. Каждый раз приходилось делать усилие, чтобы спокойно сказать: я жив, счастлив, моя жизнь будет светла и прекрасна. Тогда, у окна, среди искр летящего вагона, сказать это было легко, сейчас нужно было огромное усилие, чтобы отделить себя от тех полузастывших фигур в очередях, от воющего смертной тоской декабрьского ветра, от осязания всеобщей убыли, нависающей гибели.

Иван Ильич был уверен в одном: любовь его к Даше, Дашина прелесть и радостное ощущение самого себя, стоявшего тогда у вагонного окна и любимого Дашей, – в этом было добро, выше ничего не было в жизни. Уютный, старый, быть может, слишком тесный, но дивный храм жизни содрогнулся и затрещал от ударов войны, заколебались колонны, во всю ширину треснул купол, посыпались старые камни, и вот среди пыли, летящего праха и грохота рушащегося храма два человека, Иван Ильич и Даша, в радостном безумии любви, наперекор всему, пожелали быть счастливы. Верно ли это?

Вглядываясь в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающей тоской посвистывает ветер, Иван Ильич думал: «Не грех, нет, нет, – но выше всего желание счастья. Я создан по образу и подобию Божьему, я не желаю разрушения моего образа, но я хочу преображения его, – счастья. Я хочу наперекор всему, – пусть. Могу я уничтожить очереди, накормить

голодных, остановить войну? – Нет. Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? – Нет, не должен. Но могу ли я, буду ли счастлив?..»

Иван Ильич перешел мост и, уже совсем не замечая дороги, шагал по набережной. Здесь ярко горели высокие, качаемые ветром, электрические фонари. По оголенным торцам летела с сухим шорохом снежная пыль. Окна Зимнего дворца были темны и пустынны. У полосатой будки, где нанесло сугроб, стоял великан-часовой в тулупе и с винтовкой, прижатой скрещенными руками к груди.

На ходу вдруг Иван Ильич остановился, поглядел на окна и еще быстрее зашагал, сначала борясь с ветром, потом подгоняемый им в спину. Ему казалось, что он мог бы сказать сейчас всем, всем, всем людям ясную, простую истину, и все бы поверили в нее. Он бы сказал: «Вы видите, – так жить дальше нельзя: на ненависти построены государства, ненавистью проведены границы, каждый из вас – маленький клубок ненависти, – крепость с наведенными во все стороны орудиями. Жить – тесно и страшно. Весь мир задохнулся в ненависти, – люди истребляют друг друга, текут реки крови. Вам этого мало? Вы еще не прозрели? Вам нужно, чтобы и здесь, в каждом доме, человек резал человека? Опомнитесь, бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна вольному ветру. Пусть крестный ход пройдет по всей земле и окропит ее живой водой во Имя Духа Святого, – Им только мы живем. Много земли для хлеба, лугов для стад, горных склонов для виноградников... Неисчерпаемы недра земли, – всем достанется места... Разве не видите, что вы все еще во тьме отжитых веков...»

Извозчика и в этой части города не оказалось. Иван Ильич опять перешел Неву и углубился в кривые улочки Петербургской стороны. Думая, разговаривая вслух, он, наконец, потерял дорогу и брел наугад по темноватым и пустынным улицам, покуда не вышел на набережную какого-то канала. Ну и прогулочка! – Иван Ильич, переводя дух, остановился, рассмеялся и взглянул на часы. Было ровно пять. Из-за ближнего угла, скрипя снегом, вывернул большой, открытый автомобиль с потушенными фонарями. На руле сидел офицер в расстегнутой шинели, – узкое, бритое лицо его было бледно, и глаза, как у сильно пьяного, – стеклянные. Позади него второй офицер в съехавшей на затылок фуражке, – лица его не было видно, – обеими руками придерживал длинный рогожный сверток. Третий в автомобиле был штатский, с поднятым воротником пальто и в высокой каракулевой шапке. Он привстал и схватил за плечо сидевшего у руля. Автомобиль остановился неподалеку у мостика. Иван Ильич видел, как все трое соскочили на снег, вытащили сверток, проволокли его несколько шагов по снегу, затем с усилием подняли, донесли до середины моста, перевалили через перила и сбросили под мост. Офицеры

сейчас же вернулись к машине, штатский же некоторое время, перегнувшись, глядел вниз, затем, отгибая воротник, рысью догнал товарищей. Автомобиль рванулся полным ходом и исчез.

«Фу ты, пакость какая», – проговорил Иван Ильич, все эти минуты стоявший, затаив дыхание. Он пошел к мостику, но сколько ни вглядывался с него, – в черной, большой полынье под мостом ничего не было видно, только булькала вонючая и теплая вода из сточной трубы.

«Фу ты, пакость какая», – пробормотал опять Иван Ильич и, морщась, пошел по тротуару вдоль чугунной решетки канала. На углу он нашел, наконец, извозчика, – обмерзшего, древнего старичка, на губастой лошади, и когда, сев в санки и застегнув мерзлую полость, закрыл глаза, – все тело его загудело от усталости. «Я люблю, – вот это важно, это истинно, – подумал он, – как бы я ни поступал, если это от любви, – это хорошо».

XXXIV

Сверток в рогоже, сброшенный тремя людьми с моста в полынью, был телом убитого Распутина[1]. Чтобы умертвить этого не по-человечески живучего и сильного мужика, пришлось напоить его вином, к которому было подмешано цианистое кали, затем – выстрелить ему в грудь, в спину и в затылок и, наконец, раздробить голову кастетом. И все же, когда через сутки его тело было найдено и вытащено из полыньи, врач установил, что Распутин перестал дышать только сброшенный под лед.

Это убийство было словно разрешением для всего того, что началось спустя два месяца: разрешением крови. Распутин не раз говорил, что с его смертью рухнет трон и погибнет династия Романовых. Очевидно, в этом диком и яростном человеке было то смутное предчувствие беды, какое бывает у собак перед смертью в доме, и он умер с ужасным трудом, – последний защитник трона, мужик, конокрад, исступленный изувер.

С его смертью во дворце наступило зловещее уныние, а по всей земле ликование; люди поздравляли друг друга. Николай Иванович писал жене из Минска: «В ночь получения известия офицеры штаба главнокомандующего потребовали в общежитие восемь дюжин шампанского. Солдаты по всему фронту кричат – “ура”...».

Через несколько дней в России забыли об этом убийстве, но не забыли во дворце: там верили пророчеству и с мрачным отчаянием готовились к революции. Тайно Петроград был разбит на секторы, у великого князя Сергея Михайловича были затребованы пулеметы[2], когда же он в пулеметах отказал, то их выписали из Архангельска и в количестве четырехсот двадцати штук разместили на чердаках, на скрещениях улиц. Было усилено давление на печать, газеты выходили наполовину с белыми столбцами. Императрица писала

мужу отчаянные письма, стараясь пробудить в нем волю и твердость духа. Но государь, как зачарованный, сидел в Могилеве среди верных, – в этом не было сомнения, – десяти миллионов штыков. Бабьи бунты и вопли в петроградских очередях казались ему менее страшными, чем армии трех империй, давившие на русский фронт. В это же время, тайно от государя, в Могилеве начальник штаба верховного главнокомандующего, умница и страстный патриот, генерал Алексеев, готовил план ареста царицы и уничтожения немецкой партии[3].

В январе, в предупреждение весенней кампании, было подписано наступление на северном фронте. Бой начался под Ригой, студеной ночью[4]. Вместе с открытием артиллерийского огня – поднялась снежная буря. Солдаты двигались в глубоком снегу, среди воя метели и пламени ураганом рвущихся снарядов. Десятки аэропланов, вылетевших в бой на подмогу наступавшим частям, ветром прибивало к земле, и они во мгле снежной бури косили из пулеметов врагов и своих. В последний раз Россия пыталась разорвать сдавившее ее железное кольцо, в последний раз русские мужики, одетые в белые саваны, гонимые полярной вьюгой, дрались за Империю, охватившую шестую часть света, за самодержавие, некогда построившее землю и грозное миру и ныне ставшее лишь идеей, смысл которой был утерян и непонятен, и враждебен.

Десять дней длился свирепый бой, тысячи жизней легли под сугробами. Наступление было остановлено и замерло. Фронт снова застыл в снегах.

XXXV

Иван Ильич рассчитывал на праздники съездить в Москву, но вместо этого получил заводскую командировку в Швецию и вернулся оттуда только в феврале; сейчас же исхлопотал себе трехнедельный отпуск и телеграфировал Даше, что выезжает двадцать шестого.

Перед отъездом пришлось целую неделю отдежурить в мастерских. Ивана Ильича поразила перемена, происшедшая за его отсутствие: заводское начальство стало как никогда вежливое и заботливое, рабочие же скалили зубы, и до того все были злы, что вот-вот, казалось, кинет кто-нибудь о землю ключом и крикнет: «Бросай работу, ломай станки!»

Особенно возбуждали рабочих в эти дни отчеты Государственной думы, где шли прения по продовольственному вопросу. По этим отчетам было ясно видно, что правительство, едва сохраняя присутствие духа и достоинство, из последних сил отбивается от нападения, и что царские министры разговаривают уже не как чудо-богатыри, а на человеческом языке, и что речи министров и то, что говорит Дума, – неправда, а настоящая правда на устах у всех: зловещие и темные слухи о всеобщей, и в самом близком времени, гибели фронта и тыла от голода и разрухи.

Во время последнего дежурства Иван Ильич заметил особенную тревогу у рабочих. Они поминутно бросали станки и совещались, видимо ждали каких-то вестей. Когда он спросил у Василия Рублева – о чем совещаются рабочие, Васька вдруг со злобой накинул на плечо ватный пиджак и вышел из мастерской, – хлопнул дверью.

– Ужасный, сволочь, злой стал Василий, – сказал Иван Рублев, – револьвер где-то раздобыл, в кармане прячет.

Но Василий скоро появился опять, и в глубине мастерской его окружили рабочие, сбежались от всех станков. «Командующего войсками Петербургского Военного Округа генерал-лейтенанта Хабалова объявление», – громко, с ударениями начал читать Васька белую афишку[1], – «В последние дни отпуск муки в пекарнях и выпечка хлеба производится в том же количестве, что и прежде...»

– Врет, врет! – сейчас же крикнули голоса. – Третий день хлеба не выдают...

– «Недостатка в продаже хлеба не должно быть...»

– Приказал, распорядился!

– «Если же в некоторых лавках хлеба не хватило, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, скупали его в запас на сухари...»

– Кто это сухари печет? Покажи эти сухари, – уже истошно завопил чей-то голос. – Ему самому в глотку сухарь заткнуть!..

– Молчите, товарищи, – перекрикнул Васька, – пусть нам Хабалов эти сухари покажет. Товарищи, мы должны выйти на улицу… С Балтийского завода четыре тысячи рабочих идут на Невский... И с Выборгской бабы идут... Довольно нас объявлениями кормили!..

– Верно! Пускай хлеб покажут! Хлеба хотим!..

– Хлеба вам не покажут, товарищи. В городе только на три дня муки, и больше хлеба и муки не будет. Поезда все за Уралом стоят... За Уралом элеваторы хлебом забиты... В Челябинске три миллиона пудов мяса на станции гниет... В Сибири свечи топят из сливочного масла...

Из толпы, окружавшей Рублева, отделился кривоплечий парень и, зажмурясь, стал бить себя в грудь:

– Зачем ты мне это говоришь?..

– Снимайся!.. Бросай работу!.. Гаси горны!.. – заговорили рабочие, разбегаясь по мастерской.

К Ивану Ильичу подошел Васька Рублев. Усики у него вздрагивали.

– Уходи, – проговорил он внятно, – уходи, покуда цел!

Иван Ильич дурно спал остаток этой ночи и проснулся от беспокойства во всем теле. Утро было пасмурное; снаружи на железный карниз падали капли... Иван Ильич лежал, собираясь с мыслями, – нет, беспокойство его не

покидало, и раздражительно, словно в самый мозг, падали капли. «Надо не ждать двадцать шестого, а ехать завтра», – подумал он, скинул рубаху и голый пошел в ванну, пустил душ и стал под ледяные, секущие струи.

До отъезда было много дел. Иван Ильич наспех выпил кофе, вышел на улицу и вскочил в трамвай, полный народа, и здесь опять почувствовал ту же тревогу. Как и всегда, едущие хмуро молчали, поджимали ноги, со злобой выдергивали полу одежи из-под соседа, под ногами было липко, по окнам текли капли, раздражительно дребезжал звонок на передней площадке. Напротив Ивана Ильича сидел военный чиновник с подтечным, желтым лицом; бритый рот его застыл в кривой усмешке, глаза с явно не свойственной им живостью глядели вопросительно. Приглядевшись, Иван Ильич заметил, что все едущие именно так, – недоумевая и вопросительно, – поглядывают друг на друга.

На углу Большого проспекта вагон остановился. Пассажиры зашевелились, стали оглядываться, несколько человек спрыгнуло с площадки. Вагоновожатый снял ключ, сунул его за пазуху синего тулупа и, приоткрыв переднюю дверцу, сказал со злой тревогой:

– Дальше вагон не пойдет.

На Каменноостровском и по всему Большому проспекту, куда хватал только глаз, стояли трамвайные вагоны. На тротуарах было черно, – шевелился народ. Бегали – порождение войны – оголтелые мальчишки. Иногда с грохотом опускалась железная ставня на магазинном окне. Падал редкий, мокрый снежок.

На крыше одного вагона появился человек в длинном, черном, расстегнутом пальто, сорвал шапку и, видимо, что-то закричал. По толпе прошел вздох, – о-о-о-о-о... Человек начал привязывать веревку к крыше трамвая; опять выпрямился и опять сорвал шапку. – О-о-о-о, – прокатилось по толпе. Человек спрыгнул на мостовую. Толпа отхлынула, и тогда стало видно, как плотная кучка людей, разъезжаясь по желто-грязному снегу, тянет за веревку, привязанную к трамваю. Вагон начал крениться. Толпа отодвинулась, засвистали мальчишки. Но вагон покачался и стал на место, слышно было, как стукнули колеса. Тогда к кучке тянущих побежали со всех сторон люди, озабоченно и молча стали хвататься за веревку. Вагон опять накренился и вдруг рухнул – зазвенели стекла. Толпа, продолжая молчать, двинулась к опрокинутому вагону.

– Пошла писать губерния! – весело проговорил кто-то сзади Ивана Ильича. И сейчас же несколько несмелых голосов затянули: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

По пути к Невскому Иван Ильич видел те же недоумевающие взгляды, встревоженные лица. Повсюду, как маленькие водовороты, вокруг вестников новостей собирались жадные слушатели. В подъездах стояли раскормленные

швейцары, высовывала нос горничная, оглядывала улицу. Какой-то господин с портфелем, с холеной бородой, в расстегнутой хорьковой шубе, спрашивал у дворника:

– Скажите, мой дорогой, что там за толпа? Что там, собственно, происходит?

– Хлеба требуют, бунтуют, барин.

– Ага!

На перекрестке стояла бледная, с исплаканным лицом, дама, держа на руке склерозную собачку, с висящим, дрожащим задом; у всех проходящих дама спрашивала:

– Что там за толпа?.. Что они хотят?

– Революцией пахнет, сударыня, – проходя, уже весело воскликнул господин в хорьковой шубе.

Вдоль тротуара, шибко размахивая полами полушубка, шел рабочий, – нездоровое, рысье лицо его подергивалось.

– Товарищи, – вдруг обернувшись, крикнул он надорванным, плачущим голосом, – долго будут кровь нашу пить?..

Вот толстощекий офицер-мальчик остановил извозчика и, придерживаясь за его кушак, глядел на волнующиеся кучки народа, как на затмение солнца.

– Погляди, погляди! – рыданул, проходя мимо него, рабочий.

Толпа увеличивалась, занимала теперь всю улицу, тревожно гудела и двинулась по направлению к мосту. В трех местах выкинула белые флажки. Прохожие, как щепки по пути, увлекались этим потоком. Иван Ильич перешел вместе с толпою мост. По туманному, снежному и рябому от следов Марсову полю проскакивало несколько всадников. Увидев толпу, они повернули лошадей и шагом приблизились. Один из них, румяный полковник с раздвоенной бородкой, смеясь, взял под козырек. В толпе грузно и уныло запели. Из мглы Летнего сада, с темных голых ветвей поднялись, как тряпки, вороны, пугавшие некогда убийц императора Павла[2].

Иван Ильич шел впереди, горло его было стиснуто спазмой. Он прокашливался, но снова и снова поднималось в нем волнение, готовы были брызнуть слезы. Дойдя до Инженерного замка, он свернул налево и пошел к Литейному.

На Литейный проспект с Петербургской стороны вливалась вторая толпа, далеко растянувшись по мосту. По пути ее все ворота были набиты любопытными, во всех окнах виднелись возбужденные лица.

Иван Ильич остановился у ворот рядом со старым чиновником, у которого тряслись собачьи щеки. Направо, вдалеке, поперек улицы, стояла цепь солдат, неподвижно опираясь на ружья.

Толпа подходила, ход ее замедлялся. В глубину полетели испуганные голоса: – Стойте, стойте!.. – И сейчас же начался вой тысячи высоких женских голосов: – Хлеба, хлеба, хлеба!..[3]

– Нельзя допускать, – проговорил чиновник и строго, поверх очков, взглянул на Ивана Ильича. В это время из ворот вышли два дворника и плечами налегли на любопытных. Чиновник затряс щеками, какая-то барышня в пенсне воскликнула: «Не смеешь, дурак!» Но ворота закрыли. По всей улице начали закрывать подъезды и ворота. – Не надо, не надо! – раздавались испуганные голоса.

Воющая толпа надвигалась. Впереди нее выскочил юноша с бабьим, прыщавым лицом, в широкополой шляпе.

– Знамя вперед, знамя вперед! – пошли голоса.

В это же время перед цепью солдат появился рослый, тонкий в талии офицер в заломленной папахе. Придерживая у бедра кобуру, он кричал, и можно было разобрать: «Дан приказ стрелять...[4] Не хочу кровопролития... Разойдитесь...»

– Хлеба, хлеба, хлеба! – закричали голоса... И толпа двинулась на солдат... Мимо Ивана Ильича начали протискиваться люди с обезумевшими глазами... – Хлеба!.. Долой!.. Сволочи!.. – Один упал и, задирая сморщенное, жалкое личико, вскрикивал без памяти: – Ненавижу... ненавижу!

Вдруг точно рванули коленкор вдоль улицы. Сразу все стихло. Какой-то гимназист обхватил фуражку и нырнул в толпу... Чиновник поднял узловатую руку для крестного знамения.

Залп дан был в воздух, второго залпа не последовало, но толпа отступила, частью рассеялась, часть ее с флагом двинулась к Знаменской площади. На желтом снегу улицы осталось несколько шапок и калош. Выйдя на Невский, Иван Ильич опять услышал гул множества голосов. Это двигалась третья толпа, перешедшая Неву с Васильевского острова. Тротуары были полны нарядных женщин, военных, студентов, незнакомцев иностранного вида. Столбом стоял английский офицер с розово-детским лицом. К стеклам магазинных дверей липли напудренные, с черными бантами, продавщицы. А посреди улицы, удаляясь в туманную ее ширину, шла оборванная, грязная, злая толпа работниц и рабочих, завывая: – Хлеба, хлеба, хлеба!..

Сбоку тротуара извозчик, боком навалившись на передок саней, весело говорил багровой, испуганной барыне:

– Куда же я, сами посудите, поеду, – муху здесь не пропускают.

– Поезжай, дурак, не смей со мной разговаривать!..

– Нет, нынче я уж не дурак... Слезайте с саней...

Прохожие на тротуаре толкались, просовывали головы, слушали, спрашивали взволнованно:

– Сто человек убито на Литейном...
– Врут... Женщину беременную застрелили и старика...
– Господа, старика-то за что же убили...
– Протопопов всем распоряжается[5]. Он сумасшедший...
– Совершенно верно – прогрессивный паралич.
– Господа, – новость... Невероятно!
– Что?.. Что?..
– Всеобщая забастовка...
– Как, – и вода и электричество?..
– Вот бы дал Бог, наконец...
– Молодцы рабочие!..
– Не радуйтесь, – задавят...
– Смотрите – вас бы раньше не задавили с вашим выражением лица...

Иван Ильич, досадуя, что потерял много времени, выбрался из толпы, зашел было по трем адресам, но никого из нужных ему людей не застал дома и, рассерженный, медленно побрел по Невскому.

По улице снова катили санки, дворники вышли сгребать снег, на перекрестке появился великий человек в черной длинной шинели и поднимал над возбужденными головами, над растрепанными мыслями обывателей магический жезл порядка – белую дубинку. Перебегающий улицу злорадный прохожий, оборачиваясь на городового, думал: «Погоди, голубчик, дай срок». Но никому и в голову не могло войти, что срок уже настал, и этот колоннообразный усач с дубинкой был уже не более как призрак, и что назавтра он исчезнет с перекрестка, из бытия, из памяти...

– Телегин, Телегин. Остановись, глухой тетерев!..

Иван Ильич обернулся, – к нему подбегал инженер Струков в картузе на затылке, с яростно веселыми глазами...

– Куда ты идешь? – надулся... Идем в кофейню...

Он подхватил под руку Ивана Ильича и втащил во второй этаж, в кофейню. Здесь от сигарного дыма ело глаза. Люди в котелках, в котиковых шапках, в раскинутых шубах, спорили, кричали, вскакивали. Струков протолкался к окну и, смеясь, сел напротив Ивана Ильича:

– Рубль падает! – воскликнул он, хватаясь обеими руками за столик, – бумаги все к черту летят! Вот где сила!.. Рассказывай, что видел...

– Был на Литейном, там стреляли, но, кажется, в воздух...

– Что же ты на все это скажешь?

– Не знаю. По-моему, правительство серьезно теперь должно взяться за подвозку продовольствия.

– Поздно! – закричал Струков, ударяя ладонью по стеклянной доске столика. – Поздно!.. Мы сами свои собственные кишки сожрали... Войне конец, баста!.. Всему конец!.. Все к чертям!.. Знаешь, что на заводах кричат? Созыв

совета рабочих депутатов, – вот что они кричат. И никому, кроме советов, не верить! Немедленно – демобилизацию...

– Просто ты пьян, – проговорил Иван Ильич, – ночью я был на заводе и ничего такого не слышал... А если кто и кричал об этом, так это ты сам и кричал...

Струков, закинув голову, начал смеяться, глаза его не отрывались от Телегина...

– Хорошо бы всю машину вдрызг разворочать? – самое время. А?..

– Не думаю... Не нахожу ничего хорошего разворачивать.

– Ни государства, ни войска, ни городовых, ни всей этой сволочи в котелках... Устроить хаос первоначальный. – Струков вдруг сжал прокуренные зубы, и зрачки его стали как точки. – Ужас нагнать, такого напустить ужасу, чтоб страшнее войны... Все проклято, заплевано, загажено, гнусно... Разворочать, как Содом и Гоморру[6], – оставить ровное место. – На лбу его под каплями пота надулась вкось жила. – Все этого хотят, и ты этого хочешь. Только я смею говорить, а ты не смеешь.

– Ты всю войну в тылу просидел, – сказал Телегин, с удивлением глядя на Струкова, – а я воевал, и знаю: в четырнадцатом году нам тоже нравилось драться и разрушать. Теперь нам это не нравится. А вот вы, тыловые люди, только теперь и входите во вкус войны. И вся психология у вас мародерская, обозная: – грабь, жги!.. Я давно к вам присматриваюсь, – у вас идея – разрушать, самим дорваться до крови... Ужасно!..

– Маленький ты человек, Телегин, мещанин.

– Может быть, может быть...

Иван Ильич вернулся домой рано и сейчас же лег спать. Но забылся сном лишь на минуту, – вздохнул, лег на спину и уже спокойно и бессонно открыл глаза. В спальне на потолке лежал отсвет уличного фонаря. Пахло кожей чемодана, стоявшего раскрытым на стуле. В этом чемодане, купленном в Стокгольме, лежал чудесной кожи серебряный несессер – подарок для Даши. Иван Ильич чувствовал к нему нежность, и каждый день разворачивал его из шелковистой бумаги и рассматривал. Он даже ясно представлял себе купе вагона с длинным, как не в русских поездах, окном, и на койке – Дашу в дорожном платье; на коленях у нее эта пахнущая духами и кожей вещица – знак беззаботного счастья, чудесных странствий; за окном – незнакомые страны.

«...Ах, что-то сегодня случилось непоправимое», – думал Иван Ильич, и память его, подведя счет всему виденному, ответила уверенно: «В городе – ленивое и злое непротивление всему, чтобы ни случилось: бунт так бунт, расстрел так расстрел. Разбили трамвайный вагон – хорошо, рабочие ворвались на Невский – хорошо, разогнали рабочих залпом – хорошо, – все лучше, чем удушающий смрад безнадежной войны».

Иван Ильич оперся о локоть и глядел, как за окном в мглистом небе разливалось грязно-лиловым светом отражение города. И он ясно почувствовал, с какою тоскливой ненавистью должны смотреть на этот свет те, кто завывал сегодня о хлебе. Нелюбимый, тяжкий, постылый город...

Иван Ильич вышел из дома часов в двенадцать. Туманный и широкий проспект был пустынен. Падал снежок. За слегка запотевшим окном цветочного магазина стоял в хрустальной вазе пышный букет красных роз, осыпанных большими каплями воды. Иван Ильич с нежностью взглянул на него сквозь падающий снег. – О Господи, Господи!..

Из боковой улицы появился казачий разъезд – пять человек. Крайний из них повернул лошадь и рысью подъехал к тротуару, где шли, тихо и взволнованно разговаривая, трое людей в кепках и в рваных пальто, подпоясанных веревками. Люди эти остановились, и один, что-то весело говоря, взял под уздцы казачью лошадь. Движение это было так необычно, что у Ивана Ильича дрогнуло сердце. Казак же засмеялся, вскинул головой и, пустив топотавшую, зобастую лошадь, догнал товарищей, и они крупной рысью ушли во мглу проспекта.

Подходя к набережной, Иван Ильич начал встречать кучки взволнованных обывателей, – видимо, после вчерашнего никто не мог успокоиться: совещались, передавали слухи и новости, – много народа бежало к Неве. Там, вдоль гранитного парапета, черным муравейником двигалось на снегу несколько тысяч любопытствующих. У самого моста шумела кучка горланов, – они кричали солдатам, которые, преграждая проход, стояли поперек моста и вдоль до самого его конца, едва видного за мглой и падающим снегом.

– Зачем мост загородили? Пустите нас!

– Нам в город нужно.

– Безобразие, – обывателей стеснять...

– Мосты для ходьбы, не для вашего брата...

– Русские вы или нет?.. Пустите нас!..

Рослый унтер-офицер, с четырьмя Георгиями, ходил от перил до перил, звякая большими шпорами. Когда ему крикнули из толпы ругательство, он обернул к горланам хмурое, тронутое оспой, желтоватое лицо.

– Эх, а еще господа, – выражаетесь. – Закрученные усы его вздрагивали. – Не могу допустить проходить по мосту... Принужден обратить оружие в случае неповиновения...

– Солдаты стрелять не станут, – опять закричали горланы.

– Поставили тебя, черта рябого, собаку...

Унтер-офицер опять оборачивался и говорил, и, хотя голос у него был хриплый и отрывистый – военный, в словах было то же, что и у всех в эти дни, – тревожное недоумение. Горланы чувствовали это, ругались и напирали на заставу.

Какой-то длинный, худой человек, в криво надетом пенсне, с длинной шеей, обмотанной шарфом, подойдя к горланам, вдруг заговорил громко и глухо:

– Стесняют движение, везде заставы, мосты оцеплены, полнейшее издевательство. Можем мы свободно передвигаться по городу, или нам уж и этого нельзя? Граждане, предлагаю не обращать внимания на солдат и идти по льду на ту сторону...

– Верно! По льду!.. Уррра! – закричали горланы, и сейчас же несколько человек побежало к гранитной, покрытой снегом лестнице, опускающейся к реке. Длинный человек в развевающемся за спиной шарфе решительно зашагал по льду мимо моста. Солдаты, перегибаясь сверху, кричали:

– Эй, воротись, стрелять будем... Воротись, черт длинный!..

Но он шагал, не оборачиваясь. За ним, гуськом, рысью, пошло все больше и больше народу. Люди горохом скатывались с набережной на лед, бежали черными фигурами по снегу. Солдаты кричали им с моста, бегущие прикладывали руки ко рту и тоже кричали. Один из солдат вскинул было винтовку, но другой толкнул его в плечо, и тот не выстрелил.

Как выяснилось впоследствии, ни у кого из вышедших на улицу не было определенного плана, но когда обыватели увидели заставы на мостах и перекрестках, то всем, как повелось это издавна, захотелось именно того, что сейчас не было дозволено: ходить через мосты и собираться в толпы. Распалялась и без того болезненная фантазия. По городу полетел слух, что все эти беспорядки кем-то руководятся.

К концу второго дня на Невском залегли части Павловского полка и открыли продольный огонь по кучкам любопытствующих и по отдельным прохожим. Обыватели стали понимать, что начинается что-то похожее на революцию.

Но где был ее очаг и кто руководил ей, – никто не знал. Не знали этого ни командующий войсками, ни полиция, ни, тем более, диктатор и временщик, симбирский суконный фабрикант, которому в свое время в Троицкой гостинице в Симбирске помещик Наумов проломил голову, прошибив им дверную филенку, каковое повреждение черепа и мозга привело его к головным болям и неврастении, а впоследствии, когда ему была доверена в управление Российская империя, – к роковой растерянности. Очаг революции был повсюду, в каждом доме, в каждой обывательской голове, обуреваемой фантазиями, злобой и недовольством. Это ненахождение очага революции было зловеще. Полиция хватала призраки. На самом деле ей нужно было арестовать два миллиона четыреста тысяч жителей Петрограда.

Весь этот день Иван Ильич провел на улице, – у него, так же, должно быть, как и у всех, было странное чувство неперестающего головокружения.

Он чувствовал, как в городе росло возбуждение, почти сумасшествие, – все люди растворились в общем каком-то головокружении, превращались в рыхлую массу, без разума, без воли, и эта масса, бродя и волнуясь по улицам, искала, жаждала знака, молнии, воли, которая, ослепив, слила бы эту рыхлость в один комок.

Растворение всех в этом встревоженном людском стаде было так велико, что даже стрельба вдоль Невского мало кого пугала. Люди по-звериному собирались к двум трупам – женщины в ситцевой юбке и старика в енотовой шубе, лежавшим на углу Владимирской улицы... Когда выстрелы становились чаще – люди разбегались и снова крались вдоль стен.

В сумерки стрельба затихла. Подул студеный ветер, очистил небо, и в тяжелых тучах, грудами наваленных за морем, запылало мрачное зарево заката. Острый серп месяца встал над городом низко, в том месте, где небо было угольно-черное.

Фонари не зажглись в эту ночь. Окна были темны, подъезды закрыты. Вдоль мглистой пустыни Невского стояли в козлах ружья. На перекрестках виднелись рослые фигуры часовых. Лунный свет поблескивал то на зеркальном окне, то на полосе рельс, то на стали штыка. Было тихо и покойно. Только в каждом доме неживым, овечьим голосом бормотали телефонные трубки сумасшедшие слова о событиях.

Утром 25 февраля Знаменская площадь была полна войсками и полицией. Перед Северной гостиницей стояли конные полицейские на золотистых, тонконогих, танцующих лошадках. Пешие полицейские, в черных шинелях, расположились вокруг памятника и кучками по площади. У вокзала стояли казаки в заломленных папахах, с тороками сена за седлами[7], бородатые и веселые. Со стороны Невского виднелись грязно-серые шинели павловцев.

Иван Ильич с чемоданчиком в руке взобрался в каменный выступ вокзального въезда, отсюда была хорошо видна вся площадь. Посреди ее на кроваво-красной глыбе гранита, на огромном коне, опустившем от груза седока своего бронзовую голову, сидел тяжелый, как земная тяга, Император[8], – угрюмые плечи его и маленькая шапочка были покрыты снегом. Он стоял лицом на север. К его подножию, на площадь, напирали со стороны пяти улиц толпы народа с криками, свистом и руганью.

Так же, как и вчера на мосту, солдаты, в особенности казаки, попарно, шагом подъезжавшие к напирающему со всех сторон народу, перебранивались и зубоскалили. В кучках городовых, рослых и хмурых людей, было молчание и явная нерешительность. Иван Ильич хорошо знал эту тревогу в ожидании приказа к бою, – враг уже на плечах, всем ясно, что нужно делать, но с приказом медлят, и минуты тянутся мучительно. Вдруг звякнула вокзальная дверь, и появился на лестнице бледный жандармский офицер с полковничьими погонами, в короткой шинели, с новенькими, накрест, рем-

нями снаряжения. Вытянувшись, он оглянул площадь, – светлые глаза его скользнули по лицу Ивана Ильича... Легко сбежав вниз между расступившихся казаков, он стал говорить что-то есаулу, подняв к нему бородку. Есаул с кривой усмешкой слушал его, разваляясь в седле. Полковник, говоря, кивнул в сторону Старого Невского и пошел через площадь по снегу легкой, стремительной походкой. К нему подбежал пристав, туго перепоясанный по огромному животу, рука у него тряслась под козырьком, багровели щеки... А со стороны Старого Невского увеличивались крики подходившей толпы, и, наконец, стало различимо пение. Ивана Ильича кто-то крепко схватил за ногу, и рядом с ним вскарабкался сильно пахнущий потом, возбужденный человек в ватном пиджаке, без шапки, с багровой ссадиной через грязное лицо.

– Братцы, казаки! – закричал он тем страшным, надрывающимся голосом, каким кричат перед убийством и кровью, диким, степным голосом, от которого падает сердце, безумием застилает глаза. – Братцы, убили меня... Братцы, заступитесь... Убивают!

Казаки, повернувшись в седлах, молча глядели на него. Лица их бледнели, глаза расширялись.

В это же время на Старом Невском черно и густо волновались головы подошедшей толпы колпинских рабочих. Ветром трепало красную тряпку на шесте. Конные полицейские отделились от фасада Северной гостиницы, и вдруг блеснули в руках их выхваченные широкие шашки. Неистовый крик поднялся в толпе. Иван Ильич опять увидел жандармского полковника, – он бежал, поддерживая кобуру револьвера, и другою рукой махал казакам. Из толпы колпинских полетели осколки льдин и камни в полковника и в конных городовых. Тонконогие, золотистые лошадки пуще заплясали. Слабо захлопали револьверные выстрелы, появились дымки у подножия памятника, – это городовые стреляли в колпинских. И сейчас же в строю казаков, в десяти шагах от Ивана Ильича, взвилась на дыбы рыжая, горбоносая, донская кобыла; казак, нагнувшись к шее, толкнул ее, и в несколько махов долетел до жандармского полковника и на ходу, выхватив шашку, наотмашь свистнул ею, и снова поднял кобылу на дыбы.

Всем строем двинулись к месту убийства казаки. Толпы народа, прорвав заставы, разлились по площади... Кое-где хлопнули выстрелы, и были покрыты общим криком: – Уррра... уррраа...

– Телегин, ты что тут делаешь?

– Я должен во что бы то ни стало сегодня уехать. На товарном поезде, на паровозе, – все равно.

– Плюнь, сейчас нельзя уезжать... Голубчик, ведь – революция... – Антошка Арнольдов, небритый, облезлый, с красными веками выкаченных глаз, впился Ивану Ильичу судорожными пальцами в отворот пальто.

– Видел, как жандарму голову смахнули?.. Как футбольный мяч покатилась, – красота!.. Ты, дурак, не понимаешь, – ведь революция! – Антошка бормотал точно в бреду. Стояли они, прижатые толпой, в проходе вокзала. – Утром Литовский и Волынский полки отказались стрелять... Рота Павловского полка с оружием вышла на улицу... В городе кавардак, никто ничего не понимает... На Невском солдаты, как мухи, шатаются, боятся идти в казармы...

XXXVI

Даша и Катя в шубках и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещенной Малой Никитской. Хрустели под ногами тонкие пленки льда. На захолодавшее зеленоватое небо поднимался двурогий месяц, ясный и узкий. Кое-где брехали за воротами собаки. Даша, смеясь во влажный пушок платка, слушала, как хрустят льдинки.

– Катя?

– Даша, милая, не останавливайся, – опоздаем.

– Катя, если бы выдумать такой инструмент и приставить сюда, – Даша положила руку на грудь, – можно бы записывать необыкновенные вещи... – Даша тихо и ясно напела. – Понимаешь – это повторяется, но уж другим голосом, а этот голос так. – Она напела и засмеялась. Катя взяла ее под руку: – Ну, идем, идем. – Через несколько шагов Даша опять остановилась.

– Катя, а ты веришь, что – революция?

– Да, да, – в самом воздухе какая-то тревога.

– Катюша, – это от весны. Смотри – небо зеленое.

Вдали желтел огонек электрической лампочки над подъездом Юридического клуба, где сегодня, в половине десятого вечера, под влиянием сумасшедших слухов из Петербурга, было устроено кадетской фракцией[1] публичное собрание для обмена впечатлениями и для нахождения общей формулы действия в эти тревожные дни.

Сестры вбежали по лестнице во второй этаж и, не снимая шуб, только откинув платки, вошли в полную народа залу, напряженно слушающую румяного, бородатого, тучного барина с приятными движениями больших рук.

– ...События нарастают с головокружительной быстротой, – говорил он, блестя зубами, – в Петрограде вчера вся власть перешла к генералу Хабалову, который расклеил по городу следующую афишу: «В последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилием и посягательством на жизнь воинских и полицейских чинов. Воспрещаю всякое скопление на улицах. Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено в войсках употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка в столице...»

– Палачи! – прогудел чей-то семинарский бас из глубины залы. Оратор тронул колокольчик.

– Это объявление, как и следовало ожидать, переполнило чашу терпения. Двадцать пять тысяч солдат всех родов оружия Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших...

Он не успел договорить, – зала треснула от рукоплесканий. Несколько человек вскочило на стулья и кричало что-то, делая жесты, будто протыкая насквозь старый порядок. Оратор с широкой улыбкой глядел на бушующий зал, – снова тронул колокольчик и продолжал:

– Только что получена чрезвычайной важности телефонограмма. – Он полез в карман клетчатого пиджака, не спеша вытащил и развернул листочек бумажки. – Сегодня председателем Государственной думы Родзянко послана государю телеграмма по прямому проводу: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. На улице происходит беспорядочная стрельба. Частью войска стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на Венценосца...»[2].

Румяный барин опустил листок и веселыми глазами обвел зал. На всех лицах выражалось неистовое любопытство: такого, захватывающего дух, спектакля не помнили москвичи.

– Мы стоим, господа, на грани готового совершиться величайшего события нашей истории, – продолжал он бархатным, рокочущим голосом, – быть может, в эту минуту там, – он вытянул руку, как на статуе Дантона[3], – там уже свершилось чаяние стольких поколений, и скорбные тени декабристов отомщены...

– Ох, Господи! – не выдержав, ахнул из самой глубины чей-то женский голос...

– Быть может, завтра вся Россия сольется в одном светлом, братском хоре, – свобода...

– Уррра!.. Свобода!.. – неистово закричали голоса.

Барин опустился на стул и провел обратной стороной ладони по лбу своему. С угла стола поднялся вялый человек с соломенными, длинными волосами, с узким лицом, с рыжей, мертвой бородкой. Не глядя ни на кого, он начал говорить ленивым, насморочным голосом:

– Заслушанные здесь сообщения весьма любопытны. Дело, видимо, всерьез идет к ликвидации дворянско-бюрократического правящего класса. Неожиданного в этом ничего нет: не завтра, так через месяц, войска взбунтуются, и рабочие будут стремиться захватить власть. – Он вытащил из бокового кармана носовой платок, высморкался, сложил его и засунул за потертый

пиджак. Позади Даши, сидевшей в дверях на одном стуле с сестрой, чей-то голос спросил:

– Кто это говорит?

– Товарищ Кузьма, – ответили быстрым шепотом, – в 1905 году был в совете рабочих депутатов, недавно вернулся из ссылки, замечательная личность.

– Я не разделяю восторгов предыдущего оратора, – продолжал товарищ Кузьма, сонно глядя на чернильницу, – если даже на этих днях царское правительство и сдаст власть, глупо впадать в восторг: власть попадет в руки буржуазному классу, и драки в дальнейшем все равно не избежать. – Он, наконец, поднял глаза, и все увидали, что глаза у него зеленоватые, холодные и скучные. – Давно бы пора бросить маниловские бредни... Революция – штука серьезная... Братский хор с пением свободы – занятие для безземельных дворянчиков да для разжиревших купеческих сынков...

– Кто он такой?.. Что он говорит?.. Заставьте его замолчать, – раздались злые крики. Товарищ Кузьма возвысил голос:

– Уже двенадцать лет в стране идет революционный процесс. Сейчас его можно считать назревшим. И наша задача – сделать глубокий надрез, чтобы выпустить весь гной на поверхность. Мы должны поставить, наконец, лицом к лицу без посредников пролетариат и буржуазно-дворянские классы. Не свобода нам нужна, затасканная, как проститутка, за сто лет мелкими лавочниками и слюнявыми поэтами, нам нужна гражданская война...

Последние его слова едва можно было разобрать за шумом в зале. Несколько человек в визитках подбежало к столу. Товарищ Кузьма попятился, слез с эстрады и ушел в боковую дверь. На его месте появилась знаменитая деятельница по детскому воспитанию – полная дама в пенсне, с тиком:

– Мы только что слышали возмутительную...

В это время кто-то у самого уха прошептал Даше взволнованно и нежно:

– Здравствуй, родная моя...

Даша, даже не оборачиваясь, стремительно поднялась, – в дверях стоял Иван Ильич. Она взглянула: самый красивый на свете, мой собственный человек. Иван Ильич снова, как это не раз с ним бывало, был потрясен тем, что Даша совсем не та, какой он ее мысленно представлял, но бесконечно краше: – горячий румянец взошел ей на щеки, сине-серые глаза прозрачны, бездонны, как два озера. Она была так совершенна, так ничего ей не было больше нужно, что Иван Ильич побледнел. Даша сказала тихо: – Здравствуй! – взяла его под руку, и они вышли на улицу.

На улице Даша остановилась и, улыбаясь, глядела на Ивана Ильича. Вздохнула, подняла руки и поцеловала его в губы. Он закрыл глаза. Ее губы были нежны и доверчивы. От нее пахло мехом и женственной прелестью горьковатых духов. Молча, Даша опять взяла его под руку, и они пошли по

хрустящим корочкам льда, поблескивающим от света лунного серпа, висящего низко в глубине улицы в черно-зеленой бездне неба.

– Иван, ты любишь меня?

– Даша!

– Ах, я тебя люблю, Иван! Как я ждала тебя...

– Я не мог, ты знаешь...

– Ты не сердись, что я тебе писала дурные письма, – я не умею писать...

– Знаешь, когда ты сейчас встала, я взглянул на тебя, – у меня сердце оторвалось...

Иван Ильич остановился и глядел ей в поднятое к нему, молча улыбающееся, милое лицо. Особенно милым, простым оно было от пухового платка, – под ним темнели полоски бровей, и глаза были странными и ласковыми. Он осторожно приблизил Дашу к себе, она переступила ботиками и прижалась к нему, продолжая глядеть в глаза. Он опять поцеловал ее в губы, и они опять пошли.

– Ты надолго, Иван?

– Не знаю, – такие события...

– Да, знаешь, ведь – революция.

– Ты знаешь – ведь я на паровозе приехал...

– Знаешь, Иван, что... – Даша пошла с ним в ногу и глядела на кончики своих ботиков...

– Что?..

– Я теперь поеду с тобой, – к тебе...

Иван Ильич не ответил. Даша только почувствовала, как он несколько раз пытался глубоко вдохнуть в себя воздух и не мог. Ей стало нежно и жалко его.

XXXVII

Следующий день был замечателен тем, что им подтверждалось понятие об относительности времени. Так, извозчик вез Ивана Ильича из гостиницы с Тверской до Арбатского переулка приблизительно года полтора. «Нет, барин, прошло время за полтиннички-то ездить, – говорил извозчик, – сказывают, в Петрограде волю взяли. Не нынче – завтра в Москве волю будем брать. Видишь ты – городовой стоит. Подъехать к нему, сукиному сыну, и кнутом его по морде ожечь. Погодите, барин, со всеми расправимся».

В дверях столовой Ивана Ильича встретила Даша. Она была в белом халатике, пепельные волосы ее были наскоро сколоты. От нее пахло свежей водой. Колокол времени ударил, время остановилось, – мгновение начало раскрываться. Все оно было наполнено Дашиными словами, смехом, ее си-

яющими от утреннего солнца, легкими волосами. Иван Ильич испытывал беспокойство даже тогда, когда Даша уходила на другой конец стола. Даша раскрывала дверцы буфета, поднимала руки, с них соскальзывали широкие рукава халатика. Иван Ильич думал, что у людей таких рук быть не может, только две белых оспинки выше локтя удостоверяли, что это, все-таки, человеческие руки. Даша доставала чашку и, обернув светловолосую голову, говорила что-то удивительное и смеялась.

Она заставила Ивана Ильича выпить несколько чашек кофе. Она говорила слова, и Иван Ильич говорил слова, но, очевидно, человеческие слова имели смысл только во времени, движущемся обыкновенно – сегодня же в словах их смысла не было. Екатерина Дмитриевна, сидевшая тут же в столовой, слушала, как Телегин и Даша, удивляясь восторженно и немедленно забывая, говорят необыкновенную чепуху по поводу кофе, революции, какого-то кожаного несессера, срубленной в Петрограде головы, Дашиных волос, рыжеватых, – как странно, – на ярком солнце.

Горничная принесла газеты. Екатерина Дмитриевна развернула «Русские ведомости», ахнула и начала читать вслух роковой приказ императора о роспуске Государственной думы[1]. Даша и Телегин страшно этому удивились, но дальше читать «Русские ведомости» Екатерина Дмитриевна стала уже про себя. Даша сказала Телегину: – Пойдем ко мне, – и повела его через темный коридорчик в свою комнату. Войдя туда первая, она проговорила поспешно: – Подожди, подожди, не смотри, – и что-то белое спрятала в ящик комода.

В первый раз в жизни Иван Ильич увидел комнату Даши – ее туалетный столик со множеством непонятных вещей; строгую, узкую, белую постель с двумя подушками – большой и маленькой: на большой Даша спала, маленькую же, засыпая, клала под локоть; затем, у окна – широкое кресло с брошенным на спинке пуховым платком.

Даша сказала Ивану Ильичу сесть в это кресло, пододвинула табуреточку, села сама напротив, облокотилась о колени, подперла подбородок и, глядя, не мигая, в лицо Ивану Ильичу, велела ему говорить, как он ее любит. Колокол времени ударил второе мгновение.

– Даша, если бы мне подарили все, что есть, – сказал Телегин, – всю землю, мне бы от этого не стало лучше, – ты понимаешь? – Даша кивнула головой. – Если я – один, на что я сам себе, правда ведь?.. На что мне самого себя? – Даша кивнула. – Есть, ходить, спать, – для чего? Для чего мне эти руки, ноги?.. Что из того, что я, скажем, был бы сказочно богат... Но ты представляешь – какая тоска быть одному? – Даша кивнула. – Но сейчас, когда ты сидишь вот так... Сейчас меня больше нет, я не ощущаю себя... Я чувствую только – это ты, это счастье. Ты – это все, ты – моя... Гляжу на тебя, и кружится голова, – неужели ты дышишь, ты живая, ты – моя?.. Даша, понимаешь что-нибудь?

– Я помню, – сказала Даша, – мы сидели на палубе, дул ветерок, в стаканах блестело вино, я тогда вдруг почувствовала, – мы плывем к счастью...

– А помнишь, там были голубые тени?

Даша мигнула, и сейчас же ей стало казаться, что она тоже помнит какие-то прекрасные, голубые тени. Она вспомнила чаек, летевших за пароходом, невысокие берега, вдали на воде сияющую солнечную дорогу, которая, как ей казалось, разольется в конце в синее, сияющее море-счастье. Даша вспомнила даже, какое на ней было платье... Сколько ушло с тех пор долгих лет... Она взяла руки Ивана Ильича, спрятала в них лицо, вздохнула, и он между пальцами почувствовал капли слез.

Вечером Екатерина Дмитриевна прибежала из Юридического клуба, взволнованная и радостная, и рассказала:

– В Петрограде вся власть перешла к Думскому комитету[2], министры арестованы, но ходят страшно тревожные слухи: говорят, государь покинул Ставку и на Петроград идет на усмирение генерал Иванов с целым корпусом...[3] А здесь на завтра назначено брать штурмом Кремль и арсенал... Иван Ильич, мы с Дашей прибежим к вам завтра с утра смотреть революцию...

XXXVIII

Из окна гостиницы было видно, как внизу по узкой Тверской улице движется медленным, черным потоком народ, – шевелятся головы, картузы, картузы, картузы, шапки, платки, желтые пятна лиц. Во всех окнах – любопытные, на крышах мальчишки.

Екатерина Дмитриевна, в поднятой до бровей вуали, говорила, стоя у окна и беря то Телегина, то Дашу горячими пальцами за руки:

– Как это страшно!.. Как это страшно!

– Екатерина Дмитриевна, уверяю вас, – настроение в городе самое мирное, – говорил Иван Ильич, – до вашего прихода я бегал к Кремлю, – там ведутся переговоры, очевидно, арсенал будет сдан без выстрела...

– Но зачем они туда идут?.. Смотрите – сколько народу... Что они хотят делать?..

Даша глядела на волнующийся поток голов, на очертания крыш и башен. Утро было мглистое и мягкое. Вдали, над крестами и тускло-золотыми куполами кремлевских соборов, над раскоряченными орлами на островерхих башнях, кружились стаи галок, садились на кресты, снимались, исчезали в мглистой вышине.

Даше казалось, что какие-то великие реки прорвали лед и разливаются по земле и что она, вместе с милым ей человеком, подхвачена этим потоком, и

теперь – только крепко держаться за его руку, только любить. Сердце билось тревогой и радостью, как у птицы в вышине.

– Я хочу все видеть, пойдемте на улицу, – сказала Катя, запахивая шубку.

Кирпично-грязное здание с колоннами, похожими на бутылки, всё в балясинах, балкончиках и башенках, – главный штаб революционеров, – Городская дума[1], было убрано красными флагами. Кумачевые тряпки обвивали колонны, висели над шатром главного крыльца. Перед крыльцом на мерзлой мостовой стояли четыре серые пушки на высоких колесах. На крыльце сидели, согнувшись, пулеметчики с пучками красных лент на погонах. Большие толпы народу глядели с веселой жутью на красные флаги, пыльно-черные окна Думы. Когда на балкончике над крыльцом появлялась маленькая, как жучок, возбужденная фигурка и, взмахивая руками, что-то беззвучно кричала, – в толпе поднималось радостное рычание.

Наглядевшись на флаги и пушки, народ уходил по изъеденному оттепелью, грязному снегу через глубокие арки Иверской на Красную площадь, где у Спасских и у Никольских ворот восставшие воинские части вели переговоры с выборными от запасного полка, сидевшего, затворившись, в Кремле. В сереньком свете дня особенно древними казались огромные толщи высоких, облупленных кремлевских стен и квадратных башен, с зелеными черепичными шатрами и двуглавыми орлами на шпилях. Стаи галок кружились над печальными этими местами, над взволнованной, как от светопреставления, простонародной толпой и улетали за Китай-город, за Москву-реку.

Катя, Даша и Телегин были принесены толпой к самому крыльцу Думы. От Тверской, по всей площади, все усиливаясь, шел крик. Летели кверху шапки, трепались в руках носовые платки.

– Товарищи, посторонитесь... Товарищи, соблюдайте законность! – раздались молодые, взволнованные голоса. Сквозь неохотно расступавшуюся толпу пробивались к крыльцу Думы, размахивая винтовками, четыре гимназиста и хорошенькая, растрепанная барышня с саблей в руке. Они вели арестованных десять человек городовых, огромного роста усатых мужиков с закрученными за спиной руками, с опущенными, хмурыми лицами. Впереди шел пристав, без фуражки; на сизо-бритой голове его у виска чернела запекшаяся кровь; рыжими, яркими глазами он торопливо перебегал по ухмыляющимся лицам толпы; погоны на пальто его были сорваны с мясом.

– Дождались, соколики! – говорили в толпе.

– Пошутили над нами, – будя...

– Поцарствовали...

– Племя проклятое!.. Фараоны!..

– Схватить их и зачать мучить...

– Ребята, наваливайся!..

– Товарищи, товарищи, пропустите, соблюдайте революционный порядок! – сорванными голосами кричали гимназисты; взбежали, подталкивая городовых, на крыльцо Думы и скрылись в больших дверях. Туда же за ними протиснулось несколько человек, в числе их – Катя, Даша и Телегин.

В голом, высоком, тускло освещенном вестибюле, на мокром полу сидели на корточках пулеметчики у аппаратов. Толстощекий студент, одуревший, видимо, от крика и усталости, кричал, кидаясь ко всем входящим:

– Знать ничего не хочу! Пропуск!

Иные показывали ему пропуска, иные просто, махнув рукой, уходили по широкой лестнице во второй этаж. Во втором этаже, в широких коридорах, у стен сидели и лежали пыльные, сонные и молчаливые солдаты, не выпуская из рук винтовок. Иные лениво жевали хлеб, иные похрапывали, поджав коленки. Мимо них толкался праздный народ, читая диковинные надписи, прибитые на бумажках к дверям, оглядываясь на бегающих из комнаты в комнату, возбужденных до последней человеческой возможности, осипших комиссаров.

Катя, Даша и Телегин, наглядевшись на все эти чудеса, протискались, наконец, в двухсветную залу с линяло-пурпуровыми занавесами на огромных окнах, с обитыми пурпуром полукруглыми скамьями амфитеатра. На передней стене двухсаженными черными заплатами зияли пустые золоченые рамы императорских портретов, перед ними, в откинутой бронзовой мантии, стояла мраморная Екатерина[2], улыбаясь приветливо и лукаво народу своему.

На скамьях амфитеатра сидели, развалясь, подпирая головы, потемневшие, обросшие щетиной, измученные люди. Несколько человек спало, уткнувшись лицом в пюпитры. Иные нехотя сдирали кожицу с кусочков колбасы, ели хлеб. Внизу, перед улыбающейся Екатериной, у зеленого, с золотой бахромой, длинного стола сидели в черных рубашках, в рваных пиджаках молодые, скуластые люди с осунувшимися лицами. Один из них, длинноволосый и бородатый, соломенного цвета, лупил яйцо, бросая кожуру на зеленое сукно. Даша вдруг с мучительным омерзением стала припоминать, – где она видела такого же человека, лупившего яйцо, и смертельную свою тоску, и окно, затянутое паутиной?

– Даша, видишь – товарищ Кузьма за столом, – сказала Катя.

К товарищу Кузьме в это время подошла рысцой стриженая, востроносая барышня и начала что-то шептать. Он слушал, не оборачиваясь, жуя яйцо, потом встал и, цыкая зубом, сказал:

– Городской голова Гучков вторично заявил[3], что рабочим оружие выдано не будет. Предлагаю голосовать без прений протест против действий революционного комитета, принявшего буржуазно-реакционную окраску.

На скамьях амфитеатра проявилось некоторое движение. Кто-то поднял от пюпитра голову, зевнул и вытянул перед собой заскорузлую руку. Все руки поднялись.

Телегин, наконец, допытался (спросив у малорослого гимназиста, озабоченно курившего папиросу), что здесь, в Екатерининском зале, происходит, не прерывающееся вторые сутки, заседание совета рабочих депутатов.

В обеденное время смирные мужики запасного полка, сидевшие в Кремле, увидели дымок походных кухонь на Красной площади, – сдались и отворили ворота. По всей площади пошел крик, полетели шапки. На Лобное место, где лежал когда-то нагишом, в звериной маске, со скоморошьей дудкой на животе, убитый Лжедмитрий[4], откуда выкрикивали и скидывали царей, откуда читаны были все вольности и все неволи народа русского, на небольшой этот бугорок, много раз зароставший лопухами и снова заливаемый кровью, взошел солдатик в заскорузлой шинеленке и, кланяясь и обеими руками надвигая на уши папаху, начал говорить что-то непонятное и путаное, – за шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый, выскребленный последней мобилизацией из никому не известного захолустья, – все же барыня какая-то в съехавшей набок шляпке с перьями полезла его целовать, потом его стащили с Лобного места, подняли на руки и с криками понесли.

На Тверской в это время, против дома генерал-губернатора, молодец из толпы взобрался на памятник Скобелеву[5] и привязал ему к сабле красный лоскут. Кричали ура. Несколько загадочных личностей пробрались с переулка в охранное отделение, и было слышно, как там летели стекла, потом повалил дым. Кричали ура. На Тверском бульваре у памятника Пушкина известная писательница говорила, заливаясь слезами, о заре новой жизни и потом, при помощи мужа своего, тоже писателя, воткнула в руку задумчиво стоящему Пушкину красный флажок. В толпе кричали – ура. Весь город был как пьяный весь этот день. До поздней ночи никто не шел по домам, собирались кучами, говорили, плакали от радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм. После трех лет уныния, ненависти и крови растопилась, перелилась через края доверчивая, ленивая, не знающая меры славянская душа.

Катя, Даша и Телегин вернулись домой в сумерки. Оказалось, – горничная Лиза ушла на Пречистенский бульвар, на митинг, кухарка же заперлась на кухне и воет глухим голосом. Катя насилу допросилась, чтобы она открыла дверь:

– Что с вами, Марфуша?

– Царя нашего убили-и-и, – проговорила она, закрывая рукой толстый, распухший от слез рот. От нее пахло спиртом.

– Какие вы глупости говорите, – с досадой сказала Катя, – никто его не убивал.

Она поставила чайник на газ и пошла накрывать на стол. Даша лежала в гостиной на диване, в ногах ее сидел Телегин. Даша сказала:

– Иван, милый, если я нечаянно засну, ты меня разбуди, когда чай подадут, – очень чаю хочется.

Она поворочалась, положила ладони под щеку и проговорила уже сонным, детским голосом:

– Очень тебя люблю.

В сумерках белел пуховый платок, в который завернулась Даша. Ее дыхания не было слышно. Иван Ильич сидел, не двигаясь, – сердце его было полно. В глубине комнаты появился в дверной щели свет, зазвенели чайные ложечки, потом дверь раскрылась, вошла Катя, села рядом с Иваном Ильичом на валик дивана, обхватила колено и после молчания спросила вполголоса:

– Даша заснула?

– Она просила разбудить к чаю.

– А на кухне Марфуша ревет, что царя убили. Иван Ильич, что будет?.. Такое чувство, что все плотины прорваны... И сердце болит: – тревожусь за Николая Ивановича... Дружок, я попрошу вас пораньше, завтра, – пошлите ему телеграмму... Скажите, – а когда вы думаете ехать с Дашей в Петроград?

Иван Ильич не ответил. Катя повернула к нему голову, внимательно вгляделась в лицо большими, совсем как Дашины, но только женскими, серьезными глазами, улыбнулась нежно и грустно, вздохнула, привлекла Ивана Ильича и поцеловала в лоб.

С утра, на следующий день, весь город высыпал на улицу. По Тверской, сквозь гущу народа, под несмолкаемые крики – ура – двигались грузовые платформы с солдатами. На глухо громыхающих пушках ехали верхом мальчишки. По грязным кучам снега, вдоль тротуаров, стояли, охраняя порядок, молоденькие барышни, с поднятыми саблями и напряженными личиками, и вооруженные гимназисты, не знающие пощады, – это была вольная милиция. Лавочники, взобравшись на лесенки, сбивали с вывесок императорские орлы. Какие-то чахоточные девушки – работницы с табачной фабрики – ходили по городу с портретом Льва Толстого, и он сурово посматривал из-под насупленных бровей на все эти чудеса. Казалось, – не может быть больше ни войны, ни ненависти: – казалось – нужно еще куда-то, на какую-то высоченную колокольню вздернуть красное знамя, и весь мир поймет, что мы все братья, что нет другой силы на свете, – только радость, свобода, любовь, жизнь...

Когда телеграммы принесли потрясающую весть об отречении царя и о передаче державы Михаилу и об его отказе от венца[6], в свою очередь, – никто особенно не был потрясен: казалось – не таких еще чудес нужно ждать в эти дни.

Над неровными линиями крыш, над оранжевым закатом в прозрачной бездне неба переливалась звезда. Голые сучья лип чернели четко и неподвижно. Под ними было совсем темно; хрустели застывшие лужицы на тротуаре. Даша остановилась и, не выпуская соединенных рук, которыми держала под руку Ивана Ильича, глядела через низенькую ограду на затеплившийся свет в древнем, глубоком окошечке церкви – Николы на Курьих Ножках.

Церковка и дворик были в тени, под липами. Вдалеке хлопнула дверь, и через дворик пошел, хрустя валенками, низенький человек в длинном, до земли, пальто, в шляпе грибом. Было слышно, как он зазвенел ключами и стал не спеша подниматься на колокольню.

– Пономарь звонить пошел, – прошептала Даша и подняла голову. На золоте небольшого купола колокольни лежал отсвет заката.

– Бум-м-м, – ударил колокол, триста лет созывавший жителей к покою души перед сном грядущим. Даша перекрестилась. Мгновенно в памяти Ивана Ильича встала часовенка и на пороге ее молча плачущая женщина в белой свитке, с мертвым ребеночком на коленях. Иван Ильич крепко прижал локтем Дашину руку. Даша взглянула на него, как бы спрашивая, – что? Вгляделась, – рот ее стал серьезный.

– Ты хочешь? – спросила она быстрым шепотом. – Здесь, сейчас?..

Иван Ильич широко улыбнулся. Даша нахмурилась, потопала ботиками, стала глядеть в сторону.

– Даша, ты рассердилась на меня?

– Да.

– Но ведь нас никто же сейчас не станет венчать.

– Безразлично... Я сказала глупость, – это ясно. Но ты улыбнулся, – это очень обидно... Ничего нет смешного, – когда идешь под руку с человеком, которого любишь больше всего на свете и видишь огонь в окошке, – зайти и обвенчаться... – Даша подумала и опять взяла Ивана Ильича под руку. – Но ты меня понимаешь?

– Да, да...

– Хорошо, я больше не сержусь.

XXXIX

– Граждане, солдаты отныне свободной русской армии, мне выпала редкая честь поздравить вас со светлым праздником: цепи рабства разбиты, в три дня, без единой капли крови, русский народ совершил величайшую в истории революцию. Кровавый царь Николай отрекся от престола, царские министры арестованы, Михаил, наследник престола, сам отклонил от себя непосильный венец. Ныне вся полнота власти передана народу. Во главе государства

стало Временное правительство для того, чтобы в возможно скорейший срок произвести выборы во Всероссийское Учредительное собрание на основании прямого, всеобщего, равного и тайного голосования... Отныне – да здравствует Русская Революция, да здравствует Учредительное собрание, да здравствует Временное правительство...

– Ур-ра-а-а-а, – протяжно заревела тысячеголосая толпа солдат. Николай Иванович Смоковников вынул из кармана замшевого френча большой, защитного цвета, платок и вытер шею, лицо и бороду. Говорил он, стоя на сколоченной из досок трибуне, куда нужно было взбираться по перекладинам. За его спиной стоял командир полка, Тетькин, недавно произведенный в полковники, – обветренное, с короткой бородкой, с мясистым носом, лицо его изображало напряженное внимание. Когда раздалось, – ура, – он озабоченно поднес ладонь ребром к козырьку. Перед трибуной на ровном поле с черными проталинами и грязными пятнами снега стояли солдаты, тысячи две человек, без оружия, в железных шапках, в распоясанных, мятых шинелях, и слушали, разинув рты, удивительные слова, которые говорил им багровый, как индюк, барин. Вдалеке, в серенькой мгле, торчали обгоревшие трубы деревни. За ней начинались немецкие позиции. Несколько лохматых ворон летело через это унылое, мертвое поле.

– Солдаты! – вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, продолжал Николай Иванович, и шея его налилась кровью, – еще вчера вы были нижними чинами, бессловесным стадом, которое царская ставка бросала на убой... Вас не спрашивали, за что вы должны умирать... Вас секли за провинности и расстреливали без суда. – (Полковник Тетькин кашлянул, переступил с ноги на ногу, но промолчал и вновь нагнул голову, внимательно слушая.) – Я, назначенный Временным правительством, комиссар армий Западного фронта, объявляю вам, – Николай Иванович стиснул пальцы, как бы захватывая узду, – отныне нет более нижних чинов. Название отменяется. Отныне вы, солдаты, равноправные граждане Государства Российского: разницы больше нет между солдатом и командующим армией. Названия – ваше благородие, ваше высокоблагородие, ваше превосходительство – отменяются. Отныне вы говорите, – «здравствуйте, господин генерал», или: «нет, господин генерал», «да, господин генерал». Унизительные ответы: «точно так» и «никак нет» – отменяются. Отдача чести солдатом какому бы то ни было офицерскому чину – отменяется навсегда. Вы можете здороваться за руку с генералом, если вам охота...

– Го, го, го, – весело прокатилось по толпе солдат. Улыбался и полковник Тетькин, помаргивая испуганно.

– И, наконец, самое главное: солдаты, прежде война велась царским правительством, нынче она ведется народом – вами. Посему Временное правительство предлагает вам образовать во всех армиях солдатские комитеты –

ротные, батальонные, полковые и т.д., вплоть до армейских... Посылайте в комитеты товарищей, которым вы доверяете!.. Отныне солдатский палец будет гулять по военной карте рядом с карандашом главковерха... Солдаты, я поздравляю вас с главнейшим завоеванием революции...

Криками – урааа – опять зашумело все поле. Тетькин стоял навытяжку, держа под козырек. Лицо у него стало серое, и глаза с покорным ужасом были устремлены на Николая Ивановича. Из толпы начали кричать:

– А скоро замиряться с немцами станем?

– Мыла сколько выдавать будут на человека?

– Господин комиссар, а за воровство комитеты будут судить или суд?

– У меня жалоба, господин...

– Я насчет отпуска, у меня живот больной...

– Третий месяц в окопах гнием... Износились...

– Господин комиссар, как же у нас теперь, – короля что ли станут выбирать в Петербурге?..

Чтобы лучше отвечать на вопросы, Николай Иванович слез на землю, и его сейчас же окружили возбужденные, крепко пахнущие солдаты. Полковник Тетькин, облокотясь о перила трибуны, глядел, как в гуще железных шапок двигалась, крутясь и удаляясь, непокрытая, стриженая голова и жирный затылок военного комиссара. Один из солдат, рыжеватый, радостно злой, в шинели внакидку (Тетькин хорошо знал его, – крикун и озорник из телефонной роты), поймал Николая Ивановича за ремень френча и, бегая кругом глазами, начал спрашивать:

– Господин военный комиссар, вы нам сладко говорили, мы вас сладко слушали... Теперь вы на мой вопрос ответьте... Можете вы на мой вопрос ответить или не можете, – так вы мне и скажите...

Солдаты радостно зашумели и сдвинулись теснее. Полковник Тетькин нахмурился и озабоченно полез с трибуны.

– Я вам поставлю вопрос, – говорил солдат, почти касаясь черным ногтем носа Николая Ивановича, – получил я из деревни письмо, сдохла у меня дома коровешка, сам я безлошадный, и хозяйка моя с детьми пошла по миру, просить у людей куски... Значит, теперь имеете вы право меня расстрелять за дезертирство? – я вас спрашиваю...

– Если личное благополучие вам дороже свободы, – предайте ее, предайте ее, как Иуда, и Россия вам бросит в глаза: – вы недостойны быть солдатом революционной армии... Идите домой! – резко крикнул Николай Иванович.

– Да вы на меня не кричите!

– Ты кто такой, чтоб на нас кричать!

– Солдаты, – Николай Иванович поднялся на цыпочки, – здесь происходит недоразумение... Первый завет революции, господа, – это верность нашим союзникам... Свободная, революционная русская армия со свежей си-

лой должна обрушиться на злейшего врага свободы, на империалистическую Германию...

– А ты сам-то кормил вшей в окопах? – раздался чей-то грубый голос.

– Он их сроду и не видал...

– Подари ему тройку на разводку...

– Ты нам про свободу не говори, ты нам про войну говори: – мы три года воюем... Это вам хорошо в тылу брюхо отращивать, а нам знать надо, как войну кончать...

– Солдаты, – воскликнул опять Николай Иванович, – знамя революции поднято: свобода и война до последней победы...

– Вот, черт, дурак непонятный...

– Да мы три года воюем, победы не видали...

– А зачем тогда царя скидывали?..

– Они нарочно царя скинули, он им мешал войну затягивать...

– Что вы на него смотрите, товарищи, он подкупленный...

– Подосланный, сразу видно...

Полковник Тетькин, раздвигая локтями солдат, протискивался к Николаю Ивановичу и видел, как сутулый, огромный, черный артиллерист схватил комиссара за грудь и, тряся, кричал в лицо:

– Зачем ты сюда приехал?.. Говори – зачем приехал?..

Круглый затылок Николая Ивановича уходил в шею, вздернутая борода, точно нарисованная на щеках, моталась. Отталкивая солдата, он разорвал ему судорожными пальцами ворот рубахи. Солдат, сморщившись, сдернул с себя железный шлем и с силой ударил им Николая Ивановича несколько раз в голову и лицо...

XL

На ступеньке подъезда большого ювелирного магазина «Муравейчик и К°» сидели ночной сторож в тулупе и милицейский, тихонький мужичок в солдатской шинели и в картузе с нашитой по околышу красной ленточкой. Покатая улица была пуста, зеркальные окна контор и магазинов – темны и закрыты решетками. По улице с шорохом гнало лист смятой газеты. Мартовский, студеный ветерок посвистывал в еще голых акациях, и черная путаница их теней шевелилась на мостовой. Луна, по-южному яркая и живая, как медуза, высоко стояла над городом. Сторож в тулупе рассказывал не спеша, вполголоса:

– ...Выскочил он из кабинета и говорит: никогда я этому не поверю, покуда мне телеграмму не покажете... Тут ему чиновники и показывают телеграмму: отречение Государя Императора. Прочитал губернатор эту телеграмму, да как зальется слезами...

– Ай, ай, ай, – сказал милицейский.

– А через три дня ему и отставка...

– За что?

– Значит, за то, что он губернатор, – нынче их упразднили.

– Так.

– Объявили свободу, – значит каждый сам себя теперь управляет...

– Ну, да, – вроде, как самосудом управляемся...

– Ну, хорошо... Пошел я давеча на кухню в губернаторский дворец, там Степан, швейцар, – кум мне, конечно... Медали все, картузы с галуном в сундук спрятал, шапчонка на нем нарочно рваная какая-то, увидал меня: «Ну, что, говорит, дожили? Я, говорит, на старости лет таким теперь людям двери отворяю, каких раньше бывало – позовешь городового, да и ведешь в участок...»

– Ай, ай, ай, – опять сказал милицейский.

– И рассказал он мне, почему пришлось царю нашему отрекаться... Жил царь об эту пору в Могилеве, и вдруг говорят ему по прямому проводу, что, мол, так и так, – народ в Петербурге бунтуется, солдаты против народа идти не хотят, а хотят они разбегаться по домам. Ну, думает государь, – это еще полбеды. Созвал он всех генералов, вышел к ним и говорит: в Петербурге народ бунтует, царству моему приходит опасность, что мне делать? – говорите ваше заключение, – и смотрит на генералов. А генералы, братец ты мой, заключение не говорят, и все в сторону отвернулись.

– Вот беда-то...

– Один только из них не отвернулся от него, – пьяненький старичок генерал. «Ваше величество, – говорит, – прикажите – и я грудью сейчас за вас лягу». Покачал государь головой, горько усмехнулся: «Изо всех, говорит, верных слуг один мне верный остался, да и тот с утра каждый день пьяный. Видно – так тому и быть, – дайте мне бумагу, подпишу отречение»...

По улице в это время мимо подъезда прошел в лунном свету высокий человек. Верхняя половина его лица была в тени от козырька кепки. Левый, пустой, рукав серого пальто был засунут в карман. Он повернул лицо к сидящим, и отчетливо забелели его зубы. Он прошел, оставляя на камнях влажные следы твердых, длинных ступней.

– Четвертый раз человек этот приходит, – тихо сказал сторож.

Вдали на соборной колокольне медленно пробило два часа, и сейчас же стали слышны крики вторых петухов за рекой, в слободе.

Сторож вынул коробок спичек, осторожно почиркал, зажег огонек и сильно засопел трубкой, раскурив – сплюнул шага на три.

– Откуда только жулики эти берутся, – сказал он, – объявили свободу, и наехало их в город несколько тысяч. Из «Люкса» швейцар мне говорил: заведомо, говорит, у нас в гостинице стоит не меньше тридцати душ грабителей, –

все лучшие нумера заняли. По мелочам не работают, банк ограбить – это их дело, – артисты. – Милицейский вздохнул участливо, попросил огоньку. На улице опять появился безрукий, – он шел прямо к сторожам. Они, замолчав, глядели на него. Вдруг сторож шепнул скороговоркой:

– Пропали мы, Иван. Давай свисток.

Милицейский потянулся было за свистком, но безрукий большим прыжком подскочил к нему и ударил ногой в грудь. Милицейский съехал боком на тротуар. Сторож сказал тихо, дрожащим голосом:

– Ваше здоровье, вы поаккуратнее, ведь мы люди подневольные.

– Молчи, – ответил безрукий. Из-за угла в это время вывернул без шума длинный автомобиль, остановился, из него выскочило шесть человек в солдатских шинелях, в австрийских куртках, – двое стали на улице, настороже, двое, не говоря ни слова, повалили сторожа и милицейского ничком и стали крутить им руки, двое зазвенели отмычками у двери в ювелирный магазин. Безрукий говорил вполголоса:

– Сволочи, тише!

Дверь подалась, безрукий и двое громил быстро вошли в магазин. Все это делалось молча, без шума. Молча, не двигаясь, лежали связанные сторожа. На той стороне улицы, в тени, появился запоздавший прохожий, но, увидав, что грабят, – молча пустился бежать. Спустя недолгое время безрукий с товарищами вышли из магазина, – они держали сверточки черного бархата. Один из налетчиков, карауливший связанных сторожей, спросил у безрукого:

– А с этими что?..

– Вывести в расход.

Налетчик вытянул из кармана венгерской куртки маузер, взглянул, любуясь, как он блестит на луне, и подошел к лежащим сторожам. Два выстрела гулко прокатились по улице. Автомобиль полным ходом помчался в тени акаций и скрылся за поворотом.

Елизавета Киевна ходила по своей комнате в гостинице «Люкс», останавливалась у приоткрытого окна, прислушивалась и курила. На ней поверх тонкой рубашки и кружевной юбки была накинута дорогая шуба. В комнате пахло духами и сигарами, повсюду валялась одежда и белье, кровать была не прибрана.

Когда послышался шум автомобиля, Елизавета Киевна высунулась в окно, но ничего не увидала, – ветер, певший в телеграфных проволоках, остудил ее тело под шубкой. Она захлопнула окно и опять начала ходить и курить. Щека у нее подергивалась. Прошло долгое время, и вдруг грохнули вдали два выстрела. Елизавета Киевна выронила папироску и стояла, усмехаясь жалобно и кротко. Но выстрелов больше не было. Тогда она подняла руки к растрепанной голове, сжала ее и легла бочком на постель. Но пролежала

недолго, – вскочила, села на диванчик перед столом, покрытым ковровой, залитой пятнами скатертью, сначала пальцами, потом зубами вытащила пробку из бутылки и, куря и усмехаясь, принялась тянуть коньяк углом рта из длинной рюмочки.

Вдруг она сильно вздрогнула и обернулась, – в дверь скреблись. Она живо соскочила с дивана и повернула ключ. Вошел Александр Иванович Жиров, в бархатной тужурке, с мягким, большим галстуком; вытянутая кверху голова его была обрита; лицо – бледное до зелени; влажный рот усмехался, открывая гнилые зубы. Елизавета Киевна вернулась к дивану и села, подобрав ноги, прикрывая кое-как воротником шубы голые плечи и грудь.

– Хочешь коньяку, пей, – сказала она. Жиров сел напротив и налил рюмочку. Ввалившиеся глаза его, черные и без блеска, уставились в лицо Елизаветы Киевны.

– Ты что думаешь, Аркадий двоих все-таки убил, – сказал он вполголоса. Елизавета Киевна проглотила слюну. – Я сейчас оттуда, Лиза. У магазина – толпа, крик. Муравейчик – в подштанниках, рвет на себе бороду. Убиты два сторожа. – У Жирова затряслись губы. Елизавета Киевна пододвинула по столу рюмку, он, наливая, перелил через край и с длинной усмешкой омочил палец, потер за ухом. Елизавета Киевна выпила. – Знаешь, Лиза, что мне странно, – как мы хорошо сегодня обедали, было приподнято, я читал стихи, ты была весела, Аркадий мил... А потом эти два сторожа, ничком, как мешки, у каждого от головы, – черная лужа... Это как-то мне смяло нервы! – Он вынул из кармана тужурки серебряную коробочку, осыпанную алмазами, осторожно приподнял крышечку, взял щепоть белого порошку и сильно втянул его носом, глаза его увлажнились. – Мне часто представляется какой-то огромный пустой город... Я брожу по улицам. Между камней – трава. Окна пустынны. Вдали – великолепный закат. Это город моей меланхолии. В нем нет людей, только в глубине переулка одинокая женская фигура... Почему-то это всегда ты, Лиза… – Покачиваясь на стуле, он пустил струю дыма под люстру. – Да, убийство, конечно, высшее проявление воли. Нужно, чтобы в убийстве был восторг. Но убивать ночных сторожей, потом не спать всю ночь, трястись от отвращения, – бррр! Аркадий умен и смел, но он все-таки воришка, убивающий из-за угла...

– Я тебя выброшу из комнаты! – хрипло, вдруг, проговорила Елизавета Киевна. – Не смеешь мне так говорить! – Она совсем откинула шубу и, полуголая, облокотилась о стол, подперла ладонями щеки. – Ты – мразь... Липкая сволочь... Презираю тебя...

Жиров с наслаждением зажмурился, придвинул стул ближе к Елизавете Киевне. – Я люблю и высоко ценю Аркадия, – сказал он горловым баском, – я ему многим обязан... Но он практик... Он потерял руководящую нить... Помнишь разговоры в «Шато Кабернэ»?.. Тогда у него был пафос. А что те-

перь? – за три месяца – двенадцать ограбленных магазинов да человек тридцать убитых. Он кончит тем, что уедет в Гельсингфорс и откроет банкирскую контору...

– Подлец, подлец, – уже спокойно проговорила Елизавета Киевна, продолжая подпирать щеки, – живет на наши деньги, нюхает кокаин целыми днями, всего ему мало...

– Да, мне всего этого мало, – грубо сказал Жиров, снял с мизинца перстень с засверкавшим камнем и швырнул его под стол. – Ты, кажется, забываешь, кто такой – я! – Он встал и пошел к двери. Елизавета Киевна попросила тихо, почти жалобно:

– Саша, не уходи...

После некоторого колебания он вернулся, выпил коньяку, понюхал из коробочки и отогнул штору на окне: – Светает, – сказал он. Елизавета Киевна замотала головой.

– Слушай меня внимательно, – заговорил Жиров, проводя рукой по лицу, – Аркадий должен достать много миллионов денег. Мы втроем создаем центр, мы называемся – «Центральный Комитет Планетарного Переворота». Социализм – к черту. Мы чистые анархисты-планетарцы... – Елизавета Киевна внимательно взглянула на Жирова, в близоруких глазах ее мелькнула искорка. Он продолжал, блестя обритым, длинным черепом под люстрой: – Мы должны немедленно же начать создавать целую сеть агентов во всех городах мира. В этом ты окажешь огромную помощь, Лиза... Ты одна умеешь находить людей с никогда не утоляемой жаждой преступления... Мы начнем взрывать парламенты, дворцы, арсеналы... Начнется паника, грабежи и убийства... Мы взорвем вокзалы, железнодорожные мосты, гавани... Будет хаос и самоистребление... Тогда мы овладеем властью... Мы приступим к самому главному: мы сгоним миллионы людей к экватору и там будем рыть гигантскую шахту, много верст глубины... Она будет обложена сталью. Мы опустим в эту пушку огромные массы динамита и взорвем их... Это не бред, это возможно... Я справлялся у инженеров... Мы сбросим Землю с орбиты. Земля, как ракета, сорвется с проклятой математической кривой и помчится в дикое пространство... небесное равновесие будет нарушено к чертям... Планеты и звезды сойдут со своих орбит... В небе начнется трескотня, миры будут сталкиваться, лопаться, как орехи... Мы влетим в какое-то солнце и вспыхнем... Лиза, вот для чего стоит жить...

– Ох, я не могу больше, – проговорила Елизавета Киевна, поднимаясь с дивана и, как слепая, шатаясь по комнате... – Поймите вы все, я с ума сойду... С утра до ночи эти разговоры... Грабеж, убийства, кровь... я не хочу уничтожать никакого равновесия. – Она хрустнула пальцами. – Саша, уговори Аркадия... У нас много денег, уедемте втроем куда-нибудь... Ну, хоть на годик, ведь может же быть у меня простое желание – жить... Я не могу больше не

спать по ночам, слушать эти выстрелы... Давеча взяла чистить костюм Аркадия, – на пиджаке пятна, кровь... Хоть бы на остров какой-нибудь уехать, подальше от земли... Нет, нет, нет... Так и будем таскаться из города в город, грабить, лгать друг дружке, – покуда нас не повесят, и слава богу... Уйди, Саша, я спать лягу... Аркадий вернется поздно... Уходи, я тебе в лицо плюну, если не уйдешь...

XLI

Катя осталась одна. Телегин и Даша повенчались у Николы на Курьих Ножках и в тот же день уехали в Петроград. Катя проводила их на вокзал, перекрестила обоих, поцеловала на прощанье, – они были до того рассеянные, как неживые, – и вернулась домой в сумерки.

В доме было пусто. Марфуша и Лиза ушли на митинг домашней прислуги «выносить резолюцию протеста». В столовой, где еще остался запах папирос и цветов, на столе среди неубранной посуды стояло цветущее деревцо – вишня. Катя полила ее из графина, прибрала посуду, стряхнула крошки со скатерти и, не зажигая света, села у стола, лицом к окну, – за ним тускнело небо, затянутое облаками, едва были различимы очертания крыш. В столовой постукивали стенные часы, – разорвись от тоски сердце, они все так же бы постукивали. Катя долго сидела, не двигаясь, потом провела ладонью по глазам, поднялась, взяла с кресла пуховый платок, накинула на плечи и пошла в Дашину комнату. Смутно, в сумерках, был различим полосатый матрас опустевшей постели, на стуле стояла пустая шляпная картонка, на полу валялись бумажки и тряпочки. Когда Катя увидела, что Даша взяла с собой все свои вещицы, не оставила, не забыла ничего, ей стало обидно до слез. Она села на кровать, на полосатый матрас, и здесь, так же, как в столовой, сидела неподвижно.

Часы в столовой, медленно и гулко, пробили десять. Катя поправила на плечах платок и пошла на кухню. Постояла, послушала – потом, поднявшись на цыпочки, достала с полки кухонную тетрадь, вырвала из нее чистый листочек и написала карандашом: «Лиза и Марфуша, вам должно быть стыдно на весь день до самой ночи бросать дом». На листок капнула слеза. Катя положила записку на кухонный стол и пошла в спальню. Там поспешно разделась, влезла в кровать, под одеялом стащила с себя чулки, легла, поджав к животу колени, и затихла.

В полночь хлопнула кухонная дверь и, громко топая и громко разговаривая, вошли Лиза и Марфуша, заходили по кухне, затихли и вдруг обе засмеялись, – прочли записку. Катя поморгала глазами, не пошевелилась. Наконец, на кухне стало тихо. Часы бессонно и гулко пробили час. Катя повернулась на

спину, ударом ноги сбросила с себя одеяло, с трудом вздохнула несколько раз, точно ей не хватало воздуху, соскочила с кровати, зажгла электричество и, жмурясь от света, подошла к большому, стоячему зеркалу. Дневная, тоненькая рубашка не доходила ей до колен. Катя озабоченно и быстро, как очень знакомое, оглянула себя, – подбородочек у нее дрогнул, она близко придвинулась к зеркалу, подняла с правой стороны волосы: – Да, да, конечно, – вот, вот, вот еще... – Она оглядела все лицо: – Ну, да, – кончено... Через год – седая, потом старая. – Она потушила электричество и опять легла в постель, прикрыла глаза локтем. «Ни одной минуты радости за всю жизнь. Теперь уж кончено... Ничьи руки не обхватят, не сожмут, никто не скажет, – дорогая моя, милочка моя, радость моя, любовь моя...»

Среди горьких дум и сожалений Катя внезапно вспомнила песчаную, мокрую дорожку, кругом – поляна, сизая от дождя, и большие липы... По дорожке идет она сама – Катя – в коричневом платье и черном фартучке. Под туфельками хрустит песок, Катя чувствует, какая она вся легкая, тоненькая, миленькая, волосы треплет ветерок, и рядом, – не по дорожке, а нарочно по мокрой траве, – идет, ведя велосипед, гимназист Алеша. Катя отворачивается, чтобы не засмеяться... Алеша говорит глухим голосом: «Я знаю – мне нечего надеяться на взаимность... Я только приехал, чтобы сказать вам, Катя, что я хотел раньше идти в университет, служить народу и просвещению, теперь я смеюсь над этими мечтами... Мне все равно. Окончу жизнь где-нибудь на железнодорожной станции, в глуши. Прощайте...» Он садится на велосипед и едет по лугу, за ним в траве тянется сизый след... Сутулая спина его в серой куртке и белый картуз скрываются за зеленью. Катя кричит: «Алеша, вернитесь, может быть, я подумаю – выйду за вас замуж». – И больше не может, – хохочет, трясет головой...

...Неужели она, измученная сейчас бессонницей, стояла когда-то на той сырой дорожке, и летний ветер, пахнущий дождем, трепал ее черный фартучек? Катя села в кровати, обхватила голову, оперлась локтями о голые колени, и в памяти ее появились тусклые огоньки фонарей, снежная пыль, ветер, гудящий в голых деревьях, визгливый, тоскливый, безнадежный скрип санок, ледяные глаза Бессонова, близко у самых глаз... Сладость бессилия, безволия... Омерзительный холодок любопытства... Господи, Господи, – кого она тогда пустила к себе!

Катя опять легла. В тишине дома резко затрещал звонок. Катя похолодела. Звонок повторился. По коридору, сердито дыша спросонок, прошла босиком Лиза, зазвякала цепочкой парадной двери и через минуту постучала в спальню: «Барыня, вам телеграмма».

Катя, морщась, взяла узкий конвертик, разорвала заклейку, развернула, и в глазах ее стало темно.

– Лиза, – сказала она, глядя на девушку, у которой от страха начали трястись губы, – Николай Иванович скончался.

Лиза вскрикнула, перекрестилась и заплакала. Катя сказала ей: «Уйдите». Потом во второй раз перечла безобразные буквы на телеграфной ленте: «Николай Иванович скончался тяжких ранений полученных славном посту исполнении долга точка тело перевозим Москву средства союза»...

Кате стало тошно под грудью, рот набрался слюной, на глаза поплыла темнота, она потянулась к подушке и потеряла сознание...

На следующий день к Кате явился тот самый румяный и бородатый барин – известный общественный деятель и либерал, князь Капустин-Унжеский, – которого она слышала в первый день революции в Юридическом клубе, – взял в свои руки обе ее руки и, прижимая их к мохнатому жилету, начал говорить о том, что от имени организации, где он работал вместе с покойным Николаем Ивановичем, от имени города Москвы, товарищем комиссара которой он сейчас состоит, от имени России и революции приносит Кате неутешные сожаления о безвременно погибшем славном борце за идею.

Князь Капустин-Унжеский был весь по природе своей до того счастлив, здоров и весел, так искренно сокрушался, от его бороды и жилета так уютно пахло сигарами, что Кате на минуту стало легче на душе, она подняла на него свои блестевшие от бессонницы глаза, разлепила сухие губы и сказала:

– Спасибо, что вы так говорите о Николае Ивановиче...

Князь вытащил огромный платок и вытер глаза. Он исполнил тяжелый долг и уехал, – машина его, как чудовище, заревела в переулке. А Катя снова принялась бродить по комнате, – останавливалась перед фотографическим снимком чужого генерала с львиным лицом, брала в руки альбом, книжку, коробочку, – на крышке ее была цапля, схватившая лягушку, – опять ходила, глядела на обои, на шторы. Думала: Господи, как утомительно – ходить, смотреть, трогать вещи... Обеда она не коснулась, – было омерзительно даже подумать о еде. Написала было Даше коротенькое письмо, но порвала: до писем ли Даше сейчас... Глядя в окно на тусклое, белесое небо, проговорила вполголоса непонятно почему вспомнившиеся странные строчки: «...И руки бесприютные все прячет мне на грудь»[1].

Лечь бы, заснуть. Но лечь в постель, – как в гроб, – страшно после прошедшей ночи... Больнее всего была безнадежная жалость к Николаю Ивановичу: – был он хороший, добрый, бестолковый человек... Любить бы его надо таким, какой был... Она же мучила, не любила... О, Господи, Господи. Оттого он так рано и поседел. И улыбка у него была милая, беззащитная...

В сумерки Катя села на диван, подобрала ноги и долго, молча хрустела пальцами...

На следующий день была панихида, а еще через сутки – похороны останков Николая Ивановича. На могиле говорились прекрасные речи, покойника сравнивали с альбатросом, погибшим в пучине, с человеком, принесшим горящий факел в лес, полный диких зверей... Запоздавший на похороны известный партийный деятель, низенький мужчина в очках, похожий на изображение в вогнутом зеркале в паноптикуме, сердито буркнул Кате: «Ну-ка, посторонитесь-ка, гражданка», протиснулся к самой могиле и начал говорить о том, что смерть Николая Ивановича лишний раз подтверждает правильность аграрной политики, проводимой его, оратора, партией. Земля осыпалась из-под его неряшливых башмаков и падала со стуком на гроб. У Кати горло сжималось тошной спазмой. Она незаметно вышла из толпы и поехала домой. У ней было одно желание – вымыться и заснуть. Но, когда она вошла в дом, ее охватил ужас: полосатые обои, фотографии и коробочка с цаплей, смятая скатерть в столовой, гробовые занавеси, пыльные окна, – какое омерзение, какая тоска! Катя велела напустить ванну и со стоном легла в теплую воду. Все тело ее почувствовало, наконец, смертельную усталость. Она едва доплелась до спальной и заснула, не раскрывая постели. Сквозь сон ей чудились звонки, шаги, голоса, кто-то постучал в дверь, – она не отвечала.

Проснулась Катя, когда было совсем темно, – мучительно сжималось сердце. «Что, что?» – испуганно, жалобно спросила она, приподнимаясь на кровати, и с минутку надеялась, что, быть может, все это страшное было во сне... Потом, тоже с минутку, чувствовала обиду и несправедливость, – зачем меня мучают? И, уже совсем проснувшись, поправила волосы, надела туфельки на босую ногу и ясно и покойно подумала: «Больше не хочу».

Не торопясь, Катя достала из комода лакированный ящик – походную аптеку – и начала читать надписи на пузырьках. Склянку с морфием она раскрыла, понюхала и отставила в сторону, а остальные спрятала в шкатулку, уложила ее на прежнее место в комод и пошла в столовую за рюмочкой, но по пути остановилась, – в гостиной был свет. «Лиза, это вы»? – спросила Катя, приотворила дверь и увидела сидящего на диване большого человека в военной рубашке, бритая голова его была перевязана черным. Он торопливо встал. У Кати начали дрожать колени, похолодело, стало пусто под сердцем. Человек глядел на нее светлыми, расширенными, страшными глазами. Прямой рот его был сжат, на скулах надуты желваки. Это был Рощин, Вадим Петрович. Катя поднесла обе руки к груди. Рощин, не опуская глаз, сказал медленно и твердо:

– Я зашел к вам, чтобы засвидетельствовать почтение. Ваша прислуга рассказала мне о несчастье. Я остался потому, что счел нужным сказать вам, что вы можете располагать мной, вплоть до моей жизни.

Голос его дрогнул, когда он выговорил последние слова, и крупное лицо залилось коричневым румянцем. Катя со всей силой прижимала руки к груди.

Рощин понял по глазам ее, что нужно подойти и помочь ей. Когда он приблизился, Катя, постукивая зубами, проговорила:

– Здравствуйте, Вадим Петрович...

Невольно он поднял руки, чтоб обхватить Катю, – так она была хрупка и несчастна, – едва живой комочек, но сейчас же опустил руки, насупился, глаза его налились влагой. Пронзительным чутьем женщины Катя поняла, что он жалеет ее той единственной любовью, тем единственным светом жизни, который изошел некогда из раскинутых над миром, пронзенных рук... Катя почувствовала, как вдруг она, несчастная, маленькая, грешная, неумелая, со всеми своими невыплаканными слезами, с жалким пузыречком морфия, стала нужна и дорога этому человеку, молча и сурово ждущему – принять ее душу в свою. Сдерживая слезы, не в силах сказать ничего, разжать зубов, Катя наклонилась к руке Вадима Петровича и прижалась к ней губами и лицом.

XLII

– Смотри, а вон – островок, развалины, залив... Какая бездонная, зеленая вода в заливе. Смотри – над заливом какие-то птицы летят, не то крылатые люди...

Положив локти на мраморный подоконник, Даша глядела в окно. За темными лесами, в конце Каменноостровского, полнеба было охвачено закатом. В небе были сотворены чудеса. Сбоку Даши сидел Иван Ильич и глядел на нее, не шевелясь, хотя мог шевелиться сколько угодно, – Даша все равно бы никуда теперь не исчезла из этой комнаты с синими занавесками и с багровым отсветом зари на белой стене, над вышитыми подушками дивана.

– Господи, как грустно, как хорошо, – сказала Даша, – как хорошо, что я с тобой... Точно мы плывем на воздушном корабле...

Иван Ильич кивнул головой. Даша сняла руки с подоконника и откинулась в кресле, одернула юбку.

– Мне ужасно хочется музыки, – сказала она, – сколько времени я не играла, с тех пор как началась война... Подумай, все – еще война... А мы...

Иван Ильич пошевелился. Даша сейчас же продолжала:

– Когда кончится война – мы с тобой серьезно займемся музыкой... И еще, Иван, мне бы хотелось пожить у моря... Помнишь, как мы лежали с тобой и море находило на песок. Помнишь – какое было море – выцветшее, голубое... Мне представляется, Иван, что я любила тебя всю жизнь. – Иван Ильич опять пошевелился, хотел что-то сказать, но Даша спохватилась, – а чайник-то кипит! – и побежала из комнаты, но в дверях остановилась, обернулась... Он видел в сумерках только ее лицо, руку, взявшуюся за занавес и ногу в сером

чулке. Даша скрылась. У Ивана Ильича опять перехватило дыхание. Он закинул руки за голову и закрыл глаза.

Даша и Телегин приехали сегодня в два часа дня. Всю ночь им пришлось сидеть в коридоре переполненного вагона на чемоданах. По приезде Даша сейчас же начала раскладывать вещи, заглядывать во все углы, вытирать пыль, восхищалась квартирой и решила столовую сделать там, где гостиная, гостиную – там, где спальня Ивана Ильича, спальню Ивана Ильича – там, где столовая, в свою комнату решила часть мебели взять из гостиной, а в гостиную – от Ивана Ильича. Все это нужно было сделать немедленно. Снизу был позван швейцар, который вместе с Иваном Ильичом возил из комнаты в комнату шкафы и диваны. Когда перестановка была кончена и швейцар ушел, оставив после себя запах постного пирога, Даша сказала Ивану Ильичу открыть повсюду форточки, а сама пошла мыться. Она очень долго плескалась, что-то делала с лицом, с волосами и не позволяла входить то в одну, то в другую комнату, хотя главная задача Ивана Ильича за весь этот день была – поминутно встречать Дашу и глядеть на нее.

В сумерки Даша, наконец, угомонилась. Иван Ильич, вымытый и побритый, пришел в гостиную и сел около Даши. В первый раз после того, как у Николы на Курьих Ножках Даша и Телегин стали мужем и женой, они были одни, в тишине. Словно опасаясь этой тишины, Даша старалась не молчать. Как она потом призналась Ивану Ильичу, ей вдруг стало страшно, что он скажет ей «особым» голосом: «Ну что же, Даша?..» Иван Ильич был опечален, заметив, что Даша – настороже.

Она ушла посмотреть чайник. Иван Ильич сидел с закрытыми глазами. Всей своей кожей он испытывал присутствие Даши и очарование этого присутствия. На что бы мысленно он не взглядывал, эта вещь, как маловажная, исчезала, и он с новой остротой чувствовал, что в его доме поселилось существо с нежным голосом, с милым лицом, смущенное, легкое, в ловком синем платье... его жена... Иван Ильич раскрывал глаза и прислушивался, как постукивают на кухне Дашины каблучки. Вдруг там что-то зазвенело – разбилось, и Дашин жалобный голос проговорил: «Чашка!» И сейчас же горячая радость залила Ивана Ильича: «Завтра, когда проснусь, будет не обыкновенное утро, а будет – Даша». Он быстро поднялся, чтобы пойти к Даше и сказать ей об этом, но она появилась в дверях:

– Разбила чашку... Иван, неужели ты хочешь чаю?..

– Нет...

Она подошла к Ивану Ильичу и, так как в комнате было совсем темно, – положила руку ему на плечи.

– О чем ты без меня думал? – спросила она тихо.

– О тебе.

– Я знаю, что обо мне... А что обо мне думал?

Дашино приподнятое лицо в сумерках казалось нахмуренным, на самом деле оно улыбалось. Ее грудь дышала ровно, поднимаясь и опускаясь. Ивану Ильичу было трудно собраться с мыслями, он честно наморщил лоб.

– Думал о том, что как-то плохо у меня связано, – ты, и что ты – моя жена, – сказал он, – потом я это вдруг понял и пошел тебе сказать, а сейчас опять не помню.

– А у меня это связано, – сказала Даша.

– Чем?

– Нежностью к тебе. Точно я шла, шла и вот так вот прижалась. И еще – доверчивостью. Почему у тебя это не связано? Разве ты думаешь, что я могу о чем-нибудь думать таком, чего ты не знаешь?

– Ах, вот что, – Иван Ильич радостно, коротко засмеялся, – как это просто... Ведь я, действительно, не знаю – о чем ты думаешь.

– Ай, ай, – сказала Даша и пошла к окну, – садись, а я сбоку, – Иван Ильич сел в кресло, Даша присела сбоку, на подлокотник, – Иван, милый, я ни о чем скрытном не думаю, – поэтому мне так легко с тобой.

– Я здесь сидел, когда ты была на кухне, – сказан Иван Ильич, – и думал – «в доме поселилось удивительное существо»... Это плохо?

– Да, – ответила Даша задумчиво, – это очень плохо.

– Ты любишь меня, Даша?

– О, – она снизу вверх кивнула головой, – люблю до самой березки.

– До какой березки?

– Разве не знаешь: – у каждого в конце жизни – холмик, и над ним плакучая березка.

Иван Ильич взял Дашу за плечи. Она с нежностью дала себя прижать. Так же, как давным-давно на берегу моря, поцелуй их был долог, им не хватило дыхания. Даша сказала: «Ах, Иван», – и обхватила его за шею. Она слышала, как тяжело стучит его сердце, ей стало жалко его. Она вздохнула, поднялась с кресла и сказала кротко и просто:

– Идем, Иван.

На пятый день по приезде Даша получила от сестры письмо, Катя писала о смерти Николая Ивановича: «...Я пережила время уныния и отчаяния. Я с ясностью почувствовала, наконец, что я во веки веков – одна. О, как это страшно!.. Все законы божеские и человеческие нарушены, когда человек – один. От отчаяния и тоски моя душа начала тлеть, как на огне. Я хотела избавиться от этой муки, – невидимая, ледяная рука толкала меня сделать это. Меня спасло чудо: взгляд человека... Ах, Даша, Даша, мы живем долгие годы, чтобы на одно мгновение, быть может, заглянуть в глаза человеку, в эту божественную бездну любви... Мы, неживые призраки, пьем эту живую воду, – раскрываются слепые глаза, мы видим свет Божий, мы слышим голоса жизни. Любовь, любовь... Будь благословен человек, научивший меня этому».

Известие о смерти зятя, Катино письмо, написанное как в исступлении, потрясло Дашу. Она немедленно собралась ехать в Москву, но на другой день получилось второе письмо от Кати, – она писала, что укладывается и выезжает в Петроград, просит приискать ей недорогую комнату. В письме была приписка: «К вам зайдет Вадим Петрович Рощин. Он расскажет вам обо мне все подробно. Он мне, как брат, как отец, как друг жизни моей».

Даша и Телегин шли по аллее. Было воскресенье, апрельский день. Над прозрачно-зелеными сводами листвы в прохладе еще по-весеннему синего неба летели слабые обрывки разорванного ветром, тающего от солнца, слоистого облака. Солнечный свет, точно сквозь воду, проникал в аллею, ползал пузырчатыми тенями по песку, скользил по белому платью Даши, по зеленой военной рубашке Телегина. Навстречу двигались мшистые стволы лип, красновато-сухие мачты сосен, – шумели их вершины, шелестели листья. Даша слушала, как кричит неподалеку иволга, – посвистывает водяным голосом. Даша поглядывала на Ивана Ильича, – он снял фуражку и опустил брови, улыбаясь. У нее было чувство покоя и наполненности – прелестью дня, радостью того, что так хорошо дышать, так легко идти и что так покорна душа этому дню и этому идущему рядом человеку.

– Иван, – сказала Даша и усмехнулась. Он спросил с улыбкой:

– Что, Даша?

– Нет... подумала.

– О чем?

– Нет, потом.

– Я знаю, о чем.

Даша быстро обернулась:

– Честное слово, ты не знаешь...

Они дошли до большой сосны. Иван Ильич отколупнул чешую коры, покрытую мягкими каплями смолы, разломал в пальцах и ласково из-под бровей смотрел на Дашу.

– Мне кажется, – сказал он, – есть только одно благословение на свете... Правда?

У Даши задрожала рука.

– Ты понимаешь, – сказала она шепотом, – я чувствую, как я вся должна перелиться в какую-то еще большую радость... Так я люблю... Так я вся полна...

Иван Ильич молча покивал головой. Они вышли на поляну, покрытую цыплячье-зеленой травкой и желтыми, треплющимися от ветра лютиками. Ветер, гнавший в небе остатки разорванного облака, подхватил Дашино платье. Она на ходу озабоченно несколько раз нагибалась, чтобы одергивать юбку, и повторяла:

– Господи, господи, что за ветер!

В конце поляны тянулась высокая дворцовая решетка, с потускневшими от времени, золочеными копьями. Даше в туфельку попал камушек. Иван Ильич присел, снял туфлю с Дашиной теплой ноги в белом чулке и поцеловал ее пониже подъема, около пальцев. Согнув ногу в колене, Даша надела туфлю, потопала ногой и сказала:

– Хочу, чтобы от тебя был ребенок, вот что…

Она выговорила, наконец, то, что за все время прогулки ей хотелось сказать именно этими словами. Ей стало жарко. Она помахала на лицо ладонью и глядела, как по ту сторону решетки, на лужайке, двое людей копают грядку, чернеющую длинным прямоугольником в нежно-зеленой траве. Один из копавших был старик в опрятном, белом фартуке. Не спеша, он налегал ступней на лопату и с усилием, подгибая колени, выбрасывал землю, отливавшую синевой. Другой был в военной рубашке, собранной в складки на спине, в широкополом картузе, надвинутом козырьком на глаза. Он работал торопливо, видимо – неумело, разгибался, вынимал из кармана черных, заправленных в сапоги рейтуз носовой платок и вытирал шею.

– Видишь ты, – ему и с гуся вода, – проговорил чей-то насмешливый голос. – Телегин обернулся, рядом с ним стоял сощуренный, пожилой мещанин в новеньком картузе и в теплом жилете поверх вышитой рубашки, – видишь ты, – повторил мещанин, кивая на работающих по ту сторону решетки, – капусту из грунтовой ямы пересаживает... Вот себе и занятие нашел... Смех...

Мещанин невесело засмеялся. Даша с удивлением обернулась на него, взяла Ивана Ильича под руку и они отошли от решетки в то самое время, когда человек в военной рубашке, услыхав смех, обернулся, опираясь на заступ, – лицо его было опавшее, темное, с мешками под глазами, – и знакомым всей России движением – горстью левой руки, – провел по большим рыжеватым усам.

Мещанин снял картуз, с кривой усмешечкой поклонился бывшему императору[1], встряхнул волосами и, глубоко надвинув картуз, пошел своей дорогой, подняв бородку, дробно топая новыми сапожками.

XLIII

Екатерина Дмитриевна поселилась неподалеку от Даши, в деревянном домике с палисадником, у двух старушек. Одна из них, Клавдия Ивановна, была в давние времена певицей, другая, Софочка, не то камеристкой, не то ее подругой. Клавдия Ивановна, с утра подрисовав себе брови и надев парик воронова крыла, садилась раскладывать пасьянс. Софочка вела хозяйство и, когда сердилась, то разговаривала мужским голосом. В доме было чистенько,

тесновато, по-старинному – множество скатерочек, ширмочек, пожелтевших портретов из невозвратной молодости. Утром в комнатах пахло хорошим кофе; когда начинали готовить обед, Клавдия Ивановна страдала от запаха съестного и нюхала соль, а Софочка кричала мужским голосом из кухни: «Куда же я вонищу дену, не на пачуле картошку жарить». По вечерам зажигали керосиновые лампы с матовыми шарами. Старушки заботливо относились к Кате, хотя Клавдия Ивановна и считала, что в молодой женщине есть что-то демоническое.

Катя жила тихо в этом старозаветном уюте, уцелевшем от бурь времени. Вставала она рано, сама прибирала комнату и садилась к окну – чинить белье, штопать чулки или переделывать из своих старых, нарядных платьев что-нибудь попроще. (После Парижа она ничего себе не покупала и не шила, а теперь денег совсем было в обрез.) После завтрака обычно Катя шла на острова, брала с собой книгу или вышиванье и, дойдя до любимого места, садилась на скамью близ маленького озера и глядела на детей, играющих на горке песка, на катившиеся между стволов, поблескивающие на солнце экипажи, читала, вышивала, думала. К шести часам она возвращалась обедать к Даше. В одиннадцать Даша и Телегин провожали ее домой: – сестры шли впереди под руку, а Иван Ильич, в сдвинутой на затылок фуражке и посвистывая, шел сзади, «прикрывал тыл», потому что по вечерам теперь ходить по улицам было не безопасно.

Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему все это время в командировке, на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах все, что делала за день и что думала: об этом просил ее Рощин и подтверждал в ответных письмах: «Когда вы мне пишете, Екатерина Дмитриевна, что у вас горе – платье, которое вы рассчитывали переделать, разлезается, или, что сегодня, когда вы переходили Елагин мост, начал накрапывать дождь, у вас не было зонта и вы пережидали дождь под деревьями... Мне дороги все эти мелочи, мне кажется даже, что я бы теперь не смог жить без этих мелочей вашей жизни...»

Краешком ума Катя понимала, что Рощин преувеличивает и прожить бы, конечно, смог без ее мелочей, но подумать – остаться хотя бы на один день снова одной, сама с собою, было так страшно, что Катя старалась не раздумывать, а верить – будто вся ее жизнь нужна и дорога Вадиму Петровичу. Поэтому все, что она теперь ни делала, – получало особый смысл: – потеряла наперсток, искала целый час, а он был на пальце: – Вадим Петрович наверно уж посмеется, до чего она стала глупая. К самой себе Катя теперь относилась как к чему-то не совсем своему. Однажды, работая у окна и думая, она заметила, что дрожат пальцы; она подняла голову и, протыкая иголкою юбку на колене, долго глядела перед собой: наконец взгляд ее различил напротив, где был зеркальный шкаф, худенькое лицо с большими, грустными глазами,

с волосами, причесанными просто – назад, узлом, – нежное, милое лицо... Катя подумала, – неужели – я? Опустила глаза и продолжала шить, но сердце билось, она уколола палец, поднесла его ко рту и опять взглянула в зеркало, – но теперь уже это была она, и похуже той... В тот же вечер она писала Вадиму Петровичу: «Сегодня весь день думала о вас. Я по вас соскучилась, милый мой друг, – сижу у окна и поджидаю. Что-то со мной происходит давным-давно забытое, какие-то девичьи настроения...»

Даже Даша, рассеянная и поглощенная своими сложными, как ей казалось – единственными с сотворения мира отношениями с Иваном Ильичом, заметила в Кате перемену и однажды за вечерним чаем долго доказывала, что Кате всегда теперь нужно носить гладкие, черные платья с глухим воротом. «Я тебя уверяю, – говорила она, ударяя себя в грудь тремя сложенными щепоткой пальцами, – ты себя не видишь, Катюша, тебе на вид ну – девятнадцать лет... Иван, правда, она моложе меня?»

– Да, то есть не совсем, но, пожалуй...

– Ах, ты ничего не понимаешь, – говорила Даша, – пойми, пожалуйста, ты, вот – мужчина: – нет ничего молодого, когда, женщине на самом деле девятнадцать лет... У женщины молодость наступает совсем не от лет, совсем от других причин, лета тут совсем никакой роли не играют...

Небольшие деньги, оставшиеся у Кати после кончины Николая Ивановича, подошли к концу. Телегин посоветовал ей продать ее старую квартиру на Знаменской, пустовавшую с марта месяца. Катя согласилась и вместе с Дашей поехала на Знаменскую – отобрать кое-какие вещи, дорогие по воспоминаниям.

Поднявшись во второй этаж и взглянув на памятную ей дубовую дверь с медной дощечкой, – «Н. И. Смоковников», – Катя почувствовала, что, вот, замыкается круг жизни. Старый, знакомый швейцар, который, бывало, сердито сопя спросонок и прикрывая горло воротником накинутого пальто, отворял ей за полночь парадное и гасил электричество всегда раньше, чем Катя успевала подняться к себе, – отомкнув сейчас своим ключом дверь, и сняв фуражку, и пропуская вперед Катю и Дашу, сказал успокоительно:

– Не сумневайтесь, Екатерина Дмитриевна, крошки отсюда не пропало, день и ночь за жильцами смотрел. Сынка у них убили на фронте, а то бы и сейчас жили, очень были довольны квартирой...

В прихожей было темно и пахло нежилым, во всех комнатах – спущены шторы. Катя вошла в столовую и повернула выключатель, – хрустальная люстра ярко вспыхнула над покрытым серым сукном столом, посередине которого все так же стояла фарфоровая корзина для цветов, с давно засохшей веткой мимозы. Равнодушные свидетели отшумевшей здесь веселой жизни – стулья с высокими спинками и кожаными сиденьями, стояли вдоль стен. Одна

створка в огромном, как орган, резном буфете была приотворена, виднелись перевернутые бокалы. Овальное, венецианское зеркало – подернуто пылью, и наверху его все так же спал золотой мальчик, протянув ручку на завиток оканта... Катя стояла неподвижно у двери.

– Господи, – тихо проговорила она, – ты помнишь, Даша!... Подумай, и никого больше нет...

Потом она прошла в гостиную, зажгла большую люстру, оглянулась и пожала плечами. Кубические и футуристические картины, казавшиеся когда-то такими дерзкими и жуткими, теперь висели на стенах, жалкие и потускневшие, будто давным-давно брошенные за ненадобностью наряды после карнавала.

– Катюша, а эту помнишь? – сказала Даша, указывая на раскоряченную, с цветком, в желтом углу, «современную Венеру», – тогда мне казалось, что она-то и причина всех бед.

Даша засмеялась и стала перебирать ноты. Катя пошла в свою бывшую спальню. Здесь все было точно таким же, как три года тому назад, когда она, одетая по-дорожному, в вуали, вбежала в эту комнату, чтобы взять с туалета забытые перчатки, и, уходя, оглянулась.

Сейчас на всем лежала какая-то тусклость, все было гораздо меньше размером, чем казалось раньше. Катя раскрыла шкаф, полный остатков кружев и шелка, тряпочек, чулок, туфелек. Эти вещицы, когда-то представлявшиеся ей нужными, все еще слабо пахли духами; Катя без цели перебирала их, – с каждой вещицей было связано воспоминание навсегда отошедшей жизни...

Вдруг тишина во всем доме дрогнула и наполнилась звуками музыки, – это Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда три года тому назад готовилась к экзаменам. Катя захлопнула дверцу шкафа, пошла в гостиную и села около сестры.

– Катя, правда – чудесно? – сказала Даша, полуобернувшись, – вот это место, слушай: – это голос, как гром, звучит во вселенной: «Живите все во имя Мое...»

Даша проиграла еще несколько тактов и взяла с пола другую тетрадь. Катя сказала:

– Идем, у меня голова разболелась.

– А как же вещи?

– Я ничего не хочу отсюда брать. Вот только рояль перевезу к тебе, а остальное – пусть...

Катя пришла к обеду, возбужденная от быстрой ходьбы, веселая, в новой шапочке из черной соломки, в синей вуальке.

– Едва успела, – сказала она, касаясь теплыми губами Дашиной щеки, – а башмаки все-таки промочила, дай мне переменить, – стаскивая перчатки, она

подошла в гостиной к окну. Дождь, примерявшийся уже несколько раз идти, хлынул сейчас серыми потоками, закрутился в порывах ветра, зашумел в водосточной трубе. Далеко внизу были видны бегущие зонтики. Потемневший воздух мигнул перед окнами белым светом, и так треснуло, что Даша перекрестилась.

– Ты знаешь, кто будет у вас сегодня вечером? – спросила Катя, морща губы в улыбку. Даша спросила, – кто? – но в прихожей позвонили и она побежала отворять. Послышался радостный смех Ивана Ильича, шарканье его ног по половичку, потом они с Дашей, громко разговаривая и смеясь, прошли в спальню. Катя стащила перчатки, сняла шляпу, вытащив из узла на затылке гребень, – поправила волосы, и все это время лукавая и нежная усмешка морщила ее губы.

За обедом Иван Ильич, румяный, веселый, с мокрыми волосами, рассказывал о событиях. На Обуховском заводе, как и повсюду сейчас на фабриках и заводах, рабочие сходят с ума. Вначале они заявляли, что будут работать восемь часов, потом семь часов, наконец шесть. Советы неизменно поддерживают эти требования. Частные предприятия начали мало-помалу закрываться, казенные работают в убыток, но теперь война, революция, – не до прибылей. Сегодня на заводе опять был митинг, выступали большевики, и все в один голос кричали: – никаких уступок буржуазному правительству, никаких соглашений с предпринимателями, вся власть советам, а уж они наведут порядок...

– Я тоже вылез разговаривать, куда тут, – с трибуны стащили. А говорил им дело. – Иван Ильич оторвал хвостик у редиски, омокнул ее в солонку и хрустнул зубами, разгрызая, – конечно, говорил дело... Я сказал: если вы, товарищи, таким манером будете все разворачивать, то заводы станут, потому что заводы работать в убыток не могут, кто бы ни считался их хозяином, предприниматель или вы – рабочие. Значит, правительству придется кормить безработных, и, так как вы все хотите быть в правительстве, – в советах, – то, значит, вам надо кормить самих себя, и, так как вы ничего не производите, то деньги и хлеб вам нужно будет доставать на стороне, то есть у мужиков. И, так как вы мужикам ничего дать не можете за деньги и хлеб, то надо будет их отнимать силой, то есть воевать. Но мужиков в пятнадцать раз больше, чем вас, у них есть хлеб, у вас хлеба нет... Кончится эта история тем, что мужики вас одолеют, и вам Христа ради придется вымаливать за корочку работешки, а давать работы уж будет некому... Понимаешь, Даша, расписал им невероятную картину, самому даже стало смешно... Слышала бы ты, какой поднялся свист и вой... Эти черти горластые большевики, – наемник! – кричат, – товарищи, не поддавайтесь на провокацию!.. Миллионы трудящихся всего мира с трепетом ждут вашей победы над ненавистным строем... Но, подумай, Даша, не могу я и осудить наших рабочих, – если

им кричат: – долой личные интересы, долой благоразумие, долой рабский труд, ваше отечество – вселенная, ваша цель – завоевать счастье всем трудящимся, вы не рабочие Обуховских мастерских, вы – передовой авангард мировой революции... Васька Рублев, смотрю, – стоит рядом со мной, глаза, как у зверя, светятся... Не дал договорить, первый поволок меня с трибуны... «Ведь я, говорит, знаю, что ты не враг, зачем же ты такие слова говоришь, молчи лучше, без тебя справимся». Потом, когда выходили, я ему говорю: – Василий, ведь ты человек умный, как же ты не видишь, что большевикам на вас наплевать, им важно на вашей шее до власти добраться... «А так же, говорит, и вижу, товарищ Телегин, что к новому году вся земля, все заводы будут трудящимся, буржуя ни одного в республике не будет, на разводку не оставим... И денег больше не будет... Работай и живи, – все твое...» Так это все к новому году мне и обещал...

Иван Ильич засмеялся было, но, покачав головой, стал собирать пальцем крошки на скатерти. Даша сдержанно вздохнула. Катя проговорила после некоторого молчания:

– Я уверена, что нам еще предстоят большие испытания.

– Да, – сказал Иван Ильич, – война не кончена, в этом все дело... И както все у нас разваливается, расползается... Хребта нет... Хотя наши рабочие уверены, что хребет – это и есть советы...

Даша принесла в фарфоровом кофейнике кофе, налила мужу первому, взяла щеточку и совок и пошла вдоль стола, отряхивая крошки. – Когда она дошла до Ивана Ильича, то, быстро положив совок и щетку, прижалась к нему, – лицом в грудь.

– Ну, ну, Даша, не волнуйся, – сказал Иван Ильич, гладя ее по волосам, – ничего пока еще не случилось ужасного... А мы бывали в переделках и похуже... Вот, я помню, – ты послушай меня, – помню, пришли мы на Гнилую Липу...[1]

Он стал вспоминать про военные невзгоды. Катя оглянулась на стенные часы и вышла из столовой. Даша смотрела на крепкое, с белыми зубами, румяное лицо мужа, на серые его, смеющиеся глаза и успокаивалась понемногу – с таким не страшно. Дослушав историю про Гнилую Липу, она вытерла салфеткой глаза и пошла в спальню припудриться. Перед туалетным зеркалом сидела Катя и что-то делала с лицом.

– Данюша, – сказала она тоненьким голосом, – у тебя не осталось тех духов, помнишь – теплых.

Даша присела на пол перед сестрой и глядела на нее в величайшем удивлении, потом спросила шепотом:

– Катюша, «крылышки чистишь»?..

Катя покраснела, кивнула головой.

– Катюша, что с тобой сегодня?

– Я тебе хотела сказать, а ты не дослушала, – проговорила Катя, – сегодня вечером приезжает Вадим Петрович и с вокзала заедет прямо к вам... Ко мне неудобно, поздно...

В половине десятого раздался звонок, Катя, Даша и Телегин побежали в прихожую, Телегин отворил, вошел Рощин, в измятой шинели внакидку, в глубоко надвинутой фуражке. Его худое, мрачное, темное от загара лицо смягчилось улыбкой, когда он увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него. Когда он, сбросив шинель и фуражку на стул и здороваясь, сказал сильным и глуховатым голосом: «Простите, что так поздно врываюсь, – хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна, вас, Дарья Дмитриевна», – Катины глаза наполнились светом.

– Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович, – сказала она и, когда он наклонился к ее руке, поцеловала его в висок задрожавшими губами.

– Напрасно без вещей приехали, – сказал Иван Ильич, – все равно вас ночевать оставим...

– В гостиной на турецком диване, если будет коротко – можно подставить кресла, – сказала Даша.

Рощин как сквозь сон слушал, что ему говорят эти ласковые, изящные люди. Он вошел сюда еще весь ощетиненный, после бессонных ночей в пути, лазанья в вагонные окошки за «довольствием», непереставаемой борьбы за шесть вершков места в купе и матерной, вязнущей в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти три человека, почти немыслимой красоты и чистоты, пахнущие духами, стоящие на зеркальном паркете в ярко освещенной прихожей, обрадованы именно появлением его, Рощина... Точно сквозь сон он видел серые, прекрасные глаза Кати, говорившие: рада, рада, рада... Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко.

– Спасибо, – сказал он, – куда прикажете идти?

Его повели в столовую – кормить. Он ел, не разбирая, что ему подкладывали, быстро насытился и, отодвинув тарелку, закурил. Его суровое, худое, бритое лицо, испугавшее Катю, когда он появился в прихожей, теперь смягчилось и казалось еще более усталым. Его большие руки, на которые падал свет оранжевого абажура, дрожали над столом, когда он зажигал спичку. Катя, сидя в тени абажура, с пронзительной жалостью всматривалась в Вадима Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его руке, каждую пуговичку на его темно-коричневом, измятом от лежания в чемодане френче. Она заметила также, что, разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочны и беспорядочны. Видимо, он сам, чувствуя это, старался побороть в себе какое-то давно длящееся гневное возбуждение... Даша, переглянувшись с сестрой и мужем, спросила Рощина, – что, быть может, он устал и хотел бы лечь? Он неожиданно вспыхнул, вытянулся на стуле:

– Право, я не для того приехал, чтобы заваливаться спать... Нет... Нет. – И он вышел на балкон и стал под мелкий ночной дождь. Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Рощин проговорил оттуда:

– Ради бога, простите, Дарья Дмитриевна... это все четыре бессонных ночи...

Он появился, приглаживая ладонью волосы на темени, и сел на свое место.

– Я еду прямо из ставки, – сказал он, – везу очень неутешительные сообщения военному министру[2]... Когда я увидел вас, мне стало смертельно больно... Позвольте уж я все скажу: – ближе вас, Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека. – Катя медленно побледнела, Иван Ильич стал, заложив руки за спину, у стены, Даша страшными глазами глядела на Рощина. – Если не произойдет чуда, – сказал он, покашляв, – то мы погибли. Армии больше не существует... Фронт бежит... Солдаты уезжают на крышах вагонов... Остановить разрушение фронта нет человеческой возможности... Это отлив океана... В солдате можно преодолеть страх смерти, я сам одним стеком останавливал полуроту[3] и возвращал в бой. Но сейчас русский солдат потерял представление, за что он воюет, потерял уважение к войне, потерял уважение ко всему, с чем связана эта война, – к государству, к родине, к России... Солдаты уверены, что стоит крикнуть: мир, – в тот же самый день войне конец... И не хотим замиряться только мы, господа... Понимаете, – солдат плюнул на то место, где его обманывали три года, бросил винтовку, и заставить его воевать больше нельзя... К осени, когда хлынут все десять миллионов...

– Но мы не можем бросить войну... Когда на фронте 175 немецких дивизий – нельзя обнажить фронт, – сдерживая дрожь голоса, сказал Иван Ильич, и знакомое Даше и всегда страшноватое ей выражение появилось в его посветлевших глазах: холодного упрямства, – я не понимаю этого разговора, Вадим Петрович...

– Я везу план военному министру, но не надеюсь, чтобы его одобрили, – сказал Рощин, – план такой: объявить полную демобилизацию в быстрые сроки, то есть организовать бегство и тем спасти железные дороги, артиллерию, огневые и продовольственные запасы. Твердо заявить нашим союзникам, что мы войны не прекращаем. В то же время выставить в бассейне Волги заграждение из верных частей, таковые найдутся; в Заволжье начать формирование совершенно новой армии, ядро которой должно быть из добровольческих частей; поддерживать и формировать одновременно партизанские отряды... Опираясь на уральские заводы, на сибирский уголь и хлеб, начать войну заново... Другого выхода нет... Надо понять, какое теперь время... В русском народе не действуют больше ни разум, ни воля, действуют из самых темных тайников поднятые инстинкты земляного человека. Инстинкт один – вспахать и засеять... И пашней будет все русское государство... пройдут плугом по всей земле наподлицо... Так пускай уж они скорее это делают...

– Открыть фронт врагу... Отдать родину на разграбление... Нет, Вадим Петрович, на это многие не согласятся...

– Родины у нас с вами больше нет[4], – сказал Рощин, – есть место, где была наша родина, – он стиснул лежавшие на скатерти большие кулаки, так что посинели пальцы, – великая Россия перестала существовать с той минуты, когда народ бросил оружие... Как вы не хотите понять, что уже началось... Николай-угодник вам теперь поможет?.. Так ему и молиться забыли... Великая Россия – теперь: навоз под пашню... Все надо – заново: войско, государство, душу надо другую втиснуть в нас... Русского народа нет, есть жители, да такие вот дураки...

Он ударил себя в грудь, упал головой в руки на стол и глухо, собачьим, трудным голосом заплакал...

В этот вечер Катя не пошла ночевать домой, – Даша положила ее с собой в одну постель; Ивану Ильичу наспех постлали в кабинете; Рощин после тяжелой для всех сцены ушел на балкон, промок и, вернувшись в столовую, просил простить его: – действительно, самое разумное было – лечь спать. И он заснул, едва успев раздеться. Когда Иван Ильич на цыпочках зашел потушить у него лампу, – Рощин спал на спине, положив на грудь большие руки, ладонь на ладонь; его худое лицо с крепко зажмуренными глазами, с морщинами, резко проступившими от утреннего света, было, как у человека, преодолевающего боль. Иван Ильич наклонился над ним, всматриваясь, и перекрестил его. Рощин, не просыпаясь, вздохнул и повернулся на правый бок.

Катя и Даша, лежа под одним одеялом, долго разговаривали шепотом. Даша время от времени прислушивалась: Иван Ильич все еще не мог угомониться у себя в кабинете. Даша сказала: «Вот, все ходит, а в семь часов надо на завод...» Она спустила ноги с кровати, пошарила ими туфли и побежала к мужу.

Иван Ильич, в одних панталонах, со спущенными помочами, сидел на постланном диване и читал огромную книгу, держа ее обеими руками на коленях.

– Ты еще не спишь? – спросил он, блестящими и невидящими глазами взглянув на Дашу, – сядь... Я нашел... ты послушай... Он перевернул страницу книги и вполголоса стал читать: «Триста лет тому назад ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам, по огромному кладбищу, называвшемуся Русской землей. Там были обгоревшие стены городов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травою дорог, стаи воронов да волчий вой по ночам. Кое-где еще по лесным тропам пробирались последние шайки шишей, давно уже пропивших награбленные за десять лет боярские шубы, драгоценные чаши, жемчужные оклады с икон. Теперь все было выграблено, вычищено на Руси. Шиши да казаки в драных зипунах рыскали за последней добычей.

Опустошена и безлюдна была Россия. Даже крымские татары не выбегали больше на Дикую степь, – грабить было нечего. За десять лет Великой Смуты самозванцы, воры, казаки и польские наездники прошли саблей и огнем из края в край всю Русскую землю. Был страшный голод, – люди ели конский навоз и солонину из человеческого мяса. Ходила черная язва. Остатки народа разбредались за литовский рубеж, на север к Белому морю, на Урал к Строгановым, в Сибирь.

В эти тяжкие дни к обугленным стенам Москвы, начисто разоренной и выпустошенной и с великими трудами очищенной от воров, к огромному этому пепелищу везли на санях по грязной мартовской дороге испуганного мальчика, Михаила Романова, выбранного, по совету патриарха, обнищалыми боярами, бесторжными торговыми гостями и суровыми северных и приволжских земель мужиками в цари московские. Новый царь умел только плакать и молиться. И он молился и плакал, в страхе и унынии глядя в окно возка на оборванные, одичавшие толпы русских людей, вышедших встречать его за московские заставы. Не было большой веры в нового царя у русских людей. Но жить было надо. Начали кое-как жить. Призаняли денег у купцов Строгановых. Горожане стали обстраиваться, мужики – запахивать пустую землю. Стали высылать конных и пеших добрых людей бить воров по дорогам. Жили бедно, сурово. Кланялись низко и Крыму, и Литве, и шведам. Берегли веру. Знали, что есть одна только сила – хоть и вороватый временами, но крепкий, расторопный, легкий народ. Надеялись перетерпеть, и перетерпели. И снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном...»

Иван Ильич захлопнул книгу:

– Ты видишь... И теперь не пропадем... Великая Россия пропала! А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, – разбили Карла Двенадцатого, загнали татар за Перекоп, Литву прибрали к рукам и похаживали в лапотках уже по берегу Тихого океана... А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил... Великая Россия пропала!.. Уезд от нас останется, – и оттуда пойдет русская земля...

Он фыркнул носом и стал глядеть в окно, за которым рассветало серенькое утро. Даша прислонилась головой ему к плечу, он погладил, поцеловал ее в волосы:

– Иди спать, трусиха...

Даша засмеялась, простилась с ним, пошла и обернулась в дверях:

– Иван, а как его Катя любит...

– Прекрасный же человек...

Даша ушла. Иван Ильич перелистал книгу, отложил ее, закурил папиросу и, откинувшись на кожаную спинку дивана, задумался. Весь сегодняшний вечер его беспокоило чувство какой-то неправоты. Сейчас, когда все в доме спали, он ясно и без жалости увидел то, что его мучило: «Я счастлив,

и чтобы жить в этом счастье, я нарочно не вижу и не слышу всего, что делается вокруг меня. Я обманываю самого себя и обманываю Дашу. Я сержусь, когда мне говорят, что Россия гибнет, но ничего, кроме этих сердцов, не делаю для того, чтобы она не погибла. Теперь я должен либо сознательно продолжать жить бесчестно, либо...»

Выводы этого «либо» оказались настолько неожиданны и Иван Ильич был к ним так не подготовлен, что спустя недолгое время он счел за лучшее отложить все выводы и все решения на завтра, задернул штору на окне и лег спать.

Вечер был безветренный и жаркий. В воздухе пахло бензиновой гарью и гудроном деревянных мостовых. Пылали зеркальные стекла окон. По Невскому среди испарений, табачного дыма и пыли, поднимаемой ногами, двигались пестрые, беспорядочные толпы народа. Ухая, крякая, проносились с треплющимися флажками правительственные автомобили. Мальчишеские, пронзительные голоса газетчиков выкрикивали потрясающие новости, которым никто уже не верил. Шныряли в толпе продавцы папирос, спичек, краденых вещей. В Екатерининском и Николаевском скверах валялись на газоне, среди клумб, ленивые солдаты, грызли семечки, пересмеивались с сытыми уличными девками.

Катя возвращалась с Невского. Вадим Петрович условился с ней, что около восьми часов будет поджидать ее на набережной. Катя свернула на Дворцовую площадь. Огромные окна во втором этаже кроваво-красного, угрюмого дворца были освещены. У главного подъезда стояли автомобили, похаживали, смеялись солдаты и шоферы. Треща, пролетел мотоциклет с курьером – злым и бледным мальчишкой в автомобильной фуражке, в раздувающейся рубахе, в обмотках. На угловом балконе дворца, облокотившись, неподвижно и печально, стоял какой-то старый человек с длинной седой бородой. Огибая дворец, Катя обернулась, – над аркой Генерального штаба все так же взвивались навстречу закату легкие бронзовые кони. Катя перешла набережную и села у воды на полукруглой гранитной скамье. Над лениво текущей Невой висели мосты голубоватыми, прозрачными очертаниями. Пыльным золотом поблескивала вытянутая, как меч, кровля Петропавловского собора. Убогая лодочка двигалась по отблескам воды. Налево, за крышами, за дымами, в оранжевое зарево опускался огромный, угасающий шар солнца.

Сложив на коленях руки, Катя тихо глядела на это угасание, ждала смирно и терпеливо Вадима Петровича. Он подошел незаметно, сзади, и, облокотившись о гранит, глядел сверху на Катю. Она почувствовала его, обернулась, улыбаясь, и встала. Он глядел на нее странным, изумленным взглядом. Она поднялась по лестнице на набережную, взяла Рощина под руку. Они пошли. Катя спросила тихо:

– Что?

– Ну, что... Иду, смотрю – сидит ангел небесный.

Катя легонько сжала ему руку, потом спросила, как сегодня его дела. Он начал рассказывать, – утешительного мало. Они перешли Троицкий мост, и в начале Каменноостровского Рощин остановился и кивнул головой на большой, в глубине садика за решеткой, особняк, выложенный изразцами. Широкие окна и стеклянные стены зимнего сада были ярко освещены. У подъезда стояло несколько мотоциклеток.

– Вот змеиное-то гнездо где, – сказал Рощин, – ну, ну…

Это был особняк знаменитой балерины[5], где сейчас, выгнав хозяйку, засели большевики. Всю ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки, а поутру, когда перед особняком собирались какие-то бойкие, оборванные личности и просто ротозеи – прохожие, – на балкон выходил глава партии и говорил толпе о великом пожаре, которым уже охвачен весь мир, доживающий последние дни. Он призывал к свержению, разрушению и равенству... У оборванных личностей загорались глаза, чесались руки...

– На будущей неделе мы это гнездо ликвидируем, – сказан Рощин. Они пошли дальше, не спеша, по Каменноостровскому. Их перегнал какой-то сутулый человек в рваном пальто, в старой, с опущенными полями, мягкой шляпе, – в одной руке он держал ведерко, в другой – пачку бумаги.

– Я не знаю, – имею ли право, – сказал Рощин, – но я знаю, что главное – это вы. – Катя взглянула на него, подняла брови. – Я не могу вас покинуть, Екатерина Дмитриевна. – Она сейчас же опустила глаза. – В такое время разлучаться нельзя.

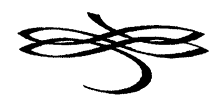
Катя тихо ответила:

– Я не смела этого вам сказать... Ну, где же нам расставаться, друг милый...

Они дошли до того места, где человек с ведерком только что налепил на стену белую, небольшую афишку, и так как оба были взволнованы, то на мгновение остановились. При свете фонаря можно было прочесть на афишке: «Всем! Всем! Всем! Революция в опасности!..»

– Екатерина Дмитриевна, – проговорил Рощин, беря в руки ее худенькую руку и продолжая медленно идти по затихшему в сумерках широкому проспекту, в конце которого все еще не могла догореть вечерняя заря, – пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только – кроткое, нежное, любимое сердце ваше...

Сквозь раскрытые окна больших домов лился свет и доносились то звуки музыки, то беспечные, веселые голоса, смех, споры... Сутулый человек с ведерком, перейдя улицу, опять появился впереди Кати и Рощина и, налепливая афишку на гранитный выступ стены, обернулся. Под тенью надвинутой у него на глаза шляпы Катя увидела провалившийся нос и черные космы бороды.



Дополнения

СТАТЬИ И РАССКАЗЫ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО 1917–1922 гг.

НА КОСТРЕ

Сколько бы войны, мор, голод, лихие года не истребляли бедное человечество – проглянет солнце сквозь душную завесу туч, и снова копошатся, плодятся люди, народы, расы. Упорное, выносливое племя. Как осока под ветром пригнется, замрет и снова, смотришь, распушилась зеленым ковром.

Распушится, окрепнет и от гордости или от самолюбия величает себя царем животных и владыкой четырех стихий.

А может быть, выносливость, упорство и веселый нрав и в самом деле дают им право так заноситься. Хотя от Вавилонской башни до сверхчеловека какие печальные холмы осколков и костей[1]!

Но бывают события, исходящие уже не извне, не мор, не война, не потопы, а из самого сердца народного; они редки и чрезвычайны, их стихия не ветер, а огонь, народ сгорает в них и преображается. И преображенный и смиренный кладет новое звено единой невидимой башни, охраняемой всеми силами небесными.

Два строительства на земле: одно гордое и обреченное разрушению; другое смиренное, невидимое, вечное.

В моей, вспомните, и в вашей жизни, полной тревог и ударов, после которых мы все же отряхивались, как собака, выскочившая из речки, был час или минута огненного волнения. Смерть, любовь, кровавый бред, жажда иного бытия – не знаю, во что облекалось это волнение – но весь человек сгорал и словно рождался вновь.

Савл, ослепленный на пути в Дамаск, поднялся с земли, приняв имя Павла[2]. Сластолюбивая, изнеженная, грешная Франция не раз выходила из кровавого тумана с искаженным, но суровым и пророческим ликом.

И разве не этого преображения жаждал в бреду лихорадки Раскольников! На грязной койке, в коморке, окутанной туманом Петербурга, построенного на крови и преступлении, живущего кровью и преступлением, решил хилый русский разночинец, сын или внук крепостного человека, кровью и преступлением преобразить малую и робкую свою душу. В распаленной голове одного человека возникла, осуществилась и дошла до предельного конца революция целого народа. Старуха-ростовщица была углублением, дном революции, каторга – синтезом, преображением, новой жизнью.

Поэтому так страшно читать эти страницы: Раскольников – та адская бездна, которую должен пройти и уже проходит русский народ, чтобы на дне в муке и ужасе сгореть и выйти смиренным, чистым и творческим.

Революция – всегда огонь. Она всегда видоизменяет качественно нацию во всей сложности ее духа. Все остальное – реформы, перевороты, бунты – лишь оттяжка или ускорение грядущего страшного часа.

Я слишком близок к современным событиям, и душа моя слишком измучена, но все же осмеливаюсь утверждать, что первого марта 1917 года у нас произошла не революция, а военный и голодный бунт, как реакция на трехлетнюю войну.

Со всей видимостью классической революции протекали события; власть переходила постепенно все к более крайним партиям, от большинства к меньшинству; были восстания предместий, свержения военной силой министерств, заговоры военные и заговоры крайних левых, грабежи и поджоги дворянских владений; исчезли собственные экипажи, роскошь, съестные продукты, страна наводнилась ассигнациями, появился, наконец, новый Марат, журналист по профессии, начетчик по происхождению[3], и, может быть, завтра он потребует 200 тысяч голов, было все до мелочей, как полагается быть, и все же это не революция, а реакция на непосильную войну, не революция, потому что нация во всей своей массе осталась нема и бесстрастна, не подняла сонных век, не выразила иной воли, кроме желания скорого мира и сытого покоя.

Огонь революции еще не запылал. Правда, кучка фанатиков-углубителей, начетчики и демагоги, торопливо поджигают Россию со всех концов, льют керосин и всякие дьявольские смеси, но слишком сыро было или время еще не пришло, и костер, на который возведена наша измученная страна, еще не запылал.

А костер растет, и с каждым днем все выше. Россия колется на части, на дрова, и тоска и ужас охватывают – а что если так, сонные и неразумные, сгорим, не возродившись, сгорим дотла, в пепел?

Но, думается мне, октябрьские дни, ураган крови и ужаса, пролетевший по стране, потревожил, наконец, нашу дремоту. И, пробуждаясь, мы ужаснулись греху своему; мы приготовились, мы должны быть готовы к покаянию, к последней муке.

Финляндия, Украина, Донские казаки, Кубань объявляют себя федеративными республиками[4], спешно хватаются за оружие, за власть; слышны приказания, а не книжные сладкие слова.

Великороссия становится перед лицом всей страны, оскалив зубы. Мир, с широкой до ушей улыбкой предложенный всему свету, отвергнут и союзниками, и врагами[5]. Еще несколько дней, и кости России затрещат.

Сейчас не мыслимы ни съезды, ни речи, ни резолюции и пр. и пр. Время игры в революцию кончилось. Костер задымился.

И вот теперь, в этот предсмертный час, я верю в чудо Учредительного собрания[6]. Я верю – оно должно установить добро и милосердие для всех. Оно будет костром очистительным, а не той грудой осколков, где мы сгорим дотла.

Я верю – оно будет не говорильней, не совещанием, не театром[7], где до хрипоты и безголосья будут кричать правые на левых, а средние их мирить компромиссным предложением. Раскаленной добела сердцевиной костра будет Учредительное собрание, и в нем в первый же день окажутся простой бумагой все партийные мандаты, программы и прочие курсы социологии, логики и политической экономии. Придут с программой, но там сунут ее в задний карман сюртука, потому что слишком обнажены сердца, потому что слишком страдает родина, потому что в высоком страдании говорит лишь голос добра и справедливости, потому что даже мосты, машины и дома нельзя построить по одним только математическим таблицам, а ведь здесь государство, потому, наконец, что сейчас началась революция, сумасшествие всей нации, прохождение через огонь.

Не знаю, что будет с нами – порабощение, раздел и последнее унижение, германское рабство, или останемся целы как-нибудь – не в земле, не в границах и договорах сейчас наше чаяние.

Мы, как раб лукавый, закопали талант свой в землю[8], и какой талант! И терпим возмездие за грех, за лень и совсем невысокое благодушие.

Мы называли – вспомните – добро – пережитком, честность – пресной, благородство – романтизмом. Мы много смеялись над тем, что достойно стыда и отчаяния. Мы обладали всеми пороками, и наш гений слишком часто сходит в подполье, в банную сырость для задушевной беседы с чертом[9].

Мы были очень довольны своей внутренней свободой, духовным кочевьем. Благо, если бы мы были птицы! Но с нас спросится много, и спросилось.

Сейчас мы должны отвечать. Судья – весь мир. С закрученными назад руками, потупив глаза, ответим за наше воровство.

Вот сущность той правды, что встанет в Учредительном собрании. Ни договоры, ни границы, а ответ за грехи и очищение России. Первый наш порыв перед Богом, перед миром и перед собою – стать народом чистым и преображенным.

Много будет борьбы, гнева и отчаяния вокруг Учредительного собрания, предстоят страшные испытания. Будем мужественны, примем все во имя грядущего, во имя преображения, во имя светлой, великой, чистой России.

ВЛАСТЬ ТРЕХДЮЙМОВЫХ

Редактор просил у меня статейку (мы сидели в больших креслах, заложив ногу за ногу, и курили). Вдруг он изменился в лице, схватил меня за рукав и заволновался:

– Родной, повеселей только что-нибудь напиши. Сам, сам понимаю – трудно. Но войди в положение читателя: ведь так дальше нельзя! Каторга! Вот прямо так и кажется: развернешь поутру газетный лист, а в нем вместо статей, телеграмм, всего прочего текста, – одна жирная надпись: Все кончено! И три восклицательных знака. Вчера заходил ко мне один подписчик, я его не узнал. Был краснощекий, веселый малый, смотрю – сморчок какой-то, сидит и дрыгается. Отчего, спрашиваю, у вас такой вид болезненный? Помилуйте, отвечает, мне совершенно не свойственно находиться в мрачном настроении; но представьте, г. редактор, что вы съезжаете на спине с горы и неизвестно когда она кончится, – съезжаете, а за вами летят камни, пыль, щебень, и все это сыплется на вас, и не только панталоны, но и спина вся ободрана, а вы спрашиваете – почему я дрыгаюсь?

Редактор взял с меня слово написать что-нибудь веселое, заронить искорку радости в потемневшую навек душу читателя. Хорошо. Постараюсь. Я ушел.

Первое затруднение:

В чью именно душу я должен заронить искру радости?.. Каково классовое сознание моего читателя?

Если вы, например, крестьянин, мелкий собственник, то вам, пожалуй, и недосуг будет читать эти строки.

Если вы рабочий, то просто не захотите меня читать. Хотя, честное слово, литература и искусство находятся точно так же вне классовой борьбы и классового сознания, как, например, рождение человека, любовь и смерть.

Если вы солдат (это тоже почти класс, только временный), то я очень не хочу, чтобы вы прочли мою статейку, потому что я вас боюсь, а вдруг вы найдете, что я недостаточно крайний, не якобинец, и заточите меня в башню[1].

Если вы кадет, человек, усвоивший программу особого класса, не существующего нигде, кажется, кроме России, – класса собственников отвлеченных орудий производства, т.е. своих собственных голов, одетых, к несчастью для них, в каракулевые шапки, – то вы только похлопаете меня по плечу, сказав добродушно: «Поди, посмеши кого-нибудь другого, нам не до смеху».

Если вы тот, кто голосует за двенадцатый список[2], то заранее вижу на губах ваших презрительную усмешку, – чего он, мол, там ерзает, путает, бумагомаратель.

Итак, кто же остается? Обыватель? Да, милый, добрый русский человек, вне классового сознания, и часто теперь вообще безо всякого почти сознания. Тот, кто дежурит всю ночь за воротами или в подъезде, судорожно зажав в руке револьвер, тот, кто вытаскивает из сундука старенькое пальтишко и картузик, чтобы как-нибудь на улице, хоть отдаленно, походить на пролетария, тот, кто каждое утро, ужаснувшись, готовится к смерти, а каждый вечер утешает себя тем, что Москва велика и почему именно на него должен выпасть смертный жребий, а не на кого-нибудь другого.

Обращаюсь к вам, забитый в щель обыватель: найдем что-нибудь веселое в нашей жизни и посмеемся. Говорят, что смех, как вино, растворяет в организме молочный сахар и тем способствует бодрости духа, ясности сознанья и приливу сил.

Второе затруднение:

Посмеемся, но над чем? Над Россией – грешно. Над политикой – большевиками, временным правительством, Учредительным собранием, казаками, над террором и прочими странными превращениями – опасно, боюсь; когда-нибудь высмею, конечно, в романе или комедии, но пусть поостынут страсти. Над союзниками – безнравственно и вообще не приходится. Над немцами – совсем не смешно. Остаетесь только вы, обыватель. Вас я не боюсь и могу смеяться, сколько захочется.

Третье затруднение:

Но об этом ниже, оно пришло внезапно, когда я, всклокочив волосы, куря табак и похлебывая кофе, писал эту статейку…

Но попробуем сначала выяснить со всей серьезностью ваше отношение к действительности, обыватель Собачьей площадки или Молчановки[3] (беру район наугад), установим ваше политическое, социальное и душевное состояние.

В старину, бывало, едет богатырь чистым полем, видит камень и читает написанное на камне глаголицей: «Направо ехать – полон, налево – вороны коня заклюют, прямо – смерть неминучая». Вот так перепутье! Тряхнет богатырь кудрями, по средней дорожке, где смерть неминучая, погонит коня и где-нибудь на калиновом мосту сшибет шестопером голову лихому татарину, а потом, свернув на Киев, долго бахвалится в княжьих палатах.

Вы же, попав в богатырское положение, садитесь на камень и впадаете в темное отчаяние. Чего дожидаетесь? Откуда придет спасение и кто подумает спасать вас, трясущегося на горючем камне?

Не придет, не дождетесь, такой вы никому не нужен – ни холодный, ни горячий[4], – и посмотрите – вороны, что заклевали богатырского коня, уже кружатся, каркают, дожидаются, голодные. И не в сказке, а за окном кружатся над Арбатом, над Собачьей площадкой.

Вы в это время читаете газету с разными ужасами, угрозами, безднами, вот тут же, здесь, у стола, где расположились с кофе.

А за окном, за железными крышами и заслоненными колоколенками, летают в сыром небе множество ворон, срываясь стаями с крестов, пропадая за холодными тучами.

Глядите вы и думаете: к чему столько ворон над застывающим городом? Чего словно поджидает нетерпеливо голодное, иззябшее, растрепанное воронье?

Отвернулись и опять носом в газету. А буквы, черные, постылые, так и замелькали, и закружились по серому газетному листу.

Швырнули газету, нахлобучили шапку, и на улицу. У самого подъезда знакомый ваш, присяжный поверенный Утонулов.

– Слышали, говорят, батенька, что готовится-то на завтра? – И нос его, худосочный из под черной шапки, так, кажется, разинется и каркнет…

– До свиданья, господин Утонулов.

Побежали по улице. А там, со звоном поднимая холодную пыль, мчится трамвай, и в зад его вцепились, как птицы, серые фигуры, и крыльями развеваются полы их шинелей.

Отвернулись. Юркнули в табачную лавочку – у прилавка грек медленно хлопает синими веками, глядит на вас. Ну птица и птица, что за наваждение!

– Послушайте, папиросы имеются?

– Нет, – каркает грек.

– Спички?

– Нет, нет.

И не понятно – зачем он мерзнет здесь у прилавка; разве чтобы каркнуть лишний раз, вогнать душу в холод.

А заверните-ка в кофейню. Под тропическими деревьями сидят личности, насупились, пускают из ноздрей дым, говорят, что теперь даже уехать некуда. Всему конец. Окружены!

А вот двое с зонтиками:

– Почем сделали яйца?

– Пуха нет, а перьев имею два вагона.

А вот, нахохлившись, в пушистых воротниках, в изящных перышках сидят прелестницы, опечаленные, покорные. Хоть плачь. Бедные птички. И мимо большого окна кофейной по тротуару медленно тянется хвост за табаком.

Возвращаетесь обратно! Стынет небо перед вечером. Застывает город, студеный холодок пробирается под сердце.

Подходя к подъезду, вы нечаянно поднимаете голову – все те же вороны кружатся над крышами, над крестами…

Нельзя же везде, повсюду видеть одних ворон. Вспомните-ка вы, обыватель, как еще год тому назад вы кричали: «Долой...»

Но… Перо мое ставит огромную кляксу… Что это? Ослепительный свет… Удар… Треск… Сыплется штукатурка, звенят жалобно стекла по всему дому… Валится со стены Лев Толстой, Достоевский… Я выбегаю на лестницу…

– Что… Что случилось?

– Пустяки, – говорит басом сосед гимназист, облокотясь о перила, – трехдюймовый, только всего…

– Какой трехдюймовый?

– С Кудрина шарахнули по Арбатским воротам, но ошиблись прицелом…[5]

Возвращаюсь к столу, собираю листки, читаю, как во сне.

«Посмеемся, господин обыватель». Да, да, понимаю… А пока самое безопасное место в ванной[6], это мне сказал тот же гимназист.

В ванной выкуриваю множество папирос и наконец замечаю, что в руке еще судорожно зажато перо. С презрением бросаю перо на пол… Господин редактор, пишите сами веселые рассказы, у меня больше нет тем.

НОЧНАЯ СМЕНА

Прогуливаемся по двору, вдоль длинной поленницы дров. Какая приятная вещь эта березовая, пахнущая сыростью поленница! Сколько горячности сердечной при мысли, что вот и не застынут трубы в нашем доме, не придется спать в меховых мешках и ледяной холод не доберется до костей: охранит нас огнем живым добрая поленница. Только тает она чересчур, кажется, быстро; много выходит дров, как вы думаете, Иван Миронович?

– Тает-то она тает, действительно, – говорит Иван Миронович.

– Ну, а как вы думаете – до января хватит?

– Да, я думаю, что до января хватит.

– А по-моему, и до января не хватит.

– Да, пожалуй, и не хватит.

Перекидываем ружья, шагаем дальше от проезда ворот, где накопилась большая куча мусору, до брандмауэра[1] и обратно.

– Praванивает, Иван Миронович, сильно воняет мусор, дыхните-ка.

– Да, запашок, – говорит Иван Миронович.

– Вот разогнали думу, а ты и нюхай[2]. Некому даже мусор вывезти.

– Некому, это верно.

Иван Миронович не расположен сегодня к многословию: шагает, насупившись, рядом со мной, и думает, глядя себе под ноги.

По темно-синему, залитому лунным светом, студеному небу шибко летят барашки, белые, курчавые, как руно. Лунный диск поминутно ускользает за них, прикрывается, тускнеет и снова, вылетев в темную, рваную дыру меж

облаков, заливает голубоватым, чистым светом весь узенький двор и лохматую бороду Ивана Мироновича, толстое, задумчивое его лицо, очки, калоши; кладет от угла дома угольком черную тень через асфальт; и мягко теплится на пяти главках задвинутой домами, забытой людьми, но не Богом, конечно, старенькой церковки. Сверху сквозь окна пятого этажа доносится музыка – Бах.

– А знаете, о чем я думаю, – говорит Иван Миронович густым голосом, – я думаю вот о чем, Алексей Николаевич... – густые усы его шевелятся некоторое время, точно в них забралась мышь; затем он поднимает голову к белым, далеким барашкам, и лицо его печальное и строгое. – Какое несчастье случилось с нами, с русскими людьми, вот я о чем думаю. Возьмите к примеру – суждено двум людям встретиться на этом свете, чтобы полюбить. Вы, может быть, и усмехнетесь, а я верю: в последнем счете, только для любви, для одного вечного чувства и живет бедный человек в труде, в грехах и в муке, только для того, что одно на земле нетленно, безгрешно: для любви, для того часа, быть может, когда будни станут праздником, когда смертную плоть свою почувствуешь бессмертной. Так вот-с, что же может быть грустнее, как всю жизнь ожидать этой встречи и вот встретиться, наконец, с этой, с незнакомой, но всегда жданной возлюбленной, встретиться в злой час и возненавидеть ее, и разойтись врагами... Жить дальше незачем, и умереть нельзя: ведь не смерть же избавит меня от вечной муки...

Иван Миронович опустил голову, остановился и поглядел мне в глаза:

– Мы, русские люди, много лет, думаю, не меньше трех поколений, жили у себя в России, как на постоялом дворе, не на родине, а на перепутье. Не мило нам было ни отечество, ни обычай родной, ни прошлое. Даже слово – родина – признавалось всеми подгнившим, с душком, отдавало не то охранным отделением, не то опричниной. Настоящий русский, сознающий себя человек должен быть мировым гражданином, отечество его земля, а Россия лишь случайное место рождения, говорили мы. И все русское казалось нам чумазым, варварским, хамским, родина наша – рабой, слишком горды и свободолюбивы мы были, чтобы любить рабу. Нет, не она наша возлюбленная, а какая-то будущая родина, та, которую мы выдумаем, дайте срок. И за границу-то ездили только затем, чтобы там хоть глазком посмотреть, а какова, мол, будет, примерно, наша Россия, если города в ней построить на немецкий манер, а дороги на французский, и если народ наш либо перевоспитать заново, а то, еще лучше, вместо него какой-нибудь другой посадить, скажем, голландский – вот была бы родина так родина, Россия всем странам страна.

Словом – каждый из нас хотел быть хоть маленьким, но непременно Петром Великим.

А в России, тем временем, шло свое тихое, заброшенное житьишко; звонили колоколенки; шли по дорогам бродящие ко святым и не ко святым

местам; почесывался, кряхтел русский народ, покинутый всеми, затерянный в необъятных просторах земли. А когда приходили к нему господа, вроде меня, в очках, говорили о разных хороших заграничных вещах: о социализации, о муниципализации, о национализации – слушал народ, соглашался: «Как же, вестимо, вам лучше знать, вы наши отцы!» И просил на водку.

На водку просил и не верил ни слову, потому что слова были заграничные, не русские, от ума, от разгоряченного воображения, а не от единого, от чего только и можно говорить: от любви, принимающей Россию такой, какая есть она, с колокольнями и лохмотьями, с богомолками, с пьяными и убогими. Это наше все исконное, возлюбим и положим живот свой за это! Вот как нужно было говорить, вот с каким сердцем идти к братьям нашим!

И вот теперь пришел страшный час встречи. Не из-за облаков пришла наша возлюбленная, родина. Не в венце свобод. Не в чистых одеждах. А поднялась вот здесь от земли, рядом с нами.

Отскочили. В ужасе отпрянули мы. Что это? Кто эта страшная и дикая, с одеждой в земле, с руками в крови и ранах, с искаженным мукой, безумным лицом! Я не знаю тебя! Я не звал тебя! Кто ты?

– Я твоя родина!

Иван Миронович опять на минуту приостановился.

– Говоря по совести, мы представляли, что встретим прекрасную даму, в кокошнике и голубом сарафане, добрую и милейшую, что-нибудь вроде той, что рисуют на машинах Зингера[3].

А появилась не добрая и не прекрасная. И я вот хожу по двору с винтовкой, охраняю дом от кого? Страшно подумать: почти что от самого себя.

Шляюсь по двору ночью и думаю: уехать бы сейчас в швейцарские горы, к сытым коровам, на зеленые лужайки, слушать, как пчелы летают; пусть она – дикая бабища в кровавых лохмотьях, родина моя – гуляет одна по голым степям, по курганам, воет диким воем от голода, от бессильной ярости.

И как вы думаете, Алексей Николаевич, после всех этих моих мыслей могу я, все-таки, уехать в Швейцарию? Могу так, во веки веков, жить без роду, без племени, как собака, забытая на даче?

Или пойти и ей, России, родине, ненавидящей меня, самой себя сейчас ненавидящей, сказать, склонив голую, повинную шею перед ней: возьми жизнь мою и душу. Только это и осталось. Только одно…

Хлопнула дверь черного хода, послышались веселые голоса, хруст шагов по снежку. Из-за угла в лунный свет вышли двое – юноша в полушубке и гимназическом картузе и другой, совсем еще мальчик. Раскатившись на льду, он крикнул:

– Смена. Пожалуйте, господа, спать.

Так внезапно прервался наш разговор. И слава богу.

Проходя подвалами на парадный подъезд, Иван Миронович приостановился и проговорил, взяв меня за пуговицу:

– Нужно новое поколение – строителей. А мы, мечтатели, обессилены тем, что сознаем себя в грехе и мучимся невозможностью искупления. Нас – на чердак.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
(Очерки нравов литературной Москвы)

I

Ветер несильными порывами крутил пыль по раскаленной мостовой, крутил, завивал в легкие, сейчас же опадающие столбы обрывки афиш, воззваний, декретов, обязательных постановлений.

Углы и выступы домов, окна, вывески, монастырская стена, дощатый забор на брошенном строиться здании – повсюду, – вся Москва была заклеена пестрыми листами бумаги. Черные, красные, лиловые буквы то кричали о ярости, грозили уничтожить, стереть с лица земли, то вопили о необыкновенных поэтах и поэтессах, по ночам выступающих в кафе; были надписи совсем уж непонятные: «Каратака и Каратакэ», что впоследствии оказалось пьеской в стиле Рабле, поставленной в театрике на 25 человек зрителей[1]; говорят, комиссар народного просвещения был в восторге от представления[2].

Не было хлеба, мяса, сахару, на улицах попадались шатающиеся от истощения люди с задумчивыми, до жуткости красивыми глазами; на вокзалах по ночам расстреливали привозивших тайком муку, и огромный, раскаленный полуденным солнцем город, полный народу, питался только этими пестрыми листами бумаги, расклеенными по всем домам. Недаром во главе управления страной стояли бывшие журналисты[3].

С кряканьем, завыванием проносились автомобили, в облаках гари и пыли мелькали свирепые, решительные лица. Свирепые и решительные молодые люди, с винтовками дулом вниз, перекинутыми через плечо, при шпорах и шашках, с обнаженными крепкими шеями, в измятых, маленьких картузах, стояли на перекрестках улиц, прохаживались по бульварам среди множества одетых в белое молоденьких женщин.

Широкий липовый бульвар, видный с площади во всю длину, казался волнующим полем черно-белых цветов. В раковине оркестр, настойчиво фальшивя какой-то одной трубой, играл марш – «Дни нашей жизни»[4]. Так же, как в прошлую, как в позапрошлую весну – раздувались белые юбки, тосковало от музыки сердце, улыбались худенькие лица, блестели глаза. Целое поколение девушек безнадежно ждало вольной и тихой жизни. Но история продолжала опыты.

Под деревьями на лотках продавали ваксу и шнурки, чистили сапоги, набивали на стоптанные каблуки резинки. Худой, сутулый человек, в золотых очках, разложил на ящике несколько кусочков сахару, две сухие рыбки и папиросы. На солнцепеке изящная девушка, с серыми, серьезными глазами и нежной улыбкой, – лицо ее затенено полями шляпы – протягивала гуляющим номер газеты, где с первой до шестой страницы повторялось: «Убивать, убивать, убивать! Да здравствует мировая справедливость!» Так писали бывшие журналисты, слишком долго, в свое время, сидевшие без дела в парижских кабаках... Их энергия была так велика, что не подвернись чехословаки, они расстреливали бы учителей и родительские комитеты за одну только букву «ять»[5].

За деревьями со скрежетом проносились набитые людьми трамваи. Цокали копыта кавалеристов. Через площадь брел пыльный столб и рассыпался. В конце бульвара высоко на гребне полуразрушенной стены сгоревшего дома стоял седой человек, не спеша вонзал лом между кирпичами, и они летели вниз в облаке извести, а он взбирался выше, отирал лоб и снова принимался за работу. Старик один уже несколько недель разрушал огромный остов дома, доканчивал то, что было сделано 29 октября[6], когда в пылающих окнах метались люди с ружьями, лезли вниз, срывались на мостовую, где их убивали частыми выстрелами.

Таков был Тверской бульвар в один из дней террора, в июне.

II

По боковой аллее, по влажному песку, покрытому зыбкими зайчиками света, шел высокий, широкоплечий юноша; слегка вьющиеся волосы его лежали шапкой на круглой, ловко посаженной голове; лицо было мягкое и смелое; на руке он держал старенький пиджак; многие из встречных молодых женщин внимательно оглядывали его, оборачивались вслед; но он шел, не поворачивая головы, и только брови его слишком уж хмурились над веселыми, серыми глазами. Его звали Посадов Алексей Иванович. В Москву он приехал дня три назад по своему важному, душевному делу.

Он дошел до остова гагаринского дома и стал осматривать забор, весь оклеенный афишами и декретами. Декреты напечатаны газетным шрифтом на небольших белых листках. К этой форме они подошли не сразу. В начале революции правительственные извещения печатались на красной бумаге с содержанием неимоверной, даже телячьей радости. Затем цвет побледнел, радость поубавилась, но красивых исторических фраз становилось все больше, больше, покуда не появилась роковая надпись: «Отечество в опасности»[7]. После этого тон круто меняется и прекраснодушную афишу сменяет торопливый листок: «Всем, всем, всем!» Это уже похоже на выстрел из пулемета, но еще сохранены какие-то остатки демократизма, пробуют обращаться

к сознанию, правда, к классовому, но все же сознанию. И, наконец, вместе с террором появляется краткий, повелевающий «декрет», с обязательным обещанием расстрела на месте.

Около такого декрета всегда стоят двое интеллигентов, неграмотная баба, солдат с ружьем и хрипучий, заскорузлый мужик. Читают про себя. Интеллигент трет подбородок, шевелит губами и усами, с загадочным выражением протискивается и уходит, переживая затем сложное чувство: отвратительной гадости, оскорбления и отчаяния. Хрипучий мужик спрашивает, – не насчет ли это мобилизации и, узнав, что, между прочим, насчет и мобилизации, – идет на вокзал. Солдат с ружьем подозрительно оглядывает читающих. Баба, постояв, идет дальше.

Среди таких декретов и театральных афиш Посадов увидел ярко оранжевый листок. На нем было напечатано: «Юноши и девушки! Все разочарованные, упавшие духом, тоскующие, все жаждущие испить из чаши жизни! Идите, идите к нам! Мы знаем истину! Мы учим счастью! Мы новые Колумбы. Мы гениальные возбудители! Мы семена нового человечества». И т.д. и т.д... В конце следовал адрес. Посадов перечел несколько раз афишку, записал адрес и повернул обратно к кофейне[8], где фальшивые трубы упоенно пели о дунайских волнах[9].

III

Под парусиновым тентом все столики были заняты, и Посадов прислонился к балюстраде, разглядывая лица.

Вот две рослые кокотки в больших розовых шляпках, в платьях таких прозрачных, что видны бантики на белье, на эти бантики, как на крючки, очевидно, и ловятся безумцы. А вот и безумец: маленький, пухлый, с черно-седыми кудряшками из-под сдвинутого на затылок канотье; выбритое лицо – сладкие губы и выпученные глаза – совсем еще недавно стали наглыми и уверенными; одет в серый пиджачок с карманчиками, башмаки жмут; это представитель новой буржуазии, выросшей на терроре; главное свойство – неуловим.

Поправее его перед пустым стаканом чая сидит неподвижно бывший большой московский барин, седой красавец, не скрывается, ждет своей участи, оперся подбородком о палку, глядит затененными глазами поверх голов. Но этого жеста понять в кафе некому.

Вот офицеры новой гвардии – курносые молодые люди, с толстыми губами, вихрастые, в затянутых френчах и дамских до колена желтых ботинках; на заломленных картузах кокарда – пятиконечная звезда – пентаграмма, опрокинутая вершиной: знак антихриста[10].

Вот бородатый профессор из «Русских ведомостей»[11], в чесучовой крылатке, не может оправиться от испуга и, узнав, что порция шоколада стоит десять рублей, протирает платком очки.

Вот две девушки, сестры, бывшие помещицы, очень хорошенькие, строгие, одетые по-английски, едят, не поднимая глаз, одну на двоих простоквашу.

Вот знаменитый артист, помятый и не похожий днем на самого себя, сердито стучит ложечкой, но лакей, точно окаменев, глядит, как два стриженых китайца, прислонив к столу винтовки, поедают мороженое[12].

Посадов отыскал, наконец, глазами столик. В это время его окликнули. Перед ним сидел, согнувшись на стуле, подняв длинное, плохо выбритое лицо, человек лет 27; глаза его, умные и тоскливые, медленно уставились на Посадова: одет он был неряшливо и, несмотря на жару, в двух жилетках, жесткие волосы упирались в воротник; на глаза надвинута гугенотская шляпа; худая, детская, желтая от табаку рука неподвижно лежала на мраморе столика. Это был И. Э-рг[13], поэт и очень странный человек.

До войны и в первые ее годы он жил в Париже, в комнате с разломанной оконной рамой и незатворявшейся дверью. Зимой в умывальнике замерзала вода, и он, чтобы согреться, набрасывал поверх одеяла одежду, белье, рукописи, книги; спал, не раздеваясь; не стриг волос, чрезвычайно редко умывался; в несколько дней проедал полученные из России деньги – голодал по неделям; его ветхий костюмчик держался на английских булавках и выработались даже особая походка – мелкими шажками – и способ сидеть поджав ноги, чтобы не обнаруживать изъянов в штанах.

С утра до поздней ночи он просиживал в кафе, в задушевных беседах с натурщицами и проститутками, или, опустив голову, бродил по Парижу, ничего не видя, натыкаясь на прохожих, бормоча строки стихов; затем покупал черного табаку, заставлял комодом дверь и писал, иногда не ложась спать по 2–3 дня.

В его циничных, исступленных, вопленных стихах выворачивалось наизнанку то, что еще недавно казалось прочной, доброй, культурной жизнью. Он заставлял героев своих поэм совершать преступления и пакости и в тоске и в отчаянии каяться. И сам он, грязный и обезображенный, каялся и молил о пощаде. Единого, от кого придет пощада.

Он появлялся в салонах и гостиных, грязный, со стоящими дыбом волосами, читал рискованные поэмы и говорил дерзости. Он восхищался испанскими инквизиторами и мечтал навалить на перекрестках Парижа хворосту и тысячами сжигать удовлетворенных буржуа, не верящих в Христа и в то, что мир спасется только жертвой, страданием и любовью[14].

Им восхищались, потому что это было оригинально, и никто тогда и не думал, что взъерошенный юноша, сам того не зная, говорил о близкой гибели уютной, покойной, незыблемой жизни.

В Петербург он приехал во время июльского восстания[15], в Москву – в октябрьские дни. Он задыхался от ярости и отчаяния. Россия разваливалась.

Все, все русское, страстно им любимое, было поругано[16]. Пулями и бомбами вгоняли в российское сознание принципы третьего интернационала.

И он не смог понять, что под игом более страшным, чем татарское иго, Россия очищается[17], и уже начинает по краям ее сиять чистое золото, что путем страдания, борьбы и целых рек крови, перемолов в великих и тяжелых жерновах народного духа срам и унижение и весь бред мировой революции, Россия станет великой. Она была большой – станет великой.

– В это нужно верить, Илья Григорьевич, – верить! – говорил Посадов, царапая ложечкой узоры по столику. – Уныние, неверие, отчаяние – смертный грех перед родиной. И веру не нужно подкреплять доказательствами, логикой, – это оскорбляет, принижает ее. Вера – высочайший долг, обязанность.

Вынув из рта трубку, скривив губы, Илья Григорьевич сказал на это, что, несмотря на ваше царапанье ложечкой, – Россия все-таки погибла, и навсегда.

После этого он выпустил клуб дыма. Посадов обозлился и въелся спорить. Это был обычный в то время спор: пропала Россия или не пропала[18], причем разница между спорящими была только в следующем: у одного не хватало больше сил предаваться отчаянию и казалось – вот, вот, через две недели (обычный срок) все сразу изменится и будет хорошо, а другой находил усладу в самом отчаянии, – «удовольствие» придавливать больной зуб, – и утверждал, что все погибло, сам втайне не веря этому.

Под конец, обидев друг друга, они замолчали. Оркестр в раковине кончил играть, и на маленькой эстраде кафе появился старичок, пыльный и пропитой, с завязанным горлом и с контрабасом, толстая дама с виолончелью и смуглый красавец, ворочающий синеватыми белками. Он бросил волосы на лоб, прижал морщинами щеки скрипку и зарыдал; но его плохо было слышно за шумом голосов.

Илья Григорьевич сказал:

– Ну, а скажите – вы пишете теперь что-нибудь, Алексей Иванович?

– Я? Нет, ничего не пишу. – Посадов сморщился, стараясь точнее передать трудную для него мысль. – Вы знаете состояние, когда вдохновение точно надувает паруса и летишь, летишь, и все преодолимо, и захватывает дух. И кажется – как я прекрасно пишу, как это нужно, сколько в этом правды и радости! Вот почему я люблю Пушкина. «Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной угрюмый океан»[19]. Жизнь в вечном вдохновении. А сейчас – я это точно вижу глазами – мертвая тишина, упали все паруса на кораблях, и моя лодочка без движения. Гудит толпа, пищат скрипки, гремит улица, давеча стреляли вон в том переулке, а у меня точно уши болят от тишины. Жизнь замерла, оледенела, затаила дыхание, прибита к земле, как трава. Какое там искусство! Вот уже несколько дней пытаюсь работать, думаю, прикидываю, и испытываю одно только чувство – отвращение к писанию. Я точно между небом и землей, как лист кручусь, лечу, куда – не знаю. Ужасная тоска.

Вы знаете, что я открыл? У людей, у всех, исчезло понятие добра и зла[20], провалилось в какую-то прорву. Выгодно – не выгодно, удача – не удача, да – нет, жизнь – смерть. Вот к чему все свелось, куда уперлась революция. На этом она и погибла. Значит, с самого начала была какая-то ложь. Но я чувствую – повернет жизнь из этого мертвого угла – и все забурлит, зашумит, и ветер воли, вдохновения опять дунет в лицо. А пока – бегаю по городу, хочется найти что-нибудь живое – хоть писк воробьиный.

Посадов показал адрес оранжевой афишки.

– Думаю сходить, поглядеть, очень уж чудно пишут.

– К футуристам? Ну что же, сходите, – сказал Илья Григорьевич, – кто-кто, а они расцвели в наши дни. Вы помянули, Алексей Иванович, что с самого начала в революции была ложь. Это верно. Захотели свободы – а нашли рабство. Захотели справедливости, а забыли о милосердии – вышло зверство. Захотели равенства – вышел грабеж всеобщий. Захотели братства – пришлось устраивать массовые убиения. Начали революцию, не перекрестившись, без Бога, – и привели ее к дьяволу. В начале в самом положить бы меру всем вещам – любовь, – получилась бы другая совсем история. А, впрочем, ну вас к черту, опять до политики договоримся. Прощайте. Не забудьте – завтра у нас будет водка. Придете? А вон на ваше счастье, глядите, лезет лошадь...

Действительно, между столиками пролезал высокий, костлявый молодой человек с лошадиной челюстью. Одет он был в спортивный светло-шоколадный костюм, щурил глаз от дымившей сигары и, не вынимая рук из карманов, небрежно кланялся направо и налево. Это был знаменитый футурист поэт Семисветов. Дойдя до дамы в розовой шляпке, он шлепнулся рядом с нею на стул, вытащил из кармана огромную руку, поздоровался и громко проговорил, показывая зубы:

– Сегодня я читаю в кафе поэму. Вещица гениальная, вы должны быть.

IV

Два года тому назад в толстом журнале появился роман Алексея Посадова «Гниль»[21]; написан он был с огоньком, местами даже переходящим в настоящее пламя; темой романа было жизнеописание неврастенического интеллигента, некоего Веснушина: его мечты, то есть времяпровождение, без всякого дела и без желания что бы то ни было делать, в прекрасных надеждах о свободе и социальном рае, затем его любовь, конечно двойная, – к жене – идеальная с надрывом, и к портнихе Сашеньке – звериная с покаянием, затем его встреча с какой-то личностью из народа и внезапное, даже истерическое, желание освободиться от среды, от двух женщин, от самого себя и невозможность такого освобождения, и, наконец, попытка отравиться морфием в публичном доме; все это обрывалось на горькой фразе героя: «Даже на это я не способен».

Роман встречен был критикой враждебно; автора упрекали в неуважении к истории русского либерального движения, в грубости и реакционности, в женофобстве и, кажется, даже юдофобской тенденции и т.д., но признавали талант.

Посадов же написал свою «Гниль» от простодушия, всерьез; не думая, к чему это приведет, поставил несколько эпиграфов из розановских «Опавших листьев»[22] и хотел быть только как можно более честным, а героя своего Веснушина любил искренне и жалел.

Настала революция. Посадов попал в помощники комиссара в Орле, затем пошел на фронт, 18-го июня был ранен[23], 5-го июля, читая в лазарете газеты, схватил нервную горячку, в августе и сентябре удерживал какие-то военные части в Пинских болотах, был избит[24], уехал к отцу в деревню и там сидел до тех пор, покуда не пришлось ночью, при свете пылающего дома, ползти по конопле, во ржи, через луга, за речку в губернский город.

В Орле свирепствовал террор[25], по губернии дожигали последних помещиков, отряды Красной гвардии грабили крестьян, мужики закапывали красногвардейцев живыми в землю, в одном уезде помещики и мужики вешали местные совдепы, в другом совдепы вешали мужиков и помещиков, и все это вместе называлось социальной революцией.

Посадов испытывал чувство оглушенности, когда дыхание коротко и круг зрения ничтожен – вот стул, угол стола, стена с картиночкой, – и это весь мир. Долго там жить было нельзя; но так жили все, – с унылой тоской ждали своего часа.

Работать и читать Посадов тоже не мог. Раскроет Пушкина, Тютчева, Толстого – от книги словно идет дух спокойствия, величия, родной красоты; великие души великой страны проплывают в тумане, в дали, озираются, хмурясь, и еще больнее израненному сердцу.

Однажды на рассвете, закинув удочки в дымящуюся и под дымком ясную, как зеркало, воду, Посадов стоял, прислонившись к старой ветле; это было за городом, на речке; уже летали, свистя, кулички, плескалась иногда рыба, шевеля большие кисти тростника, и вдруг показалось, стало ясно: Россия жива!

Тогда Посадовым овладело беспокойство: скорее найти, увидеть, ощупать, вобрать в себя то живое и вечное, что возродит, соединит, покроет пышным цветом Россию. Он поехал в Москву и здесь бегал повсюду, знакомился, выспрашивал, спорил. Странной представлялась ему картина литературной Москвы.

V

– Что же, это и есть кафе футуристов?

– Да, местечко прямо-таки уголовное.

– Вот, объясните мне, пожалуйста, почему стены черные, а на них красное, непонятное. Углы какие-то, буквы.

– Для того и сделано, чтобы не понимали футуризм, знаете ли, его идея – бить в нос.

– Ужас наводит на имущие классы.

– Но, все-таки, вы мне объясните – ведь искусство, все-таки, должно быть отчасти понятно.

– А вам это зачем?

– Господа, извиняюсь, искусство – это духовная революция, анархизм. Вот я сижу здесь – красиво, культурно. А ваши Пушкины и Серовы, знаете, просто старо, извиняюсь.

– Оставь меня, Катя, пожалуйста. Я знаю, что делаю. Эй вы, господин кудрявый, вы тут насчет Пушкина чепуху какую-то...

– Господа, оставьте. Здесь общественное место.

– Тише... тише... Товарищи, прошу вас... Товарищи, не мешайте слушать. Семисветов читает…

И все голоса покрывает зычный по-наглому, по-хулигански развалистый голос Семисветова. Он, в задранном апашском картузе, с красным бантом на длинной шее, стоит, покачиваясь, на маленькой эстраде; над головой несколько лампочек, обернутых в красную бумагу; в глубине сидят футуристы: болезненный юноша в черном бархате, с лорнетом, с длинными намазанными ресницами, порочная, пропитанная кокаином, полуживая и шепелявая девица, кудрявый жилистый парень с бабьим лицом[26] и в полосатой, как матрас, шелковой кофте, рядом с ним знаменитый футурист жизни Бубыкин[27], с близко сидящими глазками, с серьгой, голой грудью и воловьим затылком, стихов он не пишет, говорит – ни к чему, и еще две сексуальные, в помятых черных платьях, девушки.

Все они зовут к новой жизни, идут на великий пролом, и, время от времени, когда наступает пауза, – затягивают мрачными голосами:

Ешь ананасы, рябчика жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

За тремя столами, протянутыми во всю длину кафе, узкой и длинной комнаты, выкрашенной сажей, с красными зигзагами и буквами, с кристаллами из жести и картона, с какими-то оторванными руками, ногами, головами, раскиданными по потолку, сидят паразитические элементы вперемежку с большевиками и поклонницами Семисветова. Он читает огромную, бурную, хаотическую поэму[28].

Посетители негодуют, ссорятся, одни с презрением, другие с ненавистью поглядывают друг на друга, у иных, попавших сюда из-за Москвы-реки, такое предчувствие, что настает конец света[29].

Говорят, за большие деньги можно получить спирту; во всяком случае, к концу чтения на столах лежат головой в локти несколько пьяных коммунистов.

Окончив поэму, Семисветов срывает картуз и, обратясь ко всем со словами: «Американский аукцион! Разыгрывается последний экземпляр моей книжки. Деньги поступают в пользу автора», – идет, толкаясь и суя всем картуз.

Какая-то высокая, скромно одетая, русая девушка подымается, с трясущимися губами, побледнев, говорит отчаянно: «Мне очень больно за вас, Семисветов», – бросает ему в картуз 20 рублей, очевидно последние, и быстро выходит.

– Рита, Рита, вашу керенку спрячу в медальон, – кричит ей вслед Семисветов.

На эстраде появляется растрепанная молодая женщина, вся в черном, щурясь, облизывая языком толстые губы, начинает читать что-то очень изысканное про персидские почтовые марки. Ее сменяет бурным натиском курчавый блондин, рвущийся от Стеньки Разина к мировой коммуне[30]; он также читает о каких-то зайцах малопонятное и подражает соловьиному свисту[31]. Он очень нежен и зовется, несмотря на жилы и порывы – матерью футуристов – для этого, очевидно, и полосатая кофта на нем.

В дверях появляется гугенотская шляпа Ильи Григорьевича и взволнованное, недоуменное лицо Посадова. Они садятся с краю стола, отодвинув пустые стаканы, объедки, крошки; Илья Григорьевич громко говорит: «Удивительно гнусно».

ТО, ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ

Последние годы научили истине: я не знаю даже того, что должно случиться через минуту, через мгновение. Перед моими глазами – темная, неощутимая, как воздух, и непроглядная, как ночь, завеса.

Я слышу в этой темноте грузный шаг истории, ураган ревет во всех снастях, но к какому берегу бежит корабль, что там, куда до боли я всматриваюсь, – не знаю.

Тогда невольно я обращаюсь назад, гляжу в прозрачную тишину прошедшего. Я вижу точно древний город, слой за слоем построенный на остатках стен и фундаментов. На вершине – живущие, жизнь. В глубине, где лежат циклопические камни, – последняя истина. И снизу до верху толпятся легионы теней – отошедшие строители города.

Таким – огромным холмом на мировой равнине – я представляю Россию. Я думаю о ней, потому что страдаю: я один из многих, опрокинутых непогодой, бушующей там, наверху, в городе живых.

Мне говорят – Россия погибла, распалась. Неудачная война и большевизм потрясли ее до основания; чужеземные войска клочком бумаги разрубили ее, как наковальню картонным мечом[1].

Я этому не верю и не могу верить, потому что ни теориям и формулам, ни облеченным в красногвардейскую форму силлогизмам не уничтожить живой, реальной формы. Ни война, ни революция не убили народ и в нем не уничтожили сущности, делающей его единым народом. Иерихон пал от трубного гласа, потому что иерихонские стены были плохо построены. Россия может развалиться только тогда, если ее основание лежит на неверной и зыбкой почве, если народы, входящие в государство, соединены случайно рукой завоевателя, или общим несчастьем, или общей наживой.

Россия слагалась медленно, органически, соединяла племена под единый свод, готовила огромные пространства для будущей четвертой культуры[2]. Ее основание – инстинкт славянских племен к соединению в одну расу.

Свод треснул, рухнул. Но миллионы теней все также толпятся от основания до вершины, где гремит гром, сверкает молния, падают мертвые. Но народы живы, и нет той причины, которая ослабила бы их центростремительную силу.

Свод рухнул – нужен новый свод, более просторный и надежный. И нельзя называть начало нового строительства развалом, хотя воздух и полон еще пыли, и еще шумят камни недавнего обвала.

Строить с новой, с более сильной, с истинной верой в грядущую культуру, строить потрясенное на вершине и незыблемое в основании единое наше государство, – вот вывод из пяти годов пережитых страданий. Вот то, что дано нам знать.

ЛЕВИАФАН[1]

Часто приходится слышать: «Если бы не наша революция, то центральные державы были бы разбиты год тому назад. Если бы не этот рохля Керенский, – в июле свернули бы шею большевикам[2], ввели порядок в армию и война была бы окончена к прошлому Рождеству».

На этих «бы» и «кабы», в сослагательном наклонении, строится исторический взгляд на события у многих и многих даже серьезных людей. И от «бы» и «кабы» у них опускаются руки: «Да, батенька мой, опозорились мы, как никто».

А вот, тоже: «Если бы Блюхер не подоспел, то Ватерлоо было бы выиграно Наполеоном и тогда...»[3], «А если бы Юлий Цезарь побоялся перейти Рубикон, то...»[4] и т.д.

Можно написать очень интересную книгу: «Всемирная история с точки зрения “бы” и “кабы”», – но вряд ли она сослужила бы иную пользу, кроме развития у читателей сильнейшей неврастении.

Неврастении я боюсь и поэтому стараюсь держаться другого, более монументального взгляда: думаю, что исторические события складываются только

под влиянием бессознательной психологии огромных народных масс. Во времена революций этот закон становится настолько очевидным и явно действующим, что целые народы охватываются воображением, как отдельные организмы, как полуразумно-трагические существа – Левиафаны с предопределенной судьбой.

Левиафан – как всем известно – прожорливое, грузное, свирепое существо. Воспитывают его боги целыми столетиями, для обуздания насылают войны, чуму, революцию и пр. От этих встрясок он становится зрячим, организованным и прекрасным и начинает ревновать к богам. Такова легенда.

Левиафан России, триста лет сидевший на цепях, был страшен. Выпущенный на свободу, он не сразу осознал, что это – свобода, и продолжал лежать неподвижно. А когда почувствовал голод и стал поворачиваться – тысячи просветительных секций в паническом страхе начали бросать ему в брюхо газеты, листки, брошюры, брошюрки, книги: «Левиафан, Левиафан, помни права человека». Но он не умел читать и хотел пищи и пищеварения.

Помню лето 1917 года в Москве. Знойные, покрытые мусором улицы. Неряшливые любопытствующие – «Где, что говорят?», «Где, что продают?» – толпы людей. Митинги – сборища лентяев, зевак, обывателей, тоскующих по неизвестному будущему, и над задранными головами – «оратель» с надутыми жилами. И у магазинов длинные очереди ленивых солдат за табаком и мануфактурой. Помню чувство медленного отвращения, понемногу проникавшее в меня. Ведь это – заря свободы. Это народ, призванный к власти. Помню чувство бессильного отчаяния, когда приходили дурные вести с фронта. Помню, как в дыму запылавших усадеб и деревень почудился страшный призрак: раскосое, ухмыляющееся лицо Змея Тугарина, вдохновителя черного передела[5].

Было ясно, – не хотелось только верить, – в России не революция, а – ленивый бунт. Ничто не изменилось в своих сущностях, качественно осталось тем же, сломался только, рассыпался государственный аппарат, но все тысячи колес валялись такие же – ржавые, непригодные.

Было чувство гибели, стыда, отчаяния. И все это поливалось сверху потоками слов, ливнями трескучих фраз, проскакивающих через сознание без следа. Над Москвой трепался воткнутый бронзовому Пушкину в руку красный лоскут.

Такой Россия не могла жить. Она была ни великой, ни просто государством, а – табором, хаосом.

Левиафан расправил члены и пополз искать пищи, наслаждаться пищеварением. Кто мог его остановить?

Возвращаясь к сослагательной форме, я бы сказал: разве не страшно, если бы Россия осталась после мартовского переворота удовлетворенной? Разве сонный, незрячий народ мог быть великим, работать плечо о плечо со

старшими братьями? Да, ему нужно было пройти кровавый, отчаянный, благословенный путь испытаний. Погибнуть или прозреть.

От боли и отчаяния Левиафан должен был поднять голову и прозреть. Боль и отчаяние должны организовать его хаотическое тело, укрепить в нем добро, волю и порядок.

Большевизм был этой болью и отчаянием России. Большевизм – болезнь, таившаяся в ее недрах со времен подавленного бунта Стеньки Разина. Болезнь, изнурительная и долгая, застилала глаза народу, не давала ему осознать государственности, заставляла интеллигенцию лгать и бездействовать, вызывала непонятную тоску, больные мечты о какой-то блаженной анархии, о воле в безволии, о государстве без государства.

И вот болезнь прорвалась и потекла по всем суставам кровавым гноем, Россия распалась. Но это распадение было инстинктом больного. Отпавшие части начали борьбу с болезнью и победили. Все нездоровое, шаткое, не оформленное сгорело и горит в этой борьбе.

Теперь – ближайшая задача: со свежими оздоровленными силами начать очищение Великороссии. Москва должна быть занята русскими войсками. Этого требует история, логика, гордость, порыв изболевшегося сердца. И там, в Москве, все те, кому дорого великое, а не малое, кому дорога свобода и сила, – должны соединить в единый организм – в тело прозревшего Левиафана – все временно отторгнутые части.

Россия была большой, теперь должна стать великой.

Благословенны павшие за это дело – их кровь легла под стены новой России.

В БРЕДУ

Снежные хлопья, иглы снега летят в лицо, запорошили всю грудь, соболий воротник Дунички; концы ее пухового платка вьются за санками, в темноте. Мчится за нами вслед месяц сквозь белые барашки, залетел за тучу и скрылся. Рысак кидает в передок морозными комками: его храпящее, взмыленное тело в надежных руках, – они вытянуты, подняты; нам виден серебряный пояс, высоко перепоясавший монументальный зад. Санки влетают в ухабы, стучат по выбоинам и, взвизгнув полозьями, раскатываются на повороте. Ночной сторож в заиндевелом башлыке, – из-под него видны только ледяные усы и нос, – подносит варежку к бляхе и скрывается в облаках лошадиного пара. Сквозь очертания сосен светят, как луны, фонари, и свет и снег лилово-розовый.

Дуничкины глаза строги и холодны, как драгоценные камни; рот прикрыт муфтою, только по нему и можно угадать – весело ей, строго, грустно?

Не родился еще на свете человек, чтобы попросту разгадать Дуничкино своеволие. Недаром она выросла в московском, заросшем липами, переулке[1], где летом в скуку шатается шарманка, и на улицу из ворот выходит цыплячья семья с озабоченной курицей, а по зимам приветливо светятся окна, бегают с сумками девочки и мальчики, повсюду – прислушайся – слышны звуки рояля; где бредет длинноволосый профессор, скрипя кожаными калошами, – он уже два раза прошел свой дом и, став, трет лоб, а девочки в коричневых юбках хохочут на другом тротуаре; где на салазках развозят молоко и квашеную капусту; где под Рождество приносят столько таинственных свертков, кульков и корзин; где в каждом доме вырастают для любви и любят нежно и своевольно, и незаметно стареют среди любимых лиц, и колокол пятиглавой церковки, заслоненной некрасивым домом, оповещает весь переулок о тихой кончине.

На ухабах, когда санки взлетают, крепко обхватываю Дуничкину спину и говорю, наклоняясь к лицу:

– Ну-с, Дуничка.

– Что – ну-с? Молчите лучше.

– Не пойдете за меня замуж?

– Нет, не пойду.

– Почему?

– Потому что не собираюсь.

– Если вы меня не любите, я застрелюсь.

– Еще бы.

– Что еще бы?

– Не приставайте ко мне.

Тогда я спрашиваю серьезно, как о важном деле:

– Дуничка, вы меня любите?

– Очень.

Она глядит, как мелькают стволы сосен, сугробы, заборы. В стороне темное поле. Мы едем шагом. Посвистывает ветер в телеграфных проводах. Два сердца, влюбленных и ненадежных, бьются близко друг около друга на этом огромном, студеном Ходынском поле. Кругом снега, ледяная ночь. Дуничка!.. Со стоном я поднял голову и проснулся.

Я лежал в ямке на склоне оврага, в орешнике. Моросил, шумел по листьям мелкий дождик. Иногда выстрел хлопал вдалеке. Хоть вглядывайся, хоть нет – ничего не различить в темноте, на затянутом сырыми тучами небе.

Я втянул голову в поднятый воротник шинели, засунул глубоко руки в рукава. Знобит так, что не могу удержать стучащие зубы, а в горле сухо и горят глаза.

Представляется, что спина моя расползлась по всему орешнику, и мелко, злобно сечет ее ледяной дождь. Неподалеку негромкий голос позвал:

– Василий, а Василий, опять заснул?

– Нет, не сплю.

– Ты не спи, разговаривай, а то зябко очень. Я тоже, сынок, задремал. Дремать хуже всего берегись. Опасно. Вчера в этом орешнике наших двух закололи.

Я сказал:

– Наши цепи на той стороне, если тревога – услышим.

Сквозь озноб и жар по мне ползло, пробиралось липкой какой-то пакостью – отвращение. Я закрыл глаза, уткнулся носом в колени.

Ненавижу «наших» на той стороне, товарища Кузьму Дехтерева и, хуже всех, самого себя.

В таком настроении легко быть честным. С честной прямотой спрашиваю: «Зачем сижу здесь в орешнике, трясусь, как псина? А затем, что трус – безвольный, дряблый и порочный человек».

Но ответ слишком общий, и хорошей, острой боли не чувствую. Я сижу в орешнике с винтовкой, потому что меня, как бывшего офицера, взяли в Москве на учет, пригрозили расстрелом и послали на фронт, где в бинокль, разглядывая «неприятельские» позиции, я узнаю иногда добрых знакомых, друзей.

Не пойти я не мог: всякому дорого свое тело, хотя бы оно распухло, как мое сейчас, расплылось по всему оврагу под колкой изморозью, и сознание осталось в одной точке – в маленькой, точно клубок, раскаленной голове.

В ней появляется мысль и кажется мне откровением – до того проста: отношение тела к голове, такое, как у меня, есть порок. Вот почему я весь – гнусный. А если будет обратное отношение – голова вырастет в огромную голову, а тело подберется, станет не больше мухи, какое счастье тогда! Я стану добродетельным, возвышенным, чистым. Я перестану мучиться.

Тогда я представляю, как будет расти, увеличиваться моя голова. И вот – полез лоб, точно мыльный пузырь из соломинки, легко раздвинулся череп, виски, все лицо. Голова выросла с воздушный шар. Гулко отдаются в ней удары сердца. Счастье! Освобождение! Чистота! Точно огненные ручейки переливаются, шумят, ласкают меня. Как просто освобождение! Теперь бы оторваться и полететь. И я, закачавшись, уплываю.

В тени навеса, – я узнаю: это полустанок, самый милый из всех полустанков на свете, – в тени сидит Дуничка, на коленях у нее свертки, лицо опущено, маленький рот гордо и брезгливо сжат; разгребая носком белой туфли гравий, она говорит:

– Василий Иванович, вы меня не любите, хоть повторяете это тысячу раз. Мы с вами говорим сейчас, как через поле, и голоса чужие.

– Дуничка, вы сумасшедшая. У вас опять дурное настроение. Я вас, разумеется, люблю, и по-моему, относительно этого нужно раз навсегда успокоиться.

Она пронзительно глядит мне в глаза. С колен ее катится сверток с халвой и свечками. В больших, серых, холодных, как драгоценные камни, глазах нет милосердия. Я поеживаюсь, не хочу этого поеживания, усмехаюсь, а что-то во мне извивается, какая-то ничтожность.

– Вы ленивый и легкомысленный человек, – говорит Дуничка, – я с вами становлюсь сама дурной и капризной, потому что вы – ленивый. Мне постоянно хочется вас мучить. Я замучаю вас, потому что вам лень любить. А я, кажется, вас совсем не люблю больше. Честно слово. Вы чересчур довольный, так и сияете.

Она громко вздыхает, подняв плечи. За холмами, куда доходит ржаное поле, село солнце и разливается невеселый закат. В сумерках пахнет полынью.

– Я знаю, что вы не виноваты, а виновата я, – говорит Дуничка, – но мне не хочется такой любви, как у нас. Мне хочется такой любви, чтобы случилось с нами чудо, понимаете? Ну, хорошо, я сумасшедшая, но не могу любить, если не верю в чудо. Разве это любовь – наше с вами времяпровождение... Господи, Господи!

– Вам нужно, Дуничка, чтобы я на три вершка от земли поднялся? Не знаю, про какое чудо вы говорите.

Дуничка поднимает сверток, встает, оправляет юбку и уходит, – не кивнув даже мне, – по дорожке во ржи, к далеко темнеющим с противоположной стороны заката лесным кущам. Я вижу, как она поворачивает в лощинку и скрывается за орешником. Ушла совсем. На поезде возвращаюсь в Москву. Черт знает, что такое! Ну и поищите себе другого, поразторопнее, с чудесами! А я не факир. Никак нельзя было ко мне придраться: я – ровен, весел, услужлив, влюблен, с самого Рождества живу, как святой. Идиот! Придралась, все-таки! Чуда, изволите ли видеть, во мне не хватает! Я вам покажу чудеса... Извозчик, к Яру[2], десятку на чай!

На этом, в сущности, моя любовь и кончилась – заехала в Яр кверху колесами. И если я страдал, то только оттого, что слишком очевидно меня презирали. К Дуничке я заезжал несколько раз; однажды она даже поплакала из честности. Я послал цветы, она отослала их обратно. И конец. Я жил-поживал в Москве, а Дуничка не то уехала, не то вышла замуж. Не то умерла, или убита где-нибудь.

Но зачем привязалась ко мне эта забытая любовная историйка? Зачем так стынет, стонет, изнывает сердце?

Проснуться бы...

– Сынок, а сынок...

– Да, слышу.

– Ты что хрипишь? Не хрипи. Скоро заря, греться пойдем. Я и сам продрог. Я вот что тебе скажу, – велено сидеть – сиди. А то разбалуешься – самому себе хуже. У меня тоже дома хозяйка осталась, Марья, зовут – Мария. Бывало – наварит еды полную печку, захватит ухватом и на стол, зацепит горшок и на стол. Два самовара у меня, Василий, – один медный, другой белый, как ваза. Детей – четверо, все девочки. Душевное у меня семейство, и сам я – тихий. Жалко было семью бросать, а – надо. Хлеб у нас не родился ни крошки, и двух лошадей забрали в самый покос. А до весны продержаться надо, лошадешку хоть одну купить. Пошел я, друг милый, в город, а там фабрики все закрыты. На площади подскакивает ко мне один, говорит: «Иди, записывайся, мерзавец, в армию, вон – около памятника, у стола комиссар записывает и выдает задатки». Я посмотрел: один смотрит на меня бойко. Пошел и записался. Выдали полтораста рублей и одежу. Против того, как на западе воевали, – здешняя война легкая...

Дехтерев все врет, – и голосок простоватый, и добродушие – вранье. Я знаю – его приставили тайно следить за моим поведением: в здешней части я всего две недели и Дехтерев у меня вроде вестового. Он сразу перешел со мной на «ты» и зовет отечески, то Василием, то сынком. В штабе полка он в почете, потому что мастер ловить языка. Дехтерев хитрый и опасный мужик, черт с ним.

Мне нужно обойти посты, но не могу шевельнуться – так страшно почувствовать вдруг все свое тело. Обойдется и без обхода.

Спать больше не хочется, и холода я не ощущаю, только очень ломит глаза. Приоткрываю их: очертания орешника точно вырезаны из жести, четкие и колкие. В голове шум, как от множества вертящихся колес.

И вдруг вдоль глаз поплыли точки, пятна. Всматриваюсь: вдоль глаз плывут какие-то маленькие и очень длинные животные огненного цвета. Должно быть, это и есть мои мысли. Странно видеть их со стороны.

Животные, быстро, быстро перебирая ножками, текут справа налево. Одно, как ящерица, проплыло, распластав лапы. Вот – колкое и извивающееся. Хорошо, что я в стороне. Вот крутящийся клубок вертится яростно и быстро. И вдруг во всем моем теле какая-то влага, дрогнув, приходит в волнение, в смятение. Вся кровь шумит, звенит, кружится.

Огненный клубок расплылся туманом. Проносятся неясные обрывки. И я вижу: в широком кресле сидит Дуничка, кроткое лицо ее утомлено и побледнело, но в мягких очертаниях щек, в серых глазах – нежность и прелесть. Она вернулась с исповеди – сегодня пятница на Страстной.

– Я покаялась и в том еще, что постоянно мучаю вас, – говорит она.

Перед нею, облокотясь о кресло, сидит кто-то невыразимо мною любимый...

Я вижу только его темный пробор и спину в синем.

Конечно, это я сам сижу у Дуничкиных ног. Странно, что я никогда не вспоминал этой минуты – она точно провалилась в памяти.

– Дала обещание быть справедливой с вами и доброй. Помогите мне, дружок.

Я вижу ее утомленное, прелестное лицо, невинную грудь под шелком. Почему я не кладу головы на ее колени? Не плачу от умиления? Разве не чувствую, как вся душа моя тянется к ней, как к влаге, как к бессмертию? Нет, – у меня все тот же затылок, тупой и приглаженный.

– Сегодня стою у обедни и вдруг расплакалась. Вытираю глаза кулаком, – нет во мне душевной тишины! Думаю, – пойду в монашки, а он как хочет. Любовь – это такое важное, нет важнее на свете... А у нас...

Дуничка вздыхает и долго глядит в окно:

– Милый мой, вы только постарайтесь понять: вон снежок пошел, ворона села на крышу; а если любить, то чувствуешь, что не умрешь. Если бы вы позволили вас так любить...

Дуничка! Я чувствую со всею силой, что ты так мучительно хотела мне сказать и никогда не сказала, не умела. Любовь моя! Незамеченная, забытая, утерянная! Вернись. Войди в меня. Душа раскрыта. Оживи меня.

Протягиваю руки, целую колени Дуничке и ртом падаю в липкую землю, пахнущую земляными червями и листьями.

И вдруг грохотом наполнилась моя огромная, как купол, воспаленная голова. Вздрагиваю всем телом, и холодные капли с орешника летят в лицо. Слышен второй выстрел неподалеку. Дехтерев защелкал затвором. И – снова тишина. Облизываю запекшиеся губы и говорю:

– Дехтерев, ты в Бога веришь?

Он отвечает немедленно и с охотой:

– Нетути. Не верю, сынок. Давно бросил эту глупость. Выдумали злые старики нам, беднякам, ради притеснения – Бога. А мы, темные, лбы обиваем. Ну и дурак народ!

Я вглядываюсь до боли в глазах, и низкий куст представляется спиной Дехтерева. Но я и без того знаю, что даже в темноте вид у мужика все тот же: придурковатый, подслеповатый. Я кричу:

– Врешь, ты, сукин сын! Веришь.

– Это как же я так – сукин сын.

– Молчать! Я тебе начальник.

– Виноват.

От злости я кусаю, нагнувшись, ветку орешника.

Дехтерев повторяет про себя:

– Эх ты... Вот ведь... Ну, ну...

Дьявол какой-то, не человек. Привязался, повис над душой. Сейчас ловчится опять под дурачка. Издевается:

– Господи, Господи, живем в темноте, неграмотные, без доброго слова, – бормочет он в орешнике бабьим каким-то голосом, – а вдруг Бог-то и есть, а мы не знаем, лежим уткнувшись, а Он взирает...

И опять заохал, даже языком пощелкал. Прошло некоторое время в молчании.

– Василий Иванович, вот что растолкуй мне дураку: ведь Он должен руку мою остановить, если я грешу? Или меня, темного человека, остеречь некому? Тогда что я принужден думать? Был этим летом один случай...

И Дехтерев, покашляв, начинает рассказывать. Я слушаю точно в оцепенении.

– Расколотили мы на Лабе казачков[3], заняли станицу, небольшое селенье, но красивое: реченка рыбная и церковь. Взяли хлеба в зерне, кое-какую скотинку, курей. Пошалили с бабами по военному обычаю и объявили лошадиную мобилизацию. Потом отошли верст на десять от той станицы.

Через небольшое время приходит на позицию нищий, трясучий, об одном глазе, об одной руке, другая у него, как сучок. И говорит начальнику: «Хорошо вы за великим делом смотрите! В станице поп народ собирает и говорит разные дурные слова, а меня, мол, нищего, из станицы вышибли всем скопом».

Начальник отрядил нас пять человек – узнать, действительно ли тот поп говорит разные слова, а если говорит, – поступить с ним по всей строгости закона.

Мы пришли в церковь к самой обедне, растолкали народ, стоим с винтовками у амвона[4]. Служба кончилась, и вижу через решетку – дьякон и дьячок шепчут что-то попу, сами трусят, оглядываются. Поп отстранил их рукой и выходит из боковых дверей на амвон. Сам – сивый, в очках, с редкой бородкой и согнутый, старый совсем. Благословил народ и нам прямо говорит: «Шапки снимите, негодяи, не скверните не ваш Дом. За веру и до нас умирали в муках, мы ли убоимся? Гоните – уйдем к диким зверям и там будем славить. Каким сокровищем хотите заменить нам единого Бога? Какое сокровище спасет нас от смерти? Миряне, женщины, дети, Господь с вами, слушайте...»

И пошел, и пошел говорить. Бородой трясет. Руку с крестом поднял на меня, как на беса. Товарищи говорят, – надо выйти, а то в церкви народу много, не развернемся.

Мы вышли и ждем. А поп, слышим, блеет козлом на всю церковь, и бабы голосить стали. Дело ясное: попа к начальнику вести незачем. А когда народ стал выходить, видим – выскочил дьякон и, нагнувшись, бежит. Нам тебя не надо! За ним идет поп в черной ряске, оправляет волоса. Мы ему кричим:

«Иди за нами». Он голову сразу откинул: «Зачем я должен идти за вами». «Иди, не разговаривай!» – и матерно его обругали.

Я взял его за грудь, за крест. Тут наскочили на нас дурные бабы, заголосили, на руках повисли, попа протолкнули назад, в церковь, двери заперли и повалились у дверей. Шум, визг, слушать противно.

Мы говорим: «Вы, бабы, успокойтесь, мы вашего попа все равно возьмем, из церкви тащить не станем, а выморим голодом».

Поставили у паперти двоих товарищей, остальные пошли в поповский дом, наелись, напились, стали сменяться; пятый был у нас разводящим. Продежурили так двое с половиною суток, и народ с нами день и ночь дежурил. А поп сидел голодный.

На третьи сутки бабы кричат в окошки: «Батюшка, жив ли?» «Жив еще», – отвечает. «Поди выдь, благослови нас».

Поп закопошился и вышел, белый весь, едва стоит. Вздохнул и руку поднял – благословляет. Народ весь повалился. А я стою против попа один, гляжу на него. Значит – я проклятый? Бес? Так что ли? Взял и ударил его штыком в туловище. Он схватился за лезвие и сел, смотрит на меня. И кончился.

Взяли мы этого попа, раздели и оттащили в поле, чтобы не смели хоронить, пускай собаки сожрут. Противный он был голый, смотреть нехорошо.

А народ, бабы, старики, ребятишки, сидят кругом на буграх, ждут, когда мы уйдем. Мы и ругали их, и стрелять грозили, – сидят, ждут. Потом договорились: – собрали они 400 рублей, купили у нас попа.

Вот какое дело, сынок. А ты говоришь – Бог. Не Бог, а грех на свете. Так-то.

Издалека, шурша листьями, роняя капли, пошел ветерок по орешнику. Втягиваю через ноздри сырой, острый воздух. Во мне точно все разорвано, растерзано. Когда же конец этой ночи!

Ужасно жалко себя. Исхудал, в лихорадке, скорчился в комок, носом уткнулся в колени. Трус, жалкий трусишка. Попробуй, заори сейчас на Дехтерева? То-то.

Я весь точно прикрыт чугунной крышкой. Уверен, – если бы при мне убивали этого попа, и то смолчал бы. Молчу и гляжу. Темнота все та же, но кусты видны яснее: давеча я не видел вот этой веточки, совсем около лица...

– Сынок, а сынок, ты что замолчал?

И я весь медленно и ужасно вздрагиваю от этого голоса. Жить нельзя! На рассвете мы пойдем с Дехтеревым к полевым кухням, рядышком по лужам, по глине; он будет добрый, умильный. А завтра – опять ночь и разговоры...

Дехтерев исподволь наталкивает меня на зверство. Самолюбивый, как черт, насквозь. Добивается, что бы я начал над ним причитывать, как над невинным. Выдумал себе оправдание – «грех на свете», и сам весь в крови,

по самые добренькие глазки. А если стану возмущаться, – донесет комиссару или пристрелит меня.

Вдруг нить мыслей обрывается, и с ясным спокойствием чувствую: а ведь я сам не знаю, что такое грех, а что добро, – я никогда не думал о нем.

Это простое открытие потрясает меня. Выпрямляюсь, оглядываюсь. В темноте видны уже кусты и сучья. За лесом проступают рваные края туч. Вот надрезанная вчера палочка торчит из глины.

Я не знаю ни греха, ни добра, как зверь. Нет, неправда! До боли напрягаю мутную память, – было что-то в моем бреду сегодня чистое, белое, щемящее. И вспоминаю – Дуничка!

Я оправляю шинель, шапку, снимаю варежку и гляжу на грязную руку с изгрызенными ногтями. А я когда-то этой рукой гладил Дуничкину голову... Целовал ее волосы. Глядел в ее глаза. Невозможно!

Почему не удержал ее? О, Господи! Любовь вошла в меня, воскресила сердце, и оно стало бессмертным, проникла в кровь, и чувства стали добрыми. А я, как глухонемой, только мычал, не понимая, почему мне неуютно. Не для того же я родился на свете, чтобы мокнуть рядом с Дехтеревым под осенним дождиком. Дуничка оторвала меня от своего сердца, и я – в яме. Но зато теперь я знаю, что такое зло!

Я осторожно и быстро поднимаю винтовку и прилаживаюсь с ней на земле. Скоро будет совсем светло.

Внизу, как сырой кнут, хлопает выстрел. Начинается перестрелка. Ухнул и покатился по оврагу удар орудия, и снаряд с жадным сюсюканьем уходит в сырую мглу.

Эти знакомые, еще вчера так угнетавшие звуки наполняют меня мужеством. Чтобы сдержать дрожь лихорадки, стискиваю челюсти. Какое счастье утвердить в себе костяк: мне выбора нет! Лежу и повторяю: «Что такое зло – я знаю, и на этом спасибо».

Неожиданно и не в том месте, куда гляжу, а правее, около меня, появилась голова Дехтерева, в картузе – козырьком на ухо. Он полз осторожно между орешин и лег у пня, выпрастывая локти, чтобы устроиться удобнее с винтовкой.

Затем приладился и не спеша повернул ко мне лицо, красноватое, хитрое, с улыбочкой под редкими усами, с широкой бородой, с бесцветными глазами, как щелки:

– Один за березой показывается, – говорит он деловым шепотом, – посмотри-ка, ваше здоровье, в бинокль.

Но улыбка сразу сходит с его лица, – глаза изумленно раскрылись, забегали, и через мгновение он важно и тяжело глядит мне в глаза.

Я тоже молчу и прыгающим пальцем нажимаю курок, собираю всю силу, чтобы нажать... И вдруг ружье само толкает меня в плечо. Выстрел совсем негромкий. В изнеможении я ложусь щекой в липкую грязь.

Потом прошли какие-то простые, кроткие мысли. С трудом, охая, я начал ворочаться и вытащил ноги из ямы. Голову ломило, во рту – медный вкус.

Дехтерев лежал на боку, прижавшись к пню затылком. В сжатом кулаке – трава, вырванная с землею. Свернутое, оскаленное лицо его продолжало глядеть остекленевшими глазами.

С усилием я подумал: «Это только – убитый человек, и ничего страшного нет. Ну-с, хорошо-с! Бежать лучше всего низом, кустами, там туман. Подстрелят – наплевать, выбора нет».

Цепляясь за скользкие, сыплющие дождем ветки, я начал спускаться в овраг. Но ноги не выдержали, я покатился, и пули с чавканьем зашлепали вокруг меня, сбивая листья.

Я перешел и отдался в руки белым только в следующую ночь.

НЕТ!

Когда читаешь в левых французских газетах, как настойчиво и упрямо стараются они найти в советской российской республике некоторые достоинства, и даже не достоинства, а хотя бы признаки чего-либо человеческого, и эти признаки отмечают и ими восторгаются, и затем делают жест, полный негодования, в сторону Колчака и Деникина, как темной силы[1], намеревающейся уничтожить эти, с таким трудом найденные, человеческие признаки, то невольно приходит в голову, что здесь, на Западе, действительно не знают, что такое большевизм и русские большевики.

О большевиках писали много, рассказывали об их зверствах, расстрелах, терроре, о днях бедноты, когда каждый (рабочий, бедняк или вор) мог войти в любой дом и взять все, что ему понравилось, описывали их тюрьмы, разорение крестьянства и ужасы вторжения в Крым китайских войск, когда красные разыскивали офицеров[2], убивали детей головой о стену и т.д., и т.д.

Все это ужасы и на все это у сочувствующих большевикам есть ответ: либо рассказы преувеличены, либо, – что же поделаешь, – такова революция, ее не делают в перчатках, и тысячами невинных смертей покупается счастье целых поколений в грядущем.

Нет, ужас большевизма и абсолютная невозможность примириться с ним заключается даже и не в этой крови. Великая Французская Революция пролила ее не меньше и вырастила гениальный девятнадцатый век. Ужас и абсолютная невозможность примириться с большевизмом в том, что большевики смотрят на Россию (а так они будут смотреть на всякую страну, где утвердятся) только как на бульон для приготовления коммунистической бациллы. Человек, личность, люди, счастье вот именно этих самых Иванов и Петров их не интересует и не тревожит.

Им важна проверка их теоретических построений и, затем, их собственное честолюбие, гипертрофированное за долгие годы эмиграции.

До конца дней моих не забуду разговора, прошлой весною в Москве, с одним видным большевиком из Центрального Комитета.

«...Вы говорите, что все население России страдает? Верно. Но мы ничего поделать не можем, – в наши планы не входит счастье этих Иванов и Петров. Вы говорите, что все население против нас. Тоже верно, за небольшим исключением, – но в это исключение входит 75% профессиональных воров, убийц и любителей легкой жизни. Но мы не должны руководствоваться сантиментальным принципом: *правительство для народа*. Если нас не хотят, – мы заставим их захотеть нас. Те же, кто не покорятся, так или иначе погибнут. Надо понять, что мы не правительство и не власть, – это лишь наши необходимые функции. Мы производим опыт над страной, к сожалению, слишком мало и дурно приспособленной для этого. Но мы надеемся, года через два, через три, перенести нашу работу в более культурные страны».

Когда я сказал, что Россия, измученная войной и революцией, не хочет опытов над живым своим телом, он пожал плечами и проговорил с усмешкой:

– Да, я тоже думаю, что коммунизм не доставляет этой стране большого удовольствия.

– Но если вы ошибаетесь? Если все, что вы делаете, утопия?

– Вот для этого-то мы и производим опыт.

Я бы спросил любого французского, английского или итальянского социалиста, с такою страстью требующего от своего правительства невмешательства в русские дела, что бы он сделал, если бы к его родной матери пришел господин в очках и, сообщив, что ему нужно открыть какую-то там связку или железу, стал резать живот у бедной женщины и копаться в нем во имя человечества? А вы бы, мой английский, французский, итальянский товарищ-социалист, смотрели бы на эту возню спокойно, во имя человечества? Нет, – я думаю, что вы бы побежали за полицейским при одном появлении господина в очках.

Я знаю, – потому что видел и пережил это, – что большевики, не задумавшись ни на секунду, согласились бы во имя какой-нибудь третьей или четвертой главы, или даже, на плохой конец, примечания, в будущем томе «Великой Истории Коммунистического Движения» уничтожить все население России. Такое происшествие было бы отмечено ими как печальный и в будущем маложелательный случай в общем ходе революции, на спасение и углубление которой они такими лисьими голосами призывают европейский пролетариат.

Я вспоминаю одно место из Достоевского, в «Братьях Карамазовых», когда Иван Карамазов, сидя в трактире с братом своим Алешей, спрашивает

его, – согласился ли бы он, Алеша, для счастья всего человечества, для будущего золотого века, – если бы это, скажем, нужно было, – замучить маленького ребеночка, всего только одного ребеночка замучить до смерти, и только? Согласился ли бы он для счастья всего человечества в жертву принести эти детские муки?

На это Алеша твердо, глядя брату в глаза, отвечает:

– *Нет!*

Большевики говорят:

– *Да!*

Но кто им дал это право? И почему мы должны преклонить голову перед этим правом? Даже если бы мы, скажем, были уверены, что они дадут счастье какому-нибудь десятому или пятнадцатому поколению, мы твердо должны сказать:

– *Прочь окровавленные руки от матери моей!*

ТОРЖЕСТВУЮЩЕЕ ИСКУССТВО

Один из козырей, чем большевики щеголяют перед Европой, – это процветание искусства в советской России. Ныне искусство – достояние всего народа. Все произведения искусства принадлежат государству. На приобретение их и на создание музеев и летучих, для провинции, выставок правительство ассигновывает огромные суммы. Устройство республиканских праздников поручено коллегии художников. В школах проведена свобода преподавания и свобода обучения.

Путь восьмивекового рабства кончен. Искусство служило королям и меценатам, подделывалось под развращенный вкус дворянского сословия и окончательно попало в золотое рабство к сытой и тупой буржуазии. Искусство вырождалось, становилось забавой. Свобода была ему нужна как воздух.

И вот советское правительство объявляет, что искусство свободно, что за искусством оно признает все его могучее влияние на жизнь и культуру и уничтожает материальную зависимость между творцом и потребителем, но...

Вот тут-то, в сущности, и начинается большевизм... С этого «но»! В этих «но» весь их перец, все сверхчеловечество. Большевики не пытаются создавать новое, сотворить идею жизни. Они поступают проще (и их поклонникам это кажется откровением) – они берут готовую идею и прибавляют к ней свое «но». Получается грандиозно, оригинально и, главное, кроваво.

Да здравствует всеобщая справедливость! Но семьи тех, кто сражается против большевиков, – старики, жены, дети, должны быть казнены, а те, кто не желает работать с советским правительством, – уничтожены голодом.

Да здравствует самоопределение народов! Но донских казаков мы вырежем, малороссов, Литву, финнов, эстов, поляков, всю Сибирь, армян, грузин и пр. и пр. вырезать, потому что они самоопределяются, не признавая власти Советов.

Это «но» – роковое и необычайно характерное. Большевики не знают содержательного «да» или сокрушающего и в своем сокрушении творческого «нет» первой французской революции. У них – чисто иезуитское, инквизиторское уклонение – «но», сумасшедшая поправка. Словно – один глаз открыт, другой закрыт, смотришь на лицо – оно повертывается затылком, видишь – человеческая фигура, а на самом деле кровавый призрак, весь дрожащий от мерзости и вожделения.

Точно так же и с искусством получилось у них «но».

...Но искусство, теперь служащее всему трудовому народу, должно быть новым, особым. Старое искусство проедено буржуазной ржавчиной. Новый век, мировую революцию должно увенчать и славить искусство, стоящее по своим задачам, пониманию событий и пропагандной силе на уровне советской программы.

Словом, искусству дан декрет – быть хотя и свободным, но определенным, тем, а не иным. И сейчас же, разумеется, нашлись люди, с восторгом принявшие на себя эту миссию, – это были футуристы.

Они появились в России года за два до войны как зловещие вестники нависающей катастрофы. Они ходили по улицам в полосатых кофтах и с разрисованными лицами; веселились, когда их ругали, и наслаждались, когда обыватели приходили в ужас от их стишков, написанных одними звуками (слова, а тем более смысл, они отрицали), от их «беспредметных» картин, изображавших пятна, буквы, крючки, с вклеенными кусками обой и газет. Одно время они помещали в полотна деревянные ложки, подошвы, трубки и пр.

Это были прожорливые молодые люди, с великолепными желудками и крепкими челюстями. Один из них – «учитель жизни» – для доказательства своей мужской силы всенародно ломал на голове доски[1] и в особых прокламациях призывал девушек отрешиться от предрассудков, предлагая им свои услуги. (Год тому назад я его видел в Москве, он был в шелковой блузе, в золотых браслетах, в серьгах и с волосами, обсыпанными серебряной пудрой.)

Над футуристами тогда смеялись. Напрасно. Они сознательно делали свое дело – анархии и разложения. Они шли в передовой цепи большевизма, были их разведчиками и партизанами.

Большевики это поняли (быть может, знали) и сейчас же призвали их к власти. Футуризм был объявлен искусством пролетарским.

В академии и школах живописи уволили старых профессоров и назначили выборы в новую профессуру, причем каждый мог выставить себя кандидатом, но было объявлено, что если 50% пройдет старых профессоров, то школу

закрыть. Так в московскую школу живописи прошли футуристы. Некоторых из них я хорошо знаю, – они взялись за беспредметное творчество только потому, что не умели рисовать предметов. Союзу художников-футуристов были отпущены многомиллионные суммы бесконтрольно для скупки и коллекционированья соответствующих произведений. Отпущены были также суммы на особое учреждение, где футуристы-поэты пропагандировали новое искусство. Это было кафе, выкрашенное внутри в черную краску, с красными зигзагами и жуткими изображениями. Там, на эстраде, поэты-футуристы и учителя жизни, окруженные девицами, бледными от кокаина, распевали хором:

Ешь ананасы, рябчика жуй, –
День твой последний приходит, буржуй[2].

Комиссар по народному образованию – Луначарский – был постоянным посетителем этого кафе.

Футуристам поручили устройство республиканских праздников[3]. И вот, к торжественному дню дома сверху донизу завешиваются кумачом (причем в продаже никакой материи нет, и беднота и буржуи ходят ободранные), трава и листва деревьев обрызгиваются в голубой цвет, и повсюду расставляются картоны с такими рисунками, что простой народ крестится со страху. Затем футуристам же предлагают поставить что-то около 150 памятников[4], – денег на революцию не жалеют.

Но здесь пришлось натолкнуться на неожиданное сопротивление. Этой весною петроградские рабочие подали в совет заявление, что футуристического искусства они не понимают и далее терпеть этого безобразия не хотят. Поэтому требуют, чтобы на предстоящих майских торжествах травы и деревьев краской не марать, оставить, как они есть – зеленые, непонятных картин не выставлять и снять некоторые, особенно гнусные памятники.

Перед такой тупостью населения большевикам пришлось сократить пропаганду нового искусства. Был снят около Николаевского вокзала памятник Софье Перовской[5], изображавший колонну в два метра высотой, на ней плиту, положенную вкось, боком, а на плите большую кучу из цемента, изображающую, должно быть, волосы Софьи Перовской. Что было дальше – я не знаю.

В то же самое время русские художники, писатели, философы и поэты, не принявшие каиновой печати футуро-большевизма[6] (а приняли ее только двое-трое), принуждены существовать как птицы небесные. Журналы и газеты закрыты, издание книг и типографии монополизированы правительством, картин покупать частным людям нельзя и негде, а правительство скупает только беспредметное творчество[7].

Искусство в России замерло. За последний год было выпущено едва-едва пять-шесть книг и не устроено ни одной художественной выставки, не поставлено ни одной новой пьесы, даже большевистского содержания. Что

делают те, кем Русская земля была горда, не знаю; про тех же, про кого знаю случайно, – голодают и не работают. Трудно, действительно, работать, когда к обеду подают суп из сушеной рыбы и на второе – пюре из этой же рыбы, и это без соли и без хлеба; когда зимою при двадцати градусах мороза дома не отапливаются; или когда за неудачно сказанную остроту заставляют замолчать так же, как этой зимой навек замолчал один из замечательнейших философов и писателей – старик В.В. Розанов, расстрелянный в Троицко-Сергиевской Лавре[8].

Так вот, советское правительство объявляет расцвет русского искусства. Есть чем козырнуть перед Европой. В 1914 году на дело искусства тратилось правительством 100 тысяч рублей, в 1919 году 100 миллионов. Отсюда крайне левая пресса делает соответствующий вывод. Европа поражена. А в Петербурге за этот год 18 членов Академии наук умерло от голода и истощения.

ДИАЛОГИ

Посв. С.П.

В глубине комнаты под неясным зеркалом горел камин. На красном бобрике, на полу, сидел перед огнем полный, мягкий человек с каминными щипцами в руке и, покачивая головой, улыбался оранжевым уголькам. Другой, высокий, с поднятыми плечами, с короткими, смятыми брюками, стоял у окна и надменно глядел на туманные, будто только еще задуманные Гением-Строителем очертания Парижа. Солнце, похожее на больную луну, висело низко, в глубине узкой, пепельно-темной улицы. Третий, маленький, круглый и румяный, сидел, поджав ножку, в кресле сбоку камина и курил сигару, с удовольствием пожевывая ее разбухший и сладковатый кончик. На хрупком столике, на китайском подносике, стояла бутылочка ликера и три наполовину налитые рюмки.

– Ну-с, так как же, – сказал маленький с сигарой, удобно поворачиваясь в кресле, – значит, все-таки – равенство?

Худой у окна заговорил глухим и неясным голосом:

– Вот именно, что все-таки. Никуда вы от этого не скроетесь, помимо ничего не придумаете. Все ваши гуманные идейки – стертые двугривенные, и цена им двугривенный. В восемнадцатом веке самый воздух был пропитан сумасводящей идеей свободы, от нее никакие стены не помогли. Так и сейчас – равенство.

– Дорогой, но ведь вы сами понимаете, что это чепуха.

– Что, равенство?

– В природе нет повторений, люди не равны по самой природе, – какое же равенство? Разве что перед смертью, так ведь мы жизнь строим, а не кладбище.

– Вот именно, – оборачиваясь от окна и взмахивая выше головы указательным пальцем, закричал худой, – именно от того, что это противоестественно, что этого нет в природе, что это выше природы, оттого это так дьявольски и сильно. Спастись можно от урагана, от отравленных газов, но от идеи, которая замахивается выше Бога, нет спасения.

Полный бритый человек с каминными щипцами проговорил мягко:

– Быть может, иногда даже хорошо так замахиваться.

Маленький с сигарой начал загибать указательным пальцем коротенькие и толстенькие пальцы на левой руке:

– Оставим пока богоборчество. Вы вот что мне объясните, милый: предположим, что двадцатый век так же начнет осуществлять равенство, как восемнадцатый свободу, – это раз. Второе – интересует меня практический вопрос: при помощи каких сил вы...

– Почему – я?

– На минуту согласимся условно, что от вас все это зависит. Каким образом, хотел бы я знать, вы начнете осуществлять равенство?

Худой ответил:

– Первое уравнение людей произошло за время европейской войны, там-то и родилась в удобопонятной форме эта идея. От главнокомандующего до последнего сопляка, Михрютки обозного, который, чуть что, – со страху режет постромки и удирает, куда глаза глядят, у всех оказались одни и те же кишки, – когда рванет по животу осколком, – кишки эти вываливаются. Затем, война создала тактику будущей революции во имя равенства, – то есть – грабеж.

Толстенький пахнул дымом: «Ого!». Худой рванул воздух рукою, стиснул слабый кулачок.

– Да, грабеж! Не экспроприация, а просто грабеж со взломом и разбоем. И третье, тоже с войны: – окончательное, без капли сомнения – наплевать на всякую мораль. Вы думали, что мораль – прочная и вечная штука, на чугунном столбе от неба до земли. А вот этот самый Михрютка плюет на вашу мораль. Пытайтесь, защищайте ее. В суд его тащите, сукиного сына. Виновен по статье – засудите, а мораль все-таки останется оплеванной, потому что суд ваш – вне морали, он весь на предметном бытии. Для права собственности, для предмета – у вас бронированные, несгораемые шкафы, а для охраны морали у вас даже роты солдат нет. Вот с этого места и начнется прорыв фронта...

– Простите, я отвлекусь, – перебил маленький, вынимая изо рта сигару, – сами-то вы на какой точке стоите – мораль вы понимаете как вещь, стоящую вне вас? Я не спрашиваю об отрицании.

Худой, как показалось собеседникам, стиснул зубы.

– Да, вне, вне меня. Вы не были на войне, а я был. Из меня с корнем все вырвано. Что такое добро – не знаю. Нет его. Оказалось ненужным и упразд-

нили. А есть – жадность. Жадность хоть как-нибудь жить, хоть что-нибудь урвать. А не граблю я, не убиваю, не насилую только потому, что мне еще противно, и страдания боюсь. Да не о себе говорю, о Михрютке. Он сейчас главный человек. И он это отлично понимает. В прошлом году несколько таких Михрюток из архиерея суп сварили и попов заставили этот суп кушать. Значит, мол, равняться так уж с самим Господом Богом.

Человек у камина перебил, погрозив щипцами:

– Слушайте, вы все время ужасно сбиваетесь. Если нет морали, тогда попы не причем, а вы все к богоборчеству клоните, особенно с этим супом.

– Ну, да.

– А по-моему – этот суп из архиерея не что иное, как новый культ: Бога изжили до пустого места, – поклонимся жадности, дьяволу. Так?

– Да, да, – крикнул худой, – поклонимся дьяволу... И чем гаже, чем кровавее, – тем яростнее будет вера... В кипящий котел и архиерея, и буржуя с цепочкой, и генерала, и самого царя... Каинова жертва... Вспомните, лет двадцать тому назад начались разговоры о фабричном котле – вот вам и котел.

– Окончательно сбились, – проговорил человек у камина, – дьявол именно в том, чтобы в него не верить и в него не кланяться. Дьявол – пустое место, абсолютный нуль, абстрактная идея, равнодушие, аморальность. А начать верить в него, да еще кланяться – все равно, что для моли нафталин. В ваших словах одно верно, что Михрютка – Каин.

– Сбились-то теперь вы, по-моему...

– Никак нет, не сбился. Каин во имя Господа Бога убил, в том-то и сила. Брат его был как птица – чист и светел; срезал горсть колосьев и сжег, вот и вся его жертва – райский мальчик. А Каин верил в Бога всеми кишками, от всего своего человеческого, с яростью и злобой. И брата убил в ненависти и к брату, и к Богу. Убил и убежал, и сошел с ума. И от Каина пошло все человечество, – Авель-то умер отроком. С того мига, когда Каин размахнулся дубинкой, – определилась судьба человечества: вечно бежать от самого себя, вечно сходить с ума и верить неистово. Проследите, – повторяется всегда одно и то же: – едва только на земле наступает мир и безмятежность, – довольство, птичья жизнь, – как в человеке пробуждается Каин – ненависть и озверение. И кончается всегда это каиновой жертвой – революцией. А за революцией – раскаяние (расшифруйте корень этого слова), – и обезумевший от стыда и горя Каин падает на землю, хватает невидимые стопы... Проклятие Каина в неверном пути к Богу: к совершенству через грех...

– Значит, вы отрицаете революцию как путь?

– Да.

– Тогда что же остается?

– Совершенство.

– Революция случилась, будем говорить о революции, – сказал худой, заходив вдоль окна, – пусть мы все каиновы дети, тем хуже для нас. – И он обратился к маленькому с сигарой, все время слушавшему с живейшим вниманием. – Вы хотите знать, как станут осуществлять равенство?

– Вы разве находите, что в России...

– Э, нет, в России идет лишь предварительная подготовка. Большевики, в конце концов, те же Маниловы, – мечтают о мавзолеях, а мужик их морит голодом... Их дни сочтены, само имя большевиков скоро сотрется в памяти... А вот те, кто придут после них, это будут серьезные люди, не мечтатели. Первым делом они объявят всеобщее и окончательное равенство. А так как Михрютки в слова больше не верят, то они разыщут где-нибудь в водосточной трубе прогнившего насквозь последнего человечишку, в гноище, в язвах, и посадят эту мокрицу гнусную на трон, и по нему сделают всеобщее равнение. Это будет такой восторг, равного какому не было никогда. Землю зажгут с четырех концов, сделают ровно. Никаких пролеткультов[1] и Шаляпиных, ничего этого не допустят. Большие города взорвут, чтобы не было соблазна. И вот когда равенство всех на земле осуществится, тогда начнут строить.

– Что?

– Бараки. Одного типа по всей земле.

– С ванными и ватерклозетами?

– Конечно. Вы чего улыбаетесь?

– Нет, я о другом, – сказал маленький, бросая окурок сигары в огонь, – я хотел спросить, – кто же будет во главе этой революции?

– Вооруженный пролетариат.

– Значит, высший привилегированный класс все-таки?

– Только на время революции. Диктаторская власть должна быть в руках небольшого и сплоченного класса.

– А потом, когда кончится революция, куда вы его денете?

– Пролетариат вернется к станкам.

– Назад, равнение по Михрютке?

– Да.

– А если пролетариат набалуется властью и не захочет возвращаться к станкам?

– Его заставят вернуться.

– Кто? Ведь оружие-то будет в его руках. Или опять революция?.. А революция, – опять, значит, какой-то привилегированный вооруженный класс, скажем – подпролетариат... И так без конца, покуда, действительно, не станет на земле ровно и пусто. Теперь вот вы мне на что ответьте, – какая же будет у вас мораль, новая, особенная, михрютская?

Худой человек молчал, стоя спиной к свету, рот его был искажен от злости, очевидно, в голове что-то заскочило, не цеплялось и мучило. Вдруг он рассмеялся коротко, с кашлем:

– Я понимаю, вам никак не удается мыслить вне морали. Равенство – один из трех столбов вашей морали. Я вас сбиваю с толку, вы считаете меня изувером... Нет, нет, – мы говорим о двух различных вещах. Наше равенство и качественно и количественно иное, чем ваше, – другой природы. Ваше равенство – идеально, наше – реально. Ваше равенство – цель, наше – средство. Ваше равенство – равнение по высшему, то есть вечно недостижимое, как весь ваш Новый Завет[2]... Наше равенство – равнение по низшему, то есть достижимое абсолютно, потому что в нем нет морали, а лишь простое притяжение земли. Мы органичны, мы просты. Мы есть голодное брюхо. Мы – основная социологическая предпосылка и только. Но вы все же хотите морали, хорошо: – Михрюткина мораль проста и ясна – не высовываться. Высунулся на вершок, и сейчас же – чик, вершок срезан. – Худой резко повернулся к сидящему перед камином. – Мы вашего Каина вытравим с корнем. Мы человека по-своему переделаем.

– Ну, в таком случае я спокоен, – сказал сидящий и щипцами принялся мешать угли, – заново переделанному человечеству, верю, будет очень хорошо на земле. И давно бы пора его переделать, хвалю, что додумались. В самом деле, – как превосходно было бы жить на этой земле, если бы не человечество.

Маленький в кресле вдруг засмеялся весело, поднял рюмочку с до половины налитым ликером и сказал:

– Ну, а покуда нас еще не переделали, выпьем за то главное, что нас ведет к добру, за сознание неравенства.

НАША АНКЕТА

Ответы А.Н. Толстого на вопросы анкеты газеты «Общее дело» в связи с трехлетием большевистского переворота.

1. *В чем сила большевиков?*

Сила большевиков была в том, что самые высокие идеи они приложили к самым низшим инстинктам человека. Например: во имя мировой справедливости: ненавидь, убивай, грабь, насилуй. Сила большевизма была в оправдании зла, порожденного войною.

2. *Почему они сумели удержаться у власти 3 года?*

Никогда ни одно правительство не жертвовало столь полно счастьем и интересами страны укреплению и сохранению своей власти, как это делали и делают большевики. Их цель одна – мировая революция (не мировое счастье, а именно революция как таковая, – за последствия они не отвечают). Для этой цели им нужна власть (случайно эта власть оказалась в России), в укреплении этой власти отсутствует (разумеется) всякое моральное начало. Наем-

ные войска большевиков действуют внутри России, руководясь простейшей формулой: «Горе побежденным»[1]. Ничего нет удивительного, что с такими средствами большевики могли продержаться до сей поры.

3. *Какие причины укрепили их власть и положение?*

Большевики пробудили в народе темные инстинкты, овладели властью и укрепили ее силой наемных штыков, то есть среди зла стали царствовать злом.

Но русский народ пошел за большевиками не во имя зла: зло было лишь в проявлении народной воли к перемене жизни, лишь темпераментом, но не сущностью движения.

Народ пошел за большевиками во имя лучшей жизни, то есть счастья, то есть добра. Народ поверил им, что ненавистью, разрушением и злом он достигнет веками жданного счастья. Народ нельзя обвинять в этом изуверстве, – четыре года мировой войны научили верить в это.

Народ поверил, пошел за большевиками и укрепил их. Все силы, борющиеся с большевиками, были ему враждебны, потому что он еще верил в недалекое счастье.

Это был тот период большевиков, когда они стояли накануне признания их чуть ли не всем миром.

Война, казалось, не была уж так бесцельна, она приносила чудесные и странные плоды, с востока загорался свет.

Тогда, с роковой для них поспешностью, большевики открыли карты: они заявили, что всякое благоустроение сейчас им враждебно, ибо их цель – война и революция. Привыкнув обманывать, они обманули самих себя и слишком понадеялись на гнилость мира и на колдовство своих слов.

Им взглянули в карты и плюнули в лицо. С этого начинается их падение.

СТРАНИЦЫ ИЗ НОВОЙ ПОВЕСТИ

БУМАЖНЫЙ ВИХРЬ

...В четвертом часу знойного июльского дня, вверх по Тверской, сбоку тротуара, бежал странный пожилой господин низенького роста. На нем был надет длинный, с оттопыренными карманами, чесучевый пиджак, на лысой голове дорожная кепка, из-под козырька ее глядели добрые, круглые, испуганные глаза с дворянскими мешочками. Желтоватые, с проседью, висячие усы его развевались по ветру.

Горячий ветер сильными порывами крутил пыль на никем не подметаемой мостовой, завивал в бродящие вихри обрывки афиш, воззваний, декретов, летучек[1], прокламаций, обязательных постановлений. Стены домов, про-

битые пулями окна, вывески, двери, водосточные трубы – вся Тверская, вся Москва была заклеена этими пестрыми, шелестящими от ветра листами и листочками бумаги. Черные и красные буквы на них, восклицательные знаки, рисунки, рожи, хари, зигзаги – молча, во всю свою абстрактную глотку, вопили, ревели, завывали о мщении, о мировой справедливости, о необходимых для всеобщего счастья потоках крови, о заговорах против революции, о священной, единой, неприкосновенной правде – разрушении всего мира.

Город казался пустым. Иногда лишь грохотал тяжелый грузовик, набитый солдатами, в облаке гари, пыли и крутящихся лоскутьев бумаг проносился мотоциклет с курьером. Да за угол, как тень вдоль стены, ускользал голодный человек с задумчивыми до жуткости красивыми глазами. Да проходили кучкой победители – с винтовками, висящими дулом вниз, с голыми, крепкими шеями, с решительными и свирепыми лицами. Огромный, раскаленный июльским солнцем город был превращен в фабрику фантастических идей и сумасшедших опытов. Не даром – во главе управления страной стояли бывшие журналисты, слишком долго в свое время сидевшие без работы в парижских кабачках в дыму и чаду алкоголя.

Бежавший по Тверской человек остановился перед пунцовой, в полстены, афишей, поспешно вынул из карманчика пенсне, на футляре которого было отпечатано: «Аполлон Аполлонович Коровин»[2], – и начал читать: «Юноши и девушки. Вы разочарованы, вы пали духом, у вас тоска. Какая чушь! Причина ясна – половая неудовлетворенность. К черту все, чему вас учили: добродетель, беспочвенные мечтания, стихи Пушкина. К черту луну – гнусный пережиток помещичье-буржуазной культуры! Идите к нам. Мы знаем истину. Мы учим счастью. Мы новые Колумбы. Мы гениальные возбудители. Бегите сломя голову, торопитесь, бегите в кафе Поэтов Сексуалистов...»

Аполлон Аполлонович в ужасе глядел некоторое время добрыми глазами на афишу... «Господи, Пушкина-то за что... Луна им чем помешала», – он сунул пенсне в жилет и снова побежал, и вдруг стал на площади генерал-губернатора[3], молча всплеснул руками: Скобелев исчез – стоял лишь один, залепленный афишами, гранитный цоколь. Аполлон Аполлонович стал оглядываться, – у подъезда дома генерал-губернатора, того самого дома, где Аполлон Аполлонович еще совсем недавно, прискакав из деревни, в пахнущем нафталином мундире, с шитьем и с побитой молью треуголкой под мышкой, дожидался выхода Высочайшей особы и, дожидаясь, – придумывал колкости, будировал... Боже мой, боже мой!.. Сейчас у подъезда, на тротуаре, сидели какие-то женщины, уткнув лица в колени, валялись мешки, стоял часовой, с вихром, с папироской, трогал носком сапога мешок...

Снова, гонимый вихрем бумаг и пыли, побежал Аполлон Аполлонович среди этого царства бумажного бреда. «Каратака-Каратакэ», – прочел он и споткнулся. Мимо него, толкнув в спину, прошел сутулый высокий человек

в рыжем, в дырах, пальто, с перевязанным поперек лица тряпкою носом, с черной свальной бородой[4]. Он поставил на тротуар ведерко, мазнул кистью по гнусной роже какого-то выскакивающего из котла красного дьявола и наклеил белый небольшой листок. На нем стояло: «Подлежат расстрелу следующие категории...»

ЧУДАК

Аполлон Аполлонович приехал из глухой деревеньки Смоленской губернии в Москву с твердым решением добраться до главного комиссара и поговорить с ним «по-человечеству», так, как можно только раз в жизни говорить человеку с человеком. Аполлон Аполлонович говел и причащался Святых Тайн, на тот случай, если живым ему из Москвы возвращаться не придется. К таковому решению он пришел не сразу. Девять месяцев минуло со дня переворота, и Аполлон Аполлонович временами доходил до такого отчаяния, что плакал горькими слезами на старости лет. Единственному своему собеседнику, молчаливому, мрачному, злому попу Ивану, он часто говаривал: «Пойми ты меня, – ну, землю у меня отобрали, ну – живу я в бане, питаюсь сушеными яблоками, – слов нет – трудно, порою – горько, что мужики добра не помнят, но, честное слово тебе даю, Иван, – считаю это дело в Божьей воле. Иногда даже думаю, – а, может быть, так-то мне даже лучше: умру, ничего с собой не возьму. Жалко мне иногда рыженького коренника, – из рук ведь его выкормил, приучил: как сажусь пить чай на балконе, он, обжора, лезет ко мне на балкон и требует, – морду на плечо, – давай булочек, ватрушек. Вчера я не вытерпел, пошел к Лаптеву на двор, – и рыжий меня узнал, заржал. Стоит на варке, сытый, чистый. Ну, и слава богу. Иван, страшнее погибели своей души – когда погибает Россия. Растаскивают, продают, ничего не уберегают, ничего им не надо. Мы строили на наших костях, нашими муками построена. Весь свет перед нами шапку снимал. Бывало, – заграницей, – станешь в гостинице: кто вы? Русский, – и палец поднимаешь. Ведь за моей спиной – земля, штыки, Император. Ну, бог с ними, с революционерами – не угодили, плохо хозяйство вели, загордились, думали – по старинке лучше... И я отступаюсь, мне и в бане будет хорошо, беритесь за дело сами. Но берись! Голову держи высоко! Превознеси имя. А они что делают? Налетели из заграницы: вали, кричат, все растаскивай. Никакой России не нужно. Отменили. Не пойму, с ума сойду… Поеду к ним разговаривать... Не может же быть, чтобы они человеческого языка не понимали. Слушай, Иван... Один мой предок, так же вот, – сидел, сидел, да в один день и решился, поехал к Тушинскому вору в стан, упал перед ним на колени, – перед вором, – руби, говорит, голову, выслушай: отступись разорять Русскую землю. Что хочешь, Иван, я поеду, доберусь до самого поганого – не для того мы тысячу лет землю строили, чтобы на ней агитаторов разводить».

Поп Иван тоже, от злости, советовал Аполлону Аполлоновичу поехать в Москву: «Вряд ли что выйдет, но ты ему, антихристу, в глаза плюнь». Долго Аполлон Аполлонович колебался, раздумывал, – страшно было и позорно, но подвернулся попутчик, и он решился.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР

На Страстной площади[5] Аполлон Аполлонович увидел некоторое оживление. На углу стояла длинная фура, – перевозка мебели, – около нее, среди узлов и рухляди, сидел гимназист и плакал, вытирая глаза фуражкой, в подъезде стояла заплаканная дама с двумя, отделанными перьями, шляпами в руках, полный господин, в одном жилете, тащил за угол тюфяк из подъезда на улицу. Это выселяли из квартиры кровожадных буржуев. В начале Тверского бульвара стояли ящички, перед ними сидели генерал с седыми баками, безногий офицер и некрасивая дама в пенсне, – здесь продавали папиросы, копченую рыбку, сахар, шнурки, ваксу, набивали резинки на каблуки и чистили обувь. Пушкин стоял, слава богу, на своем месте[6], все так же спокойно глядел на своих читателей, и даже красная тряпочка, привязанная к его руке в блаженные дни свобод, все так же моталась на ветру[7]. На бульваре между липами раздувались белые девичьи юбки. Это было очень странно и даже трогательно глядеть, как худенькие, недоедавшие, не видавшие еще счастья девушки жались поближе к музыкальной раковине, где жиденький оркестр, завирая одной трубой, играл все тот же, все тот же марш – «Дни нашей жизни». Слушали, грустили, думали, – когда же настанет вольная, тихая жизнь?

Но бывшие журналисты и свирепые молодые люди, с пятиконечными звездами на картузах и с винтовками – дулом вниз, шатавшиеся между деревьев и белыми юбками, – продолжали опыты. Революция входила во вкус. Аполлон Аполлонович зашел под парусиновый навес грязненького кафе на бульваре, сел у столика, спросил содовой воды и оглянулся. Вот, – две рослые девицы, в розовых шляпах и таких же прозрачных платьях, что – все было видно. Аполлон Аполлонович живо отвернулся. Вот маленький пухлый человечек, одетый в роскошный пиджачок с карманчиками, – лакированные башмаки жмут, лицо розовое, сладкое, глаза выкаченные, наглые: представитель нарождающейся, среди бумажных галлюцинаций, самоновейшей буржуазии, главное качество – неуловим. Вот перед пустым стаканом неподвижно сидит бывший большой московский барин, седой красавец, – не скрывается, ждет своей участи, оперся подбородком о набалдашник трости и глядит поверх голов. Вот офицеры новой гвардии – молодые люди с мутными глазами, затянутые в новенькие френчи, в дамских, до колена, женских ботинках, в особым образом измятых фуражках, со знаком антихриста на лбу: женственны и вероломны, как и подобает новым скифам. А вот бородатый, в крылатке, профессор, пайщик «Русских ведомостей», – девятый месяц, бедняк, не

может оправиться от испуга. Таков был Тверской бульвар в 18 г., в первые дни террора.

Аполлон Аполлонович долго вглядывался в бородатого профессора, наконец узнал его, – припомнил по фотографии: Славчинский, любимый писатель, государственная голова и честнейшее сердце. Но, боже, в каком виде! Аполлон Аполлонович встал и подошел к нему, вежливо снял шляпу:

– Имею счастье видеть перед собой...

В это время, рядом, у самого кафе, раздались хлесткие, частые винтовочные выстрелы. Сразу все стихло...

Приложения

Г.Н. Воронцова

«СКВОЗЬ ПЫЛЬ И ДЫМ»: ПЕРВЫЙ РОМАН О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«Хождение по мукам» – это хождение совести автора по страданиям, надеждам, восторгам, падениям, унынию, взлетам – ощущение целой огромной эпохи…

А. Толстой. «Как создавалась трилогия "Хождение по мукам"»

История создания и судьба иных произведений порой не менее интересны и увлекательны, чем события, определившие их содержание. В первую очередь это касается книг, написанных в переломные эпохи истории.

«Хождение по мукам» – это название известно каждому, кому не безразлична полная конфликтов и противоречий история русской литературы ушедшего XX века. В сознании большинства оно связано с трилогией русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945), однако изначально принадлежало роману, позднее переименованному в «Сестры».

Роман был написан Толстым в эмиграции, в годы, максимально приближенные к революционным событиям, взгляд на которые был возможен тогда лишь сквозь призму еще не исчезнувших «пыли» и «дыма» (отсюда рабочее название произведения – «Сквозь пыль и дым»), и стал одним из первых в отечественной литературе художественных опытов ретроспективного взгляда на кризисный, не до конца завершившийся, период русской истории, попыткой осмысления уже пережитого страной и народом. «"Хождение по мукам", – вспоминал один из современников писателя, – первое значительное литературное произведение, созданное за рубежом, вызывало пространные толки, без малого было принято с восторгом, и разбирали роман "по косточкам" даже люди, обычно от литературы далекие»[1].

«Хождение по мукам» создавалось Толстым как произведение антиреволюционное, наполненное оценками, которые стали итогом пройденного писателем пути – от восторженно принятого Февраля до исхода в эмиграцию. Революция, в соответствии с первоначальным замыслом автора, ориентированного на христианскую традицию, более всего представала в романе как искушение, соблазн и вместе с тем наказание, кара. Взгляд на нее

---

[1] *Бахрах А.В.* Бунин в халате и другие портреты: По памяти, по записям. М., 2004. С. 390.

был осуществлен с разных точек зрения: идеолога Акундина и поэта Бессонова, анархиста Жадова и рабочего Рублева, либерала Смоковникова и офицера русской армии Рощина, инженеров Телегина и Струкова, Елизаветы Киевны Расторгуевой и сестер Даши и Кати Булавиных. Насыщенное острополемическими диалогами, произведение воплощало одну из примечательных черт времени – его дискуссионность, тесно связанную со свойствами русского национального характера, вечно взыскующего истины русского человека.

Впоследствии, включив роман в состав трилогии, Толстой его существенно переработал, изменив при этом не только частности, но разрушив фундаментальную основу повествования, в результате чего «Хождение по мукам» не без непоправимых для себя последствий было вырвано из современного ему исторического и литературно-философского контекста и, как следствие, приобрело иное звучание. Созданному в эмиграции целостному произведению был придан статус ранней редакции, закрытой для широкого читателя, что существенно обедняло представление о творческом пути писателя. Публикуя роман «Хождение по мукам» в серии «Литературные памятники», мы восполняем этот пробел.

Творчество Толстого принадлежит сразу нескольким эпохам в непростой истории русской литературы XX века. Событийная канва жизни писателя во многом определялась переломным этапом в истории страны – Первая мировая война, революция, война гражданская, утрата и обретение родины. Подобно героям своего романа, Толстой был действующим лицом той национальной драмы, которая открывала новое историческое время, расколов надвое жизнь людей его поколения. Как следствие, одной из главных, сквозных тем творчества писателя стала тема России, русского народа, русской истории и государственности. В своих произведениях он прослеживал ту закономерную взаимосвязь между жизнью нации и душой народа, которая и определяет, в конечном итоге, все прихотливые повороты национального исторического пути. И.А. Бунин, скупой на похвалы своим современникам, писал о Толстом: «...все русское знал и чувствовал как очень немногие».

НА ПУТИ К РОМАНУ

I. НАЧАЛО ЖИЗНИ: САМАРА И САМАРСКИЙ КРАЙ

Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце.

А. Толстой. «Детство Никиты»

Родился А.Н. Толстой 10 января 1883 г. (29 декабря 1882 г. по ст. ст.) в городе Николаевске, Самарской губернии. Его мать, Александра Леонтьевна Толстая, урожденная Тургенева, принадлежала к известному, но к концу XIX в. обедневшему дворянскому роду. Предками Толстого по материнской линии были директор Московского университета Иван Петрович Тургенев, его сыновья – декабристы Николай и Александр, гражданский губернатор Симбирска (1803–1808) князь Сергей Николаевич Хованский, участник военных кампаний в эпоху Николая I и Александра II генерал Александр Федорович Багговут.

Отца, графа Николая Александровича Толстого, представителя одного из старейших русских дворянских родов, писатель не знал. Семейная жизнь Александры Леонтьевны с мужем не сложилась, и незадолго до рождения их общего пятого ребенка, Алексея, она связала свою судьбу с либерально настроенным небогатым помещиком Алексеем Аполлоновичем Бостромом, служившим тогда председателем Николаевской уездной земской управы[2].

Детские годы писателя прошли на хуторе отчима Сосновка в семидесяти верстах от Самары, «в созерцании, в растворении среди великих явлений земли и неба», – как сам Толстой много позже писал в одной из своих автобиографий[3]. Навсегда запечатлелись в его сознании «июльские молнии над темным садом», «осенние туманы, как молоко», «зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб», «весенний шум вод», «люди в круговороте времен года». Жила семья в одноэтажном деревянном доме со службами, не-

---

[2] Трое старших детей Александры Леонтьевны – Александр, Мстислав и Елизавета (дочь Полина умерла в раннем возрасте) – остались с отцом. Бракоразводному процессу графа Толстого с женой было посвящено в свое время немало публикаций в отечественной прессе. Русская демократическая печать называла Александру Леонтьевну «провинциальной Анной Карениной»; Синод же, признав виновной в прелюбодеянии, оставил «во всегдашнем безбрачии», в связи с чем ее отношения с Бостромом не могли быть узаконены. Более подробно о бракоразводном процессе Толстых см.: *Оклянский Ю.М.* Шумное захолустье: Из жизни двух писателей. Куйбышев, 1982.

[3] *Толстой А.Н.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1986. Т. 10. С. 141. (Далее ссылки на это издание даются в тексте. Римская цифра обозначает том, арабская – страницу.)

подалеку от степной речки Чагры. Сразу за окружавшим дом садом открывались бескрайние просторы ковыльной заволжской степи. Традиционный поместный уклад Сосновки, имения небогатого, существовал в тесном соседстве с бытом российской деревни: «Сад. Пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагра. Товарищи – деревенские ребята. Верховые лошади. Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта... Смены времен года как огромные и всегда новые события ⟨...⟩ Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой. Когда ветер заводил песни в печных трубах, в столовой, бедно обставленной, штукатуренной комнате, зажигалась висячая лампа над круглым столом, и вотчим обычно читал вслух Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-нибудь из свежей книжки "Вестника Европы"» (I, 39). «До тринадцати лет, – писал Толстой, – ⟨...⟩ я жил созерцательно-мечтательной жизнью. Конечно, это не мешало мне целыми днями пропадать на сенокосе, на жнивье, на молотьбе, на реке с деревенскими мальчиками, зимою ходить к знакомым крестьянам слушать сказки, побасенки, песни, играть в карты: в носки, в короли, в свои козыри, играть в бабки, на сугробах драться стенка на стенку, наряжаться на святках, скакать на необъезженных лошадях без узды и седла» (I, 41). Таково детство и главного героя повести Толстого «Детство Никиты», произведения автобиографического, напитанного ароматами ставших вдруг особенно пронзительными воспоминаний. Повесть была написана в эмиграции, в Париже, в пору работы над романом «Хождение по мукам» осенью 1920 г.

Александра Леонтьевна, уже к моменту ухода от мужа занимавшаяся литературным творчеством, со временем стала довольно известным в Самарском крае прозаиком и драматургом. Она будила интерес сына к книге, поощряла различного рода сочинительство: писем, дневников, небольших детских рассказов, где фиксировались и оценивались впечатления мальчика о происходивших с ним и вокруг него событиях. Немало таких примеров дает их переписка[4], продолжавшаяся вплоть до неожиданной и скоропостижной кончины Александры Леонтьевны в 1906 г.

В 1899 г. семья навсегда покинула Сосновку и переехала в Самару, где Толстой уже учился в реальном училище. Город к тому времени являлся не только одним из крупных губернских центров Поволжья (здесь работали публичная библиотека, постоянная драматическая труппа, устраивались художественные выставки, издавались газеты), но и местом проживания политических ссыльных, что накладывало заметный отпечаток на его культурную жизнь[5]. Мать и отчим Толстого принадлежали к демократически настроен-

---

[4] Письма Толстого к родителям см.: *Алексей Толстой и Самара; Переписка.* Т. 1.

[5] В 1917 г. Толстой писал отчиму: «Вот какие события завернулись на нашей родине! А думал ли ты, что, когда в Самару были сосланы марксисты, что они-то и будут через 20 лет у власти» (*Переписка.* Т. 1. С. 270).

ной части самарской интеллигенции, для которой был характерен «интерес к народничеству, пристальное внимание к марксизму, увлечение позитивизмом, чтение русских писателей (особенно второй половины XIX века)»[6], что не могло не сказаться на настроениях сына и его первых осознанных литературных опытах, которые сам писатель относил к шестнадцати годам. Среди ранних стихов Толстого с отмеченными напускной печалью элегиями соседствовали образцы гражданской поэзии в духе Некрасова, созданные под влиянием как самой российской действительности того времени, буквально пропитанной освободительным пафосом, так и царившей в семье либерально-демократической атмосферы.

В феврале 1900 г. в Ницце скончался отец писателя, граф Н.А. Толстой, что изменило материальное положение его младшего сына. Юноше была выделена часть наследства, около тридцати тысяч рублей, чем была обеспечена возможность получения высшего образования в одной из столиц. Сдав в мае 1901 г. выпускные экзамены в реальном училище, Толстой уехал в Петербург.

С Самарой и Самарским краем, где прошли детство, отрочество и юность писателя, прочно связано его творчество. Впечатления той важной в жизни каждого человека поры составили необычайно мощный пласт памяти Толстого, обращением к которому отмечены такие его произведения, как цикл рассказов «Заволжье», повесть «Детство Никиты», романы «Чудаки», «Хромой барин», «Хождение по мукам». Самара – родина двух любимейших героинь писателя, сестер Булавиных. Глава, посвященная пребыванию Даши у отца, не плод сочинительства, а всплывшие в памяти картины собственного прошлого автора, среди которых и романтическое путешествие «к счастью» по Волге, и пыльные и душные улицы провинциального российского города с его неизбывными, томящими тоской и скукой. Присутствие Самары в романе не только дань Толстого родному городу, но и важнейший контрапункт осмысления современных событий, отраженных, прежде всего, в восприятии представителей той необъятной России, что начиналась за воротами Москвы и Петербурга. Катя и Даша Булавины, Иван Ильич Телегин, родственники которого также живут на Волге, столичные жители по воле случая, в силу стечения обстоятельств. По типу своего сознания и поведения они остаются частицами жизни, сосредоточенной на бескрайних просторах страны, жизни, и олицетворявшей по-настоящему ту Россию, о судьбе которой идет речь в романе[7].

---

[6] *Скобелев В.П.* Ранний Толстой: пути формирования личности //*Алексей Толстой и Самара.* С. 10.

[7] Вслед за Толстым М.А. Булгаков революционные события в России преломляет через сознание членов живущей в Киеве семьи Турбиных («Белая гвардия», «Дни Турбиных»). Фокусирующим центром эпического повествования о войне и революции у М.А. Шолохова («Тихий Дон») становится казак Григорий Мелехов, уроженец Дона.

II. НАЧАЛО ТВОРЧЕСТВА: ПЕТЕРБУРГ

> Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.
>
> *А. Толстой. «Хождение по мукам»*

Приехав в Петербург и поступив на механическое отделение Технологического института, Толстой с головой окунулся в студенческую жизнь. Интенсивные занятия чередовались с посещением театров, музеев, выставок, различного рода литературных утренников и вечеров. По сравнению с провинциальной Самарой российская столица начала 1900-х годов таила в себе неисчерпаемые возможности для личностного творческого роста. В городе, буквально напитанном атмосферой Серебряного века с его напряженными исканиями в различных областях культуры, у юноши окрепло и окончательно оформилось решение посвятить себя литературному труду.

Учителями писателя были и классики, в произведениях которых воплотились великие традиции отечественной литературы, и символисты с их неустанным исканием новых художественных форм. Последнему в немалой степени способствовало окружение Толстого, состоявшее из ярких представителей новых течений в литературе и искусстве. Дружеское и творческое общение связывало его в ту пору с поэтами В.Я. Брюсовым[8] и М.А. Волошиным[9], Н.С. Гумилевым и И.Ф. Анненским, художниками К.А. Сомовым и С.Ю. Судейкиным. Писатель был вхож в дома Ф.К. Сологуба, А.М. Ремизова, посещал литературные «среды» Вяч. И. Иванова, являлся завсегдатаем ресторана «Вена» и литературно-артистического кабаре «Бродячая собака», в организации которого принимал самое непосредственное участие.

---

[8] В.Я. Брюсов, тогда признанный мэтр символизма, не только печатал в журнале «Весы», который редактировал, стихотворения Толстого, но и поддерживал его своими доброжелательными отзывами. Внимательный и взыскательный критик, он одним из первых сумел распознать характерную черту дарования Толстого, которая выгодно выделяла его среди целой плеяды молодых поэтов и писателей: «Не только знание народного быта ⟨…⟩ но скорее какое-то бессознательное проникновение в стихию русского духа составляет своеобразное очарование поэзии гр. Толстого» (*Брюсов*. Т. 6. С. 366).

[9] Близкие отношения с Волошиным, отличавшимся огромной эрудицией в вопросах литературы, искусства, истории, философии, были важны для Толстого и в личном, и в творческом плане. Некоторые из концептуальных идей поэта, в частности о причинах мировой войны, нашли отражение в романе «Хождение по мукам». Волошин пристально следил за профессиональным ростом молодого писателя, выступал в печати с высокой оценкой его книг. В одном из частных писем той поры поэт писал о Толстом: «Он идет вперед гигантскими шагами. Его последние повести пророчат в нем очень крупного романиста. Его литературная дорога уже обеспечена» (*Волошин 1*. С. 205). До революции Толстой был частым гостем в доме Волошина в Коктебеле.

О степени погруженности Толстого в жизнь Петербурга первых десятилетий XX в. свидетельствует созданный на страницах «Хождения по мукам» незабываемый художественный образ города. Один из рецензентов романа справедливо отмечал: «Перед нами действительно подлинный предреволюционный Петербург. Тут все, так сказать, на своем месте ⟨...⟩ Все, видимо, списано с натуры и талантливо воспроизведено. В романе много картин, которые мог написать только человек, интимно знающий невскую столицу»[10]. Текст произведения Толстого полон упоминаниями топонимических и исторических реалий, отсылающих к важнейшим вехам становления и развития «града Петра». Это и конкретные адреса персонажей (Знаменская улица, Васильевский остров, Каменноостровский проспект), и памятные места, архитектурные сооружения, монументы Петербурга (памятники Петру I и Александру III, резиденция Павла I Михайловский замок, здания Генерального штаба и Германского посольства, Александрийская колонна, Троицкий и Исаакиевский соборы, Невский проспект и пр.), незримыми нитями связанные с повествованием и описанными в романе событиями. Так, один из маршрутов Телегина по охваченному революционными выступлениями Петербургу проходит мимо Михайловского замка, резиденции убитого здесь Павла I, и в романе возникает мотив цареубийства, предопределенного характером русской революции. Образ российского самодержавия, свергнутого в феврале 1917 г., ассоциируется у автора с «тяжелым, как земная тяга» памятником Александру III, в непосредственной близости от которого проходят митинги и демонстрации. Благодаря этим внутренним связям, воссозданный в романе образ города предметен, рельефен, практически осязаем. Петербург в «Хождении по мукам» предстает одним из полноправных персонажей произведения.

С самого начала эстетические пристрастия писателя формировались в атмосфере несбывшихся надежд, резких перемен, обусловленных событиями как общественного, так и личного характера. К их числу относятся и революция 1905 г., которая глубоко Толстого не затронула, но заставила испытать, как и многих, известное разочарование от неудавшейся попытки демократических преобразований в стране; и скоропостижная кончина матери 26 июля 1906 г., повлиявшая на мировосприятие и жизнеощущение Толстого. Как напишет он потом в одной из своих автобиографий: «...вслед за этим наступает перелом в моей жизни... Я решаюсь покинуть Россию, которую плохо знаю, увлекаюсь живописью, новой поэзией, начинаю сам писать стихи и в 1908 г. попадаю в Париж»[11].

Быстро пройдя через непременный, для эпохи всеобщего увлечения стихами, поэтический этап творчества (первой книгой писателя был изданный в 1907 г. стихотворный сборник «Лирика»), Толстой обратился к прозе. В 1909 г.

---

[10] Руль. 1922. 30 июля (№ 506). С. 9.

[11] *Новые материалы*. С. 194.

публикацией рассказа «Архип» было положено начало целому ряду произведений, в основе которых лежали воспоминания автора о жизни и быте родного Заволжья, семейные предания Тургеневых. За сравнительно небольшой отрезок времени были написаны и опубликованы повести «Заволжье» («Мишука Налымов») и «Неделя в Туреневе» («Петушок»), рассказы «Аггей Коровин» («Мечтатель»), «Два друга» («Актриса») и «Сватовство»[12]. Тема, с которой Толстой вошел в большую литературу, была созвучна процессам, происходившим в русском обществе. На глазах писателя, который по своему рождению принадлежал к двум старейшим дворянским родам, медленно погружался в пучину Леты обширный социо-культурный материк провинциальной дворянской России. И Толстого по праву можно причислить не только к свидетелям, но и к создателям художественной летописи «величайшего исторического момента итогов и концов» (С.П. Дягилев), «умирания» старой дворянской культуры и связанного с ней быта, знаменовавших собой целую эпоху в русской истории.

Критика в лице З.Н. Гиппиус, М.А. Кузмина, С.А. Ауслендера, А.В. Амфитеатрова и многих других заговорила о Толстом как о даровании ярком, стихийном и самобытном. Внимание к ранним повестям и рассказам писателя было обусловлено, в том числе, найденной автором стилевой манерой, которая сочетала в себе колоритно прописанный быт и характерность персонажей, конкретность и, вместе с тем, многофункциональность детали, разговорный, насыщенный просторечиями язык и пронизывающую порой все повествование легкую снисходительную иронию. Все это, в сочетании с необычным для литературы того времени ощущением полноты и самодостаточности жизни, искренностью и непосредственностью авторской интонации, представляло собой определенно новую, свежую струю в современной прозе. И критикой, и читателями Толстой воспринимался не столько искусным мастером интриги, сложных сюжетных ходов и психологически тонко проработанных характеров, сколько талантливым завораживающим рассказчиком, способным чувствовать и передавать красоту живой русской речи и по-настоящему увлечь на первый взгляд незамысловатыми историями из жизни российской провинции. Несмотря на то, что в отдельных произведениях еще заметно было влияние литературных образцов, повести и рассказы Толстого звучали «по-своему». Цикл «Заволжье», вышедший в 1910 г. отдельной книгой, на многие годы стал своеобразной визитной карточкой писателя.

Вслед за повестями и рассказами Толстой пишет романы «Две жизни» (1910; др. назв. «Земные сокровища», «Чудаки») и «Хромой барин» (1912). Оба с пристальным вниманием к женскому характеру, женской психологии, с центральной темой сакрализованной земной любви и одновременно настойчивыми поисками положительного жизненного идеала, который, впро-

---

[12] Некоторые из этих рассказов впоследствии были переименованы автором; в скобках даны более поздние названия произведений.

чем, мог меняться от редакции к редакции произведения[13]. Все это позволило одному из критиков заметить: «Если есть в писании А.Н. Толстого главная мысль, то эта мысль есть бред о счастливом часе встречи с необыкновенной женщиной, который когда-нибудь, хотя бы раз в жизни да настанет, должен настать»[14]. И «Две жизни», и «Хромой барин» не принадлежат к числу бесспорных творческих удач автора. Оба романа во многом наивны, в чем-то не додуманы, психологически не выверены. Однако критикой тогда было оценено само намерение Толстого, установившего для себя более высокую планку, хотя талант писателя пока еще изменял ему там, «где он пытался писать не персонаж, но человека, не статическую образину заволжского помещика, но внутренний образ развития человеческой души, где ему надоедало или было невозможно просто-напросто глазеть и описывать и хотелось нечто прозреть, наблюсти, разгадать»[15]. Темы и мотивы ранних романов Толстого в той или иной мере заявят о себе в «Хождении по мукам». И здесь одно из центральных мест займет женская картина мира, а сакрализованная земная любовь станет непременным условием спасения в пучине гибнущего бытия.

III. ВОЙНА

> …Я проститься приехал, Дарья Дмитриевна… Вчера только узнал, что вы здесь, и вот, хотел проститься…
> – Проститься?
> – Призывают, ничего не поделаешь.
> – Призывают?
> – Разве вы ничего не слыхали?
> – Нет.
> – Война, оказывается, вот в чем дело-то.
>
> *А. Толстой. «Хождение по мукам»*

> Война есть лишь пущенный на более быстрый ход маятник жизни.
>
> *Из дневника А. Толстого 1915–1917 гг.*

За два года до Первой мировой войны, в сентябре 1912 г., Толстой переехал на постоянное жительство в Москву, которая, как отметила в своих

---

[13] Переписывая финалы романов, Толстой заставлял своих героев искать выход из тупиковых жизненных ситуаций то в монастырской келье (Сонечка в «Двух жизнях»), то в революционной борьбе (князь Краснопольский в первой редакции «Хромого барина»), то в любви и земном счастье.

[14] *Степун Ф.А.* Граф Ал.Н. Толстой // Северные записки. 1914. Май. С. 108.

[15] Там же. С. 106.

воспоминаниях жена писателя С.И. Дымшиц[16], была ему «милее, чем чиновная столица царской России»[17]. Таким образом, в первую очередь к Москве, а не к Петербургу относятся личные наблюдения писателя жизни русского общества кануна войны и революции, отразившиеся в романе «Хождение по мукам».

Толстой приехал в Москву уже известным писателем и сразу оказался в центре литературной и культурной жизни города. Вместе с женой, молодой художницей, они бывают на заседаниях Литературно-художественного кружка и Общества свободной эстетики, где писатель выступает с чтением своих новых произведений; принимают у себя дома, в квартире на Новинском бульваре, писателей, актеров, художников. Толстой становится частым гостем московских литературно-художественных салонов, которые устраивают у себя просвещенные представители русского купечества: Е.П. Носова, Г.Л. Гиршман, М.К. Морозова, С.И. Щукин и другие. Впечатления писателя от знакомства с малоизвестной ему тогда средой людей «около искусства» отзовутся потом в романе о революции, прежде всего в описании салона Кати Смоковниковой и «Философских вечеров». Наиболее интересны в этом плане посещавшиеся Толстым дома М.К. Морозовой и С.И. Щукина.

В доме М.К. Морозовой[18], на Смоленском бульваре, проходили собрания московского Религиозно-философского общества, которому хозяйка оказывала существенную материальную поддержку[19]. Наблюдения Толстого этой стороны жизни предвоенной Москвы отразились в главе «Хождения по мукам», посвященной обществу «Философские вечера». О посещении одного из заседаний Религиозно-философского общества в дневнике писателя сохранилась запись, которая перекликается с соответствующим текстом романа не только своими отдельными деталями, но и общей интонацией: «Заседание Ф⟨илософского⟩ к⟨ружка⟩ у Морозовой. Назади в восточной комнате хихикающие молодые люди расселись по дорогим креслам. Крестьянин, который вытирал глаза платком, – болели. Молчаливые попы – не угадаешь: нравится им или нет. Председатель, который качал головой в сторону лектора и улыбался,

---

[16] Софья Исааковна Дымшиц (1886–1963), художница, жена Толстого в 1907–1914 гг.

[17] *Воспоминания*. С. 71.

[18] Маргарита Кирилловна Морозова (1873–1958; урожд. Мамонтова), жена фабриканта М.А. Морозова. О ее салоне писала в своих воспоминаниях С.И. Дымшиц: «Здесь господствовали англоманские вкусы, все было по-буржуазному деловито. Хозяйка была красавица со степенными манерами. Гости были люди солидные, все больше профессора» (*Воспоминания*. С. 73).

[19] См. в мемуарной книге А.П. Шполянского (Дон-Аминадо): «Морозовы, Мамонтовы, Бахрушины, Рябушинские, Тарасовы, Грибовы – все это московское просвещенное купечество, на все откликающееся, щедро дающее когда угодно и на что угодно – на Художественный театр, на Румянцевский музей, на “Освобождение” Струве, на “Искру” Плеханова, на памятник Гоголю, на землетрясение в Мессине» (*Дон-Аминадо*. С. 134).

издали походило, что он строил ему рожи»[20]. При сравнении этой краткой, но очень емкой зарисовки с соответствующим эпизодом романа обнаруживаются общие для них подчеркнутая пестрота и даже случайность состава присутствующих и нескрываемая ироническая нота в изображении событий: «Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми, пьяными глазами на проходящих. Две средних лет литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки» (Наст. изд. С. 12)[21].

Не менее значим для творческой истории романа и посещавшийся Толстым дом известного предпринимателя и собирателя новейшей западной живописи С.И. Щукина[22]. По воспоминаниям художника К.С. Петрова-Водкина, «Сергей Иванович сам показывал посетителям свою галерею. Живой, весь один трепет, заикающийся, он растолковывал свои коллекции. Говорил, что идея красоты изжита, кончила свой век, на смену идет тип, экспрессия живописной вещи, что Гоген заканчивает эпоху идеи о прекрасном, а Пикассо открывает оголенную структуру предмета»[23]. В доме Щукина часто бывали футуристы и художники-авангардисты: В.В. Маяковский, Д.Д. Бурлюк, А.В. Лентулов, К.С. Малевич, М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, О.В. Розанова, И.И. Машков, П.В. Кузнецов и другие. Возможно, что какие-то полотна щукинской коллекции и явились образцами для Катиной «Венеры», которая так ужасала Дашу Булавину. Сам писатель в оценке этого собрания принадлежал скорее к московскому большинству, которое поклонялось «Репину и Сурикову, Поленову, Левитану, Верещагину», а в «той модернистской живописи, ярым приверженцем которой выступал Щукин, видели вызов реалистическим традициям русского искусства»[24].

В Москве накануне войны Толстой имел возможность наблюдать и деятельность различных футуристических групп, пик активности которых приходился именно на 1913–1914 гг.[25] Несколько раз имя Толстого связывалось

---

[20] *Материалы и исследования*. С. 302.

[21] Этот пример творческого использования Толстым сделанных для памяти дневниковых записей далеко не единственный, на что много раз указывалось исследователями. См. примечания к опубликованным дневникам писателя (*Материалы и исследования*).

[22] Дом С.И. Щукина находился в Большом Знаменском переулке; не сохранился. Его упоминает в своих воспоминаниях С.И. Дымшиц, но прежде всего в связи с выступлением там А.Н. Скрябина. См.: *Воспоминания*. С. 73–74.

[23] *Петров-Водкин К.С.* Пространство Эвклида. СПб., 2000. С. 419.

[24] *Думова Н.Г.* Московские меценаты. М., 1992. С. 52.

[25] В.Я. Брюсов писал о периоде с апреля 1913 по апрель 1914 г.: «Минувший год в русской поэзии останется памятен всем более спорами о футуризме» (Русская мысль. 1914. № 5. С. 25).

с футуризмом и футуристами самым непосредственным образом. 26 января 1914 г. писатель был замечен среди встречающих приехавшего в Россию вождя итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти. Вместе с Г. Тастевеном он сопровождал его на первой лекции в Политехническом музее, после чего в «Московской газете» была напечатана заметка под названием «Гр. Ал. Толстой – футурист»: «Футуризм Маринетти нашел себе неожиданного апологета в лице писателя гр. А.Н. Толстого. Из всех московских писателей один только гр. Алексей Толстой принимал участие в встрече итальянского футуриста. Присутствовал на его лекциях ⟨...⟩ “Я сам – футурист, – говорит по этому поводу гр. А.Н. Толстой. – Гораздо в большей степени, чем все наши футуристы вместе взятые. У нас принято так: всякий написавший одно-два непонятных стихотворения, считает себя вправе называться футуристом. На самом же деле истинный футуризм – иное дело. Футуризм не есть школа или форма литературы. В футуризме я вижу чувствование жизни, ощущение радости бытия ⟨...⟩ Я стою за истинное движение, а не призрачное, как у нас, за оздоровление не только духа, но и тела. Я прошел уже школу пессимизма и вижу в будущем торжество начал жизни. В этом смысле я – футурист”»[26]. На деле же, однако, пути Толстого, осознавшего себя художником-реалистом, и футуристов, писавших «непонятные стихотворения», все более расходились.

Первый, тогда мало кем замеченный, выпад писателя против идеологии футуризма появляется в повести «Большие неприятности», опубликованной в третьем выпуске сборника «Слово» за 1914 г. Отец главного героя, читатель журнала «Русское богатство», старик Стабесов, оценивая современную ситуацию в русском обществе, кричал: «Пустота, ⟨...⟩ для этого мы сражались? Мы общественность готовили, а они, видите ли, выдыхаются. Почитайте-ка хронику. Что это такое? Было у нас подобное? Балаганные клоуны! Макса Линдера на руках в консерваторию внесли. Автомобилю религиозное значение придают. Манифест выпустили, что ни в чем не должно быть никакого смысла. До такой пустоты себя выжали, что уж слов у них даже нет, одними гласными буквами выражаются. Ведь это пожар, пепел один остался» (II, 175). Через это частное мнение одного из персонажей просвечивает и авторский взгляд на обозначенное потенциально опасное, в представлении Толстого, направление в развитии современной культуры.

---

[26] Московская газета. 1914. 10 февр. (№ 299). С. 5. То, что Толстого объявили футуристом могло быть связано также с его выступлением в Обществе свободной эстетики после лекции Маринетти. Желающим полемизировать с вождем итальянских футуристов было предложено говорить только на французском языке, против чего протестовали Бурлюк и Маяковский. Неожиданно их поддержал Толстой: «Если эти ребята называют себя футуристами, то я тоже – футурист. Именно они напомнили собранию, что, приехав в чужую страну, надо уважать ее язык, а не торговать залежалым товаром “Мафарки-футуриста”! Я приветствую эту молодежь, отказывающуюся принимать чужую пулеметную трескотню за последнее слово искусства!» (*Воспоминания*. С. 134–135).

Еще более определенно критическое отношение писателя к экспериментаторскому искусству, обостренное начавшейся войной, сказалось в рассказах «Ночные видения (Из городских очерков)» и «В гавани», созданных на рубеже 1914–1915 гг. Рассказ «Ночные видения» (заглавие в автографе – «Футуристы») целиком посвящен собранию представителей нового искусства. Один из них, «полный бритый молодой человек», с перекошенным ртом, персонаж явно отрицательный, жестко и цинично формулирует принципы футуристической идеологии:

Что такое новое искусство 〈...〉 Чувство современности. Тот, кто чувствует современность, получает славу и деньги. Современность есть то, что нас волнует. А что нас волнует? Каждый день читаешь в газете о зарезанной проститутке, об угоревшей семье, взрыве газа, пожаре, опрокинутом поезде, – волнует это вас?

– Нет, нет, – закричали изо всех углов...

– А если я скажу: мне не нравится, как писал Пушкин. Я хочу уничтожить картинные галереи. Я желаю разрезать слова на части и разбрасывать их по бумаге. Я желаю, чтобы мои картины не понимал никто... Волнует это?

– Да, да, к черту старое искусство, – закричали опять...

– Мы любим катастрофы! В каждом стихе, в каждой картине мы хотим видеть намек на невероятные события, на чудовищные катастрофы. Вот что нас волнует больше всего. Каждое мгновение мы ждем и хотим новой катастрофы... Поймайте это мгновение и запечатлейте, и вы модный художник, вы футурист... Сегодня гибнет нравственность и семья – пишите циничные стихи. Сегодня мы в вихре неврастении, мы не можем сосредоточиться ни на мысли, ни на слове – дробите слова, разбрасывайте их по бумаге... Завтра мы захотим чуда, экстаза – войте, как хлысты...[27]

В раннем варианте рассказа «В гавани» футуристками называют себя сестры Додя и Нодя: «...одна писала футуристические картины, другая футуристические стихи; обе презирали людей, считали природу тургеневским пережитком, а небо – банальностью...». На прочитанное непризнанным поэтом Вакхом Ивановичем двустишие «Я жить хочу, я голоден, я жажду, // Хочу шампанского и много, много дев...» они откликаются: «Это смело, это бешено! – Это пощечина, браво, браво!»[28] – с явным указанием на вышедший к тому времени манифест кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу» (1912).

---

[27] *Толстой (2)*. Т. 2. С. 276–277.

[28] Русские ведомости. 1915. 1 февр. (№ 26). С. 4–5. По мнению современников, в образах Доди и Ноди запечатлелись черты сестер Марины и Анастасии Цветаевых, а прототипом Вакха Ивановича стал житель Феодосии П.Н. Лампси. Одна из феодосийских знакомых М.А. Волошина писала ему: «Какую гнусную выходку позволил себе Алексей Ник〈олаевич〉 по отношению к Пете Лампси. Все мы здесь возмущены до глубины души его нравственным падением 〈...〉 “Додя” и “Нодя”, т.е. Марина и Ася, сами огрызнутся. Ну а Петя правильно презирает» (*Волошин 2*. С.138). Сестры Цветаевы стали прототипами и сестер Головановых из упоминавшегося выше рассказа «Ночные видения»: «Сестры Головановы – маленькие, злые, в коротких юбках – прижались к печке, заложив руки за спину 〈...〉 Сестры Головановы опустили глаза, подобрали губы и в один голос, в один тон зачитали стихи тонкими, птичьими голосами» (*Толстой (2)*. Т. 2. С. 275).

Начиная с осени 1914 г. заметное место в творчестве Толстого занимала тема начавшейся мировой войны. Она станет одной из центральных и в «Хождении по мукам». Непосредственно военным событиям в романе посвящено пять глав (XV, XVI, XX, XXI и XXII). К ним примыкают главы с XXVI по XXIX, где рассказывается о гибели на фронте Бессонова и побеге Ивана Ильича из плена. В других – война проходит фоном: о сражениях и передвижениях русских и союзных войск упоминается либо в авторских отступлениях, либо в монологах героев. Фронт в романе, как правило, связан с двумя персонажами: Иваном Ильичом Телегиным (Галицийская битва) и Аркадием Жадовым (трагическое отступление русской армии в 1915 г.). На фронте погибают Алексей Алексеевич Бессонов и Николай Иванович Смоковников. В «Хождении по мукам» Толстой не стремится к точности в изображении военных операций, в воспроизведении внешнего рисунка войны. Его главные усилия направлены на воссоздание атмосферы военного времени, на передачу масштаба разразившейся катастрофы.

По признанию писателя, в его собственной жизни и творчестве война сыграла немаловажную роль, способствовав преодолению кризиса, в котором он оказался некоторое время спустя после своего блистательного дебюта[29]. «...Я увидел подлинную жизнь, – писал Толстой, – я принял в ней участие ⟨...⟩ Я увидел русский народ» (I, 44). Однако в своем отношении к войне как к событию не только русской, но и мировой современной истории автор романа прошел через ряд прямо противоположных этапов.

Последнее мирное лето 1914 г. Толстой проводил у Волошина в Коктебеле. Впоследствии он не раз обращался к этим канунным дням, фиксируя владевшее тогда многими настроение пессимизма и предчувствие вселенского хаоса. Например, в «Рассказе проезжего человека» (1917): «...на юге было особенно в этот год весело и шумно. Почти тревожно. Многие неожиданно разошлись – мужья с женами, другие внезапно отчаянно влюбились. Происходили странные, почти непонятные ссоры. Точно вихрь окреп и теперь бешено, невидимо, крутился между людьми, туманя сознание, распаляя чувства. Это был тоже последний сезон в Крыму» (III, 9). Или, позже, в «Хождении по мукам»:

Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло

---

[29] С высоты прожитых лет Толстой негативно оценивал предвоенный период своего творчества, о чем неоднократно писал в статьях и автобиографиях: «Настал день, когда я с трепетом почувствовал: нужно жить в современности ⟨...⟩ Я писал все хуже, все ненужнее – беспомощно барахтался в дикой стихии русского языка» (X, 149); «Я исчерпал темы воспоминаний и вплотную подошел к современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, не типичны» (I, 43).

память и благоразумие. По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И, казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы (Наст. изд. С. 84)[30].

Известие о начале мобилизации 17 (30) июля 1914 г. застало писателя на пути в Москву («Я возвращался из Крыма. На Харьковском вокзале был знаменитейший борщ. Весь поезд весело устремился в зал I класса. Но вместо борща ждало извещение о мобилизации. На переполненном, гудящем вокзале продавалась летучка, листок в четверку с неслыханным, жутким, жирным заголовком: "Мобилизация!"»[31]). В первые месяцы войны в стране царил небывалый патриотический подъем, захвативший почти все слои общества, в том числе и самого Толстого. В качестве военного корреспондента московской газеты «Русские ведомости» и уполномоченного Всероссийского земского союза он неоднократно выезжал в зону военных действий: в 1914 г. на юго-западный фронт, в 1915 – на кавказский, в 1916 – на западноевропейский. Своему отчиму, Бострому, в самом начале августа 1914 г. Толстой сообщал: «Я работаю в "Русских ведомостях", никогда не думал, что стану журналистом, буду писать патриотические статьи. Так меняются времена. А в самом деле я стал патриотом. Знаешь, бывает так, что юноша хулит себя, презирает, считает, что он глуп и прыщав, и вдруг наступает час, когда он постигает свои духовные силы (час, кот⟨орому⟩ предшествует катастрофа), и сомнению больше нет места. Так и мы все теперь: вдруг выросли, нужно делать дело – самокритике нет места – мы великий народ – будем же им»[32].

В первый год военных действий Толстому, как и многим его современникам, была свойственна идеаллизация целей, задач и сущности войны, что предопределило тот патетический пафос, который характерен для целого ряда его публицистических работ. В статье «Трагический дух и ненавистники» («Отечество») он писал: «Переворот произошел в один день, к вечеру мы стали крепким, решительным, чистым народом. Словно над всей Россией в этот день пролетел трагический дух – дух понимания, спокойствия и роковых, мирового смысла задач; всех коснулся трагический дух и все пошли на предназначенное и неизбежное дело – сломить на полях Германии бесов железной культуры, гасителей духа человеческого»[33].

---

[30] Эти характеристики лета 1914 г. в какой-то степени автобиографичны. Именно на это время приходится окончательный разрыв Толстого с С.И. Дымшиц.

[31] *Толстой (1).* Т. 13. С. 84. 17 (30) июля 1914 г. российские газеты опубликовали «Высочайший указ Правительствующему Сенату» о мобилизации, а 20 июля (2 августа) сообщили об объявлении Германией войны России. Официальной датой начала войны считается 19 июля (1 августа) 1914 г.

[32] *Переписка.* Т. 1. С. 212.

[33] *Толстой (1).* Т. 3. С. 9.

Впервые писатель выехал на фронт во второй половине августа 1914 г. Он побывал на Волыни, в местах наступления русской армии. За четверо суток проехал города Ковель, Владимир-Волынский, Грубешов, Лащево, Томашев, Тасовицы, Замостье и Холм. Затем, в начале октября, проследовал в Галицию. Своему приятелю, художнику Малого театра К.В. Кандаурову, Толстой сообщал: «Я так устал за 4 дня непрерывной скачки в телегах и бричках по лесным дорогам, под дождем, воспринимая единственные в жизни впечатления, что писать о них сейчас не могу ⟨...⟩ Подумать только – я прожил год жизни за эту неделю, а это лишь только начало войны»[34]. Корреспонденции Толстого, выраставшие из коротких записей на небольших листках карманного блокнота, назывались «Письма с пути» и публиковались в основном в «Русских ведомостях». Впоследствии они составили книгу военных очерков писателя. Посвящая ее балерине Большого театра М.В. Кандауровой, автор писал: «Маргарита, с глубоким чувством приношу Вам эту небольшую книгу, в ней собрана большая часть того, что я видел за две поездки на места войны. Я видел разрушенные города и деревни, поля, изрытые траншеями, покрытые маленькими крестами, крестьян, молчаливо копавшихся в остатках пожарища или идущих за плугом, посматривая – далеко ли еще от него разрываются снаряды, и женщин, которые протягивают руку на перекрестке дорог, я видел сторожевые посты на перевалах Карпат и огромные битвы по берегам Сана, я слушал, как вылетают из ночной темноты гранаты, я смотрел на наши войска в тылу и на месте работы. Я бы хотел, чтобы Вы последовали за мной в вагоне и на лошадях, пешком и в автомобиле по всем полям войны от глубокого тыла до передовых траншей, и почувствовали, что большие жертвы приносятся для великого возмездия, и Ваше сердце задрожало бы гордостью за наш народ, мужественный, простой, непоколебимый и скромный»[35].

Подобно Толстому в местах действия русских армий Юго-Западного фронта оказывается в начале войны и Иван Ильич Телегин, принимающий участие в Галицийской битве. Соответствующие главы «Хождения по мукам» основаны на собственных воспоминаниях и впечатлениях писателя. Например, фамилия рядового Сусова и упоминание о штабе полка, расположенном в «покинутом замке», перенесены в роман из циклов очерков Толстого «По Волыни» и «По Галиции» (см. примеч. 1 к гл. XVI).

В основу художественных произведений писателя на военную тему конца 1914 – первой половины 1915 г. была положена идея нравственного исцеления, духовного возрождения человека на войне. Характерен в этом отношении рассказ Толстого «Обыкновенный человек», герой которого, прапорщик Демьянов, попадает на войну в надежде придать новый смысл своему сущест-

---

[34] *Переписка.* Т. 1. С. 214.

[35] *Толстой А.Н.* На войне // Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1915. Т. 6.

ванию. Собственное прошлое, занятия живописью представляются ему лишенными главного – силы духа. Принимая первое боевое крещение, преодолевая страх, нерешительность, сомнения, Демьянов выходит из боя преобразившимся человеком, для которого смерть на войне – радость. Писатель ищет «великого смысла» в происходящих событиях. В рассказе он заставляет сформулировать его солдата Дмитрия Аникина, буквально списанного с Платона Каратаева из «Войны и мира»: «…кабы нам Бог войны не дал, ограбил бы нас. Народ стал несерьезный. Чего не надо боится, а больше по пустякам. Скука пошла в народе. Через эту скуку она и война. Теперь каждый человек понятие себе получит. Убийца будет такой же, как и праведник, а праведник пойдет по другой статье, потому что кровь – она цены не имеет»[36].

Невозможно не отметить колоссальной разницы между этими сентенциями и оценками войны героями «Хождения по мукам»:

– Когда же эта война кончится?
– Ладно тебе.
– Кончится, да не мы этого увидим.
– Хоть бы Вену что ли бы взяли.
– А тебе она на что?
– Так, все-таки. Поглядели бы.
– К весне воевать не кончим, – все равно – так все разбегутся. Землю кому пахать, – бабам? Народу накрошили – полную меру. А к чему? Будет. Напились, сами отвалимся…
– Ну енералы скоро воевать не перестанут.
– Ты это откуда знаешь? Тебе кто говорил? В зубы вот тебе дам, сукин сын.
– Енералы воевать не перестанут.
– Верно, ребята. Первое дело – выгодно, – двойное жалованье идет им, кресты, ордена. Мне один человек сказывал: за каждого, говорит, рекрута англичане платят нашим генералам по тридцать восемь целковых с полтиной за душу.
– Ах сволочи! Как скот продают 〈…〉
– Разве не зря – убить человека-то… У него, чай, домишко свой, семейство какое ни на есть, а ты ткнул в него штыком, как в чучело, – сделал дело. И тебе за это медаль. Я в первый-то раз запорол одного, – потом есть не мог – тошнило… А теперь десятого или девятого кончаю… Дожили… Ведь страх-то какой, а? Раньше и в мыслях этого не было… А здесь – ничего – по головке за это гладят (Наст. изд. С. 117–118, 122–123).

Со временем в художественном и публицистическом творчестве Толстого периода войны все больше сказывались одолевавшие писателя сомнения и противоречия. С одной стороны, он демонстрировал уверенность в народной сущности войны, с другой – задавался вопросом о целесообразности происходившего, связанного с невосполнимыми потерями. И хотя писатель целиком принимал лозунг «Все для спасения Отечества», считал победу России

---

[36] *Толстой (2).* Т. 2. С. 282.

в войне необходимым условием сохранения государственной целостности страны, описания разрушенных городов и деревень, положение беженцев и пленных в его произведениях являли собой часть общей картины огромного национального бедствия. Отношение различных слоев русского общества к военным событиям постепенно менялось. В январе 1917 г. Толстой писал: «Помню, в начале войны многое казалось истинным откровением. Появились герои среди обычных обывателей. Впервые, с оглядкой и радостью, произнесено было слово “родина”. На улицах Варшавы бросали цветы в сибирских стрелков. Мы пережили небывалый подъем и отчаяние, почти гибель. Все это минуло, время романтических боев прошло. Не повторятся ни кавалерийские набеги, ни головокружительные обходы галицийских битв, ни падение крепостей, ни отход на сотни верст. Война стала расчетом, фронт – буднями»[37].

Изображая войну в «Хождении по мукам», писатель опирался на собственные наблюдения и впечатления, в той или иной степени отозвавшиеся в его очерках, статьях и рассказах 1914–1917 гг. Уже тогда для Толстого были характерны конкретность и художественная убедительность сюжетов, обращение к быту войны, к ее прозаической стороне, что выгодно отличало произведения писателя в общем потоке военной литературы. В одном из критических обзоров отмечалось, что в сборнике военной прозы Толстого «нет шовинизма и опьянения жутко-сладким вином войны, нет развязности и бахвальства всезнаек, пишущих о войне за десятки верст от нее. Нет националистической развязности и приторности»[38]. О том же, уже после окончания войны, писал в очерке о Толстом М.А. Алданов: «В грозном 1914 году началось тяжелое испытание для всех европейских писателей ⟨...⟩ Русское искусство – в лице наиболее известных своих представителей, как Короленко, Горький, Бунин, – отвернулось от этой темы ⟨...⟩ Один А.Н. Толстой составил счастливое исключение. Огромная трагедия захватила его художественную натуру. В качестве корреспондента одной из лучших русских газет он изъездил фронты, побывал затем в Англии и во Франции, знакомясь с западной войной. В своих превосходных корреспонденциях он не опускался до бульварного тона, который считался всюду почти обязательным в первые годы войны. Лучший патриот в лучшем смысле этого слова, он никогда не играл на грубошовинистических инстинктах толпы»[39].

Один из современных исследователей темы Первой мировой войны в русской литературе 1914–1918 гг., характеризуя циклы военных очерков писателя, делает вывод: «...у А. Толстого взгляд на войну не изнутри, а извне; наблюдения, описания, ощущения А.Толстого – репортера – это война,

---

[37] Из дневника на 1917 год // Русские ведомости. 1917. 15 янв. (№ 12). С. 2.

[38] Критика и библиография // Современный мир. 1915. № 2. С. 194.

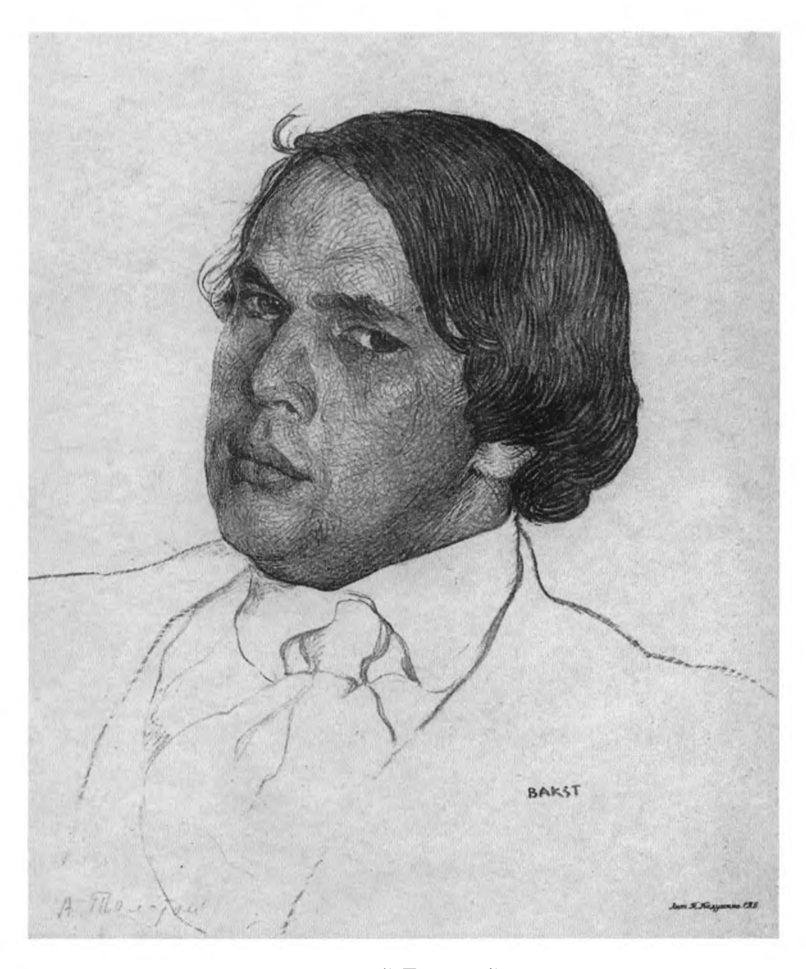
[39] *Русский Берлин.* С. 127. Очерк был предназначен для собрания сочинений Толстого на немецком языке.

Александра Леонтьевна Толстая с сыном Алешей. Конец 1880-х годов

Алексей Аполлонович Бостром, отчим Алексея Толстого

Алексей Толстой, студент Петербургского технологического института, с женой Юлией Васильевной Рожанской. 1903 г.

Софья Исааковна Дымшиц-Толстая. Конец 1900 – начало 1910-х годов



Алексей Толстой.
Литография с портрета работы Л. Бакста.
1908 г.

Наталия Васильевна Крандиевская-Толстая.
1910-е годы

Надежда Васильевна Крандиевская.
Портрет работы Н. Дмитриева.
1910-е годы

Алексей Толстой.
Минск, декабрь 1916 г.

Групповой снимок уполномоченных Земгора. Слева направо, стоят: А. Толстой, И. Жилкин, А. Панкратов; сидят: М. Пришвин, И.Л. Толстой, Скиталец (С. Петров).
Около 1915–1917 гг.

Сергей Аполлонович Скирмунт, на даче которого в Севре начиналась работа над романом «Хождение по мукам»

Первый номер журнала «Современные записки»,
опубликовавшего роман «Хождение по мукам». 1920 г.

увиденная мирным человеком, оказавшимся в непосредственной близости к ней». И далее добавляет, что они «дают возможность говорить о первом этапе художественного осмысления войны, где отчетливо выделяется изобразить и почувствовать войну. А. Толстому удалось, увидев войну, изобразить ее отдельные стороны»[40]. «Хождение по мукам», которое для самого писателя стало уже следующим этапом в осмыслении и изображении войны, в значительной степени вобрало в себя то «увиденное» и «почувствованное», что создает в произведении ощущение верности художественной правды правде исторической. В то же время звучание военной темы в романе во многом контрастно ее изображению в произведениях Толстого 1914–1917 гг. В конечном итоге в сознании писателя произошла дегероизация самого события войны, «парадокса с гуманнейшей культурой, которая за четыре года удачно слопала половину самой себя» (X, 22), военных действий и связанных с ними настроений в обществе. Ведь результатом войны, овеянной иллюзорным «трагическим духом, духом понимания, спокойствия и роковых, мировых задач» стало не сплочение и возрождение нации, а «военный и голодный бунт» – так со временем увидел Толстой Февральскую революцию.

IV. ПИСАТЕЛЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

> – Поздно! – закричал Струков, ударяя ладонью по стеклянной доске столика. – Поздно!.. Мы сами свои собственные кишки сожрали... Войне конец, баста!.. Всему конец!.. Все к чертям!..
>
> Румяный барин опустил листок и веселыми глазами обвел зал. На всех лицах выражалось неистовое любопытство: такого захватывающего дух спектакля не помнили москвичи:
>
> – Мы стоим, господа, на грани готового совершиться величайшего события нашей истории, – продолжал он бархатным, рокочущим голосом, – быть может, в эту минуту там, – он вытянул руку, как на статуе Дантона, – там уже свершилось чаяние стольких поколений, и скорбные тени декабристов отомщены.
>
> *А. Толстой. «Хождение по мукам»*

Толстой принадлежал к числу тех, кто в первые дни весны 1917 г. приветствовал революционный Февраль. Падение монархии казалось ему осуществлением высших принципов добра и справедливости, на которых он

---

[40] *Иванов А.И.* Первая мировая война в русской литературе 1914–1918 гг. Тамбов, 2005. С. 182–183.

был воспитан в семье[41]. Писатель принимал участие в демонстрациях 1 и 12 марта 1917 г. в Москве; 12, 13 и 14 августа присутствовал на Государственном совещании в Большом театре[42]; исполнял обязанности комиссара по регистрации печати при московском правительстве; вместе с И.А. Буниным, В.Я. Брюсовым, К.Д. Бальмонтом, А. Белым, Б.К. Зайцевым, В.Ф. Ходасевичем и другими активно работал в Клубе московских писателей, где обсуждались вопросы, связанные с будущим России и ее художественной культурой, местом интеллигенции в революции.

Революционные настроения Толстого отозвались в целом ряде его выступлений, статей и художественных произведений весны и лета 1917 г. Он говорил и писал о наступлении нового века «последнего освобождения, совершенной свободы» (X, 16), о мудром и сильном русском народе, который показал «наконец свое лицо», «в первый раз вышел из подвалов» и принес «не злобу, не ненависть, не месть, а жадное свое, умное сердце, горящее такой любовью, что, кажется, мало всей земли, чтобы ее утолить» (X, 18). Еще и в начале осени, накануне Октября, Толстой верил, что именно русский народ сумеет взять из мирового опыта все самое лучшее и уже на этой основе выработать «какой-то в высшей степени оригинальный политический и общественный строй»[43]. В созданном тогда «Рассказе проезжего человека» главный герой, приехавший с фронта штабс-капитан, подобно автору произведения воспринимает то, что многим казалось анархией и разгулом стихии, как неизбежность, обусловленную глубокими внутренними закономерностями исторического развития. Он верит, что в муках рождается новая Россия, что «через муки, унижения и грех ⟨...⟩ каким-то несуразным, неуютным образом, именно у нас, облечется в плоть правда, простая, ясная, божеская справедливость» (III, 15). Толстой признавал демократический характер русской революции и необходимость создания республики: «...мы осуществим новые формы жизни. Мы не будем провозглашать равенства, свободы и любви, мы их достигнем ⟨...⟩ ясно, что ни царская ливрея, ни сюртук буржуа уже не на наши плечи» (X, 16). Он был обеспокоен возможностью «неуместной жестокости», кровавого варианта развития событий, но и призывал строить новое

---

[41] В одной из автобиографий Толстой писал об отчиме: «Алексей Аполлонович, либерал и “наследник шестидесятников” (это понятие “шестидесятники” у нас в доме всегда произносилось, как священное, как самое высшее), не мог ужиться со степными помещиками» (I, 39). См. также: «Я рос с матерью и отчимом в разоряющейся усадьбе в степях Самарской губернии. Вотчим считался красным в уезде, в 90-х годах он сделался помещиком-марксистом и, конечно, вылетел в трубу» (X, 140).

[42] На Государственном совещании, созванном по инициативе Временного правительства для консолидации политических сил страны, Толстой присутствовал в качестве корреспондента газеты «Русское слово». См. его итоговый очерк «Московское совещание» (Русское слово. 1917. 20 авг. (№ 190). С. 5).

[43] *Переписка.* Т. 1. С. 270.

государство «под пушечные выстрелы», продолжать военные действия против Германской империи, которая, по мнению писателя, представляла собой главную угрозу русской революции: «...если мы не сможем остановить эту, теперь для нас варварскую, силу, мы погибли совсем, навсегда. Мы перестанем быть русскими, людьми, превратимся в удобрение. Мы потеряем не одни только западные губернии, в нас, в русских, будет погашен свет нового века» (III, 17).

Не трудно, однако, заметить, что эта гражданская позиция Толстого весны и лета 1917 г. – эти его восторженность и пиетет перед революцией, некая театральность веры в неисчерпаемый потенциал русского народа, в его мистическую сущность (веры еще не выстраданной, а потому до конца не понятой), призывы к продолжению давно скомпрометировавшей себя войны, – сродни той, что занимает в романе «Хождение по мукам» один из его героев, Николай Иванович Смоковников, дико и бессмысленно убитый солдатами на почти уже не существующем фронте. Его гибель, возможно, и должна была символизировать конец тех отчасти наивных, отчасти безответственных представлений о глубочайших российских потрясениях, которыми грешил когда-то и сам писатель.

Но было в восприятии Толстого революционных событий и глубоко личное, сокровенное, о чем он не так много писал, но, тем не менее, нашел нужным поделиться с некоторыми из современников. Во многом верно ощущавший природу национального самосознания, в характере русской революции писатель сумел разглядеть черты сугубо индивидуальные и вместе с тем органичные. Много позже Ф.А. Степун, встречавшийся с Толстым в Москве в дни работы Государственного совещания, рассказывал: «Алексей Николаевич поразил меня своим глубоким проникновением в стихию революции, которой его социальное сознание, конечно, страшилось, но к которой он утробно влекся как к родной ему стихии озорства и буйства 〈...〉 Толстой первый по-настоящему открыл мне глаза на ту пугачевскую, разинскую стихию революции, в недооценке которой заключалась слабость нашей либерал-демократии»[44].

Оценка событий Февраля была существенно скорректирована Толстым уже к концу первого года революции, в том числе и под влиянием Октябрьских дней, отношение к которым писателя с самого начала было крайне противоречивым. В статье «На костре» он писал: «...первого марта 1917 года у нас произошла не революция, а военный и голодный бунт, как реакция на трехлетнюю войну 〈...〉 потому что нация во всей своей массе осталась нема и бесстрастна, не подняла сонных век, не выразила иной воли, кроме желания

---

[44] *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. С. 228.

скорого мира и сытого покоя»[45]. И только в Октябрьские дни, по мнению Толстого, «время игры в революцию кончилось», «костер задымился». Горьким упреком прозвучали слова героя очерка «Ночная смена» той части интеллигенции, которая не хотела видеть в произошедшем ничего, кроме бунта невежественной черни, запятнавшего светлые идеалы русской революции: «Не мило нам было ни отечество, ни обычай родной, ни прошлое. Даже слово – родина – признавалось всеми подгнившим, с душком, отдавало не то охранным отделением, не то опричниной. Настоящий русский, сознающий себя человек должен быть мировым гражданином, отечество его земля, а Россия лишь случайное место рождения, говорили мы. И все русское казалось нам чумазым, варварским, хамским, родина наша – рабой, слишком горды и свободолюбивы мы были, чтобы любить рабу. Нет, не она наша возлюбленная, а какая-то будущая родина, та, которую мы выдумаем, дайте срок ⟨...⟩ И вот теперь пришел страшный час встречи. Не из-за облаков пришла наша возлюбленная, родина. Не в венце свобод. Не в чистых одеждах. А поднялась вот здесь от земли, рядом с нами. Отскочили. В ужасе отпрянули мы. Что это? Кто эта страшная и дикая, с одеждой в земле, с руками в крови и ранах, с искаженным мукой, безумным лицом! Я не знаю тебя! Я не звал тебя! Кто ты? – Я твоя родина!»[46].

Позже, осенью 1918 г., уже будучи в Одессе, почти накануне эмиграции, в статье «Левиафан» Толстой подробно напишет о причинах, которые легли в основу его изменившегося отношение к Февралю: «Помню лето 1917 года в Москве. Знойные покрытые мусором улицы. Неряшливые любопытствующие, – “Где, что говорят?”, “Где, что продают?”, – толпы людей. Митинги – сборища лентяев, зевак, обывателей, тоскующих по неизвестному будущему, и над задранными головами – “оратель” с надутыми жилами. И у магазинов длинные очереди ленивых солдат за табаком и мануфактурой. Помню чувство медленного отвращения, понемногу проникавшее в меня. Ведь это – заря свободы. Это народ, призванный к власти. Помню чувство бессильного отчаяния, когда приходили дурные вести с фронта. Помню, как в дыму запылавших усадеб и деревень почудился страшный призрак: раскосое, ухмы-

---

[45] Наст. изд. С. 258.

[46] Наст. изд. С. 265. Эту точку зрения на ситуацию, видимо, разделяла и жена писателя, поэтесса Н.В. Крандиевская. См. в одном из ее стихотворений осени 1917 г.:

> Проходят мимо неприявшие, // Не узнают лица в крови.
> Россия, где ж они, кричавшие // О милосердии любви?
> Теперь ты в муках, ты родильница. // Но кто с тобой в твоей тоске?
> Одни хоронят, и кадильница // Дымит в кощунственной руке.
> Другие вспугнуты, как вороны, // И стоны слыша на лету,
> Спешат на все четыре стороны // Твою окаркать наготу.
>
> (*Крандиевская Н.В.* Лирика. М., 1989. С. 3)

ляющееся лицо Змея Тугарина, вдохновителя черного предела. Было ясно, – не хотелось только верить, – в России не революция, а – ленивый бунт. Ничто не изменилось в своих сущностях, качественно осталось тем же, сломался только, рассыпался государственный аппарат, но все тысячи колес валялись такие же – ржавые, непригодные»[47].

Удрученный развитием событий после Февраля, в конце 1917 г. писатель был готов принять «все во имя грядущего, во имя преображения, во имя светлой, великой, чистой России», оценивая Октябрь, как «ураган крови и ужаса, пролетевший по стране», который «потревожил, наконец, нашу дремоту», связывая свои надежды с созывом Учредительного собрания, которое «должно установить добро и милосердие для всех». Но и эта его иллюзия скоро была развеяна. Часто встречавшийся с Толстым зимой и весной 1918 г. И.Г. Эренбург вспоминал о писателе: «...он был растерян, огорчен, иногда подавлен, не мог понять, что происходит; сидел в писательском кафе “Бом”, ходил на дежурства домового комитета; всех ругал и всех жалел, а главное недоумевал ⟨...⟩ Он видел трусость обывателей, мелочность обид, а сам не знал, что ему делать»[48].

Отношение Толстого к революционным событиям в России, их оценка по горячим следам запечатлены в художественном творчестве писателя – рассказах, повестях, пьесах, созданных в первые годы после революции, в преддверии романа «Хождение по мукам». В их числе повесть «Милосердия!» (1918), пьесы «Горький цвет» (1917) и «Смерть Дантона» (1918), рассказы «Катя» (1918; «Простая душа»), «В бреду» (1918) и др.

Повесть «Милосердия!» сам Толстой много позже назвал «опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете Октябрьского зарева» (I, 45). Но содержание произведения, речь в котором идет о жизни одной из московских семей в первые месяцы после Октябрьского переворота, о разрушении привычного уклада и крахе родственных отношений, конечно, гораздо шире этого императивного определения. Небольшая по объему, повесть вобрала в себя и наиболее характерные черты московского быта зимы 1917–1918 гг., и предчувствия новых небывалых испытаний. Ее герой, московский присяжный поверенный Василий Петрович Шевырев, с неожиданным для себя самого безразличием созерцает разрушение собственной жизни, «угасание» привычного и, как представлялось, незыблемого мира: «Оказалось, что “я” Василия Петровича, некоторая первоначальная сущность, ему одному принадлежащее начало, живущее в его упитанном теле, одетом с утра в синий пиджак, в золотые очки, привыкшем, например, во время разговора теребить и покусывать русую бородку, словом – не признаваемая Дарвином,

---

[47] Наст. изд. С. 276.

[48] *Воспоминания.* С. 88.

либеральными газетами и большинством адвокатов душа, та, что жила в теле Василия Петровича, оказалась смятенной, сморщенной и малой до жалости. Не душа, а эмбрион. Оставленный сам с собою, Василий Петрович растерялся. Действительно было из-за чего подкоситься ногам: культурный, умный, значительный человек превращался в пар, как снежная баба. Знания, воспитанность, вкусы, идеи, нравственные задачи – все это оказалось наносным, а главное, враждебным сегодняшнему дню, даже преступным, так же, как год назад казалось преступным и враждебным отсутствие этих качеств»[49]. В состоянии душевной пустоты, с сердцем, «застывающим от тоски», пытаясь найти новые координаты своему существованию, Василий Петрович совершает поступки, которые приводят его к конфликту с сыном. И только неожиданная возможность быть сыном убитым выводит героя из состояния нравственного оцепенения. Он наконец видит вещи в их реальном измерении: «Мальчик хотел меня убить, вот история, – проговорил он, сдерживая с трудом подкатывающий к горлу соленый клубок. – Совсем плохо, значит, совсем дело плохо»[50].

Уже здесь, в этой повести, обозначено внимание писателя к «обыкновенному человеку»[51], его переживаниям в эпоху войн и революций, что получит свое дальнейшее развитие в романе «Хождение по мукам». Главными героями произведения станут уроженки Самары – ищущие своего женского счастья сестры Даша и Катя Булавины, обаятельный, а подчас и простоватый, петербургский инженер Иван Телегин, офицер Алексей Рощин, с драматическим надрывом переживающий развал давно уже обреченной русской армии и страны, – вовлеченные в стихию социального катаклизма. Необычайно чуткий в своем восприятии общественной жизни, Толстой одним из первых сумел зафиксировать уже заявившую о себе характерную черту времени: оформлявшееся жесткое идеологическое противостояние в стране приводило к делению нации на противоборствующие лагеря, и линия раздела проходила порой между близкими, кровно родными людьми. В этом плане конфликт главного героя повести с сыном, чуть не завершившийся кровавой развязкой, обретал статус недвусмысленного предупреждения о неминуемом трагизме братоубийственной гражданской войны с ее принципиальной невозможностью победы какой-либо из сторон[52]. Особенно ярко это демонстриро-

---

[49] Слово: Сб. восьмой. М., [1918]. С. 60.

[50] Там же. С. 85.

[51] «Обыкновенность» своих героев Толстой подчеркивал и раньше, назвав один из рассказов периода Первой мировой войны «Обыкновенный человек».

[52] Свое логическое развитие эта тема получила в романе писателя «Хмурое утро», созданном в конце 1930-х годов. Описывая один из боев под Царицыном, Толстой справедливо замечал: «И тем страшнее, упорнее был бой, что с обеих сторон дрались русские люди… Одни – за неведомую новую жизнь, другие – за то, чтоб старое стояло нерушимо» (VI, 59).

вал финал произведения в его ранней, 1918 года, редакции: «Из мрака в такой же мрак безмерный пролетал дьявол, и увидел сверкающую землю. Обвился вокруг нее и заполнил все до мышиной норы своим дыханием, зловещим и безумным. И люди поверили в злые наветы и, как ослепшие, восстали друг на друга. В огне и крови стало гибнуть все, что растет и дышит. Искали милосердия, но помощь не приходила, потому что само небо было отравлено и смрадно. И я, жаждущий жизни, молю милосердия. Спаси и помилуй. Верю – придет милосердие. Да будет»[53].

Тема милосердия прозвучала в предисловии к изданию романа 1922 г.: «Великое страдание родит великое добро. Перешедшие через муки узнают, что бытие живо не злом, но добром: волей к жизни, свободой и милосердием». Но в 1922 г. милосердие, в приход которого Толстой так верил четыре года назад, уже предметно-конкретно и воплощено для писателя в сакрализованной «милосердной любви» русской женщины, «неслышными стопами прошедшей по всем мукам, заслонив ладонью от ледяных, от смрадных ветров живой огонь светильника Невесты».

В тот же период сознательные поиски аналогий современным событиям в русской истории привели Толстого к новому для него жанру – исторической прозе[54]. Временем, в котором писатель искал «разгадки русского народа и русской государственности» (I, 44), стала эпоха Петра Великого. Ей посвящены созданные на протяжении 1917–1918 гг. повесть «День Петра», рассказы «Навождение»[55] и «Первые террористы». И если два последних – всего лишь этюды, отражающие знакомство с темой, то «День Петра» – важная веха в художественном творчестве Толстого. Спустя много лет писатель признавался, что произведение было написано «под влиянием Мережковского» (X, 201), автора известного романа «Петр и Алексей». Потому и выне-

---

[53] Слово: Сб. восьмой. М., [1918]. С. 87. Впоследствии, в результате авторской правки, финал повести приобрел иное звучание: «Василий Петрович во всю грудь захватил воздуху, закашлялся и, уже не сдерживаясь, стал глухо лаять… Слезы полились из-под золотых очков… О ком? О сыне Колечке… о сумасшедшей бабе… о замученной Оленьке… о нелюбимой жене, только и умеющей хлопать ресницами в ответ на все непомерные события… И о себе, раздавленном и погибшем, плакал Василий Петрович, спотыкаясь и бредя по трамвайным рельсам в непроглядную тьму бульвара» (III, 78–79).

[54] В статье «То, что нам надо знать» свое обращение к историческому прошлому Толстой объяснял следующим образом: «Последние годы научили истине: я не знаю даже того, что должно случиться через минуту, через мгновение. Перед моими глазами – темная, неощутимая, как воздух, и непроглядная, как ночь, завеса. Я слышу в этой темноте грузный шаг истории, ураган ревет во всех снастях, но к какому берегу бежит корабль, что там, куда до боли я всматриваюсь, – не знаю. Тогда невольно я обращаюсь назад, гляжу в прозрачную тишину прошедшего» (Наст. изд. С. 274).

[55] Именно такое написание своего произведения, через «о», характерное для конца XVII – начала XVIII в., использовал Толстой. Само слово тогда имело двоякое значение – «соблазн, искушение», а также «клевета, наушничество».

сены на первый план повествования проблемы исторического одиночества Петра, несоответствия его преобразований духу русского народа: «О добре ли думал хозяин, когда с перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал из Голландии в Москву ⟨...⟩ Разве милой была ему родиной Россия? С любовью и скорбью пришел он? Налетел досадный, как ястреб: ишь угодье какое досталось в удел, не то, что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгальтера. Сейчас же в этот день все перевернуть, перекроить, обстричь бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, думать начать по иному. Чтобы духу не было противного русского. И при малом сопротивлении – лишь заикнулись только, что, мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хазарское иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими восстановляли родную землю, не можем голландцами быть, смилуйся. – Куда тут. Разъярилась царская душа на такую самобытность и полетели стрелецкие головы»[56]. Но уже в рамках этого популярного для начала XX в. взгляда на Петровскую эпоху зреют сомнения автора в его справедливости и категоричности. В финале произведения Петр предстает человеком, на чьи плечи «свинцовой тягой» легло «бремя этого дня и всех дней прошедших и грядущих», взявшим на себя «непосильную ⟨...⟩ тяжесть: одного за всех»[57]. Впоследствии, по мере работы над текстом повести в ее различных вариантах, позиция писателя становилась все более противоречивой, но вместе с тем и более многомерной. Все ближе оказывался Толстой к признанию исторических заслуг Петра перед русским государством. В своем романе «Петр Первый», работа над которым началась в конце 1920-х годов, он сделал попытку уравновесить два противоположных взгляда на личность и дело Петра Великого, сформированных на протяжении двух веков в недрах русской общественной мысли, что в конечном итоге соответствовало наиболее трезвым концепциям осмысления Петровской эпохи, созданным русской исторической наукой XIX в.[58]

---

[56] Скрижаль: Сб. первый. [Пг.], 1918. С. 193.

[57] Там же. С. 214.

[58] Историк С.Ф. Платонов в предисловии к своей книге «Петр Великий: Личность и деятельность» (Л., 1926), анализируя рассказы Толстого «День Петра» (раннюю редакцию) и Б.А. Пильняка «Его Величество Kneeb Piter Komondor», писал: «И там и здесь “его величество” является грязным и больным пьяницей, лишенным здравого смысла и чуждым всяких приличий» (С.3). И далее: «Таков царь Петр у А. Толстого. Грязный, пьяный и грубый, он дерется кулаком в зубы, предается зверской жестокости в застенке у пыток и скотской похоти в ассамблее» (С.5). При этом Платонов указывал: «Удивительно, однако, что в наши годы, когда историческая наука достигла уже некоторых точных и бесспорных выводов в изучении так называемой “эпохи Петровских преобразований”, в русской беллетристике, с полною свободою от науки, прежний “образ великого преобразователя” обратился в грубую пасквильную карикатуру, и таким образом длительная добросовестная работа многих ученых исследователей оказалась оставленной в полном пренебрежении» (С. 3).

Несомненно, Петр заинтересовал Толстого, прежде всего, как строитель русского государства нового времени, зачинатель той цивилизации, крушение которой наблюдал и переживал писатель. Ввиду произошедших событий сама тема национального государственного образования как основы жизни народа не могла не найти отражения в его творчестве. Именно в момент совершившегося в русской жизни глубокого разлома Толстой начинает ощущать себя человеком государственным. В один из дней зимы 1917–1918 гг. он запишет в дневнике: «Распадение тела государства физически болезненно для каждого: кажется, будто внутри тебя дробится что-то бывшее единым, осью, скелетом духа, дробится на куски; ощущение предсмертной тоски; воображение нагромождает ужасы. Мое духовное и физическое тело связано с телом государства; потрясения, испытываемые государством, испытываются мною»[59].

Вот почему переосмысление писателем событий на родине, уже в конце 1919 – начале 1920 г., в эмиграции, происходит по мере того, как «кривая государственной мощи от нуля идет сильно вверх», как «совершается грандиозное – Россия снова становится грозной и сильной»[60]. Вот почему «государственная» тема находит свое непосредственное воплощение в романе Толстого о войне и революции. Соотнесенностью с ней отмечены монологи не только Телегина и Рощина, непосредственных участников финального спора о судьбе России, но и таких разных персонажей, как, например, половой в гостинице, где проводят ночь Елизавета Киевна и Бессонов («Заладила про свою деревню. Тоже Рассея! Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам – вот тебе и Рассея. Все сволочи! Сволочи и охальники»); глава либеральной газеты «Слово народа» («Сложность нашей задачи в том, что, не отступая ни шагу от оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности Российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, – есть в эту минуту вопрос второстепенный»); не лишенный автобиографических черт Николай Иванович Смоковников («Что же поделаешь, моя милая, приходится на собственной шкуре начать понимать, что такое государство. Мы только читали у разных Иловайских, как какие-то там мужики воевали землю на разных Куликовых и Бородинских полях. Мы думали – государство – очень милая и приятная вещь. Ах, какая Россия большая – взглянешь на карту. А вот теперь потрудитесь дать определенный процент жизней для сохранения целостности того самого, что на карте выкрашено зеленым через всю Европу и Азию»); солдат Зубцов с его уверенностью в ответственности государственной власти за

---

[59] *Материалы и исследования.* С. 354–355.
[60] *Переписка.* Т. 1. С. 286.

совершенный им на войне грех убийства («...грех-то мой на себя кто-нибудь взял, – генерал какой, или в Петербурге какой-нибудь человек, который всеми этими делами распоряжается...»). Такая откровенная вариативность и полифония в развитии государственной темы в романе, где речь идет о возможной гибели страны, в том числе и как государственного национального образования, придают ей объемность, стереоскопичность и многоплановость, но, вместе с тем, предвосхищают ее логическое завершение в финальном монологе Телегина, за которым здесь легко угадывается сам автор произведения.

В годы войны и революции осмысление современных событий с позиций длительной исторической ретроспекции способствовало формированию у Толстого почти не покидавшего его закономерного оптимизма (лишь однажды, 3 ноября 1917 г., в день окончания октябрьских боев в Москве, он запишет в дневнике: «Чувство тоски смертельной, гибели России, в развалинах Москвы, сдавлено горло, ломит виски»[61]). Писатель всегда был достаточно далек от мысли об апокалиптическом конце, погибели России, хотя о широком распространении подобных настроений в русском обществе писал еще в январе 1917 г.: «Я приехал на фронт из Москвы, из тыла, истерзанный разговорами о том, что Россия вообще кончается, что нельзя продохнуть от грабежей и спекуляции, общество измызгано, все продано и предано...»[62]. Толстому хотелось верить, что страна, пройдя через горнило революции, освободившись от накопленных за многовековую историю грехов, выйдет победительницей из всех испытаний. В статье «То, что нам надо знать» осенью 1918 г. он писал: «Мне говорят, – Россия погибла, распалась. Неудачная война и большевизм потрясли ее до основания; чужеземные войска клочком бумаги разрубили ее как наковальню картонным мечом. Я этому не верю и не могу верить, потому что ни теориями, ни формулами, ни облеченным в красногвардейскую форму силлогизмам не уничтожить живой, реальной формы. Ни война, ни революция не убили народ и в нем не уничтожили сущности, делающей его единым народом»[63]. Наследником этой сокровенной веры Толстого в возможное историческое будущее страны является в романе «Хождение по мукам» Иван Ильич Телегин. Именно он, полемизируя с приехавшим с фронта Вадимом Рощиным, ставит последнюю точку в их нелегком споре о возможной гибели России: «Великая Россия пропала!.. Уезд от нас останется, – и оттуда пойдет русская земля». Примечательно, что этому выводу Телегина предшествует чтение им «огромной книги» по истории России. Веру Телегина, так же как и веру автора произведения, формирует и питает русская история, реальный исторический путь страны, не раз стоявшей на краю пропасти, неоднократно переживавшей «смутные» времена.

---

[61] *Материалы и исследования.* С. 354.

[62] Из дневника на 1917 год // Русские ведомости. 1917. 15 янв. (№ 12). С. 2.

[63] Наст. изд. С. 274–275.

Исторический оптимизм Толстого был обусловлен и осмыслением бытия как непрерывного, объективного и разумного процесса, тонким чувствованием самой «силы жизни». Так, в начале тревожного 1918 г. писатель отметил в дневнике: «Странная жизнь: восстания, убийства, борьба за власть, декреты, голод, война, а жизнь простая, ежедневная идет, как шла, – ходят в театры, интересуются искусством, читают лекции, собираются, устраивают выпивки, танцы, ездят ряжеными – наперекор всему, и в этом несокрушимая сила жизни, которая все поглотит и сделает все так, как надлежит быть»[64].

События, непосредственно предшествовавшие созданию романа, являют собой одну из наиболее драматичных страниц в биографии Толстого. Летом 1918 г. положение в Москве, где жил писатель, крайне обострилось. Все большие обороты набирал красный террор[65], к июлю были закрыты практически все газеты, в которых сотрудничал Толстой. С весны давали о себе знать трудности с продовольствием, осенью обернувшиеся голодом. В этих условиях писатель с семьей (женой Н.В. Крандиевской, сыном Никитой и пасынком Федором Волькенштейном), приняв предложение одного из антрепренеров, в конце июля 1918 г. выехал из Москвы в литературное турне по Украине, которая к тому времени, в соответствии с Брест-Литовскими договоренностями, была оккупирована австро-германскими войсками. Последние виденные им картины города запечатлены в незавершенном, но опубликованном рассказе «Между небом и землей»[66], где все говорит о личном неприятии происходящего.

Во время турне с чтением своих новых произведений писатель выступал в Харькове, Екатеринославе, Елизаветграде и ряде других городов юга России, которые очень скоро стали ареной жесточайшего противостояния в ходе гражданской войны. На постоянное место жительства Толстые обосновались в Одессе, где находилось большое количество беженцев со всей России, и среди них писатели, художники, актеры. В городе издавались газеты, журналы, альманахи, устраивались литературные вечера, работали театры. Одесский период жизни и творчества Алексея Толстого, как наиболее близкий по времени к созданию романа, заслуживает пристального внимания. В Одессе писатель пробыл недолго (со второй половины августа 1918 до начала апреля 1919 г.), но именно здесь он много и плодотворно работал, подводя первые

---

[64] *Материалы и исследования.* С. 356.

[65] Официально красный террор был объявлен 2 сентября 1918 г. в обращении ВЦИК и подтвержден постановлением Совнаркома от 5 сентября 1918 г. как ответ на покушение на Ленина и убийство председателя Петроградской ЧК М.С. Урицкого. Однако фактически начался гораздо раньше. Так, в Москве и Петрограде террор был объявлен после убийства 21 июня 1918 г. В. Володарского, комиссара по делам печати, пропаганды и агитации.

[66] См. раздел Дополнения в наст. изд.

итоги своим московским впечатлениям и размышлениям о революции и в то же время закладывая фундамент будущего, уже эмигрантского творчества. В одесских и харьковских газетах появился целый ряд публицистических статей писателя, рассказы «Катя», «В бреду», «Между небом и землей» и др. В Одессе Толстой работал над повестью «Граф Калиостро», пьесой «Любовь – книга золотая».

С конца 1918 г. в художественном творчестве Толстого, вслед за его же публицистикой, все более настойчиво начинает звучать тема греха, добра и зла, Божьей кары, в чем, видимо, сказалось влияние части его московского окружения, а именно русских религиозных философов, с которыми он сотрудничал в одних и тех же периодических изданиях[67]. Статьи писателя пореволюционного периода полны отсылок к текстам Священного писания, его осмысление современной действительности одним из своих ракурсов, определившим многое в идейно-художественной проблематике будущего романа, связано с христианской традицией[68]. Выбором между добром и злом, грехом и Богом терзается главный герой написанного в Одессе рассказа «В бреду», бывший офицер Василий, которого под угрозой расстрела отправляют на фронт, в Красную армию. Исследователями творчества писателя произведение совершенно справедливо рассматривалось в качестве эскиза, использованного для сцены перехода Рощина к белым в романе «Восемнадцатый год». Нас же оно будет интересовать своей связью с творческой историей романа «Хождение по мукам».

Василий, рассматривая в бинокль неприятельские позиции, порой узнает «добрых знакомых, друзей». Сломленный осознанием собственного невольного предательства, чувством вины («С честной прямотой спрашиваю: “Зачем сижу здесь в орешнике, трясусь, как псина? А затем, что трус – безвольный, дряблый, порочный человек”»), чувством внутренней раздвоенности («Во мне точно все разорвано, растерзано»), пребывая в состоянии лихорадочного бреда, он понимает, что жил, не зная «что такое грех, а что добро», «как зверь». Его визави, красноармеец Кузьма Дехтерев, когда-то убивший священника, пытается доказать герою, что всем на свете правит грех, а не Бог, и этим, по признанию самого Василия, «наталкивает ⟨...⟩ на зверство», ждет сострадания как невинный. Герой, как бы помимо своей воли, погружается в пучину чужого греха, но все же пытается удержаться на поверхности. Помо-

---

[67] См. об этом: *Толстая Е.Д.* Толстой и либеральная московская журналистика // *Деготь или мед*. С. 57–105.

[68] Вот, например, как описывал Толстой в дневнике свой путь от берегов России в эмиграцию: «Вечерня на палубе. Дождичек. Потом звездная ночь. На рее висит только что зарезанный бык. Архиепископ Анастасий в роскошных лиловых ризах, в панагии, служит и все время пальцами ощупывает горло, точно там его давит. Говорил слово... Мы без родины молимся в храме под звездным куполом. Мы возвращаемся к истоку св. Софии. Мы грешные и бездомные дети... нам послано испытание... Плакали, закрывались шляпами, с трудом, с болью...» (*Материалы и исследования.* С. 405).

гает ему в этом воспоминание, «чистое, белое, щемящее», о когда-то случившейся в его жизни, но непонятой и неоцененной любви девушки Дунички, которое, собственно, и спасает героя: «Я оправляю шинель, шапку, снимаю варежку и гляжу на грязную руку с изгрызенными ногтями. А я когда-то этой рукой гладил Дуничкину голову... Целовал ее волосы. Глядел в ее глаза. Невозможно! Почему не удержал ее? О, Господи! Любовь вошла в меня, воскресила сердце, и оно стало бессмертным, проникла в кровь и чувства стали добрыми. А я, как глухонемой, только мычал, не понимая, почему мне неуютно. Не для того же я родился на свете, чтобы мокнуть рядом с Дехтеревым под осенним дождиком. Дуничка оторвала меня от своего сердца, и я – в яме. Но зато теперь я знаю, что такое – зло!»[69]. Конечно, это еще не полное спасение, Василий на полпути к нему, у него появилась надежда.

Почти в такой же ситуации оказывается в романе «Хождение по мукам» Алексей Бессонов, однако его Толстой надежды лишает. Вспомним беспощадные выводы поэта из собственных размышлений после ухода Даши Булавиной: «Бессонов медленно подошел к столу и застучал ногтями по хрустальной коробочке, беря папиросу. Потом сжал ладонью глаза и со всей ужасающей силой воображения почувствовал, что Белый Орден, готовящийся к решительной борьбе, послал к нему эту пылкую, нежную, соблазнительную девушку, чтобы привлечь его, обратить и спасти. Но он уже безнадежно в руках черных, и теперь спасения нет. Медленно, как яд, текущий в крови, разжигали его неутоленная жадность и сожаление» (Наст. изд. С. 56).

Проявленная и в рассказе, и в романе идея спасительной земной любви, «которая и была для Толстого основным путем к высшему духовному опыту, главным способом индивидуализации»[70] не нова для писателя. Она, будучи в той или иной степени заимствованной у Достоевского, уже и ранее звучала в его произведениях, таких, как роман «Хромой барин», повесть «Большие неприятности» и других. Но если там речь шла о вещах скорее умозрительных, то теперь на чаше весов оказались жизнь и смерть, понятия долга, чести, верности, патриотизма, да и само физическое существование человека. Из всех центральных героев «Хождения по мукам» гибнут только двое: поэт Алексей Алексеевич Бессонов, оказавшийся в состоянии полного духовного и физического одиночества, и оставленный Катиным чувством Николай Иванович Смоковников. Спасается из плена ведомый Дашиной любовью Иван Телегин. Жадов, сумевший внушить любовно-жалостное отношение к себе Елизавете Киевне, выходит живым из кровавой мясорубки мировой войны. Да и Кате из пропасти предсмертной агонии помогает выбраться любовь и преданность сестры.

Финал рассказа «В бреду», в соизмерении с заявленной в нем темой, достаточно прост и даже схематичен, что отчасти объясняется тогдашней

[69] Наст. изд. С. 285.

[70] *Деготь или мед*. С. 358.

политической позицией писателя[71], – Василий переходит на сторону белых, но само произведение, в котором сделана попытка проанализировать поступки героев сквозь призму таких нравственных категорий, как добро, зло, грех, Бог, является важной вехой на пути становления замысла будущего романа.

Прозвучала тема греховности и в повести Толстого «Граф Калиостро»[72], работа над которой началась в Одессе и завершилась в пору создания романа «Хождение по мукам». Насыщенное фантастическими мотивами, привнесенными в текст образом одного из главных героев, мага и чародея Калиостро, произведение не привлекало внимания исследователей и критиков своей связью с содержанием и смыслом тех событий, которые происходили на родине автора. Тем не менее в повести есть довольно любопытные с этой точки зрения рассуждения Калиостро о «материализации чувственных идей». Он предупреждает главного героя, Алексея Алексеевича Федяшева, возжелавшего чудесного оживления портрета давно умершей княгини Тулуповой, что «это одна из труднейших задач ⟨...⟩ науки», так как во время материализации «часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность к жизни»[73].

Действительно, мало напоминает прекрасную мечту Алексея Алексеевича воскрешенная Калиостро Прасковья Павловна Тулупова; возвышенный идеал Федяшева принял вид суррогата. И этот главный итог фантастической повести с легкостью проецировался на происходившее в тот момент с Россией, живую душу которой также пытались подменить суррогатом различного рода материализованных политических идей, по Калиостро совершенно непригодным к жизни. О «материализации идей», главной задаче наступающего века, читает Смоковников Кате в статье Акундина о Михаиле Бакунине: «Даже не в образе мыслей и не в преданности до конца своему делу обаяние этого человека ⟨...⟩ а в том пафосе претворенных в реальную жизнь

---

[71] Заданность финала произведения может быть связана с таким фактом биографии Толстого, как сотрудничество в ОСВАГе (Осведомительно-агитационном отделении при Добровольческой армии). Об этом написал, в частности, в своей монографии Г.П. Струве: «К лету 1920 года у него ⟨Толстого⟩ уже было готово начало первой части задуманного им большого романа из русской жизни накануне и во время революции, под характерным названием "Хождение по мукам": отношение Толстого к большевицкой революции было в то время самое отрицательное, на юге России он был связан с добровольческой армией, работал в ее отделе пропаганды и, эмигрировав в Париж, продолжал ее поддерживать, сотрудничая в "Общем деле" и "Последних новостях"» (*Струве*. С. 107). Факт сотрудничества Толстого с ОСВАГом до сих пор не удается ни подтвердить, ни опровергнуть имеющимися в распоряжении исследователей материалами, хотя возможно, что рассказ «В бреду» и написанный в то же время рассказ «Катя» (его первую редакцию также отличает заданность финала), – были предназначены для одного из ОСВАГовских изданий.

[72] Ранние названия «Посрамленный Калиостро» и «Лунная сырость». Произведение закончено в Париже и опубликовано в журнале «Русская мысль» (София) в 1921 г. (№ 5–7).

[73] *Толстой А.Н.* Лунная сырость. Берлин, 1922. С. 20.

идей, которым было проникнуто каждое его движение ⟨…⟩ Материализация идей – вот задача наступающего века. Не извлечение их из-под груды фактов, подчиненных слепой инерции жизни, не увод их в идеальный мир, а процесс обратный: завоевание физического мира миром идей. Реальность – груда горючего, идеи – искры. Эти два мира, разъединенные и враждебные, должны слиться в пламени мирового переворота…» (Наст. изд. С. 57–58).

Но обратимся вновь к толстовской повести о Калиостро, вернее к ее ранней редакции, впоследствии переработанной автором. Одним из существенных моментов правки стало исключение нескольких слов из реплик Машеньки, спутницы Калиостро, которая в конечном итоге и подарила главному герою счастье настоящей любви: «Вы не знаете – [какой грех], какой ужас ваша мечта... ⟨...⟩ В такое утро – [грех, грех] нельзя, нельзя мечтать о том, чего быть не может»[74]. Ее интуитивная догадка о греховности мечты Алексея Алексеевича получает логическое завершение в размышлениях самого Федяшева, осознавшего наконец, что его горячечное воображение создало «не Богом порожденное существо», а «человекоподобную машину»: «Сам, сам накликал, – бормотал он, – вызвал из небытия мечту, плод бессонной ночи... Гнусным чародейством построил ей тело»[75]. Как представляется, вместе со своими героями автор отстаивал здесь изначальный Божественный смысл мироздания, вмешательство человека в который чревато непредсказуемыми последствиями. И именно в этой позиции писателя, на наш взгляд, нужно искать истоки отношения Толстого к искусству начала XX в., одним из представителей которого выступает в романе «Хождение по мукам» символист Алексей Алексеевич Бессонов, воспринятый многими современниками писателя, прежде всего, как карикатура, пародия на Александра Блока.

Характеризуя символизм как направление нового искусства, Н.А. Бердяев писал: «Символизм С. Маллармэ, Метерлинка, Ибсена, у нас В. Иванова и А. Белого и др. вносит в мир новые ценности, новую красоту, это уже не символизм Гете, не символизм прежних великих творцов. В новом символизме до конца доходит и великое творческое напряжение человеческого духа, и творческая трагедия, и болезнь духа. Новый человек рвется в творческом порыве за пределы искусства, устанавливаемые этим миром. Символисты отказываются от всякого приспособления к этому миру, от всякого послушания канонам этого мира, жертвуют благами устроения в этом мире, ниспосылаемыми в награду за приспособление и послушание. Судьба символистов, предтеч новой жизни в творчестве, жертвенна и трагична. Символизм Гете был все еще каноническим, приспособленным, послушным закону мира. Даже символизм Данте был послушен миру средневековому. Новый символизм отталкивается от всех берегов, ищет небывалого и неведомого. Новый символизм ищет последнего,

---

[74] Там же. С. 22. В квадратные скобки помещен текст, впоследствии вычеркнутый автором.
[75] Там же. С. 39.

конечного, предельного, выходит за пределы среднего, устроенного канонического пути. В новом символизме творчество перерастает себя, творчество рвется не к ценностям культуры, а к новому бытию»[76]. Толстому, который, безусловно, был послушен «закону мира», всегда старался жить с ним в унисон, сама теургическая претензия символистов на сотворение «нового бытия» должна была казаться кощунственной. Тем более сам он стал свидетелем воцарения новой действительности, призванной, в том числе, и чародействующими заклинаниями представителей различных направлений современного искусства[77].

Политическое положение Одессы, где тысячи беженцев пытались переждать большевистскую смуту, не было стабильным, но уже к началу 1919 г. город оказался в зоне действия Добровольческой армии. Кроме того, с конца ноября 1918 г. там находились оккупационные англо-французские войска. Тем не менее наступление Красной армии в марте 1919 г. заставило городские власти объявить эвакуацию. В обстановке возникшей паники и растерянности от стремительно нараставших событий Толстой принял решение эмигрировать из страны[78]. Писатель с семьей выбирался из Одессы морем на одном из первых судов, огромном французском транспорте под названием «Кавказ». Кроме множества беженцев на его борт поднялись более тысячи офицеров и штаб генерала А.В. Шварца, главы военной администрации города. Погрузка была долгой и трудной. Когда в Одессу входили первые отряды Красной армии под командованием атамана Н.А. Григорьева, «Кавказ» все еще стоял на рейде. Настроение отъезжавших Толстой характеризовал следующим образом: «Настроение погрома. Злоба и тупое равнодушие. Никто не сожалел о России. Никто не хотел продолжать борьбу. Некоторое даже восхищение большевиками»[79]. Путь от Одессы до Константинополя занял семь дней. Трое

---

[76] *Бердяев Н.А.* Собр. соч.: В 4 т. Париж, 1985. Т. 2: Смысл творчества; Опыт оправдания человека. С. 276.

[77] Ср. эту позицию Толстого с характеристикой, данной эпохе начала XX в. православным философом И.А. Ильиным. В лекции «Творчество Мережковского» (1934) он говорил о «болотной атмосфере» тогдашней художественной и философской культуры, утверждая, что «в предреволюционной России ⟨…⟩ была атмосфера духовного соблазна до революционного соблазна, атмосфера духовного большевизма, предшествовавшая и подготовлявшая социально-политический большевизм…» (*Ильин И.А.* Русские писатели, литература и художество: Сб. статей, речей и лекций. Washington D.C., 1973. С.115).

[78] 21 марта (13 апреля) В.Н. Муромцева-Бунина, также находившаяся в Одессе, записала в своем дневнике: «Прощаемся с Толстыми, которые в два часа решили бежать отсюда, где им так и не удалось хорошо устроиться. Они будут пробираться в Париж» (*Устами Буниных.* Т. 1. С. 228).

[79] *Материалы и исследования.* С. 405. Один из очевидцев так вспоминал о первой эвакуации Одессы: «…среди ⟨…⟩ кажущегося благополучия разнесся грозный слух, что по распоряжению из Парижа союзные войска на днях покинут Одессу. Слух этот разнесся с быстротой молнии и тотчас вызвал всеобщую панику. Напрасно надеясь сдержать панику и произвести неизбежную при этих условиях эвакуацию сколь возможно спокойнее и планомернее, генерал Шварц ⟨глава военной администрации города⟩ утверждал в своих объявлениях, что поло-

суток судно простояло в открытом море, прежде чем произошла перегрузка эмигрантов на пароход «Николай», доставивший своих пассажиров на турецкий остров Халки. В дневнике Толстой записал: «...воспоминания о десяти днях на “Кавказе” тяжелы, как воспоминания о чем-то точно очень дурном, неестественном, разрушительном, как болезнь»[80]. Спустя месяц с небольшим после отъезда из России, благодаря хлопотам старинного друга родителей Крандиевской, С.А Скирмунта, Толстым был разрешен въезд во Францию. Уже в июне 1919 г. они были в Париже.

РОМАН: ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

I. ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАМЫСЛА

> Есть вещи, про которые нехорошо и ненужно говорить. Это вещи личные, тайные и деликатные 〈…〉 К таким вещам принадлежит и самый процесс творчества. В автобиографии художника ищут именно этих заповедных вещей. Но если их и находят, – то там все же самое главное не сказано.
>
> *А. Толстой. «О творчестве»*

> Роман, не в пример театру, требует медленной, вдумчивой и спокойной работы.
>
> *А. Толстой. «Мое творчество»*

С середины 1910-х годов творческие планы Толстого были непосредственно связаны с созданием романа о современности[81]. Дважды попытки писателя в этом направлении заканчивались откровенной неудачей. В начале 1914 г.

жение Одессы безопасное. Началось снятие союзных войск с занимавшихся ими позиций и стягивание их в Одессу до последующей посадки на суда, а также их постепенный уход по береговой полосе в Румынию 〈…〉 Безобразным был не самый факт эвакуации, а та молниеносная спешность, с которой она была произведена, вследствие чего русские войска лишены были всякой возможности организовать самостоятельную защиту Одессы 〈...〉 Тем временем буржуазия бросилась за получением виз на проезд в Западную Европу. Выдавались эти визы штабом генерала Ансельма, и фактически ведал этим делом начальник этого штаба полковник Fredemberg, уже успевший создать себе весьма незавидную репутацию. Вызвал он к себе своей заносчивостью и грубостью общую ненависть и почитался за отъявленного взяточника 〈…〉 Любопытнее всего, что эти визы оказались совершенно недействительными. Французские власти в Константинополе их не признавали, причем сами их выдавали лишь по получении для каждого отдельного лица разрешения из Парижа...» (*Гурко В.И.* Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу // 1918 год на Украине. М., 2001. С. 341–342).

[80] *Материалы и исследования.* С. 407.

[81] В основу двух первых романов писателя – «Две жизни» и «Хромой барин» – был положен материал, на котором создавался цикл «Заволжье», т.е. семейные истории и собственные впечатления Толстого от жизни на Волге.

Толстой задумал большое произведение о жизни и настроениях русского общества накануне войны, однако опубликованы из написанного были лишь фрагменты: повесть «Большие неприятности» и рассказ «Наташа». Главный герой повести, молодой архитектор Николай Николаевич Стабесов, приезжает из Москвы к отцу в небольшую приволжскую усадьбу. Разочарованный в жизни, он хочет быть счастливым, но счастьем не рациональной природы, а бездумным, органическим: «Пить, есть, заниматься делами и так далее еще не значит жить ⟨...⟩ а жить значит радоваться» (II, 166). Николаю Стабесову, напротив, «каждый раз казалось, что прожитый день был словно людной площадью, которую он перебежал, никого не коснувшись, и никто не задел его ни словом, ни чувством, ни рукой, будто он один и был живой во всем городе, а все остальное призраки, тени на экране» (II, 155). В диалогах Стабесова с отцом уже намечены проблемы, которые станут главными в «Хождении по мукам»: судьба России, причины нравственного нездоровья общества, будущее страны после неминуемой катастрофы, приближения которой Толстой, в силу своего обостренного восприятия социальной действительности, не мог не чувствовать. Отец героя, старый Стабесов, причины пустоты в жизни и душах целого поколения видит, прежде всего, в отказе от идеи общественного служения: «Пустота, – закричал он, – для этого мы сражались? Мы общественность готовили, а они, видите ли, выдыхаются ⟨...⟩ Ведь это пожар, пепел один остался ⟨...⟩ Никакого выхода не вижу и очень огорчен» (II, 175). Стабесов младший более оптимистичен. Он ищет выхода, прибегая к формуле, ставшей и для самого Толстого своеобразной точкой опоры в условиях уже не абстрактной, а реальной революционной катастрофы: «Вся Россия валит сейчас в эту пустоту, в неверие, в темное дно. И там, на дне, в пустоте, во мраке – она возродится. Настанет катастрофа. Я верю ⟨...⟩ Или погибель – нет России, или новый народ» (II, 196–197)[82]. В конечном итоге любовь к женщине возвращает героя из «чертовых потемок» к «чудесной красоте», заставляя признаться отцу: «Пустота во мне заполнилась простой, немудрой жизнью, я окунулся в нее и родился вновь. Должно быть, я не заметил, когда опустился совсем и переходил дно, а там, на дне, я зачерпнул жизнь ⟨...⟩ Я переполнен ею, я в избытке» (II, 196). Осененность любовью к женщине присуща и героям «Хождения по мукам» Ивану Телегину и Вадиму Рощину, также ищущим выхода из тупика.

К середине 1910-х годов относится работа писателя над романом, получившим в своей окончательной редакции название «Егор Абозов», в котором отразились впечатления автора от собственного негативно оцененного

---

[82] Ср. со словами главного героя «Рассказа проезжего человека» (1917): «Не будет у нас сейчас ни порядка, ни покоя. Рождается новая Россия, невидимая, единая и белая, как Китеж выходит с озерного дна...» (III, 15).

модернистского прошлого. В литературе о Толстом он занимает прочное место в ряду произведений, отмеченных критикой современного писателю декадентского искусства. С точки зрения предыстории «Хождения по мукам» произведение интересно представленным здесь способом подачи реального материала. В «Егоре Абозове» за характерными, порой гротесковыми образами проступает хорошо известный современникам литературный Петербург 1909–1911 гг. с узнаваемыми редакцией журнала «Аполлон» (в романе «Дэлос»), рестораном «Вена» («Париж»), кабачком «Капернаум» и артистическим кабаре «Бродячая собака» («Подземная клюква»). Без этого предварительного опыта в «Егоре Абозове» вряд ли так гармонично вписались бы в художественную ткань «Хождения по мукам» насыщенные реалиями современной жизни заседания общества «Философские вечера», футуристические бдения или сцены в «Красных бубенцах». Еще не законченным «Егор Абозов» был передан в «Книгоиздательство писателей в Москве» для решения вопроса о его публикации. Прочитавший роман драматург С.Д. Махалов указал на отдельные обидные черты сходства его героев с И.А. Буниным, Л.Н. Андреевым, А.И. Куприным, М.А. Кузминым, Д.С. Мережковским и другими, что, собственно, и явилось основной причиной для отказа автору[83]. При жизни Толстого роман так и не был напечатан, оставшись незавершенным.

В одном из писем Н.В. Крандиевской декабря 1915 г. Толстой писал: «Сандро[84] рассказывал мне сегодня удивительную вещь – легенду о Христофоре[85]. Хотя легенда средневековая, но точно создана для России, для на-

---

[83] В письме к члену редакции «Книгоиздательства» Н.Д. Телешову, Махалов, справедливо отмечая отсутствие явной портретности («за исключением намеков, да и то перемешанных в такую кашу, что разобраться в них можно только при сильном желании»), тем не менее писал по поводу сходства одного из героев с И.А. Буниным: «Повторяю, что я отношусь придирчиво, но ведь так, кажется, и надо взглянуть на дело, особенно по отношению к И.А. Бунину, который на одном из заседаний сказал про один из критических сборников, изданных нами, где о нем был неблагоприятный отзыв: – Должны ли мы издавать таких господ, которые о своих же товарищах по изданию так отзываются?... Стало быть, если признать подозреваемое мною сходство с И. Буниным, то с этим как-никак, а считаться придется» (*ОР ИМЛИ.* Ф. 43. № 7073. Цит. по: *Новые материалы.* С. 155–156).

[84] Сандро – прозвище А.С. Ященко.

[85] Согласно легенде, Святой Христофор, чей праздник отмечается 25 июля, до крещения был римлянином огромного роста. Отыскав святого отшельника, он спросил, каким образом может послужить Христу. Отшельник отвел римлянина к опасному броду через реку и сказал, что его большой рост и сила помогут людям перебираться на другой берег. Однажды его попросил о помощи маленький мальчик, но посреди реки он стал настолько тяжел, что римлянин испугался, как бы они оба не утонули. Мальчик сказал римлянину, что он Христос и несет с собой все тяготы мира. Иисус крестил римлянина в реке и тот получил новое имя – Христофор, «несущий Христа». Предание записано в так называемой Золотой легенде, сочинении Якова Ворагинского (ок. 1260), которое представляет собой собрание христианских легенд и занимательных житий святых. Одна из самых любимых книг Средневековья, стоявшая по популярности на втором месте после Библии.

ших дней. Это грандиозный план для романа – то, чего не хватает, например, у “Егора Абозова”»[86]. Вряд ли Толстой мог предположить тогда, что «грандиозность» замысла его следующего романа будет определяться не легендарными событиями, а вполне реальной российской действительностью, взорванной войной и революцией.

К сожалению, не фиксируется документально время возникновения у писателя замысла одного из главных его произведений, романа «Хождение по мукам». Молчат об этом щедро наполненные наблюдениями современной жизни сохранившиеся дневники и письма Толстого. О времени начала работы над романом мы знаем только со слов самого автора. В его последней автобиографии (1942) написано: «Осенью восемнадцатого года я с семьей уезжаю на Украину, зимую в Одессе ⟨...⟩ Из Одессы уезжаю вместе с женой в Париж. И там, в июле 1919 года, начинаю эпопею “Хождение по мукам”» (I, 45)[87]. Годом позже, в интервью в связи с присуждением ему Сталинской премии за трилогию, он подтвердил эту дату: «Первую книгу “Сестры”[88] я начал писать в середине июля 1919 года» (X, 399). В статье «Как мы пишем» (1930) Толстой рассказывал: «Я жил тогда в Париже ⟨...⟩ и этой работой хотел оправдать свое бездействие, это был социальный инстинкт человека, живущего во время революции: бездействие равно преступлению» (X, 146). Это высказывание писателя ретроспективно, а потому наполнено более поздними оценками собственного творчества конца 1910-х – начала 1920-х годов. Однако и оно несет в себе известную долю истины. Работа над произведением, видимо, стала для него своеобразной путеводной нитью, точкой опоры в хаосе первых месяцев эмиграции, когда нужно было налаживать новую жизнь, приспосабливаясь к вынужденным обстоятельствам. Так или иначе, Толстой начинает писать роман сразу по приезде в Париж[89].

---

[86] *Переписка.* Т. 1. С. 234.

[87] См. также сообщение в журнале «Русская книга» (Берлин): «По приезде в Париж Толстой начал писать большой роман из современной русской жизни» (1921. № 1. С. 32).

[88] Таково название романа в составе трилогии «Хождение по мукам».

[89] Предлагая повнимательней вдуматься в творческую историю произведения, А.М. Крюкова писала: «Спустя два месяца по приезде в Париж, пережив все муки, душевные и физические, путешествия, оставив дом, страну, родную землю, в состоянии жесточайшего смятения в душе от сознания безвозвратности (так казалось) совершенного шага, едва устроившись на оседлом месте, Толстой начал писать – и не политические статьи, не воспоминания о пережитом и страшном, а роман, свою лучшую книгу» (*Крюкова.* С. 228).

Писатель приехал в столицу Франции в дни подписания Версальского мирного договора[90], поставившего последнюю точку в Первой мировой войне. Возможно, это каким-то образом повлияло на его решение отодвинуть завязку произведения о русской революции к началу войны и там искать причины разразившейся катастрофы. Одно из первых известных упоминаний о романе содержится в письме Толстого И.А. Бунину, которое было написано в начале осени 1919 г. Предлагая себя в качестве посредника при издании бунинских произведений на французском языке, писатель, между прочим, сообщал: «Все это время работаю над романом, листов в 18–20. Написано – одна треть»[91]. По самым приблизительным подсчетам, это не менее десяти глав, но и не более, так как существует документальное свидетельство того, что главы одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая были завершены позже, в самом конце 1919 г.

Хронологию дальнейшей работы писателя над романом (а вернее, ее части) можно реконструировать по письмам автора А.С. Ященко, будущему редактору популярных эмигрантских журналов «Русская книга» и «Новая русская книга». Ященко в то время жил в Берлине и работал в русском книжном магазине «Москва», ставшем впоследствии крупной книгоиздательской и книготорговой фирмой. 28 сентября 1919 г. он обратился к Толстому с предложением об издании его сочинений на немецком языке. Уже 1 октября Толстой ответил Ященко обстоятельным письмом, в котором не только давал согласие на издание, но и излагал его подробный план с распределением материала по томам. Первый том отводился еще не завершенному роману: «...и, наконец, самое главное I том – роман “Сквозь пыль и дым” (название не совсем установленное) ⟨...⟩ Роман “Сквозь пыль и дым” еще не кончен. (Несомненно, для немецких читателей он представит наибольший интерес)»[92].

С этого времени писатель регулярно высылал в Берлин подготовленные к изданию произведения, в том числе главы нового романа. Первыми были отправлены десять глав, о которых Толстой сообщал как о завершенных в письме к Бунину[93]. Но уже 22 декабря 1919 г. автор информировал Ященко о готовности еще трех: «Через три дня вышлю продолжение “Хождения по мукам”, глава 11, 12 и 13. Они совсем закончены и отделаны. Роман затянулся потому,

---

[90] Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну, был подписан 28 июня 1919 г. в пригороде Парижа, Версале, Соединенными Штатами Америки, Британской империей, Францией, Италией, Японией и рядом других государств, с одной стороны, и капитулировавшей Германией – с другой. Вступил в силу после ратификации 10 января 1920 г. Россия в подписании договора не участвовала.

[91] *Переписка.* Т. 1. С. 280.

[92] Там же. С. 282.

[93] 7 октября 1919 г. Толстой писал Ященко: «Получил сейчас твое второе письмо. Вслед за книгой “Наваждение” вышлю первую часть романа. Пока она будет переводиться и набираться – вышлю остальное» (*Переписка.* Т. 1. С. 112).

что я всю осень плохо себя чувствовал и работал хотя каждый день, но помалу. Теперь работа опять пошла хорошо»[94]. В этом письме впервые упоминалось окончательное название произведения – «Хождение по мукам» вместо «Сквозь пыль и дым» – и сообщалось о замедлении темпов работы над романом, о чем более подробно тогда же написала Ященко жена писателя Н.В. Крандиевская: «Я рада, что Вам нравится Алешин роман. Правда, если дотянет также до конца – это будет лучшая его вещь. Последние дни напала на него тоска – уж очень плохи вести из России![95] Отвлекают от работы также дела, журнал, люди, добывание денег. Но все же работает он ежедневно и много...»[96].

Крандиевская и Ященко были первыми, кто знакомился с еще не завершенным романом. Но и на этом этапе оба сумели почувствовать значительность произведения, которое стало одним из главных в творчестве писателя. В статье 1920 г., предназначавшейся для немецкого собрания сочинений Толстого, Ященко писал: «Роман этот имеет своей задачей художественно осмыслить смысл исторической трагедии, переживаемой ныне Россией: моральное разложение правящих и господствующих классов в последние годы перед войной, войну и революцию. Насколько можно судить по первой части 〈…〉 роман этот обещает быть одним из самых значительных произведений русской литературы за последние десятилетия»[97]. В аналогичной статье о «Хождении по мукам» высказался и М.А. Алданов: «Гораздо более значительным произведением А.Н. Толстого является его последний роман “Хождение по мукам” 〈…〉 И по замыслу, и по выполнению это произведение является лучшим из всего написанного Толстым. С него-то иностранный читатель и должен начать свое знакомство с писателем, на которого русская литература возлагает очень большие надежды»[98].

---

[94] *Переписка.* Т. 1. С. 284. По сообщению Е.Д. Толстой, в это же время «первые главы романа Толстой послал в Одессу, которая во второй половине 1919 года была вновь отвоевана Добровольческой армией; они были опубликованы в газете “Одесский листок” – под знакомым нам названием “Хождение по мукам” – рождественским утром под новый, 1920, год. Текст этот практически совпадает с текстом третьей главы журнальной версии» (*Деготь или мед.* С. 355).

[95] «Плохие вести» были связаны с разгромом Добровольческой армии А.И. Деникина после неудачного похода на Москву. Во второй половине октября 1919 г. армии Красного Южного фронта нанесли тяжелое поражение войскам Деникина под Орлом, Кромами, Воронежем, в результате чего были освобождены Орел (20 октября), Воронеж (24 октября), Курск (17 ноября). Во второй половине ноября того же года красные перешли в наступление на Новочеркасском направлении и в ходе Ростовско-Новочеркасской операции в январе 1920 г. разгромили остатки добровольцев, принимавших участие в походе на Москву. 7 февраля Красная армия вновь вступила в Одессу, а 27 марта – в Новороссийск, откуда накануне главные силы Деникина эвакуировались в Крым.

[96] *Русский Берлин.* С. 114.

[97] Там же. С. 124.

[98] Там же. С. 127–128.

Сообщение об очередных двух главах романа пришло в Берлин только в середине февраля 1920 г.: «Милый Сандро, – писал Толстой Ященко, – не отвечал я тебе до сих пор потому, что со дня на день хотел вместе с письмом послать две главы, 14 и 15, но, если бы ты знал, до чего медленно идет работа! Иногда я прихожу в уныние, иногда мне кажется, что так все-таки и нужно. Ты не забудь, что мало-мальски серьезные романы пишутся годами. Я же две почти трети написал в 8 месяцев. И еще – Господь Бог сохранил меня от того, чтобы не кончить роман в октябре, ноябре. С тех пор я очень, очень многое понял и переоценил»[99]. И далее: «Я со всем согласен с тобой в твоем взгляде на Россию. Знаешь, к этому подходят теперь почти все. За один год совершилась огромная эволюция; в особенности в сознании тех, кто стоит более или менее в стороне. Те, кто приезжает из России, – понимают меньше и видят близоруко, так же неверно, как человек, только что выскочивший из драки: морда еще в крови и кажется, что разбитый нос и есть самая суть вещей. Когда началась катастрофа на юге, я приготовился к тому, чтобы самому себя утешить, найти в совершающемся хоть каплю хорошего. Но оказалось, и это было для самого себя удивительно, что утешать не только не пришлось, а точно помимо сознания я понял, что совершается грандиозное – Россия снова становится грозной и сильной. Я сравниваю 1917 год и 1920, и кривая государственной мощи от нуля идет сильно вверх. Конечно, в России сейчас очень не сладко, и даже гнусно, но думаю, мы достаточно вкусно поели, крепко поспали, славно побздели и увидели, к чему это привело. Приходится жить, применяясь к очень непривычной и неудобной обстановке, когда создаются государства, вырастают и формируются народы, когда дремлющая колесница истории вдруг начинает настегивать лошадей, и поди поспевай за ней малой рысью. Но хорошо только одно, что сейчас мы все уже миновали время чистого разрушения (не бессмысленного только в очень высоком плане) и входим в разрушительно-созидательный период истории. Доживем и до созидательного»[100]. Очевидно, рубеж 1919–1920 гг. стал поворотным

---

[99] *Переписка*. Т. 1. С. 286.

[100] Там же. С. 286–287. Письмо Ященко, на которое отвечал Толстой, по времени совпало с организационным оформлением берлинской группы «Мир и Труд». И.В. Гессен в своих воспоминаниях назвал ее «первой политически окрашенной ячейкой, которую, если не по намерениям инициатора, то объективно, можно считать прототипом – лучше сказать предвестником большевизанства» (*Гессен И.В.* Годы изгнания: Жизненный отчет. Париж, 1979. С. 34). У истоков создания группы, к которой примкнул и Ященко, стоял «народный социалист» В.Б. Станкевич. Среди подписавших ее воззвание были редакторы берлинских газет «Время» – Г.Н. Брейтман и «Голос России» – С.Я. Шклявер, юристы Г.Л. Ландау и Н.Н. Переселенков, журналист А.П. Вольский, литературовед Е.А. Ляцкий, молодые литераторы Р.Б. Гуль и Ю. Офросимов и некоторые другие. Центральным пунктом программы группы был лозунг прекращения гражданской войны и восстановления мира в России, возобновления нормальной созидательной жизни в стране. Участники объединения выступали против

пунктом в работе Толстого над новым произведением, что было обусловлено изменившимися взглядами писателя на события в России. Таким образом, русская революция, дав непосредственный импульс к созданию романа, своим развитием меняла позицию автора, корректировала художественную задачу, тем самым непосредственно предопределяя все трудности и неожиданные повороты творческого процесса. Главы четырнадцатая и пятнадцатая, которые Толстой все-таки выслал Ященко в феврале 1920 г., в окончательном тексте посвящены Первой мировой войне. И уже в них обнаруживаются следы переосмысления писателем недавнего прошлого.

Работа над романом, видимо, затянулась, во всяком случае, не вписывалась в те сроки, которые установил себе Толстой, но это уже не тяготило его. Следующие три главы – шестнадцатую, семнадцатую и восемнадцатую – автор отправил Ященко только в начале мая 1920 г., а перед этим, в апреле, писал ему: «...конец романа мне уже ясен, только очень много забот и дел, чтобы сразу его закончить, да это, кажется, и к лучшему, что я не поспешил с ним: – последующие главы выходят лучше предыдущих»[101]. В начале мая Толстой выразил обеспокоенность изданием своих сочинений на немецком языке: «В каком состоянии находится мое немецкое издание? Я не знаю, подписан ли контракт с тобою, или только ведены были официальные переговоры. Внесены ли К-вом деньги? Приступлено ли к печатанию переводов? Ты понимаешь – прошло 8 месяцев, и для меня, все-таки, неясна общая картина этого дела, а после смерти переводчицы – я уже ничего больше не понимаю»[102]. К началу лета, видимо, стало ясно, что издания на немецком языке не будет, и писатель перестал высылать новые главы романа в Берлин.

К этому времени остро встал вопрос, связанный с публикацией произведения. Сначала свои надежды Толстой возлагал на один из первых «толстых» журналов эмиграции «Грядущая Россия», в организации которого принимал непосредственное участие. В письме Ященко от 22 декабря 1919 г. он упоми-

---

иностранной интервенции («путем вооруженной борьбы и насилия создать демократическую государственность и единство России нельзя») и возлагали надежды на мирную эволюцию большевизма, который в ходе хозяйственной творческой деятельности должен был вернуться к здоровым основам русской национальной государственности. Печатными органами группы были непериодические сборники «Мир и Труд» и журнал «Жизнь. Вестник Мира и Труда», выходивший в Берлине на протяжении 1920 г. В редакционном обращении, открывавшем первый номер журнала, в частности, отмечалось: «Период опустошения и разрушения близок к концу ⟨...⟩ С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который несомненно наступит, какой бы политической вывеской не прикрывалась власть» (С. 1), – с чем в определенной степени перекликаются некоторые положения приведенного письма Толстого. Сам факт обсуждения с Толстым важнейших положений программы организации делает возможным предположение о намерении Ященко привлечь Толстого в число ее участников.

[101] *Переписка.* Т. 1. С. 288.

[102] Там же. С. 289.

нал: «Этот журнал я выдумал для того, чтобы печатать там роман»[103]. Средства на издание писатель получил у одного из руководителей основанного в 1920 г. в Париже Российского торгово-промышленного и финансового союза Н.Х. Денисова, известного своим меценатством[104]. Два номера «Грядущей России» под редакцией М.А. Алданова, В.А. Анри, А.Н. Толстого и Н.В. Чайковского вышли в самом начале 1920 г., в январе-феврале[105]. Преобладающим жанром в журнале стала публицистика, размышления о современности и будущем. Здесь печатались М.В. Вишняк, И.И. Бунаков, Н.А. Тэффи, В.В. Набоков, Н.М. Минский и другие. Первый номер открывался программной статьей бывшего главы Временного правительства (в марте–июне 1917 г.) кн. Г.Е. Львова[106] под названием «Наши задачи», пафос которой был на редкость созвучен пафосу толстовского романа. Характеризуя состояние современного мира, ее автор писал о том, что в атмосфере греха, «сгустившегося тяжелым туманом» в воздухе, не умерли истина и любовь: «Любовь жила и будет жить во веки. Для нее наступает период особенно напряженной действенности. Ненависть и месть не снимут с человечества греха и преступления, покрывших его как коростой. Не злу извести зло. Только любовь сильна над ними. Она должна победить мир и очистить его от захвативших наши дни ненависти и злобы»[107]. Обращаясь к «грядущей России», которой еще только предстоит «громадная творческая работа» по изучению и освещению событий, разделяющих старую и новую цивилизации, Львов определял основную задачу нового журнала: призвать и собрать силы, «которым доступно потрудиться на этой ниве». Более конкретно о главной руководящей идее, на которой могла

---

[103] Там же. С. 288.

[104] См. об этом у М.В. Вишняка в его «Воспоминаниях редактора»: «Средства на издание добыл Толстой у мецената-промышленника Денисова» (*Вишняк.* С. 91). О том же, видимо, у Буниных вспоминал и М.А. Алданов много лет спустя. 8 августа 1930 г. В.Н. Бунина записала в своем дневнике: «Вчера он ⟨Алданов⟩ вспоминал свою эвакуацию, Толстых ⟨...⟩ Вот однажды Толстой говорит: – Давай издавать журнал! – Как? Да кто покупать будет? Откуда деньги? – Достанем. Редакторами будем мы, пригласим Чайковского, Львова ⟨...⟩ И представьте, так и вышло ⟨...⟩ С первого номера начались “Хождения по мукам” ⟨...⟩ Там в редакции мы с вами в первый раз встретились после Одессы, Иван Алексеевич. Вы приехали с Толстым, мы все встали. Ведь вам тоже предлагали стать редактором, вы отказались» (*Устами Буниных.* Т. 2. С. 229). На получение денег от Денисова ссылается и Г.П. Струве (*Струве.* С. 107).

[105] В газете «Общее дело» (Париж) от 24 января 1920 г. (№364) сообщалось: «На днях выйдет первая книга ежемесячного журнала “Грядущая Россия”».

[106] Толстой был знаком с Г.Е. Львовым (1861–1925) со времен Первой мировой войны. Последний возглавлял сначала Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам, затем Земгор, в работе которых писатель принимал деятельное участие. В конце 1919 г. Толстых и Львова связывали теплые дружеские отношения. Н.В. Крандиевская в одном из писем Ященко упоминала: «Знакомых много, чаще всего бываем у Львова – я и Алеша, оба полюбили его» (*Русский Берлин.* С. 114).

[107] Грядущая Россия. 1920. №1. С. 5.

бы объединиться редакция издания, в том же номере высказался один из видных политических деятелей эмиграции, Н.В. Чайковский[108], в статье «Наш путь к оздоровлению». Конечной объединяющей целью, по мнению автора, должен был стать «новый созидательный социализм», утвержденный «путем естественной эволюции и экономической самодеятельности населения при содействии государства». Выявлению основ этого грядущего нового порядка во всех областях жизни и посвящала свои усилия редакция журнала. Существование издания оказалось крайне недолгим. После выхода двух номеров, где было напечатано десять первых глав «Хождения по мукам», Денисов отказался субсидировать «Грядущую Россию».

Изданием, напечатавшим произведение полностью, стали созданные в конце 1920 г. в Париже «Современные записки», литературный и общественно-политический журнал, который редактировали эсеры Н.Д. Авксентьев, И.И. Бунаков, М.В. Вишняк, И.И. Гуковский и В.В. Руднев. История создания журнала, который как «орган внепартийный» проводил демократическую программу, «провозглашенную и воспринятую народами России в мартовские дни 1917 г.», достаточно полно описана в литературе[109]. Поэтому остановимся лишь на моментах, связанных непосредственно с Толстым и публикацией его романа. С некоторыми из членов редакции издания писатель был знаком еще до эмиграции. С Бунаковым (Фондаминским) и Рудневым он сблизился во время пребывания в Одессе и совместной эвакуации сначала в Константинополь, затем в Марсель[110]. Еще ранее, летом 1918 г., Толстой сотрудничал в москов-

---

[108] Николай Васильевич Чайковский (1850–1926), после Октября 1917 г. занял активную антибольшевистскую позицию, являлся членом петроградского «Комитета спасения родины и революции», одним из руководителей Союза защиты Учредительного собрания. В августе 1918 г. принял участие в свержении Советской власти в Архангельске и до февраля 1920 г. являлся председателем и управляющим отделом иностранных дел правительства Северной области. С начала 1919 г. находился в Париже как участник Русского политического совещания и член Русской заграничной делегации на Парижской мирной конференции. В 1920 г. возглавил Исполнительное бюро Комитета помощи российским писателям и ученым во Франции.

[109] См., напр.: *Пархомовский М.* По другую сторону баррикад, или Кто создал «Современные записки» // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1992. Вып. 1. С. 219–225; *Богомолов Н.А.* «Современные записки» // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья: 1918–1940. М., 2000. Т. 2: Периодика и литературные центры. С. 443–451; *Базанов П.П.* «Современные записки» – эсеровский партийный журнал 1920-х гг. // Зарубежная Россия: 1917–1939. СПб., 2003. Кн. 2. С. 40–45; *Михайлов О.Н.* Журнал «Современные записки»: литературный памятник Русского Зарубежья. 1920–1940. М., 2004. Вып. 3. С. 5–57.

[110] См. записи в дневнике Толстого о десятидневном путешествии в Константинополь на пароходе «Кавказ»: «Случай с Фундомин⟨ским⟩, когда Раскольников обыскивал пароход и, глядя на приведенного к нему Фун⟨доминского⟩, долго смотрел ему в глаза и сказал хрипло: “Я его не знаю”» (*Материалы и исследования.* С. 402); «Рутенберг, похожий на Вия, Руднев, вместе с женой пролежавший 10 дн⟨ей⟩ в трюме, Бунаков, усиленно восхищающийся всем» (Там же. С. 404).

ской эсеровской газете «Возрождение»[111], которая по своим целям и задачам являлась непосредственной предшественницей «Современных записок» и издавалась при ближайшем участии все тех же Бунакова, Вишняка, Авксентьева. Ориентированные на политическую линию правых эсеров, «Современные записки» занимали центристскую позицию и стремились к продолжению лучших традиций русских «толстых» журналов. В статье «От редакции» в первом номере отмечалось: «“Современные записки” открывают ⟨...⟩ широко свои страницы, – устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке, – для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры».

Впоследствии один из редакторов журнала, М.В. Вишняк, вспоминал о привлечении в издание Толстого: «Из видных и талантливых писателей в эмиграции 1920 г. налицо был один только Алексей Н. Толстой, который начал печатать роман “Хождение по мукам” в “Грядущей России” и оборвал роман, когда на второй книжке “Грядущая Россия” прекратила существование. Фондаминскому пришла в голову счастливая идея попросить у Толстого продолжение романа с тем, что “Современные записки” перепечатают начало и уплатят гонорар за перепечатанное. Соблазн был слишком велик для Толстого, и он не устоял. В первой же книжке “Современных записок” появилось продолжение “Хождения по мукам”, начало коего читатель мог прочесть в конце той же книги. Роман этот был главным литературно-художественным козырем в первых семи книгах журнала – до самого того времени, когда неожиданно для всех Толстой сменил вехи и откочевал к большевикам»[112]. Не все в этих воспоминаниях соответствует реальному развитию событий, связанных с публикацией романа. Так, к концу 1920 г. Толстой уже не был единственным из «видных и талантливых» русских писателей, оказавшихся в эмиграции. Еще весной в Париж перебрался И.А. Бунин, чуть позже А.И. Куприн. 4 апреля (22 марта) В.Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике: «Толстые здесь, очень поправились. Живут отлично, хотя он все время на краю краха. Но они бодры, не унывают. Он пишет роман ⟨...⟩ Было чтение. Народу было много. Всем роман понравился. Успех очевидный»[113]. В 1949 г., в один из мартовских дней, она же вспоминала: «Когда-то, 29 лет тому назад, Алексей Толстой читал начало своего романа “Хождение по мукам” в салоне М.С. Цетлиной. Мы 2 дня как приехали в Париж»[114]. Видимо, об этом же публичном чтении произведения писал в очерке о Куприне М.А. Алданов: «Жили мы не худо, не скажу “одной семьей” – это почти всегда преувеличение, – но без

[111] В № 6 от 8 июня (26 мая) 1918 г. был опубликован рассказ Толстого «Навождение».
[112] *Вишняк*. С. 100.
[113] *Устами Буниных*. Т. 2. С. 10.
[114] Там же. Т. 3. С. 191.

ссор, довольно дружно; по крайней мере я сохранил о той поре самое лучшее воспоминание. Были гостеприимные "салоны", были наши "кофейни", был не существующий более кабачок в древнем доме на улице Пасси, славившийся устрицами и белым вином. Мы встречались часто, некоторые чуть не каждый день. Бывали даже чтения вслух... притом самые разные. Одни происходили при очень большом числе слушателей – так А.Н. Толстой читал в доме М.О. Цетлина начало "Хождения по мукам"»[115]. Очевидно, ко времени организации «Современных записок» роман Толстого был хорошо известен в литературных кругах парижской эмиграции и, видимо, пользовался большой популярностью и успехом (вспомним «Успех очевидный» из дневника Муромцевой-Буниной). Это и было, на наш взгляд, главной причиной обращения Фондаминского к автору «Хождения по мукам». Новый журнал нуждался в произведении, которое привлекло бы к изданию достаточное число подписчиков. Только при этом условии «Современные записки» могли выжить в непростых экономических условиях послевоенной Франции. Но и для Толстого на тот момент с журналом была связана единственная реальная возможность опубликовать свой роман. Таким образом, в публикации в равной степени были заинтересованы и писатель, и редакция издания. «Хождение по мукам» печаталось в семи первых номерах «Современных записок», действительно став их «главным литературно-художественным козырем», – и это в немалой степени способствовало тому, что издание, ставшее впоследствии одним из главных печатных органов русского зарубежья, состоялось.

Последняя точка в работе над романом была поставлена Толстым в августе 1921 г.[116] Это лето семья писателя проводила недалеко от Камба, под Бордо, в имении Les marroniers, где Крандиевская с детьми жила постоянно, а Толстой лишь наезжал из Парижа. В одном из писем А.С. Ященко из Камба (18 июля 1921 г.) он лаконично сообщал: «"Хождение по мукам" выйдет в начале августа (шестая книга "Современных записок", где конец романа)»[117]. Но что-то помешало этим планам, и позже Толстой писал Бунину: «Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец»[118]. В связи с этим

---

[115] Памяти Куприна // Современные записки. 1938. Кн. XLVII. С. 318–319.

[116] См. авторскую дату, завершающую публикацию романа в седьмом номере «Современных записок» за 1921 г.: «Август, 1921 года».

[117] *Переписка.* Т. 1. С. 291.

[118] Там же. Данное письмо датировано публикатором неверно – 1920 г. Оно перепечатано из очерка И.А. Бунина «Третий Толстой», где текст письма предваряют следующие строки: «Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном "Земгором" из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда» (*Бунин.* Т. 9. С. 442).

остановимся подробнее на характере и объеме работы Толстого над произведением летом 1921 г.

Хорошо известно, что в середине предыдущего 1920 г. писатель все еще работал над романом. Этот факт зафиксирован как в автобиографической книге А.П. Шполянского («Лето, как настоящие шуаны, провели в Вандее, в Олонецких песках. Так окрестил Sables d'Ologne, чудесную приморскую деревушку на берегу Атлантического океана, все тот же Алексей Николаевич ⟨...⟩ Толстой то и дело менял ментоловые компрессы и продолжал писать "Хождение по мукам"»[119]), так и в статье самого Толстого «Писатель и трибун» (1935): «...помню 1920 год. Бретань. Крошечная деревушка на берегу моря. Из далекой России доносились отрывочные сведения о героических боях с поляками, о грандиозных победах у Перекопа. Я работал тогда над первой книгой трилогии "Хождение по мукам"» (X, 271). Вполне возможно, что в это время писателю уже было сделано предложение продолжить публикацию произведения в новом эмигрантском журнале, и он интенсивно работал над завершением романа, рассчитывая на его скорое окончание. Какие-либо сведения о работе над «Хождением по мукам» с осени 1920-го вплоть до лета 1921 г. отсутствуют. Основываясь на этом, Ю.А. Крестинский указал на перерыв в творческой истории романа, объясняя его причины противоречивостью отношения Толстого «к событиям в России и сознанием того, что главное остается непонятым». «В этот период, – писал он, – надо было окончательно выяснить свое отношение к России»[120]. Однако достаточно странным выглядит решение писателя приостановить работу над произведением накануне его возможной публикации. Даже если в сентябре Толстой все еще не был уверен в этом, то чуть позже наступила полная ясность: в ноябре вышел первый номер «Современных записок», где были опубликованы три неизвестные читателю главы романа и перепечатаны десять глав из «Грядущей России». И тем не менее писатель в начале осени 1920 г. приступает к работе над новым произведением, повестью «Детство Никиты», и работает над ним вплоть до декабря[121]. Более логичным, на наш взгляд, было бы предположить,

---

[119] *Дон-Аминадо*. С. 255.

[120] *Крестинский Ю.А.* А.Н. Толстой: Жизнь и творчество. М., 1960. С. 131.

[121] Шполянский писал о пребывании в Вандее с Толстыми: «В один из ⟨...⟩ вечеров – пришлось к случаю, к разговору, – поделился с Толстым своей давно уже назревавшей мыслью об издании журнала для детей. – Без кислых нравоучений и сладеньких леденцов, без Лухмановой, без Желиховской и Самокиш-Судковской. С настоящими авторами, не подделывающимися под стиль сюсюкающих писателей для детей, и с настоящими художниками. Толстой воспламенился, загорелся, сел на своего конька и понесся во весь опор. – Журнал будет в четыре краски, на дорогой веленевой бумаге, начистоту, всерьез, чтоб все от зависти подавились!.. А я тебе напишу роман с продолжением, из номера в номер, на целый год ...» (*Дон-Аминадо*. С. 270). По свидетельству автора воспоминаний, разговор этот происходил на исходе августа 1920 г. Работа над повестью «Детство Никиты», таким образом, началась

что в основном работа над романом была закончена к осени 1920 г. Вернуться же к произведению летом 1921 г. Толстого, как нам кажется, заставили вновь открывшиеся обстоятельства.

Еще 10 апреля 1920 г. Толстой писал Ященко: «… конец романа мне уже ясен, только очень много забот и дел, чтобы сразу его закончить»[122]. Рукописи «Хождения по мукам» не известны, и мы не можем с уверенностью сказать, сколько раз потом менялась у писателя концепция финала произведения образца апреля 1920 г. и каков был тот финал, за переделку которого Толстой взялся летом 1921 г. Здесь мы вступаем в область предположений. Об обстоятельствах завершающей работы над романом много лет спустя написала в своих воспоминаниях Н.В. Крандиевская:

> ...приехал Толстой из Парижа. Он плохо выглядел. Устал, озабочен. Вечером он читал мне только что написанный конец романа «Сестры», последнюю главу. Как всегда, у него неладно с концом. Отчего это? Не сам ли он утверждал в разговоре с Буниным: «Кончая большую вещь, необходимо как бы подняться над нею, чтобы снова увидеть с начала до конца (как с горы – пройденный путь)», – тогда конец будет верный, пропорция соблюдена и вся вещь крепко станет на ноги. У него же конец случаен. Не оттого ли это, что он устал, переработал? Он торопится под конец – вот что ужасно.
>
> – Отдохни! Отложи работу.
>
> Он вдруг вспылил.
>
> – Пиши сама, – крикнул он, – и ну его к лешему!
>
> Он схватил рукопись, в бешенстве разорвал последние листы и бросил за окно.
>
> – Подыхайте с голоду!
>
> Хлопнув дверью, он вышел.
>
> Мы с детьми долго ползали по саду, подбирая в темноте белые клочки. Мы склеили все и положили на стол.
>
> Толстой вернулся через час. Он молча сел к столу и работал до свету. Я сварила ему крепкого кофе. Он кончил роман коротко и сильно.
>
> Как странно: человек с ведерком, клеящий афиши, – один этот образ восстановил равновесие, и все вокруг обрело свое место.
>
> Мне кажется, сам Толстой доволен теперь концом[123].

Комментируя этот фрагмент воспоминаний жены писателя, Е.Д. Толстая пишет: «Крандиевская дает понять, что именно в эту ночь роман приобрел открытый финал, о котором впоследствии писал сам Толстой, теперь действие прерывалось накануне октябрьского переворота. Значит ли это, что в варианте, не понравившемся Крандиевской и разорванном автором, запечатлен

не ранее, но и не позднее сентября, так как первые главы произведения были опубликованы в созданном Шполянским детском журнале «Зеленая палочка» уже в октябре, последние – в сдвоенном пятом-шестом номере, вышедшем в декабре.

[122] *Переписка*. Т. 1. С. 288.

[123] *Воспоминания*. С. 111.

момент, исторически более поздний, т.е. что Толстой именно в эту ночь решил предусмотрительно отодвинуть описание октябрьских событий до следующих томов, ощутив, что эмигрантская ситуация быстро меняется? Это кажется вероятным ⟨…⟩ Похоже ⟨…⟩ что он подбирался именно к показу октябрьского переворота: иначе зачем бы как раз к лету 1917-го все его герои вернулись в Петроград – только ли затем, чтобы слушать подстрекательскую речь Ленина с балкона захваченного особняка Кшесинской? Явно Толстой готовил их к грядущим роковым переменам. Фраза о "случайном конце", видимо, указывает на то, что Толстой представил жене некую новую альтернативу уже имевшимся ранее версиям»[124]. Однако подобная интерпретация давно известных событий не учитывает в полной мере творческих планов Толстого в отношении романа, который летом 1921 г. виделся ему началом дальнейшей большой работы. Уже в июне 1921 г. берлинский журнал «Русская книга» сообщал: «Граф А.Н. Толстой работает над новым романом, который составит вторую часть задуманной им трилогии и явится продолжением его романа "Хождение по мукам". В нем будет изображена эпоха революции»[125]. Очевидно, именно в связи с этим новый финал уже написанного произведения должен был стать открытым, а герои, в соответствии с замыслом автора, переместиться из Москвы в Петроград[126], – что потребовало, на наш взгляд, не сокращения, а продолжения романа. В эту схему вписывается ответ Толстого Крандиевской после знакомства с главой ее воспоминаний «Лето в Камбе»: «"Хождение по мукам" я кончал в Камбе, где работал над последними главами около месяца. Конец мне не удавался, и я его, действительно, однажды разорвал и вышвырнул в окно, и то, что мне не удавался конец, было закономерным и глубоким ощущением художника, т.е. уже тогда я начал понимать, что этот роман есть только начало эпопеи, которая вся разворачивается в будущем. Вот откуда происходила неудача с концом, а не оттого, что я не мог "взойти на гору, чтобы оглянуть пройденное" ⟨…⟩ На самом же деле этот роман ("Сестры") никогда, даже при последующих доработках, не был закончен, да и, по существу, не мог быть закончен, т.к. он – только первая часть трилогии»[127].

---

[124] *Деготь или мед.* С. 412–413.

[125] Русская книга. 1921. № 6. С. 25–26.

[126] Вполне возможно, Толстой не хотел показывать развитие октябрьских событий в Москве, чему он сам был свидетелем, по причинам личным, связанным с собственными тягостными впечатлениями, зафиксированными в его дневнике (*Материалы и исследования.* С. 345–394).

[127] *Переписка.* Т. 2. С. 287–288. По поводу этого ответа Толстого, включенного в текст воспоминаний Крандиевской, она, не согласившись и отстаивая свое право на видение прошлого, писала: «Таков ретроспективный авторский самоанализ, конечно, самый верный и точный. Но созреть он мог только через много лет. Время в данном случае и оказалось той горой, с которой все пройденное оглянуто и оценено и потому понято» (*Воспоминания.* С. 113–114).

Как уже отмечалось, 18 июля 1921 г. Толстой сообщил Ященко о завершении романа в шестом, августовском, номере «Современных записок», где в конечном итоге были опубликованы главы с XXXV по XXXVIII, в которых описываются февральские дни в Петрограде и Москве. Вероятно, это и был первоначально планировавшийся хронологический предел романа, что нашло отражение во вступлении к изданию 1922 года: «Тремя февральскими днями, когда, как во сне, зашатался и рухнул византийский столп Империи, и Россия увидала себя голой, нищей и свободной, – заканчивается повествование первой книги» (Наст. изд. С. 6). Фактически же публикация романа была завершена в седьмом номере «Современных записок», вышедшем в октябре. Напечатанные там главы, с XXXIX по XLIII, видимо, и были написаны Толстым в августе 1921 г. В них вошли: сцена убийства Николая Ивановича Смоковникова; эпизод, рассказывающий об экспроприациях Жадова и компании; материал, связанный с жизнью Телегина и Даши, а затем и Кати в Петрограде; финальная сцена спора Телегина и Рощина о судьбе России[128].

В новом, августа 1921 г., финале произведения должны были быть намечены сюжетные линии, актуальные для продолжения романа, в частности, например, та, что своим источником имеет определенную антиномичность образов Телегина и Рощина. Как представляется, в связи с этим последний был существенно преображен автором в заключительных главах и в конечном итоге занял одно из центральных мест в повествовании. Ряд главных героев, Катя – Смоковников – Даша – Телегин, в результате смерти Николая Ивановича был заменен на: Катя – Рощин – Даша – Телегин. До финальных сцен Рощин появлялся на страницах романа лишь однажды, в XXV главе, во время московского житья сестер: «Одно время к сестрам ходил очень милый молодой человек, Рощин, только что выпущенный в прапорщики. Он был из хорошей, профессорской семьи, и Смоковниковых знал еще по Петербургу 〈…〉 Был он высок ростом, с большими руками и медленными движениями. Не спеша, присев к столу, он спокойным и тихим голосом рассказывал военные

---

[128] Остается открытым вопрос, планировал ли Толстой показ Октябрьского переворота во второй части трилогии, переместив всех основных героев из Москвы в Петроград. Как известно, роман «Восемнадцатый год» начинается с событий уже конца 1917 г.: «Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор – обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к “совести и патриотизму” русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки. Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с “Авроры”. Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы…» (V, 283).

новости». Далее следовали отъезд Рощина на фронт и указание на то, что с тех пор Катя «об уехавшем ⟨...⟩ не говорила ни слова, да и говорить-то было не о чем, – хватило бы только силы вырвать из сердца, забыть эту ненужную муку, возникшую в сумерки от не вовремя затосковавшего по любви глупого сердца». Потенциал характера этого персонажа романа здесь еще не вполне ясен. Возможно, на раннем этапе работы над текстом писатель готовил ему совсем другое будущее. Резко контрастен юноше из XXV главы Рощин последних глав романа. В день похорон Николая Ивановича Катя «увидела сидящего на диване большого человека в военной рубашке, бритая голова его была перевязана черным ⟨...⟩ Человек глядел на нее светлыми, расширенными, страшными глазами. Прямой рот его был сжат, на скулах надуты желваки». Уместность присутствия здесь именно такого Рощина, ставшего оппонентом Телегина в нелегком споре о судьбе России, с мрачным отчаянием и драматическим надрывом переживающего гибель страны и армии, несомненна.

В результате переосмысления Толстым образа этого героя в тексте романа возникли неминуемые противоречия, вполне объяснимые с точки зрения тех обстоятельств, в которых заканчивалось произведение. В XXV главе Рощин назван «только что выпущенным в прапорщики» (самый младший офицерский чин в царской армии). В заключительных сценах герой упоминает о том, что командовал полуротой («В солдате можно преодолеть страх смерти, я сам одним стеком останавливал полуроту и возвращал в бой»), тогда как командирами полурот обычно являлись офицеры не ниже поручика. Можно, конечно, предположить, что Рощин за время пребывания на фронте получил очередной чин, но в то, что он достиг за сравнительно короткий срок (Рощин отсутствовал в Москве чуть более года) таких высот военной карьеры, которые позволяют ему ехать из ставки и везти план спасения страны и армии военному министру, верится мало. Такой потенциал с самого начала не был заложен Толстым в характере персонажа, явленного читателю в столь разных ликах. Возникшие противоречия в образе Рощина были сняты Толстым только в изданиях романа конца 1920-х годов, где герой с самого начала был капитаном, откомандированным в Москву для приема снаряжения. Писатель отказался от его «профессорского» происхождения и знакомства со Смоковниковыми «по Петербургу». В дом, к обеду, Рощина привозил Николай Иванович из Городского союза. В применении к герою исчез эпитет «молодой», из высокого, «с большими руками и медленными движениями» он превратился в «худощавого, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом». Все это в большей степени соответствовало внутренней логике развития характера Рощина и его месту в структуре произведения.

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

> Зачем вы ищете живого между мертвыми? Зачем маловерствуете? Жива наша Россия, и ходит по ней, как и древле, русский Христос в рабьем поруганном виде, не имея зрака и доброты. Не тот, которого Блок показал, не «снежный и надвьюжный», но светлый ветроградарь в заветном питомнике Своем зовет Он тихим голосом: Мария! И вот-вот услышит заветный зов русская душа и с воплем безумной радости падет к ногам своего Раввуни… Кроме этой веры, кроме этой надежды ничего у нас более нет. Но русская земля это знает, и она спасет русский народ, по ней стопочки Богородицыны ступали…
>
> *С.Н. Булгаков. «На пиру богов»*

Название романа, на что уже неоднократно указывалось, восходит к названию популярного в древнеславянской письменности апокрифа «Хождение Богородицы по мукам», содержанием которого является описание мук грешников в аду. После молитвы на Елеонской горе Богородица, в сопровождении Архангела Михаила, приходит туда, где несут наказание не признававшие Господа, нарушавшие клятвы и заповеди. Сомневаясь в божественной справедливости их мучений, она трижды обращается к Господу с просьбой облегчить участь страдающих. Но лишь после того, как к мольбе Богородицы присоединяются все небесные силы (пророки, апостолы, евангелисты), Он соглашается дать грешникам временное облегчение. Их страдания отныне прекращаются от Великого четверга до Пятидесятницы.

На протяжении XIX в. текст апокрифа неоднократно воспроизводился в различных изданиях[129]. Довольно популярным чтением было «Хождение» в народной среде, особенно у старообрядцев с их восприятием окружающего мира как «царства Антихриста». Упоминается оно и в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (в главе пятой «Великий инквизитор» книги пятой «Pro и contra»), где настойчиво звучит тема богооставленности чело-

---

[129] См.: *Пыпин А.Н.* Древняя русская литература: Старинные апокрифы: Сказание о хождении Богородицы по мукам // Отечественные записки. СПб., 1857. № 11; Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 3; *Тихонравов Н.С.* Памятники отреченной русской литературы. М., 1863. Т. II; *Срезневский И.И.* Древние памятники русского письма и языка (X–XIV веков). СПб., 1863; и др.

века, ставшая особенно актуальной в первые десятилетия XX в. Собираясь прочесть брату Алеше свою поэму о Великом инквизиторе, Иван Карамазов говорит: «Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, – тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, – тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. ⟨…⟩ У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда – в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): "Хождение Богородицы по мукам", с картинами и со смелостью не ниже Дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее "по мукам" архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то "тех уже забывает бог" – выражение чрезвычайной глубины и силы»[130].

Не обошел вниманием тему богооставленности и Толстой. Ею отмечен в романе монолог «неизвестного строгого старичка в очках», старообрядца, попутчика Телегина по дороге из Москвы в Петербург, повествующего о забвении человека Богом и неминуемости «жестокой» расплаты:

> Содом, содомский город ⟨…⟩ три дня прожил у вас на Кокоревском подворье… Насмотрелся…⟨…⟩ На улицу выйдешь: люди туда-сюда, – что такое?.. По лавкам бегают, на извозчиках гоняют, торопятся… Какая причина? А ночью: свет, шум, вывески, все это вертится, крутится… Народ валит валом… Чепуха, бессмыслица!.. Господи, да это Москва… Отсюда земля пошла… А вижу я что: бесовская, бессмысленная беготня. Вы, молодой человек, в сражениях бывали, ранены?... Это я сразу вижу… Скажите мне старику, – неужели за эту суету окаянную у нас там кровь льется? Где отечество? Где вера? Где царь? ⟨…⟩ Попомните мое слово, молодой человек, – поплатимся, за все поплатимся, за то именно, что там, где человеку нужно тихо пройти, он раз тридцать пробежит… За эту бессмыслицу отвечать придется… ⟨…⟩ *Бога забыли, и Бог нас забыл*… Вот что я вам скажу… Будет расплата, ох, будет расплата жестокая… ⟨…⟩ Я говорю: Бог от мира отошел… Страшнее этого быть ничего не может… (Наст. изд. С. 194).

Контекст творчества Достоевского в романе Толстого закономерен и обусловлен характерной чертой времени. В конце 1910-х – начале 1920-х гг. в произведениях русского классика искали ответы на самые острые вопросы современности, щедро пользовались ссылками на темы и образы «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», «Бесов», особо подчеркивая пророческий смысл художественных текстов писателя. Н.А. Бердяев, посвятив одну из

[130] *Достоевский.* Т. 9. С. 309–310.

своих основополагающих статей о русской революции творчеству Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, рассмотренному сквозь призму революционных событий в России, писал: «...в Достоевском нельзя не видеть пророка русской революции. Русская революция пропитана теми началами, которые прозревал Достоевский и которым он дал гениально острое определение. Достоевскому дано было до глубины раскрыть диалектику русской революционной мысли и сделать из нее последние выводы. Он не остался на поверхности социально-политических идей и построений, он проник в глубину и обнажил метафизику русской революционности. Достоевский обнаружил, что русская революционность есть феномен метафизический и религиозный, а не политический и социальный»[131].

Самого Толстого с творчеством Достоевского связывали особые, непростые отношения. Свои штудии произведений Достоевского он начинал под руководством такого блистательного наставника, как И.Ф. Анненский[132], автора «Второй книги отражений» (СПб., 1909), где анализировалось творчество Гоголя, Достоевского, Лермонтова, Гейне и других. Летом 1909 г. из Коктебеля Толстой писал ему: «...недавно перечел второй раз, после “Преступления и наказания”, “Карамазовых” и “Идиота”, “Вторую книгу отражений” и увидел ясно и складки голой земли, и вот эти выжженные пропасти, и то, что, может быть, не хотел бы видеть. Читая, я облекаю мечтой недосказанное, скользну по-иному, то пойму так, как мне хочется, и вот я у себя дома в читаемом романе... Ваша книга ведет меня по голой земле, сжигая все покровы, и мне страшно заглядывать сквозь пустые глазницы в горячечный мозг, видеть на всех этих разлагающихся Свидригайловых иную, вечную улыбку. Хочется, чтобы они были только прохожими...»[133].

Темы, мотивы и образы произведений Достоевского сказались в содержании и художественной системе романа Толстого «Хромой барин» (1912), основной пафос которого был продиктован писателю идеями очистительного страдания, целительности любви, искупительной жертвы. Издателю Н.С. Клестову-Ангарскому в год публикации произведения Толстой писал: «...что касается Достоевского ⟨...⟩ то ведь он только конквистадор, открыв-

---

[131] *Бердяев Н.А.* Духи русской революции // Из глубины: Сб. статей о русской революции. М.; Пг., 1918. Цит. по: *Из глубины.* С. 63.

[132] С И.Ф. Анненским (1856–1909) – поэтом, критиком, переводчиком – Толстой познакомился в Петербурге в конце 1908 – начале 1909 г., возможно, на одном из собраний в журнале «Аполлон», в котором оба сотрудничали. В статье «О современном лиризме» Анненский высоко оценил стихи Толстого, вошедшие потом в сборник «За синими реками»: «Граф Алексей Толстой – молодой сказочник, стилизован до скобки волос и говорка ⟨...⟩ Но многие слышали его прелестную Хлою-Хвою. Ищет, думает; искусство слова любит своей широкой душой. Но лирик он стыдливый и скупо выдает пьесы с византийской позолотой заставок» (Аполлон. 1909. № 2. С. 25).

[133] *Переписка.* Т. 1. С. 153.

ший новую страну, а мы (и мы, грядущие) нахлынем ратью буйной и звенящей на девственную новую страну… Так вот, Запад, например, давно уже носит в потайном кармане Достоевского, а у нас пока отделываются блевотным романтизмом Арцыбашева и Куприна. По-моему, истинное искусство должно составиться из двух полярных элементов: Пушкина и Достоевского, и дай Бог тому колоссу, который, прийдя (а он еще не пришел), совместить в душе своей два эти полюса»[134]. Однако для самого Толстого в 1912 г. «Достоевский оказывается художником сверхмеры; мягкий лирический талант писателя не выдерживает мощного давления гения, оказывается раздавлен им»[135].

Тем не менее Толстой не оставляет вниманием творчество Достоевского. И, пожалуй, пик его интереса к наследию писателя приходится именно на первые пореволюционные годы. Так, он обращается к нему в статье «Нет!» (1919), написанной в пору интенсивной работы над романом «Хождение по мукам»:

> Я вспоминаю одно место из Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда Иван Карамазов, сидя в трактире с братом своим Алешей, спрашивает его, – согласился бы он, Алеша, для счастья всего человечества, для будущего золотого века, – если бы это, скажем, нужно было, – замучить маленького ребеночка, всего только одного ребеночка замучить до смерти, и только? Согласился бы он для счастья всего человечества в жертву принести эти детские муки?
>
> На это Алеша твердо, глядя в глаза, отвечает:
>
> – Нет!
>
> Большевики говорят:
>
> – Да![136]

Перекликается с идейно-художественными построениями Достоевского и одна из ключевых сцен «Хождения по мукам». Бегущий из плена Телегин останавливается в старой разрушенной часовенке. Его внимание привлекают деревянные скульптурные изображения Божьей Матери «в золотом венчике»

---

[134] Там же. С. 192–193.

[135] *Крюкова.* С. 178. Автор монографии так объясняет причину творческой неудачи писателя: «Все критики романа были согласны, что причиной ⟨…⟩ явилось прямое следование литературному образцу. Дело заключалось не в выборе “образца” для подражания, но в самой идее подражания, стремлении написать роман по чужим меркам, преступить границы собственных творческих возможностей…» (Там же. С. 179).

[136] Наст. изд. С. 287–288. Приводим текст этого фрагмента по источнику: «Скажи мне сам прямо, я зову тебя – отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачками в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги! – Нет, не согласился бы, – тихо проговорил Алеша» (*Достоевский.* Т. 9. С. 308).

и лежащего у нее на коленях Младенца, одетого в «ветхие ризки», с отломанной благословляющей рукой. Увиденное странным образом тревожит героя. Перекрестившись «мелким крестиком», он покидает часовню, но тут же, на ее пороге, встречает молодую, светловолосую женщину с ребенком на коленях:

> Она была одета в белую, забрызганную грязью, свитку. Одна рука ее подпирала щеку, другая лежала на пестром одеяльце младенца. Она медленно подняла голову, взглянула на Ивана Ильича, – взгляд был светлый и странный, исплаканное лицо ее дрогнуло, точно улыбнулось, и тихим голосом, просто, она сказала по-русински:
> – Умер мальчик-то (Наст. изд. С. 185–186).

Свершившимся фактом предстает здесь то, что было лишь намечено теоретическими построениями Ивана Карамазова, «гибнет духовное начало мира, и гибнет дитя человеческое: вот цена разрушения, его результат – уже не “слезинка ребенка”, но он сам»[137].

В поле зрения Толстого поэма Ивана Карамазова «Великий Инквизитор», центральное место в которой принадлежит разговору об искушениях Христа. Великий Инквизитор, называя их «настоящим громовым чудом», «ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы»[138], упрекает Христа в том, что тот отверг искушения и пытается доказать правоту искусителя. Перекликаются с текстом поэмы в романе «Хождение по мукам» монологи Акундина и Жадова (см. примеч. к гл. VII и XXIV), чем подчеркивается антихристовый, дьявольский характер революции, возведенной в статус сатанинского искушения.

Однако, насыщая текст своего романа аллюзиями на художественно-философскую систему Достоевского, писатель все время имеет в виду философию истории современников. Прежде всего, русских религиозных философов, работы которых стали связующим звеном между ним и великим мастером русской классической литературы. Так, само внимание Толстого к поэме «Великий Инквизитор» могло быть опосредовано историософскими взглядами Н.А. Бердяева[139], которого с Достоевским объединяло рассмотрение социализма как религии, противоположной христианству: «Религия социализма вслед за Великим Инквизитором принимает все три искушения, отвергнутые

---

[137] *Крюкова.* С. 246.

[138] *Достоевский.* Т. 9. С. 316–317.

[139] Об интересе Толстого к философским воззрениям Бердяева, «исповедовавшего религиозный эсхатологизм в понимании исторического развития», писала А.М. Крюкова: «Об этом свидетельствует, например, запись в дневнике Толстого 1916 г.: “Бердяев: Религия – откровение Бога, философия – откровение человека”, представляющая собою вывод из рассуждений философа, содержащихся в его статье “Философская истина и интеллигентская правда”. Писателю близка концепция Н. Бердяева о “целостном мировоззрении”, в котором органически сливаются истина и добро, знание и вера» (*Крюкова.* С. 212).

Христом в пустыне во имя свободы человеческого духа. Религия социализма принимает соблазн превращения камней в хлеб, соблазн социального чуда, соблазн царства этого мира»[140].

Пореволюционное творчество Толстого обнаруживает точки соприкосновения и с другими концептуальными положениями работ этого философа о сущностной природе русской революции, публиковавшихся на протяжении 1917–1918 гг. в московской периодической печати и впоследствии объединенных автором в сборник «Духовные основы русской революции. Опыты 1917–1918 гг.»[141]. Писателя с Бердяевым сближает отношение к большевизму как к «экспериментальной, опытной проверке социализма», «чудовищному эксперименту», который «должен глубже заставить задуматься над жуткой проблемой социализма тех, которые этически не только принимали, но и требовали социализма»; к революции как к следствию «старых грехов», «расплате за прошлое», болезни, «которая имеет свое неотвратимое течение» и «должна быть изжита до конца»[142].

Мотив греховности той жизни, которой живут герои, звучит в «Хождении по мукам» достаточно сильно. Не случайно одно из наиболее часто употребляемых слов в тексте – грех. Грех осознают или смутно чувствуют все главные герои романа, начиная с Даши, переживающей как греховные и жизнь сестры с мужем, и собственное чувство к Бессонову, и даже любовь к Ивану Ильичу; и заканчивая Николаем Ивановичем, написавшим жене: «Да, Катя, мы все в нравственном тупике. За последние пять лет у меня не было ни одного сильного чувства, ни одного крупного движения. Даже любовь к тебе и женитьба прошли точно впопыхах. Существование – мелкое и полуистерическое, под непрерывным наркозом» (Наст. изд. С. 61). Война и революция в романе приходят в жизнь людей как расплата, как наказание, как кара, но они же связаны с новыми грехами, в частности с грехом убийства и грехом нарушения Божественного миропорядка. Одним из аспектов последнего предстает в романе, обсуждаемая Жадовым, Гвоздевым и Филькой революционная идея равенства, или «мировой справедливости».

К воплощению в жизнь идеи всеобщего равенства как одной из характерных черт русской революции[143] Бердяев обращался не раз на протяжении по-

[140] *Из глубины*. С. 69.

[141] Сборник, куда вошли статьи с апреля 1917 по октябрь 1918 г., не был напечатан при жизни Бердяева ни в России, ни за ее пределами. Предисловие к нему, «Пореволюционные мысли», философ написал в первую годовщину Октябрьского переворота.

[142] *Бердяев Н.А.* Духовные основы русской революции: Опыты 1917–1918 гг. СПб., 1998. С. 5–15.

[143] «Свобода и равенство – разные боги и глубоко враждебны друг другу, – писал Бердяев. – В революциях всегда торжествует бог равенства, а не бог свободы, происхождение революций плебейское. Но никогда еще в мире не было такого беспредельного торжества бога равенства, как в русской революции» (Там же. С. 15).

революционных лет. В статье «Кто виноват?» (1917)[144] он писал: «В русской революции собирается жатва исконного и застарелого русского нигилизма ⟨...⟩ Нигилистические настроения и идеи в массах дают страшные результаты. Русский революционный социализм по духовным основам своим насильнический, материалистический и атеистический, и этот отрицательный пафос доведен в нем до какой-то лжерелигии. Русский нигилистический социализм одержим жаждой равенства во что бы то ни стало. Этот соблазн абсолютного равенства ведет к истреблению всех качеств и ценностей, всех возвышений и подъемов, в нем – дух небытия. Бытие зачалось в неравенстве, в возвышении качеств, в индивидуальных различиях. В нем звезда от звезды различествует во славе. Погашение всех качественных различий и всех возвышений было бы возвратом к прежнему небытию, которое есть совершенное равенство, полное смешение»[145].

Толстой, выстраивая полемический диалог Жадова и Гвоздева, выносит на первый план не абстрактную возможность возвращения в пучину небытия, а вполне конкретную перспективу нивелировки человеческой личности («Куда же вы сунетесь тогда с вашей личностью? – вам просто срежут голову, чтобы она не торчала слишком высоко»), необходимость «перестройки всего мира, государства, морали» («Земной шар придется вывернуть наизнанку, чтобы хоть немного приблизиться к той истине, которая кровавым пламенем загорится в массах народа. – Справедливость!»). Отозвались в тексте романа и усвоенные Толстым взгляды М.А. Волошина на идею равенства, «самую жестокую и самую цепкую из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом»: «Когда она вселяется в сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга. Самые мягкие сердца она обращает в стальной клинок и самых чувствительных людей заставляет совершать зверства»[146], – все это претворено писателем в реплики Жадова о «фонтанище крови», сопровождающем воплощение «высоких» идей в жизнь.

---

[144] Впервые опубл.: Русская свобода. 1917. 30 авг. № 18/19. С. 3–8.

[145] Цит. по: *Бердяев Н.А.* Духовные основы русской революции: Опыты 1917–1918 гг. С. 143. Первой книгой, опубликованной Бердяевым после высылки из России, был труд «Философия неравенства» (Берлин: Обелиск, 1923), над которым он работал в 1918 г. В автобиографии 1940 г. Бердяев вспоминал о ней: «В самом начале 18 года я написал книгу “Философия неравенства”, которую не люблю, считаю во многом несправедливой и которая не выражает по-настоящему моей мысли. Одни укоряли меня за эту книгу, другие за то, что я отказался от нее. Но должен сказать, что в этой совершенно эмоциональной книге, отражающей бурную реакцию тех дней, я остался верен любви к свободе. Я так же и сейчас думаю, что равенство есть метафизически пустая идея и что социальная правда должна быть основана на достоинстве каждой личности, а не на равенстве» (*Бердяев Н.А.* Собр. соч. Париж, 1990. Т. 4: Духовные основы русской революции: Философия неравенства. С. 5–6).

[146] *Волошин М.А.* Пророки и мстители: Предвестия Великой Революции (1906). Цит. по: *Волошин М.А.* Лики творчества. Л., 1988. С. 193.

О том, насколько был важен для Толстого этот аспект произведения, свидетельствует факт публикации осенью 1920 г. его рассказа «Диалоги», написанного по следам соответствующего текста романа. В споре участвуют трое, и один из них, «высокий» и «худой», отстаивая идею равенства, поминает все того же «Михрютку», говорит об «уравнении людей» во время «европейской войны» и средствах воплощения революционных идей в жизнь. В рассказе 1920 г. текст романа дополнен богоборческими мотивами, возникающими в связи с обсуждением противоестественности всеобщего равенства:

> В природе нет повторений, люди не равны по самой природе, – какое же равенство? Разве что перед смертью, так ведь мы жизнь строим, а не кладбище.
>
> – Вот именно, – оборачиваясь от окна и взмахивая выше головы указательным пальцем, закричал худой, – именно от того, что это противоестественно, что этого нет в природе, что это выше природы, оттого это так дьявольски и сильно. Спастись можно от урагана, от отравленных газов, но от идеи, которая замахивается выше Бога, нет спасения»[147].

Ощутима связь романа «Хождение по мукам» и со статьей С.Н. Булгакова «На пиру богов (Pro и contra. Современные диалоги)», написанной весной 1918 г. и предназначенной для сборника статей о русской революции «Из глубины», инициатором и издателем которого был П.Б. Струве. Среди авторов книги большинство составляли участники аналогичного издания – «Вехи», вышедшего в 1909 г. В предисловии Струве писал: «Сборник “Вехи” ⟨…⟩ был призывом и предостережением. Это предостережение, несмотря на всю вызванную им, подчас весьма яростную полемику, явилось на самом деле лишь робким диагнозом пороков России и слабым предчувствием той моральной и политической катастрофы, которая грозно обозначилась еще в 1905–1907 гг. и разразилась в 1917. Историк отметит, что русское образованное общество в своем большинстве не вняло обращенному к нему предостережению, не сознавая великой опасности, надвигавшейся на культуру и государство»[148]. Сборник «Из глубины» предполагалось выпустить в 1918 г. (этот год стоит на титульном листе книги), но в продажу он поступил только в 1921. Однако статья Булгакова стала известна современникам гораздо раньше. 31 мая 1918 г. автор читал ее на заседании московского Религиозно-философского общества. Дважды «На пиру богов» выходила отдельной брошюрой: в 1918 г. в Киеве (в издательстве «Летопись») и в 1920 г. в Софии (в Российско-болгарском издательстве). Толстому, жившему во второй половине 1918 г. в Одессе, скорее всего было известно киевское издание статьи Булгакова. «На пиру богов» в жанровом и содержательном плане, видимо, сознательно ориенти-

---

[147] Наст. изд. С. 292.
[148] *Из глубины*. С. 19.

рована автором на «Три разговора» В.С. Соловьева[149]. В подзаголовок статьи вынесено название пятой книги романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», «Pro и contra», а в эпиграф ко всему сочинению – заключительная строфа стихотворения Ф.И. Тютчева «Цицерон» (1830).

Отзвуки булгаковской статьи слышны в речи Акундина на заседании «Философских вечеров» (когда он говорит о русском мужике как «точке приложения идей»), в общей оценке футуризма как «предвестия» большевизма. Но что более существенно, форма статьи Булгакова повлияла на композиционную структуру романа, насыщенного полемическими диалогами героев, чем подчеркивается дискуссионный характер эпохи, объективированный взгляд на которую рождался в результате пересечения различных точек зрения на нее. Композиционными центрами произведения стали диалоги Акундина и Бессонова о сущностной природе революции, Жадова и Гвоздева о центральных революционных идеях, Телегина и Рощина о судьбе пореволюционной России. Подзаголовок статьи «Современные диалоги» предопределил название упоминавшегося выше рассказа писателя «Диалоги».

Т.Н. Фоминых, исследуя тему Первой мировой войны в прозе русского зарубежья, указала на родственность психологического рисунка образа одного из героев романа Толстого, Аркадия Жадова, «милитаристского варианта сверхчеловека», философским постулатам Ф.Ницше и его предшественника М. Штирнера, работа которого «Единственный и его собственность» (1845) была особенно популярна в России начала века. «В “философском” кредо Жадова, – пишет она, – отчетливо звучали вариации на темы программных положений Штирнера, призывавшего выявлять то, что заложено в личности природой, порицавшего тысячелетнюю культуру за то, что она затмила от человека самого себя, считавшего, что “равенство всех – лишь призрак”, что “единичное лицо как таковое” для государства “безразлично” 〈...〉 “Государство старается обуздать слишком жадных”, – думал эгоист Штирнера. 〈...〉 Трудно удержаться, чтобы не прочитать фамилию героя как свидетельство сознательной авторской ориентации образа нигилиста на известный культурный прецедент»[150]. Возведение анархизма в своих истоках к построениям Штирнера стало отличительной чертой русской общественной мысли первых десятилетий XX в. Контекст ориентации Толстого на концептуальные положения немецкого философа достаточно широк. Упомянем лишь Бердяева, который, анализируя анархизм как явление современной русской революционной действительности, также прибегал к примеру М. Штирнера: «Макс Штирнер, самый крайний и интересный из философов анархизма, написал книгу “Единственный и его собственность”. Всё, весь мир признает

---

[149] См. об этом: *Зандер Л.А.* Бог и мир: (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). Париж, 1948. Т. 1. С. 46–47.

[150] *Фоминых*. С. 90–92.

Макс Штирнер собственностью "единственного". Но это страшный самообман. В действительности, он ограбил "единственного", он лишил его всякой собственности. "Единственный" – духовный пролетарий, у него нет ничего своего, все духовные реальности и духовные ценности – не его, чужие и потому ненавистны ему. "Единственный" живет в пустыне, в страшной духовной пустыне. Он не только на "ничто" строит своё дело, но и "ничто" есть содержание его жизни, цель жизни. И все вы, революционные анархисты, такие же духовные пролетарии, как "единственный" Штирнера, такие же убогие, такие же пустые, такие же оторванные и отрезанные от всех источников духовной жизни и духовных богатств»[151].

III. ГЕРОИ И ПРОТОТИПЫ

> Бывает так, и это самое чудесное в творчестве, – какая-то одна фраза, или запах, или случайное освещение, или в толпе чье-то лицо падают как камень в базальтовое озеро, в напряженный потенциал художника, и создается картина, пишется книга, симфония.
>
> Персонажи (в романе или пьесе) должны жить самостоятельной жизнью. Их только подталкиваешь к задуманной цели. Но иногда они взрывают весь план работы, и уже не я, а они начинают волочить к цели, которая не была предвидена. Такой бунт персонажей дает лучшие страницы.
>
> *А.Н. Толстой. «О творчестве»*

Называя «Хождение по мукам» «борьбой или преодолением импрессионистского восприятия истории», Толстой уточнял: «Это роман не исторический. Это есть ощущение эпохи личное»[152]. Со многими своими героями автор связан фактами собственной биографии. Автобиографичны в произведении военные маршруты Телегина осени 1914 г., его профессия[153], посеще-

---

[151] *Бердяев Н.А.* Собр. соч. Т. 4: Духовные основы русской революции: Философия неравенства. С. 500.

[152] Цит. по: *Щербина В.Р.* А.Н. Толстой: Творческий путь. М., 1956. С. 31.

[153] Петербургский Технологический институт Толстой так и не окончил, всецело отдавшись литературному творчеству. В одной из своих автобиографий он писал: «В 1908 году напечатал первый рассказ в "Ниве". Потом, в один серенький денек, оказалось в моем кошельке сто рублей на всю жизнь (и неоконченный институт), и, не раздумывая, я кинулся в мутные воды литературы» (X, 140–141).

ние Антошкой Арнольдовым Генерального штаба, а также некоторые упоминаемые в «Хождении по мукам» московские и петербургские адреса. Так, в московской церкви «Николы на Курьих Ножках», у которой останавливаются Даша Булавина и Иван Телегин, чтобы посмотреть «через низенькую ограду на затеплившийся свет в глубоком окошечке», весной 1917 г. венчались Алексей Толстой и Наталия Крандиевская. В районе Васильевского острова в Петербурге, месте обитания футуристов, Толстой не только жил непродолжительное время[154], но и, будучи студентом Технологического института, навещал своего дальнего родственника К.П. Фан-дер-Флита, приобщавшего юношу к творчеству символистов: «В Петербурге я ходил к одному человеку (кажется, он служил в Министерстве путей сообщения) – Константину Петровичу ⟨...⟩ Он познакомил меня с новой поэзией, – Бальмонтом, Вячеславом Ивановым, Брюсовым ⟨...⟩ Он говорил о них, выворачивая губы, по штукатуренным стенам металась его усатая, бородатая тень, – он черт знает что говорил. На верстаке, рядом с лампой, стояла построенная им модель четвертого измерения. Закутываясь дымом, он впихивал меня в это четвертое измерение» (X, 140)[155]. Уже в романе Толстого середины 1910-х годов, «Егор Абозов», как потом в «Хождении по мукам», Васильевский остров – территория нового искусства. Здесь живет приятель главного героя произведения, дверь в квартиру которого «запачкана красками; они лежали на ней полосами, кляксами и мазками». «Я вытираю кисти о дверь, когда прихожу, – объясняет хозяин. – Это ей придает живописный вид и бесит моих соседей» (II, 496).

Прототипами целого ряда героев «Хождения по мукам» выступают близкие Толстому люди, известные современники писателя. Склонность автора романа к созданию образов, основанных на характерах реальных лиц, проявилась довольно рано, что было отмечено современниками. После публикации повести Толстого «Заволжье» саратовский писатель А.А. Смирнов сообщал А.М. Горькому: «В той же книжечке “Шиповника” “Заволжье” гр. Алексея Н. Толстого, – прочтите, коли попадется. По-моему, талантливо. Это – Алеша, – эдакий увалень был, – сын Александры Леонтьевны Бостром ⟨...⟩ Теперь увалень – модернист. Похабные стихи пишет. Их не одобряю – художество. А “Заволжье” понравилось. Описал, видимо, тетку, дядю и прочих сродственников симбирских Тургеневых»[156].

---

[154] На протяжении 1900-х годов Толстой по крайней мере дважды жил в районе Васильевского острова: в январе–феврале 1902 г. по адресу: Васильевский остров, третья линия, д. 16, кв. 12; в сентябре 1904 – Васильевский остров, одиннадцатая линия, д. 46, кв. 5 (см. об этом: *Алексей Толстой и Самара.* С. 361, 363).

[155] См. также: «С их творчеством, – Вячеслав Иванов, Бальмонт, Белый, – впервые меня познакомил чиновник министерства путей сообщения и яхтсмен Константин Петрович Фан-дер-Флит, – чудак и фантазер. По ночам у себя в мансарде на Васильевском острове, при свете керосиновой лампы, он читал мне стихи символистов и говорил о них с неподражаемым жаром фантазии» (I, 42).

[156] Архив Горького. Кг-п 73–1-1.

В художественных образах главных героинь романа, сестер Кати и Даши Булавиных, воплотились черты Наталии Васильевны и Надежды Васильевны Крандиевских[157]. Наталия Васильевна Крандиевская (1888–1963), которой было посвящено первое отдельное издание «Хождения по мукам»[158], стала женой писателя в декабре 1914 г.[159] Они вместе пережили Первую мировую войну, революцию, эмиграцию, возвращение в Советскую Россию. Толстой писал в 1923 г.: «Война и женитьба на Наталии Васильевне Крандиевской были рубежом моей жизни и моего творчества. Я ушел от литературных кружков и коснулся жизни. Моя жена дала мне знание русской женщины»[160].

Наталия и Надежда Крандиевские, дочери Василия Афанасьевича Крандиевского, редактора-издателя журнала «Бюллетени жизни и литературы», и писательницы Анастасии Романовны Крандиевской (урожд. Кузьмичева; до замужества носила фамилию отчима – Тархова), выросли в Москве, в доме, где частыми гостями были известные писатели, издатели, журналисты. Старшую сестру дома звали Тусей, младшую – Дюной. Наталия Васильевна с детских лет писала стихи и со временем стала довольно известной поэтессой[161]. Ее поэзию ценили А.М. Горький, А.А. Ахматова, О.Д. Форш, другие современники. По мнению критиков, в раннем творчестве Крандиевской чувствовалось влияние И.А. Бунина, который, как она потом писала, руководил ее первыми литературными шагами[162]. Сам Бунин вспоминал: «Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве 〈…〉 Я просто поражен

---

[157] Тема сестер звучала в творчестве Толстого и раньше, например в рассказах «Любовь» (1916) и «Миссис Бризли» (1916), написанных также после знакомства с Крандиевскими. О рассказе «Любовь» Л.М. Поляк писала, что он был «по своему основному типажу своеобразным подготовительным этюдом к роману 〈…〉 Любящие друг друга сестры Маша и Зюм напоминают Дашу и Катю, “уютный”, “косолапый”, “какой-то свой” инженер Егор Иванович – прообраз Телегина, а в муже Маши – профессоре международного права, с его медленными жестами и наглухо застегнутым сюртуком, угадывается будущий Смоковников» (*Поляк Л.М.* Алексей Толстой – художник. М., 1964. С. 151–152). На то же указывал и один из рецензентов романа: «Этот небольшой, но полный движения, рассказ 〈«Любовь»〉 вспоминался мне все время, когда я читал “Хождение по мукам”» (Руль. 1922. 30 июля. № 506. С. 9).

[158] См. авторское «Предисловие» к настоящему изданию: «Книги этой трилогии я посвящаю Наталии Крандиевской-Толстой».

[159] Венчание Толстого и Крандиевской состоялось в мае 1917 г. в Москве. Шаферами молодых были профессор В.В. Каллаш, писатель И.А. Новиков, философ Г.А. Рачинский и приятель Алексея Николаевича, В.Ю. Мусин-Пушкин. В том же году у Толстых родился сын Никита, позже, уже в эмиграции, в 1923 г. – сын Дмитрий.

[160] *Переписка.* Т. 1. С. 215.

[161] При жизни Крандиевской вышло три сборника ее стихов: «Стихотворения» (М., 1913), «Стихотворения. Кн. 2» (Одесса, 1919), «От лукавого» (Москва; Берлин, 1922).

[162] См.: *Крандиевская.* С. 35–44.

был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр»[163]. В «Хождении по мукам» отозвались такие факты биографии Крандиевской, как ее брак с известным адвокатом Ф.А. Волькенштейном и уход от него к Толстому; служба, вместе с младшей сестрой, в одном из московских госпиталей в годы Первой мировой войны[164]. Но, пожалуй, более всего образ Кати Булавиной-Смоковниковой ориентирован на человеческую привлекательность и притягательность внутреннего, духовного облика старшей из сестер Крандиевских. Так, Горький, выделяя Наташу, называл ее, еще девочку, «премудрая и милая Туся», а много лет спустя писал о Наталии Васильевне: «…симпатия моя к ней не остывает ни на единый градус в течение 43 лет нашего с ней знакомства»[165]. «Особую прелесть и очарование» облика Крандиевской отмечал и А.П. Шполянский[166].

Младшая из сестер, Надежда Васильевна Крандиевская (1891–1962), скульптор, послужила прототипом Даши Булавиной. Художественное образование Надежда Васильевна получила на скульптурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В 1913–1914 гг. занималась в Париже, в мастерской классика французской скульптуры Бурделя. В 1914 г. вернулась в Россию, где много и плодотворно работала. Участвовала в выставках «Союза русских художников», групп «Мир искусства», «Жар-цвет» и др. Среди скульптурных работ Н.В. Крандиевской портреты Марины Цветаевой и Алексея Толстого, которого она хорошо знала. В «Хождении по мукам» отразилась история отношений Надежды Крандиевской с ее будущим мужем, Петром Петровичем Файдышем, впоследствии талантливым архитектором[167]. Крандиевская и Файдыш познакомились в Училище живописи, ваяния и зодчества, где оба учились. В годы Первой мировой войны Петр Петрович добровольцем ушел на фронт, был награжден Георгиевским

---

[163] *Бунин*. Т. 9. С. 422.

[164] См. в дневнике Толстого 1917 г.: «Нат⟨аша⟩ и Над⟨ежда⟩ Вас⟨ильевна⟩ ходят за ранеными двумя мужиками, они сразу изменились, оздоровила жизнь девушек. Играют в дурачки. Загадывают загадки. Солдат предлагал поджечь порох на ладони. Водят брить – “шерсть снять”» (*Материалы и исследования*. С. 321). См. также в воспоминаниях Н.В. Крандиевской: «Я записалась сестрой в лазарет при Скаковом об-ве. Раненых ожидали со дня на день. Помню, я прилаживаю косынку перед зеркалом, когда меня вызвали в переднюю. В дверях стоял Толстой, загорелый, похудевший, сосредоточенно-серьезный» (*Крандиевская*. С. 84).

[165] Литературное наследство. М., 1963. Т. 70: Горький и советские писатели: Неизданная переписка. С. 408.

[166] *Дон-Аминадо*. С. 240.

[167] О подробностях романа Надежды Крандиевской с Файдышем Толстой знал, видимо, со слов Наталии Васильевны. Об этом свидетельствует одна из записей в дневнике писателя: «Наташа сказала про Дюну: если он (Файдыш) не приедет, Дюнка обидится и полюбит еще сильнее» (*Материалы и исследования*. С. 340).

крестом за храбрость, некоторое время находился в плену[168]. Вновь встретившись, Надежда Васильевна и Файдыш поженились. Их дочь, Н.П. Навашина-Крандиевская, вспоминала об отце: «Водил в атаку солдат, но считал из-за своих религиозных убеждений невозможным убивать людей и стрелял метко поверх голов[169]. Был тяжело ранен в бедро. ⟨...⟩ Отец мой был человек необыкновенного благородства. Внешне напоминал англичанина. ⟨...⟩ Он был прообразом Телегина в романе "Хождение по мукам" ⟨...⟩ В ШЖВЗ мама и отец часто виделись. Она рассказывала, что была поражена ослепительной красотой молодого человека в голубом пиджаке, с ярко-золотыми волосами и мужественным лицом. Петр Петрович сразу влюбился в Надежду Крандиевскую, но поженились они через несколько лет, уже в Первую мировую войну»[170].

Об отношении Толстого к главным героиням своего романа вспоминала Наталия Васильевна Крандиевская. На ее вопрос, кого из двух сестер он любит больше, писатель ответил: «Вот уж не знаю ⟨...⟩ Катя – синица, Даша – козерог, как тебе известно». «В лексиконе нашем, – уточняла далее автор воспоминаний, – "козерог" и "синица" были обозначением двух различных женских характеров. Непростота, самолюбивый зажим чувств, всевозможные сложности – это называлось "козерог". Женственность, ясная и милосердная, это называлось, – "синица". Мы поняли друг друга и посмеялись. Потом он сказал, что очень озабочен дальнейшей судьбой сестер[171]. Одну надо провести благополучно через всю трилогию (Дашу), другая должна кончить трагически (Катя). Но ему по-человечески жаль губить Катю»[172].

Одним из прототипов образа Алексея Алексеевича Бессонова в романе стал поэт Александр Александрович Блок. Толстой познакомился с ним лично в 1910 г.[173] в доме С.М. Городецкого. С.И. Дымшиц-Толстая писала в своих

---

[168] Толстой пользовался рассказами Файдыша о войне в своих произведениях. Дневниковая запись писателя: «Рассказ Файдыша об офицере, игравшем в карты в блиндажной землянке, – он наиграл целую кучу и вышел. Пуля убила его, в лоб. Нашел денщик. Офицеры собрали долги, послали жене убитого» (*Материалы и исследования.* С. 340), – нашла отражение в «Рассказе проезжего человека» (1917).

[169] Возможно, отголоском этого в романе является разговор Телегина и рядового Зубцова о грехе убийства на войне.

[170] *Навашина-Крандиевская Н.П.* Облик времени: Автомонография. М., 1997. С. 42–43.

[171] Разговор между Толстым и Крандиевской происходил в ту пору, когда Толстой уже принял решение о продолжении романа.

[172] *Крандиевская.* С. 205.

[173] В поле зрения Блока Толстой попал много раньше. В «Литературных итогах 1907 года», раскритиковав книгу «Утренние звоны» молодого поэта Владимира Ленского, Блок писал: «Кстати, надеюсь, что "Владимир Ленский" – псевдоним, правда, немного слишком ответственный, но уж тут не нам судить. Мы не удивимся, если на днях выйдут "Вечерние шумы" самого Александра Пушкина, тем более что недавно вышла новая книга стихов ⟨"Лирика"⟩ нового поэта – графа Алексея Толстого» (*Блок (2).* Т. 5. С. 231).

воспоминаниях: «У Городецкого мы неоднократно встречали Александра Блока, на вид всегда несколько замкнутого, охотно читавшего вслух свои стихи, читавшего их с потрясающей простотой и искренностью, без малейшей рисовки, без какой бы то ни было декламационности. У нас Блок не бывал, с Алексеем Николаевичем у него не было близких отношений. В литературной среде многие считали Блока высокомерным и холодным человеком»[174]. Тем не менее, несмотря на отсутствие «близких отношений», Блок и Толстой встречались в домах общих знакомых.

Пожалуй, самым известным отзывом Блока о творчестве писателя является дневниковая запись поэта о пьесе Толстого «Насильники» (1913): «Хороший замысел, хороший язык, традиции – все испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры. По-видимому, теперь его отравляет Чулков: надсмешка над своим, что могло бы быть серьезно, и невероятные положения: много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но, пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из "трюков" (как нашептывает Чулков, – это, впрочем, мое предположение только), – будет он бесплодной смоковницей. Все можно кроме одного, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение всего, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение одного – той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются»[175].

Об отношении Толстого к Блоку мы можем судить, в основном, из свидетельств современников писателя. Так, литературовед А.Л. Дымшиц рассказывал: «Я подарил Толстому подготовленный мною томик стихотворений Сергея Есенина ⟨…⟩ "Вы верно пишете о влиянии Блока на Есенина, именно Блока "Стихов о России"", – заметил Алексей Николаевич». И далее: «Он говорил об этих стихах в самых возвышенных выражениях, как о "школе патриотизма", как о "поэзии первой любви к отчизне". Потом ⟨…⟩ вспомнил стихотворение "Грешить бесстыдно, непробудно…", прочитал на память начало, прочитал конец ("Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне") и стал

---

[174] *Воспоминания*. С. 68. Далее Софья Исааковна пишет о своем личном восприятии Блока: «Мне всегда казалось, что так судят те, кто лишь внешне воспринимает людей, что на самом деле Блок должен был быть человеком глубоких и нежных чувств. Через много лет я нашла тому подтверждение на собственном примере, когда прочла в его дневниках следующую запись, относящуюся к октябрю 1911 года и описывающую одну из наших встреч у Городецких: "Безалаберный и милый вечер… Толстые – Софья Исааковна похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота". Этот тонкий и человечный человек заметил во мне то, что не заметил бы погруженный в себя эгоист: большую духовную перемену, которую вызывает в женщине радость материнства. Да, за два месяца до этой встречи я стала матерью» (Там же).

[175] *Блок (2)*. Т. 7. С. 221.

говорить о том, что так любить Россию нам нельзя...»[176]. На прямой вопрос Дымшица: «Алексей Николаевич, скажите, Бессонов – это, по-вашему, Блок?» – писатель ответил: «Ну что вы! Конечно нет. Если бы это был Блок, то я был бы пасквилянтом. Бессонов – фигура собирательная и сборная. Он, во-первых, тип, а во-вторых, в нем собраны черты многих людей, которых я знал и наблюдал. Есть в нем, между прочим, и кое-что от Блока. Но, разумеется, не настолько, чтобы можно было говорить о пасквилянстве»[177].

«Кое-что от Блока», начиная с портретного сходства и мотивов произведений поэта до фактов его биографии, отразившихся в романе, составляет существенную часть художественного образа Алексея Алексеевича Бессонова. Уже при первом его появлении во второй главе «Хождения по мукам», на заседании общества «Философские вечера», в характерно обрисованном портрете героя угадывается Блок, а камертон образа – «худое матовое лицо» – отсылает к известному стихотворению И.Ф. Анненского «К портрету А.А. Блока»:

Под беломраморным обличьем андрогина
Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез.
Стихи его горят – на солнце георгина,
Горят, но холодом невыстраданных слез[178].

В романе упоминается, применительно к Бессонову, один из реальных петербургских адресов Блока, «где-то около Каменноостровского проспекта» (Малая Монетная улица, дом 9), и находят отражение отношения поэта с оперной певицей Любовью Александровной Дельмас («актрисой с кружевными юбками»), вдохновившей его на стихотворный цикл «Кармен». Немаловажное место в структуре произведения занимают мотивы стихов Блока: цикла «Возмездие» и поэмы с одноименным названием; в размышлениях Бессонова накануне гибели слышны отзвуки блоковского увлечения скифством («Натянув попону до подбородка, Алексей Алексеевич глядел в мглистое, лихорадочное небо, – вот он – конец земного пути: мгла, лунный свет и,

---

[176] *Воспоминания*. С. 335. О том же писал в воспоминаниях об отце и сын писателя Д.А. Толстой: «Помню зимний вечер в Барвихе в 1940 году, когда я заговорил с отцом о стихах. Шел разговор о Пастернаке. Отец помешал угли кочергой и сказал: “Единственный гениальный поэт нашего века – это Блок. Хочешь я тебе почитаю Блока? Принеси томик из библиотеки. Или нет, почитай лучше сам”. Он говорил тогда о Блоке с подлинным восторгом, и я как-то вдруг осознал степень его почитания. Я спросил с недоумением, как же мог он, так любя поэта, вывести его в Бессонове. “Бессонов – это собирательный образ, это больше последователи Блока, нежели он сам”, – ответил он. Но я не вполне поверил ему. Уж слишком похож Бессонов на Блока, даже внешне» (*Толстой Д.А.* Для чего все это было: Воспоминания. СПб., 1995. С. 52).

[177] Там же. С. 340.

[178] Предположительно, стихотворение обращено к портрету А.А. Блока, выполненному в 1907 г. К.А. Сомовым.

точно колыбель, качающаяся телега; так, обогнув круг столетий, снова скрипят скифские колеса»).

Одиночество и пессимизм героя «Хождения по мукам» («У меня раньше оставалась еще кое-какая надежда… Ну, а после этих трупов и трупов все полетело к черту… Создавалась какая-то культура, – чепуха, бред… Действительность – трупы и кровь, – хаос 〈…〉 у меня вот уже больше года отвращение к бумаге и чернилам…») соотносятся с памятными Толстому настроениями поэта, о которых он писал в 1922 г. К.И. Чуковскому: «…в жизни Европы решающую роль должна сыграть Россия. Оттуда, из России, должно подуть спасительным забвением смерти. Вы помните очень давнишнее настроение А.А. Блока, когда он сидел дома с выключенным телефоном, – у него было безнадежное уныние бессмыслицы, в каждом лице он видел очертание черепа. Вот так же и в Европе: – заперта дверь, и выключен телефон с жизнью»[179]. Знал автор романа и о пристрастии Блока к синему цвету[180], решив в соответствующей цветовой гамме сцену прихода Даши Булавиной к Алексею Алексеевичу Бессонову. Их встрече предпосланы опустившиеся на город «синие сумерки» и сопутствует «спокойный полусвет», которым наполнил комнату засветившийся «синий абажур». «Прозрачно-бледным с синевой под веками» написано и лицо Бессонова.

Образ Акундина, искусителя Бессонова, заставляет вспомнить о близком Блоку критике и публицисте Р.В. Иванове-Разумнике, основоположнике, теоретике и организаторе общественно-литературной группы «Скифы», заявившей о себе двумя одноименными сборниками (1917 и 1918 гг.) и политически тяготевшей к партии левых эсеров. Своеобразным манифестом группы стало пронизанное романтическими настроениями введение к первому сборнику, где уделом «мятущихся духовных “скифов”» провозглашалась «неудовлетворенность и непримиримость», а «проповеди тихого, умеренного приятия жизни, тихого, размеренного житейского горения» противопоставлялась «вечная революционность» исканий «непримиренного и непримиримого духа», «благоразумию» – «святое безумие». Все «скифы» (в группу входили А. Белый, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, А.М. Ремизов,

---

[179] *Переписка.* Т. 1. С. 314. 11 июня 1912 г. Блок записал в дневнике: «Я все еще не могу вновь приняться за свою работу – единственное личное, что осталось у меня в жизни, так как ужасы жизни преследуют меня… Справлюсь – одна надежда. Пока же – боюсь проклятой жизни, отвожу от нее глаза 〈…〉 я стал одинок, и стало мне опять не переварить этой пакости, налезшей на меня… Боюсь жизни» (*Блок (2).* Т. 7. С. 149).

[180] Ср. в мемуарах В.В. Каменского «Путь энтузиаста» (1931): «Я бывал у Блока на квартире, на Галерной улице, и уходил от него с болью: вот, мол, какой он громадный, культурный поэт, а живет, будто на пустынном острове – в своем тихом синем кабинете, под большим синим абажуром и на письменном столе – синие конверты. И сам Александр Александрович одет в синюю блузу с байроновским воротником» (*Каменский.* С. 441).

Е.И. Замятин, О.Д. Форш, М.М. Пришвин и др.)[181] были едины во мнении, что революция – это начало нового мира, начало Царствия Божьего на земле, а духовный максимализм, катастрофизм и динамизм скифства, соединившись с достижениями русской революции, должны открыть новый путь к «настоящему освобождению человечества, которое не удалось христианству»[182]. (Характерны в этом плане оговорки Акундина: «Мы, как первые христиане» и др.)[183].

Завершается романная биография Бессонова на фронте, где он погибает от рук дезертира. На фронте же, в январе 1917 г., видел последний раз Блока Толстой, о чем записано в дневнике писателя: «Встреча с Блоком. Он сказал: “Когда-нибудь вспомним, как молча шли по станции в Парахонске”»[184].

Несмотря на столь явные блоковские отсылки, Толстой упорно не хотел признавать за поэтом статуса единственного прототипа своего героя. Так, критикам и литературоведам, которые безоговорочно видели в Бессонове только Блока, а среди них были Э.Ф. Голлербах, В.Б. Шкловский, И.А. Векслер, писатель отвечал на обсуждении трилогии «Хождение по мукам» в Союзе советских писателей в конце 1930-х годов: «Я хочу сказать об одном персонаже – о Бессонове. Я принимаю упрек Шкловского, что если это только

---

[181] По воспоминаниям Р.В. Иванова-Разумника, Блок только из-за отсутствия в Петрограде в день организационного собрания не примкнул к «Скифам».

[182] Скифы. СПб., 1917.

[183] Тем не менее художественный образ Акундина, конечно, более многомерен. Так, Е.Д. Толстая полагает, что писатель «строил» его, «портретно ориентируя на молодого Ленина-Ульянова, так же, как и Акундин, политэмигранта, подпольщика, инкогнито»: «...небольшого роста человек с шишковатым стриженым черепом, с молодым скуластым и желтым лицом» (*Деготь или мед.* С. 384). Она же пишет: «Фамилия “Акундин” сама по себе красноречива: одного из самозванцев XII в. звали Тимофей (Тимошка) Акиндинов или Акундинов. Это был московский приказный, в 1644 г. бежавший в Европу и выдававший себя за наследника царя Василия Шуйского» (Там же. С. 368–369).

[184] *Материалы и исследования.* С. 382. Более развернуто эту встречу Толстой описал в своем очерке «Падший ангел: Александр Блок», созданном после смерти поэта: «В январе 917 года морозным утром я, прикомандированный Земгором к генералу М., объезжавшему с ревизией места работ западного фронта, вылез из вагона на маленькой станции, в лесах и снегах, и пошел к городку фанерных бараков, где было управление дружины. Мне было поручено взять сведения о работавших в дружине башкирах. Меня провели в жарко натопленный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут, запыхавшись, зашел заведующий, худой, красивый человек, с румяным от мороза лицом, с индевевшими ресницами. Все, что угодно, но я никак не мог ожидать, что этот заведующий окопными работами – Александр Блок. Он весело поздоровался и сейчас же раскрыл конторские книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы пошли гулять. Блок рассказывал мне о том, как здесь славно жить, как он из десятников дослужился до заведующего, сколько времени в сутки он проводит на лошади; говорили о войне, о прекрасной зиме... Когда я спросил – пишет ли он что-нибудь, он ответил равнодушно: “Нет, ничего не делаю”» (X, 37–38).

намек на то, что есть Блок, то это, конечно, большое преступление, но дело в том, что я ни в коем случае не хотел писать Блока. Я – человек этого общества символистов. Уверен, что не многие из вас понимают символистов. Блок один, а обезьян Блока было очень много, именно обезьян Блока. И то отрицательное, что было в Блоке, а в нем было отрицательное, это стало поведением целого круга известных символистов, и это было гораздо глубже, чем поведение известного кружка писателей. В этом отражалась целая эпоха. И вот я-то хотел изобразить именно обезьяну Блока, и вышел Бессонов»[185].

IV. ПАНОРАМА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОРТРЕТА ЭПОХИ В РОМАНЕ

> Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго, – предсмертного гимна, – он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники, – новое и непонятное лезло изо всех щелей.
>
> *А.Н. Толстой. «Хождение по мукам»*

Неотъемлемой частью портрета эпохи кануна войны и революции в России является в «Хождении по мукам» панорама культурной жизни Петербурга первых десятилетий XX в. Автор вовлекает в орбиту произведения все наиболее яркое и характерное, создавая емкие образы, неразрывно связанные с общей художественной идеей романа, будь то заседания общества «Философские вечера», сцены в кабачке «Красные бубенцы» или коллективный портрет футуристов. Толстовский принцип показа, предполагающий узнавание и различные ассоциации современников, основан на причудливом сочетании вымышленного и реального, типического и индивидуального, совмещении порой разнородного и разновременного материала, насыщении текста многочисленными аллюзиями, отсылающими к реальным лицам и событиям.

Уже отмечалось, что при написании главы, посвященной «Философским вечерам», Толстой использовал собственные впечатления от посещения Религиозно-философского общества в Москве. Однако сказались в романе и некоторые подробности из истории петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903), организованных по инициативе Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философова, В.В. Розанова, А.Н. Бенуа и других. Собра-

[185] Цит. по.: *Щербина В.Р.* А.Н. Толстой: Творческий путь. С. 160–161.

ния, на которых обсуждались вопросы взаимоотношений церкви и культуры, церкви и государства, обновления русского православия, были известны своей терпимостью: все выступления, независимо от их религиозного и философского содержания, обсуждались на основе общих, единых правил. На Религиозно-философские собрания указывает место проведения «Философских вечеров», «старый особняк на Фонтанке» (собрания проходили в зале Русского географического общества на площади Чернышева (ныне Ломоносова) между улицей Зодчего Росси и набережной реки Фонтанки), и фамилия председателя общества, «профессора богословия Антоновского», которую было бы уместно связать с именем митрополита Антония (Вадковского). Он не только способствовал проведению собраний, но и благословил председательствовать на них своего викария, молодого епископа, ректора Духовной академии Сергия (Страгородского). В журнальном варианте романа содержались более явные указания на двух активных членов петербургских Религиозно-философских собраний – философа Н.А. Бердяева («философ Борский, изгнанный из Духовной Академии за отпадение к социал-демократам, ушедший от социалистов и проклятый ими») и писателя В.В. Розанова («лукавый писатель Сакунин, автор циничных и замечательных книг»).

Узнаваем для современников был и изображенный в романе кабачок «Красные бубенцы». Прообразом его послужило петроградское литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов», открытое в подвале так называемого Дома Адамини на углу Марсова поля и набережной Мойки в 1916 г. Организатором «Привала комедиантов» был театральный деятель, режиссер, актер, участник ряда начинаний В.Э. Мейерхольда, Борис Константинович Пронин («Хозяин подвала, бывший актер, длинноволосый и растерзанный, появлялся иногда в боковой дверце, глядел сумасшедшими глазами на гостей и скрывался»). Толстой хорошо знал Пронина, так как принимал активное участие в его предыдущем, аналогичном проекте, связанном с организацией в Петербурге литературно-артистического кафе «Бродячая собака» (1911–1915; официальное название – Художественное общество интимного театра), излюбленного места встреч петербургских поэтов и писателей, художников, актеров.

Помещения «Привала комедиантов» были пышно и изыскано декорированы. Стены буфетной и прилегающей к ней комнаты расписали художники Б.Д. Григорьев и А.Е. Яковлев, основной зал, красно-черно-золотой, с декоративными панно на темы К. Гоцци и Э.Т.А. Гофмана, – С.Ю. Судейкин. Столы, вместо скатертей, были покрыты яркими деревенскими платками[186]. Все это, в сниженном варианте, нашло отражение в описании Толстым «Красных

---

[186] Возможно, этот элемент русского стиля в убранстве подсказал Толстому название – «Красные бубенцы».

бубенцов» («Сводчатый потолок и стены были расписаны пестрыми птицами, голыми, ненатурального цвета и сложения женщинами, младенцами с развращенными личиками и многозначительными завитушками»), рожденном, вероятно, из противопоставления атмосферы военного Петрограда и фантасмагоричной атмосферы богемного клуба. Постоянными посетителями «Привала комедиантов» были М.А. Кузмин, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, Ю.П. Анненков, О.Э. Мандельштам, Н.И. Альтман, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа и многие другие.

Объемен, разнопланов и многоаспектен созданный Толстым в «Хождении по мукам» шаржированный коллективный портрет предтечей революции – футуристов. В их оценке писатель близок к характеристике, данной футуризму в статье С.Н. Булгакова «На пиру богов»: «Как бездарна и уродлива русская революция: ни песни, ни гимна, ни памятника, ни жеста даже красивого ⟨...⟩ если в этом кричащем уродстве есть свой собственный ритм, так это именно тот, за которым давно уже гонятся футуристы. Футуризм есть, действительно, художественное пророчество об охлократии, недаром он оказался теперь в естественном союзе с большевизмом. Вы помните это его стремление ввести в художественные ресурсы, наряду с краской, и уголь, и щепку, и цветную тряпку, и бутылочный ярлык, наконец, все это пристрастие к угловатому, кричащему, безобразному, но вместе с тем окованному в какой-то тягостный смысл ⟨...⟩ Это же, конечно, находит полную параллель и в литературных произведениях футуристов, введение в стих всяких нечленораздельностей, криков, мычанья...»[187]. О своей внутренней связи с революцией писали и сами футуристы: «Разве еще в 1913 – Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Василий Каменский – когда разъезжали по всей России с лекциями – разве не в десятки тысяч молодых сердец Они влили вино возбужденья Бунта за Волю, за Вперед, за Культуру. Пускай же помнят квалифицированные борцы за свободу, что их великая революционная пропаганда не была интенсивнее и ярче великой пропаганды анархических идей футуризма»[188].

В основу футуристических образов и эпизодов романа Толстым был положен разнообразный реальный материал: стихи, программные документы футуристических групп, публикации о футуризме в периодической печати. Все это, органично вписанное в художественную ткань произведения, отзывается в монологах и репликах персонажей, их портретных характеристиках, сюжетных линиях, связанных с темой культурной жизни Петербурга накануне войны. Упоминаемые писателем подробности футуристического быта легко и точно корреспондируются с фактами истории футуризма в России и различными представителями этого течения, хотя в дневниках и записных книжках Толстого записей о футуристах на редкость мало. К их числу мож-

[187] *Из глубины.* С. 127–128.
[188] *Каменский В.В.* Его – моя биография Великого футуриста. М., 1918. С. 200.

но отнести лишь вклеенную в дневник 1917 г. вырезку из газеты с текстом футуристической афиши, послужившей одним из образцов «прокламации», выпущенной жителями телегинской квартиры:

Елка футуристов

Большая аудитория Полит⟨ехнического⟩ Музея. В субботу, 30 декабря 1917 г. в 7 часов вечера состоится Елка футуристов. Вечер-буфф молодецкого разгула поэзо-творчества. Под председательством знаменитостей: Давида Бурлюка, Владимира Гольцшмидта, Василия Каменского, Владимира Маяковского и др. Вакханалия. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Предсказания. Засада гениев. Карнавал. Ливень идей. Хохот. Рычания. Политика. Желающ⟨их⟩ прин⟨ять⟩ участ⟨ие⟩ в украш⟨ении⟩ елки футур⟨истов⟩ просят детей не приводить. Бил⟨еты⟩ продаются ежедневно...[189]

Образы героев-футуристов в «Хождении по мукам» ориентированы на реальных представителей авангардного искусства начала XX в., хотя было бы опрометчиво в данном случае говорить о прототипах. Так, образ Александра Ивановича Жирова, студента юридического факультета, указывает на поэта Вадима Шершеневича[190], также изучавшего юриспруденцию и претендовавшего на роль теоретика футуризма. Известно, что Толстой встречался с ним в Москве в марте 1918 г. Шершеневич пригласил его сотрудничать в литературном кафе «Живые альманахи». Тогда поэт «был близок к анархистам, и настолько, что это навлекло на него в 1919 г. тюремное заключение»[191].

В поле зрения писателя и такая значимая для футуризма 1910-х годов фигура, как В.В. Маяковский, с которым соотносится образ поэта-футуриста Семисветова (фамилия персонажа может быть прочитана как производное от «седьмое чудо света», каковым был Фаросский маяк в Александрии). Семисветов не принадлежит к действующим лицам первого плана произведения, с ним не связано каких-либо важных сюжетных линий, однако его присутствие ощутимо в романе. Он участвует вместе с Валетом и Жировым в шествии футуристов по улицам Петербурга, о его стихах рассказывает Телегину в «Красных бубенцах» инженер Струков. Рисуя портрет Семисветова, Толстой обыгрывает характерную внешность Маяковского («огромного роста парень,

---

[189] *Материалы и исследования.* С. 355–356. В комментарии к тексту указано, что объявление было напечатано в московской газете «Вперед», в номере от 16 декабря 1917 г. С небольшими сокращениями оно использовано Толстым в повести «Похождения Невзорова, или Ибикус».

[190] Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893–1942), поэт, переводчик, автор поэтических сборников «Весенние проталинки» (1911), «Carmina» (1913), «Экстравагантные флаконы» (1913), «Романтическая пудра» (1913) и др. В 1913–1914 гг. состоял в московской футуристической группе «Мезонин поэзии». В 1918 г. один из создателей и теоретиков «Ордена имажинистов».

[191] *Деготь или мед.* С. 372.

с лошадиным лицом и жилистыми руками») и некоторые факты биографии поэта (см. примеч. 9 к гл. VII).

Образ одного из обитателей телегинской квартиры, художника Валета, участника шествия футуристов «с раскрашенными лицами», ориентирован Толстым на известного русского художника-авангардиста Михаила Федоровича Ларионова, лидера так называемых лучистов. Именно он изобрел футуристический грим и первым начал его применять. Имя персонажа обусловлено принадлежностью Ларионова в 1910–1912 гг. к известной художественной группе с эпатажным названием «Бубновый валет», им, собственно, и придуманным.

В образе Елизаветы Киевны Расторгуевой воплотились некоторые черты и факты биографии поэтессы Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (1891–1945; урожд. Пиленко; впоследствии мать Мария, героиня французского Сопротивления). Детство и отрочество Елизаветы Юрьевны прошли в Анапе, в небольшом имении отца, директора Никитского ботанического сада; она вернулась туда перед революцией, после разрыва с первым мужем. В Анапу же перед революцией приезжают Елизавета Киевна и Жадов. Еще в раннем детстве у Лизы Пиленко проявились большие способности не только к литературе, искусству, но и к рукоделию. Лиза Расторгуева также занимается «вязанием из разноцветной шерсти длинных полос, не имеющих определенного назначения». Отозвалась в романе многолетняя дружба Кузьминой-Караваевой с Блоком. Теплые дружеские отношения связывали поэтессу и с Толстым. Их первые встречи в редакции популярного петербургского журнала «Аполлон», на заседаниях поэтического объединения «Цех поэтов» относятся к началу 1910-х годов. Позже, в 1912 г., писатель посетил Елизавету Юрьевну в Анапе, с 1914 г. оба жили в Москве и продолжали общаться. В дневнике Толстого за 1918 г. есть запись: «Во время разговора с Лизой (вечером в 1-й день) я понял, как в известные периоды революции даже возвышенные и мягкие люди могут быть жестокими и подписывать смертные приговоры близким людям, друзьям (Робеспьер, Камилл)»[192].

Отразилась в «Хождении по мукам» и такая характерная деталь отечественного футуризма, как повторение имени в отчестве у некоторых его лидеров, что многими воспринималось как откровенный казус[193]. Тем не менее

---

[192] *Материалы и исследования.* С. 359–360. См. там же запись Толстого: «Рассказ К⟨узьминой⟩-Караваевой в кафе про Блока» (С. 319).

[193] Рассказывая о своем пребывании, с Бурлюком и Маяковским, в Самаре (родном городе Толстого), Каменский писал: «В Самаре нас почему-то чествовала городская управа (в одном частном доме). Секретарь управы, по поручению городского головы, спросил наши имена-отчества. Я сказал:

– Этот – Давид Давидович, этот – Владимир Владимирович, а я – Василий Васильевич.

– Нет, это не может быть! – воскликнул секретарь управы. – Нет, это неудобно. Я спрашиваю серьезно. Сейчас голова будет говорить речь, и если он так вас назовет, все, право, засмеются» (*Каменский.* С. 482).

Сапожкова в романе Толстого зовут Петр Петрович (в советских изданиях Сергей Сергеевич)[194].

Фактическая достоверность изображения футуризма в романе Толстого, точность наблюдений писателя подтверждается порой мемуарной прозой самих футуристов. Так, например, речь Сапожкова на заседании общества «Философские вечера» и его же обращение к жителям телегинской квартиры, восходят, видимо, к имевшим место в действительности выступлениям Д.Д. Бурлюка и В.В. Маяковского. В одной из глав своей книги «Путь энтузиаста» (1931), В.В. Каменский описывает одно из футуристических собраний. Выступление на нем Бурлюка в своих основных положениях перекликается с обращением Петра Петровича к своим соседям-собратьям, дополненным мотивами стихотворения самого Каменского «Карнавал Аэрону (Андрею Белому)» («Эй Колумбы – Друзья-Открыватели // Футуристы Искусственных Солнц»[195]):

Каменский:

Легко, остро, парадоксально, убедительно лилась речь Бурлюка, отца российского футуризма, об идеях и задачах нашего движения. 〈…〉

– Мы есть люди нового, современного человечества, – говорил Бурлюк, – мы есть провозвестники, голуби из ковчега будущего; и мы обязаны новизной прибытия, ножом наступления вспороть брюхо буржуазии-мещан-обывателей. Мы, революционеры искусства, обязаны втесаться в жизнь улиц и площадей, мы всюду должны нести протест и клич «Сарынь на кичку!» Нашим наслаждением должно быть отныне эпатированье буржуазии. Пусть цилиндр Маяковского и наши пестрые одежды будут противны обывателям. Больше издевательства над мещанской сволочью! Мы должны разрисовать свои лица, а в петлицы, вместо роз, вдеть крестьянские деревянные ложки. В таком виде мы пойдем гулять по Кузнецкому и станем читать стихи в толпе. Нам нечего бояться насмешек идиотов и свирепых

Толстой:

Однажды на Рождестве Петр Петрович Сапожков собрал жильцов и сказал им следующее:

– Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию, вот она: «Мы новые Колумбы! Мы гениальные возбудители! Мы семена нового человечества! Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Отныне нет добродетели! Семья, общественные приличия, браки – отменяются. Мы этого требуем. Человек, – мужчина и женщина, – должен быть голым и свободным. Половые отношения есть достояние общества. Юноши и девушки, мужчины и женщины, вылезайте из насиженных логовищ, идите, нагие и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя!...

[194] В случае Алексея Алексеевича Бессонова, это, скорее, указание на Блока, который был Александром Александровичем.

[195] *Каменский В.В.* Звучаль веснеянки. М., 1918. С. 7.

морд отцов тихих семейств; за нами стена молодежи, чующей, понимающей искусство молодости, наш героический пафос носителей нового мироощущения, наш вызов. Со времени первых выступлений в 1909-м, 10-м годах, вооруженные первой книгой «Садок Судей», выставками и столкновениями с околоточными старой дребедени, мы теперь выросли, умножились и будем действовать активно, по-футуристски. От нас ждут дела. Пора, друзья, за копья![196]

Рассказывает Каменский и об одном из выступлений Маяковского в Политехническом музее (видимо, речь идет об известном вечере «Утверждение российского футуризма», который состоялся 11 ноября 1913 г.), где тот коснулся состояния современной русской литературы:

«Поэт говорит дальше о взаимоотношении сил современной жизни, о разделе классовых интересов и в связи с этим о группировках “художественных” обособленных сект, которые давят друг на друга своей жуткой бездарностью, вульгарностью, “половым бессилием”.

Крик:

– А вы не страдаете?

Маяковский:

– Не судите, милый, по себе. (Смех.) Только футуризм вас вылечит. (Смех. Хлопки.)»[197].

Тот же мотив «полового бессилия» воспроизводит Толстой в эпатажной речи Сапожкова на заседании общества «Философские вечера»:

«Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием… В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки» (Наст. изд. С. 9).

Фразеология футуризма, стиль устных выступлений представителей течения могли быть усвоены Толстым, в том числе, и из книги того же Каменского «Его – моя биография Великого футуриста» (1918), автор которой изъяснялся следующим образом: «Мы явились идеальными Детьми своей современности. За нами была гениальность, раздолье, бунт, молодость, культура, великая интуиция»[198]. Или: «С залитых электричеством эстрад три гения от футу-

[196] *Каменский.* С. 470.
[197] Там же. С. 474.
[198] *Каменский В.В.* Его – моя биография Великого футуриста. С. 97.

ризма выкинули в море голов экстравагантной публики – сотни своих решительных лозунгов 〈…〉 Триумфальное шествие трех Поэтов-Пророков – футуристов, чья солнцевеющая Воля, обвеянная весенней молодостью, – взвивалась анархическим знаменем Современности, – утвердило в десятках тысяч сердец Бунт Духа»[199].

Характерна реакция самих футуристов на их изображение в романе Толстого. В немалой степени, на наш взгляд, именно ею обусловлено их откровенное неприятие возвращения писателя в 1923 г. в Советскую Россию. В первом номере нового авангардного журнала «ЛЕФ»[200], весной 1923 г., в коллективном манифесте «За что борется ЛЕФ?» (подписан А. Асеевым, Б. Арватовым, О. Бриком, Б. Кушнером, В. Маяковским, С. Третьяковым и Н. Чужаком) недвусмысленно замечалось: «С запада грядет нашествие просветившихся маститых. Алексей Толстой уже начищивает белую лошадь полного собрания своих сочинений для победоносного въезда в Москву»[201].

Сохранился отзыв Д.Д. Бурлюка (его стихи в романе отданы Петру Петровичу Сапожкову) о писателе. Познакомившись с книгой критика Э.Ф. Голлербаха «Алексей Николаевич Толстой. Опыт критико-библиографического исследования» (Л.: Изд. автора, 1927), 30 октября 1929 г. он писал автору: «Очень любопытна книга об Ал.Н. Толстом. Стихийно талантливый человек (массово-доступен). Но книги все еще не прочитаны; так всегда со мной – часто потом… полюблю и оценю»[202].

V. КРИТИЧЕСКИЕ ОТЗЫВЫ О РОМАНЕ

Роман Толстого «Хождение по мукам» обсуждался в печати как русского зарубежья, так и Советской России. Отсюда наиболее очевидная полярность отзывов о нем, как следствие разных взглядов на события недавнего российского прошлого в метрополии и за ее пределами. В то же время политические разногласия внутри самой русской эмиграции сказались на оценке произведения. Заметное влияние на восприятие романа оказала позиция авто-

---

[199] Там же. С. 131.

[200] Перегруппировав после революции свои силы, футуристы приняли новое название – Левый фронт искусств (ЛЕФ). Соответственно были переакцентированы и старые основополагающие тезисы футуризма: «Октябрь очистил, оформил, реорганизовал. Футуризм стал левым фронтом искусства 〈…〉 ЛЕФ должен собрать воедино левые силы. ЛЕФ должен осмотреть свои ряды, отбросив прилипшее прошлое. ЛЕФ должен объединить фронт для взрыва старья, для драки за охват новой культуры 〈…〉 ЛЕФ будет агитировать искусство идеями коммуны» (ЛЕФ. 1923. № 1. (Март). С. 4, 6).

[201] Там же. С. 6.

[202] *Бурлюк*. С. 170.

ра, выступившего в 1922 г. с призывом «признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским»[203], что явилось прологом к возвращению Толстого в 1923 г. на родину.

Русское зарубежье

В русском зарубежье критические отзывы о «Хождении по мукам» появились сразу после выхода первых номеров журнала «Современные записки», где было опубликовано начало романа[204]. Автор рецензии в эсеровской газете «Воля России» (Прага)[205], скрывшийся за псевдонимом «Зритель», главным в произведении считал ощущение того «тупика», «к которому пришли значительные круги так называемого интеллигентного общества наших столиц перед войной», что позволяло ему говорить о закономерности выхода (через войну и совершившуюся в России революцию) из описанной в «Хождении по мукам» ситуации: «Писатели, художники, адвокаты, мужчины и женщины – все они не только устали от жизни, они оказались в том заколдованном кругу, к которому их привела жизнь “цивилизованного” центра 〈…〉 Если бы вещь Толстого была опубликована до войны – то, прочитав ее, пришлось бы закрыть последнюю страницу с чувством ужасной, безысходной тоски, “висячей” скуки от той жизни, которой по-своему “наслаждались” почти все

---

[203] *Переписка.* Т. 1. С. 308. Речь идет об открытом письме Толстого одному из руководителей Исполнительного бюро Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции, Н.В. Чайковскому. В этом публицистическом по духу и форме документе отразились как невозможность более для писателя довольствоваться ролью стороннего наблюдателя жизни на родине, так и его несколько идиллическое восприятие связанных с НЭПом изменений в политическом и экономическом курсах советского правительства. Толстой писал о выбранном им пути: «...признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России нет. Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждения этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления нашей великодержавности» (Там же).

[204] Публикация глав произведения в журнале «Грядущая Россия» в периодической печати русского зарубежья осталась практически не замеченной.

[205] Специфика издания, выходившего при участии эсеровских лидеров – В.М. Зензинова, В.И. Лебедева, О.С. Минора, Е.Е. Лазарева, В.М. Чернова, определялась тем, что оно представляло «русскую» Прагу. «Для пражских эмигрантских кругов было характерно стремление не столько противопоставлять себя пореволюционной России, сколько искать путей сближения с теми ее силами, которые признавались потенциальной опорой предстоящего возрождения нации и родины. При этом революция и гражданская война, какое бы отношение к себе они ни вызывали, для пражской эмиграции были свершившимся и непреложным историческим фактом» (*Русское зарубежье.* С. 78).

действующие лица. Теперь иначе. Кончая читать, вы чувствуете, что что-то случилось. Случилось именно то, что только и могло вывести из тупика, перевернуть вверх дном всю психологию героев: сначала война, а потом революция. И теперь ясно, что только катастрофически могли разрешиться все те противоречия, те до крайности усложнившиеся отношения, которыми жили и от которых страдали герои романа…»[206].

«Хождение по мукам» было отнесено критиком к категории произведений о «российском интеллигенте», чье «буржуазное благополучие», как карточный домик, было снесено войной и революцией, что превратило одних в «бывших» людей, других – в «беженцев». Пытаясь предугадать финал романа, он писал: «И те, и другие, конечно, должны погибнуть, ибо смогут уцелеть только сильные духом, порвавшие с “бывшим” и понявшие, наконец, что теперь надо строить жизнь совсем по-новому, надеясь только на себя, только на свои духовные и физические силы ⟨...⟩ Личная воля, инициатива и энергия должны придти на смену размягченному “благожелательству” бывшего российского интеллигента, не выдержавшего испытания в грозе и буре»[207].

Спустя месяц, в феврале 1921 г., «Воля России» вновь обратилась к творчеству Толстого, в том числе и к роману, опубликовав рецензию Н.Ф. Мельниковой-Папоушковой на сборник рассказов писателя «Наваждение» (Париж, 1921). Разговор о «Хождении по мукам» возник в связи с повестью «День Петра»: «Любопытен рассказ “День Петра”, написанный, очевидно, до революции[208] и снова ставящий вопрос о значении и смысле дела Петра. Интерес рассказа для нас заключается в той параллели, которую можно провести между ним и описанием Петрограда в последнем, еще не законченном романе А. Толстого “Хождение по мукам”. Очевидно этот вопрос глубоко задел душу писателя. От “Дня Петра” до “Хождения” видна известная эволюция: в первом он ставит только еще вопрос, колеблясь постоянно между отрицательным и положительным взглядом, в то время как в последнем своем произведении он уже окончательно предает осуждению ненужную и даже вредную ломку Петровых преобразований»[209]. Основанием для такого вывода послужила, видимо, первая глава романа, своего рода камертон, инструмент настройки звучания дальнейшего повествования. Скорее лирико-эпический по своей природе, нежели откровенно публицистический, оперирующий во многих случаях не реальными, а метафизическими величинами (такими, как,

---

[206] Воля России. 1921. 27 янв. (№ 113). С. 5.

[207] Там же.

[208] Повесть «День Петра» была написана Толстым в конце 1917 – самом начале 1918 г., на что указывал сам писатель в своей последней автобиографии: «С Октябрьской революции я снова возвращаюсь к прозе и осуществляю первый набросок “День Петра”» (I, 44). Опубл.: Скрижаль: Сб. первый. [Пг.], 1918. С. 187–214.

[209] Воля России. 1921. 24 февр. (№ 137). С. 5.

например, «дух города»), этот текст определенным образом связывал произведение с двухсотлетней историко-культурной русской традицией, опиравшейся на мифологему Петербурга – «проклятого» города.

Напечатала отзыв о первых главах романа Толстого и берлинская газета «Голос России»[210]. В статье Ф. Иванова «Литература в эмиграции» в заслугу автору ставилось уже само обращение к теме недавнего российского прошлого. Анализируя творчество писателей-эмигрантов, Иванов писал: «Казалось, сколько нового, интересного могли бы они дать, работая из "прекрасного далека", вне рамок губительной для всякого свободного творчества цензуры. И разве русская революция, с ее взлетами и падениями, двуликая и загадочная, как душа русского народа, вмещающая в себе и ужасы смердяковщины, и тихую веру Алеши Карамазова, несущая с собою грех и покаяние, разбой и подвиг, – не благодатная ли это тема в руках талантливого и смелого художника. Но русский писатель намеренно уходит от этой безусловно волнующей его темы 〈...〉 Впрочем, далеко не все писатели остались глухи к темам современности. Живой пример тому роман Алексея Толстого "Хождение по мукам"»[211].

В той или иной мере касаясь характеров персонажей, критик затрагивал и проблематику романа, особо отмечая широту панорамы русской жизни накануне войны. Это и изображение «Петербурга 14 года», «замученного бессонными ночами, оглушающего тоску свою вином, золотом, безлюбою любовью, надрывающими и чувственными звуками танго – предсмертного гимна», города «Философских вечеров», «на которых люди различного мировоззрения 〈...〉 каждый по своему мечтают о дне разрушения, что выведет их из круга заколдованной изысканно-лживой жизни, где искусство выродилось в "центральную станцию по борьбе с бытом"». И «предчувствие надвигающихся гроз», «достаточно полно и ярко» выраженное романом: «Его ощущают все

---

[210] На протяжении ряда лет газета «Голос России» (Берлин; 18 февраля 1919 – 15 февраля 1922) несколько раз меняла свое лицо. Ее первый редактор, кн. Шаховской, провозглашал: «Наше знамя – беспощадная борьба с большевизмом». При Г. Шумахере (возглавил газету 28 февраля 1919 г.) кредо издания изменилось. В заметке «К нашим читателям» сообщалось, что отныне оно «будет воплощать лишь идею русского единения». В интересующем нас 1921 г. газета принадлежала журналисту и писателю В.П. Крымову, который, в свою очередь, в статье «Чтобы легче было жить» (13 апр. 1921 г.) утверждал идею уважения друг к другу «одинаково честных и любящих свою родину и свой народ»: «Делить нам нечего – мы нищие в сравнении с другими, у кого осталась родина и дом. Казалось бы, так легко протянуть друг другу руки… Понять, что мы русские, как бы ни были различны наши взгляды, как бы мы ни кипели кажущейся злобой друг на друга – все-таки мы близки один – другому, мы члены одной и той же русской семьи». В эмигрантской литературной среде газета под руководством Крымова приобрела репутацию «сменовеховской».

[211] Голос России. 1921. 2 апр. (№ 623). С. 2.

его герои ⟨...⟩ Взрыва не только ждут, он ощущается явственно. Война приходит как желанное возмездие»[212].

Однако финал произведения автору статьи был не совсем ясен, скорее «туманен». Свои сомнения Иванов связывал с «неизмеримой трудностью» поставленной перед автором «Хождения по мукам» задачи, но заканчивал на оптимистической ноте: «Начало романа – во всяком случае, показательно. Оно раскрывает нам нового Толстого от сочных ярких анекдотов умершего уже быта Заволжья перешедшего к громадному историческому полотну и на этот раз показавшему, что мы имеем дело с крупным и ярким талантом»[213].

Сочувственно отозвался о напечатанных главах «Хождения по мукам» выходивший сначала в Константинополе, затем в Софии журнал «Зарницы», во главе которого стоял возглавлявший русское Бюро печати в Константинополе Н.Н. Чебышев. Издание являлось полуофициальным органом Ставки Верховного командования Русской армии, а затем и Русского совета[214]. В программной статье «Творчество на чужбине» один из ведущих сотрудников журнала, В.М. Левитский[215], писал: «Замолкло творческое слово в мертвой “Республике Советов”. Ужасные вести приходят оттуда. Убоги и пошлы книги красных поэтов и писателей. Здесь, на чужбине, тоже не слышно могучего вдохновенного слова, умеющего “жечь сердца людей”. Умолкла русская песнь, не радует русская музыка, черным трудом живет в изгнании русский художник, забывший о кисти. В смятении русская мысль, болеет сердце. Но рано говорить о смерти русского духа. Революция распяла русскую душу, но не убила ее. Мы еще живы. Среди нас уцелели умеющие творить. И на чужбине слышен голос русских поэтов и писателей ⟨...⟩ Из художественных произведений наибольшее внимание привлекает роман А. Толстого, еще не законченный. Трудно поэтому дать его оценку. Но уже и сейчас многое радует и волнует. Роман прерывается блестящими характеристиками общего положения России. Свежая сила чувствуется в описании Петербурга 1914 года, “жившего холодной, пресыщенной жизнью, напряженной и озабоченной”»[216].

---

[212] Там же.

[213] Там же. Уже после завершения публикации романа Толстого в «Современных записках», в краткой рецензии на седьмую книгу журнала, «Голос России» отметил, что «Хождение по мукам» является «первой серьезной попыткой» «в художественной форме и в виде большого романа дать очерк переживаний русской интеллигенции во время войны и в первую эпоху революции» (1921. 30 окт. (№ 802). С. 4).

[214] См. об этом: *Русское зарубежье*. С. 147.

[215] Ранее редактор издания ОСВАГа – газеты «Великая Россия».

[216] Зарницы. 1921. № 4 (27 марта). С. 29. Петербургские главы начала романа были отмечены как наиболее удачные почти всеми, писавшими о «Хождении по мукам» и в эмиграции, и в России. И дело здесь не только в их художественном решении, но и в верности толстовских характеристик кануна эпохи войн и революций, устроивших как «правых», так и «левых», как «красных», так и «белых».

Особо отмечал Левитский вступление к главе тринадцатой – о причинах разразившейся в Европе войны: «К крайнему сожалению, по недостатку места, не могу привести оригинальное изложение процесса обожествления вещи, ставшей – особенно в Берлине – всем и сделавшей войну неминуемой. Не о добре и любви заботились до войны, говорит автор, а о производстве в кратчайшее время наибольшего количества вещей. Желания и чувства приходили в состояние первобытное и злое. В войне была двойная радость – разрушение вещей и выход человека из нумерованной рубашки на вольное поле»[217].

Ко времени появления статьи в «Зарницах» в трех номерах «Современных записок» было опубликовано уже 23 главы произведения Толстого, в том числе главы, посвященные войне, что более всего могло бы заинтересовать издание, которое видело свою главную задачу в укреплении морального духа еще существовавшей Русской армии (свыше тысячи экземпляров каждого выпуска журнала бесплатно рассылалось в лагеря Галлиполи, Чапталджа и на Лемносе). Однако создается впечатление, что Левитским был прочитан только первый номер «Современных записок» с опубликованными тринадцатью главами. Впоследствии к произведению, которое было оценено им столь высоко, критик не вернулся.

Целый ряд критических отзывов на «Хождение по мукам» появился в печати эмиграции в конце 1921 г. и в 1922 г., после завершения публикации произведения в «Современных записках» и в связи с выходом отдельного издания романа. В ноябре 1921 г. в первом номере только что созданного журнала «Сполохи»[218] (Берлин) была напечатана статья А.Г. Левенсона[219] «Беллетристика о революции», центральное место в ней отводилось «Хождению по мукам»[220]. Предваряя разговор о конкретных произведениях, автор указывал на те трудности, с которыми сталкивался всякий пишущий о русской револю-

---

[217] Там же. При подготовке отдельного издания произведения фрагмент, на который обратил внимание Левитский, был исключен Толстым из текста романа. См. статью «Текстологические принципы издания» в наст. изд.

[218] «Сполохи» – литературно-художественный и общественный иллюстрированный журнал большого формата, выходивший в Берлине в 1921–1923 гг. Редактором первых четырнадцати номеров был писатель А.М. Дроздов, вслед за Толстым вернувшийся в Советскую Россию. В статье «Домашние страницы» он писал о главном направлении издания: «Наша прямая задача послужить русской культуре и русской литературе из неласкового невольного далека; наша задача отразить русскую мысль, творческую и общественную, не умершую, не посмевшую умереть в беспримерных и неповторимых условиях. Наше русло: безоговорочная демократичность. В этом наша безоговорочная программа» (Сполохи. 1921. № 1 (нояб.). С. 27–28).

[219] В годы революции А.Г. Левенсон был членом редакции харьковской газеты «Новая Россия». Эмигрировав в 1920 г. в Болгарию, печатался в газете «Россия» и журнале «Русская мысль», принимал участие в работе Российско-болгарского издательства.

[220] Наряду с романом, в статье анализировались произведения П.Н. Краснова («От Двуглавого орла к красному знамени»), Ф.К. Соллогуба («Заклинательница змей»), Н.А. Лаппо-Данилевской («Развал»), Н.Н. Брешко-Брешковского («Белые и красные»), А.М. Дроздова («Подарок Богу»).

ции: «Для нас, русских, всех без исключения, независимо от того, где бы мы сейчас не находились и чем бы не занимались, жизнь делится на "до" и "после" революции. Как бы тот или иной человек ни воспринимал революцию, как бы ни старался даже уйти от революции, убеждая себя и других в своей аполитичности и отсутствии интереса к политике, – все равно для него революция есть конец той жизни, которою он жил до нее, и поэтому никто из нас, современников, не может говорить о революции объективно и спокойно ⟨...⟩ Больших произведений, способных создать новую литературную эпоху в этой области, еще нет. И даже гр. А.Н. Толстой, один из талантливейших современных русских беллетристов, в своем новом романе "Хождение по мукам" не дал того большого, чего мы могли ожидать от него»[221]. Критик в первую очередь обратил внимание на «неравноценность» произведения: «Начат роман ярко и красочно, живость и законченность образов, глубокий анализ психологии русского общества в последний год до войны и во время войны давали право надеяться, что последняя часть романа, повествующая уже о революции, будет также полна и богата, на самом же деле резко бросается в глаза неравноценность романа в отдельных его частях ⟨...⟩ талантливый автор, мастерски нарисовавший картину дней, предшествовавших революции, бессилен писать саму революцию. Он передает отдельные эпизоды – толпу, стрельбу в народ – и кажется, что перечитываешь старую газету. Это газетное описание происшествий, а не художественное изображение жизни. Описываются внешние факты и не дается психология событий. Блестяще начатый роман закончен бледно, конец скомкан, так как революция еще не воспринята художественным сознанием автора»[222].

Левенсон прочитал роман как произведение о «нравственном хождении по мукам» русского интеллигента, тесно связанного с его «душевным раздвоением» в годы войны: «...войну считают авантюрой, власть презирают или ненавидят, а войну все же поддерживают, толкаемые на это чувством патриотизма. И как карточный домик, рушится целое мировоззрение ⟨...⟩ Начинается новая эра, эра страдания, изменяющая всю психологию человека»[223].

В газете «Последние новости» (Париж), от 31 января 1922 г.[224], в статье

---

[221] Сполохи. 1921. № 1 (нояб.). С. 28.

[222] Там же.

[223] Там же.

[224] К этому времени издание перешло в руки республиканско-демократической группы партии Народной свободы; став органом республиканско-демократического объединения, с 1 марта 1921 г. выходило под редакцией П.Н. Милюкова, М.М. Винавера, А.И Коновалова и В.А. Харламова. Ранее «Последние новости» статьей М.А. Алданова отметили выход второй книги «Современных записок»: «Этот журнал в области культуры легко и просто осуществляет ту самую коалицию, которую, по-видимому, так трудно создать в сфере чисто политической ⟨...⟩ Вторая книга журнала еще лучше первой. И в прежние времена далеко не всякий толстый журнал мог у нас предложить читателям роман А.Н. Толстого, литературно-философскую работу Л.И. Шестова и политические статьи лидеров большой партии» (1921. 3 февр. С. 3).

А. Левинсона[225] «Очерки литературной жизни. Три романа» речь шла о произведениях: Толстого «Хождение по мукам», Г.Д. Гребенщикова «Чураевы», М.А. Алданова «9-е термидора». Признавая, что тема толстовского романа «огромна» и требует «либо творческого напряжения небывалого, парения над миром поистине головокружительного – или же простодушия совершенного, безграничной беспечности ума», автор статьи в конечном итоге приходил к выводу о том, что писатель с ней не справился. Так, он отказывал произведению во внутреннем смысловом единстве, усматривая «цельность его лишь в единстве дикции рассказчика, в языке, в ритме повествования, резвом, увлекательном, с волнующими перебоями»: «Щедрость литературной материи преизбыточная, сочный, обильный словарь, плодовитость воображения неустанная: но материя эта не организована; то – драгоценная протоплазма. Разумеется, наружно сведены концы с концами; то и дело на крутом повороте действия вновь обретается потерянный попутно персонаж, или освещается новым светом какой-либо далекий уже эпизод, однако единство остается внешним. Нет композиции – все импровизация»[226].

Не соглашаясь с изображением в романе общей атмосферы в стране накануне войны, критик называл Толстого «ретроспективным пророком»: «Толкование русских судеб, пророческое, приподнятое; но то пророчество об уже свершившемся, где событиям приписывается особый смысл уже “задним числом”. Русская жизнь перед войной, как она показана в романе, сведена к быту столичной богемы и прикосновенных к ней кругов. То – картина крайнего внутреннего опустошения, безвоздушной грозной атмосферы тупика, неотвратимого возмездия, нависшего над лицами вымысла. Да полно, чувствовалась ли эта атмосфера накануне войны? Нет – романист – ретроспективный пророк, заключает от следствия к причине, от фактов непреложных к возможной их обусловленности в прошлом»[227].

---

[225] Возможно, А.Я. Левинсон, бывший сотрудник газеты «Речь». В годы революции в Петрограде состоял членом редакционной коллегии экспертов издательства «Всемирная литература», заведовал ее французским отделом. Преподавал технику художественного перевода в основанной им совместно с К.И. Чуковским и Н.С. Гумилевым студии Дома искусств. В эмиграции в 1921–1922 гг. в основном работал в газете «Руль» (Берлин).

[226] Последние новости. 1922. 31 янв. (№ 550). С. 2.

[227] Там же. Для того чтобы поверить Толстому и его «ретроспективным пророчествам», достаточно вспомнить поэму А.А. Блока «Возмездие», над которой поэт работал в 1910–1921 гг. (тень этого произведения в буквальном смысле витает над толстовским романом):

> Двадцатый век… еще бездомней, // Еще страшнее жизни мгла
> (Еще чернее и огромней // Тень Люциферова крыла).
> Пожары дымные заката // (Пророчества о нашем дне),
> Кометы грозной и хвостатой // Ужасный призрак в вышине,
> Безжалостный конец Мессины // (Стихийных сил не превозмочь),
> И неустанный рев машины, // Кующей гибель день и ночь,

Несмотря на общую неудовлетворенность романом, Левинсон выделил его из целого ряда современных произведений, указав в «Хождении по мукам» на «черты весьма редкие в нашем повествовательном искусстве» – «действенность, стремительность и внезапность романа приключений». «Вспомните, – пишет он, – хотя бы бегство Телегина из плена – или в конце убийство налетчиками сторожей, после нарочито вялого диалога. Роман приключений, не брезгающий и сенсацией как приемом. Телегину, умному, благородному, любимому героиней и атлетически сильному киногерою романа, доводится на каждом шагу сталкиваться с впечатлениями из ряда вон выходящими: убийство Распутина совершается едва ли не на его глазах, а выйдя за город пройтись, он невзначай натыкается на бывшего императора, перекапывающего капусту ⟨...⟩ Что до Толстого, забудем его опрометчивую "философию истории", его скольжение по сути людей и событий ради главного, магического свойства его дарования: разнообразной и живой красоты сказа, силы и своеобычности словесного воображения. Неудачное произведение, превосходный писатель»[228].

В единстве и цельности роману отказывал и автор статьи в газете «Руль»[229] (Берлин) в рецензии на отдельное издание произведения (1922): «В своем целом роман Ал.Н. Толстого не дает законченной картины. В нем нет цельности, нет сосредоточенности в развитии событий. Личные переживания действующих лиц растягиваются их "хождением по мукам" и в свою очередь впечатление частей романа, изображающих судьбы России, ослабляется лирикой личных чувств. Поэтому общее впечатление получается несколько смешанное»[230]. Вместе с тем, критик справедливо отмечал связь романа с ранним творчеством писателя, в частности с рассказом «Любовь» («Этот небольшой, но полный движения, рассказ вспоминался мне все время, когда я читал "Хождение по мукам"»), а также подчеркивал несомненное знание автором тех сторон столичной жизни, которые описываются в произведении:

Сознанье страшное обмана // Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана // В пустыню неизвестных сфер…
И отвращение от жизни, // И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне… // И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены, // Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены, // Невиданные мятежи.

(*Блок(1)*. Т. 5. С. 24–25)

[228] Там же.

[229] «Руль» – ежедневная газета, выходившая в Берлине в 1920–1931 гг. Основана И.В. Гессеном, А.И. Каминкой и В.Д. Набоковым. Один из ее основателей впоследствии писал, что, снискав в глазах большевиков репутацию «самой злой газеты» из всех эмигрантских изданий, «редакция "Руля" воспринимала такую оценку как самое весомое признание своих заслуг» (*Гессен И.В.* Годы изгнания: Жизненный отчет. Париж, 1979. С. 127).

[230] *П.Ш.* // Руль. 1922. 30 июля. (№ 506). С. 9.

«Сначала автор живописует развращающую пустоту и нудность жизни столичной интеллигенции. С точки зрения яркости и сочности красок это, пожалуй, лучшая часть романа. Перед нами действительно подлинный предреволюционный Петербург. Тут все, так сказать, на своем месте, со включением покорителя сердец Бессонова. Все, видимо, списано с натуры и талантливо воспроизведено. В романе много картин, которые мог написать только человек, интимно знающий невскую столицу»[231].

Менее удачным представлялось автору рецензии изображение писателем войны («Военные картины в ином роде. В них много колоритных деталей и драматических сцен, но не чувствуется индивидуальных нот. Военные настроения схвачены лишь в общих чертах, и совершенно нет именно той войны, которая с такими муками была пережита всей Европой. Автор ограничивает свои изображения скромным кругозором инженера Телегина и больше останавливается на военных приключениях, чем на картинах войны»[232]) и революции («В ней решительно все, выведенные Ал.Н. Толстым, лица играют чисто страдательную роль. Все они, в сущности, бесконечно далеки от нее. Ни у кого нет революционного пафоса, хотя и есть сочувствие к революции. Сочувствия, правда, много, но оно, в сущности, чисто платоническое»[233]). К недостаткам произведения относил рецензент и явное, на его взгляд, противоречие в психологическом рисунке образа Рощина: «Другой из героев Ал.Н. Толстого прямо заявляет: – Великая Россия – теперь: навоз под пашню... Все надо заново: войско, государство, душу надо другую втиснуть в нас... Русского народа нет, есть жители, да такие вот дураки... Но через несколько минут, обращаясь к избраннице своего сердца, он же говорит: – Пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется только одно – кроткое, нежное, любимое сердце ваше. В этих двух фразах кричащее противоречие: нельзя требовать возрождения душ и в то же время уверять, что все это пройдет, утихнет и отшумит, а дело только в сердце любимой женщины»[234].

Необходимо сказать о недостаточно высоком уровне проанализированной рецензии в «Руле», почти три четверти которой занимает пересказ содержания толстовского романа. При этом автор постоянно путает имена героинь произведения, называя младшую из сестер Булавиных то Машей, то Дашей, а старшую именуя Екатериной Михайловной вместо Екатерины Дмитриевны. Это связано с тем, что в ранние годы издания газеты в качестве критиков литературно-художественных произведений выступали в ней, как правило, журналисты и публицисты, не обладавшие необходимой квалификацией для подобной деятельности.

---

[231] Там же.
[232] Там же.
[233] Там же.
[234] Там же. С. 9–10.

Несколько отзывов о романе принадлежит А.С. Ященко[235]. В самом начале 1921 г. он писал о «Хождении по мукам»: «Это – первое истинно художественное изображение в широком эпосе того предвечерия, что предшествовало темной ночи нашей революции и смуты. Сама же эта ночь пока еще не освещена светом поэтического слова. Она еще ждет своего поэта, кто овладеет ею так, как А. Толстой овладел предсмутным развалом»[236].

Несколько месяцев спустя в рецензии на «Современные записки» критик приветствовал роман Толстого с еще большим энтузиазмом: «Украшением журнала является, конечно, печатающийся в каждой книге роман гр. А.Н. Толстого "Хождение по мукам". На этом примечательном произведении мы остановимся подробно, когда оно будет закончено (что, если не ошибаюсь, будет сделано в шестой книге журнала), теперь отметим лишь, что этот роман не только написан с истинным мастерством такого художника, как Алексей Толстой, но и представляет собою единственное обширное художественное произведение, осмелившееся в широкой картине отразить нашу современность – развал перед войной, разложение во время войны и приближающуюся революцию. Можно только поражаться, как автор нашел в себе достаточно художественной сосредоточенности, чтобы дать не случайную и временную фотографию, но обобщающее и истинно поэтическое толкование нашего смутного вечер-дня»[237].

Но уже через год с небольшим отношение Ященко к толстовскому роману изменилось. В статье «Литература за пять последних лет», отдавая должное «плодовитости» писателя, он отмечал, что самым удачным «из всего им написанного, соответственно характеру его дарования, должна быть признана повесть "Детство Никиты" и драматический гротеск из времен Екатерины II "Любовь – книга золотая"». Роман же «интересен и в отдельных частях талантлив, но едва ли может претендовать на ту роль, которую он, по-видимому, ставит себе, – быть началом широкого эпоса русской жизни перед войной,

---

[235] Александр Семенович Ященко (1977–1934), по образованию юрист, правовед, закончил юридический факультет Московского университета. Был не чужд литературе и искусству, выступал со статьями и рецензиями в периодической печати. Весной 1919 г. в составе делегации прибыл в Германию для обсуждения дополнительных параграфов к Брестскому миру и отказался вернуться в Россию. В Берлине возглавлял журналы «Русская книга» и «Новая русская книга». С 1924 г. был профессором Каунасского университета. В начале 1930-х вернулся в Берлин. Р.Б. Гуль писал о Ященко: «…крепкий жилец, без всяких интеллигентских "вывихов". Среднего роста, крепко сбитый, физически сильный, с лысым черепом и невыразительным лицом» (Я унес Россию: Апология русской эмиграции: В 3 т. Нью-Йорк, 1984. Т. 1. С. 71). Толстой познакомился с Ященко в 1911 г. в Париже, тогда же посвятил ему повесть «Неверный шаг (Повесть о совестливом мужике)». Ященко, в свою очередь, написал о раннем творчестве писателя в статье «Тайна любви в современной русской литературе (С. Городецкий, гр. А.Н. Толстой, К. Бальмонт)» (Новая жизнь. 1911. № 7. С. 122–123).

[236] Русская книга после октябрьского переворота // Русская книга. 1921. № 1. С. 7.

[237] Русская книга. 1921. № 5. С. 11–12.

во время войны и революции и после них. Для этого Толстому не хватает ни конструктивного таланта композиции романа, ни понимания художественных перспектив, ни пафоса сердечной любви, ни философского гения, а главное – у него нет твердого убеждения, вследствие чего его изображение и понимание жизни, может быть, сами по себе и правильные, не убедительны для читателя. Но роман этот полон тонких наблюдений, ярких фигур и Толстому свойственного природного юмора»[238].

В основе охлаждения Ященко и к «Хождению по мукам», и к его автору лежал, вероятно, целый комплекс причин. Это и смещение интереса «под влиянием Эренбурга и Пильняка, в сторону нового поколения прозаиков»[239], и расхождение общественных позиций Толстого и Ященко, и изменившееся отношение эмиграции в целом к писателю, выступившему весной 1922 г. с открытым письмом о фактическом признании Советской власти. Так или иначе, приведенный отзыв со всей очевидностью обнаруживал трещину в их многолетней дружбе. В ноябре 1921 г. Толстой отметил в дневнике: «...написал Ященко: "Прошу пока мне не писать, так как на небольшое время уезжаю на Северный полюс"»[240].

В сентябре 1922 г. в «Литературном приложении» к газете «Накануне», которое редактировал Толстой, появилась статья А. Ветлугина[241] «На путях русской прозы», о творчестве писателя в целом и «Хождении по мукам» в частности. Ее автор первым из современных Толстому критиков написал о романе как о прологе будущей революционной эпопеи, окончательную оценку которой выносить еще рано: «"Хождение по мукам" – эпопея. Не из пристрастия к определениям, а из любви к точности не следовало бы этого забывать при оценке появившегося первого тома. В последних главах дано описание потопления распутинского трупа, революционной весны 1917, "огородных работ" Николая II и т.д. Если эти исторические моменты, описанные Толстым с нарочитой точностью летописца, мы возьмем в рамках только одного появившегося тома, то неизбежны разговоры о "попытках" изобразить революцию, об "удачности" или "неудачности", о "правильности" или "тенденциозности" и пр., и пр. Между тем, подобные пересуды являются занятием праздным, в лучшем случае на любителя. И потопление распутинского трупа, и Николай в огороде, и человек с провалившимся носом, расклеивающий афишки "всем,

---

[238] Новая русская книга. 1922. № 11–12. С. 5.

[239] *Русский Берлин*. С. 110.

[240] *Материалы и исследования*. С. 412. Итог в отношениях Толстого и Ященко был подведен через десять лет, в том же Берлине, куда писатель приехал из Советской России. Сделанная им тогда запись в дневнике наполнена не столько осуждением бывшего друга, сколько горькими драматическими нотами: «Ященко проворонил Россию. Потому и обиделся, что почувствовал вдруг, что – нуль, личная смерть, а Россия обошлась без него» (Там же. С. 416)

[241] А. Ветлугин (псевдоним; наст. имя и фамилия Владимир Ильич Рындзюн; 1897–1953), журналист, хороший знакомый Толстого. См. о нем: *Деготь или мед*. С. 503–553.

всем, всем" – во всех трех случаях мы имеем дело с теми форточками, сквозь которые канва романиста соединяется с непрекращающимся ходом жизни 〈…〉 Эпопее Толстого предстоит вознестись на гребень событий. И если в конце первого тома история только дает себя знать ветром сквозь фортки, то дальше она уже станет главным действующим лицом 〈…〉 И только тогда, прочтя всю эпопею, мы сможем предъявить счет автору: "удалось описание революции" или "не удалось"»[242].

Характеризуя художественную манеру Толстого, сложившуюся в последние, проведенные в эмиграции, годы, Ветлугин, вслед за многими, фиксировал динамизм повествования и психологическую убедительность характеров и событий, угадывая воплощенным в художественном тексте то, что сам Толстой будет потом называть «теорией жеста»[243]: «В "Хождении по мукам" есть особенная убедительность, которой мало кто из современников может похвастаться. Насыщенность действием и минимальное количество "связующих", "пояснительных" разговоров. Герои живут и раскрывают себя в жизненном жесте. Ни Даше, ни Кате, ни Телегину, ни Жадову, ни либеральнейшему Катину мужу, ни обсыпанному пеплом отцу обоих сестер не нужны ни ложно-классические "вестники", ни обильные авторские ремарки. И когда жалкая, запутанная "футуристка" Елизавета Киевна становится женой атамана воровской шайки, не возникает никаких недоразумений; мы это знали заранее. И когда вчерашний агитатор рубит палашом убегающих австрийцев – иначе и быть не могло… Если слово есть "ложь", то текучесть исполнена острой художественной правды. Отсюда главнейшее достоинство толстовской эпопеи. Если в "Господине из Сан-Франциско" гениальная графика 〈…〉 то в "Хождении по мукам" шершавый ломающий поток силой своего падения все приводит в движение, заставляет не только морализировать, но и дрожать, не только видеть, но и ощущать»[244].

Особенности поэтики «Хождения по мукам» рассматривались Ветлугиным в контексте перехода Толстого к новому для него художественному стилю и новым сюжетам: «Исчезли последние отрыжки Аполлоново-Весовской эпохи, в область преданий отошли наигранность, манерность, достоевщина. После шести лет раздирания личин, масок, стилизаций, Толстой впервые, целиком выказал свое подлинное лицо. Новое лицо выкристаллизовалось в новом стиле, и – как следствие – не могли не явиться новые сюжеты 〈…〉 От

---

[242] «Литературное приложение» № 16 к газете «Накануне» (1922. 3 сент. (№ 124). С. 8).

[243] В одной из своих статей Толстой писал: «Что такое язык? Прежде всего, это выражение жеста внутреннего и внешнего 〈…〉 Речь есть функция жеста. Человек все время постоянно жестикулирует в социальной среде. Человек, связанный с социальной средой, получающий от нее бесконечное количество рефлекторных ударов, отвечает на эти рефлексы жестом. Это не значит, что это как жест руки – может быть, это внутренний жест, жест идеи» (X, 229).

[244] «Литературное приложение» № 16 к газете «Накануне» (1922. 3 сент. (№ 124). С. 9).

декадентщины, от слащавости образов и слов к целомудрию, от расплывчатости к остроте, от поверхностного формализма Аполлоновцев к могучей девственной форме Толстого Льва. И параллельно: от расслабленных князьков Бельских, от чувствительных "Хромых бар", от прожорливых сангвиников Желтухиных, от демонически неудовлетворенных Касаток и фаянсовых пастушек Раис – к живой русской женщине Даше, к полнокровному Телегину, к убедительному Жадову, ко всей галерее действующих лиц "Хождения по мукам"»[245].

Известен отзыв А.М. Горького о произведении Толстого. В начале 1923 г. Горький упомянул роман в письме к швейцарскому писателю и издателю Эмилю Ронигеру: «"Хождение по мукам" чрезвычайно интересно и тонко рисует психологию русской девушки, для которой настала пора любить. Фоном служит жизнь русской интеллигенции накануне войны и во время ее. Есть интересные характеры и сцены. Но на мой взгляд, роман этот перегружен излишними подробностями, растянут и тяжел. Во всяком случае, эта книга не из лучших Алексея Толстого»[246].

Толстой познакомился с Горьким весной 1922 г. в Берлине[247]. На протяжении 1922–1923 гг. они часто встречались, знакомили друг друга со своими новыми произведениями. В повестях и рассказах Горького Толстой отмечал близкие для себя темы и мотивы. О повести «Отшельник» он писал в статье «Великая страсть»: «Она поразила меня свежестью и силой формы и новым поворотом души его. Выше всего над людьми, над делами, над событиями горит огонь любви, в ней раскрывается последняя свобода. В ней человек – человек»[248]. Горькому же принадлежит один из самых лестных отзывов о написанной тогда повести Толстого «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта» (1922; «Повесть Смутного времени»)[249]. Однако «Хождение по

---

[245] Там же. С. 8.

[246] Архив А.М. Горького. Т. VIII: Переписка А.М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960. С. 429.

[247] Имеется в виду их личная встреча, так как творчество Толстого давно было в поле зрения Горького. Еще в 1910 г., прочитав первую книгу повестей и рассказов писателя, он сообщал одному из своих корреспондентов: «Рекомендую вниманию вашему книжку Алексея Толстого – собранные в кучу, его рассказы еще выигрывают. Обещает стать большим первостатейным писателем» (*Горький*. Т. 29. С. 138).

[248] «Литературное приложение» № 20 к газете «Накануне» (1922. 1 окт. (№ 148). С. 9).

[249] «"Житие Нифонта" я считаю первым в русской литературе рассказом из эпохи "Смуты" – начало XVII века – написанным с изумительной силою проникновения в психологию эпохи» (Архив А.М. Горького. Т. VIII: Переписка А.М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960. С. 430). Позже, в письме к А.П. Чапыгину от 20 мая 1927 г., сравнивая повесть Толстого с историческими романами М.А. Алданова, Д.С. Мережковского и С.Р. Минцлова, Горький ставит ее много выше произведений последних: «Маленькая вещь Алексея Толстого ⟨...⟩ содержит в себе больше искусства и больше исторической правды, чем все три романиста, названных выше» (*Горький*. Т. 30. С. 25).

мукам» ему не понравилось. Он отказал произведению, «перегруженному излишними подробностями, растянутому и тяжелому», в праве называться романом о русской революции, и в этой своей оценке был тверд. Во всяком случае, вряд ли мог поколебать ее один из корреспондентов писателя, член опекаемой им литературной группы «Серапионовы братья», Л.Н. Лунц[250], в декабре 1922 г. написавший Горькому: «Прочел я “Хождение по мукам” Толстого. Очень понравилось. Вот тоже доказательство того, что роман не умер»[251].

Советская Россия

Первый отзыв о романе Толстого в советской печати принадлежал А.К. Воронскому[252]. Во втором номере литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь» за 1921 г. была опубликована его статья под заглавием «О двух романах» (наряду с «Хождением по мукам» автор анализировал роман П.Н. Краснова «От Двуглавого орла к красному знамени»). Общая оценка критиком литературного дарования Толстого была достаточно высока. Воронский писал о дореволюционном периоде творчества писателя: «...несмотря на известную безыдейность, на отсутствие “изюминки”, выдающийся талант А.Н. Толстого не подвергался сомнениям. А.Н. Толстой был художником “божьей милостью”: сочный бытовик соединялся в нем с недюжинным художником-экспериментатором»[253]. Отмечалась и связь писателя с «прогрессивными и радикальными кругами русской общественности». Однако все это в прошлом. Теперь, по мнению Воронского, Толстой принадлежал к тому типу российского интеллигента, который в «массе своей поглупел», «сделался юдофобом, сплетником», «верит гадалкам, шарлатанам и знахарям – смакует любую пошлость». Как писатель Толстой «опустился до приемов черносотенного генерала». Произведение его, которое «белые литературные критики» уже объявили «самым значительным, ярким и даже огромным литературным событием», может выглядеть таким только «на общем

---

[250] Лев Натанович Лунц (1901–1924), прозаик, драматург, публицист. В 1922 г. закончил историко-филологический факультет Петроградского университета, после чего был оставлен при кафедре западноевропейских литератур для научной работы; один из создателей и теоретиков литературной группы «Серапионовы братья», представлял ее западническое крыло, выступал против психологизма и бытописательства, призывал к воскрешению фабульных жанров и «трагической правды» в литературе.

[251] Цит. по: *Евстигнеева А.Л.* «“Серапионовы братья” и их младший брат Скоморох: (Об архиве Л.Н. Лунца)// Встречи с прошлым. М., 1982. [Вып. 4]. С. 220.

[252] Александр Константинович Воронский (1884–1937), один из ведущих советских критиков, член большевистской партии, в 1921 г. главный редактор первого советского «толстого» журнала «Красная новь».

[253] Красная новь. 1921. № 2. С. 221.

фоне литературного эмигрантского застоя и бессилия». Нового художественного слова в романе Толстого Воронский не услышал: «Картины недавней войны набросаны иногда с недюжинным литературным дарованием, хотя все это уже знакомо, читано и не захватывает: не схвачена душа войны, не чувствуется напряжения памятных дней. На всем – серая липкая паутина, серые осенние сумерки, вялость, нет художественного подъема»[254].

Главный же упрек критика писателю был связан с изображением в романе «большевиков» (хотя сам Толстой ни разу не называет «большевиками» компанию Жадова, Елизаветы Киевны, Фильки, Гвоздева и поэта-футуриста Жирова) и, в частности, с их разговором о «равнении по Михрютке» и перспективах пролетарской революции. «Вся эта беседа большевиков, – резюмировал Воронский, – от начала до конца не только лишена художественной правды, но и изумительно глупа и невероятна. Так в большевистском подполье не говорили и не могли говорить и беседовать. Это знает всякий, кто мало-мальски соприкасался с революционным подпольем того времени. Разговор о Михрютке Кривоногом, о диктатуре пролетариата, о стаде и аристократии – невежественен, неправдоподобен и ни в какой мере не может быть назван художественным вымыслом; это тенденциозная ложь, навет по злобе и глупости: совершенно очевидно, что свои собственные теперешние "размышления" о диктатуре пролетариата в России в 1920 г. А.Н. Толстой относит в прошлое и приписывает их тогдашним большевикам»[255]. На основе текста лишь части романа критик готов сделать вывод о его «характере, направлении и значительности». «Большая мысль» Толстого, кстати внятно автором рецензии не сформулированная, ясна Воронскому «настолько, что можно с достоверностью предвидеть, во что выльется роман», говорить о воскрешении русской литературной эмиграцией худших традиций «так называемого тенденциозного искусства» и утверждать, что вещи, подобные произведению Толстого, «на три четверти продиктованы ⟨...⟩ социальной ненавистью, сословным эгоизмом, презрением к Михрюткам, слепотой и непониманием эпохи, жаждой вернуть старое». По мнению критика, «возрождение русской литературы придет с низов, от рабоче-крестьянского демоса, либо не придет совсем...»[256].

Негативный отзыв Воронского о романе Толстого не помешал дальнейшему развитию их личных отношений. В результате изменений в политическом и экономическом курсах советского государства представители эмиграции, которые по различным причинам были близки к признанию установившейся в России власти, попали в зону пристального внимания со стороны Отдела агитации и пропаганды ЦК партии. К их числу принадлежал и примкнувший

---

[254] Там же. С. 223.
[255] Там же. С. 224–225.
[256] Там же. С. 227.

к «сменовеховству» Толстой. Воронский, выступивший, вопреки своим прежним, отчасти декларативным, заявлениям о творческом потенциале «рабоче-крестьянского демоса», за постепенное привлечение в советскую литературу интеллигенции, уже в мае 1922 г. обратился к писателю с предложением принять участие в редактируемых им изданиях, на что последний ответил согласием[257].

В 1921 г. в петроградском журнале «Дом искусств» была напечатана рецензия М. Платонова на вышедшие год назад номера «Грядущей России», центральное место в которой автор отвел роману Толстого: «В руках “Грядущая Россия”. Настоящий толстый журнал – и там настоящий новый русский роман. Какое историческое событие: “новый печатный русский роман”! Писанные – знаю, есть и у нас в РСФСР. Но у нас, где государственно-признанным мэтром и писателем популярнейшим Демьян Бедный, у нас романы печатать не в моде. А тут печатный роман: “Хождение по мукам” Ал.Н. Толстого»[258]. Начало произведения Платонов прочел как «нечаянную авторскую исповедь»: «…сторонний наблюдатель из московского переулка – конечно, есть А. Толстой. Он – москвич, самарец, нижегородец неизлечимый, в его Петербурге не найдешь этой жуткой, призрачной, прозрачной души Петербурга, какая есть в Петербурге Блока, Белого, Добужинского. Ал. Толстой ходит по Петербургу как сторонний наблюдатель – наблюдатель острый и умный»[259]. Главных героев «Хождения по мукам» критик увидел «очаровательно нелепыми», «алогичными», умными «сердцем – никак ни умом»: «И не знаешь почему Катя вдруг едет с Бессоновым в гостиницу ⟨…⟩ и не знаешь почему с тем же Бессоновым и, может быть, в ту же гостиницу едет нелепая футуристическая девица, Елизавета Киевна; и почему едет к нему Даша. Не знаешь и, главное, не хочется знать. Это явная победа автора: ему удается обездумить, оналымить читателя, читатель загипнотизирован – и верит всему, не рассуждая»[260]. Но более всего, по мнению автора статьи, Толстому удались «“великолепные не-

---

[257] Письмо Воронского к Толстому не сохранилось, но 19 мая 1922 г. Толстой сообщал ему о своем согласии принять участие в журнале «Красная новь» и «альманахе» (*Переписка*. Т. 1. С. 318). В данном контексте речь могла идти либо о «Наших днях», либо о «Круге» – оба альманаха редактировались Воронским.

[258] Дом искусств. 1921. № 2. С. 94. Об остальных авторах журнала Платонов писал, что «это преимущественно грешники, вцепившиеся в единого спасающего их праведника – Ал. Толстого», отмечая при этом публицистику издания: «Хороша искренняя без единого зеленого рефлекса эмигрантской злости программная статья “Наши задачи” Г.Е. Львова ⟨…⟩ Афористична – под Льва Шестова – статья Алданова “Огонь и дым” о большевизме Барбюса, Роллана, Анат. Франса, о Конст. Аксакове и Ленине. Последняя параллель между верой в мессианство России славянофильства и коммунизма – самое парадоксальное и остроумное» (95).

[259] Там же.

[260] Там же. С. 95.

лепости" петербургской колонии футуристов»: «…тут уж он совсем в своей налымовской среде (какого первоклассного футуриста потерял мир в самом Ал. Толстом!) Центральная станция для борьбы с бытом в квартире инженера Телегина; стихи о "молодых челюстях, как орехи, разгрызающих церковные купола"; в весенний день – прогулка по Невскому молодых людей в оранжевых кофтах, в цилиндрах, с моноклями на толстых шнурках. Эти будущие "пролетарии" и вчерашние наши государственные поэты – показаны очень хорошо»[261]. Завершая разговор о произведении, Платонов писал: «Напечатанного в "Грядущей России" достаточно, чтобы сделать выводы. Ал. Толстой наконец вышел из своего заросшего липами переулка и взялся за новые необычные для себя темы»[262].

В конце того же 1921 г. «Хождение по мукам» было упомянуто в небольшой анонимной заметке московского журнала «Жизнь искусства», автор которой проявил определенную осведомленность в положении дел с романом Толстого, однако развернутого анализа произведения не дал: «Нашумевший среди зарубежной печати, как русской, так и иностранной, новый, большой роман Толстого "Хождение по мукам" закончен автором нынешним летом. Начат был этот роман Толстым еще в бытность его в России, хотя и не в целом своем виде. А только в отдельных набросках и эскизах, относящихся к войне и революции. Так как тема романа – великая война и русская революция – два огромнейших фактора мировой жизни последнего десятилетия, то внимание к этому роману не только со стороны русских читателей и писателей-зарубежников, но и со стороны иностранцев, вполне естественно»[263].

В 1923 г., уже после выхода в свет отдельного издания «Хождения по мукам», на роман откликнулся один из ведущих советских критиков, В.П. Полонский[264]. Его статья в журнале «Печать и революция» начиналась с признания значительности произведения: «Из всей плеяды русских писателей, ушедших на "тот берег", Ал. Н. Толстой оказался чуть ли не единственным, чей талант не растерял своих красок. Роман, с которым мы хотим познакомить читателя "этого берега", представляет собой, бесспорно, самое крупное явление художественной литературы, созданной белой эмиграцией в эпоху революции ⟨...⟩ Эпиграф, поставленный к роману, развитие действия, характеристика событий, свет, который бросает он на прошедшее, герои, которых то с ненавистью, то с любовью он живописует, и, наконец, строки, предпос-

---

[261] Там же.

[262] Там же.

[263] *А.К.* Последний роман А.Н. Толстого // Жизнь искусства. 1921. № 1 (22 нояб.). С. 8.

[264] Вячеслав Павлович Полонский (1886–1932; наст. фам. Гусин), критик, историк литературы, редактор журналов «Печать и революция» (1921–1929), «Новый мир» (1926–1931) и др. С дореволюционных времен неоднократно выступал в печати со статьями о творчестве Толстого.

ланные отдельному изданию, – все это свидетельствует о том, что перед нами вещь выстраданная, продиктованная гражданской скорбью, тесно связанная с теми испытаниями, которые обрушились на родину ее автора. Эта вещь создана революцией и говорит о революции»[265]. Высоко оценив новый роман Толстого, Полонский, все же, не счел его «первоклассным»: «Нас поражает широта размаха, увлекает смелость, с какой взялся автор за перо, – но с первых же страниц мы видим, что исполнение от замысла отстает значительно». Россия Толстого, по мнению критика, – это «Русь с одного боку», она «преломлена ⟨…⟩ сквозь призму настроений, окрашенных цветом той среды, в которой художник выполнял свое произведение»[266].

Полонский отметил созданные Толстым образы главных героев романа: Смоковникова («…образ адвоката, иногда смахивающий на шарж, убедительный и яркий»), Даши Булавиной и Ивана Телегина («Эти двое – те праведники, ради которых стоит пощадить Содом и Гоморру. Они и душевно, и телесно прекрасны»), Алексея Алексеевича Бессонова («в центре ⟨…⟩ рафинированной, разлагающейся литературно-художественной России жуткая фигура известного поэта Алексея Алексеевича Бессонова, сделанного настолько портретно, что в нем нетрудно угадать знакомые черты»)[267]. Особенно, считал критик, удался писателю образ Даши Булавиной: «Она искренна и простосердечна – цельная натура, одна из тех женщин, которые столь привлекали нас в свое время в романах Тургенева ⟨…⟩ Девушка действительно живет на страницах романа. Ее душевная история, пробуждение женщины и влюбленность, и слезы, и поиски “настоящего” человека, – все это сделано тонко, какими-то редкими красками, сообщающими удивительную жизненность образу»[268]. Однако автору статьи непонятно ее стремление к счастью рядом с любимым человеком среди «крови и насилия», «жестокости и сладострастия», «сытого довольства и голодной ненависти», «неприкрытой нищеты и лихих троек с бубенцами». Он считает, что жить так, как они, – «преступление, что это другая сторона того распада, который ⟨…⟩ и приведет Русскую землю к тягчайшим испытаниям»[269].

Значительная часть статьи посвящена идеологической критике романа, позиции, занятой автором. «Ал. Толстому, – пишет Полонский, – выпала завидная судьба жить в эпоху Революции, в величественные годы грандиозных катаклизмов, и он не смог оказаться между двух берегов. Революция выбро-

---

[265] *Полонский В.П.* О романе Ал.Н. Толстого «Хождение по мукам» // Печать и революция. 1923. № 1. С. 54–55.

[266] Там же. С. 55.

[267] Там же. С. 56.

[268] Там же. С. 58.

[269] Там же. С. 60.

сила его на *тот берег*. И печать белого берега лежит на романе»[270]. Критик обращает внимание на незнание Толстым материала, положенного в основу произведения, в той его части, которая рисует лагерь революции. Поэтому, по мнению Полонского, Акундин под пером Толстого явлен персонажем «с ухватками романтического злодея», в устах которого проповедь классовой борьбы приобретает «иезуитски-смердяковский характер»; Струков – «психопатом, кокаинистом, субъектом с растрепанным сознанием и анархической фразеологией», но при этом и «кандидатом в большевистские комиссары»; Жадов – еще одним «неуравновешенным господином», который, правда, «более членораздельно и систематически излагает целую систему борьбы», а потому, видимо, «займет почетное место в дальнейшем ходе событий». Но более всего Полонскому обидно за образ рабочего Гвоздева, беспомощного, не знающего и не понимающего тех вещей, о которых говорит. «...Мы не будем обвинять Гвоздева, – пишет критик, – он может плести небылицы, – мы обвиним автора, избирающего Гвоздева тем рупором, которым говорит в романе назревающая рабочая революция»[271].

Итоговый вывод Полонского неутешителен для Толстого: «Нельзя художественно изображать события, людей, факты, которых не знаешь, о которых имеешь самое ложное представление. Извращенная, изуродованная, преломленная сквозь призму классового пристрастия, – такая живопись становится материалом для характеристики самого автора. В нашем случае она характерна для всего “того берега”. В этом смысле “Хождение по мукам” – образец очень показательный»[272]. «“Тот берег”, – добавляет Полонский, – будет утверждать, что Толстой великолепно “отразил” революцию, что ее действительно сделали загадочные Акундины, невропатические Струковы, сумасшедшие Жадовы, меланхолически-тупые Гвоздевы, да идиоты Фильки, что русская революция – это сплошное “грабь”, “жги”, как говорит Толстой ⟨...⟩ “*Наш* берег”, напротив, будет утверждать, что все это чепуха, что “мерцавцы” – последнее удовольствие, в котором себе не могут отказать побитые, посрамленные и в конец ликвидированные “хорошие” люди»[273].

Упомянул роман «Хождение по мукам» и К.И. Чуковский в статье «Портреты современных писателей. Алексей Толстой», отметив, что весь он «написан по-старинному, по тем традиционным образцам, которые прочно были установлены мастерами европейского романа еще в первой половине минувшего века»[274]. Вслед за Горьким Чуковский увидел в произведении Толстого

---

[270] Там же. С. 61.
[271] Там же. С. 66. Глава XXIV, которая и содержит диалог Жадова и Гвоздева, подвергнута Полонским, вслед за Воронским, наиболее жесткой критике.
[272] Там же. С. 68.
[273] Там же.
[274] Русский современник. 1924. № 1. С. 267.

рассказ о сложных переживаниях Даши Булавиной, «чистенькие, светленькие чувства и мысли» которой «нисколько не характерны для девушки нашего времени». По мнению критика, по главным героям всемирно-исторической драмы писатель только «очень бегло скользит»: «Солдаты, революционеры, интеллигенты, австрийцы, рабочие маячат где-то на горизонте, вдали, в сущности служат лишь фоном для Даши, ни на минуту не заслоняя ее. Такие эпизоды, как взятие города Львова, убийство Распутина, встреча с Николаем II, все это изображено так эфирно, что дунь – и ничего не останется»[275]. «Что же больше всего привлекало Алексея Толстого в этом ответственном, всемирно-историческом романе? – задается вопросом автор статьи. – Да все то же, что всегда привлекало к себе романистов, писавших под старыми липами: та же тургеневская, переливчатая, соловьиная, медленно зреющая – этап за этапом – любовь, которая заслоняет собою весь мир. Изображать такую любовь для Толстого – привычное дело 〈…〉 Упорно противополагает Толстой это любовно-семейное счастье вселенскому горю, разлитому вокруг. Он тысячу раз повторяет, что эти двое счастливы, несмотря ни на что, вопреки свирепствующему в мире несчастью»[276].

[275] Там же.
[276] Там же.

Г.Н. Воронцова

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ

Роман «Хождение по мукам» был впервые опубликован полностью в журнале «Современные записки» (Париж): 1920. № 1. Ноябрь. Гл. XI–XIII. С. 1–34; Гл. I–X. С. 1–84 (Приложение); № 2. Гл. XIV–XVI. С. 1–41; 1921. № 3. 27 февр. Гл. XVII–XXIII. С. 1–45; № 4. 15 апр. Гл. XXIV–XXVII. С. 1–40; № 5. 5 июня. Гл. XXVIII–XXXIV. С. 1–37; № 6. 5 авг. Гл. XXXV–XXXVIII. С. 338–370; № 7. 5 окт. Гл. XXXIX–XLIII. С. 1–43. С датой: Август, 1921 года.

Десять первых глав произведения были напечатаны ранее в журнале «Грядущая Россия» (Париж): 1920. № 1. Январь. Гл. I–VI. С. 23–88; № 2. Февраль. Гл. VII–X. С. 5–58.

Отдельное издание романа вышло в 1922 г. в Берлине, в русском издательстве «Москва».

Автографы произведения неизвестны.

В фонде писателя в *ОР ИМЛИ* сохранился лишь автограф раннего варианта предисловия к отдельному изданию романа (1922):

Предисловие.

Ураган времени – революция. Корабль бытия пляшет на волнах, летит в грозовой мрак. Трещат и падают устои, рвутся в клочья паруса сознания.

В урагане времени летят дни и года с бешеной скоростью. Стихает революция, – корабль жизни, потрепанный бурями, качается у новых берегов.

Грозовая тишина перед бурей времени, первые раскаты, смрадный вихрь войны и гибель Российской империи, – вот содержание романа "Хождение по мукам". Роман кончается тремя днями февральского переворота. Это – первая часть трилогии.

Вторая часть – революция, годы 1917–1921, – еще не закончена.

Третья часть – о прекраснейшем на земле: о любви, о русской женщине, пронесшей по всем мукам, в грозу и бурю, неугасший светильник нежности и чистоты.

Все три книги я посвящаю Наталье Крандиевской-Толстой.

А. Толстой[1].

Таким образом, можно говорить, по крайней мере, о двух текстах романа (журнал «Современные записки» и отдельное издание 1922 г.), напечатанных последовательно, с небольшим промежутком времени, в самом начале

---

[1] *ОР ИМЛИ*. Ф. 43. № 843/1. Опубл.: А.Н. Толстой: Новые материалы и исследования. М., 1995. С. 178.

1920-х годов. И журнальная публикация, и отдельное издание «Хождения по мукам» осуществлялись при непосредственном участии писателя, т.е. в равной степени авторитетны.

А.Н. Толстой принадлежал к той категории писателей, для которых творческая история произведения не заканчивалась с его первой публикацией. Большинство своих рассказов, повестей, романов, пьес он правил от издания к изданию, добиваясь выразительности и стилистического единства текста, его наиболее полного соответствия поставленным художественным задачам. Так, на протяжении пятнадцати лет писателем было создано три редакции его первого романа: «Две жизни» (1910), «Земные сокровища» (1916) и «Чудаки» (1924). Авторские исправления коснулись сюжета, композиции, характеров действующих лиц, стилистических особенностей текста. Находясь в эмиграции, Толстой, как он сам писал в одной из автобиографий, «начал большую работу, затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего ценного, что было ⟨…⟩ написано» (I, 45). В результате этого появились новые варианты ранних повестей и рассказов писателя: «Мишука Налымов» («Заволжье»), «Петушок» («Неделя в Туреневе»), «Мечтатель» («Аггей Коровин»), «Актриса» («Два друга») и др. Особое внимание Толстой уделял первым отдельным изданиям произведений, текстам для собраний сочинений, тщательно выправляя газетные и журнальные публикации. В соответствии с этой практикой прочитываются исправления, внесенные автором в текст романа для отдельного издания «Хождения по мукам».

Правка 1922 г. мало что меняла в идейной проблематике и художественной целостности произведения и имела три основных направления: 1) сокращение целого ряда фрагментов текста, порой довольно объемных, частью для придания большей динамики повествованию, частью в связи с авторским переосмыслением тех или иных проблем; 2) небольшая по объему смысловая правка, вносившая некоторые коррективы в изображение событий и характеров, а также в авторское отношение к ним; 3) исправление стилистических погрешностей и вообще стилистическая правка, выразившаяся в замене слов, фраз, устранении длиннот и лишних, необязательных описаний, ничего не добавлявших к сущности художественных образов.

Так, из текста романа были исключены два больших фрагмента. Первый, в котором анализировались причины войны, в «Современных записках» открывал главу XIII:

В эти жаркие дни, когда праздное население во всем старом свете развеивало скуку морскими купаниями, танцами, парусным спортом и любовью, когда более многочисленное трудовое население с безнадежно-тоскливым однообразием создавало и создавало все новые миллиарды никому уже более ненужных ценностей, когда еще более огромное, никем не замечаемое, не принимаемое в расчет ни одной социологической проблемой, деревенское население – мужики – доканчивали уборку

хлеба, в это время несколько человек мудрых и лукавых дипломатов тайно от всего мира переговаривались шифром. Причина переговоров была в том, что правительство какой-то одной из великих держав во что бы то ни стало хотело начать войну, но кто именно этого хотел, допытаться было невозможно, все отвечали уклончиво и отрицательно, а пороховая нить где-то невидимо уже горела, пахло гарью.

Казалось, стоит только найти конец этой зловещей нити, и взрыв будет предупрежден, и было тем более удивительно, что он не находился. По всем соображениям – злая воля шла от германского императора, но его дипломаты по чистой совести утверждали, что войны, во что бы то ни стало, хочет Россия, но русский министр иностранных дел напрягал все усилия, чтобы предотвратить возможный ультиматум и т.д. и т.д. Причина этой неясности, главным образом, была в том, что население по крайней мере четырех великих держав хотело войны, не той, которая произошла, но войны, как избавления от безнадежно растущего количества вещей. За полстолетия европейского мира государственные механизмы, военные и деспотические по своей природе, перейдя на мирное положение, задачей своей ставили не увеличение счастья каждого человека, не развитие духовной его жизни в добре и любви, но производство им в кратчайшее время наибольшего количества вещей. Эти вещи часто не нужны были ни тому, кто их делал, ни тому, кто их приобретал. Человек должен был приспособляться к неимоверно сложной мировой фабрике. Он превращался в частицу механизма. Ему приходилось урезывать в себе добрые желания и подавлять яркие чувства, иначе бы он задохнулся в предназначенной ему пожизненно рубрике. И желания и чувства приходили в состояние первобытное и злое. И даже те немногие, кто собирал жатву на этом рабочем поле, были, более чем кто-либо, во власти вещей и цифр.

Так новые варвары, с такой торжествующей песней начавшие девятнадцатый век, беззаботно и шумно перешли границу разумного и с жадностью упились вином жизни, лукаво им поданным, и захмелели, и сами себе воздвигли жертвенник, и принесли брата, и заклали его во имя свое. И, когда была сказана эта безумная формула – я есть я, – замкнулся круг, и началась гибель: «я», как туман, исчезало, становилось ничем, нулем, абстракцией. И тогда появилась вещь. И вещь стала всем.

Сильнее всего это человеческое уничтожение сказалось в Германии. Количество созданных там вещей было неимоверно. Люди задыхались под этим грузом цивилизации, и казалось, что, если страна теперь же не будет разгружена, – народ задохнется. Но история не давала иных примеров разгрузки, кроме войны.

В войне была двойная радость – разрушение вещей и выход человека из нумерованной рубрики на вольное поле. Война была психологически желанна и неминуема.

Этим только и можно объяснить ту легкость, с которой европейские государства вошли в состояние военных действий, и быстроту, с какой повсюду прошла мобилизация.

И все же в эти последние дни никто ничего не знал и не предвидел. Жизнь была благоустроена, безопасна и сытна. И миллионы людей томились – одни тем, что жизнь бессмысленна, как колесо в каторжной тюрьме, другие тем, что жизнь пошла и надоедлива, как приставшая на улице пьяная, крашеная девка[2].

---

[2] Современные записки. 1920. № 1 (нояб.). С. 20–22.

Причин исключения отрывка из текста произведения могло быть несколько. Т.Н. Фоминых, рассматривая «Хождение по мукам» в рамках оппозиции «оптимистического и пессимистического типов миропонимания в художественном осмыслении Первой мировой войны», считает его следствием отказа «от наиболее мрачных прогнозов и пессимистических заявлений»[3]. Она же, в другой своей работе, высказывает мнение, что «изъятие пространного вступления к XIII главе 〈…〉 было вызвано стремлением А. Толстого не только сократить текст, но и освободиться от фрагментов, в которых зависимость его историософских построений от популярных теорий выглядела слишком очевидной»[4]. Однако нельзя не обратить внимания на то, что в исключенном из текста фрагменте было отчасти сформулировано и толстовское понимание проблемы. Обращаясь к популярным современным историософским теориям, писатель говорил о причинах той войны, которой хотело «население по крайней мере четырех великих держав», но «не той, которая произошла», понимая всю схематичность рассуждений, которые он почерпнул у ряда современников. Слишком несопоставимы по своим масштабам они были с поглотившей Европу трагедией. Тем не менее причины той войны, «которая произошла», Толстым отчетливо названы не были. Как следствие, текст провисал, на что, видимо, обратил внимание автор, вновь готовя произведение к печати. Ну и, наконец, писатель мог просто посчитать фрагмент неудачным, мало совпадающим по своей природе с основным текстом романа. Недаром же писала в дневнике В.Н. Муромцева-Бунина о своем впечатлении от чтения «Хождения по мукам»: «Многое очень талантливо, но в нем “горе от ума”. Хочется символа, значительности, а это все дело портит, это все от лукавого»[5].

Второй большой фрагмент был исключен Толстым из главы XLII. После слов «Господи, Господи, что за ветер!» в журнальном варианте следовало:

Когда миновали поляну, из-под деревьев, где в тени лежало несколько человек, поднялся один, без шапки, с разорванным воротом не подпоясанной рубашки, и пошел навстречу нетвердой, озорной походкой тяжело обутых ног.

---

[3] *Фоминых*. С. 88.

[4] *Фоминых Т.Н.* Берлинская редакция романа А.Н. Толстого «Хождение по мукам» в критике русского зарубежья // Словесность и современность. Пермь, 2000. Ч. 1. С. 91. В одной из своих работ автор статьи указала на связь вступления к главе XIII с историософскими концепциями современников Толстого М.А. Волошина и М.О. Гершензона: «Перед нами рассуждение, весьма характерное для культурно-исторической мифологии начала XX века. В качестве его вероятных источников можно назвать эссе М. Волошина “Демоны разрушения и закона” (1908), позднее вошедшее в лекцию-беседу “Скрытый смысл войны” (1918–1920) 〈…〉 Еще ближе рассматриваемый фрагмент романа к работам М. Гершензона – публичной лекции “Кризис современной культуры” (1917) и эссе “Тройственный образ совершенства” (1918)» (*Фоминых*. С. 85).

[5] *Устами Буниных*. Т. 2. С. 10.

– Стойте, – крикнул он и махнул у себя перед лицом вялой рукой, точно отогнав муху.

Иван Ильич остановился, подбородок его выпятился, на лбу надулась жила. Даша, вцепившись ему в руку, зашептала:

– Умоляю тебя, не порти мне сегодняшнего дня, не связывайся, он пьяный.

– Тебе что нужно? – спросил Иван Ильич спокойно и холодно. Солдат стал. Налитые спиртом беловатые глаза его уперлись в Телегина.

– Прохлаждаетесь, офицер? – проговорил он уже менее решительно.

Даша ногтями вцепилась под локоть Ивану Ильичу, он углом рта улыбнулся, показывая Даше, что понимает ее, и повторил: – Я спрашиваю, что тебе от меня нужно? – Солдат закрыл глаза, сейчас же открыл их, и широкое лицо его с редкими, пыльными усиками расплылось в улыбку.

– Вижу, идут хорошие люди, думаю, подойду, поздороваюсь...

– Врете, – сказал Телегин, – вас подговорили товарищи, я слышал, как вы смеялись...

– А и верно, что подговорили, – солдат рассмеялся, – видимо, он совсем не был так пьян, как прикинулся вначале, – ваше благородие, да ведь скука... Жрешь эти семечки, заешь их мухи с комарами, скука весь день... Извините, я, конечно, рад поговорить с хорошими людьми, но у вас свое назначение, – прогуливаетесь... Лежим тут на пузе с семи часов, с утра. Эти мордастые-то, – поди, говорят, Степан, испужай... – Он радостно посмотрел на Дашу, она засмеялась, вынула у Ивана Ильича портсигар и протянула солдату. Он осторожно, черными ногтями, взял папироску, положил за ухо и подмигнул Даше:

– А строгий у тебя муженек... Ну, извините, если потревожил, счастливого пути...

После этой встречи Иван Ильич долго хмурился, рассеянно слушая Дашу, наконец с досадой ударил себя по ляшке:

– Три месяца тому назад он за такие бы штуки попал под расстрел, он это отлично понимает... Я – офицер, значит я враг.

– Иван, ведь он же нас не обидел.

– Еще бы попробовал тебя обидеть... Не посмел...

– Нет, не потому, – сказала Даша, а потому что, когда он подошел, он увидал нас...

– Ах, Даша... Увидел нас... Ты не знаешь этот народ... Страшные люди...

– Почему ты их так ненавидишь?

– Я ненавижу, – Иван Ильич остановился, с удивлением взглянул на Дашу, – нет, я их не ненавижу... Я их знаю хорошо... В солдате из мужиков, из рабочих, у каждого заряд динамита, – ненависти. Это вовсе не значит, что солдат тебя ненавидит, ничего подобного. Он ласков, вежлив, услужлив. Если ты захворал, он с удивительным душевным вниманием будет за тобой ухаживать... – И это не при творство, золотые милые люди. Я знаю, как денщики вытаскивали из-под убийственного огня своих офицеров. Этот динамит в нем в какой-то капсюле. И уж если прорвет эту ненависть, – облика на нем нет человеческого, зверь... Я помню, как у нас рота взбунтовалась на фронте. Ты говоришь – ненавижу. Мне страшно. Ведь в руках этих людей сейчас весь фронт, судьба государства. А что им фронт, что им

Россия, – так же, вот, как мои погоны: подойти да плюнуть, – на, мол, получай за все...

– Все-таки, ты не совсем прав, – сказала Даша осторожно, – если у них ненависть к нам, – значит мы в чем-то виноваты... Подожди, не спорь, – Даша крепко взяла Ивана Ильича под руку и на ходу заглядывала ему в лицо, – разве не грешно было жить, как мы жили прежде... Катюша это называет так, что мы проводили воробьиные ночи. Ты видал когда-нибудь воробьиную ночь: черная, черная ночь, жарко, тихо, звездно, и по всему небу полыхают бесшумные зарницы. Так и мы жили, – полыхали без толку... Ах, Иван, знаешь что...[6]

Как представляется, Толстой исключил указанный фрагмент по причинам идеологическим. Виной всему была позиция, занятая Телегиным по отношению к солдатам, по сути своей более свойственная Рощину, но никак не Ивану Ильичу с его живым, неподдельным интересом к рядовым Зубцову и Сусову, рабочему Василию Рублеву. Монолог Телегина в исключенном отрывке ничем не подготовлен, не мотивирован, не имеет опоры в характере персонажа и не получает никакого развития. Более того, он вступает в противоречие с некоторыми положениями статьи Толстого «Нить Ариадны», написанной и опубликованной еще в сентябре 1920 г.: «Что будет с Россией, мы не знаем и ни предугадать, ни даже увидеть во сне не можем. Но если все сыны России будут верить в конечное добро ее, то как может оно не совершиться? Наоборот, если мы будем верить, что под каждым картузом красноармейца, под каждой заскорузлой мужицкой рубашкой, – грабитель и негодяй, что каждый, носящий кокарду белогвардейца, – погромщик и реакционер, что под каждым потертым пиджачком русского интеллигента бьется дряблое, заячье сердце, – то, я спрашиваю: как может совершиться добро?» (X, 22).

Другие исправления 1922 г. не были столь значительными. Толстой внес коррективы в изображение войны и революции, в психологические портреты некоторых героев. Так, например, он существенно сократил монолог рядового Зубцова (глава XVI) об ответственности за убийство на войне. Из него исчезли фразы, в которых было выражено стремление Зубцова доискаться смысла войны, так до конца никем и не понятого: «Так ведь, Иван Ильич, немец тоже свое отечество обороняет. [Зачем же мы друг дружку обязаны истреблять.] Он тоже, чай, думает, что – правый ⟨…⟩ [Сколько народу переколотили, не может быть, чтобы зря… Я думаю – если одно отечество оборонять – такой бы войны у нас не было… А газету почитать – ничего не понятно. Одно, – во всем свете – рвачка. А почему, – пишут, да не договаривают… – Как же ты сам об этом думаешь? – Как я думаю? Я вот как думаю – я девятерых убил, – значит, я должен отвечать, – либо я не жилец. – А ну, как зря меня заставили это делать? Вот тут бы я сейчас зубами заел этого человека. – Кого? –

---

[6] Современные записки. 1921. № 7 (5 окт.). С. 23–26.

Да уж я не знаю кого. Кто виноват.] *А ну как я зря девятерых заколол?.. Что я с этим человеком сделаю!.. Горло бы ему перегрыз! – Кому? – Кто виноват...*»[7]. В той же главе из характеристики подполковника Розанова писатель исключил указания на его «одышку» и «доброту», что в целом лишало образ известной теплоты.

Коснулись исправления и характера отмеченного близостью к военной теме Аркадия Жадова. Его анархизму в большей степени были приданы черты стихийности и иная направленность, а как следствие скорректированы выводы героя из собственного военного опыта. Вместо слов «о том удивительном прозрении, которое совершилось с ним за время войны» появилось «о тех удивительных мыслях, которые сложились у него за время войны»; фраза «с такой же ясностью духа можно и нужно уничтожать государство, законы и религию» была заменена на «так же можно и нужно уничтожать человеческие муравейники». Подобным образом оформленное течение мыслей персонажа легче согласовывалось с теми негероическими событиями (ограбление ювелирного магазина Муравейчика и т.д.), в которых потом принимал участие Жадов.

В главе VII из текста исчезло имя «публициста-социолога», которого посещают Акундин и Бессонов («пророк Елисей (Юрий Давидович Елисеев)»). К числу причин его изъятия нужно, видимо, отнести наличие семитского отчества у персонажа, что так или иначе открывало тему «евреи и русская революция». В 1922 г. Толстой снял эту аллюзию своего романа. Рисуя портрет молодого рабочего «с бледным и злым лицом», писатель также отказался от слов «в черной косоворотке и в глубоко надвинутом картузе об одну пуговку», рождавших ассоциации с черносотенством. Из отрывка, в котором гипотетически можно усмотреть указание на «пророка Елисея»: «...сзади Ивана Ильича на шестерни вскочил бледный, возбужденный человек в большой шляпе, с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле», – Толстой убрал замечание «Ивану Ильичу лицо его показалось знакомым», так как Телегин с Елисеевым никогда не встречался.

Писатель исключил несколько характерных штрихов из описания революционных событий в Петрограде и Москве. Глава XXXVI в «Современных записках» кончалась словами Антошки Арнольдова, адресованными Ивану Ильичу Телегину: «От нашей редакции устроен питательный пункт, имени Бакунина, в парикмахерской... Приходи вечером в “Красные бубенцы”, – там все узнаешь». Картины революционной Москвы (глава XXXVI) итожились в журнале не только авторской ремаркой: «После трех лет уныния, ненависти

---

[7] В квадратные скобки помещен текст, исключенный автором; курсивом выделены вновь вписанные слова.

и крови растопилась, перелилась через края доверчивая, ленивая, не знающая меры славянская душа», – но и указанием на то, что «в половине двенадцатого на Большой Дмитровке обчистили ювелирный магазин, и, кроме того, во многих местах в эту ночь пошаливали». Насыщенным предельной конкретикой выглядело в «Современных записках» (глава XLIII) выступление выходившего на балкон «особняка знаменитой балерины» «главы партии», который «говорил толпе о том, что нужно немедленно свергнуть Временное правительство, передать всю власть Советам, заключить с немцами мир, уничтожить смертную казнь, собственность, деньги и принудительный труд». В издании 1922 г. он упоминает только «о великом пожаре, которым уже охвачен весь мир, доживающий последние дни» и призывает «к свержению, разрушению и равенству…».

В 1922 г. Толстой уточнил портретные и психологические характеристики ряда героев романа. Иван Ильич Телегин, например, перестал быть «неуклюжим» (глава IX): «Да и весь Иван Ильич, [неуклюжий], *широкий в белом кителе*, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился изо всего этого речного покоя». Отказался писатель и от явно выраженной политической подоплеки увольнения героя с завода (глава X): «Вызванный в контору, он, неожиданно для всех, наговорил резкостей администрации, [выразил недовольство существующему строю], и подписал отставку».

Образ Даши Булавиной освобождался писателем от излишнего легкомыслия, граничащего порой с ветреностью и душевным холодком. Так, в «Современных записках», беседуя с Телегиным на пароходе, героиня говорила: «Вспомнишь – о ком думала, кого любила? Одну себя. Беспокойно, душно и совсем не весело. Ох, нет, хорошо быть вот какой женщиной, – всегда на тебе невидимый, чистенький передничек, и с ног до головы – весело влюблена»[8]. В Самаре после общения с отцом она мысленно отмечала: «Отцу интересны эпидемия и политика, а ей, о Господи, не все ли равно, сколько в городе глазных заболеваний, если у нее самой все так не устроено и неопределенно». Все это было исключено из текста произведения. Одновременно Толстой стремился придать характеру Даши большую цельность, отказываясь от порой неоправданных душевных терзаний героини. С этой целью писатель сократил ее внутренний монолог во время ночного дежурства в госпитале, после встречи с Елизаветой Киевной (глава XXIII): «Вечером, присев отдох-

---

[8] Ср. в статье о романе В.П. Полонского, который, видимо, пользовался текстом «Современных записок»: «Империалистическая война с ее кошмарами, распутством в тылу, темными предчувствиями надвигающейся катастрофы, тяжелая духота предгрозья, назревающая растерянность и стая воронья над Россией – на этом фоне развивается вечная идиллия любящих сердец. Но почему от этой идиллии веет непроходимой пошлостью? 〈…〉 “Всегда невидимый чистенький передничек” – в духовном смысле, конечно, – какая сухая, эгоистическая натура!» (Печать и революция. 1923. № 1. С. 58–59).

нуть в дежурной комнате, Даша глядела на зеленый абажур и думала, [все-таки, никакой работой и усталостью не оправдать ей своего духовного холодка. Досыта сегодня наслушалась стонов и бормотаний, видела, чувствовала, как смертельным трепетом содрогается человеческое тело, а сердце так и осталось чистенькое – ледышка. Кровью должно было изойти от всех виденных мук, – и не изошло, – ни жалости, ни любви, ни к людям, ни к себе. Вот, научиться бы так плакать на перекрестке, говорить постороннему человеку, – "страшно, страшно люблю Ивана Ильича", – тогда и лезь к нему со своей любовью. Даша думала о Елизавете Киевне, превознося ее в мыслях и старалась себя унизить] *что вот бы уметь так плакать на перекрестке, говорить постороннему человеку, – "страшно, страшно люблю Ивана Ильича"... – Вот бы научиться забыть себя...*»

Образ Бессонова в 1922 г. Толстой практически не правил. Изменилась лишь оценка этого персонажа футуристами. Из романа исчезли слова Жирова, адресованные Елизавете Киевне (глава VII): «Мне кажется, вы недостаточно разобрались в этой поэзии, это слабо и вяло, очень вяло». Из обращения Елизаветы Киевны к Бессонову в ресторане «Северная Пальмира» – «Бессонов, слушайте, вы очень опасный человек. Очень страшный» – был исключен эпитет «Очень страшный».

Часть правки коснулась изображения футуристов в романе. Толстой снял слова Екатерины Дмитриевны Смоковниковой, прозвучавшие после ухода из ее салона Петра Петровича Сапожкова: «Ну, что, господа? А в нем все-таки есть что-то острое, уверяю вас», – которые указывали на горьковскую оценку футуризма. В мемуарной книге В.В. Каменского, в главе «Максим Горький», рассказано о выступлении футуристов в литературно-артистическом кафе «Бродячая собака» (1915): «В подвал "Собаки" еженочно собиралась петроградская богема. Здесь была эстрада, на которой мы выступали со стихами. На "вечер футуристов" прибыл Алексей Максимович Горький. После нашего выступления на эстраду вышел Горький и, улыбаясь, сказал задумчиво: – В них что-то есть... Эту горьковскую фразу встретили веселым взрывом аплодисментов, и пошла эта фраза гулять по газетам»[9].

Несколько изменил Толстой рисунок образа Елизаветы Киевны в сторону меньшей эпатажности. Так, в сцене обсуждения «Великолепных кощунств» (глава V) автором была снята фраза «Елизавета Киевна предложила, чтобы члены редакции лежали на коврах». В рассказе героини о буре на Черном море слова «я раздеваюсь до нага и говорю ему, привязывайте меня к мачте» писатель заменил на «я сбрасываю с себя платье и говорю ему...». Из разговора Елизаветы Киевны с Бессоновым в ресторане (глава VII) Толстой убрал предложение: «Если бы у меня были деньги – я бы гоняла на автомобиле по

---

[9] *Каменский*. С. 499.

всей Европе, покуда не сорвалась в пропасть». Кроме того, в «Современных записках», в главе XVIII, Елизавета Киевна сообщала Даше о знакомых футуристах: «Жиров на Кавказе, читает лекции о футуризме. Их там трое – Семисветов, поэт, говорят такого гения еще не было в России, он совершенно отрицает слово, признает только звуки, и Голдшмидт – учитель жизни», – что также было исключено из текста.

Более общими стали характеристики участников «Философских вечеров» (глава II). Философа Борского, о котором в «Современных записках» говорилось: «изгнанный из Духовной Академии за отпадение к социал-демократам, ушедший от социалистов и проклятый ими» (снято в 1922 г.), – что указывало на Н.А. Бердяева. И «лукавого писателя Сакунина», который в журнальном варианте был «автором циничных и замечательных книг» (снято в 1922 г.), – что рождало ассоциации, связанные с В.В. Розановым.

В дальнейшем, уже в Советской России, роман «Хождение по мукам», которому суждено было стать началом трилогии с одноименным названием, неоднократно перепечатывался в составе собраний сочинений Толстого[10], выходил отдельными изданиями. Уже в 1925 г.[11] в текст произведения были внесены исправления, дополненные при последующих переизданиях, вплоть до 1943 г., когда вышло в свет первое отдельное издание всей трилогии[12].

Часть исправлений, внесенных в текст «Хождения по мукам» (с 1928 г. – «Сестры») на протяжении 1925–1943 гг., могут рассматриваться как дань критике романа в советской печати начала 1920-х годов, но и они являются лишь звеньями широкой панорамы переделки произведения. Непосредственным ответом на статьи о романе А.К. Воронского и В.П. Полонского нужно, видимо, считать правку главы XXIV, в которой речь идет о жизни Аркадия Жадова и Елизаветы Киевны после их возвращения с фронта. Из нее были полностью исключены история семьи Жадова, обстоятельства его знакомства с «интеллигентным рабочим из ремонтных мастерских» Филькой и «проживающим частными уроками московским студентом» Гвоздевым, их спор о целях и средствах переустройства мира, об идее равенства, игравший важную роль в идейно-художественной системе романа. В конечном итоге анархизм Жадова замкнулся на нем самом, да еще на Елизавете Киевне, долгими вечерами вынужденной слушать откровения мужа.

---

[10] *Толстой А.Н.* Собр. соч.: В 15 т. М.; Л.: Государственное издательство, 1928. Т. 6; Собр. соч.: В 15 т. М.: Издательство «Недра», 1929. Т. 6; Собр. соч.: В 8 т. Л.: Гослитиздат, 1935. Т. 5.

[11] Хождение по мукам. Л.: Издание автора, 1925.

[12] *Толстой А.Н.* Хождение по мукам: Трилогия: Сестры. Восемнадцатый год. Хмурое утро. М.: Гослитиздат, 1943.

Вероятно, по тем же причинам был снят в главе VII диалог Акундина и Бессонова, в котором раскрывались природа и сущность революции в трактовке, близкой русской религиозной философии. В результате – из романа ушла сюжетная линия Акундин – Бессонов, что существенно обеднило образ последнего, сузив рамки его романной биографии и уменьшив масштаб характера. Одновременно Акундин с центральных позиций переместился на периферию произведения. Соответственно исчезло из текста упоминание «пророка Елисея», или «публициста-социолога», как именовался он в издании 1922 г.

Отказ от двух из трех главных программных полемических диалогов (сохранен был писателем лишь спор Ивана Телегина и Вадима Рощина о судьбе России) не только разрушал композицию произведения в целом, но и лишал его фундамента, связанного с первоначальным замыслом. Сам ракурс взгляда на русскую революцию был писателем существенно скорректирован. В русле этой корректировки в текст вносились различные исправления, с помощью которых Толстой пытался устранить возникшие в тексте романа противоречия. Прежде всего, они коснулись представителей лагеря революции, нарушив первоначальный баланс в изображении деятелей Февраля (Николай Иванович Смоковников и группировавшиеся вокруг него присяжные поверенные, «румяный барин», либерал князь Капустин-Унженский) и будущих лидеров Октябрьского переворота (товарищ Кузьма; «глава большевиков», выступающий с балкона «особняка знаменитой балерины»; рабочие-революционеры на заводе, где работает Телегин). Изначально критикой автора были отмечены обе стороны. В новой редакции, начиная с 1925 г., характеристики большевиков были кардинально изменены. В качестве примера работы Толстого показателен в итоге облагороженный образ «товарища Кузьмы», которого всюду в революционной Москве встречают Телегин, Катя и Даша Булавины:

Редакция 1922 г.:

С угла стола поднялся вялый человек с соломенными, длинными волосами, с узким лицом, с рыжей, мертвой бородкой. Не глядя ни на кого, он начал говорить ленивым, насморочным голосом:

– Заслушанные здесь сообщения весьма любопытны. Дело, видимо, всерьез идет к ликвидации дворянско-бюрократического правящего класса. Неожиданного в этом ничего нет: не завтра, так через месяц, войска взбунтуются, и рабочие будут стремиться захватить власть. – Он вытащил из бокового кармана носовой платок, высморкался, сложил его и засунул за потертый пиджак ⟨…⟩

Редакция 1943 г.:

С угла стола поднялся высокий человек с соломенными длинными волосами, с узким лицом, с рыжей мертвой бородой. Не глядя ни на кого, он начал говорить насмешливым голосом:

– Только что я слышал, – какие-то товарищи кричали: ура, свобода. Правильно. Чего лучше: арестовать в Могилеве Николая Второго, отдать под суд министров, пинками прогнать губернаторов, городовых… Развернуть красное знамя революции… Начало правильное… По имеющимся сообщениям – революционный процесс начался правильно, энергично. По всей видимости,

– Я не разделяю восторгов предыдущего оратора, – продолжал товарищ Кузьма, сонно глядя на чернильницу, – если даже на этих днях царское правительство и сдаст власть, глупо впадать в восторг: власть попадет в руки буржуазному классу, и драки в дальнейшем все равно не избежать. – Он наконец поднял глаза, и все увидали, что глаза у него зеленоватые, холодные и скучные. – Давно бы пора бросить маниловские бредни... Революция – штука серьезная... Братский хор с пением свободы – занятие для безземельных дворянчиков да для разжиревших купеческих сынков... на этот раз не сорвется. Но вот только что передо мной очень красиво говорил один барин. Он сказал, – или я ослышался, – он выражал полное удовлетворение по поводу готовящейся совершиться революции и предполагал в самом недалеком будущем слиться со всей Россией в одном братском хоре...

Человек с соломенными волосами вытащил носовой платок и приложил его ко рту, будто бы стараясь скрыть усмешку. Но скулы его покрылись пятнами, он закашлялся, подняв костлявые плечи.

В результате правки середины 1920-х – начала 1940-х гг. роман был сокращен писателем практически на одну треть. Толстой исключил из текста не только большие фрагменты, но и отказался от отдельных словосочетаний, фраз, небольших эпизодов. Так, произведение лишилось значительного количества слов, связанных с религиозной символикой, в том числе часто упоминаемого автором слова «грех».

Таким образом, постепенно, от издания к изданию вырисовывался контур другого произведения с иной художественной задачей и мастерски затушеванным первоначальным авторским замыслом, что дает нам право говорить не столько о двух редакциях первой части трилогии «Хождение по мукам», сколько о двух романах Толстого, связанных общими героями, фабулой, сюжетом, но не совпадающих в главном – в авторском взгляде на описанные события, в отношении писателя к материалу.

В настоящем издании текст романа «Хождение по мукам» печатается по его первому отдельному изданию (Берлин, 1922), как наиболее выверенному и исправленному автором, с устранением явных опечаток и приведением пунктуации к современным нормам при сохранении авторских интонационных знаков препинания.

За помощь, оказанную в подготовке издания, автор выражает глубокую благодарность чл.-кор. РАН Н.В. Корниенко (ИМЛИ РАН), д-ру филол. наук В.Н. Терёхиной (ИМЛИ РАН), сотрудникам Отдела рукописей ИМЛИ РАН канд. филос. наук М.А. Айвазяну, канд. филол. наук А.А. Кутейниковой, М.А. Гулинской и В.Ф. Капице, сотрудникам Отдела «Фундаментальная электронная библиотека» ИМЛИ РАН В.Н. Чугуновой и К.Е. Герасимову, И.Г. Андреевой (Музей-квартира А.Н. Толстого), А.А. Федюхину (Научная библиотека ГАРФ), а также сотрудникам Отдела литературы русского зарубежья Российской государственной библиотеки.

ПРИМЕЧАНИЯ

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

[1] *...зашатался и рухнул византийский столп Империи...* – Здесь, несомненно, нашла отражение популярная в дореволюционной России политическая теория, с помощью которой обосновывалось значение Московской Руси, а затем и Российской империи как всемирного центра православия, а также их преемственность от Римской и Византийской империй. Широко известна формула, выработанная приверженцами теории «Москва – Третий Рим», первое упоминание которой относится к концу XV в. Византийский мотив вновь стал актуален и популярен в годы Первой мировой войны. См., например, в статье С.Н. Булгакова «На пиру богов» (1918): «...участие в мировой войне могло оказаться великим служением человечеству, открывающим новую эпоху в русской да и всемирной истории, именно византийскую. Но этим, конечно, предполагается и изгнание турок из Европы и русский Царьград» (*Из глубины*. С. 93).

[2] *...неслышными стопами прошедшей по всем мукам, заслонив ладонью от ледяных, от смрадных ветров живой огонь светильника Невесты.* – Образ Невесты в данном контексте может указывать на Богородицу, которую в христианской церкви обычно именуют Невестой Неневестной. См. в Акафисте Божией Матери: «Мы, избавленные от бед, возносим Тебе, Богородица-Военачальница, победные и благодарственные песни; Ты же, имея державу непреоборимую, от всяких напастей освободи нас, да взываем к Тебе: Радуйся, Невеста Неневестная!» К одному из богородичных мотивов отсылает и словосочетание «неслышными стопами». См. у С.Н. Булгакова: «И вот-вот услышит заветный зов русская душа и с воплем безумной радости падет к ногам своего Раввуни... Кроме этой веры, кроме этой надежды ничего у нас более нет. Но русская земля это знает, и она спасет русский народ, по ней стопочки Богородицыны ступали...» (*Из глубины*. С. 143).

I

[1] *О, Русская земля!..* – Неполная цитата из «Слова о полку Игореве». Полностью рефрен, повторенный в тексте «Слова» дважды, звучит следующим образом: «О Русская земля, уже за шеломянем еси!» В переводе с древнерусского: «О Русская земля, а ты уже скрылась за холмом». В стихотворном переводе В.А. Жуковского: «О Русская земля! Уж ты за горами // Далеко!» В переводе А.Н. Майкова: «А уж в степь зашла ты, Русь, далеко! // Перевал давно переступила!»

[2] *...пронзительной высотой Петропавловского собора...* – Речь идет о главном соборе Петропавловской крепости во имя апостолов Петра и Павла, памятнике архитектуры петровского барокко; возведен в 1712 –1733 гг. по проекту арх. Д. Трезини

на месте одноименной деревянной церкви (1703–1704); до 1859 г. кафедральный. Его трехъярусная колокольня (122, 5 м), увенчанная золоченым шпилем с фигурой летящего ангела, является высотной доминантой и одним из символов города.

[3] *…дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору ⟨…⟩ и затем говаривал в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту»…* – Троицкая церковь, правильно Троицко-Петровский собор, памятник русского деревянного зодчества XVIII в., по рангу второй после Исаакиевского собора храм Санкт-Петербурга. Возведен в 1709–1711 гг. по указу Петра I, в 1713 г. – дополнен колокольней с курантами. Считался исторической реликвией города, так как в 1721 г. здесь было торжественно объявлено о заключении Ништадтского мира со Швецией и в том же году царю Петру преподнесен титул императора. В 1743–1746 гг. обветшавшее церковное строение было заменено деревянным храмом «по образу прежнего» (арх. И.И. Сляднев). Снесен в 1933 г. Мотив исторической обреченности Петербурга был довольно популярен в рамках славянофильского взгляда на Петровскую эпоху, унаследованного символистами. Так, мотив исторической обреченности стал важной составляющей художественной системы романа Д.С. Мережковского «Петр и Алексей» (1904) из трилогии «Христос и Атихрист». См., напр., разговор царевича Алексея с царевной Марьей: «…она начала ему рассказывать шепотом на ухо, что слышала от пришедшего из обители Суздальской юрода Михаила Босого: тамошняя радость обвеселила, там не прекращаются видения, знамения, пророчества, гласы от образов; архиерей Новгородский Иов сказывает: “Тебе в Питербурхе худо готовится; только Бог тебя избавит, чаю; увидишь, что у вас будет”. И старцу Виссариону, что живет в Ярославской стене замурован, было откровение, что скоро перемене быть: “Либо государь умрет, либо Питербурх разорится”. И епископу Досифею Ростовскому явился св. Дмитрий царевич и предрек, что некоторое смятение будет и скоро совершится.

– Скоро! Скоро! – заключила царевна. – Много вопиющих: Господи мсти и дай совершение и делу конец!

Алексей знал, что совершение значит смерть отца.

– Попомни меня! – воскликнула Марья пророчески. – Питербурх не долго за нами будет. Быть ему пусту!

И взглянув в окно на Неву, на белые домики среди зеленых болотистых тополей, повторила злорадно:

– Быть пусту, быть пусту! К черту в болото провалится! Как вырос, так и сгинет, гриб поганый. И места его не найдут, окаянного!» (*Мережковский Д.С.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 385).

По преданию, выражение «быть Петербургу пусту!» принадлежит первой жене Петра I Евдокии Федоровне Лопухиной (1670–1731).

[4] *…за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.* – Тайная канцелярия – орган политического сыска и суда в России; создана Петром I в феврале 1718 г. для следствия по делу царевича Алексея Петровича и близких к нему лиц – противников петровских реформ. Находилась под личным контролем Петра, который часто присутствовал на допросах. Ликвидирована в мае 1726 г. с передачей

всех дел Преображенскому приказу. Одно из мест действия повести Толстого «День Петра» (1918).

[5] *...как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт.* – Аллюзия, отсылающая к содержанию повести Тита Космократова (В.П. Титова) «Уединенный домик на Васильевском» (1829), всплеск интереса к которой приходится на начало 1910-х годов (см., напр., ее публикацию в январском номере журнала «Северные записки» за 1913 г. с историко-литературным комментарием Н.О. Лернера). Повесть представляет собой литературную запись устного рассказа А.С. Пушкина. См. об этом в письме В.П. Титова А.В. Головину от 29 августа 1879 г.: «В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове, поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам...» (*Пушкин.* Т. 9. С. 551–552). См. также в воспоминаниях А.П. Керн: «Когда Пушкин решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов» (Там же. С. 552).

[6] *То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням Медный Император.* – Аллюзия, отсылающая к названию и содержанию поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833). См. текст о бегстве Евгения от «Медного всадника» во второй части произведения:

> И он по площади пустой // Бежит и слышит за собой –
> Как будто грома грохотанье – // Тяжело-звонкое скаканье
> По потрясенной мостовой. // И, озарен луною бледной,
> Простерши руку в вышине, // За ним несется Всадник Медный
> На звонко-скачущем коне; // И во всю ночь безумец бедный,
> Куда стопы не обращал, // За ним повсюду Всадник Медный
> С тяжелым топотом скакал.
>
> (*Пушкин.* Т. 4. С. 395–396)

[7] *То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу, приставал мертвец – мертвый чиновник.* – Аллюзия, отсылающая к содержанию повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1839–1841).

[8] *И во дворец, до самого трона несчастнейшего из Императоров, дошел и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик, с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.* – Речь идет о Григории Ефимовиче Распутине (наст. фам. Новых; 1864 или 1865–1916), последнем и наиболее известном фаворите императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Из крестьян Тобольской губернии. Еще при жизни приобрел ореол «святого старца» и «прорицателя», благодаря чему в 1907 г. был принят в царском дворце. В последние годы монархии имел неограниченное влияние на императора, его жену и детей, которое использовали различные придворные круги, представители биржи и банков. Некоторые черты Распутина воплощены в образе старца Акилы из пьесы Толстого «Горький цвет» (1917; другое название «Мракобесы»).

II

[1] *Кто там у меня за спиной? Венера Милосская?* – Источником фрагмента речи Сапожкова могло послужить выступление футуриста И.М. Зданевича с докладом «Футуризм Маринетти» на диспуте «Восток, национальность и Запад», предварившем открытие выставки «Мишень» (Москва, 23 марта 1913 г.). 24 марта 1913 г. газета «Русское слово» (№ 70) писала: «Такого позора, какой разыгрался на вчерашнем диспуте “Мишени”, должно быть, никогда не видывали строгие стены Политехнического музея 〈...〉 Главным трюком г. Зданевича было выступление с башмаком. Башмак, оказывается, вещь замечательная, – подошвой он отделяет нас от соприкосновения с ненавистной землей, и по этому случаю он выше Венеры Милосской. Темнеет. На экране появляется снимок с луврской статуи. Электричество вспыхивает снова, и, к величайшему ужасу публики, докладчик потрясает лакированной американской туфлей, приглашая всех убедиться в ее превосходстве над златотронной богиней» (С. 7).

[2] *...проснется и заговорит, как валаамова ослица?* – Согласно древнееврейскому мифу (сохранен в библейской книге Чисел), ослица прорицателя Валаама, на которой он ехал к царю государства Моав Валаку, чтобы проклясть израильтян, ведших с Моавом войну, неожиданно заговорила, увидев трижды преграждавшего ей путь ангела с обнаженным мечом. В переносном значении выражение «валаамова ослица» употребляется для характеристики молчаливого, забитого человека, вдруг произнесшего что-либо достойное внимания.

[3] *...покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом...* – Вслед за Великим Инквизитором из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» Акундин декларирует приятие первого из трех отвергнутых Христом искушений: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от Диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4: 1–4). Ср. с текстом романа Достоевского: «Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и сразится с тобою и победит тебя и все пойдут за ним 〈...〉 Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. “Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!” – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой» (*Достоевский*. Т. 9. С. 317–318).

[4] *Каждый молод, молод, молод.* – Первые строки стихотворения Д.Д. Бурлюка (1882–1967) «Утверждение бодрости» (Впервые: Дохлая луна: Сб. стихотворений. М., 1913):

Каждый молод молод молод // В животе чертовский голод
Так идите же за мной... // За моей спиной
Я бросаю гордый клич // Этот краткий спич!
Будем кушать камни травы // Сладость горечь и отравы

Будем лопать пустоту // Глубину и высоту
Птиц, зверей, чудовищ, рыб, // Ветер, глины, соль и зыбь...
Каждый молод молод молод // В животе чертовский голод
Все что встретим на пути // Может в пищу нам идти.

(Цит. по: *Поэзия русского футуризма. С. 115*)

Сохранился отзыв Бурлюка, обратившего внимание на цитирование его стихотворения в романе Толстого: «В “Хождении по мукам” А.Н. Толстого цитируется мое знаменитое стихотворение “Утверждение бодрости”: “Всякий молод, молод...” И в шаржированных (недружелюбных) тонах ясна попытка моего литературного выведения. Имя мое упомянуто во многих книгах на нескольких языках ⟨...⟩ Несомненно одно – мое имя и сейчас уже бросило некоторый след в умах современников и памяти истории» (*Бурлюк*. С. 21).

III

[1] *Великий Могол, – так называли горничную Лушу...* – Великий Могол – шутливое прозвище от названия династии правителей Индии – Великие Моголы (1526–1858), основатель которой, Бабур Тимурид, происходил из Моголистана, занимавшего территории Средней и Центральной Азии. Шутливые прозвища – характерная примета быта первых десятилетий XX в. Так, свои письма друзьям Толстой и С.И. Дымшиц-Толстая подписывали «Артамоша и Епифаша» и производными от них (*Переписка*. Т. 1. С. 142). Письма Толстого к Н.В. Крандиевской-Толстой периода Первой мировой войны обычно подписаны: «Твой муж Кумпферднар» (Там же. С. 226).

[2] *...в столовой из птичьего глаза...* – Птичий глаз – особая форма твердого клена, распространенного в основном в северных районах Северной Америки; с рельефной фактурой, обусловленной множеством спящих почек, растущих по всему стволу дерева.

[3] *...над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера...* – Резонер – сценическое амплуа; или актер, исполняющий роли рассудочных людей, склонных к риторическим декларациям и назидательным сентенциям; обычно высказывает мысли автора по поводу изображаемых событий, дает оценки поступкам других действующих лиц. В русском дореволюционном театре существовали различные разновидности резонера, в том числе любовник-резонер.

[4] *...как кровь с заколдованного ключа Синей Бороды.* – Синяя Борода – главный герой одноименной сказки Ш. Перро (1628–1697). Одна из его жен, вопреки запрету, вошла в тайную комнату, где увидела тела мертвых женщин. После этого на ключе, которым она воспользовалась, появились несмываемые пятна крови.

[5] *Канотье* (от фр. canotier – гребля) – мужская или женская соломенная шляпа с низкой правильной цилиндрической формы тульей и прямыми узкими полями; первоначально, с конца XIX в., ее носили молодые люди, занимавшиеся греблей.

[6] *...поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам.* – «Самарканд» – ресторан в Петербурге, славившийся своим цыганским ансамблем.

[7] *«Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло – и люди, и искусство. А Россия – падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду».* – Ср. с мотивами некоторых стихотворений А.А. Блока из цикла «Возмездие» (1908–1913):

* * *

Дохнула жизнь в лицо могилой – // Мне страстной бурей не вздохнуть.
Одна мечта с упрямой силой // Последний открывает путь:
Пои, пои свои творенья // Незримым ядом мертвеца,
Чтоб гневной зрелостью презренья // Людские отравлять сердца.

(*Блок (1).* Т. 3. С. 47)

* * *

Какая дивная картина // Твоя, о, север мой, твоя!
Всегда бесплодная равнина, // Пустая, как мечта моя!
Здесь дух мой, злобный и упорный, // Тревожит смехом тишину;
И, откликаясь, ворон черный // Качает мертвую сосну;
Внизу клокочут водопады, // Точа гранит и корни древ;
И на камнях поют наяды // Бесполый гимн безмужних дев;
И в этом гуле вод холодных, // В постылом крике воронья,
Под рыбьим взором дев бесплодных // Тихонько тлеет жизнь моя!

(Там же. С. 48)

* * *

Нет конца и нет начала, // Нет исхода – сталь и сталь.
И пустыней бесполезной // Душу бедную обстала
Прежде милая мне даль.
Не таюсь я перед вами, // Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ, // Обожженный языками
Преисподнего огня.

(Там же. С. 53–54)

Современниками поэта стихи цикла оценивались, «с одной стороны, как характерные для определенного этапа эволюции Блока, а, с другой, как выражающие целостный образ его судьбы» (*Блок (1).* Т. 3. С. 641). В.Л. Львов-Рогачевский в статье «Символисты и наследники их» отмечал: «Если отразилась русская жизнь в новых книгах поэтов-символистов, то в воплях отчаяния и растерянности ⟨…⟩ Наиболее искренние поэты отравили свои творения “незримым ядом мертвеца”. У А. Блока Лучезарную сменила Смерть-владычица. Поэт глядит не в очи синие, бездонные заветной мечты, а в черные впадины черепа ⟨…⟩ Это прах души. Это страшная опустошенность. С этим жить нельзя!» (Современник. 1913. № 6. С. 270–271). О периоде «самого черного пессимизма Блока» писал и К.И. Чуковский: «Это время с 1908 по 1915 год было мрачной полосой его жизни. Религиозная натура, которой для того, чтобы жить, нужно было набожно любить и набожно верить, он вдруг окончательно понял, что любить ему нечего и верить не во что» (*Чуковский К.И.* Книга об Александре Блоке. Пг., 1922. С. 64–65).

IV

[1] *Картина называлась «Любовь», а Катя называла ее современной Венерой.* – Исследователи возводят полотно из коллекции Екатерины Смоковниковой к различным работам П. Пикассо. В.И. Баранов (*Баранов.* С. 232) соотносит ее с женским портретом, упомянутым в книге Г. Тастевена «Футуризм» (М., 1914): «С полотен, написанных большей частью в коричневых тонах, глядят уродливые туловища, напоминающие картины Гойи или же каких-нибудь уродливых идолов дикарей Таити. Природа является тут в образе грубой слепой силы, враждебной личности. Этот бунт личности, стремящейся разрушить грани реального, в картине, носящей название "Das ewig Weibliche" (вечно женственное), является нам в образе "бабищи огромной и дебелой", с выдающимся животом и тупым треугольным носом. За этим чувствуется трагическая и демоническая усмешка художника, бунт во имя "личного я" против природы, против судьбы» (С. 66–67). Е.Д. Толстая считает, что Толстой «скорее всего описал картины Пикассо, теперь находящиеся в Эрмитаже: «"Обнаженную сидящую" (1908) – из серии тяжелых, мрачных, квадратных ню, созданных вслед за "Авиньонскими девушками" (1907)», либо правую нижнюю фигуру «Авиньонских девушек», «у которой рот на стороне, а вместо носа – черный клин» (*Деготь или мед.* С. 380). Думается, оба они правы, так как Толстой, создавая образ жуткой футуристической картины в романе, вероятно, ориентировался на целый ряд соответствующих образцов новой живописи начала XX в.

[2] *...роман Вассермана «Сорокалетний мужчина».* – Роман немецкого писателя Якоба Вассермана (1873–1934) «Сорокалетний мужчина» («Der Mann von 40 Jahren») был написан в 1913 г. Его герой, разрушив привычные рамки обыденной жизни, ведет существование, направленное на удовлетворение собственных страстей и желаний, однако в итоге отказывается от своей исключительности и возвращается в прежний семейный круг. Впервые на русском языке произведение было опубликовано в 1913 г. (СПб., изд-во «Новая жизнь») под названием «Роман мужчины сорока лет».

V

[1] *Мы новые Колумбы! Мы гениальные возбудители!* – По стилю прокламация футуристов, обосновавшихся в телегинской квартире, близка к манифесту кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу», опубликованному в альманахе с одноименным названием в декабре 1912 г. Подписанный Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В. Хлебниковым, манифест начинался словами: «Только мы – лицо нашего Времени». Одним из принципов группы провозглашалось: «Стоять на глыбе слова "мы" среди моря свиста и негодования». Аналогичный текст см. в рассказе Толстого «Между небом и землей»: «Юноши и девушки! Все разочарованные, упавшие духом, тоскующие, все жаждущие испить из чаши жизни! Идите, идите к нам! Мы знаем истину! Мы учим счастью! Мы новые Колумбы. Мы гениальные возбудители! Мы семена нового человечества» (Наст. изд. С. 268).

[2] *...футуристический журнал под названием «Блюдо Богов»...* – Образцом для названия журнала могло послужить название сборника футуристической группы бу-

детлян «Гилея» – «Садок судей»; вышел в апреле 1910 г. в петербургском издательстве М.В. Матюшина тиражом 300 экземпляров на обойной бумаге, с иллюстрациями Д. и В. Бурлюков. В числе его авторов были: Д. и Н. Бурлюки, В. Каменский, В. Хлебников, Елена Гуро, Екатерина Низен (Гуро), С. Мясоедов, А. Гей. Кажется, само слово «садок» было прочитано Толстым в соответствии с одним из его значений – «помещение для содержания и разведения животных».

[3] *...не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив.* – Ср. в манифесте «Пощечина общественному вкусу»: «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее Гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с Парохода современности» (*Русский футуризм.* С. 41).

[4] *Литературный критик Чирва растерялся, – в «Блюде Богов» его назвали сволочью.* – Указание все на тот же манифест «Пощечина общественному вкусу», где содержались нелестные характеристики ряда современных поэтов и прозаиков: «Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам ⟨sic!⟩, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым ⟨sic!⟩, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!» (*Русский футуризм.* С. 41). Еще более резкий выпад, теперь уже против тех, кто писал о футуризме, содержался в листовке «Пощечина общественному вкусу» (М., 1913): «Русские критики, эти торгаши, эти слюнявые недоноски, дующие в свои ежедневные волынки, толстокожие и не понимающие красоты, разразились морем негодования и ярости. Не удивительно! Им ли, воспитанным со школьной скамьи на образцах Описательной поэзии, понять Великие откровения Современности. Все эти бесчисленные сюсюкающие Измайловы, Homunculus´ы, питающиеся объедками со столов реализма – разгула Андреевых, Блоков, Сологубов, Волошиных и им подобных, – утверждают (какое грязное обвинение), что мы "декаденты" – последние из них – и что мы не сказали ничего нового – ни в размере, ни в рифме, ни в отношении к слову» (Там же. С. 43).

[5] *...взятом напрокат в театральной парикмахерской из пьесы «Манон Леско».* – Манон Леско – героиня романа А.-Ф. Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). На основе романа были созданы две оперы: Ж. Массне «Манон» (1884; впервые в России – 29 декабря 1885 г.) и Дж. Пуччини «Манон Леско» (1893; впервые в России – 31 октября 1893 г.). В 1912 г. опера Ж. Массне «Манон» была возобновлена в московском театре С.И. Зимина в «память умершего композитора» (см.: Театральная библиотека. 1912. № 1 (сент.). С. 63) и шла вплоть до 1917 г.

[6] *...вечера под названием «Великолепные кощунства».* – Название восходит к языку раннего футуризма. Ср. с названиями стихотворения В.В. Маяковского «Великолепные нелепости» (1915), поэмы В.Г. Шершеневича «Вечный жид. Трагедия великолепного отчаяния» (1919) и его же мемуаров «Великолепный очевидец» (1930-е годы). См. об этом: *Деготь или мед.* С. 372.

[7] *...на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, срамные фигуры, падающие небоскребы...* – Здесь и далее воспроизведены некоторые реальные черты декоративного убранства московского футуристического «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке близ Тверского бульвара (осень 1917 – середина апреля 1918 г). Ср. с его описанием в воспоминаниях поэта С.Д. Спасского: «Земляной пол усыпан опилками. Посреди деревянный стол. Такие же кухонные столы у стен. Столы покрыты серыми кустарными скатертями. Вместо стульев низкорослые табуретки. Стены вымазаны черной краской. Бесцеремонная кисть Бурлюка развела на них беспощадную живопись. Распухшие женские торсы, глаза, не принадлежавшие никому. Многоногие лошадиные крупы. Зеленые, желтые, красные полосы. Изгибались бессмысленные надписи, осыпаясь с потолка вокруг заделанных ставнями окон» (*Маяковский. Воспоминания*. С. 162). С большей степенью узнаваемости интерьер кафе воспроизведен в рассказе Толстого «Между небом и землей»: «За тремя столами, протянутыми во всю длину кафе, узкой и длинной комнаты, выкрашенной сажей, с красными зигзагами и буквами, с кристаллами из жести и картона, с какими-то оторванными руками, ногами, головами, раскиданными по потолку, сидят паразитические элементы» (Наст. изд. С. 273).

[8] *...про какого-то до головной боли непонятного кузнечика, в коверкоте, с бедекером...* – Коверкот – плотная шерстяная или полушерстяная ткань, обычно с наклонными рубчиками, для пошива пальто и костюмов. Бедекер – название широко распространенных в XIX – начале XX в. путеводителей (на немецком и других языках) по различным странам, содержавших обширный фактический материал. Впервые были составлены и изданы немецким книготорговцем и издателем К. Бедекером (K. Baedeker; 1801–1859) на основе данных, полученных в результате собственных путешествий и поездок.

[9] *...чай и колбаса первоклассные, от Елисеева.* – Торговому товариществу «Братья Елисеевы» в 1913–1914 гг. в Петербурге принадлежали пять магазинов (наиболее известный на Невском проспекте, 56) и две лавки в Апраксином дворе, где велась торговля винами, фруктами, гастрономическими, кондитерскими и табачными изделиями. Фраза могла быть подсказана писателю фактами, изложенными в корреспонденции М. Первухина «Итальянские Бурлюки»: «“Веселое представление” закончилось элегантно сервированным для избранных, “друзей футуризма” и понимающих задачи искусства» чаем с бутербродами и конфетами. Приглашенные к этому чаю долго подозрительно посматривали на яства и пития, вполне резонно тая опасения:

– А что, если и это все не настоящее, а... футуристическое?! ⟨...⟩

Но все опасения оказались напрасными: яства и пития оказались не футуристическими, а самыми обыкновенными, пригодными для употребления как «“небожителей”-футуристов, так и для тех, кого футуристы, пригласив на свое празднество, обозвали авансом:

– Невеждами и идиотами» (Русское слово. 1913. 20 февр. (№ 42). С. 5).

См. об этом: *Баранов*. С. 231.

[10] *На Обуховском заводе.* – Обуховский завод был основан в 1863 г. для производства высококачественной тигельной стали по методу, разработанному инженером П.М. Обуховым; одно из крупнейших предприятий России. С конца 1860-х годов

фактическим хозяином завода стало Морское министерство, а основной продукцией – артиллерийские системы для флота и сухопутных войск. В результате правки романа для первого советского издания (Л., 1925) местом работы Ивана Ильича Телегина стал Балтийский завод, крупное судостроительное и машиностроительное предприятие, где весной 1904 г. студентом Технологического института Толстой проходил практику, изучая токарное дело и способы обработки металлов. См. в его письме матери и отчиму: «Народ на заводе очень развитой. Например, рядом со мной работает нижегородец лет 32, так он и рабочий вопрос и политическую экономию читал ⟨…⟩ Мастер этот выписывает газету, и с ним интересно поговорить. Конечно, социал-демократ до мозга костей. И таких большинство из мастеров, конечно» (*Алексей Толстой и Самара*. С. 233).

[11] *...вышел из технической конторы «Сименс и Гальске», что на Невском...* – «Сименс и Гальске» – берлинский торговый дом, специализировавшийся на продаже телеграфных аппаратов и других электротехнических товаров; имел филиалы в России. В Петербурге контора филиала располагалась не на Невском проспекте, а на Васильевском острове (1-я линия Васильевского острова, 34; см.: С.-Петербург: Энциклопедия. М.; СПб., 2006. С. 802).

[12] *Она медленно шла, в синем весеннем пальто, с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком; на синей ее шапочке покачивались белые ромашки...* – Ср. с записью в дневнике Толстого 1911–1914 гг.: «Не забыть. Дама в синем в трамвае. Сидит очень прямо, вздернутый немного нос, высокая шея, шляпа с цветами» (*Материалы и исследования*. С. 291).

[13] *«Новые и интересные приключения Джека потрошителя животов. 2400 метров».* – Джек Потрошитель животов, Джек Потрошитель – маньяк-убийца, терроризировавший Лондон в течение трех месяцев 1888 г. Своим жертвам, девушкам легкого поведения, вырезал сердца, почки, кромсал скальпелем лица. Под псевдонимом «Джек Потрошитель» живописал собственные преступления в газетах.

VI

[1] *...записка на толстой бумаге, два слова... «Любите любовь».* – Одним из источников выражения «Любите любовь» могло быть поэтическое творчество К.Д. Бальмонта с его устойчивым мотивом поклонения любви. См., напр., в стихотворении «Восхваление луны» из книги «Будем как солнце» (1902; цикл «Четверогласие стихий»):

2.

О, души бледные, внемлите,
Я стройный гимн пою Луне,
Со мной душой своей сплетите,
Непогасающие нити,
Мечты влюбленные храните,
Любовь любите в сладком сне.
....

7.

Восславим, сестры, глубину,
Любовь к любви, любовь-волну,
Восхвалим ласки и – Луну.

(*Бальмонт К.Д.* Полн. собр. стихов.
М., 1908. Т. 3. С. 15; 19)

Е.Д. Толстая, в свою очередь, связывает происхождение строк из романа Толстого со статьей Блока «О реалистах» (1907), а именно с характеристикой рассказа А.П. Каменского «Леда»: «А вот и проповедь – в рассказе “Леда”: надо “любить любовь”, а не только процесс раздевания» (*Деготь или мед.* С. 378).

[2] *«Цветоводство Ницца»* – фирма по разведению и продаже цветов в Санкт-Петербурге.

[3] *...повел меня к Пивато...* – Петербургский ресторан «Братья Пивато» располагался по адресу: Морская, 36 (см.: «Весь Петербург» на 1914 год: Адресная и справочная книга Санкт-Петербурга. [СПб., 1914]. С. 1422).

[4] *В «Северной Пальмире» было полно народом...* – Для названия ресторана Толстой использовал поэтическое имя Санкт-Петербурга, возникшее во второй половине XVIII в. от названия античного города Пальмира (находился на северо-востоке современной Сирии), который славился богатством и широкомасштабным строительством, особенно в годы правления образованной и просвещенной сирийской царицы Зенобии Септимии, что рождало прямые аналогии с веком императрицы Екатерины II. Исследователь петербургской темы Н.П. Анциферов, отмечая звуковое сходство слов «Пальмира» и «полмира», наделял данную аналогию дополнительными смыслами: «...само существование столицы на покоренной земле говорит о торжестве ее народа в борьбе за свое историческое бытие и о предназначенности ее увенчать великую империю и стать “Северной Пальмирой” 〈...〉 Для русского слуха в этом эпитете звучит особая мощь из-за звукового сходства с “полмира”!» (*Анциферов Н.П.* «Непостижимый город...»: Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина. Л., 1991. С. 34). Сходными мотивами отмечен и толстовский текст. Описание ресторанного зала завершает фраза: «...все это повторялось и множилось в зеркальных стенах, и, казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир».

[5] *...пучки снежных эспри...* – Эспри (фр. esprit) – украшение в виде пера или пучка перьев, которое прикалывалось к женской прическе или женскому головному убору.

[6] *...живет в свое удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками.* – Намек на А.А. Блока, который в 1910–1912 гг. жил в доме 9 по Малой Монетной улице, близ Каменноостровского проспекта (именно этот адрес должен был помнить Толстой, живший тогда в Петербурге). Упоминание «актрисы с кружевными юбками» восходит к знакомству Блока в 1914 г. с оперной певицей Любовью Александровной Андреевой (1879–1969; сценический псевдоним – Дельмас), солисткой Театра музыкальной драмы под руководством И.М. Лапицкого, где в роли Кармен ее и увидел поэт. В марте того же года Блок написал и посвятил певице стихотворный цикл «Кармен».

VII

[1] *В такие иерихонские трубы затрубим...* – Иерихонские трубы – от названия города Иерихон, одного из древнейших в Палестине, населенного ханаанеями (конец II тыс. до н. э.) и разрушенного вторгшимися в Палестину еврейскими племенами. По библейскому преданию, стены Иерихона пали от звуков труб завоевателей.

[2] *... Сезам, отворись.* – Правильно: Сезам, откройся! – Первоначально заклинание в одной из арабских сказок, силою которого открывалась тайная сокровищница. Употребляется с изрядной долей иронии при намерении проникнуть в какую-либо тайну или преодолеть какое-либо препятствие.

[3] *...во имя... процветания алаунского суглинка...* – Алаунский суглинок, алаунское плоскогорье – северная часть среднерусской возвышенности.

[4] *...понимаете – какой тут нужен жест, – вроде того, каким было с горы Иисусу Христу земное царство показано.* – Отсылка к третьему искушению Христа, когда Спасителю, чтобы прельстить его земными благами, были показаны богатство, роскошь и красота земных царств. См. евангельский текст: «Опять берет Его Диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их» (Мф 4: 8; То же: Лк 4: 5).

[5] *На ней было платье из полосатой материи, черной с желтым, и такой же бант в волосах.* – В одежду из ярких полосатых тканей, как правило, одевались футуристы. Так, например, полосатую кофту, черную с желтым, носил В.В. Маяковский. История ее появления описана у Б.К. Лившица: «Решив, что его наряд уже примелькался, он потащил меня по мануфактурным магазинам, в которых изумленные приказчики вываливали на прилавок все самое яркое из лежавшего на полках. Маяковского ничто не удовлетворяло. После долгих поисков он набрел у Цинделя на черно-желтую полосатую ткань неизвестного назначения и на ней остановил свой выбор» (*Лившиц Б.К.* Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 425).

[6] *...когда тысячи таких же окаменевших химер оживут и слетятся делить добычу.* – Химера – в древнегреческой мифологии изрыгающее пламя чудовище с головой льва, козьим туловищем и хвостом дракона. То же название носят скульптурные изображения фантастических чудовищ, олицетворяющих пороки, в убранстве средневековых готических храмов (наиболее известны химеры Собора Парижской Богоматери). В данном контексте слово «химера» наделено дополнительным смыслом, связанным с его другим значением: пустая мечта, игра фантазии, плод воображения.

[7] *Он заговорил о том, что на Россию опускается ночь для совершения страшного возмездия.* – В приведенных строках сказались мотивы и образы незавершенной поэмы А.А. Блока «Возмездие» (1910–1921):

> Век девятнадцатый, железный // Воистину жестокий век!
> Тобою в мрак ночной, беззвездный // Беспечный брошен человек!
> В ночь умозрительных понятий // Матерьялистских малых дел,
> Бессильных жалоб и проклятий // Бескровных душ и слабых тел!
> 〈...〉
> Двадцатый век... еще бездомней // Еще страшнее жизни мгла
> (Еще чернее и огромней // Тень Люциферова крыла).

Пожары дымные заката // (Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой // Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины // (Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины // Кующей гибель день и ночь,
Сознанье страшное обмана // Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана // В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни // И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне... // И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены // Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены // Невиданные мятежи.

(*Блок (1).* Т. 5. С. 24–25)

Написанная часть поэмы публиковалась Блоком с 1914 г. – сначала отдельными фрагментами в газетах и альманахах, затем главами. Пролог и первая глава были напечатаны в 1917 г. в журнале «Русская мысль» (№ 1). Вступление во вторую главу – в сборнике «Скрижаль» (Пг., 1918), что не могло не привлечь внимания Толстого, так как там же была опубликована повесть писателя «День Петра». Анализируя интерпретацию идеи возмездия у Блока, современники сопоставляли поэта с Данте. Так, Н.М. Минский писал: «...по середине жизненной дороги, в тридцать пять лет, Блок, как и Данте, очутился в “темном лесу”, у входа в ад, но не вымышленный, а действительный, в ад русской Революции. И это поразительно, Блок вступает в ад с тем же чувством, как Данте, – с сознанием необходимости и справедливости совершающейся мести» (От Данте к Блоку // Современные записки. 1921. № 7. С. 206).

[8] *И, наконец, по городу, под свист и улюлюканье толпы мальчишек, прошлись футуристы от группы «Центральной станции».* – Здесь нашли отражение реальные, связанные с футуристами, события, а именно их публичные прогулки в футуристическом гриме, изобретенном лидером лучистов художником М.Ф. Ларионовым. Так, в Москве 14 сентября 1913 г. Ларионов и два его товарища, с раскрашенными лицами, приехали в автомобиле на Кузнецкий мост, а затем, в сопровождении многочисленных зрителей, отправились в кофейню Филиппова. 10 апреля 1914 г. И.М. Зданевич выступил с докладом на эту тему в Петербурге в кабаре «Бродячая собака». См. подробно об этом: *Демиденко Ю.* «Надену я желтую блузу» // Хармсиздат представляет: Авангардное поведение: Сб. материалов науч. конф. Хармс-фестиваля 4 в Санкт-Петербурге. СПб., 1998. С. 65–76.

[9] *...Аркадий Семисветов, огромного роста парень, с лошадиным лицом и жилистыми руками.* – Образ поэта-футуриста Семисветова, в котором легко угадывается В.В. Маяковский, впервые появился в творчестве Толстого в рассказе «Между небом и землей»: «...между столиками пролезал высокий, костлявый молодой человек с лошадиной челюстью. Одет он был в спортивный светлошоколадный костюм, щурил глаз от дымившей сигары и, не вынимая рук из карманов, небрежно кланялся направо и налево. Это был знаменитый футурист Семисветов. Дойдя до дамы в розовой шляпке, он шлепнулся рядом с нею на стул, вытащил из кармана огромную руку, поздоровался и громко проговорил, показывая зубы: – Сегодня я читаю в кафе поэму. Вещица гениальная, вы должны быть» (Наст. изд. С. 271). В романе «Хождение по мукам» портрет Семисветова как бы соткан из строк про-

изведений Маяковского: стихотворения «Хорошее отношение к лошадям» (1918; «Лошадь, не надо // Лошадь, слушайте – // чего вы думаете, что вы их плоше? // Деточка // все мы немножко лошади // каждый из нас по-своему лошадь» (*Маяковский.* Т. 1. С. 175)) и поэмы «Облако в штанах» (1914–1915; «Меня сейчас узнать не могли бы: // жилистая громадина // стонет, // корчится» (Там же. С. 230)). Другим источником сравнения Маяковского с лошадью могло быть прозвище «декольтированная лошадь», данное поэту еще до революции В.Ф. Ходасевичем: «Представьте себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами и перьями, в розовом платье с короткими рукавами и розовым рюшем вокруг гигантского вороного декольте, она ходит на задних ногах, нелепо вытягивая бесконечную шею и скаля желтые зубы. Такую лошадь я видел в цирке осенью 1912 года. Вероятно, я вскоре забыл бы ее, если бы несколько дней спустя, придя в Общество свободной эстетики, не увидел там огромного юношу с лошадиными челюстями, в черной рубахе, расстегнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское лошадиное декольте. Каюсь: прозвище "декольтированная лошадь" надолго с того вечера утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский» (Цит. по: *Ходасевич В.Ф.* Некрополь: Воспоминания; Литература и власть; Письма Б.А. Садовскому. М., 1996. С. 219).

[10] *Освеженный после завтрака сном, он долго читал Гете...* – В России на рубеже XIX–XX вв. особый интерес к творчеству Гете проявляли символисты и близкие к ним представители религиозно-философских течений. Андрей Белый, Вяч. И. Иванов, Эллис (Л.Л. Кобылинский) рассматривали немецкого поэта как предвестника и вдохновителя всей современной эстетики. Статьи, посвященные Гете, регулярно печатались в «Весах», затем в журнале «Труды и дни», где в 1913–1914 гг. существовал специальный раздел «Гетеана». Неизменный интерес к творчеству Гете испытывал и А.А. Блок. В «Краткой автобиографии» (1907), перечисляя оказавших на него влияние классиков мировой и отечественной литературы, он назвал имя великого немецкого поэта (*Блок (2).* Т. 7. С. 432). В начале 1910-х годов развитию интереса Блока к Гете способствовало его сближение с русскими символистами, плодотворно осваивавшими поэтическое и теоретическое наследие выдающегося представителя немецкой культуры, в частности с основателем книгоиздательства «Мусагет» Э.К. Метнером, чей дом в Москве был центром гетеанства в России. Т.Н. Фоминых высказала предположение, что Бессонов в романе читает драму Гете «Гец фон Берлихинген» (1771), в основу которой положена «судьба известного своим демократизмом благородного рыцаря, нарушившего присягу императору и заключившего союз с восставшими крестьянами (действие драмы разворачивается в период Крестьянской войны 1525 г. в Германии. – *Г.В.*) сроком на месяц с тем, чтобы придать их беспорядочным выступлениям характер организованной борьбы "за права и вольности"». Исследователь исходит из близости образов Алексея Алексеевича Бессонова и главного героя драмы Гете: «Бессонов мало похож на народного печальника XVI века, и тем не менее основания для их сближения есть. Как и Гец, он – апологет анархии, гибнущий при непосредственном соприкосновении с ней ⟨...⟩ Бессонов – разрушитель, поэтому он и располагал к себе анархически настроенных элементов, так же как давал повод, чтобы мятежники обратились за помощью именно к нему, герой Гете» (*Фоминых.* С. 82).

[11] *...усмехалась стиснутым ртом и закрытыми веками любимая в то время всеми поэтами маска Петра Первого.* – Речь идет о гипсовой копии посмертной маски Петра I, выполненной итальянским скульптором Карло Бартоломео Растрелли (1675–1744). Большое количество копий было изготовлено в 1872 г. в связи с 200-летним юбилеем первого русского императора, и они действительно пользовались особой популярностью в среде поэтов и писателей. Одна из таких копий принадлежала А.Н. Толстому (ныне хранится в Музее-квартире писателя в Москве).

VIII

[1] *...читал статью... в только что полученной книжке журнала «Русские записки». Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина.* – «Русские записки» – под этим названием с конца 1914 по март 1917 г. выходил научный, литературный и политический журнал либерально-народнического направления «Русское богатство», издававшийся в Петербурге с 1876 по 1918 г. В разные годы его возглавляли Н.Н. Златовратский, Н.К. Михайловский, В.Г. Короленко. Сотрудничали в издании в основном писатели-реалисты: Н.Г. Гарин-Михайловский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.М. Станюкович, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, М. Горький, А.И. Куприн, В.В. Вересаев и другие. Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – революционер, один из идеологов анархизма и народничества, взгляды которого пользовались особой популярностью среди народников 1870-х годов. В 1914 г. отмечалась 100-летняя годовщина со дня рождения Бакунина, в 1916 – 40-летие со дня смерти. Ни в «Русском богатстве», ни в «Русских записках» в 1914 г. статей, ему посвященных, не появлялось. Из публикаций о Бакунине 1914 и 1916 гг. следует назвать: *Брагинский М.* М.А. Бакунин: К столетию со дня рождения (1814–1914) // Северные записки. 1914. Май. С. 168–174. (Статья могла быть известна Толстому, так как в том же номере журнала был опубликован очерк о писателе Ф.А. Степуна; обращает на себя внимание аналогия в названиях изданий: «Русские записки» – «Северные записки»); *Аксельрод П.Б.* К столетию со дня рождения Михаила Бакунина (18 мая 1814 – 18 мая 1914 гг.) // Наша заря. 1914. № 5. С. 79–83; *Богучарский В.Я.* Михаил Александрович Бакунин: К столетию со дня рождения // Вольный университет. 1914. № 8 (апрель). С. 21–30; *Кауфман А.Е.* Апостол всеразрушения // Наша старина. 1916. № 11. С. 782–789.

[2] *...и бессонные беседы с Прудоном...* – Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), французский социалист, теоретик анархизма; автор трудов «Что такое собственность» (1840) и «Система экономических противоречий или философия нищеты» (1846). Бакунин и Прудон особенно сблизились в Париже в 1844 г.

[3] *...тот романтический жест, когда, мимоездом, он наводит пушки австрийских повстанцев, еще не зная хорошо, с кем и за что они дерутся.* – Видимо, речь идет об участии Бакунина в так называемом Пражском восстании чехов против австрийской администрации (12 июня 1848 г.), «которым он сам руководил как бывший артиллерийский офицер» (*Кауфман А.Е.* Апостол всеразрушения // Наша старина. 1916. № 11. С. 785). Четырнадцати лет Бакунин был отдан в офицерские классы Петербургского артиллерийского училища, после чего непродолжительное время служил. Однако «наводить пушки австрийских повстанцев» он не мог, так как у участников восстания артиллерии не было.

[4] *Материализация идей – вот задача наступающего века.* – Ср. с записью в дневнике Толстого (1918) на ту же тему: «Революция – есть материализация идей и чувств. Если идеи порядка приправного, т.е. возникшие сами собою в сознании, и если чувства апривные – революция положительна, утверждение, победа, прирост. Если идеи порядка логического, т.е. возникшие всецело из позитивного сознания, и если чувства пассивны – то революция отрицательна – опровержение идет, разгром и испытание» (*Материалы и исследования.* С. 359).

IX

[1] *...за кормой летели острокрылые мартыны...* – Мартын, мартышка – водоплавающая птица из семейства чайковых.

[2] *Шабли или Барзак?* – Марки белого французского вина. См. у М.А. Кузмина в стихотворении из цикла «Любовь этого лета» (1906):

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
Далек закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад.

(*Кузмин М.А.* Стихотворения.
СПб., 1996. С. 59)

XI

[1] *...читал местную газету – «Самарский листок».* – «Самарский листок» (до 1893 г.), затем «Самарский вестник» – ежедневное губернское издание; до ноября 1892 г. заполнялось только объявлениями, в дальнейшем содержание «Самарского листка» было расширено до обычных пределов провинциальных газет.

[2] *Эрцгерцога убили...* – Убийство Гаврилой Принципом, членом сербской террористической организации «Млада Босна», наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии Гогенберг в Сараеве 15 (28) июня 1914 г. стало поводом для начала Первой мировой войны.

[3] *По улице шатаются горчишники...* – Сленговое название самарских хулиганов. По одной версии, они были потомками понизовой волжской вольницы, пытавшейся разводить горчицу и потерпевшей на этом поприще неудачу; по другой – потомками первых жителей города, огородников, сажавших, также безрезультатно, очень острый сорт стручкового перца. Со временем похождения горчишников стали частью неофициальной истории края. А.М. Горький, будучи сотрудником «Самарской газеты», посвятил множество публикаций этим «неукротимым дикарям русского Чикаго». Упоминаются в автобиографической повести Толстого «Детство Никиты»: «Долго ехали мимо салотопенных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята, горчишники...» (*Толстой А.Н.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1984–1986. Т. 3. С. 301. Далее ссылки на это издание даются в тексте).

[4] *Между длинных, дощатых бараков с хлебом, бунтов леса...* – Бунт – связка, кипа, пачка, куча.

XII

[1] *И это было отмечено лишь полосою солнечной тени...* – 8 (21) августа 1914 г. имело место полное солнечное затмение, полоса которого рассекла надвое Скандинавский полуостров, прошла через Ригу, Минск, Киев, восточную часть Крыма и далее через Турцию, Иран и Ирак. Как сообщала газета «Русское слово» (8 (21) авг. (№ 181)), на улицах Москвы были расклеены объявления следующего содержания: «8-го сего августа в России можно будет наблюдать солнечное затмение. В течение двух часов месяц, проходя между солнцем и землей, будет заслонять от нас солнце. В Москве затмение начнется в 2 часа 2 минуты дня ⟨...⟩ Наибольшее потемнение будет от 2-ух часов 45 минут до 3-х часов 30 минут дня» (С. 5).

XIII

[1] «*Будьте, как дети*». – Речь идет об евангельском идеале; см. евангельский текст: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф 18: 1–4).

[2] ...«*будьте так же, как змеи*». – Перефразированный евангельский текст: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» (Мф 10:16).

[3] ...*читал запрещенный роман Анатоля Франса.* – В России в начале XX в. были запрещены цензурой три романа А. Франса: «Саламандра» (1904), «Остров пингвинов» (1908) и «Восстание ангелов» (1914) (см.: *Айзеншток И.* Французские писатели в оценках царской цензуры // Публ. материалов Л. Полянской и И. Айзенштока // Литературное наследство. М., 1939. Т. 33/34. С. 830–831).

XIV

[1] ...*под Красноставом происходит кровопролитное сражение...* – Красностав – уездный город Люблинской губернии, место ожесточенных боев 5-й русской и 4-й австрийской армий в ходе Люблин-Холмской операции в августе 1914 г.

[2] ...*Государь был встречен в Москве почти горячо.* – Николай II с семьей прибыл в Москву 4 (17) августа 1914 г. для совершения торжественного молебна в Московском Кремле о даровании победы в войне. Не менее миллиона жителей столицы вышло на улицы города для встречи процессии, направлявшейся к Иверским кремлевским воротам. На следующий день московская газета «Русское слово» писала: «Сотни тысяч народа, усеявшие Тверскую улицу и пересекающие ее проезды, встретили Царскую Чету мощными раскатами "Ура!" ⟨...⟩ Во время прибытия их величеств в Москву во всех храмах начался торжественный колокольный звон. По пути следования их величеств по Тверской в Кремль духовенство церквей, находящихся на пути, выходило навстречу в праздничных облачениях. При проезде их величеств войска брали на караул» (Русское слово. 1914. 5 (18) авг. (№ 179). С. 2).

[3] *Маститые писатели пошли завтракать к Кюба...* – Ресторан «Кюба», открытый бывшим метрдотелем Императорского двора Пьером Кюба по адресу Большая Морская, 16, в начале XX в. считался одним из самых фешенебельных в Петербурге. Был известен своей образцовой кухней и великолепным обслуживанием гостей. Слу-

жил местом встреч известных писателей, художников, актеров, предпринимателей, великих князей и пр.

[4] *Заведующий отделом печати, полковник Генерального штаба Солнцев, принял в своем кабинете Антошку Арнольдова...* – В основе этого эпизода лежат реальные события, связанные с деятельностью Толстого-журналиста первых месяцев войны. См. статью писателя «Общество» (1934): «В штабе интеллигенции, в редакции "Русских ведомостей" (куда я был приглашен военным корреспондентом), происходило смятение: редакторы – столпы кадетской партии – выкинули лозунг: зажать в себе оппозиционный дух, как некую горечь в сердце. И до решительной победы над немцами и австрияками идти об руку с правительством, ибо оно выполняет сейчас национальную функцию. Но уже после войны серьезно рассчитаться за все. В Петербурге в главном штабе (меня послали туда для интервью) полковник Свечин, заведующий отделом печати, окончательно сбил меня с наших редакционных позиций. Я ожидал встретить "чудо-богатыря", услышать раскаты победного голоса... Но в тишине огромного кабинета встретил меня очень воспитанный человек (в стиле Андрея Болконского), со снисходительной улыбкой начал говорить, что патриотизм органов печати, несомненно, весьма похвален, но нужно предупредить общество от некоторого оптимистического легкомыслия. Не может быть и речи о нашем победном марше на Берлин, на ближайшие месяцы наша стратегическая задача – не допустить немцев до Петрограда. На стороне немцев преимущества сосредоточенных ударов и высокой техники. Обществу нужно приготовиться к чрезвычайно тяжелым жертвам, и общество хорошо сделает, если все силы употребит на создание госпиталей для многих тысяч раненых. Наконец, – нужно, разумеется, надеяться на благоприятный исход войны, но быть готовым ко всяким случайностям... Я испытал нечто вроде ледяного душа в этом тихом кабинете» (*Толстой (1).* Т. 13. С. 85–86).

[5] *На огромной, чисто выметенной площади, с гранитным, грузным столпом Александра...* – Речь идет об Александровской колонне (др. назв. Александрийский столп), памятнике победы в Отечественной войне 1812 г., расположенной в центре Дворцовой площади. Названа в честь императора Александра I, сооружена в 1830–1834 гг. по проекту арх. А.А. Монферана. Выполнена из монолита красного гранита, добытого и обработанного в Пютерлакской каменоломне близ Выборга.

[6] *...между колоннами Исакия.* – Исакий – Исаакиевский кафедральный собор, самый большой храм С. -Петербурга; освещен в честь преподобного Исаакия Далматского, чья память (30 мая по ст. ст.) приходится на день рождения Петра I. Здание собора, оформленное по фасадам четырьмя восьмиколонными портиками, было выстроено в 1818–1858 гг. по проекту арх. А.А. Монферана.

[7] *...где из верхних окон матово-красного, тяжелого здания германского посольства вылетали клубы дыма.* – Здание Германского посольства в Петербурге находилось на углу Исаакиевской площади и Большой Морской улицы; построено в 1911–1913 гг. по проекту немецкого арх. П. Беренса. Главный фасад дома украшала скульптурная группа «Диоскуры» работы Э. Энке: две мужские фигуры с германскими щитами в руках, ведущие под уздцы двух коней. Вскоре после объявления Германией войны России, 22 июля (4 августа) 1914 г., посольство было разгромлено толпой манифестантов, с его крыши были сброшены германское знамя и штандарт, а также одна из скульптур. Проникнув в здание, толпа била стекла, срывала обои и

картины, выбрасывала в окна мебель. После погрома на чердаке был обнаружен труп А.М. Катнера, служившего при посольстве нештатным переводчиком и корреспондентом, а также исполнявшим обязанности смотрителя. В Москву известие о погроме пришло 24 июля (6 августа) 1914 г. В «Русском слове» в заметке под заголовком «Спокойствие и достоинство» говорилось: «...пятитысячная толпа прорвала цепь полицейских, разбила двери посольства, разгромила его обстановку, затем сожгла на площади и разбила скульптурную группу двух голых тевтонов, держащих в поводу лошадей 〈...〉 Мы самым решительным образом обращаемся к населению с призывом: – Не надо насилия! 〈...〉 Ответим немцам презрением, но сумеем сдержать свое негодование. Дело правительства оградить страну от того зла, которое могут нам причинить враги, остающиеся в нашем отечестве» (С.3).

[8] *...где начинался погром кофейни Рейтера.* – В день погрома Германского посольства жертвами агрессивно настроенных манифестантов стали также принадлежавшие подданным Германской империи «Кафе Рейтер», магазины «Бр. Тонет», «Шухардт и Шютте», «Венский шик», книжный магазин «А. Излер». Эти события заставили градоначальника Петербурга, генерал-майора князя А.Н. Оболенского, опубликовать в газетах объявление, в котором говорилось о том, что личности и имущество иностранных подданных наравне со всеми жителями города находятся под охраной закона и что для поддержания порядка в столице будут приниматься «самые решительные меры» (Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства. СПб., 1914. 25 июля (7 авг.)).

XV

[1] *...Иван Ильич пошел в штаб полка, помещавшийся в покинутом замке...* – Военные дороги Телегина совпадают с маршрутами поездок Толстого на фронт в августе-сентябре 1914 г. Русский штаб в замке близ Лащева упоминается в очерках писателя «По Волыни»: «Над местечком, на горе, стоит среди векового парка древний замок польского графа Ш. Здесь находился сначала австрийский, а потом штаб нашей армии, здесь было сердце битвы, и весь замок, все службы и парк были заполнены нашими ранеными 〈...〉 У кирпичной стены вся земля была усеяна пулями и пулями были истыканы, как решето, стены замка» (*Толстой (1).* Т.3. С. 29–30).

[2] *Собственными руками задушил бы Вильгельма.* – Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941), последний кайзер Германии, правивший страной во время Первой мировой войны. Являлся сторонником укрепления и распространения военной мощи Германии. В ходе революции 1918 г. отрекся от престола, впоследствии жил в Голландии.

XVI

[1] *Сусов! – Здесь, ваше благородие.* – Фамилия Сусов встречается в очерках Толстого «По Галиции». Рассказывая о санитарном поезде Всероссийского земского союза, писатель упоминает «замечательную личность», «санитара, вестового, денщика, живое место, пульс, утеху всего эшелона», Сусова: «Сусов побывал и на Байкале, и на Юге, и в Персии, но всегда возвращался на свой нищенский удел 〈...〉 Из их села

пошло на эту войну тысяча человек. Весь день он на ногах: все, что бы не поручили, исполнит живо и точно и затем придет и отрапортует в таких выражениях, что весь вагон повалится со смеху» (*Толстой (1).* Т. 3. С. 46).

[2] *На берегу, едва различимые, двигались фигуры охотников.* – Охотник в дореволюционной России – человек, добровольно идущий на военную службу, как правило, вместо другого.

[3] *Ваше благородие, он прикованный.* – На данный фрагмент текста обратил внимание А.С. Элиасберг, в 1921 г. выразивший желание перевести «Хождение по мукам» на немецкий язык. Тогда же он советовал писателю внести в роман ряд исправлений: «В XVI-ой главе предлагаю вычеркнуть фразу: "Он прикованный" (к пулемету). По мнению многочисленных знатоков военного дела и участников войны, которых я спрашивал, ничего подобного не практиковалось ни в одной из воюющих армий, ибо практически прием этот был бы бессмыслен; принадлежит эта история к числу многочисленных военных сказок, распространявшихся во время войны в целях пропаганды немцами про французов, русскими про немцев и т.д.». (*Переписка.* Т. 1. С. 299). Толстой не прислушался к аргументам Элиасберга и оставил текст без изменений. Не было внесено исправлений и в эпизод романа, связанный с бегством Телегина из плена, хотя обстоятельства побега показались Элиасбергу также неправдоподобными: «Труднее, конечно, перестроить другое место, которое я предложил бы Вам изменить. Речь идет о главах XXVII и XXVIII, начиная с судебного разбирательства. Я расспрашивал лиц, принимавших неоднократно участие в подобных историях в австрийской армии; они все говорят, что бунтующих военнопленных часто расстреливали без всякого суда. Но если уж соблюдалась формальность суда, то таковой был немыслим без переводчика и защитника, тем более что каждый 3-ий австрийский офицер понимал по-русски. – Совершенно же фантастично, по мнению лиц компетентных, будто бегство ведомых на расстрел на вражеском автомобиле через враждующую страну» (Там же). Вполне вероятно, что сама возможность бегства военнопленных на автомобиле была подсказана Толстому участником Первой мировой войны Ю.В. Саблиным. См. об этом в дневнике писателя 1918 г.: «У "Бома" встреча с Саблиным. Разговор о военнопленных. Автомобиль» (*Материалы и исследования.* С. 359).

XVII

[1] *Знаменитая атака кавалергардов, когда три эскадрона, в пешем строю, прошли без одного выстрела проволочные заграждения, имея во главе командира полка, князя Долгорукого...* – Кавалергарды (от фр. cavalier – всадник и garde – охрана) – личный состав особой кавалерийской части в российской гвардии. Впервые рота кавалергардов была создана в марте 1724 г. в качестве почетной стражи Екатерины I на время ее коронации. В 1764 г. преобразована в Кавалергардский корпус, в 1800-м – в полк, который был переведен на равное положение с другими гвардейскими частями. Кавалергарды принимали участие и отличились в Аустерлицком сражении, Отечественной войне 1812 г., заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. В годы Первой мировой войны Кавалергардский Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны (шеф полка с 1881 г.) полк также находился на

фронте. В декабре 1916 г. Толстой записал в дневнике: «Кавалергарды дерутся раз в 100 лет. В 1914 году в В⟨осточной⟩ Пруссии кавал⟨ергарды⟩ брали лобовой атакой пушки. Командир полка кн⟨язь⟩ Долгорукий по традиции шел с сигарой во рту и громко ругался по-французски. Пушки оказались испорченными. После казачий есаул сказал: "Послали бы меня с 10 казаками – я бы их там вывез"» (*Материалы и исследования.* С. 380). Возможно, Толстой имел ввиду случай, описанный потом одним из кавалергардов, участником боев в Восточной Пруссии в августе 1914 г.: «Около 14 часов ⟨6 (19) августа 1914 г.⟩ цепи № 2 и 3 эскадронов дошли до шоссе на Каушен ⟨...⟩ Командир полка князь Долгоруков (А.Н. Долгоруков, командир полка до ноября 1914 г. – *Г.В.*) как старший подчинил себе все действующие у шоссе части и приказал продолжать наступление. Цепи поднялись. Но открытый по ним огонь батареями из Каушена и высоты 50 заставил их снова лечь. Тогда, обнажив шашку, князь Долгоруков бросился вперед с криком "За мной! Вперед! Ура!" Цепи вновь поднялись, но, пробежав под огнем противника несколько десятков шагов, снова залегли ⟨...⟩ Положение № 2 и 3 эскадронов было крайне тяжелое. Взятые под обстрел двух батарей, они не могли двинуться с места и начали окапываться. Тогда командующий 1-ой бригадой Св. Е. В. Генерал-майор Скоропадский приказал Л.Гв. Конному полку идти на выручку Кавалергардам» (*Звегинцов В.Н.* Кавалергарды в великую и гражданскую войну. Париж, 1936. С. 47).

[2] *Романтические постановления Гаагской конференции, – как нравственно и как безнравственно убивать, – были просто разорваны.* – Речь идет о Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг., международных соглашениях, устанавливавших законы и обычаи войны, права и обязанности нейтральных стран, а также порядок мирного разрешения международных споров. Соглашения были приняты на двух международных конференциях в Гааге, первая состоялась 18 мая – 29 июля 1899 г. по инициативе России, вторая – 15 июня – 18 октября 1907 г. по инициативе США. О нарушении Гаагских конвенций Германией в годы Первой мировой войны не раз писали российские газеты, в частности «Русские ведомости», где сотрудничал Толстой. К числу таких нарушений были отнесены действия немецких подводных лодок против торговых судов, бесчеловечное содержание военнопленных на территории Германии, применение отравляющих газов на полях сражений и др. Так, 27 января (9 февраля) 1915 г. «Русские ведомости» сообщали о потоплении немецкими субмаринами двух английских торговых судов в устье реки Сены (С.7), а 26 апреля (9 мая) того же года – о потоплении парохода «Лузитания», одного из самых больших океанских судов, ходивших под английских флагом: «...обращает на себя внимание совершенно исключительная жестокость германцев, пустивших ко дну пароход, на котором находилось свыше 2000 мирных, невоенных людей. По количеству жертв гибель "Лузитании" является величайшей катастрофой, когда-либо бывшей на море, и произошла она не по роковой случайности, а произведена с заранее обдуманным намерением германскими моряками. Как ни приучены мы в течение войны к полному игнорированию германцами требований права и гуманности, но потопление "Лузитании" не может не вызывать чувства самого живого возмущения» (С. 4). 31 января (13 февраля) 1915 г. «Русские ведомости» писали о положении русских и сербских военнопленных, интернированных в двух концентрационных лагерях в Вельфе: «Им приходится жить в страшной грязи и тесноте. Помещения холодные. Нет приспособлений для жилья.

Пища крайне плоха. При таких условиях очень много больных. Ежедневно умирает в среднем несколько десятков человек» (С. 7).

[3] *В Стокгольме на тайном съезде членов оккультной ложи антропософов...* – Антропософы – приверженцы антропософии, оккультно-мистического учения о человеке, которое включает в себя методику самоусовершенствования и развития предполагаемых тайных способностей человека к духовному господству над природой; выделилась из теософии. Родоначальником антропософии был немецкий мистик Рудольф Штейнер (1861–1925), основавший в 1913–1915 гг. в Дорнахе (Швейцария) Всеобщее антропософское общество, а затем и антропософский центр «Гетенаум». Основы учения изложены в трактатах Штейнера «Тайная наука» (1910) и «Антропософия» (1924). В России антропософия была известна со времени возникновения, в 1913–1923 гг. в стране функционировало русское антропософское общество. Идеи учения разделяли А. Белый, М.А. Чехов, В.В. Кандинский, близкий к Толстому М.А. Волошин, его жена М.В. Сабашникова и другие. О своем случайном антропософском опыте Толстой писал из Парижа Волошину осенью 1908 г.: «Милый Макс, все по порядку расскажу тебе. Приехали, устали, Соня ⟨С.И. Дымшиц⟩ осталась в номере, я умчался к Маргарите Васильевне ⟨Сабашниковой⟩. Дома не оказалось, дали адрес, где она будет до 11 вечера, я туда, конечно, разлетелся. Тишина, народу очень много, дышат, и слышен металлический спокойный голос. Мне велели протискаться и сесть за печкой. Сел. Синие стены, спокойные лица углубленные и голос, ничего не понимаю. И было так 2 часа. Один раз я увидел лицо его ⟨Р. Штейнера⟩: черные глаза горящие, стиснутый рот и две морщины на смуглых щеках, худой, в черном, около алые розы, на стене распятие… Когда расходились, подвели меня к Маргарите Васильевне, она была маленькая, невыразимо спокойная и необыкновенная, во всем отличная, точно воскресшая из мертвых… Хотела познакомить со Штейнером, но мне и без того страшно было, оказывается, на заседания ложи никак нельзя приходить посторонним» (*Переписка. Т. 1. С. 135*).

XVIII

[1] *...московский отдел Городского союза, работающего на оборону.* – Городской союз или Всероссийский союз городов – общероссийская организация, созданная в августе 1914 г.; возглавил организацию московский городской голова М.В. Челноков. Вначале Союз городов занимался в основном помощью раненым (оборудование госпиталей, санитарных поездов, закупка медикаментов, подготовка медицинского персонала), в дальнейшем участвовал в снабжении армии вооружением и снаряжением, организовывал помощь беженцам. Сам Толстой неоднократно выезжал на фронт в качестве уполномоченного другой организации с аналогичными целями – Всероссийского земского союза (напр., в сентябре 1914 г. по маршруту: Смоленск – Минск – Барановичи – Белосток – Брест – Ровно – Радзивиллов; или в декабре 1916 г. в Минск в Комитет Всероссийского земского союза Западного фронта).

[2] *«Русское слово»* – ежедневная газета либерального направления; выходила в Москве с 1895 г. по 26 ноября (9 декабря) 1917 г.; с 1897 г. издателем «Русского слова» был И.Д. Сытин. Газету называли «фабрикой новостей», так как она имела своих корреспондентов во всех крупных городах России и мира. В разные годы в издании

сотрудничали В.М. Дорошевич, А.В. Амфитеатров, П.Д. Боборыкин, В.А. Гиляровский, Вас.И. Немирович-Данченко.

[3] *...из Галиции привезли раненых...* – 5 (18) августа 1914 г. началась так называемая Галицийская битва, в ходе которой армии русского Юго-Западного фронта (командующий – генерал Н.И. Иванов, начальник штаба – генерал М.В. Алексеев) в упорных боях нанесли крупное поражение австро-венгерским армиям, заняв 21 августа (3 сентября) Львов. В результате общего наступления, продолжавшегося до 8 (21) сентября, русские войска осадили крепость Перемышль, заняли Галицию и часть австрийской Польши, угрожая вторжением в Венгрию и Силезию.

XIX

[1] *Бисмарк им, дуракам, говорил, что с Россией нужно жить в мире.* – Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815–1898), князь (с 1871), первый рейхсканцлер Германской империи (1871–1890); один из главных организаторов Тройственного союза 1882 г., направленного против Франции и России. В своих воспоминаниях (опубликованы в 1898 г.) он писал: «Между Германией и Россией не существует такого расхождения интересов, которое заключало бы в себе неустранимые зародыши конфликтов и разрыва ⟨...⟩ Словом, остановив свой выбор на союзе с Австрией, а не с Россией, я ни в какой мере не закрывал глаза на сомнения, затруднявшие выбор. Я по-прежнему считал необходимым поддерживать добрососедские отношения с Россией, наряду с нашим оборонительным союзом с Австрией, ибо у Германии нет гарантии, что избранная комбинация не потерпит крушения, но зато есть возможность до тех пор сдерживать анти-германские стремления в Австро-Венгрии, пока германская политика не разрушит моста, ведущего в Петербург, и не вызовет непреодолимого разрыва между Россией и нами» (*Бисмарк О. фон.* Мемуары Железного Канцлера. М.; СПб., 2003. С. 569).

[2] *Мы только читали у разных Иловайских, как какие-то там мужики воевали землю на разных Куликовых и Бородинских полях.* – Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920), русский историк, автор труда «История России» (М., 1876–1905. Т. 1–5), а также получивших широкое распространение учебников по всеобщей и русской истории для средней школы. Выступал как публицист со статьями, посвященными апологетике монархии. Во втором томе своей «Истории» (доведена до царствования Алексея Михайловича и его преемников) Иловайский писал о значении Куликовской битвы (1380): «Чем ближе знакомимся мы с описанным подвигом, тем более убеждаемся в его величии и в том, что он действительно должен составлять нашу национальную гордость во всех отношениях. Главный виновник его великий князь Московский Димитрий является перед нами и замечательным политиком, и превосходным стратегом, и, наконец, доблестным воином. В настоящее время, при нашем могуществе и неизмеримой территории, нам нелегко представить себе, каких трудов и усилий стоило пятьсот лет назад Московскому великому князю ⟨...⟩ собрать, вооружить и вывести в поле полтораста тысяч человек! И не только собрать их, но и сплотить довольно разнообразные части их ополчения в одно цельное воинство, одушевленное одним духом, одною идеею. Слава Куликовской победы ярко озарила собирателей Руси и усилила народное к ним сочувствие, а следовательно, в свою оче-

редь, не мало способствовала делу государственного объединения» (*Иловайский Д.И.* История России. М., 1884. Т. 2. С. 138–139). Бородинское сражение историк упомянул в «Кратких очерках русской истории», посвятив ему всего несколько строк: «Кутузов расположил армию при селе Бородине (Можайского уезда) и здесь 26 августа дал генеральное сражение. Целый день продолжался чрезвычайно упорный и кровопролитный бой. Потеряв много генералов (в том числе Багратиона и храброго графа Кутайсова) и почти половину войска, Кутузов не решился возобновить сражение на другой день и отступил за Можайск. Наполеон провозгласил победу» (*Иловайский Д.И.* Краткие очерки русской истории. М., 1865. С. 371).

[3] *То, чего не могли сделать «Земля и воля», революционеры и марксисты...* – В истории русского революционного движения известны две организации с названием «Земля и воля». Первая представляла собой тайное революционное общество начала 1860-х годов, появление и деятельность которого были связаны с ожиданием повсеместного крестьянского восстания в 1863 г. (после окончания срока, установленного для введения в действие Положений 19 февраля 1861 г.). Учителем и вдохновителем группы, которая способствовала оформлению социально-политических позиций части интеллигенции, выступавшей за интересы крестьянства, был Н.Г. Чернышевский. Тайное революционное общество под тем же названием было основано в Петербурге в 1876 г. Видными деятелями этой организации являлись Г.В. Плеханов, С. М. Кравчинский, С. Л. Перовская и другие. Признавая возможность особого пути социально-экономического развития России, предпосылкой к которому в их представлении служила крестьянская община, члены общества, созданного на народнической основе, были выразителями идей утопического крестьянского социализма. В 1879 г. вместо «Земли и воли» возникли организации «Народная воля» и «Черный передел».

[4] *«Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать...»* – первая строка русской народной солдатской песни времен Кавказской войны 1817–1864 гг.:

Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать.
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять.

(Цит. по: Русские песни и романсы.
Смоленск, 1996. С. 25)

[5] *...пробовала ходить в театр, где старые актеры играли Островского...* – Речь, вероятно, идет о Малом театре, который называли Домом Островского. Здесь были поставлены все 47 пьес драматурга, он обязательно сам читал их актерам, проводил репетиции, определял характер исполнения ролей. На драматургии Островского выросла блестящая плеяда актеров – П.М. Садовский, С. В. и Е.Н. Васильевы, Н.В. Рыкалова, Н.Н. Медведева, Г.Н. Федотова и другие. В 1910-х годах в Малом театре были поставлены две пьесы Толстого – «Насильники» (премьера 30 сентября 1913 г.) и «Ракета» (премьера 16 января 1917 г.).

[6] *На Страстной сестры говели у Николы на Курьих Ножках, что на Ржевском.* – Страстная неделя, Страстная Седмица – предшествующая Пасхе последняя неделя Великого поста, во время которой вспоминаются Тайная Вечеря, предание суду, страдания, распятие и погребение Христа. Церковь Николы на Курьих Ножках,

небольшой каменный храм, располагалась в Москве на Большой Молчановке, между Борисоглебским и Большим Ржевским переулками (снесена в 1934 г.). Известна с XVII в. Тогда церковь была деревянной и, возможно, стояла на пнях здесь же срубленных деревьев. В храме Николы на Курьих ножках весной 1917 г. венчались Толстой и Н.В. Крандиевская. Храм упоминается в стихотворении Крандиевской «Вторая неделя поста, // А здесь уж забыли о стужах…» (1919):

Теперь бы пойти на Арбат
Дорогою нашей всегдашней!
Над городом галки кричат,
Кружат над кремлевскою башней.
Ты помнишь наш путь снеговой,
Счастливый и грустный немножко,
Вдоль старенькой церкви смешной, –
Николы на Курьих Ножках?

(*Крандиевская Н.В.* Стихотворения:
Книга 2-ая. Одесса, 1919. С. 33)

[7] *…и поехали на Ходынское поле.* – Местность на северо-западе Москвы, в начале XX в. традиционное место народных гуляний.

[8] *…в Галиции, оказывается, положение очень серьезное.* – 19 апреля (2 мая) 1915 г. крупные силы австро-германских войск под командованием генерала А. Макензена прорвали фронт 3-й русской армии (командующий – генерал Р.Д. Радко-Дмитриев) на участке Горлице – Громник. В результате их дальнейшего наступления на Перемышль и Львов русские войска были вынуждены отступить. В конечном итоге, испытывая острый недостаток боеприпасов и вооружения, русские ушли из Галиции. На протяжении конца апреля и всего мая 1915 г. российские газеты сообщали об упорных боях в Галиции, о жесточайшем противостоянии русской и австро-германской армий на реке Сан.

XX

[1] *…лежат на нем тысяч пять или шесть сибирских стрелков.* – О сибирских стрелках см. в очерках Толстого «По Галиции»: «У нас же каждый день, каждый час вливаются в армию выносливые, крепкие, привыкшие к зимним невзгодам сибирские полки, блестяще показавшие себя в последних боях. Я видел, как подошел к станции один из эшелонов, на платформах стояли, задрав стволы, тяжелые орудия ⟨...⟩ Распахнулись двери вагонов, высунулись здоровенные ребята – молодые, широколицые, загорелые» (*Толстой (1)*. Т. 3. С. 43–44).

XXI

[1] *«Я в степях Молдавии родилась»* – первая строка популярной в начале XX в. песни «Чудо-чудеса»; слова и музыка С. Алякринского.

[2] *«Дышала ночь восторгом сладострастья…»* – первая строка известного романса начала XX в. «Уголок» (1906); слова В.А. Мазуркевича (1836–1942):

Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и трепета полна,
Я вас ждала с безумной жаждой счастья,
Я вас ждала и млела у окна.

(Цит. по: Очи черные: Старинный
русский романс. М., 2001. С. 62)

Разные источники называют разных авторов музыки романса: М. Штеймана (Очи черные… С. 62), либо М.Д. Сартинского-Бея (Русские песни и романсы. Смоленск, 1996. С. 495)

[3] *...которая вела к фольверку...* – Фольверк, фольварк (folwark, от нем. volwerk – хутор) – польское наименование помещичьего хозяйства, в узком смысле слова – барской запашки.

XXII

[1] *...генерал Добров, полгода тому назад с Высочайшего соизволения переменивший на таковую свою прежнюю нерусскую фамилию...* – Один из современников писал, что «овладение искони русскими областями Галиции, откуда упорно изгонялось все русское и откуда насаждалось новое немецкое украинофильство, подняло вновь взрыв патриотизма среди правой интеллигенции»: «Вновь вспыхнуло недоброжелательство ко всему немецкому. Все немецкое порицалось. С.-Петербург был переименован в Петроград ⟨19 августа (1 сентября) 1914 г.⟩ Некоторые стали менять немецкие фамилии на русские. Штюрмер (Б.В. Штюрмер; в 1914 г. член Государственного Совета, церемониймейстер двора, бывший Ярославский губернатор; в 1916 г. назначен на должность председателя правительства. – *Г.В.*) сделался Паниным» (*Спиридович А.И.* Великая война и Февральская революция. Нью-Йорк, 1960. Т. 1. С. 20).

[2] *...238 Кундравинскому... полку...* – На озере Еланчик, близ станицы Кундравинской (Южный Урал), Толстой отдыхал и охотился летом 1905 г. после прохождения студенческой практики на Невьянском металлургическом заводе. Родителям оттуда он писал: «Здесь весь июнь стояли дожди и холода, но в июле погода сразу переменилась. Комаров немного, местность чудная. Охота какая угодно: на козлов, красную дичь, болотную и полевую» (*Переписка.* Т. 1. С. 116). Дневниковые записи Толстого, сделанные в то время, легли в основу целого ряда произведений писателя (рассказов «Самородок» (1910), «Утоли моя печали» (1915) и др.).

XXIII

[1] *Тушинский вор* – прозвище Лжедмитрия II (ум. 1610), выдававшего себя за царевича Дмитрия (ранее именем царевича назвался Григорий Отрепьев), якобы спасшегося во время московского восстания 17 мая 1606 г. Пользуясь поддержкой поляков, в начале лета 1608 г. подступил со своей армией к Москве и обосновался в районе Тушина; на короткий срок установил контроль над районами к северу, востоку и северо-западу от Москвы. Упоминается в написанной Толстым в 1922 г. «Повести смутного времени» в хронике событий начала XVII в. на Руси.

[2] *...покусала у Кишкиных двух цыплят...* – Вероятно, имеется ввиду семья Николая Михайловича Кишкина (1864–1930), одного из лидеров партии кадетов, после Февральской революции занимавшего пост комиссара Временного правительства в Москве. Толстой в тот же период исполнял обязанности комиссара по регистрации печати.

[3] *...сегодня переехали на Симовскую дачу Жилкины...* – Жилкины Зинаида Андреевна и Иван Васильевич (1874–1958) – писатель, журналист, депутат 1-й Государственной думы, друг Толстого; упоминаются в его письмах к жене, Н.В. Крандиевской, периода 1914–1916 гг. Во время Первой мировой войны Толстой и Жилкин неоднократно вместе выезжали на фронт.

[4] *...страны Согласия и мы – союзники...* – Речь идет о военно-политическом блоке Англии, Франции и России – Антанте (иначе назывался Сердечное согласие или Тройственное согласие); окончательно оформился в 1904–1907 гг.; в годы Первой мировой войны объединил более двадцати государств, противостоявших германской коалиции.

[5] *Мы потеряли Львов и Люблин.* – Львов был занят австро-германскими войсками 9 (22) июня 1915 г. в результате Горлицкого прорыва на одном из участков русского Юго-Западного фронта; Люблин – во второй половине июля.

[6] *В первых числах июня, в праздник...* – На конец мая – начало июня обычно приходится православный праздник Святой Троицы. В 1915 г. Пасха праздновалась 4 (17) апреля, а праздник Святой Троицы, который приходится на пятидесятый день после Пасхи, соответственно, по старому стилю, – отмечался не в начале июня, а в конце мая.

[7] *Варшаву отдали. Брест-Литовск взорван и пал.* – 14 (27) апреля 1915 г. одновременно с Горлицким прорывом австро-германских войск немцы начали наступление в районе Тильзита против северного фланга русского Юго-Западного фронта, а в июле – и в районе Варшавы против центральной группировки русских войск, что вынудило русскую Ставку оставить Польшу. 5 (18) августа германские войска вошли в Варшаву. Впервые после 1815 г. русские оставили польскую столицу. 28 августа (10 сентября) 1915 г. был отдан приказ о сдаче без боя крепостей Гродно и Брест-Литовск, как устаревших и способных стать лишь ловушками для гарнизонов.

[8] *В Москве немцев режут!* – Речь идет о беспорядках в Москве 26–30 мая (8–12 июня) 1915 г., начало которым было положено требованиями рабочих ряда московских предприятий снять администраторов – немецких и австрийских подданных (у работающих на Прохоровской мануфактуре обнаружились острые желудочные заболевания, которые якобы явились следствием отравления питьевой воды немцами). Особенно агрессивным настроение толпы стало к вечеру 28 мая, когда начался продолжавшийся всю ночь погром в центре города, в ходе которого разорялись и грабились немецкие магазины и частные квартиры, уничтожалось личное имущество немцев и австрийцев. Активное участие в погроме принимали женщины и подростки. 29 мая в газете «Русские ведомости» было опубликовано воззвание московского городского головы М.В. Челнокова к населению, в котором, в частности, говорилось: «Грабежи и насилия вчерашнего дня составляют неслыханный и невиданный позор для родной столицы и ослабляют наши силы. Всякому пропущенному дню в нашей фабрично-заводской работе наши враги бесконечно радуются, и каждый из вас пусть задумается над этим. Московская городская Дума обращается к населению города

Москвы с призывом немедленно прекратить недостойные Москвы погромы, а к рабочему и фабричному населению Москвы – с просьбой напрячь все силы и не допускать приостановки работ на фабриках и заводах, ибо каждый день промедления в работе есть торжество врага» (С. 3). Порядок в Москве был восстановлен только 30 мая. За все время беспорядков в городе погибло 16 и было ранено 28 человек, не считая полицейских и конных городовых. В связи с московскими событиями был сделан запрос в Государственную думу, по повелению императора Николая II образована сенатская комиссия. Результатом ее деятельности стало отстранение от должностей командующего Московским военным округом князя Ф.Ф. Юсупова и московского градоначальника А.А. Андрианова.

[9] *...генерал Рузский остановил в чистом поле наступление германских армий.* – Николай Владимирович Рузский (1854–1918), генерал от инфантерии; с сентября 1914 по март 1915 г. командующий русским Северо-Западным фронтом. Толстой не совсем точен. С именем Рузского были связаны, прежде всего, победы русских войск в августе 1914 г. на Юго-Западном фронте, где он командовал 3-й армией, которая вместе с 8-й армией под командованием генерала А.А. Брусилова освободила Волынь и вошла в Галицию. В феврале 1915 г., будучи командующим Северо-Западным фронтом и не сумев противостоять наступавшим в Восточной Пруссии немцам, Рузский подал в отставку. Стабилизация фронта в 1915 г. была связана с именем М.В. Алексеева, который занял место Рузского.

XXIV

[1] *...убежала с турками на фелуке... в Трапезунд.* – Фелука – маленькое, узкое и длинное парусное и весельное судно. Трапезунд – город в Малой Азии, на северо-востоке Турции, на берегу Черного моря.

[2] *...интеллигентный рабочий из ремонтных мастерских – Филька...* – Ср. с записью в дневнике Толстого 1919 г.: «Филька – крестьянин, был рабочим ⟨...⟩ Блондин, с вьющимися откинутыми волосами. Зеленовато-серые, маленькие, умные глаза. Сухой рот, некрасивый. Рябоват. Подавая руку, поспешно кланяется» (*Материалы и исследования.* С. 407).

[3] *...он понял, что как нет греха, взяв палку, разворотить муравьиную кучу, так же можно и нужно уничтожать человеческие муравейники.* – Метафора, возможно, подсказана Толстому обращенными к Христу словами Великого Инквизитора из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: «Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник...» (*Достоевский.* Т. 9. С. 323).

[4] *...по еврейской каббалистике наш мир есть опрокинутая тень Бога...* – Каббала (еврейск. «предание») – иудейское мистическое учение, окончательно оформившееся в XII в. Всегда была преимущественно устным преданием, посвящение в ее тайны и обряды производил, как правило, личный руководитель. Претендует на обладание тайным знанием «неписаной Торы» (божественного откровения, которое Моисей и Адам получили от самого Бога), что идет вразрез с учением традиционного иудаизма, который считает всякие попытки мистического приближения к Богу

опасной пантеистической ересью. Возможно, здесь интерпретирован один из основных постулатов Каббалы о четырех сотворенных Всевышним мирах – трех духовных (Ацилут, Брия, Йецира), высших, и одном материальном (Асия), низшем, в котором скрыто божественное присутствие; обычный человек о нем может только догадываться, но не чувствовать. Упоминание Каббалы в романе, вероятно, является отголоском работы Толстого над повестью «Граф Калиостро» в 1919–1921 гг., где главный герой творит волшебство, используя символику этого учения: «Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии двенадцать знаков зодиака, двадцать два знака каббалы, ключ и врата, четыре стихии, три начала, семь сфер» (III, 138).

[5] *...последний ланцепуп...* – Ланцепуп – ироническое название коренных жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока. О его происхождении см. в одной из легендарных историй, связанных с личностью графа Н.Н. Муравьева-Амурского, генерала-губернатора Восточной Сибири в 1847–1861 гг.: «А в другой раз Муравьев-Амурский нагрянул с проверкой на некий военный пост. Командир поста, прознав о приближении скорого на расправу начальства, затрепетал и решил представить все в наилучшем свете. Солдаты его ходили в обносках, и придуманное командиром ноу-хау выглядело так: собрать всю приличную одежду, обрядить в нее часть солдат, а остальных спрятать по кустам. И все шло просто замечательно, покуда Муравьев-Амурский не решил покинуть пост. Командир отдал команду “Смирно!” – и навытяжку встали все солдаты. Включая и полуголых оборванцев.

– Что за люди? – спросил, как гласит легенда, Муравьев-Амурский.

– Это туземное племя. Ланцепупы! – таков был ответ командира.

Тут, кажется, обошлось без роковых для здоровья последствий. Говорят, что весть о происшествии достаточно быстро разлетелась по восточным землям России. И “ланцепупами” стали иронически звать всех обитателей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Во всяком случае слово в ходу у жителей Владивостока и других городов...» (*Шерих Д.* Ланцепуп амурский // С.-Петербургские ведомости. 2006. 4 авг. (№ 142). С. 3).

Ланцепупы упоминаются в повести Е.И. Замятина «На куличках» (1914) в главе «Голубое»: «У трухлявого деревянного домика Молочко остановился.

– Ну, прощайте: я здесь.

Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел показать Шмитовский зеленый домик и что-то подмигнуть про Марусю Шмит, успел наболтать о каком-то непонятном клубе ланцепупов, о Петяшке поручика Тихменя…» (*Замятин Е.И.* Избранные призведения. М., 1989. С. 145).

XXV

[1] *...в начале зимы 16-го года, русские войска неожиданно взяли штурмом крепость Эрзерум* – Русские войска овладели турецкой крепостью Эрзерум, важным узлом коммуникаций и базой снабжения противника, 3 (16) февраля 1916 г. в результате Эрзерумской наступательной операции русской Кавказской армии, под командованием генерала Н.Н. Юденича, против 3-й турецкой армии.

[2] *...когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии и под Константинополем, когда на западном фронте шла упорная борьба за домик паромщика на Изере...* – Укрепившись в Месопотамии, английские войска под командованием генерала Таунсенда в течение всего 1915 г. медленно продвигались вверх по рекам Тигр и Евфрат в направлении Багдада, но 22 ноября (5 декабря) были разбиты турками и осаждены в крепости Кут-эль-Амаре. Неудачной оказалась и попытка союзных войск весной 1915 г. форсировать Дарданеллы и высадиться на Галлиполийском полуострове с целью оккупации Константинополя. Выражение об «упорной борьбе за домик паромщика на Изере» является, вероятно, одним из слонгов периода Первой мировой войны; имеется ввиду позиционный, затяжной характер военных действий на Западном фронте во Фландрии, на реках Ипр и Изер. В отчетливо ироническом контексте упоминается в романе И.Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921): «А в свободное время мосье Дале не отдыхает, нет, он продолжает работать – пишет статьи: "Долой шептунов! Мы взяли домик паромщика на Изере"» (*Эренбург.* Т. 1. С. 355).

[3] *В Англии спешно выпустили книгу о загадочной русской душе.* – В феврале – марте 1916 г. Толстой посетил Англию в составе делегации русских писателей и журналистов. Уже в первой своей корреспонденции оттуда он писал: «В России многое темно для англичан (иррациональное, не противоречащее как будто соединение силы и слабости, анархии и единой воли, ума и неуменья и пр.) Война еще сильнее только подчеркнула эти загадки. За последнее время лондонские книгоиздательства стали выпускать множество переводных с русского книг, но, к сожалению, без выбора и в плохих переводах; в университетах открываются кафедры русской литературы; пишутся статьи и труды о России, и все это делается серьезно и нарочно так, чтобы узнать и почувствовать до конца» (Русские ведомости. 1916. 2 (15) марта. (№ 50). С. 2).

[4] *Орловские, тульские, рязанские мужики распевали «соловья пташечку» на улицах Салоник, Марселя, Парижа...* – В ответ на настоятельную просьбу союзников о помощи Николай II повелел в начале 1916 г. отправить во Францию экспедиционные особые войска: четыре отдельные бригады, по два полка каждая, общей численностью в 750 офицеров и 45 000 унтер-офицеров и солдат. 1-я и 3-я бригады были отправлены на фронт Шампани, 2-я и 4-я – на Салоникский фронт. «Соловей пташечка» – правильно «Соловей, соловей, пташечка» – название русской народной солдатской песни.

[5] *О, любовь моя, незавершенная, // В сердце холодеющая нежность...* – Не совсем точно воспроизведенные строки стихотворения Н.В. Крандиевской; в источнике:

Сыплет звезды август холодеющий,
Небеса студены, ночи – сини.
Лунный пламень, млеющий, негреющий,
Проплывает облаком в пустыне.
О, моя любовь незавершенная,
В сердце холодеющая нежность!
Для кого душа моя зажженная
Падает звездою в бесконечность?

Стихотворение входило в состав двух авторских сборников поэтессы: Стихотворения. М., 1913. С. 50; Стихотворения: Книга 2-ая. Одесса, 1919. С. 46.

XXVII

[1] *...Брусилов с сильными боями шел вперед, французы били немцев в Шампани и под Верденом, турки очищали Малую Азию.* – Толстой перечисляет основные военные операции, развернувшиеся на Западном и Восточном фронтах Первой мировой войны в 1916 г.: Брусиловский прорыв, наступление французов в Шампани и под Верденом, взятие русскими Трапезунда. Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – генерал от кавалерии (1912), с начала Первой мировой войны командующий 8-й армией, с марта 1916 г. – главнокомандующий Юго-Западного фронта. Именем Брусилова была названа одна из разработанных им военных операций 1916 г., Брусиловский прорыв (22 мая (4 июня) – 9 (22) августа), в ходе которого русские войска прорвали фронт противника на протяжении около 340 км и нанесли серьезное поражение австро-венгерской армии, заняв города Луцк и Черновцы, что способствовало наступлению французов против немцев в Шампани и под Верденом. Вслед за взятием Эрзерума (см. примеч. 1 к гл. XXV), 18 апреля (1 мая) 1916 г. русские войска, потеснив турок, овладели Трапезундом, важнейшим портом на малоазиатском побережье Черного моря.

[2] *...Союз и Согласие зализывали раны.* – Союз и Согласие – два военно-политических блока, выступавших противниками в Первой мировой войне, – Тройственный союз и Антанта (Тройственное согласие, или Сердечное согласие). Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879–1882 гг.; просуществовал до 1915 г., когда Италия вступила в войну на стороне Антанты (см. также примеч. 4 к гл. XXIII).

[3] *...раскрыл истрепанный томик Шпильгагена.* – Фридрих Шпильгаген (Spielhagen; 1829–1911), немецкий писатель, журналист, новеллист, поэт, драматург, историк литературы. Более известен как автор политических романов, отразивших социальную борьбу в Германии в середине XIX в. Политически проблемные, проникнутые пафосом свободолюбия, они были популярны в России во второй половине XIX в., особенно в народнической среде. В 1884 г., в связи с постановкой его пьесы «Спасение», Шпильгаген посетил Петербург. В России во второй половине XIX – начале XX в. вышло 23 тома Собрания сочинений писателя (СПб.: Г.Ф. Пантелеев, 1896–1899), неоднократно издавались и переиздавались романы, в том числе наиболее известный – «В строю» (1866; в русском переводе «Один в поле не воин»; 1867).

XXIX

[1] *...офицер дикой дивизии...* – Дикая дивизия – вошедшее в обиход название Кавказской туземной конной дивизии; создана в августе 1914 г. из добровольцев мусульман, уроженцев Кавказа и Закавказья. Ее составляли Дагестанский, Кабардинский, Татарский, Чеченский, Черкесский, Ингушский и Текинский полки.

XXX

[1] *...«Несравненная Рябиновая Шустова».* – «Товарищество Н.Л. Шустова с сыновьями» было основано в Москве в 1863 г. в виде предприятия по производству водки (хлебного вина); просуществовало до октября 1917 г. С начала 1880-х годов произво-

дило также различного вида настойки, наливки и ликеры: «Зубровка», «Спотыкач», «Рижский бальзам», «Запеканка», «Нектарин» и др. «Рябина на коньяке», или просто «Рябиновая», считалась фирменным напитком Торгового дома. Ее бутылки вытянутой конусообразной формы украшали витрины всех шустовских магазинов.

[2] *...высоко над городом – пять сияющих луковиц Христа Спасителя.* – Храм Христа Спасителя в Москве; официальное название – Кафедральный Соборный храм Христа Спасителя (во имя Рождества Христова). Построен по проекту арх. К.А. Тона в русско-византийском стиле в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия, «в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели» («Высочайший Манифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа 25 декабря 1812 года»). В плане храм представлял собой равносторонний крест; был увенчан пятью золотыми куполами. Строился почти 44 года; освещен 26 мая 1883 г. Взорван 5 декабря 1931 г. (на его месте предполагалось возвести здание Дворца Советов). Восстановлен в 1990-х годах.

XXXI

[1] *...приложение к «Ниве», – все на одной и той же странице ... «Маруся любила шоколад, который муж привозил ей от Крафта...»* – «Нива», еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный, рассчитанный на массового читателя журнал; издавался в Петербурге в 1870–1918 гг. Начиная с 1891 г. в качестве бесплатного приложения к нему издавались собрания сочинений русских и иностранных писателей, а также 12 книг «Сборника Нивы» в год. «Крафт» – в начале XX в. одна из крупнейших европейских фирм по производству кондитерской продукции.

XXXII

[1] *...на Кокоревском подворье...* – Кокоревское подворье – гостинично-складской комплекс в Москве на Софийской набережной, построенный в 1862–1865 гг. предпринимателем из старообрядцев В.А. Кокоревым (1817–1889) и переданный в казну в счет долгов последнего.

[2] *...родоначальник футуризма – ветеринарный врач, с перекошенным, чахоточным лицом.* – Намек на близкого к футуристам главного врача генерального штаба Н.И. Кульбина (1868–1917), друга многих поэтов и художников, мецената. См. о нем в мемуарах В.В. Каменского: «Энергичный профессор Военно-медицинской академии статский советник Николай Иванович Кульбин, прозванный в фельетонах за свой либеральный импрессионизм и возню с "бурлюками" "сумасшедшим доктором"» (*Каменский.* С. 440).

[3] *А вон тот, с лошадиной челюстью, – знаменитый Семисветов, выдернул себе передние зубы, чтобы не ходить воевать, и пишет стихи... «Не раньше кончить нам войну, как вытрем русский штык о шелковые венских проституток панталоны...» Эти стишки у него печатанные, а есть и непечатанные... «Чавкай железной челюстью, лопай человечье мясо, буржуй. Жирное брюхо лихо распорет наш пролетарский*

штык». – В основе утверждения Струкова реальный факт из жизни В.В. Маяковского в 1915–1916 гг., интерпретированный в соответствии с общей направленностью монолога персонажа. Ср. с интерпретацией того же факта в книге В.В. Катаняна «Лиля Брик: Жизнь» (М., 2002): «Они ездили на острова, ходили гулять по Невскому – двое молодых и красивых, она меняла яркие шелковые шляпы, которые тогда были в моде, он же при бабочке и с тростью. Она заказала ему элегантную одежду и послала его к дантисту, ибо зубы его с юных лет были не в лучшем состоянии» (С. 32).

«Не раньше кончить нам войну, как вытрем русский штык о шелковые венских проституток панталоны...» – перефразированные строки стихотворения Маяковского «Война объявлена» (1914, июль):

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

(*Маяковский*. Т. 1. С. 91)

Написанное в первые дни после объявления Германией войны России, оно было лишено ложно-патриотического пафоса; скорее подсознательно автор придал ему черты неминуемого трагизма будущего кровопролития. В то же время в воспоминаниях А.П. Шполянского вышеприведенные строки звучат в призывах Маяковского к продолжению войны с Германией после Февраля 1917 г.: «Газет развелось видимо-невидимо, и большинство из них призывали к сплочению, к единению, к объединению, к войне до победного конца.

Даже Владимир Маяковский, и тот призывал.

Взобравшись на памятник Скобелеву против дома генерал-губернатора, потный от воодушевления, он кричал истошным голосом: «Теперь война не та! И я требую клятвы в верности! Требую от всех и сам ее даю! Даю и говорю – шелковым бельем венских кокоток вытереть кровь на наших саблях! Уррра! Урррa! Урра!» (*Дон-Аминадо.* С. 188–189).

«Чавкая железной челюстью, лопай человечье мясо, буржуй. Жирное брюхо лихо распорет наш пролетарский штык» – перефразированные строки известного двустишия Маяковского: «Ешь ананасы, рябчика жуй. // День твой последний приходит буржуй», – написанного между февралем и октябрем 1917 г. См. в воспоминаниях автора об истории его создания: «Перед Октябрьской я всегда видел у самой эстрады ⟨кабаре «Привал комедиантов»⟩ Савинкова, Кузмина. Они слушали ⟨...⟩ К привалу стали приваливаться остатки фешенебельного и богатого Петербурга. В такт какой-то разухабистой музыке я сделал двустишие ⟨...⟩ Это двустишие стало моим любимейшим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку: “Ешь ананасы...” и т.д.» (*Маяковский.* Т. 11. С. 361).

XXXIV

[1] *Сверток в рогоже, сброшенный тремя людьми с моста в полынью, был телом убитого Распутина.* – Г.Е. Распутин был убит группой заговорщиков (кн. Ф.Ф. Юсупов, вел. кн. Дмитрий Павлович, депутат 4-й Государственной думы В.М. Пуришкевич) в ночь на 17 (30) декабря 1916 г. во дворце кн. Юсупова на набережной Мойки, 94,

после чего его труп спустили под лед Малой Невки у Елагина моста. 21 декабря тело Распутина захоронили в присутствии императорской семьи в недостроенной Серафимовской часовне на окраине Александровского парка в Царском Селе. В дни Февральской революции оно было извлечено из могилы и сожжено в котельной Политехнического института. Московская газета «Русское слово» впервые сообщила о предполагаемой гибели Распутина в своем «Бюллетене» от 19 декабря 1916 г. под заголовком «Таинственное исчезновение» (С. 2). На следующий день, 20 декабря, в газете было напечатано официальное сообщение из Петрограда: «Утром около Петровского моста найден прибитым к берегу труп Григория Распутина. Следствие производится судебными властями». Далее корреспондент «Русского слова» писал: «Таинственное исчезновение Григория Распутина, волнующее третий день всю Россию, разъяснилось. Разыскан труп Григория Распутина. Начато расследование, которое подтвердило слухи и догадки, что Григорий Распутин погиб насильственной смертью» (С. 3). В газетных репортажах о гибели Распутина уже тогда назывались имена Ф.Ф. Юсупова и В.М. Пуришкевича.

[2] *...у великого князя Сергея Михайловича были затребованы пулеметы...* – Сергей Михайлович (1869–1918), великий князь, сын вел. кн. Михаила Николаевича и вел. кн. Ольги Федоровны. В 1914 г. – генерал от артиллерии, с января по июль 1915 г. – председатель Особой распорядительной комиссии по артиллерийской части, с января 1916 г. – полевой генерал-инспектор артиллерии при верховном главнокомандующем.

[3] *...начальник штаба верховного главнокомандующего, умница и страстный патриот, генерал Алексеев, готовил план ареста царицы и уничтожения немецкой партии.* – Михаил Васильевич Алексеев (1857–1918), генерал от инфантерии (1914), генерал-адъютант (1916). В годы Первой мировой войны – сначала начальник штаба Юго-Западного фронта, с марта 1915 – главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта, с августа 1915 по март 1917 – начальник штаба Верховного главнокомандующего, фактически руководил военными действиями русской армии. Императрица Александра Федоровна (1872–1918), урожденная принцесса Гессен Дармштадская Аликс Виктория Елена Бригита Луиза Беатриса, – супруга императора Николая I с 1894 г. В 1914 г. получила звание сестры милосердия военного времени, лично ухаживала за ранеными в военном госпитале, расположенном в Екатерининском дворце Царского Села; возглавляла Верховный Совет по призрению семей лиц, призванных на войну. В годы Первой мировой войны в обществе распространились слухи о шпионаже Александры Федоровны в пользу Германии и негативном влиянии на мужа. Толстому о плане ареста царицы могло быть известно от кн. Г.Е. Львова, с которым он был близок в годы эмиграции. По сведениям, полученным Б.И. Николаевским, Львов «рассказывал Милюкову, что вел переговоры с Алексеевым осенью 1916 г. У Алексеева был план ареста царицы в ставке и заточении. План был совершенно не продуман; что делать в случае сопротивления царя, никто не знал. Он не был осуществлен, т.к. Алексеев захворал и принужден был уехать в Крым» (*Николаевский Б.И.* Русские масоны и революция. М., 1990. С. 93).

[4] *В январе, в предупреждение весенней кампании, было подписано наступление на северном фронте. Бой начался под Ригой, студеной ночью.* – 23–29 декабря 1916 г. (5–11 января 1917 г.) 12-я русская армия под командованием генерала Р.Д. Радко-Дмитриева провела в районе Риги частную Митавскую операцию, чтобы оттянуть германские резервы от Румынии.

XXXV

[1] *«Командующего войсками Петербургского Военного Округа генерал-лейтенанта Хабалова объявление», – громко... начал читать... белую афишку...* – Сергей Семенович Хабалов (1858–1924), российский военный деятель, генерал-лейтенант, в феврале 1917 г. – командующий войсками Петроградского военного округа. 28 февраля был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В октябре того же года дело против Хабалова прекратили. Ни в петроградских, ни в московских газетах объявление не публиковалось.

[2] *Из мглы Летнего сада, с темных голых ветвей поднялись, как тряпки, вороны, пугавшие некогда убийц императора Павла.* – Павел I (1754–1801), император с 1796 г., сын императора Петра III и Екатерины II, был убит в ночь на 12 марта 1801 г. в спальне Михайловского замка в результате заговора, который возглавил генерал-губернатор С.-Петербурга граф П.А. Пален. По одной из версий, большая группа заговорщиков, насчитывавшая около сорока человек, во главе с Платоном Зубовым и генералом Л.Л. Беннигсеном, минуя Летний сад, вошла на территорию Михайловского замка по подъемному мосту через Церковный канал. См. об этом в мемуарах Беннингсена (Цареубийство 11 марта 1801 года: записки участников и современников. СПб., 1907).

[3] *И сейчас же начался вой тысячи высоких женских голосов: – Хлеба, хлеба, хлеба!..* – 23 февраля (8 марта) 1917 г. в Петрограде антивоенные митинги стихийно переросли в стачки и демонстрации. 23 и 24 февраля отдельные группы демонстрантов прорвались в центр через Литейный и Троицкий мосты, устроили митинги на Знаменской площади под лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!».

[4] *Дан приказ стрелять...* – 25 февраля (10 марта) 1917 г. в Петрограде началась всеобщая забастовка, в которой приняло участие около 305 тыс. рабочих. Командующий войсками Петроградского военного округа генерал С.С. Хабалов, получив телеграмму императора Николая II с требованием немедленно прекратить «беспорядки», отдал приказ стрелять по демонстрантам.

[5] *Протопопов всем распоряжается.* – Александр Дмитриевич Протопопов (1866–1918), государственный деятель и предприниматель, депутат 3-й и 4-й Государственной думы (с 1914 г. – товарищ председателя Государственной думы), член Прогрессивного блока, предводитель дворянства Симбирской губернии (1916). В декабре 1916 – феврале 1917 г. – министр внутренних дел. Пытался подавить революционные выступления в Петрограде. Расстрелян по приговору ВЧК.

[6] *Разворочать, как Содом и Гоморру...* – Содом и Гоморра – города на территории древней Палестины в устье реки Иордан, библейские символы порока. Согласно легенде, их жители отличались крайним развращением нравов, за что навлекли на себя страшный гнев Божий. Оба города были сожжены посланным с небес огнем и провалились в бездну. В творчестве Толстого образ Содома и Гоморры впервые появляется в «Рассказе проезжего человека» (1917) в монологе «газетного писателя»: «Самое скверное то, господа, что вся эта мировая потасовка, с пятью миллионами убитых, – ни к чему! Я понимаю страдать, когда впереди светлая и ясная цель! (Он изобразил всем видом своим эту цель, причем воротник его полез на затылок.) Но какая цель во всем этом миротрясении? – я спрашиваю. Мы устали! Дайте нам от-

дых! Мы не хотим ничего больше! Не верим. Истины изнасилованы! Идеалы заражены сифилисом! И, как некогда погибли Содом и Гоморра, так и мы провалимся в тартарары. Имя нашему времени – возмездие. Не трудитесь в нем искать ничего хорошего...» (X, 8).

[7] *...с тороками сена за седлами...* – Торока – здесь: привязанный к седлу дорожный мешок.

[8] *...на кроваво-красной глыбе гранита, на огромном коне, опустившем от груза седока своего бронзовую голову, сидел тяжелый, как земная тяга, Император...* – Речь идет о памятнике императору Александру III работы скульптора П.П. Трубецкого; установлен в 1909 г. на Знаменской площади С. -Петербурга. Многими современниками был воспринят как символ реакционного самодержавия. А.Н. Бенуа писал о монументе: «Александр III на Знаменской площади не просто памятник какому-то монарху, а памятник, характерный для монархии, обреченной на гибель. Это уже не легендарный государь-герой, не всадник, мчащийся к простору, а это всадник, который всей своей тяжестью давит своего коня, который пригнул его шею так, что конь ничего более не видит. Это – поистине монумент монарху, поощрявшему маскарад национализма и в то же время презиравшего свой народ настолько, что он считал возможным на все его порывы накладывать узду близорукого, узко-династического упрямства» (О памятниках // Новая жизнь. 1917. 2 (15 июля). (№ 64). С. 5).

XXXVI

[1] *...устроено кадетской фракцией...* – Кадеты – Конституционно-демократическая партия; официально – Партия народной свободы, объединявшая в своих рядах представителей либеральной буржуазии в России, до Октября 1917 г. одна из ведущих политических сил страны. Организационно оформилась в ходе революции 1905–1907 гг. Видными деятелями партии были П.Н. Милюков, В.А. Маклаков, А.И. Шингарев, П.Б. Струве, Ф.И. Родичев, И.В. Гессен, В.Д. Набоков и другие. Выступали за установление конституционно-парламентской монархии и демократических свобод, принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, законодательное решение рабочего вопроса и др. В Москве позиции кадетов были достаточно сильны. Так, начиная с 1905 г. члены конституционно-демократической партии бессменно занимали пост московского городского головы.

[2] *...председателем Государственной думы Родзянко послана государю телеграмма по прямому проводу: «Положение серьезное ~ ответственность не пала на Венценосца...»* – Михаил Владимирович Родзянко (1859–1924), общественный и политический деятель, председатель 4-й Государственной Думы (1912–1917), один из создателей и лидеров Прогрессивного блока; вел переговоры с Николаем II об отречении от престола. Речь идет об одной из самых известных телеграмм Родзянко, отправленной императору 26 февраля 1917 г. Воспроизведена Толстым с некоторыми неточностями. В подлиннике: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство.

Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца» (История Отечества в документах: 1917–1993: В 3 т. М., 1994. Т. 1: 1917–1920. С. 12). В московских газетах телеграмма была опубликована 2 марта 1917 г. (см.: Русское слово. 1917. 2 марта (№ 48). С. 1; Русские ведомости. 1917. 2 марта (№ 48). С. 1). В дни работы над романом в 1919 г. Толстой записал в дневнике: «Знаменитая телеграмма Родзянко государю полна дерзости и ужаса» (*Материалы и исследования*. С. 411).

[3] *...как на статуе Дантона...* – Речь, видимо, идет о статуе Дантона, установленной в 1891 г. в Париже на пересечении Сен-Жерменского бульвара и улицы Одеон. Личность Дантона привлекла внимание писателя в связи с событиями в России 1917 г., соотнесенными с событиями Великой французской революции. В 1918 г. Толстой пишет пьесу «Смерть Дантона», в основу которой было положено одноименное драматическое произведение Г. Бюхнера. В предисловии к пьесе сказано: «Побуждением, а затем и пафосом моей пьесы было переживание в образах давно минувшего нашей еще более кровавой и страшной революции» (*Толстой А.Н.* Смерть Дантона: Трагедия. Одесса, 1918).

XXXVII

[1] *Екатерина Дмитриевна развернула «Русские ведомости», ахнула и начала читать вслух роковой приказ императора о роспуске Государственной думы.* – «Русские ведомости» (Москва; 1863–1918) – одна из крупнейших и влиятельнейших русских газет; с 1870-х годов – орган либеральной интеллигенции, с 1905-го – правого крыла кадетской партии. После Февральской революции поддерживала Временное правительство и выступала против большевиков, закрыта за контрреволюционную агитацию. На протяжении 1910-х годов в газете печатался Толстой. 26 февраля (11 марта) 1917 г. Николай II распорядился прервать работу Государственной думы: «На основании ст. 99 основных государственных законов повелеваем: Занятия Г. Думы и Г. Совета прервать 26-го февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 г., в зависимости от чрезвычайных обстоятельств» (Цит. по: Биржевые ведомости. 1917. 5 (18) марта (№ 54). С. 1). В конце февраля 1917 г. Екатерина Дмитриевна не могла прочесть в «Русских ведомостях» императорского указа. 27 февраля московский главноначальствующий, генерал И.И. Мрозовский, запретил публиковать в прессе телеграммы из Петрограда. В знак протеста газеты не выходили в Москве 27 и 28 февраля, 1 марта. Новости о событиях в столице распространялись с помощью экстренных выпусков и листовок. Не был опубликован указ о роспуске Государственной думы в «Русских ведомостях» и впоследствии. В номере от 2 марта 1917 г., вышедшем под заголовком «Падение старого строя. Учреждение временного правительства. События в Петрограде и Москве», в редакционной статье лишь сообщалось: «В цепи трагических событий, разыгравшихся и еще разыгрывающихся в Петрограде, первым звеном был внезапный перерыв думской сессии» (С. 1).

[2] *В Петрограде вся власть перешла к Думскому комитету...* – Днем 27 февраля (12 марта) 1917 г. в Таврическом дворце, ставшем центром революционных сил, по поручению частного совещания Государственной думы был создан новый орган власти – Временный комитет Государственной думы под председательством М.В. Род-

зянко, куда вошли представители большинства думских фракций. Основными задачами комитета были «восстановление государственного и общественного порядка», создание нового правительства.

[3] *...говорят, государь покинул Ставку и на Петроград идет на усмирение генерал Иванов с целым корпусом...* – Николай Иудович Иванов (1851–1919), генерал от артиллерии (1908), генерал-адъютант. В годы Первой мировой войны – сначала главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, затем член Государственного совета; состоял «при особе Его Величества», постоянно находясь в Ставке. 27 февраля (12 марта) 1917 г. был назначен главнокомандующим Петроградским военным округом с чрезвычайными полномочиями и подчинением ему всех министров для прекращения «беспорядков» в столице. Однако вечером 1 (14) марта, прибыв в Царское Село, получил приказ императора не предпринимать никаких действий и вернуть приданные ему части на фронт.

XXXVIII

[1] *Кирпично-грязное здание с колоннами, похожими на бутылки, всё в балясинах, балкончиках и башенках, – главный штаб революционеров, – Городская дума...* – Здание Московской городской думы было построено в 1890–1892 гг. по проекту арх. Д.Н. Чичагова в эклектичном так называемом псевдорусском, стиле, представлявшем собой синтез произвольно истолкованных традиций древнерусского и русского народного зодчества, а также элементов византийской архитектуры.

[2] *...перед ними, в откинутой бронзовой мантии, стояла мраморная Екатерина...* – В 1895 г. Московская городская дума приняла решение установить в Москве памятник Екатерине II к столетию ее кончины. 6 ноября 1896 г. мраморный монумент работы скульптора А.М. Опекушина был торжественно открыт в присутствии членов российской императорской фамилии в специально построенном для Городской думы здании на Воскресенской площади у Иверских ворот. Трехметровая фигура императрицы была облечена в порфиру (верхняя торжественная одежда государей, широкий и длинный плащ багряного шелка). В конце 1917 г. памятник попал в запасники Музея изящных искусств. В 1952 г., чтобы спасти «Екатерину» от уничтожения, директор музея, скульптор С.Д. Меркуров, передал монумент своему близкому другу, главному архитектору Еревана М. Григоряну. В течение полувека памятник русской императрице находился в Государственной картинной галерее Армении. В 2003 г. в рамках программы сотрудничества между исполнительными органами власти российской и армянской столиц был возвращен в Москву и передан на хранение в Государственную Третьяковскую галерею.

[3] *Городской голова Гучков вторично заявил...* – Толстой не точен. В дни Февральской революции московским городским головой был (с 1914 г.) М.В. Челноков (1860–1935), политический деятель и предприниматель, один из создателей Конституционно-демократической партии (1905) и член ее ЦК (1907–1914), депутат 2–4-й Государственной думы, один из руководителей Всероссийского союза городов. 28 февраля (13 марта) 1917 г. на этом посту его сменил член ЦК кадетской партии Н.И. Астров (1868–1934). Н.И. Гучков (1860–1935), российский общественный и политический деятель, предприниматель, один из создателей Союза 17 октября (1905), брат А.И. Гучкова, был московским городским головой в 1905–1913 гг.

[4] *...где лежал когда-то нагишом, в звериной маске, со скоморошьей дудкой на животе, убитый Лжедмитрий...* – Именем царевича Дмитрия, сына Ивана IV Грозного и Марии Нагой, погибшего при не вполне выясненных обстоятельствах, назвался Юрий, или Григорий, Отрепьев, сын галицкого сына боярского Богдана Отрепьева. В 1605–1606 гг. был царем Московским, погиб в Москве во время восстания против поляков. К истории Лжедмитрия I и обстоятельствам его гибели Толстой вновь обратился в «Повести смутного времени» (1922): «В толпе докатились мы до пригорка, – Лобного места, – кругом него теснился народ, молча, без шапок. На Лобном месте, на дубовой лавке, лежал голый человек с раздутым животом, нога левая перебита, срам прикрыт ветошью, руки сложены на пупе, а лица не видно, – на лицо надета овечья сушеная морда – личина.

– Кто это лежит, кто лежит? – спрашивает матушка.

Ей отвечают многие голоса:

– Царь.

– Русский православный царь лежит.

– Не царь, а расстрига, вор...» (III, 110)

Упоминание двух самозванцев, Лжедмитрия I и ранее «Тушинского вора», в контексте романа отражает стойкий интерес Толстого к периоду русской истории, с которым чаще всего сопоставлялись тогда современные события.

[5] *...взобрался на памятник Скобелеву...* – Речь идет о памятнике генералу М.Д. Скобелеву (работы П.А. Самсонова), установленном в Москве в 1912 г. на Тверской (с 1912 по 1918 г. Скобелевской) площади. В 1918 г. памятник был снесен и на его месте воздвигнут обелиск Октябрьской революции со статуей Свободы; в настоящее время на месте памятника Скобелеву находится памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому.

[6] *...принесли потрясающую весть об отречении царя и о передаче державы Михаилу и об его отказе от венца...* – 2 (15) марта 1917 г. в Пскове император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата вел. кн. Михаила Александровича, который отказался принять верховную власть. В московских газетах Манифест Николая II об отречении был опубликован 4 (17) марта 1917 г.: «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжелое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа и все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние усилия, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни жизни России, почли Мы долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не желая расставаться с любимым Сыном НАШИМ, Мы передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благославляем ЕГО на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ править делами государственными в полном и

ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы благоденствия и силы. Да поможет Господь Бог России. Николай» (Цит. по: Российское законодательство X–XX вв. М., 1994. Т. 9. С. 122–123; в газете текст Манифеста содержит ряд опечаток и неточностей). Тогда же было опубликовано и отречение Михаила Александровича: «Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил» (Там же. С. 126–127).

XLI

[1] «*...И руки бесприютные все прячет мне на грудь*». – Из стих. «Шатается по горенке...» Н.В. Крандиевской (Стихотворения: Книга 2-ая. С. 35).

XLII

[1] *...с кривой усмешечкой поклонился бывшему императору...* – т.е. Николаю II, который после отречения, с 9 марта по 14 августа 1917 г., с семьей содержался под арестом в Александровском дворце Царского Села.

XLIII

[1] *...пришли мы на Гнилую Липу...* – Гнилая Липа, река, приток Золотой Липы (обе принадлежат к бассейну Днестра), район сражения частей 3-й русской армии с отступавшими австрийцами в ходе Галицийской битвы (конец августа 1914 г.).

[2] *Я... везу очень неутешительные сообщения военному министру...* – Со 2 (15) марта по 2 (15) мая 1917 г. военным и морским министром в первом составе Временного правительства был лидер октябристов А.И. Гучков (1862–1936). На этом посту его сменил А.Ф. Керенский (1881–1970), ставший 24 июля 1917 г. еще и председателем правительства. Рощин приезжает в Петроград в конце мая – начале июня, следовательно, речь идет о Керенском.

[3] *... я сам одним стеком останавливал полуроту...* – Стек – тонкая палка с ременной петлей на конце; применяется как хлыст при верховой езде.

[4] *Родины у нас с вами больше нет...* – Ср. с записью в дневнике Толстого от 2 (15) ноября 1917 г., сделанной после октябрьских боев в Москве: «Кто-то пришел и сказал – слышали заключен мир. На него посмотрели молча. Никто не выразил ни радости, ни отчаяния. Только спустя некоторое время офицер-летчик сказал: "Да все-таки родина, и вот нет ничего". Другой: "Теперь нам деться некуда, лучше бы убили"» (*Материалы и исследования*. С. 354).

[5] *Это был особняк знаменитой балерины...* – Речь идет об особняке балерины Мариинского театра Матильды (Марии) Феликсовны Кшесинской (1872–1971); построен в Петербурге в 1904–1906 гг. по проекту арх. А.И. фон Гогена в стиле модерн специально для владелицы. В марте 1917 г. явочным порядком был занят солдатами автобронедивизиона, после чего там разместились ЦК и ПК РСДРП(б), экспедиция газеты «Правда», Военная организация при ЦК РСДРП(б). С 3 (16) апреля по 4 (17) июля 1917 г. в особняке постоянно бывал и работал В.И. Ленин.

ДОПОЛНЕНИЯ

СТАТЬИ И РАССКАЗЫ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО 1917–1922 гг.

В разделе «Дополнения» печатаются статьи и рассказы Толстого, созданные в 1917–1922 гг., опубликованные в периодической печати Москвы, Одессы, Харькова, Парижа и Нью-Йорка и не включавшиеся писателем в собрания сочинений.

НА КОСТРЕ

Впервые: Луч правды. 1917. Ноябрь. (№ 1). С. 1.

Републиковано: *Деготь или мед*. С. 81–83.

Печатается по тексту газ. «Луч правды».

«Луч правды» (Москва) – издание Союза солдатского и крестьянского просвещения; газета «внепартийная, общественно-политическая и литературная»; редактор Вл. Дятеллович. В ноябре-декабре 1917 г. вышло пять ее номеров. Первый номер, где была опубликована статья Толстого «На костре», посвящен выборам в Учредительное собрание.

[1] *Хотя от Вавилонской башни до сверхчеловека какие печальные холмы осколков и костей!* – Толстой использует библейский и философский символы богоборчества, как крайние точки вектора человеческой истории с древнейших времен до современных дней. Согласно древнееврейскому мифу, после Всемирного потопа человечество, представленное одним народом и говорившее на одном языке, пыталось построить в земле Сенаар (Месопотамия) город (Вавилон) и башню (столп), вершина которой достигала бы небес. Разгневанный дерзостью людей, Бог «смешал их языки» так, что они перестали понимать друг друга, и рассеял по всей земле. В Библии Вавилон –

символ греха. См., напр., в Откровении Иоанна Богослова о «вавилонской блуднице»: «и на челе ее написано имя: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр 17:5). Миф о сверхчеловеке, в котором культ сильной личности, индивидуалистически преодолевающей вне всяких моральных норм и с крайней жестокостью буржуазный мир, сочетается с романтической идеей человека будущего, – одна из основных составляющих философии Фридриха Ницше (1844–1900), немецкого философа и поэта, представителя иррационализма. В одной из своих работ Ницше писал: «Бог умер, но человек таков, что еще много-много веков не перестанут существовать пещеры, в которых будут показывать его тень. А нам – теперь нам предстоит еще победить его тень» (*Ницше Ф.* Веселая наука. М., 2001. С. 159). Философ оказал большое влияние на культуру конца XIX – начала XX в., в том числе на русских символистов: Вяч. И. Иванова, А. Белого, В.Я. Брюсова и других. См. в одном из писем Толстого отчиму осени 1906 г.: «...мне обидно за наших поэтов – Ницше утащил их всех "в холодную высь с предзакатным сиянием", и они при всем старании не могут оттуда сползть, а если и пытаются, то летят кверх ногами, выписывая в воздухе очень некрасивые пируэты. К счастью, Ницше меня никуда не таскал...» (*Переписка.* Т. 1. С. 120).

[2] *Савл, ослепленный на пути в Дамаск, поднялся с земли, приняв имя Павла.* – Толстой обращается к классической формуле преображения грешника на примере апостола Павла. Родившийся в Тарсе, в иудейской семье, Савл был ревностным гонителем христиан. В результате «чуда на пути в Дамаск» (явления света и голоса с небес) перешел в христианство, сменив прежнее имя, Савл, на Павел.

[3] *...появился, наконец, новый Марат, журналист по профессии, начетчик по происхождению...* – Намек на Л.Д. Троцкого, которого в первые пореволюционные годы чаще других сравнивали с деятелем Великой французской революции Маратом Жаном Полем Будри (1743–1793), одним из вождей якобинцев, прославившимся своими постоянными призывами «рубить головы». См., напр., рецензию Б.С. Вальбе на пьесу Толстого «Смерть Дантона». Приводя суждения современного французского историка Франсуа Олара о вождях французской революции, критик заключает: «Замените в этих строках Олара Дантона – Керенским и Робеспьера и Марата – Лениным и Троцким, и у вас получится трагическая страница из истории второй русской революции» (Одесский листок. 1918. 24 (11) нояб. С. 2).

[4] *Финляндия, Украина, Донские казаки, Кубань объявляют себя федеративными республиками...* – 2 (15) ноября 1917 г. правительство Советской республики приняло Декларацию прав народов России, провозгласившую равенство и суверенность народов России и их право на свободное самоопределение вплоть до отделения, в результате чего произошел распад страны более чем на 70 государственных образований. 24 ноября (7 декабря) 1917 г. объявила о своей независимости Финляндия. 7 (20) ноября Центральная Рада провозгласила Украину Украинской народной республикой в составе России. Ранее, 5 (18) октября, Кубанская Рада объявила Кубанский край независимой казачьей республикой, а 7 (20) октября Войсковой круг Дона постановил считать Донскую землю независимой республикой вплоть до установления в России приемлемого для казаков порядка.

[5] *Мир, с широкой до ушей улыбкой предложенный всему свету, отвергнут и союзниками, и врагами.* – Речь идет об одном из первых декретов Советской власти – Декрете о мире, принятом на Втором всероссийском съезде Советов 26 октября

(8 ноября) 1917 г., – в котором содержалось предложение ко всем воюющим странам немедленно начать переговоры о подписании справедливого демократического мира без аннексий и контрибуций. 14 (27) ноября на предложение большевиков откликнулись Германия и дружественные ей государства, ведшие войну на два фронта и заинтересованные в прекращении военных действий против России. 20 ноября (3 декабря) в Брест-Литовске открылись мирные переговоры между Россией и центрально-европейскими державами (Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией). Статья Толстого была написана раньше, накануне выборов в Учредительное собрание (12 (25) ноября 1917 г.), т.е. до 14 (27) ноября.

[6] *Учредительное собрание* – парламентское учреждение, лозунг созыва которого был чрезвычайно популярен после Февраля 1917 г. Выборы в Учредительное собрание, предусматривавшие всеобщее избирательное право, состоялись 12 (25) ноября. Первое (и последнее) заседание собрания, большинство в котором получили эсеры, открылось 5 (18) января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде; закрыто в ночь на 6 (19) января в соответствии с декретом ВЦИК о его роспуске.

[7] *...оно будет не говорильней, не совещанием, не театром...*– Толстой имеет в виду Государственное совещание, проходившее 12–15 (25–28) августа 1917 г. в Москве в Большом театре и не имевшее никаких законодательных функций.

[8] *Мы, как раб лукавый, закопали талант свой в землю...* – Фразеологическая форма, восходящая к евангельской Притче о талантах: «Подошел и получивший один талант, и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; Вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим; и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а у не имеющего отнимется и то, что имеет» (Мф 25: 24–29).

[9] *...наш гений слишком часто сходит в подполье, в банную сырость для задушевной беседы с чертом.* – Аллюзия, отсылающая сразу к трем произведениям Ф.М. Достоевского: «Записки из подполья» (1864), «Преступление и наказание» (1866; Свидригайлов: «...будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, вот и вся вечность») и «Братья Карамазовы» (1879–1880; разговор Ивана с чертом).

ВЛАСТЬ ТРЕХДЮЙМОВЫХ

Впервые: Луч правды. 1917. 27 нояб. (№ 2). С. 2.
Републиковано: *Деготь или мед.* С. 86–89.
Печатается по тексту газ. «Луч правды».

[1] *...а вдруг вы найдете, что я недостаточно крайний, не якобинец, и заточите меня в башню.* – Якобинцы – радикальное политическое течение времен Великой французской революции, название которого произошло от Якобинского клуба, где заседали революционеры (здание клуба располагалось близ парижского монастыря Святого Якова). Их лидеры – Ж. Дантон, М. Робеспьер и Ж.-П. Марат – настаивали на полном уничтожении монархии и переходе к республиканской форме правления, требовали казни короля Людовика XVIII. Во время своего правления (2 июня 1793 г. – 27 июля 1794 г.) провели ряд радикальных реформ и развернули массовый террор.

Упоминаемая башня – парижская тюрьма Тампль; в годы Великой французской революции располагалась в башне монастыря Тамплиеров. Ее известность связана с именами содержавшихся там французского короля Людовика XVI и членов его семьи.

[2] *Если вы тот, кто голосует за двенадцатый список...* – Список № 12 фигурировал на выборах в районные думы по городу Москве, проходивших 25 сентября (8 октября) 1917 г. В нем числились кандидаты от набравшего небольшое количество голосов Союза квартиронанимателей.

[3] *...обыватель Собачьей площадки или Молчановки...* – Площадка – московское наименование малых площадей в глубине городской застройки, вдали от главных улиц. Собачья площадка находилась в Москве между Серебряным, Большим и Малым Николопесковскими, Борисоглебским, Кречетниковским и Дурновским переулками. Уничтожена в 1962 г. при прокладке улицы Новый Арбат. Недалеко от Собачьей площадки, на Малой Молчановке, в доме № 8 (доходный дом Г.А. Гардона; выстроен в 1913–1914 гг. по проекту арх. И.Г. Кондратенко и В.Н. Волокитина), Толстой жил в 1915–1918 гг.

[4] *...такой вы никому не нужен – ни холодный, ни горячий...* – Отсылка к Откровению Иоанна Богослова: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты не холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр 3: 14–21).

[5] *С Кудрина шарахнули по Арбатским воротам, но ошиблись прицелом...* – Кудрино, Кудринская площадь, расположена в Москве между Большой Никитской, Садово-Кудринской, Поварской улицами и Новинским бульваром; место боев в октябре 1917 г. Артиллерия Красной гвардии, установленная на Кудринской площади, вела огонь по площадям у Никитских ворот, Арбатской и Смоленской. См. записи в дневнике Толстого (1917): «Двойной грохот орудий. Высоко над Арбатской разрыв, и белое плотное облачко мгновенно растерзал, унес ветер»; «С утра грохот пушечных выстрелов. Мимо дома с глухим ревом проносятся снаряды. Иногда лопается в воздухе шрапнель»; «Вечером короткие атаки большевиков на юнкерские заставы. Тишина нарушается ревом пулемета и залпами» (*Материалы и исследования.* С. 352–353).

[6] *А пока самое безопасное место в ванной...* – Ср. с записью в дневнике Толстого 1917 г.: «Ночью выстрелы вывели Наташу из себя, она отчаянно бранила меня и няньку, легла на полу в ванной. Дети устроены внизу. Мы с Наташей легли спать в ванной» (*Материалы и исследования.* С. 353). См. также в воспоминаниях Н.В. Крандиевской: «Наступили Октябрьские дни 1917 года. Я была свидетельницей, наблюдавшей события со своей "комнатной", более чем скромной позиции. После двух шалых пуль, царапнувших подоконник в столовой, окна нашей квартиры на Малой Молчановке были завешены коврами, забаррикадированы шкафами. Детские кроватки перенесли в ванную комнату, без окон» (*Воспоминания.* С. 106).

НОЧНАЯ СМЕНА

Впервые: Луч правды. 1917. 4 дек. (№ 3). С. 2.
Републиковано: *Деготь или мед.* С. 93–95.
Печатается по тексту газ. «Луч правды».

[1] *Брандмауэр* – устаревшее название противопожарной стены, разделяющей смежные здания и препятствующей распространению пожара.

[2] *Вот разогнали думу, а ты и нюхай.* – Московская городская дума была распущена решением московского военно-революционного комитета от 5 (18) ноября 1917 г. Вместо нее был создан Совет районных дум из 84 членов большевистской партии. 23 ноября (6 декабря) 1917 г. газета «Русские ведомости» со ссылкой на бывшего заместителя московского городского головы И.Н. Коварского сообщала: «Состояние, в которое приведены большевиками разные отрасли городского хозяйства, граничат с ужасом. Вся ответственность за полное расстройство городского хозяйства ложится на большевиков» (С. 4). Один из современников отметил в дневнике 28 ноября (11 декабря) 1917 г.: «Вот иллюстрация существующего в Москве внешнего порядка: в центре города, на Большой Лубянке, лежит уже пять дней дохлая лошадь, и если бы не морозная погода, то этой улицей не пройти бы. Мы морщим носы, когда читаем в описании Пекина, что там на улицах валяются дохлые кошки, а у самих под носом что делается?» (*Окунев Н.П.* Дневник москвича: 1917 // 1917 год: К 90-летию Февральской и Октябрьской революций. М., 2007. С. 423).

[3] *...прекрасную даму... что рисуют на машинах Зингера.* – Торговая марка фирмы «Зингер» представляла собой большую букву «З» с вписанным в нее изображением молодой девушки в длинном платье, сидящей за швейной машинкой.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
(Очерки нравов литературной Москвы)

Впервые: Южный край (Харьков). 1918. 19 сент. (№ 127). Утр. вып. С. 2; 26 сент. (№ 132). С. 2.

Републиковано: *Деготь или мед.* С. 140–148.

Печатается по тексту газ. «Южный край».

Рассказ, видимо, написан в Одессе в августе-сентябре 1918 г. и опубликован в Харькове, где писатель неоднократно выступал на литературных вечерах с чтением своих новых произведений. В одном из главных героев рассказа («И. Э-рг, поэт и очень странный человек») угадывается писатель Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967), с которым Толстого зимой и весной 1918 г. связывали теплые дружеские отношения. Их часто видели вместе, оба они упоминаются в очерке Вл. Чертольева «Арбат (Уходящая Москва)»: «А через несколько переулков, в большом доме, в теплом кабинете, сидит и пишет Алексей Толстой, этот русский писатель, в творчестве которого сочетались в таком чудесном сочетании зоркий наблюдатель, фантазер и верующий и нежный человек. Днем вы встретите его, немного неуклюжего, в кривом переулочке; встретите и другого странного, волосатого человека, пузатого от рукописей и газет, которыми набиты карманы его пальто, с неизменной трубочкой во рту, – поэта и переводчика Эренбурга, этого кликушу в его теперешней темной и религиозной поэзии, в которой каждая строка – великое страдание за Россию; она недобро встретила его, изгнанника, недавно лишь вернувшегося из Парижа» (Вечерняя жизнь. 1918. 27 марта (9 апр.). (№ 16). С. 3).

В очерке о Толстом, созданном в 1918 г., Эренбург писал: «В громадном грубоватом человеке много подлинной любви и нежности. В уюте быта его повестей (уют,

от которого в ад запросишься), точно в глыбе бесформенной, уродливой, таится, как крупица золота, любовь. Весь смысл – в ней, только в глуби она, разыскать надо, – не дается 〈…〉 Толстой средь нас сладчайший поэт любви, любви всегда, наперекор всему, на краю смерти, и после нее, вовек пребывающей в мире трепетной птицей, облаком, духом. Гляжу на Толстого, книги читаю его и вижу нашу страну. Вот она необъятная, чудесная, в недрах золото и самоцвет, шумят леса, а такая бессильная? Что нужно ей, чтоб собраться, привстать, познать свою мощь, сказать “Это я!”? Такой и Толстой, дар Божий и всевидящий глаз и сладкий голос и много иного, а чего-то недостает. Чего? Не знаю… Может, надо ему узреть Россию, его поящую, иной, проснувшейся, на голос матери ответить: “А вот и я!..”» (Понедельник власти народа. 1918. 19 марта (1 апр.). (№ 5). С. 3).

[1] *…были надписи совсем уж непонятные: «Каратака и Каратакэ», что впоследствии оказалось пьеской в стиле Рабле, поставленной в театрике на 25 человек зрителей…* – Речь идет о пьесе «Каратака и Каратакэ» («каратака» в переводе с японского «черепаха»), которая в июне 1918 г. шла в московском театре «Четырех масок», организованном в собственной квартире на Малой Никитской улице Н.М. Форрегером (см. об этом: *Деготь или мед.* С. 149). Франсуа Рабле (1494–1553), французский писатель эпохи Возрождения, автор знаменитого романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». Одну из главных черт своего творчества, сочетавшего сатиру и гротеск, он сам определил как «глубокую и несокрушимую жизнерадостность, перед которой все преходящее бессильно» (*Рабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1966. С. 437).

[2] *…комиссар народного просвещения был в восторге от представления.* – Речь идет о А.В. Луначарском (1875–1953), комиссаре народного просвещения в правительстве, сформированном после октября 1917 г., литературном критике, публицисте, драматурге. В первые годы советской власти активно поддерживал различные направления нового искусства, в том числе футуристов. См. об этом в статье И.Г. Эренбурга «Le Roi s' amuse (Король забавляется)» (1918): «Господа Луначарские, Фриче, Стекловы и прочие 〈...〉 показали, как они понимают искусство. Ни духа, ни формы произведений они не воспринимают, важна лишь тема 〈...〉 Господин Луначарский с крайне правого “академического” фланга искусства перелетает на крайний левый, “футуристический” 〈...〉 господин Луначарский, который еще недавно не мог воспринять Сологуба или Бальмонта, ибо их стихи не пересказывают программы РСДРП – ярый поклонник Маяковского, Луначарский, со скукой проходивший мимо Сезанна (ни одного красного знамени), восторгается “сюпрематизмом”. Вы не верите? Я жалею, что стенографистка не сопровождает господина Комиссара и ночью, ибо сей трудолюбивый муж и в поздний час выступает с программными речами. Так, недавно в кабачке футуристов, после анекдотов, не очень пристойных, некоего клоуна, господин Луначарский не выдержал и попросил слова. Он заявил, что через 10 лет все памятники сменятся одним обелиском в честь Маяковского. Футуризм – искусство пролетариата и прочее» (*Эренбург И.Г.* В смертный час: (Статьи 1918–1919 гг.). СПб., 1996. С. 19–20). Луначарский не скрывал своих ожиданий, связанных с футуристами. Так, характеризуя художественное убранство Петрограда к 1 мая 1918 г., выполненное представителями левого искусства, он писал: «Многие площади и улицы города разубраны с большим вкусом, делающим честь художникам-организаторам. Плакаты. Конечно, я совершенно убежден, что на плакаты будут нарекания. Ведь это так

легко – ругать футуристов. По существу же – от кубизма и футуризма остались только четкость и мощность общей формы, да яркоцветность, столь необходимые для живописи под открытым небом, рассчитанной на гиганта-зрителя о сотнях тысяч голов. И с каким восторгом художественная молодежь отдалась своей задаче! Многие, не разгибая спины, работали по 14–15 часов над огромными холстами. И написав великана-крестьянина и великана-рабочего, выводили потом четкие буквы: "Не отдадим красного Петрограда" или "Вся власть Советам". Тут, несомненно, произошло слияние молодых исканий и исканий толпы» (*Луначарский А.В.* Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 208–209).

[3] *...во главе управления страной стояли бывшие журналисты.* – Намек на В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, А.В. Луначарского и др., до революции активно сотрудничавших в социал-демократической печати. Ср. с записью в дневнике Толстого (1917): «Самая жестокая и кровавая власть была тогда, когда во главе правительства стояли писатели, философы и журналисты» (*Материалы и исследования.* С. 358). Эта мысль применительно к Великой французской революции составила идейный центр пьесы «Смерть Дантона», над которой писатель работал в 1917–1918 гг.

[4] *...играл марш – «Дни нашей жизни».* – Автор – композитор Л. Чернецкий (возможно псевдоним С.А. Чернецкого; 1881–1950), создан не позднее 1910 г. (к этому времени относятся старейшие из известных нот произведения). Сразу же после первых исполнений на музыку марша были написаны популярные куплеты: «По улице ходила большая крокодила! // Она, она голодная была...» (автор – Дальф Ежиков).

[5] *...не подвернись чехословаки, они расстреливали бы учителей и родительские комитеты за одну только букву «ять».* – Писатель имеет в виду вооруженное выступление против большевиков Отдельного Чехословацкого корпуса, сформированного Временным правительством осенью 1917 г. из военнопленных чешской и словацкой национальностей. По договоренностям с Советским правительством корпус следовал из России в Европу через Сибирь и Владивосток. Мятеж начался 25 мая 1918 г. в ответ на предложение разоружиться. Были захвачены Мариинск, Челябинск, Новониколаевск, Пенза, Сызрань, Томск, Омск и еще ряд городов Урала и Поволжья. Соглашение между правительством РСФСР и командованием корпуса, гарантирующее эвакуацию легионеров из Советской России, было подписано только 7 февраля 1920 г. Упоминаемая здесь же буква «ять» была отменена в русском языке в результате реформы правописания 1917–1918 гг. В школе проведение реформы определялось циркулярами Временного правительства от 11(24) мая и 17(30) мая 1917 г., подтвержденными Декретом рабоче-крестьянского правительства о введении нового правописания от 23 декабря 1918 г.; вступил в силу 1 января 1918 г. В нем говорилось: «В целях облегчения широким народным массам усвоения русской грамоты, поднятия общего образования и освобождения школы от ненужной и непроизводительной траты времени и труда при изучении правил правописания, предлагается всем, без изъятия, государственным и правительственным учреждениям и школам в кратчайший срок осуществить переход к новому правописанию» (Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. № 12. (30 дек.). Ст. 176. С. 187–188). Кроме буквы «ять», из русского алфавита были исключены «фита», «и десятеричное» (і) с заменой на «Е», «Ф», «И»; «твердый знак» (ъ) в конце слов и др. Разработанная задолго до революции вне каких-либо политических целей,

реформа была последовательно проведена в жизнь после Октября 1917 г., что определило резко критическое отношение к ней со стороны противников большевизма.

[6] *...доканчивал то, что было сделано 29 октября...* – Речь идет о доме князя Г.Г. Гагарина, который замыкал Тверской бульвар у Никитских ворот; был полностью разрушен в ходе боев в Москве в октябре 1917 г. См. запись в дневнике Толстого 1917–1936 гг.: «Рассказ Лидина о том, как брали в октябре дом Гагарина у Никитских ворот. Пылающее окно, топот перебегающих солдат, боль⟨шевиков⟩, они бросаются из окон и падают под пулями. Им кричат – вылезай... Марш!..» (*Материалы и исследования.* С. 362).

[7] *...роковая надпись: «Отечество в опасности».* – «Социалистическое Отечество в опасности!» – декрет-воззвание СНК, изданный в тот момент, когда Германия, согласившись подписать Брестский мир, продолжала наступление на Советскую Россию. Принят 21 февраля 1918 г., опубликован 22 февраля того же года в газетах «Правда», «Известия ВЦИК» и отдельным листком. В соответствии с декретом была фактически отменена свобода печати. Пункт седьмой документа гласил: «Все издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются; работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ» (Декреты Советской власти. Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. С. 491). Ср. с сообщением газеты «Понедельник власти народа» о закрытии «Русских ведомостей»: «Закрыты “Русские ведомости”. Долгие годы тернистого пути для того, чтобы на пороге пятидесятилетия редактор вышел на общественно-принудительные работы, не с пером, а с киркой» (Понедельник власти народа. 1918. 9(22) апр. (№ 8). С. 2).

[8] *...повернул обратно к кофейне...* – По данным справочника «Вся Москва» на 1917 г. (с. 309–310), на Тверском бульваре в то время находились три кофейни: Ксенофонта Андреевича Блациса (в городском павильоне); «Москва» (Тверской бульвар, 1) и «Спорт» (Тверской бульвар, 29; владелица М.А. Петрова). Еще об одной упоминает в своих воспоминаниях о В.Ф. Ходасевиче А.И. Чулкова: «Встречался Владя и с Маяковским, который в доме у нас не бывал, но на Тверском бульваре была кофейня “Кафе Грек”, и там же бывало много писателей» (*Ходасевич А.И.* Воспоминания о В.Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 401).

[9] *...где фальшивые трубы упоенно пели о дунайских волнах.* – Речь идет о популярном вальсе «Дунайские волны» (1880). Его автором был румынский музыкант, дирижер военных оркестров Иосиф Иванович (1845–1902); в 1890-х годах жил и работал в России.

[10] *...пятиконечная звезда – пентаграмма, опрокинутая вершиной: знак антихриста.* – Равноугольная пятиконечная звезда, иногда заключенная в пятиугольник, пентаграмма, один из самых распространенных магических символов европейской культуры. Известно несколько его основных интерпретаций. Так, в белой магии пентаграмма олицетворяет человеческий микрокосм: пять конечных точек тела и пять его тайных центров силы. В системе черной магии символизирует силы преисподней и фигурирует в перевернутом виде, когда два луча обращены вверх, а один вниз. В годы Гражданской войны было принято изображение звезды двумя концами вверх

(как, например, на первом советском ордене Красного Знамени). Однако подобный символ вызвал такое неприятие в обществе, что от него скоро отказались и официально утвердили изображение красной звезды одним лучом вверх.

[11] *Вот бородатый профессор из «Русских ведомостей»...* – Один из авторов газеты «Русские ведомости», М.В. Вишняк, вспоминал: «Это была серьезная, независимая, скрупулезно честная ⟨...⟩ профессорская газета. Печататься в ней считалось признанием общественным и публицистическим» (*Вишняк М.В.* Дань прошлому. Нью-Йорк, 1954. С. 245).

[12] *...как два стриженых китайца, прислонив к столу винтовки, поедают мороженое.* – Активное участие в Гражданской войне принимали китайцы, в большом количестве завезенные в Россию во время Первой мировой войны из-за нехватки рабочей силы. Почти все они влились в Красную армию, в основном как наемники. Часть из них покинула страну после окончания Гражданской войны, часть была депортирована на историческую родину в конце 1930-х годов в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1937 г.

[13] *...на глаза надвинута гугенотская шляпа... Это был И. Э-рг...* – Гугеноты, французские протестанты (кальвинисты); как правило, носили большие плоские фетровые шляпы, аналогичные шляпе основоположника кальвинизма Жана Кальвина (1509–1564). См. в письме И.Г. Эренбурга М.А. Волошину от 13 (26) декабря 1917 г.: «Дорогой Макс⟨имилиан⟩ Алекс⟨андрович⟩, не отвечаю – очень тошно от всего. С горя хожу в литературные общества, салоны, клубы и пр. Потрясаю публику внутри стихами, а на улице в поздний час шляпой (переходят на другую сторону – Толстой уверяет даже, что “солдаты, завидев меня, открывают беспорядочную стрельбу”)» (*Эренбург И.Г.* «Дай оглянуться...»: Письма 1908–1930. М., 2004. С. 89). См. также в воспоминаниях Эренбурга: «Я вспомнил наши ночные прогулки в первую зиму после революции. Толстой уверял, что я должен довести его до дому – на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты. Не помню, как я был тогда одет, помню только, что Алексея Николаевича смешила шапка, похожая на клобук» (*Воспоминания.* С. 87).

[14] *Он восхищался испанскими инквизиторами и мечтал навалить на перекрестках Парижа хворосту и тысячами сжигать удовлетворенных буржуа, не верящих в Христа и в то, что мир спасется только жертвой, страданием и любовью.* – См. в одной из автобиографий И.Г. Эренбурга о его увлечении католицизмом, начало которому было положено знакомством в 1912 г. с французским католическим поэтом Франсисом Жаммом: «Увлекался средневековьем. Много читал. Потом – Жамм, католицизм. Предполагал принять католичество и отправиться в бенедиктинский монастырь. Говорить об этом трудно. Не свершилось» (Цит. по: *Эренбург И.Г.* Стихотворения и поэмы. М.; СПб., 2000. С. 20).

[15] *... во время июльского восстания...* – Имеется в виду антиправительственное выступление солдат и рабочих 3–5 (16–18) июля 1917 г. в Петрограде, основным событием которого стала 500-тысячная демонстрация под лозунгом «Вся власть Советам!». Временное правительство применило против демонстрантов оружие, в результате чего было убито и ранено более 400 человек. Город был объявлен на военном положении, начались аресты большевиков и рабочих. Были разгромлены помещения ЦК РСДРП(б), редакция газеты «Правда», выдан ордер на арест В.И. Ленина.

[16] *Все, все русское, страстно им любимое, было поругано.* – Речь идет о главных мотивах стихов И.Г. Эренбурга ноября–декабря 1917 г. («Молитва о России», «Судный день», «В ноябре 1917», «В смертный час», «Божье слово» и др.), вошедших в книгу «Молитва о России» (М., 1918). См., например, в стихотворении, давшем название всему циклу:

Была ведь великая она.
И, маясь, молилась за всех,
И верили все племена,
Что несет она миру Крест.
И, глядя на Восток молчащий,
Где горе, снег и весна,
Говорили веря и плача:
«Гряди, Христова страна!»
Была, росла и молилась,
И нет ее больше.

(*Эренбург И.Г.* Стихотворения
и поэмы. С. 300)

[17] *...под игом более страшным, чем татарское иго, Россия очищается...* – Ср. с развитием той же темы у Толстого в «Рассказе проезжего человека» (1917): «Тяжко нам, неуютно, как под дождем на большой дороге, и кажется – вот-вот от России останется одна липкая лужа; и уж сердце замерло, как в последнем часе, а час не последний, и там, в потемках, в паучиных мхах, идут шорохи, да шепоты, собирается наша душа. И я верю, что через муки, унижение и грех, – верю через свою муку и грех, – каким-то несуразным, неуютным образом, именно у нас, облечется в плоть правда, простая, ясная, божеская справедливость» (III, 14–15).

[18] *Это был обычный в то время спор: пропала Россия или не пропала...* – Ср. в «Рассказе проезжего человека»: «Беседа наша была похожа на мочалку, которую жевал каждый поочередно: “Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?”» (III, 7).

[19] *«Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной угрюмый океан».* – Строка из стихотворения А.С. Пушкина «Погасло дневное светило...» (1820). В источнике:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

(*Пушкин.* Т. 2. С. 7)

[20] *У людей, у всех, исчезло понятие добра и зла...* – См. сходный мотив в размышлениях главного героя рассказа «В бреду»: «Вдруг нить мыслей обрывается, и с ясным спокойствием чувствую: а ведь я сам не знаю, что такое грех, а что добро, – я никогда не думал о нем» (Наст. изд. С. 285).

[21] *...появился роман Алексея Посадова «Гниль»...* – Далее по тексту – намек на сюжет и мотивы романа Толстого «Хромой барин» (1912).

[22] *...поставил несколько эпиграфов из розановских «Опавших листьев»...* – Василий Васильевич Розанов (1856–1919), русский писатель, публицист и религиозный философ. Произведение Розанова «Опавшие листья» (Ч. 1–2; 1913–1915), собрание объединенных по настроению эссеистических набросков, дневниковых записей, внутренних диалогов, принадлежит к особому литературному жанру, сущность которого так никому и не удалось определить. Цельная стилистическая система «Опавших листьев», свобода и оригинальность автора, его субъективизм оказали заметное влияние на многих русских писателей.

[23] *...18-го июня был ранен...* – Речь идет о наступательной операции 11-й, 7-й и 8-й русских армий Юго-Западного фронта в июне 1917 г. 18–19 июня (1–2 июля) 11-я и 7-я армии предприняли на участке Поморжаны – Бережаны наступление на Львов, которое успеха не имело, что явилось непосредственным поводом к антиправительственным выступлениям в Петрограде 3–5 июля 1917 г. (см. выше примеч. 15).

[24] *...в августе и сентябре удерживал какие-то военные части в Пинских болотах, был избит...* – Пинские болота – болотистые пространства в бассейне реки Припяти в Полесье, место боев в ходе Первой мировой войны. После Тарнопольского прорыва немцев 19 июля (1 августа) 1917 г., на участке Звижень – Поморжаны, начался беспорядочный панический отход русских войск. Газеты сообщали, что некоторые части самовольно покидали боевые рубежи, не дожидаясь появления противника.

[25] *В Орле свирепствовал террор...* – Упоминание о событиях в Орле, возможно, является отзвуком разговоров Толстого с И.А. Буниным, приехавшим из Орловской губернии в Москву в октябре 1917 г. Об этом см. в воспоминаниях И.Г. Эренбурга о Толстом: «Иногда к нему приходил И.А. Бунин, умный, злой, и рассказывал умно, зло, но несправедливо; рассказывал, помню, как к нему пришел мужик – предупредить, что крестьяне решили сжечь его дом, а добро унести. Иван Алексеевич сказал ему: “Нехорошо”, – тот ответил: “Да что тут хорошего... Побегу, а то без меня все заберут. Чай, я не обсевок какой-нибудь!” Толстой невесело смеялся» (*Воспоминания.* С. 88). Сведения о событиях на Орловщине доходили и до Одессы, где в конце лета 1918 г. оказались оба писателя. 4 (17) августа В.Н. Муромцева-Бунина записала в своем дневнике: «Про Елец рассказы страшны: расстреляно много народу» (*Устами Буниных.* Т. 1. С. 185).

[26] *...кудрявый жилистый парень с бабьим лицом...* – Писатель с достаточной узнаваемостью воссоздал портрет футуриста В.В. Каменского (1884–1961), которого называли «матерью русского футуризма». См. в воспоминаниях И.В. Грузинова: «Мне вспоминается один странный литературный вечер, устроенный футуристами в Политехническом музее. Литературный вечер возглавляли два футуриста: Давид Бурлюк и Василий Каменский ⟨...⟩ Эпатируя буржуа, футуристы выкинули такой трюк: Давид Бурлюк был объявлен отцом российского футуризма, Василий Каменский был объявлен матерью российского футуризма. Изображая собою мать российского футуризма, Василий Каменский старался придать своим жестам женственную плавность и нежность» (Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 650).

[27] *...знаменитый футурист жизни Бубыкин...* – «Футуристом жизни» называл себя Владимир Робертович Гольцшмидт (1891–1957), владелец футуристического

Кафе поэтов. Один из современников писал о нем как об «одном из тех странных явлений, которые возникали в то бурное время. “Футурист жизни” ездил по городам, произносил с эстрады слова о “солнечном быте”, призывал чахлых юношей и девиц ликовать, чему-то радоваться и быть сильными, как он. В доказательство солнечного бытия он почему-то ломал о голову не очень толстые доски. Довольно красивый, развязный молодой человек, он выступал перед публикой в шелковой розовой тунике и с золотым обручем на лбу» (*Маяковский. Воспоминания.* С. 494–495). Гольцшмидт стал прототипом одного из героев романа И.Г. Эренбурга «Необычайные приключения Хулио Хуренито»: «Некто, по фамилии Хрящ, а по профессии чемпион французской борьбы и “футурист жизни”, дававший советы молодым девушкам, как приобщиться к солнцу, водружал сам себе в скверике памятник. Хрящ был рослый, с позолоченными бронзовым порошком завитками жестких волос, с голыми ногами, невыразительным лицом и прекрасными бицепсами» (*Эренбург.* Т. 1. С. 384).

[28] *Он читает огромную, бурную, хаотическую поэму.* – Речь идет о Маяковском. Поэт С.Д. Спасский вспоминал, что период конца 1917 – начала 1918 г. проходил в «Кафе поэтов» «под знаком “Человека”. Главы поэмы читались Маяковским каждый вечер» (*Маяковский. Воспоминания.* С.173). По свидетельству П.Г. Антокольского, Маяковский читал поэму и в московском литературном салоне М.С. и М.О. Цетлиных; на чтении присутствовал Толстой: «В тот зимний вечер, в начале 1918 года, гостями их ⟨Цетлиных⟩ оказались чуть ли не все наличествующие в Москве поэты: тот же Бальмонт, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Пастернак, Цветаева, Эренбург, Инбер, Алексей Толстой, Крандиевская, Ходасевич ⟨...⟩ Близко к полночи, когда уже было прочитано изрядное количество стихов, с опозданием явились трое: Маяковский, Каменский, Бурлюк ⟨...⟩ Прочел стихи о Стеньке Разине Василий Каменский, наивно вращая глазами и широко улыбаясь. Наступила очередь Маяковского. Он встал, застегнул пиджак, протянул левую руку вдоль книжной полки и прочел предпоследнюю главу “Войны и мира”. Потом отрывки из поэмы “Человек”. Я слушал его в первый раз. Он читал неистово, с полной отдачей себя, с упоительным бесстрашием, рыдая, издеваясь, ненавидя и любя. Конечно, помогал прекрасно натренированный голос, но, кроме голоса, было и другое, несравненно более важное. Не читкой это было, не декламацией, но работой, очень трудной работой шаляпинского стиля: демонстрацией себя, своей силы, своей страсти, своего душевного опыта. Все слушали Маяковского, затаив дыхание, а многие – затаив свое отношение к нему. Но слушали одинаково все – и старики, и молодые. Алексей Толстой бросился обнимать Маяковского, как только тот кончил» (Там же. С. 148–149).

[29] *...у иных, попавших сюда из-за Москвы-реки, такое предчувствие, что настает конец света.* – В начале XX в. в Замоскворечье проживало большое количество купеческих династий. Как правило, это были старообрядцы, вера которых пронизана ожиданием скорого конца света.

[30] *...курчавый блондин, рвущийся от Стеньки Разина к мировой коммуне...* – Намек на футуриста В.В. Каменского, автора романа «Стенька Разин» (1916), поэмы (1918) и пьесы (1919) с одноименным названием, где главный герой воспет как непосредственный предшественник революции.

[31] *...он также читает о каких-то зайцах малопонятное и подражает соловьиному свисту.* – Стихотворение «Заячья мистерия» открывает поэтический сборник В.В. Каменского «Звучаль веснеянки» (М., 1918. С. 3–5) и начинается словами:

О вы – расцветающая Принцесса
Чья гибкостройность – весна Песниянки
Вы еще не знаете жизни леса –
А в лесу живут Лесниянки.
Будто испуганный заяц в неволе –
Я прижался в бегущий угол авто
И снова замечтал о снежном поле
В своем изнеженном пальто.

Возможно, в другом случае речь идет о стихотворении Каменского «Солнцень-Ярцень» (1916), также вошедшем в «Звучаль веснеянки» (С.146–147; с посвящением: «Вл. Королевичу – с сердечной чарой»; впоследствии перепосвящено «Давиду Бурлюку – великому парню»); стихотворение заканчивается словами:

Солнце в солнцень.
Ярцень в ярцень
Закружилась карусель.
Быстры в круги.
Искры дуги.
Задружилась развесель.
Хабба-абба, хабба-абба.
Ннай-ннай-ннай.
Эй, рраскаччивай. // Й-ювь (свист в четыре пальца).

ТО, ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ

Впервые: Одесские новости. 1918. 24 окт. (№ 10824). С. 1.
Републиковано: *Деготь или мед.* С. 286–288.
Печатается по тексту газ. «Одесские новости».

[1] *...чужеземные войска клочком бумаги разрубили ее, как наковальню картонным мечом.* – Имеется в виду так называемый Брестский мир, мирный договор между Советской Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой, заключенный в Брест-Литовске 3 марта 1918 г. Договор состоял из 14 статей и различных приложений, в соответствии с которыми Россия теряла значительную часть своей территории (Польшу, Литву, часть Белоруссии и Латвии). Одновременно русские войска должны были покинуть Латвию, Эстонию, Финляндию, Аландские острова, Украину, а также округа Ардагана, Карса и Батума. Всего, по условиям договора, Россия лишалась около 1 млн кв. км территории.

[2] *Россия слагалась медленно, органически, соединяла племена под единый свод, готовила огромные пространства для будущей четвертой культуры.* – Ср. с записью в дневнике М.А. Волошина, сделанной со ссылкой на ученицу Р. Штейнера, А.Р. Минцлову: «У славянской расы есть особые силы. Она четвертая мировая раса, и из нее должна выйти шестая» (*Волошин 1.* С. 230).

ЛЕВИАФАН

Впервые: Приложение к газ. «Одесский листок». 1918. 27 окт. (№ 227). С. 3.

Республиковано: *Деготь или мед.* С. 288–290.

Печатается по тексту газ. «Одесский листок».

Приложение к газете имеет общий заголовок «Накануне Возрождения России». Кроме статьи Толстого, здесь напечатаны произведения И.А. Бунина, Л.П. Гроссмана, А.М. Де-Рибаса, К.А. Кузнецова, Д.Н. Овсянико-Куликовского, В.А. Розенберга, В.Н. Твердохлебова, С.Ф. Штерна, С.С. Юшкевича.

[1] *Левиафан* – в библейской мифологии морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или чудовищный дракон. Упоминается либо как пример непостижимости божественного творения (Иов 40: 20–41), либо в качестве враждебного Богу могущественного существа, над которым Бог одерживает победу в начале времен. Мифы о Левиафане восходят к представлениям об олицетворенном первобытном хаосе, враждебном Богу-творцу. Некогда покоренный, он пребывает в состоянии сна, однако может быть разбужен (Иов 3: 8). Образом и именем мифологического чудовища воспользовался Т. Гоббс (1588–1679), назвав свой трактат, где государство рассматривается как гигантский живой организм, – «Левиафан». На толкование Толстым библейского образа могло оказать влияние одноименное стихотворение М.А. Волошина, созданное в 1915 г.:

Восставшему в гордыне дерзновенной, // Лишенному владений и сынов,
Простертому на стогнах городов, // На гноище поруганной вселенной, –
Мне – Иову сказал Господь: // «Смотри:
Вот царь зверей – всех тварей завершенье, – // Левиафан.
Тебе разверзну зренье, // Чтоб видел ты как вне, так и внутри
Частей его согласное строенье // И славил правду мудрости Моей».
И вот, как материк, из бездны пенной, // Взмыв океан, поднялся зверь зверей –
Чудовищный, свирепый, многочленный… // В звериных недрах глаз мой различал
Тяжелых жерновов круговращенье, // Вихрь лопастей, мерцание зерцал,
И беглый огнь, и молний излученье.
«Он в день седьмой был мною сотворен, – // Сказал Господь, – Все жизни отправленья
В нем дивно согласованы: // Лишен
Сознания – он весь пищеваренье. // И человечество издревле включено
В сплетенье жил на древе кровеносном // Его хребта, и движет в нем оно
Великий жернов сердца. // Тусклым, косным
Его ты видишь. // Рдяною рекой
Струится свет, мерцающий в огромных // Чувствилищах; а глубже – в безднах темных
Зияет голод вечною тоской. // Чтоб в этих недрах медленных и злобных
Любовь и мысль таинственно воззвать, – // Я сотворю существ, ему подобных,
И дам им власть друг друга пожирать».
И видел я, как бездна Океана // Извергла в мир голодных спрутов рать:
Вскипела хлябь и сделалась багряна. // Я ж день рожденья начал проклинать.
Я говорил: // – «Зачем меня сознаньем

Ты в этой тьме кромешной озарил, // И дух живой вдохнув в меня дыханьем,
Дозволил стать рабом бездушных сил, // Быть слизью жил, бродилом соков чревных
В кишках чудовища?»
В раскатах гневных // Из бури отвечал Господь:
«Кто ты, // Чтоб весить мир весами суеты,
И смысл хулить моих предначертаний? // Весь прах, вся плоть, посеянные мной,
Не станут ли чистейшим из сияний, // Когда любовь растопит мир земной?
Сих косных тел алкание и злоба // Лишь первый шаг к пожарищам любви.
Я сам сошел в тебя, как в недра гроба, // Я сам огнем томлюсь в твоей крови.
Как я – тебя, так ты взыскуешь землю. // Сгорая – жги.
Замкнутый в гроб – живи. // Таким Мой мир приемлешь ли?»

(*Волошин М.А.* «Средоточье всех путей...»: Избранные стихотворения и поэмы. Проза. Критика. Дневники. М., 1989. С. 190–192)

[2] *Если бы не этот рохля Керенский, – в июле свернули бы шею большевикам...* – Александр Федорович Керенский (1881–1970), политический деятель, депутат 4-й Государственной думы (1912–1917), где возглавлял фракцию трудовиков. С марта 1917 г. – эсер. После Февральской революции – заместитель председателя Петроградского совета, член Временного комитета Государственной думы. В составе Временного правительства занимал посты: министра юстиции (март–май 1917), военного и морского министра (май–сентябрь), одновременно, с 8 (21) июля, – министра-председателя (премьера). В статье, вероятно, приведено мнение тех, кто считал недостаточными действия Керенского в дни июльского кризиса – антиправительственного выступления солдат и рабочих 3–5 (16–18) июля 1917 г., спровоцированного военной организацией РСДРП(б) (см. примеч. 15 к рассказу «Между небом и землей»). Возможно, Толстой имеет в виду эпизод, связанный со смещением со своего поста министра юстиции Временного правительства П.Н. Переверзева, который в дни июльского кризиса на основе представленных контрразведкой сведений дал сигнал к кампании по обвинению большевиков в государственной измене и связях с германским генеральным штабом. Срочно вернувшийся с фронта Керенский добился ухода Переверзева в отставку за эту «несвоевременно» проявленную инициативу (см.: *Иоффе Г.З.* Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995. С. 87–88). Среди недовольных Керенским в 1918 г. были монархисты и, прежде всего, бывшие корниловцы, так и не простившие ему предательства своего вождя, Л.Г. Корнилова, осенью 1917 г.

[3] *Если бы Блюхер не подоспел, то Ватерлоо было бы выиграно Наполеоном...* – Блюхер (Blücher) Гебхард Леберехт (1742–1819), прусский генерал-фельдмаршал. В 1815 г. в битве при Ватерлоо – главнокомандующий прусско-саксонской армией; вовремя пришел на помощь англичанам, против которых были направлены главные силы Наполеона, ударив во фланг французской армии.

[4] *...если бы Юлий Цезарь побоялся перейти Рубикон...* – Цезарь Гай Юлий (Gaius Julius Caesar; 102 или 100–44 гг. до н.э.), древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель. Рубикон – река на Апеннинском полуострове, до 42 г. до н.э. служившая границей между Италией и Цизальпинской Галлией. 10 января 49 г. до н.э. Юлий Цезарь с войском, вопреки закону (будучи проконсулом,

он имел право возглавлять войско только за пределами Италии), перешел Рубикон и вторгся на территорию Италии, начав тем самым гражданскую войну. С тех пор крылатое выражение «перейти Рубикон» означает принятие бесповоротного решения.

[5] *...раскосое, ухмыляющееся лицо Змея Тугарина, вдохновителя черного передела.* – Тугарин Змеевич, Тугарин Змей – герой русского былинного эпоса, противник богатырей Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Само имя Тугарин обычно сближается либо с именем половецкого хана Тугоркана, либо с одним из прозвищ Змея Горыныча – «из Тугих гор». Черный, т.е. земельный, передел после Февральской революции осуществлялся на основе решений местных земельных комитетов и сельских сходов и привел к перераспределению земельной собственности де-факто уже к середине 1917 г.

В БРЕДУ

Впервые: *Толстой А.Н.* Наваждение. Париж, 1921. С. 189–197.

Толстой А.Н. Собр. соч.: В 2 т. Берлин; Пг.; М., 1923. Кн. 2. С. 149–164.

Печатается по тексту. Собр. соч.

Рассказ, видимо, написан осенью 1918 г. в Одессе, о чем свидетельствует авторская дата в Собрании сочинений.12 (25) декабря Толстой читал его на заседании кружка «Среда» (см.: *Деготь или мед.* С. 348). Источником рассказа Кузьмы Дехтярева об убийстве священника могли быть известные писателю факты о положении русской церкви при большевиках. Позже опубликованы в международной прессе и в одесской газете «Сын Отечества»: «О. Мих. Лисицина из ст⟨аницы⟩ Усть-Лабинской с издевательствами водили по деревне, били его так, что он на коленях молил своих мучителей покончить с ним. В ст⟨анице⟩ Владимирской на Куб⟨анской⟩ территории они убили свящ. Ал-дра Добровольского, бросили его тело в свалочное место. Когда один из прихожан пришел похоронить его тело – он был убит. Священник монастыря Марии Магдалины Куб⟨анской⟩ обл⟨асти⟩ Гр. Никольский после литургии, на которой он причащал верующих, был выведен из храма и убит выстрелом в рот. Красноармейцы в это время кричали: “Мы тебе дадим причастие!”» (Цит. по: *Деготь или мед.* С. 348–349).

[1] *Недаром она выросла в московском, заросшем липами, переулке...*– Образ, потом использованный писателем в «Хождении по мукам». См. начало романа: «Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности»

[2] *Извозчик, к Яру...* – «Яр» – загородный ресторан в Петровском парке на Петербургском шоссе (ныне Ленинградский проспект) в Москве; открыт в 1851 г., перестроен в 1910 г.; считался рестораном номер один в России, особо славился своими кутежами. Здесь проводили время особы императорской фамилии и литературная богема, банкиры и биржевые дельцы. Закрыт в феврале 1918 г.

[3] *Расколотили мы на Лабе казачков...* – Лаба – река на Северном Кавказе, самый крупный левый приток Кубани. Место боев Добровольческой армии с красноармейскими отрядами в марте 1918 г., во время «ледяного» похода Л.Г. Корнилова.

[4] *Амвон* – возвышение в церкви перед средней частью иконостаса для чтения священных книг, молитв и проповедей.

НЕТ!

Впервые: Общее дело (Париж). 1919. 20 авг. (№ 54). С. 2.
Републиковано: *Деготь или мед.* С. 330–332.
Печатается по тексту газ. «Общее дело».

[1] *...делают жест, полный негодования, в сторону Колчака и Деникина, как темной силы...* – Александр Васильевич Колчак (1874–1920), военачальник, полярный исследователь, адмирал (1918), один из организаторов и руководителей Белого движения. В 1918–1920 гг. – Верховный правитель Российского государства; возглавлял борьбу с советской властью в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке; расстрелян по постановлению Иркутского ВРК. Антон Иванович Деникин (1872–1947), военачальник, генерал-лейтенант (1916); один из организаторов и руководителей Белого движения; с апреля 1918 г. – командующий, с октября – главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 – главнокомандующий Вооруженными силами Юга России; одновременно с января 1920 – Верховный правитель Российского государства; с апреля 1920 – в эмиграции. О реакции левой французской прессы на события в России не раз писала газета «Общее дело» (Париж). 10 июля 1919 г. в заметке «Французская печать и правительство Колчака» сообщалось: «...“друзья Советов” уже бьют тревогу по поводу признания Колчака. Так, орган французских большевиков и большевиствующих L′ Humanite восклицает: “Признание это не что иное, как вызов народам, вызов русским, вызов России и вызов народам Согласия”. Надо, однако, отметить раз навсегда, что французские друзья московских бандитов поддерживают их не столько из симпатий к русскому народу, сколь из желания свести счеты и по возможности свалить ненавистное французским Лениным и Троцким министерство Клемансо. Поэтому, раз Клемансо и Пишон решают поддерживать правительства Колчака, надо травить французских “колчакистов”, а заодно и самого Колчака» (Общее дело. 1919. 10 июля (№ 51). С. 4).

[2] *...и ужасы вторжения в Крым китайских войск, когда красные разыскивали офицеров,...* – Массовый террор в Крыму в основном был связан с установлением Советской власти на полуострове в конце 1917 – начале 1918 г. В Севастополе за три ночи 21–24 февраля 1918 г. было вырезано несколько сот человек, в Симферополе расстреляно 170 мирных жителей. В Евпатории зимой 1918 г. репрессированы тысячи жителей. Один из свидетелей событий вспоминал об убийствах офицеров и мирных граждан матросами: «В Евпатории офицерский патруль задержал рабочего, известного большевика, участника Севастопольских убийств ⟨конца января – начала февраля 1918 г.⟩ и расстрелял его на месте. Это было как бы сигналом, и на другой день на рейд вошли два транспорта (один “Румыния”, название другого не помню) и открыли огонь по городу ⟨...⟩ Слабый офицерский отряд разбежался, матросы высадили десант, заняли город и арестовали всех офицеров, которых нашли в городе, отправив их в трюм транспорта “Румыния”. На утро все арестованные офицеры (всего 46 чел.) со связанными руками были выстроены на борту транспорта и один из матросов ногой сбрасывал их в море, где они утонули. Эта зверская расправа была видна с берега, там стояли родственники, дети, жены. Все это плакало, кричало, молило, но матросы только смеялись ⟨...⟩ Одновременно несколько миноносцев были направлены в Ялту, Алушту и Феодосию, и везде, не встречая никакого сопротивле-

ния, матросы неистовствовали, расстреляв в Ялте свыше 80 офицеров, в Феодосии больше 60 и в Алуште нескольких, проживавших там, старых отставных офицеров. В Севастополе тогда же, это было в феврале, произошла вторая резня офицеров, но на этот раз она была отлично организована, убивали по плану и уже не только морских, но вообще всех офицеров и целый ряд уважаемых граждан города, всего около 800 человек. Трупы собирали специально назначенные грузовые автомобили, которые обслуживались матросами, одетыми в санитарные халаты… Убитые лежали грудами, и хотя их прикрывали брезентами, но все же с автомобилей болтались головы, руки, ноги… Их свозили на Графскую пристань, где грузили на баржи и вывозили в море 〈…〉 Словом, в эти кошмарные дни весь южный берег Крыма был залит кровью, офицеры в панике бежали и прятались 〈…〉 С этого момента в Крыму воцарился большевизм в самой жестокой разбойничье-кровожадной форме, основанный на диком произволе местных властей 〈…〉 Во всех городах лилась кровь, свирепствовали банды матросов, шел повальный грабеж, словом, создалась та совершенно кошмарная обстановка потока и разграбления, когда обыватель стал объектом перманентного грабежа» (*Кришевский Н.* В Крыму: (1916–1918 гг.) // Архив русской революции. Берлин, 1924. Т. XIII. С. 107–109). Вероятно, среди тех, кто осуществлял массовый террор в Крыму, были и китайцы, служившие наемниками в Красной армии. В годы Гражданской войны в небольшевистской печати внутри страны и за рубежом публиковались свидетельства их особой жестокости. В газете «Общее дело» (Париж) от 30 июля 1919 г. была напечатана заметка «Массовое дезертирство красноармейцев», в которой говорилось: «Солдаты Красной гвардии, перешедшие в наши ряды 〈…〉 рассказывают, что позади большевистских полков идут карательные отряды, состоящие из убежденных большевиков и китайцев. Красноармейцы прекрасно знают, что роты эти идут с ними с целью расстреливать беспощадно всех, кто посмеет отказаться наступать» (С. 2).

ТОРЖЕСТВУЮЩЕЕ ИСКУССТВО

Впервые: Общее дело (Париж). 1919. 9 окт. (№ 59). С. 4.

Републиковано: *Деготь или мед.* С. 332–335.

Печатается по тексту газ. «Общее дело».

В основу статьи были положены сведения, полученные писателем из Советской России. Так, в газете «Общее дело» от 7 сентября 1919 г. Толстой опубликовал одно из писем из Москвы матери Н.В. Крандиевской, Анастасии Романовны, в котором, сообщалось: «Сейчас огромные дела с искусством делают футуристы, – Маяковский, Татлин, С.Д. 〈С.И. Дымшиц, бывшая жена Толстого〉 и пр., до того они ловко сами себя покупают и прославляют. В Народный музей скупаются сейчас картины и статуи, и в первую голову идет бредовая мазня футуристов. Татлину же, кроме того, большевиками отпущено на искусство полмиллиона рублей» (С. 3).

Статья «Торжествующее искусство» была известна Д.Д. Бурлюку. В своих воспоминаниях он писал: «Футуризм был первым любимым оруженосцем победившего пролетариата, блюдших святая святых в те легендарные годы. И А.Н. Толстой в своих тогда не революционных писаниях в 1919 году в Париже открыто “доносил” о футуристах в белую прессу: “Футуристы были первыми застрельщиками больше-

визма”. Меня тогда на Дальнем Востоке Розанов чуть на Камчатку не упек. Писанное А.Н. Толстым было абсолютной правдой» (*Бурлюк*. С. 16).

[1] *Один из них – «учитель жизни» – для доказательства своей мужской силы всенародно ломал на голове доски...* – Владимир Робертович Гольцшмидт (1891–1957); о нем см. примеч. 27 к рассказу «Между небом и землей».

[2] *Там, на эстраде, поэты-футуристы и учителя жизни, окруженные девицами, бледными от кокаина, распевали хором: Ешь ананасы, рябчика жуй, – // День твой последний приходит, буржуй.* – Ср. с воспоминаниями В.В. Каменского о том, что свое известное двустишие, написанное между Февралем и Октябрем 1917 г., Маяковский «горланил на мотив “Ухаря-купца”» (*Каменский*. С. 518). Ср. также с заметкой И.Г. Эренбурга «Большевики в поэзии»: «Они всюду. На заборе взглянешь – обязательно с новым декретом “футуристическая” афиша. В книжном магазине на пустующих полках – книги футуристов 〈...〉 В маленьком черном подвале, перед кроткими спекулянтами, заплатившими немало за сладость быть обруганными, и для возбуждения их аппетита футурист поет: “Ешь ананасы! // Рябчика жуй! // День твой последний // Приходит, буржуй!”» (Понедельник власти народа. 1918. 25 (12) февр. (№ 1). С. 1).

[3] *Футуристам поручили устройство республиканских праздников.* – Над оформлением манифестаций, шествий, массовых празднеств в первые годы Советской власти работали художники К.С. Петров-Водкин, К.Ф. Юон, Е.Е. Лансере, И.И. Бродский, Б.М. Кустодиев, Н.И. Альтман и другие. В апрельском номере газеты «Искусство коммуны» за 1919 г. сообщалось о заседании в Смольном под председательством М.Ф. Андреевой «первомайской комиссии» «по вопросу об организации празднеств по случаю 1-го мая». Присутствующие на заседании от Отдела изобразительных искусств Наркомпросса (тогда цитадели футуризма) Альтман, Гранди, Руднев и Школьник ознакомили собравшихся «с планом празднования 1-го мая, выработанным особой комиссией, образованной при секции художественных работ Отдела изобразительных искусств» (Искусство коммуны. 1919. 13 апр. (№ 19). С. 4).

[4] *Затем футуристам же предлагают поставить что-то около 150 памятников...* – Речь идет о плане монументальной пропаганды, задачи и содержание которого были определены декретом Совнаркома от 14 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции». Для осуществления плана была создана специальная комиссия из работников Наркомпроса и Наркомата имуществ республики, подготовившая список, куда вошло 69 имен деятелей революционного движения, культуры и выдающихся ученых, которым предполагалось поставить памятники в первую очередь. Идея социального воспитания и просвещения народа посредством монументальных художественных образов, впервые высказанная в сочинении Т. Кампанеллы «Город Солнца» (1602), стала внедряться в жизнь с беспрецедентной в истории энергией и размахом. Стимулирующим примером для осуществления плана была практика Великой Французской революции с ее попыткой широкомасштабной замены прежних культовых символов и сооружений символами и памятниками нового культа Разума. За короткий срок в разных городах страны были установлены памятники М. Робеспьеру, А.Н. Радищеву, К. Марксу, Ф. Энгельсу, Н.Г. Чернышевскому, Г.В. Плеханову и другие – чаще всего с использованием старых постаментов,

где прежде стояли «цари и их слуги», – а также мемориальные доски с лозунгами и сюжетно-символическими рельефами. Авторами монументов не всегда были представители авангарда. Наряду со скороспелыми поделками и откровенными курьезами в ходе выполнения плана возник целый ряд примечательных работ, авторы которых были искренне увлечены романтикой времени. К их числу, например, относятся выполненные С.Т. Коненковым мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (1918–1919) и памятник «Степану Разину со своей дружиной» (1918–1919). Подавляющее большинство монументов, изготовленных, как правило, из нестойких материалов типа наскоро покрашенного гипса и некачественного цемента, было достаточно быстро разрушено временем и погодными условиями.

[5] *Был снят около Николаевского вокзала памятник Софье Перовской...* – В ходе реализации плана монументальной пропаганды 29 декабря 1918 г. в Петрограде на Знаменской площади (перед зданием Николаевского, ныне Московского, вокзала) был открыт памятник участнице покушения на императора Александра II (1 марта 1881 г.) Софье Львовне Перовской (1854–1881) работы итальянского скульптора-футуриста О. Гризелли, который изобразил революционерку в виде могучей львицы (см.: Искусство коммуны. 1919. 5 янв. (№ 5). С. 3). В результате целого ряда протестов памятник был демонтирован. А.В. Луначарский вспоминал: «Далеко не всегда памятники были удачны ⟨...⟩ Например, московские Маркс и Энгельс, которых москвичи называли Кириллом и Мефодием. И действительно они были сделаны святыми мужами, высовывающимися как будто бы из какой-нибудь ванны. Свирепствовали особенно наши модернисты и футуристы. Многих огорчило чрезвычайно нечеловеческое изображение Перовской» (*Луначарский А.В.* Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 199).

[6] *...писатели, философы и поэты, не принявшие каиновой печати футуро-большевизма...* – Проекция событий русской революции на библейский сюжет. Каин – библейский мифологический персонаж, старший сын Адама и Евы, земледелец; из зависти убил своего младшего брата Авеля, «пастыря овец», за то, что дары последнего были приняты Богом Яхве, а дары Каина отвергнуты. За братоубийство проклят Богом и отмечен особым знаком, Каиновой печатью. См. текст Библии: «...И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт 4: 13–15).

[7] *...а правительство скупает только беспредметное творчество.* – В апреле 1919 г. газета «Искусство коммуны» сообщил о создании «смешанной комиссии по приобретению произведений искусства», в которую вошли: от Коллегии по делам музеев и охране памятников старины – К.К. Романов, от Русского музея – П.И. Нерадовский, от Эрмитажа – С.П. Яремич и от Отдела изобразительных искусств – Н.И. Альтман, А.Т. Матвеев и С.В. Чехонин. Далее разъяснялось: «...комиссия будет приобретать произведения современного искусства: 1) для государственного музейного фонда и 2) для музеев. Приобретения эти будут делаться на средства музейной комиссии. Кроме того, комиссия будет давать заключения о приобретениях, делаемых самими музеями на свои средства. Без заключения смешанной комиссии ни одно

приобретение, сделанное каким-либо музеем, не может считаться действительным. Смешанная комиссия установила, что покупать можно не только живых художников, но также и картины некоторых покойных художников, если произведения их по своим формам являются произведениями современного искусства» (Искусство коммуны. 1919. 13 апр. (№ 19). С. 4).

[8] *...как этой зимой навек замолчал один из замечательнейших философов и писателей – старик В.В. Розанов, расстрелянный в Троицко-Сергиевской Лавре.* – См. примеч. 22 к рассказу «Между небом и землей». После смерти Розанова в обществе распространился слух о его расстреле большевиками. На самом деле писатель скончался 23 января 1919 г. в Сергиевом Посаде от голода и болезней.

ДИАЛОГИ

Впервые: Последние новости (Париж). 1920. 17 нояб. (№ 175). С. 2.

Печатается по тексту газ. «Последние новости».

Рассказ, видимо, был написан в пору работы Толстого над «Хождением по мукам». Своей основной темой и мотивами он перекликается с XXIV главой романа, где речь также идет о воплощении в жизнь революционной идеи равенства. Адресат посвящения рассказа – неизвестен.

[1] *Никаких пролеткультов...* – Пролеткульт (сокр. от пролетарская культура) – название пролетарских культурно-просветительских и литературно-художественных организаций при Наркомпроссе в первые годы после революции (1917–1922).

[2] *...то есть вечно недостижимое, как весь ваш Новый Завет...* – Богословский термин «Новый Завет» толкуется двояко: как договор между Богом и человеком и как часть Библии, признаваемая Священным писанием только христианством. В своем первом значении Новый Завет устанавливает новые взаимоотношения между Богом и человеком, основанные на вступлении последнего в совершенно иной, по сравнению с ветхозаветным, фазис развития. Благодаря искуплению от первородного греха добровольной крестной смертью Спасителя, человек переходит из рабского подзаконного состояния в свободное состояние сыновства и благодати, получает новые силы к достижению идеала нравственного совершенства как необходимого условия спасения.

НАША АНКЕТА

Впервые: Общее дело (Париж). 1920. 7 нояб. (№ 115). С. 3.

Печатается по тексту газ. «Общее дело».

В редакционной заметке, предваряющей публикацию, говорится: «Ввиду истекшего сегодня трехлетия большевистского переворота, редакция “Общего дела” обратилась к целому ряду видных русских политических, литературных и общественных деятелей, находящихся в Париже, с просьбой высказаться по следующим вопросам:

1. В чем сила большевиков?
2. Почему они сумели удержаться у власти 3 года?
3. Какие причины укрепили их власть и положение?»

Кроме ответа Толстого, в «Общем деле» были напечатаны ответы на анкету писателей И.А. Бунина, А.И. Куприна, Д.С. Мережковского; комиссара Государственной думы по министерству путей сообщения А.А. Бубликова; члена 1-й Государственной думы, бывшего министра внешних сношений Крымского правительства М.М. Винавера; ректора Петроградского университета профессора Д.Д. Гримма; председателя правления Азовско-донского банка Б.А. Каминки; министра исповеданий Временного правительства профессора А.В. Карташова; члена 1-й Государственной думы, министра юстиции Северо-западного правительства Е.И. Кедрина; присяжного поверенного Г.Б. Слюзберга; начальника управления внешних сношений Южно-русского правительства П.Б. Струве; члена русской политической делегации в Париже, председателя Временного правительства Северной области Н.В. Чайковского.

[1] «*Горе побежденным*» (лат. Vae victis!) – выражение восходит ко времени завоевания Рима галлами (390 г. до н.э.), предводитель которых, Бренн, наложил на жителей города контрибуцию в тысячу фунтов золота. Когда римляне отказались взвешивать золото из-за слишком тяжелых гирь, Бренн со словами «Горе побежденным!» бросил на чашу весов еще и свой меч. С тех пор выражение употребляется в случаях, когда речь идет об использовании права сильного, когда победители силой заставляют побежденных подчиниться их воле (тот, кто побежден, теряет все, в том числе и право что-либо требовать или оспаривать).

СТРАНИЦЫ ИЗ НОВОЙ ПОВЕСТИ

Впервые: Утро (Нью-Йорк). 1922. 17 янв. (№ 14). С. 2.

Печатается по тексту газ. «Утро».

Судя по первой публикации, рассказ, видимо, был написан в конце 1921 – начале 1922 г. по следам очерков «Между небом и землей». Произведения сближает похожий сюжет и описание Москвы лета 1918 г.

[1] *...обрывки... летучек...* – Летучка – экстренно выпущенный печатный листок, с кратким сообщением о каком-нибудь важном событии, происшествии.

[2] *...«Аполлон Аполлонович Коровин»...* – Фамилию Коровин носит главный герой рассказа Толстого «Мечтатель» (1910; в первой редакции – «Аггей Коровин»).

[3] *...на площади генерал-губернатора...* – Площадью генерал-губернатора называлась в Москве Тверская (в 1912–1918 гг. – Скобелевская) площадь, где находилась резиденция московских генерал-губернаторов (бывший дворец графа З.Г. Чернышева; выстроен в 1782 г. по проекту арх. М.Ф. Казакова). См. также примеч. 5 к гл. XXXVIII «Хождения по мукам».

[4] *Мимо него, толкнув в спину, прошел сутулый высокий человек в рыжем, в дырах, пальто, с перевязанным поперек лица тряпкою носом, с черной свальной бородой.* – Ср. с финалом романа «Хождение по мукам»: «Сутулый человек с ведерком, перейдя улицу, опять появился впереди Кати и Рощина и, налепливая афишку на гранитный выступ стены, обернулся. Под тенью надвинутой у него на глаза шляпы Катя увидела провалившийся нос и черные космы бороды».

[5] *На Страстной площади…* – Так называлась до 1931 г. Пушкинская площадь Москвы; название связано с располагавшимся вблизи Страстным женским монастырем.

[6] *Пушкин стоял… на своем месте…* – Памятник А.С. Пушкину работы скульптора А.М. Опекушина был установлен в Москве в 1880 г. в начале Тверского бульвара. В 1950 г. перенесен на другую сторону Страстной площади, которая к тому времени уже называлась Пушкинской.

[7] *…красная тряпочка, привязанная к его руке в блаженные дни свобод, все так же моталась на ветру.* – В дни Февральской революции территория у памятника А.С. Пушкину в Москве стала излюбленным местом проведения революционных митингов.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Алексей Толстой и Самара – Алексей Толстой и Самара: Из архива писателя. Куйбышев, 1982

Баранов – Революция и судьба художника: А. Толстой и его путь к социалистическому реализму. М., 1983

Блок (1) – Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1997–1999. Т. 1–5

Блок (2) – Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1960–1963

Брюсов – Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973–1975

Бунин – Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965–1967

Бурлюк – Бурлюк Д.Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста; Письма; Стихотворения. СПб., 1994

Вишняк – Вишняк М.В. «Современные записки»: Воспоминания редактора // Indiana University Publications Graduate School Slavic and East European series. 1957. Vol. 7

Волошин 1 – Волошин М.А. Из литературного наследия. СПб., 1991. Т. 1

Волошин 2 – Волошин М.А. Из литературного наследия. СПб., 1999. Т. 2

Воспоминания – Воспоминания об А.Н. Толстом. М., 1982

Горький – Горький А.М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949–1956

Деготь или мед – Толстая Е.Д. «Деготь или мед»: Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923. М., 2006

Дон-Аминадо – Шполянский А.П. (Дон-Аминадо). Поезд на третьем пути. М., 2000

Достоевский – Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956–1958

Из глубины – Из глубины: Сб. статей о русской революции. М., 1990

Каменский – Каменский В.В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990

Крандиевская – Крандиевская-Толстая Н.В. Воспоминания. Л., 1977

Крюкова – Крюкова А.М. А.Н. Толстой и русская литература: Творческая индивидуальность в литературном процессе. М., 1990

Материалы и исследования – А.Н. Толстой: Материалы и исследования. М., 1982

Маяковский – Маяковский В.В. Собр. соч.: В 12 т. М., 1978

Маяковский. Воспоминания – В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963

Новые материалы – А.Н. Толстой: Новые материалы и исследования. М., 2002

Переписка – Переписка А.Н.Толстого: В 2 т. М., 1989

Поэзия русского футуризма – Поэзия русского футуризма. М., 1999

Пушкин – *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1962–1966

Русский Берлин – *Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О.* Русский Берлин. 1921–1923: По материалам архива Б.И. Николаевского в Гуверовском институте. Париж: YMCA-PRESS, 1983

Русский футуризм – Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков. М., 1999

Русское зарубежье – Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940. Т. 2: Периодика и литературные центры. М., 2000

Струве – *Струве Г.П.* Русская литература в изгнании. Париж; Москва, 1984

Толстой (1) – *Толстой А.Н.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948–1954

Толстой (2) – *Толстой А.Н.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1958–1961

Устами Буниных – Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под ред. М. Грин. Frankfurt a. M., 1977–1982

Фоминых – *Фоминых Т.Н.* Первая мировая война в прозе русского зарубежья 20–30-х годов. М., 1997

Эренбург – *Эренбург И.Г.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1990–2000

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей ТОЛСТОЙ

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Толстой А.

Хождение по мукам / А. Толстой ; изд. подгот. Г.Н. Воронцова. – М. : Наука, 2012. – 478 с. (Литературные памятники). – ISBN 978-5-02-037541-3 (в пер.)

Издание представляет роман Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам», созданный во Франции в 1919–1921 гг. и впоследствии существенно переработанный автором в первую часть одноименной трилогии (после переработки получил название «Сестры»). Написанный в эмиграции, наполненный оценками, которые стали итогом сложного пути, пройденного писателем, он был одним из первых в отечественной литературе художественных опытов ретроспективного взгляда на еще не завершившийся кризисный период русской истории. В СССР текст романа никогда не издавался. В раздел «Дополнения» вошли тесно связанные с творческой историей «Хождения по мукам» двенадцать статей и рассказов писателя (1917–1922 гг.), опубликованных в периодических изданиях Москвы, Одессы, Харькова, Парижа и Нью-Йорка и никогда не включавшиеся в Собрания сочинений А.Н. Толстого. Среди них рассказы «Между небом и землей», «В бреду», «Диалоги»; статьи «На костре», «Левиафан», «Торжествующее искусство».

Для широкого круга читателей.

По сети «Академкнига»

Научное издание

Алексей Толстой

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Утверждено к печати
Редколлегией серии
«Литературные памятники»

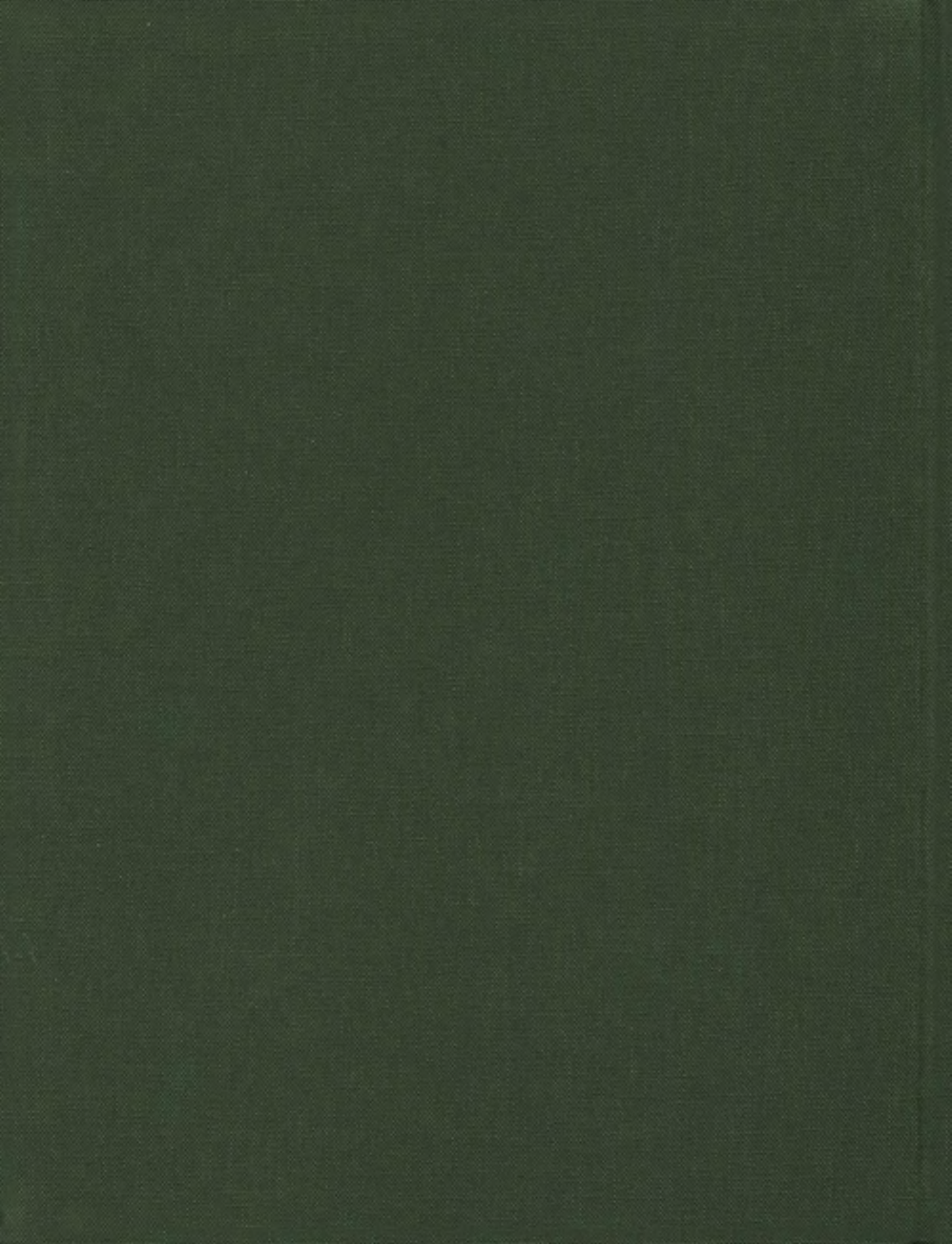
Редактор *Е.Л. Никифорова*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Ю.И. Духовская*
Технический редактор *З.Б. Павлюк*
Корректоры *Е.А. Желнова, Т.А. Печко,*
Е.Л. Сысоева

Подписано к печати 02.10.2012
Формат 70 × 90[1]/[16]. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная
Усл.печ.л. 35,8. Усл.кр.-отт. 38,1. Уч.-изд.л. 45,0
Тип. зак. 1526

Издательство «Наука»
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6



Алексей Толстой

Хождение по мукам

ISBN 978-5-02-037541-3

НАУКА

НАУКА